

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ •

Институт общественной мысли

RES PUBLICA

Русский республиканизм

от Средневековья до конца XX в.



Новое
Литературное
Обозрение

2021

титул делает дизайнер
(будет позже)

УДК
ББК
Р43

Редакторы серии
Т. Атнашев и М. Велижев

Коллективная монография подготовлена при финансовой поддержке РНФ в рамках проекта проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами научных исследований «Русский республиканизм от Средневековья до конца XX в.», проект № 19-48-04112

Редакционная коллегия: К. Ю. Ерусалимский, Н. В. Ростиславлева, К. А. Соловьев (ответственный редактор)

Р43 **Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX в.** Коллективная монография / Под ред. К. А. Соловьева. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 824 с. (Серия «Интеллектуальная история»)

ISBN 978-5-4448-????-?

Коллективная монография посвящена республиканским идеям и практикам в России с периода Средневековья и вплоть до настоящего времени. В центре внимания авторов — общественная рефлексия о политическом союзе, солидарности, о феномене верховной власти. Начиная с Нового времени, в этой же связи возникает проблематика государства, нации, империи. Внимание к несомненно звучавшей республиканской теме позволяет заметно раздвинуть представления об отечественной общественной мысли, которая не сводилась к апологии единовластия или его критике, а искала пути переосмысления прошлого и настоящего, а также переосмысления государства в скором будущем. Интеллектуальный процесс в России исследуется в тесной связи с общеевропейскими тенденциями, а также институциональными, социальными трансформациями, менявшими культурный ландшафт страны.

УДК
ББК

© К. А. Соловьев, составление, 2021
© Авторы, 2021
© ООО «Новое литературное обозрение», 2021

Содержание

Введение (К.А. Соловьев)	9
Глава I. Понятие <i>res publica</i> в европейской политико-правовой мысли: от Древнего Рима до XVII в. (А.В. Марей)	19
Республика и государство: методологические замечания	19
Основа политического объединения	23
Идеальная политическая форма	46
Когда <i>respublica</i> — это государство	57
Жан Боден	59
Томас Гоббс	67
Глава II. Республиканская риторика в Древней Руси (П.В. Лукин)	76
Предварительные замечания	76
«Политический народ» и «вся воля новгородская»	80
Отчина великого князя, люди вольные	109
Республиканская риторика в Пскове	126
Нереспубликанские республики?	138
Заключение	150
Глава III. Республика без республиканизма: дискурсы <i>общего дела</i> в Московской Руси (К.Ю. Ерусалимский)	153
Глава IV. Развитие республиканизма в Западной Европе (XVII — начало XX в.): между идеей и реальностью (Н.В. Ростиславлева)	266
Глава V. Республиканская идея в России в век Просвещения (К.Д. Бугров, М.А. Киселев)	311
<i>Respublica</i> переводов и проповедей в первой четверти XVIII в.	311
<i>Монархия contra республика</i> : политическая рефлексия участников событий 1730 г.	331
Под знаком Монтескье: <i>республика, монархия</i> и гражданские добродетели во второй половине XVIII в.	356
Критика и апология древних <i>республик</i> : рождение российского республиканизма конца XVIII в.	373

Глава VI. Республиканизм в общественной мысли России первой половины XIX в. (<i>М.Б. Велижев</i>)	399
Определения и проблемы «республиканизма»: вопросы метода	399
«Республиканизм»: <i>pro et contra</i>	399
«Республиканизм»: базовое определение	407
История «республиканизма» в первой половине XIX в.: общий контур	409
Республиканизм и «большие» идеологии XIX столетия	412
Республиканизм и либерализм	412
Республиканизм и национализм	422
Республиканизм в России: три концепции	428
Республиканизм как политический язык	428
Республиканизм как политическая доктрина	440
Республиканизм как тип повседневного поведения	451
Сравнительная перспектива: Россия и Западная Европа	460
Французский республиканизм в первой половине XIX в.	460
Немецкий республиканизм в первой половине XIX в.	470
Итоги сравнения	478
Республиканский язык в николаевское царствование	481
Чаадаев, республиканская риторика и язык официального национализма	481
Республиканизм и власть в эпоху Николая I.	493
Глава VII. Империя и нация (<i>А.И. Миллер</i>)	506
Датировка заимствования, источники и механизмы	508
Нация как дворянская корпорация и тема прав второго сословия	511
Нация, конституция и представительные учреждения	514
От перевода к редактированию, вытеснению и цензуре	524
Постсевастопольская Россия. «Перезагрузка» понятия <i>народность</i> , возвращение <i>нации</i>	531
Начало XX в.	544
Глава VIII. Res publica в общественной мысли России (вторая половина XIX — начало XX в.) (<i>К.А. Соловьев</i>)	555
Республиканизм без республиканцев	555
Самодержавие и Герцен	560
Контргосударство славянофилов	565
Христианское государство Владимира Соловьева	583
В поисках нового государства	587
Парламентский антиреспубликанизм	591
Республиканская идея в 1917 г.	600

Глава IX. Республиканские мотивы в российской политической мысли. Случай 1905 г. (С.С. Новосельский)	615
Земский собор в России в 1905 г. и республиканская идея	616
Разрушить средостение: идея реформы Государственного совета в 1905 г.	625
Государственная дума как центр консолидации общества	634
Республиканские идеи и российская общественность в 1905 г.	649
Глава X. Советский и постсоветский республиканизм (А.Н. Медушевский)	659
Республика Советов: концепция и воплощение (1917–1922).	663
<i>Поиск теоретических основ республиканского строя</i>	663
<i>Республика Советов: альтернативные трактовки</i>	672
<i>Эксперимент Республики «рабочей демократии» и причины его крушения</i>	679
<i>Общие тенденции развития советской республиканской системы</i>	683
<i>Большевистская модель республиканизма: итоги становления</i>	686
Создание СССР: формы и содержание республиканского интеграционного проекта (1922–1936)	688
<i>Конструирование советского интеграционного проекта: конфедерализм, федерализм, унитаризм</i>	690
<i>Суверенитет: конфликт международного, национального и классового подходов</i>	696
<i>Гражданство и подданство: правовой статус, приобретение и утрата</i>	700
<i>Концепция бюджетного федерализма в конституционных проектах периода образования СССР</i>	705
<i>Смысл конструирования советского и российского федерализма</i>	708
<i>Структура и динамика федеративных отношений в СССР</i>	711
Светская теократия: республиканская форма сталинской диктатуры (1936–1950-е гг.)	715
<i>Конструирование мифа о «социалистическом обществе» и «советском государстве»</i>	716
<i>Модернизация политической системы СССР</i>	722
<i>Демократия и однопартийная диктатура</i>	726
<i>Консолидация режима единоличной власти</i>	730
<i>Террор как инструмент фиксации новой политической реальности</i>	735
<i>Образ советского государства как высшей формы народовластия: сталинские технологии политического пиара</i>	737
<i>Тенденции развития советской модели республиканизма</i>	741
Эволюция легитимирующей формулы советского республиканизма во второй половине XX в. (1960–1991)	742
<i>Идеология и программа политических реформ периода оттепели (1961–1964)</i>	744
<i>Конституция «развитого социализма» 1977 г. как символ правления номенклатуры</i>	749

<i>Юридическое определение идеократии: возникновение и историческое значение ст. 6</i>	752
<i>Перестройка: механизм развития кризиса советской системы</i>	755
<i>Федерализм и национальное самоопределение как факторы дезинтеграции СССР</i>	759
<i>Форма правления: переход от советской к президентской республике</i>	764
<i>Разрыв и преемственность легитимирующей формулы российской власти в XX в.</i>	768
Создание основ современной Российской республики: Конституция 1993 г. и эволюция постсоветской политической системы	769
<i>Конституционные принципы республиканского строя постсоветской России</i>	771
<i>Конфликт традиции и модернизации: завершение постсоветского конституционного цикла</i>	776
<i>Постсоветский общественный договор: от либеральной модели к реставрационной</i>	779
<i>Общество и государство: каналы обратных связей и их блокирование</i>	782
<i>Механизмы эрозии социального контракта: растущий разрыв общества и элиты</i>	786
<i>Внутренние и внешние факторы в трансформации идеологии республиканизма</i>	790
<i>Плебисцитарный авторитаризм как способ разрешения конфликта общества и власти</i>	794
<i>Перспективы российской модели республиканского строя</i>	798
Сокращения	802
Сведения об авторах	803
Указатель имен	804

Введение

Что такое республика? Вопрос, казалось бы, не очень сложный. Республика — это противоположность монархии. Есть цари, императоры, короли — нет республики. Она предполагает сменяемость и избираемость власти. Этот простой ответ подготовлен политическим опытом XIX столетия. Тогда понятие «республика» обрело именно этот смысл. Другого, по сути дела, и нет. Так случилось, что в XIX в. сложился категориальный аппарат, которым политически активная часть человечества пользуется до сих пор. Возможно, старые слова плохо описывают новые реалии, но других пока не придумали.

Проблема в том, что понятие — это не только строгая дефиниция. Это в первую очередь набор ассоциаций, ожиданий и даже эмоций, которые с ним связаны. Понятие будит воображение, а значит, становится предпосылкой для политического действия. Это касается и термина «республика». К настоящему моменту оно девальвировано. Мало стоит слово, слишком часто упоминаемое. В мире остались преимущественно республики. При таких обстоятельствах трудно объяснить значение понятия. Даже в XIX — начале XX в. это было не так. Европа оставалась монархической. Республиканская традиция была на задворках. Ей предстояло доказывать свое право на существование, а значит, в том числе объяснить, что она собой представляет. Во Франции XIX в. она тесным образом была связана с идеей революции конца XVIII столетия или 1848 г. В отличие от монархистов, республиканцы смотрели в будущее, а не в прошлое, верили в прогресс и не боялись его. Они составляли складывавшийся политический класс, который

образовался поверх традиционных сословий¹. Иными словами, республиканцы — это не только идеологическое, но и социальное понятие. Это представители свободных профессий, профессиональные праведы, университетские профессора. Адвокаты и журналисты, а не аристократы с родословной. К последней четверти XIX столетия республиканцы во Франции победили, оттеснив старую аристократию в глубину политической сцены. В 1881 г. 41% депутатского корпуса составляли юристы. В период Третьей республики более половины всех министров — профессиональные праведы².

Монархия XIX в. апеллировала к традиции, республика — к проекту. Само слово заключало в себе веру в возможность политического, а значит, социального и правового конструирования. Монархия поддерживала огонь столетий, республика строилась на пустом месте. Она основывалась не на опыте, а на выстраданном идеале. Правда, у него были свои корни, свои предшественники.

Проблема, однако, в том, что само по себе противопоставление монархической и республиканской традиций уводит от коренной проблемы. Вплоть до XIX столетия разговор о республике значительно объемнее и сложнее, чем просто о форме правления. Речь шла о форме человеческого общежития, о модусах политической жизни. В этом смысле монархия и республика — понятия из разных категориальных рядов. Их столкновение случайно, хотя, конечно же, объяснимо.

Разговор о республике стал возможен благодаря многовековой работе юристов, сумевших найти абстрактные формулы действовавшим властным (разумеется, монархическим) институтам. Средневековая мысль так или иначе конструировала политическую общность. Это могли быть люди (*gens*) — объект истории, волей-неволей вписывающийся в порядок империи. Это мог быть субъект политических отношений — народ (*populus*), «сердцем» которого был

1. Зелдин Т. Франция, 1848–1945. Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург, 2004. С. 403.
2. Там же. С. 417.

король¹. Закон, законность, правовой порядок — результат усилий европейских университетов, которые многие годы обобщали и формулировали². По оценке известного российского государствоведа Ф.В. Тарановского, расцвет юридической мысли в университетских стенах пал на правление Людовика XI (1461–1483) во Франции. В XVI в. еще имели место последние отголоски университетских вольностей, которые сменились новой эпохой как будто бы безраздельного королевского доминирования. Университетская традиция притихла. Юридические факультеты застыли в своем развитии. В итоге к XVIII в. возникла уникальная ситуация — колоссальной пропасти, отделявшей университетскую догму от интеллектуальных веяний времени³. Рациональная философия плохо рифмовалась с юридическим стилем мышления. Это отбрасывало законников на периферию интеллектуального процесса. Не они определяли повестку эпохи, перед которой стояла задача переоснования всего государства.

Оно могло быть осуществлено по-разному. Мог быть заключен общественный договор или же создано Учредительное собрание, которое перепишет текущее законодательство. Предлагая столь смелые проекты, обращались к опыту далекого прошлого: греческого полиса или Римской республики. Казалось, что из «кубиков» Античности можно сложить новое политическое здание, заметно более светлое и удобное, чем современное. Эта мечта не выглядела утопичной. Был опыт прошлого, была своя теория и была гнетущая реальность — наложение многочисленных ошибок минувших столетий. При таких обстоятельствах республиканизм — живое политическое учение, правда, с весьма размытыми очертаниями. Опыт прошлого был

1. *Марей А.В.* Такое разное обаяние власти: российский контекст, христианская традиция и кастильский пример // *Polystoria. Анатомия власти: государи и подданные в Европе в Средние века и Новое время.* М., 2021. С. 393.
2. *Фуко М.* Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2. М., 2005. С. 89–90.
3. *Тарановский Ф.В.* Догматика положительного государственного права во Франции при Старом порядке. Юрьев, 1911. С. 5–7.

разный, как будто бы реальный, но плохо известный, и теорий, соответственно, было много.

Сила республиканской традиции — не в словах, не в практике, а как раз в эмоциях. В XVIII в. был подведен своего рода итог эволюции монархических режимов. Они претендовали на то, чтобы служить «общему благу», написать тотальный регламент для всех, установить торжество закона. Они надеялись олицетворять государство, в сущности, принадлежащее прошлому, временам феодальных привилегий. Они в меру своих скромных сил осуществляли проект всеобщей рационализации, будучи сами по себе вполне традиционным институтом. Юристы, обслуживая интересы государства, играли в тайну, мистику государства¹. Они подменяли содержание символами, практики — ритуалами. Беспомощность власти компенсировалась шумом фанфар и блеском эполет. В известной мере эта линия была продолжена и в дальнейшем: «Бюрократическая алхимия, работавшая десять веков, действует и сегодня, она воплощена в республиканской гвардии и в красном ковре, в словах..., в готовых формулах...»²

Монархия не желала отступить. Она искала свою формулу квадратуры круга. Монарх стремился доказать свое бессмертие, не имея для того основания. Ставился вопрос об обезличивании власти короля, которого в силу житейских обстоятельств нельзя лишить привычек, настроений и характера. И все же для квалифицированных правоведов монарх — это не просто человек и даже не человек вовсе. Это краеугольный камень порядка, неотъемлемая часть системы. Однако такое утверждение не всегда звучало убедительно.

Мнимая рациональность государственного администрирования плохо вязалась с образом королей-чудотворцев. Возникал неизбежный разлад между мифологией власти и идеологией управления. Республика, подменив собой королевскую власть, его как будто бы снимала.

1. Бурдьё П. О государстве. Курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992). М., 2012. С. 104.

2. Там же. С. 106.

Правда, во что же должна воплощаться на практике республиканская идея, оставалось загадкой. Древнегреческий полис или древнеримские комиции — в обстоятельствах Нового времени не воспроизвести. Прямая демократия в условиях большого европейского государства в принципе невозможна. Какова же должна быть механика властвования и управления? Это будет президентская квазимонархия? Или диктатура, отстаивающая «общее благо»? Безраздельное господство клубов и кружков, имеющих смелость выступать от имени народа? Ребус, сочиненный в свое время Ж.-Ж. Руссо, не имел однозначного решения. Народный суверенитет, как и монархия, подразумевал миф, а не технологию власти. Это создавало напряжение в политической и правовой мысли XIX–XX вв. — в Европе в целом и в России в частности. Французская революция не ответила на загадку. Она скорее еще более озадачила современника. В конце XVIII — в начале XIX в. республика предстала в форме и якобинской диктатуры, и наполеоновской империи.

В конце XX в. республиканизм как особое политическое учение был вновь открыт гуманитариями¹. Видимо, сказалась усталость от слов, избыточность абстрактных понятий, раздутость идеологий, настойчивость их сторонников. Социализм, консерватизм, либерализм — между этими тремя соснами блуждали и продолжают блуждать общественные науки. При этом не всегда ясно, что имеется в виду под каждым из этих течений. Но даже тогда, когда дискуссий на этот счет нет, споры идут о другом: как уместить одного отдельно взятого человека в жесткие идеологические рамки. Чаще всего это не получается сделать: личные взгляды шире, сложнее, парадоксальнее любой самой хитроумной схемы.

Понятие «республиканизм», казалось бы, позволяло разнообразить интеллектуальный ассортимент. Возрожденное слово зывало не к абстрактным ценностям, а к практическому уму греков, гражданским добродетелям римлян

1. См.: Хархордин О. Республика. Полная версия. СПб., 2021. С. 159–199.

и почтительности к прошлому любознательных флорентийцев, которые спустя тысячелетие рассчитывали возродить почти забытые античные традиции¹. Политический идеал получал новое звучание. Он состоял в меньшей степени из абстрактных теорий и в большей — из исторических ассоциаций. Значение республиканизма не только в этом.

В современном понимании этого словосочетания политическая теория — явление сравнительно недавнее. Это не означает, что политика была безразлична человеку, жившему многие столетия назад. Так или иначе он должен был объяснить хотя бы себе, почему одни господствуют, а другие подчиняются. Это была проблема не научная, не теоретическая, а сугубо бытовая, а значит, жизненная и очень важная. Человек столетия назад был вынужден выстраивать отношения между различными центрами силы — без конституций, без лишних разговоров о государственном праве, без пространных ссылок на Аристотеля или Цицерона. Он творил практику, которую трудно описать языком современных теорий. Например, вечевая традиция Средневековой Руси подчеркивает тот факт, что властные отношения того периода были устроены не по позднейшим славянофильским схемам. Они не описываются в категориях государственного права Нового и Новейшего времени. Это ставит вопрос о политических формах эпохи, которые не сводятся к элементарной дихотомии монархия / республика.

Соответствующий понятийный аппарат будет русскими книжниками осваиваться позже. Это будет происходить почти синхронно (хотя, разумеется, по-своему) с тем, как аналогичные процессы разворачивались в Западной Европе. Разумеется, и тогда не будет речи о форме правления. Для XVI–XVII вв. концепт «республика» несет принципиально другое значение. Он позволяет осмыслить политический порядок как таковой.

В слове «республика» заключено воспоминание об утраченной теории, надежда на возможность ее воспроизведения. Само понятие подразумевает проекцию в будущее,

1. *Одье С. Теории республики.* СПб., 2021. С. 26.

которое оказалось настоящим в конце XVIII столетия. Тогда республика стала фазой эволюции государства. В России дело обстояло принципиально иначе. Государство старалось придать себе форму контрреспублики, республики наоборот: без нации, но с народностью; без конституции, но с самодержавием, которое зиждется на совести монарха; без революции, но с царем, способным осуществлять самые широкие реформы во благо наиболее нуждающихся. Республика была вызовом для русского интеллектуала. Она побуждала того дать свое понимание текущей политической организации и перспектив ее эволюции. В сущности, речь шла о переосмыслении государства, отказе от его нормативной интерпретации, характерной для правовой мысли XIX в.

Русская мысль практически во всех своих проявлениях (за редкими исключениями) была сугубо государственнической и ни в коей мере не республиканской. Такое положение явно расходилось с практикой. Государственничество исповедовалось теми, кто осуществлял или надеялся осуществлять власть в стране с дефицитом привычных государственных механизмов контроля и управления. Администрация в империи на протяжении всего XIX — начала XX в. была чрезвычайно разреженной. Правительство практически повсеместно сталкивалось с проблемой нехватки бюрократических кадров. Эта проблема разрешалась в России самым разным образом: ставкой на сословное самоуправление, на эластичность правовой системы, в конце концов, на спорадическое насилие. Сцепляющим элементом для крайне пестрой страны становилось самодержавие, которое представляло собой не столько политический институт, сколько идею власти. Это была предельная конкретизация государственнической идеи, которая обретала черты особого политического культа.

Представители самых разных (порой противоположных) взглядов доказывали исключительную значимость государственной власти в истории России. В рамках их представлений именно монархия создала расплывающуюся во все стороны страну. Соответственно, как должно

воспринималось и то, что Россия драматически централизованное государство, где все — идеи, деньги, люди, бумаги — стекаются не просто в один город, а буквально в одну точку.

Этот культ обрел законченные черты, когда у него появилось достаточное количество служителей — профессиональных бюрократов — и он был законодательно оформлен. Иными словами, речь идет о кодификации времен Николая I, когда политический «космос» Российской империи был описан языком нормативно-правовых актов. Это создавало иллюзию тотальности государства и рациональности его устройства. Практика же свидетельствовала о прямо противоположной ситуации. Империя была слабо описана: научных, статистических изысканий критически не хватало.

Императорская власть неуклонно утрачивала нити управления страной. Все сложнее было развернуть тяжеловесную бюрократическую машину. Ее внутренние законы становились определяющими при принятии законодательных решений. В этих обстоятельствах самодержавие царя — это скорее предмет веры, нежели политическая практика. Эту веру разделяли далеко не все. Сложно было не усомниться в ней, зная тайные пружины политической системы. Сам царь не был уверен в собственном самодержавии. Соответственно, политический спор строился вокруг ложного основания. Причем большинство участников политической дискуссии признавали самодержавие таким, каким оно было заявлено в официальных доктринальных документах.

Республиканская традиция была слабо представлена в русской общественной мысли, а контрреспубликанская — обильно. Ее сторонники предлагали свое понимание политических институтов. Народничество, славянофильство самых разных изводов — это был своего рода республиканизм, правда, без республики, а часто — без государства. Политические партии начала XX в. не распространялись на тему республиканской формы правления. Правые и октябристы ей, разумеется, не сочувствовали. Кадеты

старались быть прагматиками: до 1917 г. они не верили в возможность установления республики в ближайшем будущем. Как будто бы республиканцами были сторонники леворадикальных партий. Однако они в своих программах детально не прописывали, как видели будущее политическое устройство России. Слова о республике имели прежде всего ритуальный характер. Они должны были подчеркнуть коренное расхождение социалистических партий с их соседями справа — в лучшем случае боязливými, осторожными, умеренными. Когда в 1917 г. Россия все же стала республикой, политические силы самых разных направлений к этому оказались не готовы. Для них не было очевидным, на какую республику следовало рассчитывать. Республика, которая в итоге сложилась, таковой, в сущности, не была. Советский республиканизм в своем основании тоже имел умозрительную конструкцию — и не одну, а сразу несколько. Мечта о государстве-коммуне отсылала к радикальному республиканизму XIX в., однако не проясняла, как должен осуществляться правовой порядок в новых обстоятельствах. В итоге республиканская риторика камуфлировала стремительно складывавшееся сверхцентрализованное бюрократическое государство.

Эта книга о республиканской идее. В то же самое время эта книга о республиканской традиции. И, конечно, эта книга о слове «республика» и его бытовании в общественной мысли России и Западной Европы. В России было и слово, и идея, и традиции. Политическая жизнь страны была сложнее и многомернее, чем это порой кажется. Она не сводилась к вековечному самодержавию. Однако важнее, пожалуй, другое. Понятие «республика» позволяет разглядеть то, что обычно остается незамеченным: теории, концепции, дающие расширительное толкование власти и государства в России.

Эта власть *лишь* могла претендовать на тотальность. В разных частях страны она чувствовалась по-разному. В некоторых случаях не чувствовалась вовсе. Обычно эти обстоятельства игнорируются исследователями. Страна традиционно описывается из столицы. В свое время к этому

занятию был приставлен чиновник, в отчете которого не было явных противоречий. Он описывал единую правовую, социальную, политическую систему, которой не было на практике, а зато было великое множество плохо сопрягающихся элементов. Чиновника сменил историк, который сдул пыль с отчета многолетней давности и стал его аккуратно переписывать, снабжая одобрительными комментариями. Однако были и другие тексты, в которых ставились под сомнение отвлеченные юридические конструкции, где делалась попытка по-новому осмыслить властные отношения в огромной империи, текущие и будущие. Как охарактеризовать это хаотическое единство? И в броуновском движении есть своя логика и порядок. Их только важно осознать и описать. Даже только постановка такой проблемы позволяет разглядеть нечто важное в российской истории.

А. В. Марей

Глава I

Понятие *res publica* в европейской политико-правовой мысли: от Древнего Рима до XVII в.¹

Республика и государство: методологические замечания

Латинское понятие *res publica* (или *respublica*, слитно, без пробела) является одним из смыслообразующих для интеллектуальной культуры Европы от Античности до наших дней. Вместе с тем оно же доставляет и огромное количество проблем исследователям, связанных прежде всего с потенциальной неопределенностью его наполнения. По меткому замечанию Кл. Моатти, исследовавшей понимание концепта *res publica* в Древнем Риме, он представляет собой своего рода «движущееся понятие» и его история подобна движению маятника, от абсолютно пустого к предельно полному и обратно². Эта подвижность понятия ожидаемо приводит к разногласию в переводах его на разные языки.

В англосаксонской традиции этот термин чаще всего переводят словом *Commonwealth*, несколько реже — *State*; встречается буквальный перевод — *Common thing*. Альтернативой этим трем вариантам служит перевод-калька, пришедший в английский из французского, т.е. *Republic*. Последнее

1. Отдельные тезисы этой главы публиковались ранее в сокращенном виде в статье: (Марей А. В. Народ: рождение, смерть и воскрешение политического субъекта (От Цицерона до Гоббса) // Социология власти. Т. 31 (2019). № 4. С. 95–111).
2. См.: Moatti C. Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR // Bulletin of the Institute of Classical Studies. Vol. 60 (2017). No. 1. P. 35.

слово, впрочем, используется, как правило, для обозначения формы правления, альтернативной монархии. В романских языках спектр перевода *res publica* исчерпывается тремя значениями, а именно *République*, *État* и *Chose publique*. При этом в современных текстах первое из трех слов практически всегда служит для обозначения формы правления, если только переводчики не оговаривают иное. Третье словосочетание, в свою очередь, используется сейчас весьма редко и лишь в тех случаях, когда надо указать на особую, негосударственную, природу описываемого явления. Германская традиция, которой во многом наследуем мы, применяет для перевода латинского *res publica* два понятия: *Gemeinwesen* и *Staat*, из которых первое акцентирует общественную, а второе — государственную природу переводимого понятия. Наконец, в отечественной традиции словосочетание *res publica* в подавляющем большинстве случаев передается понятием «государство» или, если им обозначают форму правления, «республика». Иные примеры относятся к самому концу XX — началу XXI в. и связаны с несколькими конкретными исследователями, о работах которых скажу ниже.

Таким образом, в языке отечественной гуманитарной науки *res publica* оказывается объединена переводом с целым кустом разных латинских понятий¹, прежде всего с *civitas*, т.е. «городом» или «гражданской общиной», *imperium*, т.е. «империум», «властью», «повелением» или же территорией, на которую распространялась эта власть, и т.д. Перевод всех этих и ряда других понятий термином «государство» способствует размыванию и, как следствие, обесмысливанию

1. Ни в коем случае не претендуя на полноту списка, отмечу, например, что только на первых страницах русского перевода 3-й книги Тита Ливия (переводчик — Г.Ч. Гусейнов) словом «государство» оказываются переведены понятия *civitas*, *res publica*, *res Romana*, и еще минимум в одном случае «государство» появляется там, где у него не было латинского аналога. При этом, понятно, текст для примера был выбран буквально наугад, и с другими переводами, выполненными иными блестящими специалистами (В.М. Смириным, Н.В. Брагинской, С.А. Ивановым и др.), ситуация будет полностью аналогична.

как самого слова «государство»¹, так и переводимых им латинских концептов. Чтобы избежать этого эффекта, необходимо остранить понятие *res publica*, посмотреть на него как бы извне, со стороны породившего его языка. И начинать такое исследование нужно, разумеется, с эпохи Древнего Рима, не потому что Греции была чужда республиканская мысль², но потому что само понятие *res publica* родилось именно в Риме.

Хронологические и географические ограничения этого исследования продиктованы именно заявленным стремлением остранить *res publica*. Очевидно, что начало исследования совпадает с первыми упоминаниями искомого понятия в письменных источниках, т.е. с III в. до н.э. Завершающая его точка тоже может быть установлена относительно легко. Поскольку мы говорим о латинском термине и о его бытовании, его исследование будет логично охватывать период его существования в интеллектуальной культуре вплоть до смены его вернакулярными аналогами, т.е. примерно до конца XVII в. Географически же исследование будет ограничено рамками латинской Европы. Я не буду на этих страницах рассматривать процессы заимствования концепта *res publica* и его производных в польских и чешских землях, не буду привлекать южно- и восточнославянского материала. Останется без внимания и греческая *ta demosia pragmata*, поскольку изучение этого понятия потребует серьезного погружения в интеллектуальную культуру Византийской империи, на что нет ни сил, ни времени.

1. О присущей авторам отечественной традиции убежденности в имманентном присутствии государства и, по сути, в его внеисторической природе можно спокойно написать отдельный текст (и даже не один!), анализируя причины этого явления и его следствия для современного гуманитарного знания. Но поскольку данная работа посвящена совершенно иной задаче, в этом вопросе я остановлюсь здесь.
2. Хотя при том, что есть исследования, посвященные греческой традиции республиканской мысли (см., например, любопытное исследование Эрика Нельсона: *Nelson E. The Greek Tradition in Republican Thought. Cambridge, 2004*), все же всерьез говорить о республиканизме становится возможным лишь после появления словосочетания *res publica* и его последующей кристаллизации в понятие.

Прежде чем говорить о структуре исследования, отмечу и еще одно его ограничение, на этот раз смысловое или даже понятийное. Концепт *res publica* практически с самого момента своего возникновения обладал среди прочих двумя значениями, весьма и весьма распространенными и известными: он означал ту территорию, на которой существовало и действовало описываемое им политическое объединение, а также использовался для обозначения формы правления, при которой вся власть принадлежит максимально широким кругам граждан (латинский аналог греческого *demokratia*). Эти два значения были свойственны понятию *res publica* практически с самого его возникновения, есть они у него и сейчас. Они, а особенно второе из них существуют, практически не развиваясь и не изменяясь, и уже потому я почти не буду писать о них, дабы не множить сущности сверх необходимого.

Соответственно этим ограничениям будет выстраиваться и структура исследования. Она разделяется на три основных блока, внутри каждого из которых, в свою очередь, возможны дополнительные подразделения¹. Основным критерием деления становится соотношение понятия *res publica* с понятием *populus* (т.е. «народ»), дополнительным — сочетание двух названных понятий с концептами *civitas* и, позднее, *status*. Соответственно, первая часть исследования хронологически охватывает период с Древнего Рима и практически до середины — второй половины XII в. Этот период характерен приоритетом Цицеронианско-августинианской парадигмы в трактовке понятий *res publica*, «народ» и «гражданская община». Еще одной отличительной чертой периода является отсутствие там государства в привычном нам европейском варианте². Во второй части

1. Разумеется, я осознаю всю меру условности этого деления и ввожу его прежде всего для удобства изложения материала.
2. Еще одна необходимая методологическая оговорка: я не буду вдаваться в этом тексте в полемику о том, когда и где впервые возникает государство. Скажу лишь, что с моей точки зрения, позиция, вдохновленная вульгарно понятым марксизмом, согласно которой государство появляется сразу же по разложению рабовладельческого строя, не имеет никакого эвристического потенциала. Я разделяю

исследования, охватывающей период с середины XII по начало XVI в., я обращаюсь к политической теории томизма, в основе которого, как следует из названия, лежит богословие Фомы Аквинского. Связь понятий «народ» и *res publica* перетрактовывается Фомой, два этих концепта становятся практически независимыми друг от друга. Государство все еще отсутствует в это время, но политическая теория Фомы наполняется его предчувствием, интуицией, предшествовавшей его явлению. Наконец, последняя часть работы описывает период раннего Нового времени, т.е. с начала XVI по конец XVII в.; отличительными чертами периода становится полный разрыв между понятиями *res publica* и «народ», характерный для позднего томизма, и последующее за этим отождествление концепта *res publica* с нарождающимся европейским государством в том или ином его изводе.

Основа политического объединения

Понятие *res publica*, как видно даже при первом, поверхностном взгляде, состоит из двух слов — существительного *res* и согласованного с ним прилагательного *publica*. Оба этих слова как вместе, так и по отдельности неоднократно подвергались детальнейшему анализу¹, так что нет смысла повторять все уже проделанные предшествующими исследователями операции. Отмечу лишь два момента, необходимых для дальнейшего разговора.

позицию, согласно которой европейское государство представляет собой систему публично-правовых институтов, созданных ради ограничения частного произвола, создания и дальнейшей нейтрализации публичного пространства. Как таковое оно возникает в Европе в период примерно с начала XVI по середину XVII в. и окончательно оформляется лишь к концу XVIII — началу XIX в.

1. Помимо цитированной выше статьи Клаудии Моатти и приведенной там библиографии позволю себе отослать к трем классическим статьям немецких антиковедов, переведенным на русский язык и вышедшим в 2009 г. под одной обложкой по инициативе исследовательского центра «Res publica» и лично О.В. Хархордина: *Дрексслер X. Res Publica // Res Publica: История понятия. Сборник статей.* СПб., 2009. С. 67–169; *Штарк P. Res Publica // Там же.* С. 7–65; *Шюрбаум В. Цицерон: De Re Publica // Там же.* С. 171–245.

Во-первых, прилагательное *publicus* этимологически восходит к архаическому латинскому *poplicus*, а то, в свою очередь, происходит от существительного *populus*, т.е. «народ». Таким образом, становится очевидна неразрывная (на первом этапе) связь понятий *res publica* и «народ» и необходимость совместного их анализа. Во-вторых, само по себе слово *res* в латинском языке является одним из наиболее многозначных, и точное определение его значения требует каждый раз вдумчивого анализа контекста, в котором оно использовано.

Два основных значения, выделяемых традиционно всеми авторами, — «дело» и «достояние / имущество / вещь» — Клаудия Моатти удачно дополняет еще одним, имеющим непосредственное отношение к сфере частного права и процесса: «вещь как предмет спора»¹. Это, в свою очередь, позволяет ей уточнить и ее понимание народа как «сообщества людей, объединенных неким совместным действием или конфликтом вокруг некоей *res*»². Однако несмотря даже на это уточнение, словосочетание *res publica* все равно остается одним из самых неопределенных и абстрактных понятий латинского языка, что, собственно, иногда признавали и сами римляне³. Наиболее близким к реальному положению вещей мне видится здесь уже приведенная

1. Об этом см.: *Moatti C. Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR*. P. 35–36.

2. *Ibid.* P. 38.

3. См., например, у Цицерона, где он говорит о том, что *res publica* — «расплывчатая, слишком общая и широкая» тема для оратора (*Cic. De orat. II. 67*); или не менее показательное высказывание Цезаря, сохранившееся в передаче Светония, о том, что *res publica* — «пустое имя без тела и облика» (*Svet. Iul. 77, 1*). Любопытно перетрактовывает эту фразу Цезаря Олег Хархордин в своей недавно вышедшей книге «Республика, или Достояние публики». Он считает ее указанием на то, что Цезарь, взявший единоличную власть в Риме с помощью войска, не придавал *res publica* вообще никакого значения и считал, что ее нужно «отбросить, как пустышку» (*Хархордин О.В. Республика, или Дело Публики*. СПб., 2020. С. 34). Полагаю эту интерпретацию художественным упрощением — всерьез относиться к этому высказыванию, строящемуся всего на одной фразе, к тому же даже не на собственных словах Цезаря, но на пересказе их Титом Амбием, зафиксированном в книге Светония, вряд ли возможно.

выше метафора Кл. Моатти, сравнившей развитие значений термина *res publica* с движением маятника, от совершенно пустого до предельно конкретного и материально осязаемого.

В латинских текстах словосочетание *res publica* впервые появляется достаточно давно: в комедиях Плавта и Теренция оно используется уже очень активно, наряду с формами *res populi*, *res Romana* и т.д.¹ Однако первая попытка определить *res publica* как политическое понятие была предпринята только Цицероном в его одноименном диалоге *De re publica*, переведенном на русский язык В.О. Горенштейном как «О государстве»². Судебный оратор, блестяще владевший языком и правом, Цицерон был довольно слабым философом, его построения отличались эклектичностью. Так, в упомянутом его диалоге достаточно ярко выделяются элементы аристотелианской философии и концепции стоиков, в то время как основой для диалога стал переведенный им на латынь диалог Платона *Politeia*³. Вместе с тем Цицерон был весьма консервативен в своих воззрениях, и это позволяет утверждать, что его позиция достаточно четко отражала взгляды римского нобилитета той эпохи⁴.

Определение, о котором идет речь, находится в первой книге диалога и было вложено Цицероном в уста одного

1. См. прежде всего: Дрекслер Х. *Res Publica*; Шмарк Р. *Res Publica*.
2. См.: Цицерон. О Государстве. О Законах. М., 1994.
3. В русском переводе известен как «Государство»; на этом факте акцентирует внимание О.В. Хархордин в уже упоминавшейся книге, утверждая, что, переведя греческое *politeia* латинским понятием *res publica*, Цицерон «пошел на решающую теоретическую инновацию, привнеся вещественно-имущественные коннотации, которые имело слово *res*, входившее в выражение *res publica*, для интерпретации всей традиции античной полисной жизни» (Хархордин О.В. Республика, или Дело Публики. С. 30). Позволю себе не согласиться с коллегой, поскольку античная трактовка полиса изначально предполагала сильнейшую вещественно-имущественную коннотацию, ведь полис — не только собрание граждан, но и их община, проживающая на определенной территории, имеющей свои границы. Таким образом, Цицерон в этом смысле не внес ничего принципиально нового, отличие его концепции от греческой политики было в другом, о чем см. подробнее в тексте.
4. См.: Утченко С.Л. Цицерон и его время. М., 1974.

из основных участников беседы, Сципиона. Отвечая на вопрос Лелия, он говорит: «Государство есть достояние народа, а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов (Cic. De re publ. I, 39)»¹. Позволю себе не согласиться с переводом, предложенным В.О. Горенштейном, поскольку считаю, что в нем допущен ряд серьезных концептуальных ошибок. Чтобы объяснить их, рассмотрим дефиницию, данную Цицероном, подробнее. Прежде всего, привлекает к себе внимание первая фраза: *Res publica est res populi*. В приведенной редакции она состоит из пяти слов и достаточно очевидно делится на две части: слева от глагола *est* стоит определяемое, справа — определение. В обеих отмеченных частях есть одно и то же слово, а именно *res*, что заставляет утверждать, что настоящим определяемым оно являться не может (в противном случае мы получим классический порочный круг, т.е. определение слова через само себя). Следующим шагом отбросим в сторону слово *publica*: как прилагательное оно не может служить определяемым, но только определением. В результате этой несложной операции у нас останется лишь одно слово, которое может служить настоящим определяемым в этой фразе, и этим словом будет *populus*, т.е. «народ». Отдельно замечу, что переводить два слова — *res publica* — одним, т.е. «государство», конечно, возможно, но вряд ли оправдано даже чисто с филологической точки зрения².

1. Cic. De re publ. I. XXV. 39: Res publica est res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communionem sociatus.
2. Я сознательно оставляю в стороне вопрос о существовании (или несуществовании) в республиканском Риме государства. Об этом см. большую полемику, начатую в журнале «Вестник древней истории» на рубеже 80-х и 90-х гг. XX в. вокруг статьи Е.М. Штаерман (Штаерман Е.М. К проблеме возникновения государства в Риме // Вестник древней истории. 1989. № 2. С. 76–94); в последующей дискуссии приняли участие такие ученые, как В.И. Кузищин, К.Л. Николё, А.Л. Смышляев, Л.Л. Кофанов, Л. Капогросси Колоньези, И.Л. Маяк, Г.А. Кошеленко, А.Я. Гуревич и другие.

Таким образом, можно утверждать, что эта фраза служит лишь вступлением, красивой подводкой к настоящему определению, начинающемуся сразу же после слова *populi*. И, более того, понять, что такое *res publica* для Цицерона (кроме короткого «дело народа» или «достояние народа»), становится невозможным без того, чтобы не разобрать понимание арпинским оратором концепта «народ». На это же, конечно косвенно, указывает и официальное самоназвание римлян, использовавшееся ими в сношениях с другими народностями, а начиная с Октавиана Августа, и во внутриполитической сфере, — *Senatus Populusque Romanus*, т.е. «Сенат и римский народ».

Народ, по мнению Цицерона, — это собрание многих людей, которых связывает, во-первых, *communitas utilitatis* и, во-вторых, *consensus iuris*. Оба этих понятия заслуживают самостоятельного пояснения. Первое из них, передаваемое по-русски как «общность пользы», может быть истолковано одним из двух способов. С одной стороны, речь может идти о некоем совместном предприятии, созданном группой лиц, каждый из которых заинтересован в успехе их общего дела и получает прибыль в объеме, пропорциональном внесенной им доле капитала. Этот вариант, очевидно, не проходит, поскольку Цицерон говорит не о договоре товарищества (*societas*), но об ином явлении, возможно, схожей природы, но принципиально иного масштаба.

С другой стороны, *communio utilitatis* можно воспринимать как указание не на наличие некоей единой абстрактной *utilitas*, которая будет общей для всех членов того или иного коллектива, но на совокупность частных *utilitates* (польз), имеющих общее условие реализации. Для того чтобы представить себе то, о чем я говорю, необходимо абстрагироваться от государства и помыслить себе социальную жизнь в ситуации его отсутствия. В таком случае различные отношения между формально равными друг другу членами гражданской общины (*civitas*) должны будут регулироваться на основании частных договоренностей или, шире, сделок. В условиях же, когда отсутствует единый источник власти, гарантирующий корректность

проведения той или иной сделки, единственным гарантом для лица, вступающего в сделку, является презюмируемая *bona fides*, т.е. «добросовестность» его контрагента. Соответственно, частная польза данного лица будет заключаться именно в соблюдении его контрагентом (или контрагентами) всех условий сделки и в добросовестном его (их) поведении. Разумеется, верным будет и обратное: кто бы ни выступал контрагентом данного лица, он будет заинтересован в соблюдении тем принятых на себя обязательств. Таким образом, *communio utilitatis* для всех лиц, входящих на правах граждан в обсуждаемую гражданскую общину, будет заключаться именно в их общей добросовестности, в том, что каждая конкретная сделка будет исполняться и тем самым приносить пользу ее участникам. Совокупность множества таких частных польз и дает в итоге *communitas utilitatis*, названную Цицероном.

В свою очередь, использованное Цицероном *consensus iuris*, т.е. «разумное согласие о праве»¹, указывает на алгоритм формирования и развития права в Древнем Риме. В отличие от современного мира, где право представляет собой комплекс норм и правил поведения, зафиксированных в соответствующих нормативных документах и подкрепленных принудительной силой государства, в Риме право возникало из единичных сделок между гражданами, из решений судей, из частных казусов. По мере увеличения их количества сделки неминуемо типизировались, формировались

1. Любопытную интерпретацию этого выражения предлагает Олег Хархордин, трактующий *sensus* не как «разум», а как «чувство»: «Латинское выражение *consensus iuris* можно буквально перевести не как „согласие“, а как „со-чувствование“ (в вопросах права), если исходить из того, что *sensus* — это прежде всего „чувство“. И в практическом смысле это сочувствование может появляться как результат общей практики по производству и применению права» (Хархордин О.В. Республика, или Дело публики. С. 31). Не могу согласиться с этой трактовкой, поскольку кажется очевидным, что для римлян закон прежде всего разумен. Об этом много пишет и сам Цицерон (см.: *Cic. De Leg. I. 6. 18*, где он называет закон «высшим разумом» (*summa ratio*), или *Cic. De Leg. I. 7. 23*, где утверждается, что, поскольку лучше разума (*ratio*) нет ничего, именно он соединяет людей с богами в правовом единстве»). Соответственно, и *sensus* в цicerоновском *consensus*'е скорее будет указывать на разум, нежели на чувство.

правила их проведения, условия действительности и т.д. Из множества частных «справедливостей» выросло общее представление о том, что есть *справедливость* и какой она бывает. Таким образом, на протяжении многих веков складывалась система практик и правил общежития, которая представляла собой *право граждан* данной общины, т.е. *ius civile*. При этом, разумеется, в отсутствие государства, которое своей принудительной силой могло бы гарантировать действенность права, единственным возможным его гарантом оставалось именно *согласие граждан*, т.е. домовладык Рима. Именно это согласие, основанное на реитеративном, многократно повторяемом проговаривании практик и правил общежития, Цицерон, по-моему, и называет *consensus iuris*, т.е. «разумным согласием о праве».

Теперь вернемся к первой фразе разбираемого пассажа, с тем чтобы уточнить смысл исходного понятия *res publica*. Если принять приводимую выше трактовку понятий *communitas utilitatis* и *consensus iuris*, получится, что основными маркерами, указывающими на принадлежность человека к римской гражданской общине, становятся добросовестное участие в сделках гражданского оборота и участие же в развитии и эксплуатации правовой системы. Соответственно, общим делом становится поддержание, забота и осмысление как гражданской добросовестности, так и системы норм и правил общежития. Это и будет тем *общим делом (res publica)*, которое объединяет всех граждан независимо от их частных интересов и делает их единым целым, т.е. народом. Поэтому полагаю, что в исправленном виде цицероновское определение должно выглядеть так: «Общее дело есть достоинство народа. Народ же не любое скопление людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, но собрание многих, объединенное общностью пользы и разумным согласием о праве»¹.

Это соображение, впрочем, требует корректировки еще по двум основаниям. Прежде всего, необходимо развести

1. Любопытно, что практически к тому же определению, хотя и другим путем, приходит Рудольф Штарк в упоминавшейся выше работе: (*Штарк Р. Res Publica. С. 9*).

между собой понятия *res publica* и *civitas*, которые зачастую отождествляются исследователями друг с другом или как минимум переводятся одним и тем же словом, будь то *государство*, *Država* или *State*¹. Иногда (как в указанной статье Арины Браговой) делаются попытки, трогательные в своей наивности, развести эти понятия, поясняя, что словом *civitas* Цицерон называет любое государство, тогда как термином *res publica* — только римское. Тот факт, что в таком случае *res publica* становится всего лишь частным случаем *civitas*, остается без внимания исследователя. Одним из основных текстов, на которых строится аргументация авторов, стремящихся приравнять *civitas* и *res publica*, является знаменитый «Сон Сципиона» из 6-й книги диалога *De re publica*, в котором звучит среди прочих такое рассуждение о посмертной награде, ожидающей достойных правителей (здесь и далее приводится в переводе В.О. Горенштейна): «...Всем тем, кто сохранил отечество, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство. Ибо ничто так не угодно высшему божеству, правящему всем миром, — во всяком случае, всем происходящим на земле, — как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами; их правители и охранители, отсюда отправившись, сюда же и возвращаются»².

Взглянув в оригинальный текст Цицерона, приведенный в сноске, легко увидеть, что в данном случае на месте слова «государствами» стоит латинское *civitates*. Понятно

1. См., например: *Asmis E.* The State as a Parthnership: Cicero's Definition of «Res Publica» in His Work «On the State» // *History of Political Thought*. Vol. 25 (2004). No. 4. P. 569–598; *Simendić M.* Ciceronova Država: Između Prava, Korisnosti i Dužnosti // *Godisnjak Fakultet Politickih Nauka Beograd*. T. IX (14). 2015. P. 55–69; *Брагова А.М.* Понятие «государство» в сочинениях Цицерона // Самарский научный вестник. 2016. № 1 (14). С. 93–97.
2. *Cic. De re publ.VI. 13. 13:* omnibus, qui patriam conservaverint; adiuverint; auxerint, certum esse in caelo definitum locum; ubi beati aevo sempiterno fruuntur;nihil est enim illi principi deo; qui omnem mundum regit; quod quidem in terris fiat; acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur.

и то, почему В.О. Горенштейн использовал именно это слово для перевода: сходство формулировок этого фрагмента с разобранным выше определением несомненно (что, кстати сказать, и было отображено в комментарии переводчика). Но очевидна, как кажется, и та ошибка, которую как обсуждаемый переводчик, так и целый ряд исследователей (равно отечественных и иностранных) допускают в этом месте. Если еще раз вернуться к исходному определению Цицерона из первой книги диалога, можно увидеть, что «собранием / объединением людей, связанных правом» там называют не *res publica*, а *populus*, не «достояние народа», а сам «народ». Если *civitas*, т.е. «гражданскую общину», и отождествлять с чем-либо, то не с «общим делом», а с самим «народом». Об этом же сам Цицерон говорит устами Сципиона в 1-й книге диалога, продолжая рассуждение о том, что такое *res publica*: «Что такое государство, как не достояние народа? Итак, достояние общее, достояние, во всяком случае, гражданской общины. Но что такое гражданская община, как не множество людей, связанных согласием?...»¹ и дальше: «...всякий народ, представляющий собой такое объединение многих людей, какое я описал, всякая гражданская община, являющаяся народным установлением, всякое государство, которое, как я сказал, есть народное достояние, должны, чтобы быть долговечными, управляться, так сказать, советом, а совет этот должен исходить прежде всего из той причины, которая породила гражданскую общину»².

В первой из приведенных цитат стоит отметить два момента. Во-первых, в ней Цицерон явно разводит между собой понятия *res publica* и *civitas*, определяя первое из них как «достояние народа» или даже «достояние гражданской

1. *Cic. De re publ. I. 25. 40*: Quid est res publica nisi res populi? res ergo communis res utique civitatis. Quid est autem civitas nisi multitudo hominum in quoddam vinculum redacta concordiae?
2. *Cic. De re publ. I. 26. 41*: Omnis ergo populus, qui est talis coetus multitudinis, qualem exposui, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae, ut dixi, populi res est consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est, quae causa genuit civitatem.

общины», а второе — как «множество людей, связанных согласием». Это лишний раз подтверждает приведенный выше тезис об ошибочности отождествления этих двух концептов. Окончательно это закрепляется определением, данным гражданской общине в следующей цитате, — *constitutio populi*, или же «народное установление». Эта дефиниция позволяет предположить, что народ бывает разным по своему объему: он может ограничиваться рамками одной *civitas*, совпадая с ней в таком случае, но может и превышать эти размеры, устанавливая или, лучше сказать, учреждая некое количество *civitates*. *Res publica* же, определяемая как «народное достояние», не имеет (если верить этой фразе) четко закрепленного материального обличья и, в отличие от *civitas*, являющей одну из форм бытования народа, определяется по отношению к нему как нечто внутреннее, нечто делающее собранных вместе людей народом, субъектом политического и / или нормотворческого действия.

Во-вторых, в первой из приведенных цитат привлекает внимание любопытная терминологическая замена: вместо звучавшего в первом определении народа слова *consensus*, передающего идею разумного согласия, здесь стоит слово *concordia*, имеющее оттенок «сердечного согласия», т.е. совпадения скорее чувств, нежели разума. Не возьмусь утверждать наверняка, но рискну предположить, что причина появления здесь понятия *concordia* в том, что этот фрагмент диалога дошел до нашего времени в передаче Августина, будучи включен в одно из его писем. Для Августина же, как будет показано ниже, понятие *concordia* в контексте образования как гражданской общины, так и народа имеет особое значение.

Второе основание для корректировки понимания *res publica* исключительно как «дела народа» заключается в наличии у рассматриваемого понятия еще одного, весьма важного значения: «публичной вещи» или, если во множественном числе, «публичных вещей». В наиболее общем виде это понятие встречается в классификациях вещей, выстраивавшихся римскими юристами, как правило, в дидактических целях. Наиболее ярким примером

подобного может служить фрагмент из начала 2-й книги знаменитых «Институций» Гая — учебного курса по праву, созданного римским провинциальным юристом первой половины II в. н.э. Согласно Гаю, «...главное разделение вещей проводят на две группы: ведь одни вещи божественного права, другие — человеческого. <...> Вещи человеческого права — либо публичные, либо частные. Те, что публичные, считаются не принадлежащими никому; ведь считается, что они принадлежат самому объединению. Частные вещи — те, что принадлежат отдельным людям. Кроме того, некоторые вещи телесные, некоторые — бес-телесные» (Inst. II. 2, 10–12)¹.

Эта классификация, как уже говорилось, носит дидактический характер, однако необходимо понимать, как и почему она вообще стала возможна. Для того же, чтобы это понять, необходимо кратко затронуть проблему складывания латинской юридической терминологии. Как мне уже приходилось писать раньше², ключевым периодом для ее формирования стал период Принципата, поскольку, по всей видимости, именно в эти века она сложилась в том виде, в котором ее знают и изучают по сей день. В пользу этого предположения можно привести два довода: во-первых, в этот период был создан один из важнейших источников римского права — знаменитый *Edictum Perpetuum*, в тексте которого были обобщены и закреплены преторские эдикты за практически весь предшествующий период; во-вторых, в это же время появились и получили широкое распространение такие жанры римской юридической литературы, как комментарии к эдикту и к сочинениям наиболее

1. Цитата приведена в переводе Д.В. Дождева по изданию: Институции Гая / Перевод с лат., коммент. Д.В. Дождева. М., 2020. С. 73; оригинальный текст приводится по тому же изданию (Там же. С. 72): *Inst. II. 2, 10–12: Summa itaque rerum divisio in duos articulos diducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. <...> Hae autem, quae humani iuris sunt, aut publicae sunt, aut privatae. Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. Privatae sunt, quae singulorum hominum sunt. Quaedam praeterea res corporales*.
2. См.: *Мафей А.В. Язык права Средневековой Испании: От законов XII таблиц до семи партид*. М., 2008. С. 65–69.

именитых предшественников и учебники по римскому праву, излагавшие его основные начала, — *Institutiones*.

В 130 г. н.э. император Адриан приказал юристу Сальвию Юлиану¹ обобщить все имевшиеся версии преторского эдикта и создать из них единый эдикт, получивший название *Edictum perpetuum*, «вечный эдикт». Сам *Edictum perpetuum* не дошел до нашего времени, но в XIX в. был реконструирован О. Ленелем на основе «Комментариев к эдикту» юриста III в. н.э. Домиция Ульпиана². Причем в данном случае важно не столько содержание *Edictum perpetuum*, сколько сам факт его создания, свидетельствующий об унификации правовой процедуры, которая, в свою очередь, непременно требовала унификации юридической терминологии, установления единой четкой системы понятий.

Также об определенной унификации юридической терминологии в рассматриваемый период свидетельствуют и изменения, происшедшие в жанровой системе римской правовой литературы. Юристы раннереспубликанского периода отдавали предпочтение произведениям, разъяснявшим

1. Юлиан (L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus) ок. 100 г. н.э. —? — один из наиболее известных римских юристов; консул 148 г. н.э., советник императоров Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия и Луция Вера, ученик Яволена Приска, последний глава школы сабинианцев. Около 130 г. н.э. по приказу Адриана составил *Edictum perpetuum*. Произведения: «Дигесты» в 90 кн.; комментарии «К Минцию» и «К Урсею Фероксу». См.: Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 336; Гарсия Гарридо М.Х. Римское частное право: казусы, иски и институты. М., 2005. С. 100; Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник. М., 2008. С. 43–44, 53–54.
2. Ульпиан (Domitius Ulpianus) ? — 228 г. н.э. — блестящий юрист-классик, помощник Папиниана, префект анноны, префект претория, главный советник императора Александра Севера; в 228 г. н.э. убит преторианцами на глазах императора. Отличался ясностью мысли и стиля изложения материала; фрагменты его произведений составляют около одной трети всех «Дигест» Юстиниана. Основные произведения: «Комментарий к эдикту» в 83 кн.; «Комментарий к Сабину» в 51 кн. Помимо этого были написаны монографии, посвященные анализу конкретных сюжетов (*Ad l. Iuliam de adulteriis*, *Ad l. Iuliam et Papiam, De apellationibus, De adulteriis* и др.), группа работ о правомочиях отдельных магистратов (*De officio consularium, De officio proconsulis* и т.д.), «Институции» и т.д. О нем среди бесчисленного множества справочной и учебной литературы см. прекрасную монографию: *Honoré T. Ulpian: Pioneer of Human Rights*. Oxford, 2002.

смысл законов «Законов XII Таблиц» и написанным в жанре, определенном Помпонием как *cunabula iuris*¹, т.е. начала права. К началу же I в. до н.э. наметились перемены, ставшие очевидными, когда сначала Марк Порций Катон написал сочинение, озаглавленное «О цивильном праве», а затем свои труды, также посвященные рассмотрению цивильного права, создали Публий Муций Сцевола, Брут и Маний Манилий. Эти сочинения были написаны под сильным влиянием греческой философии и отличались от предшествовавших им попыткой систематического изложения права. Особенно же в этом преуспел сын Публия Сцеволы — Квинт Муций Сцевола, юрист, консул 95 г. до н.э., написавший труд «О цивильном праве» в 18 книгах и впервые изложивший в нем право, разделив его «по родам и видам». По всей видимости, именно в этом произведении впервые была введена классификация вещей на вещи божественного и человеческого права, а последних — на частные и публичные. Принципиально новый жанр юридической литературы появляется под пером Сервия Сульпиция Руфа, консула 51 г. до н.э., одного из наиболее любимых Цицероном юристов. Среди множества различных произведений им была написана небольшая работа в двух книгах, озаглавленная *Ad Brutum* и представлявшая собой первый в истории римского права краткий комментарий к преторскому эдикту².

Спустя один век после этого ученик Атея Капитона юрист Массурий Сабин написал дидактическое сочинение в трех книгах, озаглавленное «О цивильном праве» и ставшее фактически первым учебником по римскому цивильному праву. В короткой и доступной форме в нем разбирались вопросы наследственного права, затем права лиц, обязательственного и вещного права. Еще чуть меньше, чем через век после Сабина, в 130 г. н.э., юрист

1. D.1.2.2.38 *Pomp. sing. Ench.*: Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur «tripertita», qui liber ueluti cunabula iuris continet: tripertita autem lege dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio.

2. D.1.2.2.44 *Pomp. sing. Ench.*: ...Seruius duos libros ad Brutum perquam breuissimos ad edictum subscriptos reliquit.

Сальвий Юлиан по приказанию императора Адриана на основе всех доступных ему преторских эдиктов составил *Edictum perpetuum*. Эти два памятника юридической мысли — сочинение Сабина и «Вечный эдикт» — во многом предопределили облик всей последующей римской правовой науки: практически все видные юристы классического периода — Помпоний, Павел, Ульпиан и другие — оставляли после себя многотомные «Комментарии к эдикту» и «Комментарии к Сабину». Естественно, что единство комментируемых первоисточников предполагало по меньшей мере схожесть употребляемой юристами лексики, нахождение их в едином семантическом поле.

Наконец, появление и развитие жанра институций также указывают на становление единой системы правовой терминологии: в учебной литературе автор был вынужден излагать материал максимально просто и однозначно и, следовательно, должен был подбирать для этого как можно более техничную и профессиональную лексику. Классическим примером такого сочинения стали как раз процитированные выше «Институции Гая».

Основываясь на сказанном, можно утверждать, что причина появления разного рода дидактических схем, классификаций и обобщений в трудах юристов периода Ранней империи коренится в том, что к этому периоду постепенно вырабатывается профессиональный язык юриспруденции, складывается общее понятийное поле, в рамках которого в дальнейшем развивается римская правовая наука. Применительно к исследуемому понятию это означает, что примерно в период с I в. до н.э. до II в. н.э. складывается и закрепляется «материальное» понимание термина *res publica* в значении «общие» или «публичные вещи». В его состав входили многочисленные статьи имущества общего пользования, как то: дороги, реки, акведуки, мосты, городские стены и т.д. Тот же факт, что само понятие *res publicae* использовалось достаточно редко, объясняется особенностью римской юриспруденции, которая, как правило, имела дело с отдельными делами, частными казусами, где только можно избегая общих понятий

и определений¹. Юристам доводилось разбирать дела, связанные с пользованием публичными дорогами, рынками или мостами, но крайне редко возникала нужда высказываться относительно публичных вещей в целом².

Подводя промежуточный итог сказанному, легко заметить, что коннотации «общее дело» и «достояние народа» ни в коей мере не противоречат друг другу. Напротив, первое из этих значений, как более широкое, в известной степени вбирает в себя второе. Ведь признание неких вещей (дорог, рек, мостов, площадей и т.д.) публичным достоянием подразумевало необходимость общей ответственности за них, а также публичной заботы о поддержании этих вещей в должном состоянии, т.е. как раз «общего дела». Более того, римляне осознавали, что вещи бывают как телесные, так и бестелесные (см. приведенную выше цитату Гая), и под последними они понимали, как правило, обязательства, право наследства или, шире, права, законы, суд, т.е. то, что необходимо должно быть элементом жизни любой общности, считающей себя народом, элементом ее *res publica*, «общего дела» или «народного достояния»³.

1. По этому поводу можно вспомнить знаменитое высказывание Яволена Приска, закрепленное в 50-й книге «Дигест»: *D.50.17.202, Iavolenus XI epist.: Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti posset*. Именно этим, а не некоей злой волей имперских юристов, которые с некими «имперскими целями» ввели «категорию *res publicae* (во множественном числе) и тем самым дали возможность указывать на эмпирически ощущаемые вещи в имперской жизни, стоящие за этим термином» (Хархордин О.В. Республика, или Дело публики. С. 36; см. также схожие рассуждения О.В. Хархордина, но подкрепленные большим количеством цитат в статье: Хархордин О.В. Была ли *Res Publica* вещью? // Неприкосновенный запас. № 55. 2007. С. 97–119), стоит объяснять, с одной стороны, относительно позднее появление понятия *res publicae*, с другой же — редкое его использование.
2. Исключения, впрочем, были. См., например, суждение Ульпиана о видах интердиктов, где раскрывается содержание понятия *res publicae*: *D.43.1.pr., Ulp. LXVII ad ed.: De rebus hominum interdicta redduntur aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, quae nullius sunt. Quae sunt nullius, haec sunt: liberae personae, de quibus exhibendis ducendis interdicta competunt. Quae sunt alicuius, haec sunt aut publica aut singulorum. Publica: de locis publicis, de viis deque fluminibus publicis*.
3. См. классическую цитату Цицерона из диалога *De officiis* (I. 17. 53): *multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates*

Определение «общего дела», данное Цицероном, хотя и было очень сильным, но все же имело свои ограничения и не было универсальным. Требование «разумного согласия о праве», как уже говорилось, подразумевает регулярные гражданские собрания и активное общение граждан как на них, так и вне их. Подобного же рода собрания возможны и действительны лишь в пределах относительно небольшого коллектива. Иначе говоря, социальную реальность гражданской общины (или даже нескольких общин) этим определением описать можно, а реальность огромной империи уже нельзя. Дефиниция Цицерона сохраняла свою актуальность вплоть до начала III в. н.э., когда социально-политическая жизнь Империи подверглась ряду фундаментальных перемен, начавшихся эдиктом Каракаллы 212 г. и закрепленных реформами Диоклетиана (284–303) и Константина (306–337). До начала этих перемен принципиально важной, образующей для всей римской правовой системы была возможность прямой связи простых граждан с властью (будь то претор в республиканский период или император в период Принципата), осуществлявшаяся благодаря юристам. Они консультировали обывателей и судей, помогали формулировать запросы, облакали их в нужную, юридически верную форму и транслировали вверх или вниз, в зависимости от инициатора и адресата запроса, а затем они же истолковывали полученный ответ. Благодаря этой коммуникации, пронизывавшей, по сути, все римское общество, и держалась та самая *res publica*, то правовое согласие, о котором писал Цицерон в одноименном диалоге.

Эта возможность сохранялась и реализовывалась не в последнюю очередь благодаря тому, что число римских

multisque cum multis les rationesque contractae. Ср. с очень близким по содержанию фрагментом из «Шести книг о государстве» Жана Бодена: *République*, I. 2. 5: «Но кроме суверенитета нужно, чтобы было что-либо и общее, и публичное: как публичный домен, публичная казна, окрестности города, улица, стены, площади, храмы, рынки, обычаи, законы, кутюмы, правосудие, награды, наказания и другие подобные вещи, которые или общие, или публичные, или и то и другое вместе: так как это не *Res publica*, если в ней нет ничего публичного» (пер. Е.С. Захаровой под ред. А.В. Мареля).

граждан — не жителей Империи, но людей, обладавших всей полнотой прав и привилегий, входящих в понятие римского гражданства, — было относительно невелико. Эдикт Каракаллы, даровавший гражданство всему населению Империи, нанес жестокий удар существовавшей системе, поставив под вопрос реальность прямой коммуникации граждан и власти. Реформы Диоклетиана и Константина довершили изменения структуры римского общества и окончательно уничтожили описанную выше коммуникацию. Это достаточно легко прослеживается по инскрипциям (адресам) императорских конституций, включенных в позднейшие кодификации, прежде всего в кодексы Феодосия (438) и Юстиниана (529). Императорские постановления более раннего периода были, как правило, адресованы частным лицам и представляли собой классические рескрипты, т.е. ответы императоров на адресованные им жалобы, прошения и запросы. Начиная же с Константина, императорские письма адресуются высшим должностным лицам Империи — префектам претория, префектам города, на худой конец, наместникам провинций или, в качестве альтернативы, — Сенату, народу, палатинам, жителям какой-либо конкретной провинции, т.е. некоей зачастую вполне абстрактной общности, а не отдельным лицам.

С одной стороны, уничтожение связи граждан и верховной власти, а с другой — неимоверное, во множество раз, увеличение количества самих граждан сделали абсолютно невозможным достижение «разумного согласия о праве», чаемого Цицероном. Необходимо было искать другое основание для объединения, по-прежнему называвшего себя «римским народом». Оно было предложено епископом Гиппона Аврелием Августином (354–430) в тексте его знаменитого трактата *De civitate Dei*, некорректно переводимого на русский язык как «О граде Божьем»¹.

В 19-й книге трактата Августин выстраивает критику цicerоновской дефиниции народа, завершая ее своим

1. *Civitas*, как было показано выше, прежде всего не город, а именно гражданская община, т.е. город как сообщество жителей, а не совокупность построек.

предложением по модификации старого определения: «Если же народу дать не это, а другое определение, если сказать, например: „народ есть разумное собрание множества, объединенного сердечным согласием (*concordia*) относительно некоей общности вещей, которые она любит“, в таком случае, чтобы видеть, каков тот или иной народ, нужно обратить внимание на то, что он любит. Что бы, впрочем, он ни любил, если это собрание множества не скотов, но существ разумных и если оно объединено сердечным согласием относительно общности вещей, которые оно любит, оно не без основания называется народом, который будет, конечно, настолько лучше, насколько он единокорен (*concors*) в лучшем, и настолько хуже, насколько единокорен в худшем. Согласно этому нашему определению, римский народ является народом; и вещь его, без сомнения, есть достояние публичное» (*De civ. XIX, 24*)¹.

Можно отметить несколько моментов, как сближающих определение Августина с цицероновской формулировкой, так и разводящих их в стороны. Прежде всего, бросается в глаза, что оба автора воспринимают римский народ как некий единый организм, обладающий политической субъектностью. *Res publica* у них обоих описывается как нечто внутреннее по отношению к народу, имманентное ему, то, без чего народ не может существовать, и одновременно — то, что не существует вне и помимо народа. Но если Цицерон делает больший акцент на «общем деле», объединяющем людей (пусть даже этим делом становится забота о «публичных вещах»), для Августина более важным становится именно вещественная природа рассматриваемого понятия, *res publica* трактуется им как объект любви. Это, по-моему,

1. Перевод дается с моими исправлениями. — *A.M. De civ. XIX. 24: Si autem populus non isto, sed alio definiatur modo, velut si dicatur: «Populus est coetus multitudinis rationalis rerum quas diligit concordi communione sociatus», profecto, ut videatur qualis quisque populus sit, illa sunt intuenda, quae diligit. Quaecumque tamen diligit, si coetus est multitudinis non pecorum, sed rationalium creaturarum et eorum quae diligit concordi communione sociatus est, non absurde populus nuncupatur; tanto unque melior, quanto in melioribus, tantoque deterior, quanto est in deterioribus concors. Secundum istam definitionem nostram Romanus populus populus est et res eius sine dubitatione respublica.*

стало прямым следствием отказа Августина от правовой природы *res publica*. Он подчеркивает, что в языческом обществе невозможно согласие о праве, поскольку оно требует для начала общих представлений о справедливости (*iustitia*), а справедливость покоится в Боге. Соответственно, утверждает гиппонский епископ, если принимать определение народа, предложенное Цицероном и Сципионом, то в отсутствие согласия о праве народ рассыпается. Без народа же исчезает и «достояние народа», превращаясь в достояние какой-то толпы, недостойной иного имени¹.

Таким образом, точкой расхождения Цицерона и Августина стал спор о конституирующем принципе, т.е. о том, что именно лежит в основе любого политического объединения, претендующего на имя народа. Прямым следствием этого, как уже было показано выше, стало разное понимание ими того, что есть *res publica*. Там, где Цицерон выделяет рациональное проговаривание правил общежития и поддержание принципа гражданской добросовестности, Августин выдвигает вперед эмоциональное начало. Рациональное начало, по его мнению, присуще каждому человеку в отдельности, но оно не способно выступить триггером какого-либо политического объединения. Напротив, эмоция, а точнее, любовь к некоей общей вещи (*res publica*) как раз объединяет людей, сплачивает их, делает единым целым, одним народом². Иными словами, Цицерон говорит, что *res publica* надо делать, Августин же утверждает, что ее нужно любить.

Позднейшие приверженцы политического августицизма разовьют эту мысль, утверждая, что подобным *предметом общей любви* может быть и человек, а именно король

1. *De civ. XIX. 2r*: Quocirca ubi non est vera iustitia, iuris consensu sociatus coetus hominum non potest esse et ideo nec populus iuxta illam Scipionis vel Ciceronis definitionem; et si non populus, nec res populi, sed qualiscumque multitudinis, quae populi nomine digna non est.
2. Отдельно отмечу, что у Августина речь идет о единении в любви к некоей общей вещи, а вовсе не «сердечное согласие братьев во Христе», как об этом пишет Хархордин в своей книге: *Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. С. 37. В противном случае получается, что настоящим народом может быть только народ Христов, а Августин открыто утверждает совершенно обратное.

(природа слова *res* позволяет прочитывать его и подобным образом). В таком случае народ становится народом лишь тогда, когда объединяется в любви к своему королю. В случае же восстания против него, равно как и в случае предательства, совершенного народом по отношению к королю, народ перестает быть таковым, превращаясь в лишнюю всякой субъектности толпу. Впрочем, неизменно верно и обратное — как уже говорилось, *res publica* не живет вне и помимо народа, что в данном контексте означает, что король остается таковым только тогда, когда с любовью и с подобающей строгостью правит своим народом.

Определение Августина и, шире, его концепция любви как триггера всякого политического объединения¹ оказались более востребованными и актуальными, нежели изначальная дефиниция Цицерона. Дело в том, что формула римского оратора прекрасно работает лишь в относительно небольших коллективах. Да, Цицерон нигде не прописывал территориального ограничения понятия «народ» и, как следствие, понятия *res publica*, но оно вытекало из самой его логики. Ведь если нашим «общим делом» становится реитеративное проговаривание и коллективное осмысление практик общежития, то это требует относительно небольшого (в количественном и территориальном отношении) состава гражданской общины. Представить себе подобные рационализирующие практики в объеме огромной империи просто невозможно. Замена же их на фактор эмоциональной общности, очевидно, снимает это ограничение. Даже в Древнем мире было понятно, что сердечное согласие относительно предмета общей любви вовсе не требует ни личных встреч соглашающихся друг с другом или с предметом их любви, ни даже личного знакомства. Любить нечто общее вполне можно, даже находясь на огромном расстоянии друг от друга.

1. Именно всякого: можно вспомнить классическое его рассуждение о различии *civitas Dei* и *civitas terrena*, в русском переводе «града Божьего» и «града земного». Они, пишет прелат, объединены двумя родами любви: первый — любовью к Богу, доходящей до презрения к себе, второй — любовью к себе, доходящей до презрения к Богу.

Подводя итоги раздела, можно постулировать, что к середине V в. н.э. сформировались два основных подхода к тому, что есть *res publica*. В рамках первого из них, принадлежащего Цицерону, это понятие трактовалось как «общее дело» и подразумевало наличие между членами политической общности — народа — рационального согласия относительно того, что такое право и по каким правилам им следует выстраивать свою жизнь. Еще одной гранью «общего дела», отраженной не только у Цицерона, но и в текстах римско-правовой традиции, в том числе и вошедших в состав Свода Юстиниана, было понимание того, что у народа (или, уже, у гражданской общины — *civitas*) есть некий объем общих (или публичных) вещей — *res publicae*. В их отношении «общим делом» становилась забота о них, поддержание в надлежащем порядке дорог, скотопрогонных путей, акведуков, мостов, стен, площадей и т.д. В рамках второй трактовки, сформулированной прежде всего Аврелием Августином, *res publica* воспринималась как общий объект любви и единение, в том числе политическое, достигалось как раз благодаря любви к этому объекту.

При этом обоих авторов объединяет понимание *res publica* как начала, имманентного по отношению к народу (*populus*), который и является единственным актором политического поля. Собственно, именно наличие «общего дела» или, если следовать Августину, «общего предмета любви» и делает из разрозненного множества людей народ — единый, обладающий субъектностью, способный к совершению солидарных действий и к назначению своих представителей-магистратов, выступающих от его имени.

На протяжении последующих нескольких веков можно проследить сначала постепенное угасание интереса к феномену *res publica* (или, как его стали писать в Средние века, *respublica*), а затем возрождение, связанное во многом с комплексом процессов в европейской культуре, известных как «Ренессанс XII века». Это не могло не отразиться и на судьбе понятия «народ». С одной стороны, превалирующей методологической рамкой его осмысления в этот период оставалась цицеронианско-августинианская парадигма.

С другой же — видно, как на фоне серьезнейшего упадка интеллектуальной культуры — в частности, тексты Цицерона на несколько столетий практически выпали из оборота, их перестали читать и комментировать — деградировала и мысль о народе. Формулировки Цицерона и Августина, безусловно, знали, но, поскольку фрагмент из *De re publica* был известен только в контексте августиновского трактата¹, они иногда подвергались весьма любопытным трансформациям, смешиваясь друг с другом.

Достаточно ярким примером, иллюстрирующим сказанное, можно счесть труды Исидора Севильского, одного из так называемых «последних римлян», человека энциклопедически образованного, автора знаменитых «Этимологий», или «Начал в 20 книгах»². На протяжении всего своего творчества Исидор крайне редко обращался к теме народа, еще реже — к понятию *respublica* (оно у него употреблялось всего 2 раза). Определение Августина он, безусловно, знал, что ясно из фрагмента его «Этимологий»³. Как видно из приведенной в сноске цитаты, у испанского прелата выпущено слово *coetus*, фигурирующее в обеих исходных дефинициях. В оставшейся же части определения остался цицеронианский *consensus iuris*, а «общность пользы» оказалась заменена словосочетанием *communio concordi*, т.е. искаженной «общностью сердечного согласия». В свою очередь, «вещей, которые любит *humana multitudo*», т.е. объекта августиновского сердечного согласия, в определении Исидора тоже нет. Очевидно, что Исидор цитировал

1. О судьбе в средневековой традиции комментируемых фрагментов Цицерона см. статью: *Kempshall M. S.* De Republica 1,39 in *Medieval and Renaissance Political Thought // Cicero's Republic / Ed. by J.A. North and J.G.F. Powell.* London, 2001. P. 99–135.
2. О жизни и творчестве Исидора см. относительно недавнюю монографию Елены Марей и ряд разделов в коллективном труде «Теология и политика...»: *Ауров О.В., Марей Е.С.* Теология и политика. Власть, церковь и текст в Королевствах Вестготов (V — начало VIII в.): Исследования и переводы. М., 2017; *Марей Е.С.* Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления о праве и правосудии. М., 2014.
3. *Isid. Etym. IX. 4. 5–6:* Populus est humanae multitudinis, iuris consensu et concordi communionem sociatus.

нужное ему определение наизусть, не сверяясь с рукописью, — только так можно логично объяснить возникшую в его тексте контаминацию двух разных определений. В результате, что естественно, и родилась полубессмысленная формула, практически не получившая дальнейшего развития¹.

Схожий вариант эволюции Цицеронианского понимания народа можно найти в творчестве Фомы Аквинского (1225–1274), о собственной концепции которого дальше будет сказано гораздо подробнее. В одном из комментариев на книгу Псалмов Аквинат, размышляя о том, являются ли иудеи народом Божиим и чем они как такой народ отличаются от прочих народностей (*gentes*), вспоминает определение Цицерона. Правда, в трактовке Фомы оно звучит как «множество людей, связанных согласием о праве»²: из исходной дефиниции пропадают как *собрание* (*coetus*), так и «общность пользы», а то право, относительно которого соглашаются члены народа, трактуется как закон Божий. Отвлекаясь немного в сторону, отмечу, что из критериев, выделявшихся Цицероном, именно «общность пользы» страдала более всего в последующей рецепции. Причину этого однозначно установить сложно, однако рискованно предположить, что понимание *communio utilitatis* было напрямую связано с бытованием гражданской общины полисного типа.

1. Отмечу, что отечественным исследователем С.В. Рассадиным была предпринята достаточно смешная и наивная попытка «реабилитации» Исидоровой дефиниции народа. Он предлагает свой «перевод» приведенной в предыдущей сноске фразы: «Народ — это человеческое множество, объединенное по общему договору законом и согласием» (Рассадин С.В. Становление модели 'Populus Christianus'. «Метасоциальный» порядок Средневековья // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2017. № 1. С. 48). Причем, нимало не стесняясь, он использует для своего «перевода» раскатыченную цитату из книги В.И. Уколовой, где та не переводит Исидора, но дает свою интерпретацию его концепции (Уколова В.И. Античное наследие и культура Раннего Средневековья. М., 1989. С. 242).
2. *Super Psalmo 2, n. 1.*: Populus est multitudo hominum juris consensu sociata. Et ideo Judaei dicuntur populus, quia cum lege et sub lege Dei sunt. Alii dicuntur gentes, quia non sunt sub lege Dei. Alii dicuntur gentes, quia non sunt sub lege Dei.

Идеальная политическая форма

Еще в римской культуре сформировались представления о *res publica* как некоем теле¹, но римляне никогда не прописывали их полностью, целостной корпоральной метафоры не возникало. Причиной этого следует считать тот факт, что основным (а временами и единственным!) действующим лицом в политике и правотворчестве для римлян выступал народ, о чем говорилось выше. Именно он осознавался как некая целостность, имеющая определенную форму. На долю *res publica* в этом контексте оставались в основном содержательные коннотации — ее, как правило, нельзя было потрогать и даже увидеть (если речь не шла о конкретных публичных вещах, конечно). Поэтому и корпоральные метафоры воспринимались как нечто вторичное, орнаментальное.

Ситуация изменилась с закреплением христианства как официальной, а потом и единственно допустимой религии в Империи. Благодаря тому, что образ Церкви как тела содержался в Первом послании Павла к Коринфянам (1 Кор. 12:12–14), а это Послание, в свою очередь, было одним из самых читаемых и цитируемых текстов Нового Завета, корпоральные метафоры стали весьма популярны в христианском мире. Еще одним фактором, который нельзя не упомянуть, стало фактическое исчезновение из европейской интеллектуальной культуры всего массива классической философии как минимум с конца VI — начала VII в. На протяжении нескольких веков, вплоть до так называемого «Ренессанса XII века»², основным (а временами и единственным) источником понятийной, терминологической, образной систем для европейских интеллектуалов осталось лишь Священное Писание. В отсутствие переведенных сочинений Платона и Аристотеля, в отсутствие речей и иных

1. На это, в частности, указывает О.В. Хархордин, упоминая метафору «*nervi rei publicae*» и ссылаясь при этом на речи Цицерона и на фрагменты «Дигест» Юстиниана (*Хархордин О.В.* Была ли *Res Publica* вещью? С. 97–119).
2. См. одноименную работу американского исследователя, по сути давшую свое имя упомянутому периоду: *Haskins C.H.* The Renaissance of the Twelfth Century. New York, 1927.

сочинений Цицерона, Ливия, Тацита и др. даже сочинения Отцов Церкви (того же Августина) читались «одномерно», с них считывался слой, восходящий к Библии, остальное же терялось. Наконец, разрушение полисного строя, упадок и гибель многих европейских городов, исчезновение на Западе империи (не как образа, но как геополитической реальности) тоже способствовали упрощению и вульгаризации политико-философских и правовых представлений, свойственных предшествующей эпохе. Мысль о *res publica* замерла на несколько столетий, а когда вернулась, понятие воспринималось уже по-иному. *Respublica* стала пониматься как тело.

Одна из наиболее ярких иллюстраций этого — знаменитый «Поликратик» Иоанна Солсберийского. Во 2-й главе 5-й книги трактата его автор описывает *respublica*, ссылаясь при этом на так называемое «Наставление Траяну» — латинский трактат конца IV — середины V в., авторство которого Иоанн приписывает Плутарху¹, — как «некое тело, что одушевляется благодеянием Божественной щедрости, движется волей высшей справедливости и управляется кормилом разума»². Головой этого тела Иоанн называет правителя³, сердцем — сенат⁴, душой — священников⁵. Описание тела

1. О трактате псевдо-Плутарха «Наставления Траяну» см. подробнее: *Desideri S. La* «Institutio Traiani». Genova, 1958; *Elsmann T.* Untersuchungen zur Rezeption der Institutio Traiani. Ein Beitrag zur Nachwirkung antiker und pseudoantiker Topoi im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Stuttgart, 1994; *Kloft H., Kerner M.* Die Institutio Traiani: Ein pseudo-plutarchischer Text im Mittelalter. Text — Kommentar — Zeitgenössischer Hintergrund. Stuttgart, 1992, а также мою недавнюю статью, где я, в частности, обращаюсь к этому источнику: *Марты А.В.* Бог, Король и Земля: Три облика души народа // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. Вып. 14 (2019). С. 343–344.
2. *Policrat. V. 2*: Est autem res publica, sicut Plutarco placet, corpus quoddam quod diuini muneris beneficio animatur et summae acquitatis agitur nutu et regitur quodam moderamine rationis.
3. *Policrat. V. 6*: Dictum est autem principem locum obtinere Capitis, et qui solius mentis regatur arbitrio.
4. *Policrat. V. 9*: Cordis locum, auctore Plutarco, senatus optinet.
5. *Policrat. V. 2*: Ea uero quae cultum religionis in nobis institunt et informant et Dei (ne secundum Plutarcum deorum dicam) ceremonias tradunt, uicem animae in corpore rei publicae obtinent. Illos uero, qui religionis cultui praesunt, quasi animam corporis suspicere et uenerari oportet.

respublica продолжается в следующей, шестой книге «Поликратика», где возникают дополнительные подробности. Так, руками политического тела становятся рыцари (рука вооруженная) и судебные оффициалы (рука безоружная)¹, ногами же — земледельцы и разного рода ремесленники². По поводу последних Иоанн остроумно замечает, что их «столько, что *respublica* превосходит количеством своих ног не только восьминогих крабов, но даже и стоногих существ»³.

Обращает на себя внимание тот факт, что, говоря о *respublica*, перечисляя функции разных социальных групп в общем (политическом) теле, Иоанн нигде не использует понятия «народ». Разумеется, он знает слово *populus* и применяет его, но ни разу не дает ему определения и не пишет о нем специально. Народ не имеет в «Поликратике» никаких особенных функций и вообще практически ничего не делает. На него способны влиять грехи и пороки правителя⁴, его можно взбунтовать против *respublica*⁵, но

1. *Policrat. VI. 1*: Manus itaque rei publicae aut armata est aut inermis. Armata quidem est quae castrensem et cruentam exercet militiam; inermis quae iustitiam expedit et ab armis feriendo iuris militiae seruit. <...> Armata itaque manus in hostem dumtaxat exercetur, at inermis extenditur et in ciuem. Porro utriusque necessaria est disciplina, quia utriusque solet insignis esse malitia.
2. *Policrat. VI. 20*: Pedes quidem qui humiliora exercent officia, appellantur, quorum obsequio totius rei publicae membra per terram gradiuntur. In his quidem agriculturalum ratio uertitur qui a terrae semper adherent siue in sationalibus siue in consitiuis siue in pascuis siue in floreis agitentur. His etiam aggregantur multae species lanificii artesque mecanicae, quae in ligno ferro ere metallisque uariis consistunt, seruiles quoque obscundationes et multiplices uictus acquirendi uitaeque sustentandae aut rem familiarem amplificandi formae, quae nec ad praesidendi pertinent auctoritatem et uniuersitati rei publicae usquequaque proficiunt.
3. *Policrat. VI. 20*: Haec autem tot sunt ut res publica non octipedes cancros sed et centipedes pedum numerositate transcendat, et quidem prae multitudine numerari non possunt, cum tamen non infinita sint per naturam, sed quia tam uariae figurae sunt ut nullus umquam officiorum scriptor in singulas species eorum specialia praecepta dederit.
4. *Policrat. IV. 5*: Frequens enim est ut subditi superiorum uitia imitentur, quia magistratui populus studet esse conformis, et unusquisque libenter appetit in quo alium cemit illustrem. (cfr.: *Policrat. VI.29* et al.)
5. *Policrat. VI. 25*: Sunt autem plurima quae maiestatis infomiant crimen, ut si de morte principis tractetur aut magistratum, aut arma quis contra patriam tulerit aut relicto principe de publico bello profugerit aut concitatum in seditionem aduersus rem publicam sollicitauerit populum,

самостоятельных действий он не совершает. По сути дела, народа как некоего целого в «Поликратике» просто нет.

Складывается парадоксальная ситуация, в которой *respublica* есть, а народа нет. То есть *respublica* уже не может быть определена ни как «общее дело», ни как «общее достояние», поскольку нет того субъекта, делом или достоянием которого она должна была бы быть. Таким образом, она предстает в «Поликратике» как некая политическая форма, как родовое обозначение политического сообщества.

Очень похожим образом трактовал *respublica* и Фома Аквинский, концепция которого отличается, по сравнению с «Поликратиком», большей детализацией и четкостью. Именно с его именем следует связывать кардинальные перемены в понимании как *respublica*, так и народа, произошедшие в средневековой политической мысли, а затем в известной степени сформировавшие мысль Нового времени¹.

Рассматривая понятие *respublica* в творчестве Аквината, можно обратить внимание на несколько примечательных деталей. С социально-политической точки зрения *respublica* для него представляет собой политическое сообщество². Исходя из приведенного контекста, можно предположить с известной долей вероятности, что Фома обозначает этим

cuiusue opera doloue malo hostes populi reique publicae commeatu armis telis pecunia quae alia re adiuuantur uel ex amicis hostes rei publicae fiunt, cuiusue dolo malo opera factum erit quo magis obsides pecunia dentur aduersus rem publicam, quo minus etiam gens extraneae regionis rei publicae obtemperet; fecerit item qui confessum in iudicio reum propter hoc in uincla coniectum emiseric; et in hunc modum plurima quae longum aut impossibile est enarrare.

1. Подробный анализ социальной теории Фомы я провел в статье, опубликованной несколько лет назад (*Marey A. From People to Community: A Description of the Social Order by Thomas Aquinas. Part 1: Populus, Respublica, Multitudo // Russian Sociological Review. Vol. 15 (2016). No. 4. P. 162–175*); здесь я лишь кратко изложу основные аргументы.
2. *ST, I-II, q. 100 a. 5 co.*: Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est, sicut praecepta legis humanae ordinant hominem ad communitatem humanam, ita praecepta legis divinae ordinant hominem ad quandam communitatem seu rempublicam hominum sub Deo. Ad hoc autem quod aliquis in aliqua communitate bene commoretur, duo requiruntur, quorum primum est ut bene se habeat ad eum qui praeest communitati; aliud autem est ut homo bene se habeat ad alios communitatis consocios et participes.

словом не какой-то конкретный *вид* политического сообщества, но таковое как класс. *Respublica* могло быть названо практически любое сообщество, несмотря на его размер, расположение или структуру, — Церковь, к примеру, Аквинат тоже несколько раз определяет как *respublica omnium Christianorum*¹. При этом у *respublica* в теории Фомы всегда есть благо, иногда называемое *bonum commune*, т.е. «общее благо»², и всегда есть цель, которую обязаны защищать все, кто определяет себя как члена данного сообщества³. Управляться такая *respublica* может практически как угодно (например, ей может править король, может — император, князь (*princeps*) или даже народ (*populus*)), и это никак не влияет на ее суть в глазах Фомы. Это, в свою очередь, еще раз прямо указывает на то, что понятием *respublica* Аквинат мог называть вообще любое политическое объединение, будь то империя, королевство или республика в современном значении этого слова.

Аквинат определяет *respublica* не только с социально-политической, но и с онтологической позиции. С такой точки зрения он описывает *respublica* как форму, в то время как охватываемая ею общность людей определяется им как материя⁴. На этом образе стоит остановиться подробнее. Как

1. *ST, II-II, q. 187 a. 4 co.; Contra impugnantes, pars 2 cap. 6 co.*

2. *Super Sent., lib. 4 d. 38 q. 2 a. 4 qc. 1 ad 1; Contra Gentiles, lib. 3 cap. 151 n. 3; ST, I-II, q. 61 a. 5 arg. 4; ST, II-II, q. 32 a. 6 co.; Quodlibet XI, q. 10 a. 2 co.; etc.*

3. *Contra Gentiles, lib. 3 cap. 144 n. 4; Contra Gentiles, lib. 3 cap. 151 n. 3; Quodlibet XI, q. 10 a. 2 co.; etc.*

4. *Quodlibet VIII, q. 3 co.* Ponit enim haec opinio quod utrumque, scilicet et quod ex alimento generatur, et quod a parentibus trahitur, indifferenter et aequaliter forma humana perficitur, et utrumque indifferenter manet vel consumitur; manet quidem secundum speciem, consumitur autem et restauratur secundum materiam. Sicut in aliqua republica diversi homines numero ad communitatem pertinent, quibusdam morientibus, et aliis in locum eorum succedentibus; et sic non manet una respublica secundum materiam, quia sunt alii et alii homines; manet tamen una numero quantum ad speciem sive formam, propter ordinis unitatem in officiis distinctis: ita etiam in corpore humano manet caro et os unaquaeque partium eadem numero quantum ad speciem et formam quae consideratur in determinato situ et virtute et figura; non autem manet quantum ad materiam: quia illa materia carnis, in qua talis forma erat, prius consumpta est, et alia in locum eius successit; sicut patet de igne qui continuatur secundum

у формы (в аристотелевской терминологии) у *respublica* не может быть ни начала, ни конца, она никогда не рождается и никогда не умирает, что означает, что она вечна. Все же изменения, которые могут быть замечены в *respublica* с течением времени, относятся к ее материальной стороне, т.е. к народу, так как один человек может умереть, другой — родиться. Меняются люди, но остается неизменной идеальная форма. То есть еще до анализа концепта «народ» в теории Аквината можно отметить, что его *respublica* — это нечто принципиально иное, нежели у Цицерона и Августина. Сходство же с теорией Иоанна Солсберийского подсказывает, что причину этого отличия нужно искать скорее не в классической философии, но в христианском богословии.

Переходя к разговору о народе (*populus*), можно начать с того, что Аквинат никогда, ни разу не упоминает о том, что народ может выступать как законодатель внутри *respublica*. Единственным исключением можно считать фрагмент из «Суммы теологии» (*STh, I-II, q. 97 a. 1 co.*), но и там Фома не излагает собственные мысли, но цитирует Августина. В остальном ситуация с понятием «народ» у Аквината выглядит во многом схожей с описанной выше концепцией Иоанна Солсберийского. Аквинат практически нигде в своем творчестве не обращается непосредственно к народу и не разбирает *populus* как понятие, хотя и использует его весьма часто. Чаще всего, говоря о народе, Фома определяет его как «множество людей», никак не расшифровывая и не углубляя этого определения¹. Народ, по его мнению, должен управляться священниками, князьями (*principes*) или королями², а один раз Фома даже называет

eamdem formam et modum, per hoc quod consumptis quibusdam lignis alia supponuntur quae ignem sustinent. Et secundum hanc opinionem, de utroque praedictorum indifferenter, scilicet generato ex alimento et a parentibus tracto, tantum resurget, quantum est necessarium ad speciem et quantitatem debitam humani corporis. См. также: *Super Sent., lib. 4 d. 44 q. 1 a. 2 qc. 4 co.*

1. *Super Sent., lib. 3 d. 6 q. 2 a. 1 ad 3; ST, I, q. 39 a. 3 co.; Sententia Metaphysicae, lib. 5 l. 8 n. 3.* etc.
2. *ST, I-II, q. 105 a. 1 s.c.; ST, II-II, q. 174 a. 6 ad 2; Quodlibet II, q. 6 a. 1 co.; Quodlibet III, q. 5 a. 2 arg. 5;* etc.

его «вещью короля»¹. Также достаточно часто слово «народ» употребляется им, чтобы обозначить простонародье, противопоставляемое в таком случае аристократии². Наконец, еще одно значение термина *populus* отсылает читателя к пониманию Аквином Церкви как сообщества верующих. Словосочетания «народ Божий», «народ верных» или «верный народ» достаточно часто употребляются им в его произведениях³, однако нигде не разбираются подробно.

Лишь трижды за все время своего творчества Аквинат обращался к прямым определениям понятия *populus*, и каждый из этих случаев достоин отдельного разбора. У них есть как минимум одна общая черта, а именно то, что ни один из этих фрагментов не посвящен непосредственно народу — напротив, во всех трех случаях «народ» служит Фоме лишь примером для иллюстрации того или иного утверждения. Есть и еще один момент, который тоже стоит упомянуть: ни один из этих фрагментов не принадлежит к числу политических текстов Аквината и не входит в их состав. То есть понятие *populus* хотя и существует для Фомы, но не относится к числу принципиально важных и дискуссионных.

В первом из упомянутых фрагментов, включенном в состав первой книги «Комментариев к Сентенциям Петра Ломбардского», Фома рассуждает о том, что коллективное имя (*nomen collectivum*) подразумевает, с одной стороны, множественность означаемых, с другой же — наличие некоего общего принципа или критерия их объединения⁴.

1. *Super Sent.*, lib. 2 d. 33 q. 1 a. 2 ad 5.

2. См., например: *De regno*, I. 2: Si vero iniquum regimen exerceatur per multos, democratia nuncupatur, id est potentatus populi, quando scilicet populus plebeiorum per potentiam multitudinis opprimat divites. Sic enim populus totus erit quasi unus tyrannus.

3. См.: *Super Sent.*, lib. 4 d. 4; *Super Sent.*, lib. 4 d. 8; *ST*, I-II, q. 102 a. 6; *ST*, II-II, q. 87 a. 1 co.; *ST*, II-II, q. 99 a. 1 ad 2. etc.

4. *ST*, I, q. 31 a. 1 ad 2: Ad secundum dicendum quod nomen collectivum duo importat, scilicet pluralitatem suppositorum, et unitatem quandam, scilicet ordinis alicuius, *populus enim est multitudo hominum sub aliquo ordine comprehensorum*. Quantum ergo ad primum, hoc nomen Trinitas convenit cum nominibus collectivis, sed quantum ad secundum differt, quia in divina Trinitate non solum est unitas ordinis, sed cum hoc est etiam

В качестве примера он приводит понятие *народ*, которое определяет как *совокупность людей, объединенных вместе каким-либо образом*. Подробнее эта мысль раскрывается во втором из трех отобранных фрагментов, где Фома утверждает, что народ сохраняет свое единство не только в пространстве, но и во времени благодаря трем факторам: общей территории проживания, общим законам и общему образу жизни. Ссылается он при этом на третью книгу «Политики» Аристотеля, незадолго до того переведенную на латынь¹.

Внешне это определение народа может показаться похожим на те, что были выдвинуты Цицероном и Августином. Однако скрепы, собирающие людей в один народ, согласно теориям двух названных авторов, имеют характер внутренних по отношению к самому народу. И разумное согласие, построенное на воспроизводящихся ритуалах проговаривания правил общежития, и сердечное согласие, в основе которого лежат практики политического эмоционализма, возникают внутри коллектива, порождаются самим его существованием и не требуют наличия какого бы то ни было внешнего контроля. В то же время три критерия объединения, выдвинутые Аквинатом, имеют внешний характер по отношению к народу: ни территория, ни законы от него не зависят, а «образ жизни» представляется описательной категорией, включающей в себя ряд бытообразующих практик, сложившихся под влиянием окружающей среды и т.д. Как следствие, если для Цицерона и Августина народ видится *субъектом* политической, правовой и религиозной жизни, для Аквината он предстает *объектом*, претерпевающим те или иные формирующие воздействия на него со стороны правителя, территории или природы.

unitas essentiae. Подробный разбор этой дефиниции см. в классической работе: Congar Y. *Ecclesia* et «populus (fidelis)» dans l'ecclésiologie de S. Thomas // St. Thomas Aquinas: 1274–1974. Commemorative Studies / Ed. by Armando Maurer. Toronto, 1974. P. 159–174.

1. *De spiritualibus creaturis, a. 9 ad 10*. Ad decimum dicendum quod sicut fluvius Sequana non est hic fluvius propter hanc aquam fluentem, sed propter hanc originem et hunc alveum, unde semper dicitur idem fluvius, licet sit alia aqua defluens; ita est idem populus non propter identitatem animae aut hominum, sed propter eandem habitationem, vel magis propter easdem leges et eundem modum vivendi, ut Aristoteles dicit in III Politic.

В третьем фрагменте Фома рассуждает о Церкви, уподобляя ее народу. Он выделяет два типа объединений (*congregatio*) людей: экономическое и политическое, относя Церковь ко второму типу. Критерием для деления становится принадлежность людей, входящих в эти объединения: если они все из одного домохозяйства, перед нами экономическая общность, если из одного народа — политическая. Церковь же, замечает Фома, подобна политическому объединению, поскольку она и есть народ¹. Но даже в этом определении, наиболее близком из всех остальных к теме политического, Аквинат отказывает народу в субъектности. Народ оказывается нужен ему лишь для указания на тот источник, откуда берутся люди, составляющие то или иное объединение.

Получается, что народ для Фомы Аквинского уже не является субъектом политического действия. Более того, в текстах великого доминиканца народ как нечто единичное тоже отсутствует, его подменяют разного уровня *совокупности* (*multitudo*), как и народ, лишённые субъектности, как и народ, определяющиеся по тем или иным внешним признакам. В этом смысле весьма характерным и показательным выглядит фрагмент из «Вопросов о чем угодно», приведенный выше², в котором Фома обращается к понятию *respublica*.

Причины подобной объективации народа следует искать в возвращении в политическую мысль Европы философии Аристотеля. Очевидно, что для самого Стагирита народ не существовал как понятие, поскольку греческий *demos*, как уже говорилось, означал скорее простонародье, нежели всю совокупность граждан полиса. С другой

1. *Super Sent., lib. 4 d. 20 q. 1 a. 4 qc. 1 co.*: Sed in Ecclesia tota est indeficientia meritorum praecipue propter meritum Christi; et ideo solus ille qui praeficitur Ecclesiae, potest indulgentiam elargiri. Sed cum Ecclesia sit congregatio fidelium; congregatio autem hominum sit duplex; scilicet oeconomica, ut illi qui sunt de una familia; et politica, sicut illi qui sunt de uno populo; Ecclesia similatur congregationi politicae, quia ipse populus Ecclesia dicitur. См. также разбор этого пассажа в упоминавшейся выше статье Ива Конгара: *Congar T. Ecclesia* et 'populus (fidelis)' dans l'ecclésiologie de S. Thomas.

2. См. прим. 4 на с. 50.

стороны, для концепции полиса принципиальную важность имело понятие территории и, как следствие, границ. Введение же в концепцию *populus* пространственного аргумента, как одного из образующих народ факторов, перенесло ее центр тяжести с человеческих взаимоотношений на территорию обитания этих людей. Собственно, люди при такой постановке вопроса стали вторичны по отношению к земле, больше того: они стали восприниматься как *принадлежность земли*, то, что произрастает на ней и, как следствие, составляет один объект, на который распространяется право собственности короля. В свою очередь, появление короля как обязательной фигуры собственника логично повлекло за собой и введение еще одного элемента в концепцию народа — законов, даваемых королем, которые объединяют людей и перед лицом которых все люди представляют собой один народ. Отсюда — от идеи ограниченной территории, охваченной законами, общими для всех ее обитателей, — оставался всего один шаг до образа модерного государства.

Перед тем как его сделать, необходимо сказать несколько слов о еще одной коннотации понятия *respublica*, развивавшейся в рамках средневековой политической публицистики, прежде всего французской. На материале анализа латинского анонимного трактата «Спор между священником и рыцарем» и его французского перевода второй половины XIV в., включенного в состав знаменитого «Сна садовника», Мария Пономарева убедительно показывает, что в исходном тексте *respublica* понималась вполне в русле августинианско-цицеронианской парадигмы, как «источник и цель политического взаимодействия различных членов, от короля и рыцаря до городов и священников»¹, т.е. как «общее дело», объединяющее все королевство в единое целое. При переводе на французский, однако, понятийное единство раскалывается. *Respublica* или переводится непосредственно как «публичная вещь» (*chose publique*), или

1. См.: Пономарева М.А. 'Patria' и 'Respublica' во французской политической публицистике XIV века // Философия. Журнал Высшей школы экономики. № II (3). 2018. С. 55.

используется для обозначения политического объединения, будь то империя или королевство. В этом случае рассматриваемое понятие «становится в один ряд с *le pays* и *le peuple*, а его место занимает классическое понятие общего блага — *le bien commun*»¹.

Таким образом, подводя итоги раздела, можно отметить, что в период высокого и затем позднего Средневековья понятие *respublica* претерпевает ряд серьезных изменений. В схоластической парадигме, представленной в статье Иоанном Солсберийским и Фомой Аквинским, а за пределами текста еще несколькими авторами, *respublica* начинает описываться как политическая форма, существующая автономно от народа. Народ при этом лишается своей субъектности и описывается как множество людей, объединенных общей территорией, законами и образом жизни, либо же просто не удостоивается никакого определения. Его роль вместо творца политики (как это виделось Цицерону и Августину) сводится к претерпевающей, а в предельном значении к роли королевского имущества. При этом, отмечу, в источниках упорно повторяется формулировка, согласно которой народ состоит не только из простолюдинов, но из представителей всех имущественных и социальных страт. В сочетании с предыдущим аргументом этот приводит к тому, что как «вещь короля» рассматриваются не только крестьяне, но и рыцари, и священники, и знать.

В подобной трактовке народа и *respublica* нельзя не увидеть предчувствия, интуиции, пока еще неясной, современного государства и сопутствующей ему абсолютной монархии. Возможно, именно поэтому трактовка и народа, и *respublica*, предложенная Фомой и развитая его последователями, достаточно долгое время оставалась в тени исходной цicerонианско-августинианской концепции. «Ее время» настало лишь в эпоху раннего Нового времени, в XVI–XVII вв., когда интеллектуалам, осмыслявшим

1. Пономарева М.А. 'Patria' и 'Respublica' во французской политической публицистике XIV века // Философия. Журнал Высшей школы экономики. № II (3). 2018. С. 55.

новые реалии рождающегося европейского государства, пришлось создавать новый понятийный аппарат или отчасти приспособливать старый, переопределяя привычные уже понятия.

Когда *respublica* — это государство

Автономизация *respublica* и фактически исчезновение концепта народа суть отличительные черты политической концепции одного из наиболее ярких представителей европейского томизма XVI в., основателя Саламанкской школы Франсиско де Витории (1483–1546). Прозванный учениками «Сократом своего времени», Витория не оставил после себя трактатов, зато сохранились записи его лекций, сделанные студентами. К проблеме понятия *respublica* Витория напрямую обращается несколько раз, в лекции о гражданской власти (1528) и во второй (из двух) лекции об индейцах и о праве войны (1539). Начну я со второй лекции из названных, поскольку именно в ней он дает определение понятию *respublica*.

Короче всего, говорит Витория, было бы сказать, что *respublica* есть совершенная общность. Но это сразу же вызовет вопрос о том, а что такое совершенная общность¹. Отвечая на него, Витория по сути формулирует первую европейскую теорию суверенитета, почти за 40 лет до знаменитых «Шести книг о государстве» Жана Бодена. Он отмечает, что совершенство подразумевает полноту, и, следовательно, когда *respublica* называют совершенной общностью, имеют в виду, что она не составляет часть другой *respublica*, имеет свои законы, свое правительство и своих чиновников².

1. *DI-2.7: Ad hoc breviter respondetur quod respublica proprie vocatur perfecta communitas. Sed hoc ipsum est dubium quae sit perfecta communitas.*
2. *DI-2.7: Pro quo notandum, quod perfectum idem est quod totum. Dicitur enim imperfectum cui aliquid deest, et contrario perfectum, cui nihil deest. Est ergo perfecta respublica aut communitas, quae est per se totum, id est, quae non est alterius reipublicae pars, sed quae habet proprias leges, proprium consilium et proprios magistratus, quale est regnum Castellae et Aragoniae et principatus Venetorum et alii similes. Nec enim obstat quin sint plures principatus et reipublicae perfectae sub uno principe.*

Как видно из латинского текста в сноске, Витория перехватывает республиканскую терминологию Цицерона, но использует ее уже в совершенно ином контексте. По сути дела, его *respublica* — это уже знакомое нам европейское раннемодерное государство: у него есть своя территория, свои законы, за счет чего оно независимо от иных подобных ему, свои правители и свои чиновники, которых Витория называет магистратами.

Согласно лекции о гражданской власти¹, *respublica* возникает, с одной стороны, из человеческой природы, подразумевающей потребность всякого человеческого сообщества в управлении и во власти, с другой же — волею Бога, от которого исходит всякая власть². Как и в более поздней лекции, Витория подчеркивает здесь самодостаточность *respublica*, ее автаркичность, выражающуюся в том, что ее материальная причина лежит в ней самой и, следовательно, ей подобает самой управлять собой и направлять все свои власти к общему благу³.

При этом, по утверждению Витории, хотя *respublica* и имеет власть над своими частями, она не может ее реализовать, ибо власть не может реализовываться *совокупностью* (*multitudo*), для этого нужны специально поставленные люди, один или несколько⁴. Ставит этих людей сама *respublica*, которая, по меткому выражению Витории, создает себе

1. См.: *Vitoria F. Relecciones Teologicas* / Ed. Teófilo Urdañoz. Madrid, 1960; русский перевод см.: *Витория Ф., Марей А.В.* Лекция о гражданской власти // Социологическое обозрение. № 12 (3). 2013. С. 52–75.
2. *DPC.5: Patet ergo fontem et originem civitatum rerumque publicarum non inventum esse hominum, neque inter artificia numerandum, sed tanquam a natura profectum, quae ad mortalium tutelam et conservationem hanc rationem mortalibus suggestit. DPC.7: Constitutione ergo divina respublica hanc potestatem habet.*
3. *DPC.7: Causa vero materialis, in qua hujusmodi potestas resided iure naturali et divino, est ipsa respublica, cui de se competit gubernare seipsam et administrare, et omnes potestates suas in commune bonum dirigere.*
4. *DPC.8: Quia cum respublica potestatem habeat in reipublicae partes, haec autem potestas per ipsam multitudinem exerceri non potest (non enim commode posset leges condere atque edicta proponere, lites dirimere et transgressores punire), necesse ergo fuit ut potestatis administratio alicui aut aliquibus commendaretur, qui huiusmodi curam gerent, et nihil refert, uni an pluribus commendetur.*

короля. Здесь таится один из самых сложных и плохо проговоренных моментов: *respublica* не может передать королю власть, ибо власть принадлежит не ей, но дается Богом. Она может передать королю лишь *авторитет* (*auctoritas*), т.е. признание за ним права осуществлять над подданными эту власть¹. У самой же общности, составляющей *respublica*, власть в этот момент, по всей видимости, исчезает, ибо Витория отдельно подчеркивает, что никакой двойственности — власть короля и власть общности — не возникает, ибо власть всего одна и всегда едина.

Таким образом, в силу самой человеческой природы, дружелюбной и склонной к общению, возникает общность (*communitas*) или, на худой конец, совокупность (*multitudo*). Единожды возникнув, такая общность порождает в себе *respublica*, чему способствует естественное стремление к власти и необходимость ее иметь. Однако *respublica*, обладая властью над самой собой, не имеет достаточно возможностей, чтобы реализовывать ее — для этого ей необходим правитель, которого она и создает. Обращает на себя внимание то, что единственным актором в этой ситуации остается сама *respublica*, а потом, после создания ею короля, — уже король. Народ (*populus*) не появляется ни на одном из описанных этапов, в результате чего *respublica* в концепции Витории — это уже в полном смысле слова *respublica* без народа.

Жан Боден

Еще один образец перехвата цicerонианской лексики и создания образа *respublica* в реалиях раннего Модерна дает Жан Боден в своих «Шести книгах о государстве». В самом начале первой книги он определяет понятие *respublica* (*République*) как «правильное управление многими

1. *DPC.8*: Videtur ergo quod regia potestas sit non a republica, sed ab ipso Deo, ut catholici doctores sentiunt. Quamvis enim a republica constituatur (creat namque respublica regem) non potestatem, sed propriam auctoritatem in regem transfert, nec sunt duae potestates, una regia, altera communitatis. *DI-2.6*: Princeps non est nisi ex electione reipublicae. Ergo gerit vicem et auctoritatem illius. Imo iam ubi sunt legitimi principes in republica, tota auctoritas residet penes principes...

домохозяйствами и тем, что у них есть общего, осуществляемое суверенной властью»¹. Уже из первых строк книги становится ясно, что у Бодена есть как положительный образец, следуя за которым он во многом (хотя и не во всем) описывает свою *respublica*, так и отрицательный, с которым он полемизирует. Роль последнего играет образ политики, описанной Платоном и Аристотелем². В их описании, отмечает Боден, не хватает сразу трех важнейших элементов всякой правильной *respublica*, а именно: понятия домохозяйства, понятия суверенитета и определения того, что в государстве есть общего, т.е. публичных вещей³. Все это французский юрист находит у своего «положительно-го героя» — Цицерона, республиканская теория которого и берется им за образец.

Следуя за Цицероном, Боден, в отличие от Витории, проблематизирует домохозяйство (*famille, mesnage*)⁴, делая его основной структурной единицей *respublica*. Может возникнуть ощущение, что он отходит от идеи Цицерона,

1. *République*, I.1: République un droit gouvernement de plusieurs mesnages & de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine.
2. Споры Бодена с Платоном и Аристотелем, равно как и упреки, обрушиваемые им на их головы, возможно, имеют достаточно простое объяснение: Боден создает «Шесть книг...» в полемике с Франсуа Отманом, в ответ на знаменитую «Франкогалию» последнего. Отман, превозносивший свободу и проповедовавший необходимость ограничения королевской власти, отказывался брать за образец Рим, поскольку в образе Рима он видел не республиканскую свободу, но имперское рабство, которое Цезарь принес свободным галлам. Напротив, идеалом для Отмана стали греческие полисы, описываемые им как родина подлинной гражданской свободы. Боден, что естественно, берет за основу республиканскую модель Цицерона, доказывая тем самым неправоту Отмана.
3. République, I.1.4: C'est pourquoi les anciens appelaient République, une société d'hommes assemblés, pour bien et heureusement vivre; laquelle définition toutefois a plus qu'il ne faut d'une part, et moins d'une autre: car les trois points principaux y manquent, c'est à savoir, la famille, la souveraineté, et ce qui est commun en une République: ioint aussi que ce mot, «heureusement», ainsi qu'ils entendaient, n'est point nécessaire: autrement la vertu n'aurait aucun prix, si le vent ne soufflait toujours en roupe.
4. О понятии «домохозяйство» у Бодена см. недавно вышедшую статью Гульнарды Баязитовой: Баязитова Г. О понятиях 'семья' и 'домохозяйство' в политической теории Жана Бодена // Социологическое обозрение. № 18 (4). 2019. С. 130–148.

который говорил не о домохозяйствах, но о «людях». Однако необходимо помнить о том, что те «люди», которых в определении римского оратора должны объединять согласие относительно права и общность пользы, суть не кто иные, как римские домовладыки, *patresfamilias*, и что за каждым из них стоит его домохозяйство (*familia*).

Можно выделить еще несколько пунктов, по которым Боден если и не совпадает с Цицероном, то по крайней мере не спорит с ним. Помимо понимания *respublica* как объединения домохозяйств, Боден проговаривает необходимую общность, которую можно при желании трактовать как «общность пользы», предложенную Цицероном. При этом стоит обратить внимание на то, что критерий «общего», которое должно объединять людей под суверенной властью, повторяется им и в определении домохозяйства, открывающем вторую главу¹. Показательно и то, что власть домовладыки в этом определении занимает то же место, которое в определении *respublica* отводится Боденом суверенной власти, что позволяет некоторым исследователям делать вывод о том, что суверенная власть рождается у Бодена в домохозяйстве². Впрочем, и сам Боден говорит об этом практически прямым текстом, называя хорошо выстроенное домохозяйство «настоящим подобием государства», а домашнюю власть — подобием суверенной власти³.

Есть у Бодена и понимание того, что настоящая *respublica* должна быть основана на законах — на это как раз и указывают самые первые слова его определения *respublica*, когда он говорит о том, что это «правильное управление»⁴.

1. *République, I.2.1*: Mesnage est un droit gouvernement de plusieurs subject, sous l'obeissance d'un chef de famille, et de ce qui luy est propre.
2. См. об этом: Баязитова Г. О понятиях 'семья' и 'домохозяйство' в политической теории Жана Бодена. С. 141–143; см. также приведенную там библиографию.
3. *République, I.2.1*: Tout ainsi donc que la famille bien conduite est la vraie image de la République et la puissance domestique semble à la puissance souveraine, aussi est le droit gouvernement de la maison le vrai modelle du gouvernement de la République.
4. Любопытно, что О.В. Хархордин упрекает Бодена как раз в том, что тот потерял «согласие в вопросах права» (*Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. С. 57).

Уже во втором абзаце первой главы он поясняет это, говоря: «мы сказали „правильное управление“, чтобы обозначить различие, которое существует между государствами и шайками разбойников и пиратов, с которыми не следует вступать в общение и заключать торговых или союзных отношений, как это всегда соблюдалось во всяком хорошо устроенном государстве...»¹. Стоит, правда, отметить, что издание законов, согласно Бодену, вовсе не является прерогативой народа — напротив, это одно из основных прав суверенной власти, к вопросу о которой я вернусь чуть ниже.

Наконец, объединяет Бодена с Цицероном и их позиция относительно того, что в *respublica* должны существовать публичные вещи, каковые, по мнению французского юриста, суть «...публичный домен, публичная казна, окрестности города, улица, стены, площади, храмы, рынки, обычаи, законы, кутюмы, правосудие, награды, наказания и другие подобные вещи, которые или общие, или публичные, или и то и другое вместе: так как это не Res publica, если в ней нет ничего публичного»². Боден опирает свой перечень на известную ему цитату из диалога Цицерона «Об обязанностях», несколько видоизменяя ее в соответствии с реалиями французской жизни второй половины XVI в.

На этом, однако же, сходства между концепциями Бодена и Цицерона заканчиваются и уступают место различиям, а точнее, одному кардинальному отличию, которое порождает все остальные. Речь идет о понятии суверенитета

1. *République, I. 1. 2*: Nous avons dit en premier lieu, droit gouvernement, pour la différence qu'il y a entre les Républiques et les troupes des voleurs et pirates, avec lesquels on ne doit avoir part, ni commerce, ni alliance: comme il a toujours été gardé en toute République bien ordonnée...

2. *République, I. 2. 5*: Mais outre la souveraineté, il faut qu'il y ait quelque chose de commun, et de public: comme le domaine public, le thresor public, lo pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places, les temples, les marchés, les usages, les loix, les coustumes, la justice, les loyers, les peines, et autres choses semblables qui sont ou communes ou publiques ou l'un et l'autre ensemble: car ce n'est pas République s'il n'y a rien de public. Ср. с перечнем Цицерона, приведенным в *De officiis (I. 17. 53)* (см. прим. 3 на с. 37).

(*souveraineté / majestas*), сформулированном Боденом, и о производном от него понятии суверенной власти. Для Бодена это понятие самоценно, он помещает его в самый центр своей концепции, в то время как для Цицерона такого понятия, что естественно, не существовало и существовать не могло¹. Суверенная власть — вот то, что по-настоящему объединяет домохозяйства и «то, что у них есть общего» в единый народ и, как следствие, в единую *respublica*. Без нее, которую Боден называет «главным основанием любого государства»², не было бы никакого объединения и, соответственно, не было бы и *respublica*.

Как видно из приведенного в сноске определения, основными характеристиками суверенной власти выступают ее вечность и абсолютный характер. Следовательно, утверждает Боден, суверенной может считаться лишь та власть, носитель которой обладает ею безусловно и не отчитывается в своих действиях ни перед кем, кроме Бога. Это условие автоматически выводит из круга суверенных правителей всех, кому власть была вручена на определенный срок или на тех или иных условиях. Ни один выборный правитель, равно как и ни один назначенный, по сути не могут быть суверенами, поскольку представляют интересы того или тех, кто их выбрал или назначил. Не может быть признан сувереном также и диктатор, который, хотя и обладает неограниченной, практически абсолютной властью, все же избран на конкретный срок, ни какой-либо иной

1. Об отличии римской традиции понимания власти от последовавшей за ней христианской см. мою недавнюю статью и цитированную там библиографию: *Морей А.В.* О Боге и Его наместниках: Христианская концепция власти // *Полития. Анализ и прогноз.* № 93 (2). 2019. С. 85–107, особенно же: *Buc P.* L'ambiguïté du livre. Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age. Paris, 1994; *Costa P.* Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100–1433). Milano, 1969; *Kamptz H.* «Potestas» // *Thesaurus Linguae Latinae.* Vol. X. 2. Lipsiae, 1982. P. 300–321; *Magdelain A.* Ius. Imperium. Auctoritas. Etudes du droit romain. Roma, 1990; *Münscher K.* «Auctoritas» // *Thesaurus Linguae Latinae.* Vol. VII. Lipsiae, 1982.
2. *République, I. 8. 1.* Le fondement principal de toute République. La souveraineté est la puissance absolue et perpetuelle d'une République que les Latins appellent majestatem <...>, c'est à dire la plus grande puissance de commander.

магистрат или, по выражению Бодена, комиссар¹. С другой стороны — парадоксально, но факт, — тиран, взявший власть против права и закона, является сувереном, поскольку получает власть в полном объеме и не отчитывается ни перед кем².

Соответственно, в тех случаях, когда Боден говорит о назначенных или выбранных правителях, у него возникает на заднем плане фигура суверена, причем зачастую таковым сувереном становится народ. При этом Боден нигде не проблематизирует фигуру народа и тем более не проговаривает понятия *народного суверенитета* как чего-то особенного, не анализирует его происхождения, как это позже делает Руссо. Однако необходимо отметить, что сама возможность существования народа как суверена Боденом уже вполне отмечается. В остальном же народ в теории Бодена хотя и есть, но занимает в основном подчиненную позицию и не производит никаких осознанных действий.

Тезис о принципиальной неделимости суверенной власти, мешающей назвать сувереном, как уже было отмечено, любого правителя, обладающего властью на каких-либо условиях или на какой-нибудь срок, приводит Бодена к последовательной критике знаменитой теории смешанного правления, сформулированной Полибием, а затем Цицероном. Критика эта состоит из двух основных частей: отрицания собственно смешанной формы и встречного

1. *République, I. 8. 2:* Ces maximes ainsi posées comme les fondements de la souveraineté, nous conclurons que le dictateur romain, ni l'harmoste de Lacedemone, ni l'esymnete de Salonique, ni celui qu'on appelloit archus à Malte, ni la balie ancienne de Florence, qui avoyent mesme charge, ni les regents des royaumes ni autre commissaire ou magistrat qui eust puissance absolüe à certain temps pour disposer de la republique, n'ont point eu la souveraineté, ores que les premiers dictateurs eussent toute puissance et en la meilleure forme que faire se pouvoit, que les anciens Latins disoyent *optima lege...*
2. *République, I. 8. 7:* Je di que si le magistrat souverain et annuel seulement, ou bien à quelque temps prefix et limité, vient a continuer la puissance qu'on luy a baillée, il faut que ce soit de gré à gré ou par force; si c'est par force, cela s'appelle tyrannie; et neantmoins le tyran est souverain, tout ainsi que la possession violente du predateur est vraye possession et naturelle, quoyqu'elle soit contre la loy; et ceux qui l'avoient auparavant en sont dessaisis.

предложения Бодена в области политического анализа. В начале второй книги своего трактата Боден настаивает на том, что существуют лишь три основные формы *République*, а именно монархия, аристократия и народное правление¹. Характерно, что для обозначения формы правления Боден использует понятие *estat de République*, что в латинской версии его трактата соответствует *status Rei publicae*². Утвердив тезис о трех формах правления, он переходит к критике как древних (Платон, Аристотель, Полибий, Цицерон), так и более современных ему (Макиавелли, Мор, Контарини), утверждавших преимущества смешанной формы правления. Основанием для критики становится уже упомянутый тезис о неделимости и неограниченности суверенитета: ведь если власть разделить между представителями монархического начала, аристократами и народным собранием, кто из них будет сувереном? Боден приходит к однозначному мнению, что в случае любого смешанного правления реальным сувереном будет лишь народ, т.е. по сути любая смешанная форма будет демократией, искаженной примешанными к ней чуждыми элементами. Отдельно отмечу, что неприятие у Бодена вызывает и описанная Полибием структура римской политики: невозможно, утверждает он, считать консулов представителями монархии, ведь монархия едина и не терпит деления власти внутри себя. В Риме можно говорить о бинархии, но и в этом случае крайне сложно

1. *République, II. 1*: Puis que nous auons dit de la souueraineté: & des droits & marques d'icelle, il faut voir en toute Republique, ceux qui tiennent la souueraineté, pour juger quel est l'estat: comme si la souueraineté gist en un seul Prince, nous l'appellerons Monarchie: si tout le peuple y a part, nous dirons que l'estat est populaire: s'il n'y a que la moindre partie du peuple, nous jugerons que l'estat est Aristocratique: & userons de ces mots pour euite la confusion & obscurité qui prouient de la varieté des gouverneurs bons ou mauvais, qui ont donné occasion a plusieurs de mettre plus de trois sortes de Republicues...
2. Подробный разбор понятия *état* во французском языке см. в статье Доменика Кола: Хархордин О.В., Скинер К., Кола Д. Понятие государства в четырех языках. СПб., 2002. С. 75–113, особенно с. 83–96 применительно к использованию термина у Бодена. Я не во всем могу согласиться с автором и коллективом переводчиков, когда они трактуют *état* в одном из значений как «политический режим», но, возможно, такая трактовка вызвана к жизни еще до конца не устоявшимся терминологическим узусом Бодена.

предположить наличие у консулов суверенитета. То же относится и к Сенату, заставляя предположить, что в Риме была типично народная форма правления (*estat populaire*)¹.

В качестве альтернативы теории смешанного правления Боден предлагает теорию политических режимов. С этой целью он вводит различие понятий «государство» (*estat*) и «правительство» (*gouvernement*), которое он иначе называет «режимом правления» или «политическим режимом» (*reigle de police*)²: «Ведь, разумеется, есть различие между государством и правительством, т.е. режимом управления, чего ранее никто не касался. Ведь государство может быть монархическим, а управляться тем не менее народом, если правитель делает сопричастными правлению, магистратурам, должностям и наградам всех, невзирая на знатность, богатства или добродетели. Может также быть, что монархия будет управляться аристократически, когда правитель допускает к правлению и наградам лишь знатных, либо наиболее добродетельных, либо наиболее богатых...»³. Ключевое различие формы и режима видится

1. *République, II. 1*: ...Ils ont aussi mis pour exemple l'estat des Romains, qu'ils disent auoir esté meslé de l'estat royal, populaire & aristocratique: & qu'ainsi soit, dit Polybe, on void la puissance royale és consuls, l'aristocratie au Senat, la demotie aux estats du peuple: Denys d'Halicarnas, Ciceron, Contarin, & quelques autres ont suyui ceste opinion, qui n'a point d'apparence <...> & n'y a doute quelconque, que l'estat des Romains, depuis qu'on donna la chasse aux rois, ne fust populaire, horsmis deux annees que les dix commissaires establis pour corriger les coustumes, changerent l'estat populaire en aristocratie ou, pour dire plus proprement, en Oligarchie...
2. Отвлекаясь несколько в сторону, отмечу, что это различие, хотя и в ином, нежели у Бодена, ключе, стало одним из важнейших интеллектуальных инструментов современной европейской политической философии, в основном правого толка. «Государство» видится в ней искусственно созданной машиной, надстройкой над обществом, предназначение которой в том, чтобы усмирять конфликты и обеспечивать нейтральность публичного пространства; «правительство» опознается как естественный результат развития общества, нуждающегося в управлении. См. об этом, например: *Negro Pavón D. Historia de las formas del estado. Una introducción*. Madrid, 2010 и цитированную там библиографию.
3. *République, II. 2*: Car il y a bien difference de l'estat, & du gouvernement: qui est une reigle de police qui n'a point esté touchée de personne: car l'estat peut estre en Monarchie, & neantmoins il sera gouuerné populairement, si le Prince fait part des estats, magistrats, offices & loyers egalements à tous sans auoir esgard à la noblesse, ny aux richesses, ny à la vertu. Il se peut

Бодену в том, что форма сама по себе не меняется и, будучи установлена единожды, может лишь смениться другой (монархия — правлением немногих, например). Объединить две или все три формы вместе невозможно. Режим правления же, напротив, представляет динамический элемент данной классификации, он может меняться (и зачастую меняется) без какого-либо вреда для формы государства. Таким образом, Боден получает политическую (или следует сказать — политологическую?) классификацию, значительно более гибкую и адаптивную, нежели существовавшая раньше в рамках республиканской традиции.

Даже если не выходить за терминологические рамки, предлагаемые самим Боденом, и считать, что режим правления может быть единовластным, аристократическим или демократическим, мы получаем уже девять возможных модификаций, поскольку каждая из трех форм государства может функционировать в любом из трех предлагаемых режимов. У этой теории есть лишь один недостаток с точки зрения данного исследования: она совершенно не республиканская и, более того, построена на последовательной и методически выверенной критике республиканизма.

Томас Гоббс

Бодену во многом, хотя и с оговорками, наследует в своей теории Томас Гоббс. Его концепцию можно логично разбить на две части: о народе он говорит в трактате «О гражданине», о государстве, для обозначения которого он использует английское *Commonwealth*, — в «Левифане». Именно там, в 17-й главе, давая определение своей *Commonwealth*, Гоббс делает оговорку, позволяющую утверждать, что до того момента ведущее значение сохраняла

faire aussi que la Monarchie sera gouvernee aristocratiquement, quand le Prince ne donne les estats & benefices qu'aux nobles, ou bien aux plus vertueux seulement, ou aux plus riches... Что любопытно, в латинском языке понятию *estat de République* соответствует выражение *status Rei publicae*, а понятию *gouvernement* и вводимому Боденом словосочетанию *reigle de police* — терминологическая пара *gubernatio* и *ratio imperandi*.

августинианско-цицеронианская парадигма¹, в рамках которой народ виделся основным, а иногда и единственным субъектом политического действия. И именно эту трактовку Гоббс и преодолевает, выстраивая альтернативную ей теорию народа и совокупности.

Как и прежде у Аврелия Августина, Гоббс «народу» (*populus*) противопоставляет «совокупность» (*multitudo*), которая, однако, обрела здесь свою концептуализацию и стала понятием не менее, а может, и более важным, чем собственно «народ». Он отталкивается от понятия *совокупности*, чтобы от него затем перейти к народу. *Multitudo* понимается им как множество людей, не имеющих единой воли и не способных к единому действию. Таким образом, *совокупность* не может заключать договоры, давать обещания или совершать иные правовые действия — напротив, любое ее действие будет иметь силу лишь в том случае, если каждый из составляющих ее людей выразит соответствующую волю. Иными словами, *multitudo* не является естественным лицом (*persona naturalis*) и не может участвовать в правовом процессе². В случае же если все члены *совокупности* заключат договор каждый с каждым и в результате

1. Не зря Томас Гоббс, давая свое знаменитое определение Левиафана в одноименном трактате, начинает его со слов о том, что предлагаемая им форма социального и политического единения «*is more than Consent, or Concord*». В этой формуле *Consent* — это, очевидно, цицеронианский *consensus iuris*, в то время как *Concord* — августинианская *concordia*. *Leviathan*, II. 17: This is more than Consent, or Concord; it is a reall Unitie of them all, in one and the same Person, made by Covenant of every man with every man, in such manner, as if every man should say to every man, «I Authorise and give up my Right of Governing my selfe, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition, that thou give up thy Right to him, and Authorise all his Actions in like manner». This done, the Multitude so united in one Person, is called a COMMON-WEALTH, in latine CIVITAS.
2. *De cive*, VI, *Annotatio*: Multitudo, quia vox collectiva est, significare intelligitur res plures, ut hominum multitudo idem sit quod multi homines. Vox eadem quia numeri est singularis, unam rem significat, nempe unam multitudinem. Ad neutro modo intelligitur multitudo habere unam voluntatem a natura datam, sed alius aliam. Neque ergo attribuenda illi est una actio, quaecunque ea sit. Itaque promittere, pacisci, jus acquirere, jus transferre, facere, habere, possidere, & similia, multitudo non potest, nisi sigillatim sive viritim, ut sint promissa, pacta, jura, actiones, tot quot sunt homines. Quapropter multitudo persona naturalis non est.

договора *совокупность* получит единую волю, ее скорее нужно называть народом¹.

В противоположность *совокупности*, народ предстает у Гоббса единым лицом, обладающим единой волей и могущим совершать единые же действия². В рамках политического сообщества эти две сущности вполне могут сосуществовать: *совокупность* всегда подчиняется, тогда как народ всегда правит³. В аристократии, как утверждает Гоббс, правит народ, который представляет собой курию или сенат, тогда как подчиняется собрание граждан, которые и есть *совокупность*. Даже больше того, говорит он: в монархии складывается совершенно парадоксальная картина, когда король — это народ, в то время как его подданные — *совокупность*⁴. Наконец, еще несколькими строками ниже звучит программное утверждение о том, что *cives* — это *multitudo*, тогда как *civitas* — *populus*⁵.

Обращаясь к пониманию Гоббсом *политического сообщества*, вернемся к приведенному выше его определению из 17-й главы. Согласно ему, такое сообщество, называемое по-английски *Commonwealth*, а на латыни *Civitas*, представляет собой органическое единство, возникшее в результате

1. *De cive, VI, Annotatio*: Caeterum eadem multitudo, si viritim paciscantur, fore ut unius alicujus hominis voluntas, vel majoris partis ipsorum voluntates consentaneae, pro voluntate omnium habeantur, tunc persona una sit: voluntate enim praedita est, ideoque actiones facere potest voluntarias, quales sunt imperare, leges condere, jus acquirere & transferre & caetera; & populus saepius quam multitudo dicitur.
2. *De cive, XII, 8*: Populus est unum quid, unam habens voluntatem, & cui actio una attribui possit.
3. *De cive, XII, 8*: Populus in omni civitate regnat <...> Multitudo vero cives sunt, hoc est subditi.
4. *De cive, XII, 8*: Et in Monarchia, subditi sunt multitudo, & quamquam paradoxum sit, rex est populus.
5. *De cive, XII, 8*: ...Cives contra civitatem, hoc est, multitudo contra populum... Cfr.: *Du contrat social, I, 6*: Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés ils prennent collectivement le nom de peuple, et s'appellent en particulier citoyens comme participant à l'autorité souveraine, et sujets comme soumis aux lois de l'Etat.

объединения многих людей в одно целое¹. Прежде чем продолжать, отмечу важный, по моему мнению, терминологический момент. Томас Гоббс прекрасно владел латинским языком, писал на нем ничуть не хуже, чем на своем родном. И, следовательно, когда он приравнивал понятие *Commonwealth* не к *Respublica*, что казалось бы очевидным, но именно к *Civitas*, он сделал это намеренно.

Ключ к ответу на этот вопрос, как представляется, лежит в латинском тексте «Левиафана», где последняя фраза приведенного в сноске фрагмента выглядит следующим образом: *Quo facto, Multitudo illa una Persona est, & vocatur Civitas & Respublica*. Гоббс, как видно из цитаты, не просто сближает два рассматриваемых термина, но приравнивает их, делает синонимами. *Respublica* для него представляет уже не некое «общее дело» или «общее достояние», как предлагали древние, но непосредственно совокупность граждан, *Civitas* как гражданскую общину. Здесь стоит вернуться на несколько строк назад и вспомнить, что в трактате «О гражданине» Гоббс синонимизирует понятия *Populus* и *Civitas*, народ и гражданскую общину, политическую общность и форму ее манифестации. Добавив к этому синонимическому ряду еще и *Respublica*, мы получаем конструкцию, в рамках которой народ оказывается идентичен и форме своего проявления, и объединяющему его принципу, он предстает единым целым, имеющим свою цель и видящим свой смысл непосредственно в самом себе и, как следствие, автаркичным, самодостаточным, не нуждающимся во внешних референтах. Отсюда уже остается даже не шаг, но полшага до концепта народного суверенитета, разработанного веком позже Ж.-Ж. Руссо.

Подобная формула объединения и правда представляется схожей с тем, что ранее предлагали Цицерон и Августин,

1. *Leviathan, II. 17*: This is more than Consent, or Concord; it is a reall Unities of them all, in one and the same Person, made by Covenant of every man with every man, in such manner, as if every man should say to every man, «I Authorise and give up my Right of Governing my selfe, to this Man, or to this Assembly of men, on this condition, that thou give up thy Right to him, and Authorise all his Actions in like manner». This done, the Multitude so united in one Person, is called a COMMON-WEALTH, in latine CIVITAS.

но превосходит их силой и, если угодно, цельностью. Это очевидно ясно из предыдущего пассажа. Если у римского оратора и гиппонского прелата народ видел свою цель в некоем общем деле или в любви к общей вещи, т.е. в чем-то непосредственно присущем ему, но все же объективированном по отношению к нему, то у философа из Мальмсбери цель народа покоится в нем самом и достигается это посредством действия, обозначенного по-английски словом *Covenant of every man with every man*, на латыни *factum uniuscuiusque cum unoquoque*, а на русский не вполне удачно переведенного как «договор каждого с каждым». Неудача перевода видится в том, что понятие «договор» или же «соглашение каждого с каждым» не передает во всей полноте мысли, вложенной Гоббсом в его термин *Covenant*.

Оставляя в стороне подробный анализ «теологии ковенанта», возникшей и активно развивавшейся в Англии периода ранних Стюартов¹, отмечу здесь лишь два момента. Во-первых, это понятие для Гоббса влекло за собой сильнейшую богословскую нагрузку: в «Библии короля Якова», впервые опубликованной в 1611 г., слово *Covenant* было употреблено почти 300 раз (292, если быть точным), из них 26 раз только в Книге Бытия, и использовалось для передачи на английском языке еврейского понятия *ברית*, т.е. «завет», договор, заключенный Богом с избранным народом Израиля. В латинском переводе Библии Иеронима этому понятию в примерно равной пропорции были сопоставлены слова *factum* и *foedus*, первое из которых традиционно обозначало мирное соглашение, как правило лишенное исковой защиты в суде и соблюдающееся в силу принципа

1. О так называемой «теологии ковенанта» с богословской точки зрения см.: *Horton M.* *Introducing Covenant Theology*. Grand Rapids, 2009; об истории понятия *Covenant* и о роли теологии ковенанта в становлении англо-американской политической мысли Нового времени см.: *Gould P.* *Covenant and Republic: Historical Romance and the Politics of Puritanism*. Cambridge, Massachusetts, 1996; *Passerín d'Entreves A.* *The Notion of the State. An Introduction to Political Theory*. 2nd ed. Oxford, 1969; *Skinner Q.* *From Humanism to Hobbes: Studies in Rhetoric and Politics*. <http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/324593/default> (January 21, 2019); *Smith A.* *The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant, and Republic*. Oxford, 2008.

добросовестности (*bona fides*), второе же использовалось для обозначения союзных договоров, заключавшихся разными племенами с Римом. Таким образом, *Covenant* представлял собой не просто некое соглашение, но устанавливающий, конституирующий договор, посредством которого из рассеянных по земле иудеев возник избранный Богом народ.

Это значение было тем очевиднее для читателей «Левиафана», что сразу за упоминанием этого соглашения и его формулы Гоббс пояснял, что это и есть «происхождение этого великого Левиафана, или скорее (говоря с большим почтением) того *смертного бога*, которому мы обязаны под бессмертным Богом нашим миром и защищенностью»¹. В Библии Бог посредством *Covenant*'а создал избранный народ, облеченный его помощью и защитой, здесь же, на земле, люди, заключая подобное соглашение, дают жизнь *земному богу*.

Во-вторых, нужно обратить внимание как на формулу соглашения, приведенную в цитате из «Левиафана», так и на определение понятия *Covenant*, которое Гоббс дает несколько раньше. Человек, вступающий в подобное соглашение, согласно Гоббсу, говорит следующее: «Я даю право управлять мною и авторизую действия того человека или того собрания людей при условии, что ты передашь ему свое право и авторизуешь его действия в той же манере». В этой формулировке обращает на себя внимание, во-первых, что она обращена не к правителю или правителям, а к другому человеку, во всем равному говорящему, вступающему в эти отношения. Правитель, о котором я скажу ниже, предстает здесь третьим лицом, с кем непосредственно никто и ни о чем не договаривается. Во-вторых, что отмечает и сам Гоббс в 14-й главе «Левиафана»², *Covenant* представляет собой весьма своеобразную модель соглашения — это

1. *Leviathan*, II. 17: This is the Generation of that great LEVIATHAN, or rather (to speake more reverently) of that Mortall God, to which wee owe under the Immortall God our peace and defence.
2. *Leviathan*, I. 14: Again one of the Contractors, may deliver the Thing contracted for on his part, and leave the other to perform his part at some determinate time after, and in the mean time be trusted; and then the Contract on his part, is called PACT, or COVENANT: Or both

обещание, обращенное в будущее. Человек, вступающий в подобное соглашение, обязуется отдать право на управление им самим и всем ему принадлежащим некоему третьему лицу или группе лиц, не получая в этот момент ничего взамен. То, что он ждет в обмен на свое обещание, представляет собой ожидание-в-будущем, ожидание, которое может сбыться, но может и нет.

До этого момента концепция Гоббса могла бы трактоваться как достаточно любопытная, но все же модификация республиканской теории, описывающая создание политического субъекта, т.е. «народа». Однако уже следующая фраза, в которой Гоббс обращается к возникающей фигуре правителя, «того человека или того собрания лиц», в адрес которого отчуждаются права отдельных людей, ярко показывает, что перед нами не республиканский мыслитель. Ибо «тот, кто заботится о возникающем лице, называется *суверенным правителем*, и говорится, что он обладает *суверенной властью*; все же остальные называются *подданными*»¹. Как и в случае с Жаном Боденом, чье влияние на политическую теорию Гоббса представляется очевидным, появление концепта *суверенной власти* путает все республиканские расклады, поскольку, напомним, само это понятие уже отрицает возможность распределения власти и, как следствие, ответственности внутри сообщества. Суверен, безусловно, может делегировать свои полномочия, назначая тех или иных лиц на исполнение определенных обязанностей. Но власть этих лиц — магистратов — не будет суверенной, ибо они ей будут обязаны третьему лицу, т.е. правителю.

Важно отметить и еще одно обстоятельство, мешающее трактовать концепцию Гоббса как извод республиканской теории. Вступая в политическое сообщество, что можно сделать двумя путями — под воздействием силы или

parts may contract now, to performe hereafter: in which cases he that is to performe in time to come, being trusted, his performance is called Keeping of Promise, or Faith...

1. *Leviathan*, II. 17: And he that carryeth this Person, is called SOVERAIGNE, and said to have soveraigne power, and every one besides, his SUBIECT.

страха (например, подчинение детей отцу или побежденных победителю) или доброй волей (собственно, случай *Covenant*'а как разумного выбора свободных людей¹), — человек передает другому не только все свои права, но даже ответственность за свои действия. Именно эта степень единения, непредставимая не только у Цицерона, но даже у Августина, и позволяет объединяющимся создать по сути единое тело, способное к единым действиям. Обратной же стороной такого объединения становится одиночество индивида, решающегося хотя бы помыслить себя отдельно от Левиафана². Отдав в результате соглашения все свои права кроме права на жизнь, человек остается уже не гражданином, но именно что биологическим индивидом, незащитным в своем одиночестве. Гражданская солидарность оказывается мифом: ведь хотя соглашение и заключает «каждый с каждым», но гарантом и основным бенефициаром его оказывается не контрагент заключающего *Covenant* человека, но тот третий, который сам в договор не вступает и, следовательно, не отвечает по нему. И поэтому в случае какого бы то ни было, пусть потенциального конфликта преследующим оказывается Левиафан, противостоящим же ему — несчастный, запуганный и лишенный собственных прав индивид.

Если не увлекаться внешней стороной метафор, предлагаемых Гоббсом, а отметить общее, рациональное, содержащееся в них, то можно увидеть, что Гоббс предвосхитил Ж.-Ж. Руссо в его знаменитом пассаже о политическом организме. Народ предстает в его теории уже не постоянным, но некоторым образом «мерцающим» субъектом. Иными

1. *Leviathan*, II. 17: The attaining to this Sovereigne Power is by two wayes. One, by Naturall force; as when a man maketh his children, to submit themselves, and their children to his government, as being able to destroy them if they refuse; or by Warre subdueth his enemies to his will, giving them their lives on that condition. The other, is when men agree amongst themselves, to submit to some Man, or Assembly of men, voluntarily, on confidence to be protected by him against all others. This later, may be called a Politicall Common-wealth, or Common-wealth by *Institution*; and the former, a Common-wealth by *Acquisition*.
2. См., например, книгу Артемия Магуна: *Магун А.В. Единство и Одиночество. Курс политической философии Нового времени.* М., 2011.

словами, когда граждане не участвуют в политических процедурах, а ведут свою частную, повседневную жизнь, они представляют собой *совокупность*, а не народ. В этом состоянии они рассматриваются исключительно как частные лица, собранные вместе на какой-то территории под чьим-то управлением и подчиняющиеся чьим-либо законам. Тогда же, когда они включаются в управление государством, создают законы или договариваются об иных моментах, связанных с политической жизнью, — иными словами, ведут себя как единое целое, как публичный организм, — они становятся *народом* и воспринимаются уже как естественное лицо. То есть народ становится не субстанциональным, а ситуативным политическим субъектом, актуализирующимся лишь в момент принятия политических решений и исчезающим потом. Таким же «мерцающим» объектом предстает и *respublica*, то «общее дело ради общего блага», которое и делает этих людей народом, объединяя их в единое целое.

П. В. Лукин

Глава II

Республиканская риторика в Древней Руси

Предварительные замечания

Традиционно любой разговор о республиканизме в Древней Руси концентрируется на теме народного собрания — веча. И это вполне закономерно. Такой подход освящен мощной историографической традицией, начиная по крайней мере с земско-вечевой теории XIX в. Автору этих строк, много лет исследовавшему феномен новгородского веча и подчеркивавшему ключевое значение — не самого слова, а политического института, который могли называть этим словом (но могли характеризовать его и иначе), — тем более, казалось бы, странно возражать против этого. И тем не менее приходится признать, что ставить в центр проблемы древнерусского республиканизма вече (а тем более слово *вече*) — непродуктивно. Вече — важный аспект проблемы, но это, пожалуй, не то звено, потянув за которое можно ее «вытянуть».

Относительно Новгорода нам уже неоднократно приходилось отмечать, что связывать республиканский характер его политического строя с частотностью или характером упоминания понятия «вече» в источниках, особенно нарративных, не стоит¹. Против представления о том, что

1. См., например: *Лукин П. В.* Терминологический анализ: плюсы и минусы (По поводу монографии Юнаса Гранберга о древнерусском вече) // *Средневековая Русь. Вып. 8. М., 2009. С. 217–243.* Ниже мы постараемся подробнее остановиться на этой проблеме применительно к Пскову, поскольку понятие «вече» в псковских источниках изучено еще недостаточно.

именно это понятие должно быть ключевым в дискуссии о древнерусском республиканизме — вне зависимости от оптимистического или скептического взгляда на эту проблематику, — можно привести множество аргументов: от терминологической «размытости», характерной для Средневековья, до индивидуальных предпочтений тех или иных книжников. Так, уже неоднократно обращалось внимание на тот факт, что в Новгородской первой летописи (далее — *НПЛ*) за XII в. вече вообще не упоминается, хотя при этом новгородское вече фигурирует в то же время в Киевском своде в составе Ипатьевской летописи (далее — *Ип.*), а в летописании Северо-Восточной Руси (в Лаврентьевской летописи; далее — *Лавр.*) под 1175 г. даже говорится, что новгородцы (как и жители ряда других древнерусских городских центров) «изначала <...> на вѣча сходятся»¹.

Значит ли эта терминологическая неопределенность, что в Древней Руси, включая Новгород и Псков, отсутствовал язык («дискурс»), с помощью которого можно было выразить республиканские понятия? Если это так, то было бы затруднительно говорить и о республиканских институтах, раз не было способа их описать. На наш взгляд, такой язык был — просто оптика исследователей, как правило, была настроена таким образом, что не замечала его.

В первую очередь это как раз и касается использования в источниках понятия «вече». Сторонники скептического или «осторожного» отношения к древнерусскому республиканизму обычно придают большое значение двум моментам. Во-первых, упомянутой выше неопределенности (одно и то же событие может называться вечем, а может не называться). Во-вторых, тому, что вече в нарративных памятниках не является активным действующим лицом (не вече принимает решение, а решение принимается на вече).

Это вроде бы дает большой простор для спекулятивных «деконструкций». Однако сторонники таких подходов игнорируют важнейшее обстоятельство. Ни в «размытости» понятия «вече», ни в том, что «вече» не было активным

1. Полное собрание русских летописей. Т. I. Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стб. 377 (далее — ПСРЛ).

действующим лицом, нет ничего эксклюзивного, что требовало бы специального объяснения (интерпретация требовалась бы, скорее, если бы все было наоборот). Это нормальная, ожидаемая ситуация.

Дело в том, что республикам / коммуна, возникавшим до Нового времени, вообще было в целом несвойственно представление о собрании как о действующем лице. Если мы обратимся к двум классическим «политиям» древности, сущность строя которых никому не придет в голову ставить под вопрос, Афинам и Римской республике, то мы увидим, что отсутствие наименования народного собрания в центре демократического / республиканского «дискурса» — не странное исключение, которое должно породить сомнения в соответствии республики некоему «идеальному типу», а правило.

Что касается афинского народного собрания (эκκλησία), то во множестве случаев в качестве синонима понятия «ἐκκλησία» («народное собрание в Афинах») в древнегреческих источниках используется слово «δήμος»¹. Стандартные формулы принятия решений на афинском народном собрании, зафиксированные самыми достоверными источниками — выбитыми на камне постановлениями, — были таковы.

Самые ранние аттические постановления: «ἔδοχεν τῷ δήμῳ» («народное собрание [буквально: народ] постановило»); классический период (с 469–458 гг. до Р.Х. по 405/404 г. до Р.Х.) («стандартная формула для всех постановлений народного собрания»): «ἔδοχεν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ» («совет и народное собрание [буквально: народ] постановили»); начиная с 403/402 г. до Р.Х. встречаются обе формулы, и предполагается, что они подразумевали разные процедуры. Когда подразумевается выдвижение предложения на собрании: «δεδοχθαι / ἐψηφίσθαι τῷ δήμῳ» («народ высказался / проголосовал»)². Не менее интересно: само слово «δήμος» не было строго обязательным в таких формулах,

1. Hansen M.H. *Demos, Ecclesia and Dicasterion in Classical Athens* // Greek, Roman and Byzantine Studies. Vol. 19 (1978). P. 129–130.
2. Rhodes P.J. *The Athenian Boule*. Oxford, 1972. P. 64–65.

вместо него могли фигурировать просто афиняне («ἐψηφίσθαι Ἀθηναίους» — «афиняне проголосовали»), или могла использоваться «комбинированная» формула («ἐψηφίσθαι δὲ Ἀθηναίων τῷ δήμῳ» — «афинский народ проголосовал»)¹.

Нечто подобное мы видим и в Древнем Риме, где, между прочим, вообще не существовало общего «технического термина» для народных собраний: в зависимости от своего характера они могли называться по-разному («*comitia*», «*contiones*», «*concilia*»), и собирались они в разных местах (Комиций, Форум, Септа Юлия, Цирк Фламиния, Капитолий). Тит Ливий мог называть при этом Комиций — Форумом. Главным действующим лицом всегда были не собрания как таковые, а «*populus Romanus*» — «народ римский» (знаменитая формула «*SPQR — Senatus populusque Romanus*», «сенат и народ римский» — окончательно сложилась только в эпоху принципата²). На собраниях при этом «*populus*» был представлен не полностью, а как «политико-правовой концепт» («*constitutional concept*», по Х. Моуритсену), и поэтому каждая «политическая толпа» в принципе могла быть «народом». Когда ораторы выступали на собраниях, они обращались не к, допустим, «*contio*», а к «римскому народу». Соответственно, сами собрания, как считалось, представляли весь народ, и именно так это понималось в политической мысли поздней Республики³.

То же самое, хотя и, разумеется, на иной социокультурной основе, мы видим и в средневековых республиках — например, в Венеции, где в докоммунальную эпоху «народное собрание» вообще не имело устойчивого наименования, а в более позднее время утратило там реальное политическое значение⁴.

1. Ibid. P. 65, footnote 1.

2. *Moatti C. Res publica, forma rei publicae, and SPQR*. P. 40–48.

3. *Mouritsen H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic*. Cambridge, 2004, особенно P. 17–19, 24–27; см. также: *Millar F. The Roman Republic in Political Thought*. Hanover; London, 2002. P. 153–56.

4. См. подробнее: *Лукин П. В. Средневековая «демократия»: «народные собрания» в Новгороде и Венеции // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2018. № 4 (74). С. 23–41.*

Никому, однако, не придет в голову на основании всего этого утверждать, что афинская эkkлeсия или древнеримские комиции «не имели значения», были не политическими институтами, а ритуалами или местами их проведения, а сами Афины, Рим или Венеция были «неправильными» республиками. Речь должна идти о другом: в древности, в Средние века, в раннее Новое время с политико-правовыми понятиями обращались более свободно, чем в более позднее время. Кроме того, — и это самое главное — во главу угла при рассмотрении вопроса о раннем и, в частности, древнерусском республиканизме должны быть поставлены иные аспекты проблемы.

Ниже будут рассмотрены некоторые особенности древнерусской политической риторики и будет предпринята попытка показать, что в Новгороде и Пскове она носила ярко выраженный *республиканский* характер. При этом основное (хотя и не исключительное) внимание будет уделено раннему периоду — XII–XIII вв., потому что в историографии высказывались наибольшие сомнения в возможности рассматривать даже новгородскую историю этого времени в республиканском контексте. Наш анализ ни в коей мере нельзя считать исчерпывающим — это лишь предварительные наблюдения, которые должны быть впоследствии проверены на всем корпусе источников и с учетом всех свидетельств.

«Политический народ» и «вся воля новгородская»

Подлинным действующим лицом новгородской политической системы был сам Новгород, только в значении не топонима, а общности полноправных новгородцев. Используя терминологию польской историографии, мы предложили для обозначения этой общности понятие «политический народ» (ср.: «naród polityczny»), которое, как представляется, наилучшим образом отражает существо дела. С одной стороны, это не абстрактный «народ» вообще («массы», как бы сказали в Новейшее время), от имени которого правят представляющие его (или узурпировавшие право его

представлять) депутаты или президенты. Это сообщество людей, которые действительно управляют сами и в этом смысле являются сюзереном на подвластных им территориях. Даже самые незначительные, незнатные, «меньшие» среди них тем не менее являются составной частью этого коллективного сюзерена, что проявляется через их участие в народном собрании (вече) — которое на самом деле правильнее было бы назвать «собранием политического народа», если бы это не выглядело так громоздко. «Политический народ» мог выражать свою волю не только через вече, но и через магистратов — прежде всего архиепископа, посадника и тысяцкого, и в случае если решения принимали они, это все равно считалось решением «политического народа». Но путать новгородских магистратов с выборными представителями Нового времени не стоит. У первых, собственно, не было специфических, «эксклюзивных» сфер полномочий, и вече — и теоретически, и на практике — могло самостоятельно решить, в принципе, любой вопрос (даже, на наш взгляд, незначительный), если он волновал широкие круги новгородцев. С помощью избрания (а точнее, коллективного «выкликания» — аккламации) «политический народ» делегировал должностным лицам право заниматься текущим управлением, всегда оставляя за собой возможность вмешаться в его ход (хотя, конечно, бывали случаи, когда эти последние пытались утаить от сообщества новгородцев те или иные «непопулярные» решения).

Разумеется, изнутри «политический народ» никогда не был монолитен и всегда делился на различные strata, причем по мере эволюции новгородской политической системы это деление усложнялось. И у социальной верхушки доступ к реальной власти был намного шире, чем у рядовых новгородцев. Более того, это было узаконено традицией: например, посадниками могли избираться только бояре. Но всегда существовала четкая грань между теми, кто входил в «политический народ», и теми, кто в него не входил и был полностью отстранен от участия в политической жизни.

На практике в состав «политического народа» входило лишь меньшинство населения огромной Новгородской земли. Фактически принимать участие в политической жизни могли лишь свободные мужчины-горожане, жители самого Новгорода. Надо подчеркнуть, что это право было связано не столько с физическим проживанием на территории города, сколько с членством в новгородских территориальных организациях: концах и улицах. Для XIV–XV вв., во всяком случае, об этом можно говорить вполне определенно, но и в более раннее время территориальная принадлежность играла, очевидно, решающую роль.

Об этом свидетельствует зафиксированная в раннем и достоверном источнике — берестяной грамоте № 954 — коллективная идентичность жителей новгородского конца, пусть и не в узкополитическом аспекте: «Грамота от Жирочька и от Тъшька къ Вьдьвину. Млви Шильцеви: Цему пошибаеши свиньѣ цюжь? А пьнесла Ньздрька. А еси посоромиль коньць въхъ Людинь: со оного полу грамата. Про кьни же та быс(ть), оже еси тако сътвориль»¹. Стратиграфическая и внестратиграфическая датировки указывают на то, что послание было написано, скорее всего, в середине XII в. В грамоте, вероятно, идет речь о зоофилии (хотя есть и другие мнения)², но здесь важно другое. Людин конец на Софийской стороне Новгорода выступает в роли общности, обладающей коллективной честью, на которую можно покуситься, совершив серьезный проступок. Причем особое значение, видимо, имеет то обстоятельство, что обличающее Шильце обвинение пришло с «оного пола», т.е. с противоположной, Торговой стороны Новгорода. Ньздрька, возможно, жила в Неревском конце на Софийской стороне³, и тогда речь идет об одном из конфликтов между территориальными группировками, столь частых в Новгороде. Публикаторы грамоты считают даже, что она могла быть

1. Янин В.Л., Зализняк А.А., Гиппиус А.А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 2001–2014 гг.). Т. XII. М., 2012. С. 50 (далее — НГБ).
2. См.: Kassian A.S. Old Russian pošibati «futuere»: further evidence for bestiality in Old Rus' // Russian Linguistics. Vol. 43 (2019). P. 83–84.
3. НГБ. Т. XII. С. 51–52.

написана представителями администрации Людина конца, а адресатом был администратор более низкого ранга, например уличанский староста. Это возможно, но, конечно, совершенно не обязательно. А вот свидетельством существования коллективной идентичности жителей сторон и концов берестяная грамота, безусловно, является.

Вопрос о том, какое деление было более древним, «изначальным», породил некоторую дискуссию. Было высказано мнение, что деление на стороны восходит к первобытной «дуальной» организации, а концы появились позднее и до 80-х гг. XII в. существенной роли в политической жизни не играли¹. С другой стороны, А.А. Гиппиус (с опорой, в частности, на цитировавшуюся выше берестяную грамоту № 954) отметил, что устойчивое кончанское самосознание должно было сложиться уже в начале XII в., а главным «нервом» истории домонгольского Новгорода было взаимодействие и соперничество между двумя концами Софийской стороны: Неревским и Людиным². Вопрос заслуживает подробного изучения, но представляется, что в обоих подходах, как ни странно, есть рациональное зерно. Конечно, в нашем распоряжении нет никаких свидетельств об архаическом происхождении как сторон, так и концов. И то и другое — реконструкции разной степени (не)убедительности. Фактом, с другой стороны, является и то, что не только стороны, но и древнейшие концы упоминаются еще в домонгольское время, и есть основания, как справедливо подчеркивает А.А. Гиппиус, удревнить их коллективную идентичность и политическое значение. Однако в той же берестяной грамоте № 954, на которую ссылается исследователь, прямо засвидетельствована и коллективная идентичность «ониполовичей» как жителей «оного пола», «той стороны», а не Славенского конца, хотя *de facto*

1. Петров А.В. От язычества к Святой Руси. Новгородские убоицы. К изучению древнерусского вечевого уклада. СПб., 2003. С. 44–62.
2. Гиппиус А.А. Соперничество городских концов как фактор культурной истории Новгорода XII–XIII вв. // Споры о новгородском вече: междисциплинарный диалог: Материалы круглого стола (Европейский университет в Санкт-Петербурге, 20 сентября 2010 г.) ([Res Publica]. Вып. 6). СПб., 2012. С. 121–135.

это было в то время практически одно и то же. Разумеется, это было не самоназвание: так, жителей Торговой стороны называли жителями стороны Софийской. Но характерно, что, когда дело доходило до противостояния, в них часто видели именно жителей стороны, а не конца. Кроме того, в роли отдельной территориальной структуры при описании политической борьбы в летописи может выступать и формально более мелкая единица — улица, как это было с Прусской улицей (что отмечает и сам А.А. Гиппиус). Можно думать, что для домонгольского времени было характерно более лабильное, даже хаотичное территориально-политическое деление, которое лишь позднее кристаллизовалось в более четкую систему из пяти концов, состоявших, в свою очередь, из уличанских общин.

Ключевым моментом являются, однако, не эти важные, но детали, а сам принцип: к новгородскому «политическому народу» на всех этапах истории Новгорода (по крайней мере начиная с XII в.) принадлежали только члены территориальных организаций в границах главного города земли.

Для обозначения «политического народа» использовались разные выражения. Начиная с рубежа XII–XIII вв. в этом качестве закрепляются словосочетания «весь Новгород» или «все новгородцы»¹. Позднее, в XIV в., когда впервые появившийся за пределами Новгорода эпитет «Великий» распространяется и там, возникает такое обозначение новгородского политического сообщества, как «весь Великий Новгород» или просто «Великий Новгород»². В конце XIV в. и в актах, и в летописях появляется расширенное обозначение новгородского политического сообщества — «[весь] Господин Великий Новгород», а во второй половине XV в. — «[весь] господин господарь Великий Новгород» (слово «господарь» до последнего времени обычно неправильно передавалось и в научных работах, и даже

1. См. об этом подробнее: *Лукин П.В.* «Весь Новгород»: к вопросу о происхождении и содержании понятия // *Российская история.* 2020. № 4. С. 56–63.

2. См.: *Лукин П.В.* «Великий Новгород» // *Slovēne. International Journal of Slavic Studies.* Vol. 7 (2018). № 2. С. 403–408.

в изданиях источников как «государь»¹. В недавнем исследовании Т.С. Исаева убедительно показала, что развитие этих формул было следствием процесса, который автор называет «суверенизацией», т.е. ростом стремления к утверждению политической самостоятельности Новгорода и обоснованию особенностей республиканского строя, выразившимся не только в действиях, но и в риторике².

В то же время авторы, которые склонны скептически относиться к описанию Новгорода и Пскова в рамках республиканской парадигмы, обычно подчеркивают отсутствие там специфической республиканской терминологии, а ту, которая все-таки представлена в источниках, стараются «деконструировать». Такая «деконструкция» обычно идет по двум направлениям: во-первых, утверждается, что она появляется поздно и под влиянием Москвы; во-вторых, «республиканские» понятия трактуются как — парадоксальным образом — свидетельствующие не о свободе, а, наоборот, о подчиненности этих политических образований³.

На самом деле уже в домонгольское время, не позднее второй половины XII в., складывается представление о новгородской «вольности» / «свободе»⁴.

Ключевым концептом в рамках этих представлений может считаться «[вся] воля новгородская», отражающий идею о том, что все политические решения в Новгороде принимаются по инициативе или по крайней мере на основе активного согласия новгородцев. Этот концепт

1. См. об этом: *Успенский Б.А.* «Господарь Великий Новгород»: происхождение названия // *Древняя Русь: Вопросы медиевистики.* 2021. № 3 (85). С. 24–44.
2. *Исаева Т.С.* Господин Великий Новгород: эволюция политической формулы в контексте войн и дипломатии Восточной Европы конца XIV–XV веков. Дисс. ... магистра (рукопись). СПб., 2020, *passim*.
3. Пример такого подхода см.: *Шумов И.Л.* «Совет господ» и государственная печать в Новгороде и Пскове XIII–XV вв. в контексте истории городов средневековой Европы. Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. Тверь, 2006. С. 19–20.
4. О новгородской вольности уже шла речь в работе, посвященной новгородскому вечу (*Лукин П.В.* Новгородское вече. 2-е изд., испр., перераб. и доп. М., 2018. С. 522–538), но здесь наша аргументация и выводы существенным образом развиты и дополнены.

сформировался постепенно. Самая ранняя его фиксация в новгородских источниках — в статье *НПЛ* под 1170 г.¹ Под давлением Андрея Боголюбского «съдумавъше новъгородъци» вынуждены были «показать путь» своему князю Роману Мстиславичу, «а сами послаша къ Ондрѣви по миръ на всѣи воли своєї (здесь и далее выделено мной. — *П.Л.*)»². Летописца не остановило очевидное противоречие: незадолго до этого князь Роман во главе новгородцев нанес поражение суздальцам, но при этом они прогоняют князя-победителя, причем делают это якобы «на всѣи воли своєї». Как бы то ни было, представление о воле новгородцев как о праве политического коллектива новгородцев заключать мир на своих условиях проявилось здесь достаточно ясно.

Под 1177/1178 г.³ читаем в *НПЛ*: «И на зиму приде князь Мъстиславъ съ братомъ Яропѣлкомъ въ Новъгородъ, и посадиша новгородъци Мъстислава на столѣ, а Яропѣлка на Новемь тѣргу, а Ярослава на Ламьскомъ волоце, и тако ся управиша *по воли*»⁴. Речь идет о том, что после поражения в междоусобной войне с дядьями-Юрьевичами Мстислав и Ярополк Ростиславичи бежали в Новгород, где они, а также их племянник Ярослав Мстиславич Красный были наделены княжескими столами. Здесь упомянутый концепт представлен, видимо, в зачаточной форме, так что сразу даже не вполне понятно, чья именно воля имеется в виду: новгородцев, князей или тех и других вместе (хотя по смыслу ясно, что «воля» тут могла быть прежде всего новгородская: у беглых князей не было достаточных ресурсов, чтобы навязать свою волю).

Оба известия, как установил А.А. Гиппиус, принадлежат, по-видимому, летописцу новгородского архиепископа Илии (до 1186 г.), следовательно, именно с его творчеством нужно связывать зарождение «риторики вольности»

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. М., 1963. С. 245.
2. ПСРЛ. Т. III. С. 33, 222.
3. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 231–234.
4. ПСРЛ. Т. III. С. 35, 225.

в новгородском летописании¹. Впоследствии сфера ее применения расширяется, а по поводу концепта «вольности / свободы» возникает рефлексия.

Под 1196 г.² в *НПЛ* приведена фраза: «Новъгород выложиша вси князи въ свободу: кдѣ имъ любо, ту же собе князя поймають»³. Автор этой сентенции — летописец архиепископов Гавриила и Мартирия⁴, и именно ему должна принадлежать честь введения во владычную хронику обоснования происхождения новгородской свободы как пожалованной князьями. Впоследствии этой идее предстояло сыграть важную и неоднозначную роль в истории Новгородской республики. Характерно, что именно в это время, на рубеже XII–XIII вв., оформляются и другие ключевые республиканские концепции и происходят соответствующие институциональные изменения⁵. По мнению А.А. Гиппиуса, дарование новгородцам свободы стало следствием межкоалиционного соглашения князей⁶, однако то обстоятельство, что «риторика вольности», как мы уже видели, появилась ранее, убеждает, что речь идет о подтверждении князьями новгородской вольности. Об этом, как будет сказано ниже, свидетельствуют и другие данные.

В 1201 г.⁷ новгородцы заключили мир с «варягами», т.е. с жителями острова Готланд в Балтийском море⁸: «А на осѣнь придоша Варязи горою (т.е. по суше, берегом. — П.Л.)

1. Гиппиус А.А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы (История и структура текста в лингвистическом освещении // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2004–2005. М., 2006. С. 215.
2. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 247.
3. ПСРЛ. Т. III. С. 43, 236.
4. Гиппиус А.А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 215.
5. *Лужин П.В.* «Весь Новгород»: к вопросу о происхождении и содержании понятия. С. 56–63.
6. Гиппиус А.А. Князь Ярослав Владимирович и новгородское общество конца XII в. // Церковь Спаса на Нередице: От Византии к Руси. К 800-летию памятника / Отв. ред. О.Е. Этингhoff. М., 2005. С. 20.
7. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 234.
8. См. об этом: *Шаскольский И.П.* Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII–XIII вв. Л., 1978. С. 102.

на миръ, и даша имъ миръ на *всти воли своєю*¹. «Даша миръ», конечно, новгородцы, но эксплицитно это в летописной статье не сказано, и политической институт — обладатель воли — прямо не назван.

Большое значение имеет рассказ *НПЛ* о событиях 1207 г.² Владимирский князь Всеволод Большое Гнездо после оказанной ему новгородцами военной поддержки «вда имъ волю всю и уставы старыхъ князь, егоже хотѣху новгородьци, и рече имъ: „кто вы добръ, того любите, а злыхъ казните“»³. На первый взгляд, здесь есть противоречие со статьей 196 г., где говорится о том, что свобода *уже* дарована Новгороду князьями. Однако указание на «уставы старыхъ князей», думается, проясняет дело: речь идет о подтверждении новым князем — весьма могущественным! — древних новгородских вольностей. По крайней мере, так это изображается в новгородском летописании. «Вольность» в данном случае заключается в праве на самостоятельную юрисдикцию, включающую расправы со «злыми». В 1214/1215 г.⁴ княживший в Новгороде Мстислав Мстиславич Удатный («Удалой»), собираясь отправиться в Киев, «створи вѣцѣ на Ярославли дворѣ» и объявил новгородцам: «Суть ми орудия въ Руси (т.е. дела в Южной Руси. — *ПЛ*), а вы *вольни* въ князѣхъ»⁵. Здесь сам князь не только признает новгородскую вольность, но и поясняет, что заключается она в праве приглашать или изгонять князей. В 1218 г.⁶ посадник Твердислав говорит новгородцам: «вы, братье, въ посадничествѣ и въ князѣхъ [*волнѣ*]»⁷. Теперь уже посадник заявляет о праве новгородцев сменять как посадников, так и князей. В этом контексте князь явно выступает не как наследственный правитель Новгорода, а как должностное лицо, магистрат;

1. ПСРЛ. Т. III. С. 45, 240.

2. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 255.

3. ПСРЛ. Т. III. С. 50, 248.

4. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 258.

5. ПСРЛ. Т. III. С. 53, 252.

6. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 259.

7. ПСРЛ. Т. III. С. 59, 260. «Волнѣ» — из *НПЛ мл.*, но сопоставление чтений показывает, что в *НПЛ ст.* — просто механический пропуск.

новгородцы имеют право его сменять по собственной воле, и в этом отношении он приравнивается к посаднику.

Следующий очень важный этап — появление выражения «на всей воле новгородской». В нем имеют значение все составляющие: не только «воля», но также и «вся», и «новгородская». Под 1221/1222 г.¹ в *НПЛ* читаем известие о приглашении в Новгород на княжение Всеволода, сына владимирского князя Юрия Всеволодича: «Послаша владыку Митрофана и посадника Иванка и старѣишии мужи Володимирю къ Гюргю къ Всѣволодицю по сынъ, и вда имъ Всеволода на всѣи воли новгородьстѣи. Приде князь Всѣволодъ в Новѣгородъ, и владыка и вси мужи одарени бецисла; и ради быша новгородьци, и бысть миръ»². Риторическое оформление известия выглядит несколько противоречиво. Всеволода Юрьевича новгородцам «вда» его могущественный отец, но в то же время — «на всей воле новгородской». Но для нас сейчас важно, что даже в этом случае требуется — формальное или неформальное — полное согласие Новгорода. К тому, что конкретно имелось в виду под определением «новгородская», мы еще вернемся. Интересно, что формула «вся воля новгородская» появляется впервые под пером летописца архиепископа Антония³. Ему же мы обязаны, как показал А.А. Гиппиус, форсированным внедрением в летописание формул, подчеркивавших патронат над Новгородом св. Софии, которые также играли важнейшую роль в формировании коллективной политической идентичности новгородцев⁴.

Под 1228/1229 г.⁵ в *НПЛ* содержится известие о приглашении в Новгород Ярослава Всеволодича: «Тъгда отяша

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 261.
2. ПСРЛ. Т. III. С. 60, 262.
3. *Гиппиус А.А.* Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 215.
4. *Гиппиус А.А.* Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии // Хорошие дни... Сборник памяти А.С. Хорошева. М., 2009. С. 181–198.
5. Событие имело место между декабрем и февралем 6736 мартовского года, так что, скорее всего, в 1229 г. от Р.Х. (см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 269).

тысячское у Вячеслава и даша Борису Ньгочевичю, а къ князю послаша къ Ярославу на томъ: „поеди к намъ, за-божнице отложи, судье по волости не слати“; *на всѣхъ воли нашей* и на всѣхъ грамотахъ Ярославлихъ ты нашъ князь; или ты себе, а мы себе»¹. Здесь уже не князь, а сами новгородцы разъясняют в требованиях, адресованных князю, что подразумевает их вольность: это добровольное провозглашение Ярослава князем при условии признания всей их воли и всех грамот Ярославовых. «Вся воля новгородская» включала, таким образом, в себя право признавать или не признавать князя. В случае нарушения князем этого права предусматривалась санкция — изгнание («ты себе, а мы себе» может подразумевать только это). В качестве основания этих прав фигурируют «все грамоты Ярославли», т.е. реальные или вымышленные документы, выданные новгородцам неким князем Ярославом.

По поводу «Ярославлих грамот», которые еще несколько раз упоминаются в летописи, в историографии уже давно идет дискуссия. В ходе нее высказывались самые разные точки зрения как относительно их датировки (и вообще их реальности), так и по поводу идентификации князя Ярослава, которому они приписываются². Вряд ли возможно внести какой-то существенный вклад в эту дискуссию с учетом крайней скудости данных («Ярославли грамоты» прямо упоминаются в летописи лишь четыре раза), но имеет смысл зафиксировать то, что представляется нам очевидным.

Прежде всего, надо отвести мнение о том, что «Ярославли грамоты» — это поздний конструкт или, как пишет современный историк, «красивая легенда, сочиненная новгородскими сводчиками XIV–XV вв.»³. Как показывают палеографические данные, три известия с их упоминанием

1. ПСРЛ. Т. III. С. 67, 273.

2. Подробнее об историографии вопроса: *Бузов В.А.* Очерки истории и археологии средневекового Новгорода. М., 1994. С. 6–8; *Петров А.В.* От язычества к Святой Руси. С. 71–87.

3. *Толочко П.П.* О новгородских «вольностях в князьях» // «Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Б.Н. Флора. М., 2018. С. III.

из четырех читаются в той части Синодального списка *НПЛ* (*НПЛ ст.*), которая была скопирована не позднее второй половины XIII в., а может быть, даже в 30-е гг. XIII в.¹ О том же свидетельствует и история текста. По-видимому, статьи 1228–1230 гг. с упоминаниями «Ярославлих грамот» были записаны единовременно летописцем архиепископов Спиридона и Далмата в 1230 или 1231 г.²

Это однозначно свидетельствует о том, что если «грамоты Ярославли» и миф, то миф очень ранний, существовавший уже в домонгольское время. Естественно, это усиливает аргументацию тех исследователей, которые видели в «Ярославлих грамотах» вполне реальные документы (чем бы они ни были). Как справедливо подчеркивает А.В. Петров, в противном случае невозможно было бы себе представить князя, согласившегося принять во внимание несуществующие и (добавим) притом противоречащие его интересам грамоты³. Можно думать, что «Ярославли грамоты» либо были тождественны упомянутым выше уставам прежних князей, либо были наиболее значимой частью этого «конституционно-правового» комплекса. К сожалению, нет на данный момент способа узнать ни их содержание, ни с каким конкретно князем Ярославом они были связаны. Поздняя традиция указывает, естественно, на Ярослава Мудрого, но это может объясняться посмертной популярностью этого правителя. В этом смысле представляется перспективной мысль Л.В. Черепнина, развитая А.А. Гиппиусом, об оформлении первоначального формуляра новгородско-княжеских договоров в княжение Ярослава Владимировича в конце XII в. и о его связи с «Ярославовыми грамотами»⁴.

1. *Гимон Т.В., Гиппиус А.А.* Новые данные по истории текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 7 (17). СПб., 1999. С. 42; *Клосс Б.М.* Предисловие к изданию 2000 г. // ПСРЛ. Т. III. С. V, VIII.
2. *Гиппиус А.А.* Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 213–214.
3. *Петров А.В.* От язычества к Святой Руси. С. 69–70.
4. *Черепнин Л.В.* Русские феодальные архивы XIV–XV веков. Ч. 1. М.; Л., 1948. С. 253–254; *Гиппиус А.А.* Князь Ярослав Владимирович и новгородское общество конца XII в. С. 20–21.

В 1229 г.¹ *НПЛ* сообщает о прибытии в Новгород Михаила Всеволодича Черниговского: «Приде князь Михаилъ ис Чърнигова въ Новъгородъ <...> и ради быша новгородци своему хотѣнию. И цѣлова крестъ на всѣи воли новгородьстѣи и на всѣхъ грамотахъ Ярославлихъ...»². Проявлением «всей воли новгородской» оказывается право «новгородцев» приглашать князей из разных русских земель по своему «хотению».

Под 1230 г.³ читаем в *НПЛ* об еще одном приглашении в Новгород Ярослава Всеволодича: «И послаша [новгородцы] по Ярослава на всеи воли новгородьстѣи; Ярослав же въбързѣ приде въ Новъгородъ <...> и створи вѣцѣ, и цѣлова святую Богородицу на грамотахъ на всѣхъ Ярославлихъ»⁴. В данном случае обращает на себя внимание церемония, представляющая собой своего рода манифестацию «всей воли новгородской»: приглашенный новгородцами князь созывает вече, на котором публично присягает на «Ярославлих грамотахъ», целуя икону Богородицы. Отсюда становится ясно, кто именно выступал носителем «всей воли новгородской». Это был новгородский политический коллектив, собиравшийся на вечевые собрания.

Но, что самое главное, точно так же понимали ситуацию (хотя оценивали ее, естественно, противоположным образом) и в других землях. Важнейшее значение здесь имеет древнейший рассказ о походе войск Андрея Боголюбского и его союзников на Новгород в 1170 г.⁵ Он сохранился в *Лавр.* и *Ип.* в составе так называемой антиновгородской версии летописной повести о битве новгородцев с суздальцами, но в *Ип.* — в несколько искаженном и измененном виде. В нем содержится следующее рассуждение: «Тако и сия люди Новгородьскыя наказа Богъ и смѣри я дозѣла за преступленье крестное, и за гордость ихъ наведе на ня,

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 269.
2. ПСРЛ. Т. III. С. 68.
3. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 269–270.
4. ПСРЛ. Т. III. С. 70.
5. В *Ип.* проставлена ошибочная дата. См.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 68, 184–186.

и милостью своею избави град ихъ. Не глаголем же: „Прави суть Новгородци, яко издавна суть свобожени Новгородци праѣды князь наших“, но аще бы тако было, то велѣли ли имъ преднии князи крестъ преступити, или внукуы, или правнукуы соромляти, а крестъ честныи цѣловавше ко внуком ихъ и к правнукомъ, то преступати»¹. В *Ип.* из-за механического пропуска отсутствует важная фраза «яко издавна суть свобожени Новгородци», а после «праѣды князь нашихъ» текст дан в другой редакции: «но злое невѣрствие в нихъ вкоренилося — крестъ къ княземъ преступати и князѣ внукуы и правнукуы обеществовати и соромляти». Южнорусский книжник явно усиливает инвективы своего владимирского предшественника, на что уже указывал Б.Н. Флоря².

Как должна датироваться эта запись и кто ее автор? Антиновгородская летописная повесть о битве новгородцев с суздальцами возникла, по-видимому, в близкое к самому событию время³. В любом случае она не могла появиться позже конца XII в., когда был составлен Киевский свод в составе *Ип.* и Владимирский свод в составе *Лавр.* Именно творчеству составителя последнего и принадлежит, очевидно, рассуждение о грехах новгородцев. Этот свод А.А. Шахматов датировал 1185 г. Высказывались предположения и об иной его датировке, и о предшествующем, также владимирском своде, который ряд исследователей датирует в пределах 1170-х гг.⁴ Как бы то ни было, не вызывает сомнений, что мы имеем дело с записью современника, жившего в Суздальской земле и работавшего

1. ПСРЛ. Т. I. Стб. 362. См. также: ПСРЛ. Т. II. Стб. 561.
2. *Флоря Б.Н.* Новгород и князья в XII в. // Великий Новгород и Средневековая Русь: Сборник статей: К 80-летию академика В.Л. Янина. М., 2009. С. 299.
3. *Дмитриев Л.А.* Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний. Л., 1973. С. 100, 108–111.
4. *Шахматов А.А.* Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.; Л., 1938. С. 15–18; *Клосс Б.М.* Лаврентьевская летопись // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хожения. Поучения. Жития. Послания: Аннотированный каталог-справочник / Под ред. Я.Н. Щапова. СПб., 2003. С. 23–26.

в интересах ее правителей. М.Д. Приселков, который датирует владимирский летописный свод 1177 г., характеризует его составителя так: «Сводчик 1177 г., конечно, владимирец, лицо, весьма близко разделяющее все политические планы Андрея Боголюбского и его преемника Всеволода...». Сводчиком этим, по мнению исследователя, мог быть клирик Успенского собора во Владимире¹. С этим в целом можно согласиться — и именно поэтому это свидетельство исключительно ценно.

Важно и то, что сентенция о грехах новгородцев содержится и в *Ин.*, куда она, очевидно, попала в составе ее северо-восточного источника. Исследователи по-разному определяют его характер и происхождение, однако ясно, что в основе это был владимирский свод, родственный тому, который был использован в *Лавр.*, но не тождественный ему². Это означает, что риторика новгородской вольности в XII в. не была плодом конструирования новгородских книжников — она была известна и становилась объектом рефлексии и в Суздальской земле, и в Южной Руси.

Владимирский летописец, несомненный сторонник весьма автократического князя Андрея Боголюбского и очевидный противник Новгорода, конечно, осуждает новгородцев за дерзость в отношении князей. Но тут важнее, *как* он это делает и *что* конкретно оспаривает. Новгородцы виновны в несоблюдении (в данном случае неважно, реальном или мнимом) договоренностей с князьями, которые они же сами поклялись соблюдать, и нарушении данного в связи с этим крестоцелования, в том, что они срамят, бесчестят князей (здесь, видимо, имеется в виду изгнание князей и связанные с этим насильственные действия), наконец, в грехе гордыни. Господь «смиряет» новгородцев за нарушение крестного целования и неоправданные, с точки зрения летописца, притязания («гордость»). Однако в самом факте

1. *Приселков М.Д.* История русского летописания. XI–XV вв. СПб., 1996 (1-е изд.: 1940). С. 119, 122–123.
2. *Шахматов А.А.* Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. С. 74–76; *Приселков М.Д.* История русского летописания. XI–XV вв. С. 145–146.

того, что «прадеды» современных ему князей даровали новгородцам свободу, автор «антиновгородского» летописного сказания не сомневается — во всяком случае, прямо¹. Оказывается, таким образом, что представления о новгородской вольности, дарованной некими древними князьями, были распространены не только в Новгороде, но и по всей Руси уже в 70-е гг. XII в. А если принять во внимание, что для их формирования необходимо было время, можно думать, что сложились они не позднее середины XII в.

Косвенное свидетельство этого — горькие слова дружинников о ненадежности новгородцев, адресованные своему князю Святославу Ростиславичу, в рассказе *Ип.* о его изгнании из Новгорода в 1167 г.²: «А топерво суть к тобѣ хрестъ целовали вси по отни смерти, но обаче невѣрни суть всегда ко всимъ княземъ»³. К сожалению, трудно определить, в какое именно время было записано это известие. В последнее время, впрочем, благодаря лингвистическим наблюдениям И.С. Юрьевой появилась возможность высказать некоторые предположения по этому поводу. В этой статье присутствуют такие достаточно характерные маркеры, предложенные исследовательницей, как употребление в инфинитивных оборотах глагола «начати» (а не «почати») и временной конструкции «томъ же лѣтъ». Это указывает на ее принадлежность к выделенной И.С. Юрьевой на основании этих и ряда других признаков IV части Киевского свода (примерно за 1152–1171 гг.)⁴⁵. Обращает на себя внимание также тот факт, что верхняя хронологическая

1. См. также: *Лимонов Ю.А.* Владимиро-Суздальская Русь: Очерки социально-политической истории. Л., 1987. С. 124–125.
2. О дате см.: *Лукин П.В.* Новгородское вече. С. 191–192.
3. ПСРЛ. Т. II. Стб. 537.
4. На самом деле до 1169 г. (см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 181).
5. *Юрьева И.С.* К определению текстологических границ внутри Киевской летописи: некоторые грамматические и лексические данные // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. 2021. № 1 (27). С. 305–331. Благодарю И.С. Юрьеву за возможность ознакомиться с текстом ее неопубликованной работы и М.Л. Лавренченко за содействие.

граница этой части маркирована словом «Зачало» и новым заголовком и совпадает с началом правления нового киевского князя из другой ветви Рюриковичей — Глеба Юрьевича из суздальских Мономашичей вместо Мстислава Изяславича из вольнских Мстиславичей. Конечно, речь идет пока о предварительных наблюдениях (Киевский свод многослоен, в нем использованы разные источники, в том числе книжного происхождения), но если выявленный рубеж обоснован верно, мы вновь имеем дело практически с современной событию записью. Следовательно, представления о «неверности» новгородцев были распространены в окружении князей-потомков Мстислава Великого.

В летописном извести не говорится о новгородской вольности, там присутствуют те же мотивы, что и в рассмотренной выше сентенции о «грехах» новгородцев: обвинения в нарушении крестоцелования и недолжном отношении к князьям. Оно, таким образом, может объяснять и интерес на юге Руси к проблематике новгородской вольности, и заимствование из северо-восточного источника соответствующего рассуждения. В связи с этим обращает на себя внимание, что окончательно редактировался Киевский свод при Рюрике Ростиславиче, которому главный «герой» событий 1167 г. в Новгороде, Святослав Ростиславич, приходился родным братом. В походе на Новгород в 1170 г. участвовали как суздальские войска Андрея Боголюбского, так и полки смоленских Ростиславичей¹, так что по вопросу об оценке новгородских вольностей у них в то время расхождений не было, и это вполне могло способствовать «дублированию» рассуждений владимирского летописца в южнорусском летописании.

В литературе была предпринята попытка более точно определить время возникновения представлений о новгородской вольности на основании летописных рассуждений о даровании дедами и прадедами тогдашних князей свободы новгородцам и панегирика, адресованного в *Ит.* от имени новгородцев умершему в 1180 г. Мстиславу Ростиславичу

1. ПСРЛ. Т. I. Стб. 361; Т. III. С. 32.

как князю, «створшему толикую свободу Новгородьцемъ от поганыхъ, якоже и дѣдъ твои Всеволодъ свободил ны бяше от всѣхъ обидь»¹. Б.Н. Флоря, который подробно проанализировал сентенцию о «грехах» новгородцев, считает, что «дед твой Всеволод» — киевский князь Всеволод Ярославич, который хотя и не был дедом Мстислава Ростиславича в буквальном смысле слова, но был его пращуром, предком по прямой линии (дедом его деда — Мстислава Великого, носившего то же имя)². Эта точка зрения имеет серьезные основания. Популярность Всеволода среди Ростиславичей подтверждается другим панегириком — Рюрику Ростиславичу, в княжение которого, как уже говорилось, и возникла окончательная редакция Киевского свода. В нем говорится о том, что «богомудрыи князь Рюрикъ пятыи бысть от того» (т.е. от Всеволода Ярославича) — точно как сказано в Библии «о правѣднемъ Иевѣ от Аврама»³. Таким образом, Всеволод Ярославич сравнивается с ветхозаветным прародителем множества народов и, в частности, избранного — еврейского. Любопытно, что в этом качестве выступает именно Всеволод Ярославич, а не Ярослав Мудрый или Владимир Мономах (хотя представление о «Владимировом племени» в летописи зафиксировано). Можно подумать, что это была лишь локальная традиция Ростиславичей, связанная с основанным Всеволодом Выдубицким монастырем, и этого нельзя полностью исключать, имея в виду, что автором панегирика Рюрику и, скорее всего, панегириков его предкам в *Ин.* был игумен Выдубицкого монастыря Моисей⁴. Однако если обратиться к сентенции о «грехах» новгородцев в *Лавр.* и *Ин.*, нетрудно заметить следующее. Известие это, как уже говорилось, — владимирское. Если понимать указание на дарование свобод новгородцам

1. ПСРЛ. Т. II. Стб. 610.

2. Флоря Б.Н. Новгород и князья в XII в. С. 298–299; *Он же.* Представления об отношениях власти и общества в Древней Руси (XII — начало XIII в.) // *Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран* / Отв. ред. Б.Н. Флоря. М., 2012. С. 42–43.

3. ПСРЛ. Т. II. Стб. 709.

4. *Приселков М.Д.* История русского летописания. XI–XV вв. С. 86–89.

прадедами «наших князей» буквально, оказывается, что оно ведет к Ярославичам и прежде всего ко Всеволоду: Андрей Боголюбский и его братья были правнуками именно Всеволода Ярославича¹. В Киевском своде оно ведет скорее к Владимиру Мономаху. К этому времени значимый для составителя / редактора этой летописи Ростислав Мстиславич уже умер, и в роли протагонистов выступали его сыновья, прадедом которых был не Всеволод, а его сын Владимир Мономах. Разумеется, это лишь косвенное свидетельство, так как под «прадедами» могли пониматься и просто предки². Есть, однако, прямое подтверждение того, что Всеволод Ярославич особо почитался и суздальскими Мономахичами, причем именно в контексте их притязаний на власть в Новгороде. Под 1199 г. в *Лавр.* и родственных ей летописях рассказывается о приглашении новгородцами на княжеский стол сына Всеволода Большое Гнездо Святослава (подробнее об этом известии будет также говориться ниже). В *Лавр.* прибывшая во Владимир-на-Клязьме новгородская делегация говорит Всеволоду Юрьевичу так: «Ты господинъ князь великыи Всеволодъ Гюргевиич, просимъ у тебе сына княжить Новугороду...»³. В Летописце Переяславля Суздальского (далее — *ЛПС*), в котором отразилась переяславская редакция начала XIII в. более раннего владимирского свода, представленного *Лавр.*, читаем: «Ты господинъ, ты Гюрги, ты Владимиръ, просимъ у тебе сына княжить Новугороду»⁴. Здесь по законам так называемого мифологического отождествления Всеволод Большое Гнездо оказывается не просто «господином» и «великим князем», а как бы реинкарнацией своих отца и деда: Юрия Долгорукого и Владимира Мономаха и на этом основании получает права распоряжаться новгородским княжением. Но в Радзивилловской и Московско-Академической летописях (далее соответственно — *Радз.* и *Ак.*) появляется еще одно

1. См. также: Янин В.Л. Новгородские посадники. 2-е изд. М., 2003. С. 84.

2. Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. VII. М., 2004. С. 463 (далее — СДРЯ).

3. ПСРЛ. Т. I. Стб. 415.

4. ПСРЛ. Т. XLI. С. 123.

дополнение: «Господине, ты еси Володимиръ, ты Юрьи, ты Всеволод»¹. На сцене появляется еще и прадед — Всеволод Ярославич, и это подтверждает, что под прадедом «наших князей» действительно могло пониматься конкретное историческое лицо. Точная датировка этого добавления вряд ли возможна. Допустимы, во-первых, два варианта. Она могла появиться в переяславской переработке владимирского свода конца XII в., а потом быть «потеряна» при переписке *ЛПС* (это могло быть спровоцировано, например, совпадением имен прадеда и правнука). Но это может быть и вставкой протографа *Радз.* и *Ак.*, которая, в свою очередь, представляла собой опиравшуюся на переяславскую редакцию переработку владимирского свода. Во-вторых, если дело обстоит так, то точно датировать эту переработку затруднительно. Производилась она, очевидно, в интересах владимирского князя Юрия Всеволодича (сына Всеволода Большое Гнездо) и, возможно, не один раз (так, А.А. Шахматов обратил внимание на то, что в одном месте в протографе *Радз.* и *Ак.* исходное чтение «половци» было изменено на «татарове»², что указывает на время как минимум после битвы на Калке)³. Как бы то ни было, ясно, что память о Всеволоде Ярославиче как о создателе модели отношений с Новгородом жила среди элиты Суздальской земли еще при его праправнуках.

От каких же «обид» освободил новгородцев Всеволод Ярославич? Всеволод никогда в Новгороде не княжил. В.Л. Янин предположил, что в конце 1080-х гг. между Всеволодом Ярославичем, который был тогда киевским князем, и новгородцами было заключено соглашение, в соответствии с которым тогдашнего новгородского князя Святополка Изяславича сменял внук Всеволода Мстислав Владимирович. Это было обусловлено, во-первых, закреплением

1. ПСРЛ. Т. XXXVIII. С. 160; Т. I. Стб. 415–416, разночтения.
2. Шахматов А.А. Обзорение русских летописных сводов XIV–XVI вв. С. 50.
3. Лурье Я.С. О происхождении Радзивилловской летописи // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 18. Л., 1987. С. 75–79, 81 (стемма).

Новгорода за потомством Всеволода Ярославича, во-вторых, признанием права новгородцев самостоятельно избирать посадников¹. Гипотеза представляется весьма интересной: она объясняет одновременно «культ Всеволода» в южнорусском и, возможно, северо-восточном летописании потомков Всеволода Ярославича; помещает институциональные основы новгородской вольности в эпоху, очень близкую к Ярославу Мудрому (вспомним «Ярославлі грамоты» и характеристику Всеволода в начальной летописи как любимого сына Ярослава²); объясняет возмущение князей тем, что они считали нарушением этих «исконных» установлений. К этому можно еще добавить и амбивалентную оценку начальной летописью правления Всеволода Ярославича в его некрологе. Летописец, с одной стороны, весьма высоко отзывается об усопшем князе, с другой — отмечает, что «печаль бысть ему от сыновець своихъ», т.е. племянников, которые претендовали на расширение своих владений, он же их замирял, раздавая им волости³. Такой обстановке вполне соответствует и предоставление неких «протовольностей» новгородцам. Важно и то, что рассуждения о недостатках Всеволода были, по-видимому, внесены в летопись автором Начального свода 90-х гг. XI в. при редактировании предыдущего летописного свода, т.е. через непродолжительное время после смерти князя в 1093 г. А это означает высокую степень достоверности соответствующей информации⁴.

Как бы то ни было, можно считать, что представления о новгородской вольности сформировались не позднее середины — второй половины XII в. и, возможно, некоторые их предпосылки возникли и ранее — не позднее конца XI в. Своеобразным «триггером», который побудил древнерусских книжников к активному осмыслению новгородской вольности, стала осада Новгорода войсками княжеской коалиции

1. Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 83–84.

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 215–216.

3. Там же. Стб. 216.

4. Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? М., 2011 (Славяно-германские исследования. Т. 6). С. 136.

в 1170 г. Южнорусские и владимирские летописцы, не отрицая самого права новгородцев на свободы и ее институциональных форм, акцентировали внимание на их обязанности чтить князей и твердо соблюдать заключенные договоры, а новгородские летописцы, в свою очередь, не отрицая того, что их вольность была изначально дарована князьями и что в принципе они должны соблюдать договоренности, подчеркивали примат «всей воли новгородской» и *de facto* исходили из условности своих обязательств по отношению к князьям. Несмотря на очевидную противоположность этих установок, они основываются на некоем едином фундаменте: 1) признании легитимности новгородской вольности как таковой (при различной ее интерпретации); 2) признании того, что эта вольность в конечном счете восходит к даровавшим ее пращурам из династии Рюриковичей. Эти рамки, хотя в дальнейшем и предпринимались определенные попытки выйти за их пределы, в целом сохранялись почти до конца новгородской независимости, когда при великом князе Иване III московскими властями был взят курс на отрицание самого принципа новгородской вольности и ее институционального оформления.

После монголо-татарского нашествия какие-то значительные изменения в риторике новгородской вольности можно заметить далеко не сразу. Обнаруживаются лишь некоторые нюансы, первая фиксация которых лишь в это время может объясняться случайными обстоятельствами. Так, в рассказе о военном конфликте с ливонскими немцами в 1253 г. сообщается о заключении мира с ними «на всеи воли новгородской и на пльсковьской»¹. Новгородский летописец говорит здесь о единой воле двух политических коллективов — новгородского и псковского. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что Псков рассматривается в рамках новгородской официальной идеологии как политический организм, близкий к новгородскому или даже единый с ним, а с другой — фактически уравнивает Псков с Новгородом: Псков здесь уже не пригород.

1. ПСРЛ. Т. III. С. 80, 307.

Подобные характеристики по отношению к другим новгородским «пригородам» (Русе, Торжку, Ладоге) отсутствуют.

Понять, кто являлся носителем «всей воли новгородской», можно как бы «от противного» — из тех описаний, в которых фигурирует какая-то чужая, «неправильная» (с точки зрения летописца) воля.

В 1255 г. новгородцы выгнали ставленника Александра Невского, его сына Василия, и пригласили вместо него из Пскова его дядю Ярослава Ярославича. Разгневанный Александр Ярославич двинулся во главе войска на Новгород, требуя выдать организаторов крамолы. Среди новгородцев произошел раскол, и вячшие (знатные, зажиточные) задумали «побѣти меншии, а князя вѣвести на своеи воли»¹. Непосредственно перед этим рассказывается о принятии противоположного решения на вече: «И рекоша меншии у святого Николы на вѣчи; „братье, ци како речеть князь: выдаите мои ворогы“; и цѣловаша святую Богородицю меншии, како стати всѣмъ, любо животъ, любо смерть за правду новгородскую, за свою отчину»². В историографии высказывались разные мнения о социальной подоплеке этих событий. В частности, распространена точка зрения о том, что это было особое вече, в котором участвовали только «меньшие». Нам это представляется никак не вытекающим из прямого смысла известия: в нем говорится лишь о заявлениях и действиях «меньших» на вече, а не о том, что в нем участвовали только они. Кроме того, вече состоялось на своем обычном месте — у Никольской церкви на Ярославовом дворище, и вряд ли у «меньших» были какие-то возможности не пустить туда «вячших», разве что последние сами туда не явились, зная, что останутся там в меньшинстве, и не желая противопоставлять себя могущественному Александру Невскому (понятия о кворуме применительно к вечевым собраниям, как известно, не существовало)³. Но в данном случае важнее риторические

1. ПСРЛ. Т. III. С. 81, 308.

2. Там же. С. 80–81, 307–308.

3. *Лужин П.В.* Новгородское вече. С. 231–241.

приемы летописца: он явно изображает это вече и его решения как вполне законные. Более того, из его слов следует, что именно «меньшие» в тот момент выступали в роли защитников высшей ценности новгородского политического коллектива — новгородской «правды». В известии *НПЛ* под 1229 г. Михаил Всеволодич Черниговский, отъезжающий из Новгорода и оставляющий вместо себя своего сына Ростислава, также говорит о «правде новгородской»: «А мнѣ <...> даи богъ исправити правда новгородская, тоже от вас пояти сына своего»¹.

Что это такое?

В *НПЛ* слово «правда» встречается и ранее. Когда в феврале 1216 г. в Новгород вернулся князь Мстислав Мстиславич Удатный, с тем чтобы выручить новгородцев, страдавших от блокады, организованной занявшим Торжок Ярославом Всеволодичем, он, согласно летописи, заявил: «...да не будеть Новии тѣргъ Новгородомъ, ни Новгородъ Тѣржкомъ; нѣ кѣде святая Софія, ту Новгородъ; а и въ мнозѣ богъ, и в малѣ богъ и правда»². К республиканским ценностям, однако, эта «правда» отношения не имеет. Здесь это скорее религиозное понятие, тесно связанное с евангельской этикой. Правда здесь — справедливость, освященная Христом³. Иногда «правда» в новгородском летописании — это просто обет или договор⁴. Иное дело — «правда новгородская».

В «Словаре древнерусского языка XI–XIV вв.» эти два упоминания «правды новгородской» разнесены по двум рубрикам словарной статьи «Правда»⁵. В известии под 1229 г., по мнению составителей словаря, имеется в виду «договор, условия договора», а под 1255 г. — «право, возможность действовать, поступать каким-л. образом». Однако эти интерпретации представляются довольно искусственными,

1. ПСРЛ. Т. III. С. 68, 275.

2. Там же. С. 55, 254.

3. См. об этом: *Юрганов А.Л.* Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 47–50.

4. СДРЯ. Т. VII. С. 453.

5. Там же. С. 453.

и в обоих случаях, скорее всего, речь идет об одном и том же. В 1229 г. князь Михаил собирался защитить Новгород от Ярослава Всеволодича и именно в связи с этим обещал «исправить правда новгородская». Здесь усматривается очевидная параллель с выражением «правды Божья исправить», которое мы видим в повествовании *Лавр.* о междоусобице в Суздальской земле в 1170-е гг. Там, в частности, сказано, что в конфликте между старыми и новыми городами «не разумѣша правды Божья исправить Ростовци и Суждалци, давнии творящесе старѣишии, новии же людьє мѣзинии Володимерьстии уразумѣше, яшася по правьду крѣпко»¹. «Исправити» здесь — «исполнить что-л., совершить; выполнить, осуществить»². Советские историки обычно подчеркивали политическую составляющую владимирской «правды» как стремления обосновать право на самостоятельное управление и политическую независимость. Подразумевается, конечно, что действия «младших» городов Суздальской земли — прежде всего Владимира-на-Клязьме — соответствовали Божественной справедливости, а «старых» городов — Ростова и Суздаля — ей противоречили³.

Новгородские «меньшие» в 1255 г., разумеется, собирались сложить свои жизни не за «право поступать каким-либо образом», как и ранее Михаил Всеволодич, обещая постоять за «правду новгородскую», также вряд ли стремился *только* соблюсти договор с новгородцами. Речь шла о чем-то большем — о той «правде», которая может быть сопоставима с «правдой Божьей» и о которой эксплицитно говорится в повествовании *Лавр.* о междоусобной войне в Суздальской земле.

Немецкий историк Вернер Филипп в свое время отмечал, что в рассказе *Лавр.* об этих событиях проявилось

1. ПСРЛ. Т. I. Стб. 378.
2. СДРЯ. Т. IV. М., 1991. С. 71.
3. *Воронин Н.Н.* К характеристике владимирского летописания 1158–1177 гг. // Летописи и хроники. 1976 г. М., 1976. С. 34–36; *Черепнин Л.В.* Общественно-политические отношения в Древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение / Под ред. В.Т. Пашуто и Л.В. Черепнина. М., 1965. С. 270–271.

представление об «укорененном в Господе городском праве» Владимира¹. Другой немецкий историк, Клаус Цернак, справедливо добавил, что «правда» здесь одновременно и «закон» («Gesetz»), и «истина» («Wahrheit»)². И с этим вполне можно согласиться. Заметим при этом, что во Владимире не выработалось понятия о «правде владимирской» (как и о «воле владимирской»). В Новгороде же представление о санкционированном свыше автономном городском праве обрело конкретные понятийные формы.

Возвращаясь к воле «вячших» в известии 1255 г., можно сказать, что летописец — имплицитно — противопоставляет ее воле всего новгородского политического коллектива, единство которого «вячшие» раскалывают, а «меньшие», наоборот, выступают от его имени. Тем самым он подчеркивает, что истинным носителем новгородской вольности является новгородский политический коллектив, а критерием легитимности принимаемых им решений служит соответствие их новгородской «правде», в которую включен как собственно политико-правовой аспект (принятие решений на вече), так и аспект религиозно-этический. Чтобы соответствовать «правде новгородской», решения должны не только быть приняты «правильными» людьми, «правильным» способом и в «правильном» месте, но и быть «правильными» по своей внутренней сущности. Во всяком случае, так это выглядит в изображении автора летописной статьи под 1255 г. — по-видимому, им был Тимофей, пономарь, владычный нотари и летописец архиепископов Спиридона и Далмата³. Он,

1. *Philipp W.* Die religiöse Begründung der altrussischen Hauptstadt // Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956 / Zusammenge stellt von M. Woltner und H. Bräuer. Wiesbaden, 1956 (Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin. Bd. 9). S. 382. См. также: *Петрухин В.Я.* Древняя Русь: Народ. Князь. Религия // Из истории русской культуры. Т. I (Древняя Русь). М., 2000. С. 225.
2. *Zernack K.* Die burgstädtischen Volksversammlungen bei den Ost- und Westslaven. Studien zur verfassungsgeschichtlichen Bedeutung des Weče. Wiesbaden, 1967 (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens. Bd. 33). S. 95.
3. *Гунтуис А.А.* Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 214–215.

как уже отмечалось и как мы увидим ниже, и в других отношениях был весьма ярким и нетривиальным публицистом¹. Ему не мешали даже противоречия между концепцией и реальностью. Условием завершения конфликта 1255 г. со стороны Александра Невского стало отстранение от должности популярного посадника Онаньи. Это условие, шедшее вразрез с требованиями новгородцев к князю забыть свой «гнев» к Онанье, было выполнено. Однако летописец и после этого утверждает, что стороны «взяша миръ на всеи воли новгородской»².

Еще одно противопоставление, в котором можно «прочитать» имплицитную «волю новгородскую», — это упоминания в негативном контексте воли князя. Так, под 1269 г.³ в *НПЛ* говорится об избрании тысяцким Ратибора Клуковича: «Тогда же даша тысячское Ратибору Клуковичю по княжи воли»⁴. Это вполне осознанно поставленный акцент, поскольку новгородский владычный летописец (по-видимому, упомянутый выше нотариус Тимофей⁵) был противником тогдашнего князя Ярослава Ярославича и уже в статье следующего года с удовольствием напишет о его изгнании из Новгорода. Становится ясным, что «воля новгородская» — не просто формальный ритуал, организованное сверху ликование народных масс, а самостоятельное решение новгородского политического сообщества при отсутствии прямого навязывания этого решения со стороны князя.

Венцом эволюции концепции новгородской воли можно считать появление эксплицитного, прямого (а не имплицитного) сопоставления воли новгородского «политического народа» с волей Божьей. Об этом подробнее мы

1. См. о нем и его стиле: *Гиппиус А.А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 8–12.

2. ПСРЛ. Т. III. С. 81, 308.

3. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 273.

4. ПСРЛ. Т. III. С. 88, 319.

5. *Гиппиус А.А.* Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 215.

говорим в другом месте¹, но здесь можно вкратце суммировать сделанные наблюдения.

В сочинениях гамбургского богослова и политического деятеля, состоявшего на службе у Ганзейского союза, Альберта Кранца (1448–1517), посвященных истории окрестных земель, в том числе славянских («Вандалия», «Саксония»), есть и сюжеты, связанные с Новгородом. В них, в частности, рассказывается о присоединении Новгорода к Московскому государству и упоминается фраза, которую гордые новгородцы до этого использовали как пословицу: «Кто может что-либо сделать против Бога и Великого Новгорода? («Quis potest contra Deum et magnam Nouguardiam?»)»².

Эта фраза впоследствии стала весьма популярной среди иностранцев, писавших о России, и ее повторяли еще в XVII–XVIII вв.³ Долгое время считалось, что в сочинениях А. Кранца сопоставление воли Божьей и воли Великого Новгорода встречается впервые⁴. И, конечно, в таком случае всегда есть почва для предположений о «книжном» или «литературном» характере фразы. Выясняется, однако, что, хотя ее, по-видимому, нет в русскоязычных текстах, она обнаруживается в послании немецкой купеческой общины в Новгороде властям Ревеля от 21 декабря 1406 г. В нем передается диалог между новгородским тысяцким и жаловавшимися на свое положение ганзейскими купцами, в ходе которого новгородский магистрат, в частности,

1. *Лукин П.В.* «Бог и Великий Новгород»: функционирование и значение формулы // Sub specie aeternitatis: Сборник научных статей к 60-летию В.Б. Крысько / Отв. ред. И.М. Ладыженский, М.А. Пузина. М., 2021. С. 394–402.
2. *Alberti Krantzii* Wandalia. Francofurti, 1575. Lib. I. Cap. 2. P. 5; Lib. XIII. Cap. 15. P. 301; *Alberti Krantzii* Saxonia. Francofurti ad Moenum, 1580. Lib. XII. Cap. 16. P. 321.
3. *Ткаченко В.В.* Великий Новгород и его история глазами путешественников XVIII в. // Исторический журнал: научные исследования. 2019. № 2. С. 97–98.
4. *Kappeler A.* «Quis potest contra Deum et Magnam Neugardiam?» Novgorod und sein Verhältnis zum Moskauer Zentrum im Lichte von Ausländerberichten des 16. und 17. Jahrhunderts // Die Geschichte Russlands im 16. und 17. Jahrhundert aus der Perspektive seiner Regionen / Hrsg. von A. Kappeler. Wiesbaden, 2004 (Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd. 63). S. 167–184.

заявил, «что он один не может говорить от имени Великого Новгорода, *это находится в воле Божьей и Великого Новгорода*» («...it wer Godes wille vnd Grote Nougarden»)¹. Послания немецкой купеческой общины в Новгороде властям ганзейских городов Ливонии — источник максимально далекий от литературности, и это свидетельство однозначно подтверждает, что риторика новгородской вольности, осененной Божьей волей, использовалась новгородской правящей верхушкой в практической политике.

«Великий Новгород», на волю которого ссылается тысяцкий, — это то же, что и «весь Новгород»: новгородский политический коллектив, новгородский «политический народ», своего рода коллективная личность, аналог великого князя в республиканском Новгороде. Как уже говорилось выше, являла себя эта республиканская коллективная личность наиболее адекватным образом на вече, что мы видим и в данном случае: тот же вопрос рассматривался и в следующем, 1407 г., по поводу чего «всему [Великому] Новгороду» власти Любека направили послание, которое «было оглашено в Новгороде на общем вече»².

«Коллективная личность» — не просто красивая метафора. Выражения, использовавшиеся для обозначения новгородского «политического» народа, могли получать в определенных контекстах почти антропоморфное значение. «Весь Новгород» может радоваться из-за прихода на княжение Святослава, сына Всеволода Большое Гнездо³. Он может долго размышлять по поводу избрания в 1359 г. нового архиепископа и советоваться по этому поводу с вполне реальными личностями: «Много же гадавшие посадникъ и тысячкою и весь Новъград, игумени и попове...»⁴. «Весь Новгород» / «Весь Великий Новгород»

1. Hansisches Urkundenbuch. Bd. V / Bearb. von K. Kunze. № 752. S. 394 (далее — HUB); Tallinna Linnaarhiiv. F. 230, n. 1, S. BE 14-I, fol. 7 (далее — TLA).
2. HUB V. № 788. S. 413–414; TLA. F. 230, n. 1. s. BE 14-I, fol. 16; TLA. F. 230, n. 1, s. BD 1-I, fol. 40.
3. ПСРЛ. Т. III. С. 45, 238–239.
4. Там же. С. 365.

может даже бить челом (!) архиепископу (1380, 1397 гг.)¹. И тут можно процитировать автора одной из классических работ о римской *res publica*, который писал, что в некоторых древнеримских текстах «чувствуется экспрессивность выражения и сила представления, которые превращают *res publica* в живое существо из плоти и крови». И он же, ссылаясь на речь Цицерона против Катилины, где оратор отвечает «священнейшим словам республики» («*sanctissimis rei publicae vocibus*»), говорит об «антропоморфном» характере *res publica* в этом контексте². Современная исследовательница отмечает, что в эпоху поздней Республики в Риме «*res publica* изображается в источниках как общность, способная действовать и руководить людьми, обладающая голосом и даже внешним обликом, в то время как народ представлял собой уже не абстракцию, а нечто вроде корпорации»³. Разумеется, это не означает совпадения или даже близости древнеримского и новгородского республиканского строя, как и не означает тождества риторических стратегий их описания. Но риторический потенциал любого языка не безграничен, и неудивительно, что в условиях отсутствия персонификации власти возникли в чем-то схожие способы репрезентации этой сложной для описания реальности, причем не только в типологически во многом сходных средневековых республиках и коммунах, но и в разных в синхростадиальном отношении политических образованиях.

Отчина великого князя, люди вольные

Чрезвычайно важно наименование Новгорода в цитированной выше статье *НПЛ* под 1255 г. «своей отчиной» новгородцев, причем в данном случае от имени новгородского политического коллектива выступили прежде всего

1. Там же. С. 376, 390.
2. *Штарк Р.* *Res publica // Res publica: история понятия: Сборник статей / Пер. с нем.; науч. ред. О.В. Хархордин.* СПб., 2009 ([*RES PUBLICA*]. Вып. 4). С. 44 (изд. на яз. ориг. — 1967).
3. *Moatti C.* *Res Publica, Forma Rei Publicae and SPQR.* P. 40.

«меньшие», а не знать¹. Что такое «отчина» в этом контексте? Составители «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» полагают, что у этого слова было три значения: 1) «родина, отечество»; 2) (собирательное) «отцы, предки»; 3) «отцовское земельное родовое владение»². Упоминание «отчины» в статье 1255 г. здесь отнесено к первой категории, что вполне понятно: второе и третье толкования сюда явно не подходят. Между тем А.А. Горский, на наш взгляд, в принципе верно заметил, что под отчиной как владением, полученным от отца, в источниках — по крайней мере раннего времени, до конца XIV — начала XV в. — всегда подразумевается не частное земельное владение, а государственная территория под властью князя³. И действительно, обращение к примерам, приведенным в *СДРЯ*, убеждает в справедливости этой оценки. Однако если проанализировать примеры из того же словаря, которые призваны подтвердить значение слова «отчина» как «родина» или «отечество» (в современном, «десемантизированном» значении), можно увидеть, что нечто подобное можно усмотреть только для контекстов из переводных или книжных текстов. Там действительно лексема «отчина» может передавать греческое *патрис* («родина, родной город, отечество») или восходить к нему. Однако летописные контексты, в которых якобы представлено это значение, вызывают большое сомнение. Помимо известия под 1255 г., их два, и оба относятся к князьям.

Так, в начальной летописи киевляне в 968 г., во время осады Киева печенегами, упрекают Святослава, отправившегося в Дунайскую Болгарию: «...аще не поидеши, ни обраниши насъ, да паки ны возмутъ, аще ти не жаль очины своея, ни матере стары суца и дѣтии своих»⁴. Киевским князем был уже отец Святослава Игоревича, и, с точки зрения киевлян (и летописца), Киев был, несомненно, его отчинным владением, а не просто абстрактной родиной.

1. ПСРЛ. Т. III. С. 80–81, 307–308.

2. СДРЯ. Т. VI. М., 2000. С. 312–313.

3. *Горский А.А.* Русское средневековое общество: историко-терминологический справочник. СПб., 2019. С. 239.

4. ПСРЛ. Т. I. Стб. 67.

Именно поэтому тут речь идет о Киеве, а не о Русской земле в целом.

Второй пример — из рассказа *Ип.* под 1188/1189 г.¹ о попытке занять Галич (Южный), предпринятой князем-изгоем Ростиславом Ивановичем, заявившим: «А язъ не хочу блудити в чюже землѣ, но хочу голову свою положить во отчинѣ своеи»². Здесь тоже вряд ли подразумевается ностальгия по родине. Отец Ростислава, князь Иван Ростиславич Берладник, княжил в Галиче некоторое время в 1145 г.³ и, естественно, его сын считал себя законным наследником галицкого стола.

Таким образом, понимание «отчины» в статье 1255 г. как абстрактного «отечества» лишается убедительных параллелей и «повисает в воздухе». Но, как справедливо однажды сказал Шерлок Холмс, «когда вы отбросите невозможное, что бы ни осталось, пусть даже это кажется невероятным, и будет истиной» («when you have eliminated the impossible whatever remains, however improbable, must be the truth»⁴). В данном случае истиной оказывается представление автора летописной статьи о том, что Новгород — наследственное владение новгородского «политического народа», республиканской «коллективной личности», материальным воплощением которой служит городское собрание — вече. В этом представлении отчинные права князя и отчинные права «всего Новгорода» принципиально не отличаются друг от друга.

Заявление об отчинных правах новгородцев на Новгород, которое, как говорилось выше, в уста «меньших» новгородцев вложил (или зафиксировал его), по-видимому, владычный нотариус и летописец архиепископов Спиридона

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 204–205.
2. ПСРЛ. Т. II. Стб. 664–665.
3. Там же. Стб. 316–317. См. об этом: *Грушевський М.С.* Історія України-Руси. Київ, 1992. Т. II. С. 420–421 (1-е изд.: 1905). О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 146.
4. *Conan Doyle A.* The Sign of the Four [Электронный ресурс]: URL: <https://www.gutenberg.org/files/2097/2097-h/2097-h.htm> (дата обращения: 12.01.2021).

и Далмата Тимофей, в то же время вряд ли соответствовало концепции новгородской вольности как дарованной древними князьями. Вполне понятно, что Рюриковичи придерживались по этому вопросу совершенно иного мнения.

В 1179 г.¹ в Новгород был приглашен на княжение Мстислав Ростиславич из рода смоленских Ростиславичей. Если верить Киевскому своду в составе *Ин.*, он испытывал колебания, «но понудиша и братья своя и мужи свои, рекуче ему: „Брате, аже зовуть тя съ честию, иди; а тамо, ци не наша очина?“ Он же, послушавъ братьи своеи и мужѣи своихъ, поиде съ бояры Новгородьцкими»². Любопытно, что эти заявления князей иногда принимаются историками за чистую монету. Как утверждает П.П. Толочко, «[г]лавная причина частой сменяемости князей на новгородском столе заключена не в какой-то особой свободолюбивости боярской знати города и земли, а в особом наследственном их статусе», и в подтверждение приводит, в частности, этот летописный фрагмент³. Непонятно, однако, почему надо верить словам князей, а не их поведению (тот же Мстислав не горел желанием идти в Новгород из «Русской земли») или не заявлению пономаря Тимофея о новгородцах как о наследственных владетелях своей земли. П.П. Толочко, несомненно, прав в том, что в домонгольский период бывали ситуации, когда новгородцы вынуждены были признавать власть тех или иных могущественных князей и принимать на княжение их ставленников⁴. Но вне зависимости от того, какова была реальная ситуация (она, как и всюду, как и всегда, определялась прежде всего фактическим соотношением сил), сами новгородцы, как правило, все равно описывали это с помощью риторики добровольного призвания князя «политическим народом». Яркий пример — замена в 1205 г. владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо на новгородском столе одного сына на

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 199.

2. ПСРЛ. Т. II. Стб. 607.

3. *Толочко П.П.* О новгородских «вольностях в князьях». С. 108.

4. Там же. С. 112–119.

другого (Святослава на Константина). Хотя новгородский летописец не скрывает, что инициатором этого перемещения был Всеволод, он тем не менее заключает известие об этом не очень логичной, на первый взгляд, концовкой: «И рад бысть всь град своему хотѣнью»¹.

Иногда конфликт интерпретаций попадает на страницы летописей. В 1199 г.² Всеволод Большое Гнездо прислал в Новгород упомянутого выше сына Святослава. Владимирский летописец рассказывает об этом так: «Тое же осени придоша Новгородци лѣпшиѣ мужи Мирошьчина чадь к великому князю Всеволоду с поклономъ и с молбою всего Новагорода, рекуще: „Ты, господинъ князь великый Всеволодъ Гюргевич, просимъ у тебе сына княжить Новугороду, зане тобѣ отчина и дѣдина Новѣгород“. Князь же великый здумавъ с дружиною своею, и утвердивъ ихъ крестомъ честнымъ на всеи своеи воли, да имъ сына своего Святослава. Новгородци же пояша и у чюдное святое Богородици с радостью великою и с благословеньемъ епископа Иоанна. Иде Святославъ сынъ Всеволожь внукъ Юргевъ княжить Новугороду месяца декабря въ 12 день на память святаго отца Спиридона. Братья же проводиша и с честью — Костянтинъ, Юрги, Ярославъ, Володимеръ — и бысть радость велика в градѣ Володимери»³. Совсем иную интерпретацию этого же события мы видим в *НПЛ*: «Идоша людье съ посадникомъ и съ Михалкомъ къ Всѣволоду; и прия е съ великою честью и вда имъ сынъ Святославъ; а въ Новѣгородъ, съдумавъ съ посадникомъ, присла, и съ новѣгородьци...»⁴.

Различия в описаниях очевидны, начиная с поклонов и мольбы новгородцев в *Лавр.* vs прием Всеволодом новгородской делегации «с великой честью» в *НПЛ* и кончая отправкой великим князем сына в Новгород «на всей своей воле» vs вокняжение Святослава в Новгороде с согласия посадника и новгородцев. В *Лавр.* новгородской «риторике

1. ПСРЛ. Т. III. С. 49–50, 246.

2. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 86.

3. ПСРЛ. Т. I. Стб. 415–416.

4. ПСРЛ. Т. III. С. 44, 238.

вольности» противопоставлено провозглашение Новгорода «отчиной и дединой» (наследственным владением) Всеволода Юрьевича (хотя заметим, что ни отец Всеволода Юрий Долгорукий, ни дед Владимир Мономах никогда в Новгороде не княжили). В новгородской летописи эта тема обходится и акцент сделан на добровольном согласии новгородцев. Тем не менее есть и нечто общее, и это позволяет, во-первых, догадываться о том, каково было реальное положение дел, во-вторых, понять, как «конфликт интерпретаций» был разрешен в дальнейшем и почему это произошло именно таким образом. И здесь полезно посмотреть на некоторые невыгодные для общей концепции летописцев проговорки.

В *Лавр.* новгородцы довольно униженно умоляют «господина великого князя» Всеволода послать своего сына на княжение в свою «отчину и дедину». Но зачем вообще понадобилась такая сложная процедура? Ведь применительно к другим «отчинам и дединам» владимирского князя ни о чем подобном не говорится и никакие делегации оттуда его в подобных случаях не посещают. Даже когда в 1207/1208 г.¹ Всеволод отправил другого своего сына, Ярослава, княжить в Рязань, которая вообще не имела никакого отношения к «отчинам и дединам» суздальских Мономашичей, об этом сказано значительно проще: «Посла великий князь Всеволодь сына своего Ярослава в Рязань на столь»² (хотя в реальности, как известно из других летописных сообщений, там имели место и военные конфликты, и переговоры, и проявления самостоятельной политической активности со стороны рязанцев). При этом между князем и новгородцами совершается крестоцелование. А самое главное — новгородская делегация представляет «весь Новгород» и реализует его «мольбу». Тем самым владимирский летописец, пытаясь подчеркнуть полную зависимость Новгорода от Всеволода Юрьевича, как бы бессознательно зафиксировал и роль «политического народа» в Новгороде

1. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 100–101.

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 434.

как главного действующего лица (причем с использованием присущей Новгороду терминологии), и особый статус Новгорода, который требовал специфических процедур со стороны «господина великого князя».

В *НПЛ* избрана иная риторическая стратегия. Ничего не сказано об «отчине и дедине», Всеволод Большое Гнездо не назван ни великим, ни господином (зато говорится об оказанной им новгородскому посольству «великой чести»), фигурирует «дума» посадника и новгородцев, благодаря чему у читателя должно сложиться впечатление о совершенно добровольном согласии новгородцев на вокняжение Святослава. При этом, однако, новгородский летописец не смог утаить того — видимо, вполне реального — обстоятельства, что Всеволод Юрьевич своего сына новгородцам просто «вда» (дал), очевидно, не прося их предварительного согласия на это (оно было оформлено задним числом, и неизвестно, в какой степени интересовался этим владимирский князь).

Если же вновь обратиться к северо-восточному летописанию, то мы увидим, как эти противоречивые тенденции преломляются в известии *Лавр.* о вокняжении в Новгороде в 1205 г.¹ Константина Всеволодича, еще одного сына Всеволода Большое Гнездо. Это довольно пространный и весьма патетический рассказ, относительно которого можно согласиться с Я.С. Лурье: он, несомненно, связан с Константином Всеволодичем и, очевидно, входил в состав ростовского летописного свода, впоследствии (видимо, в начале 80-х гг. XIII в.) соединенного со сводом владимирским². Этот ростовский источник был в высшей степени специфическим: его автор полностью переписал подлинную историю Суздальской земли после смерти Всеволода Большое Гнездо таким образом, что место ожесточенной борьбы за власть практически полностью заняла

1. *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 88.
2. *Насонов А.Н.* История русского летописания XI—начала XVIII в. М., 1969. С. 192–199; *Лурье Я.С.* О происхождении Радзивиловской летописи. С. 79–81 (там же см. обсуждение спорных вопросов, связанных с хронологией и текстологическим статусом ростовского источника *Лавр.*).

идиллическая картина братства его сыновей. В результате в *Лавр.* даже знаменитая Липицкая битва 1216 г. из крупнейших сражений домонгольской Руси превратилась в «нѣкую котору злу», которая была вскорости увенчана «великой любовью» между братьями. В распре не был — вопреки трактовкам альтернативных версий в *НПЛ* и смоленской «Повести о Липице», которые, между прочим, отражают точку зрения союзников Константина, соответственно новгородцев и Мстислава Удатного, — виновен никто конкретно, только «злыи врагъ дьяволъ»¹. Таким образом, ростовский летописец был готов на многое ради устранения «неправильных» трактовок. Посмотрим, как он описывает вокняжение своего главного героя — Константина Всеволодича — в Новгороде. Текст перемежается цитатами из Священного Писания и насыщен восхвалениями обоих князей — сына и отца. Всеволод сам посылает Константина «Новугороду Великому на княженье». Почему Константин должен княжить в Новгороде? Это разъясняет своему сыну сам Всеволод Юрьевич: «На тобѣ Богъ положилъ переже старѣшинство во всеи братьи твои, а Новѣгородъ Великий старѣшинство иматъ княженью во всея Русьской земли. По имени твоем тако и хвала твоя: не токмо Богъ положилъ на тебѣ старѣшинство в братьи твои, но и въ всеи Русьской земли, и язъ ти даю старѣшинство, поѣди в свои городъ»². Понятно, что эта речь призвана убедить читателя прежде всего в том, что Всеволод Большое Гнездо еще при жизни подтвердил «старѣшинство в братьи» Константина. Это было принципиально важно для его сторонника — ростовского летописца, поскольку в реальности дело обстояло почти с точностью до наоборот: отношения между отцом и сыном были далеки от идиллических, перед смертью Всеволод передал старшинство «в братьи» другому сыну — Юрию, а потом между Всеволодичами началась

1. ПСРЛ. Т. I. Стб. 439–440. См. также: *К[учкин] В.А.* Летописные рассказы о Липицкой битве // Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести. Хождения. Поучения. Жития. Послания: Аннотированный каталог-справочник / Под ред. Я.Н. Шапова. СПб., 2003. С. 70–73.

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 421–422.

жестокая война¹. В этом контексте летописец подчеркивает значимость Новгорода, где предстояло вокняжиться Константину, используя эпитет «великий», — но как древнейшего русского города, где возникло «княженъе». Это отнюдь не республиканская, а монархическая риторика. Но далее, когда после описания чудовищного горя владимирцев от расставания с любимым княжичем летописец переходит к встрече Константина в Новгороде, мы опять сталкиваемся с «проговорками». И они носят, можно сказать, «республиканский» характер: «И пришедшу ему в церковь святыя Софья, и посадиша и на столъ». Кто «посадиша»? Те самые новгородские мужи, которых Константин после этого одаривает: «И мужи Новгородскыѣ учредивъ, отпусти ихъ с честию»². Таким образом, мы видим, что ростовский летописец XIII в., один из самых промонархических книжников этого времени, почти как Валаамова ослица, помимо своей воли засвидетельствовал тот факт, что «мужи новгородские» были определенной политической общностью, обладающей признанным и в Суздальской земле правом сажать на престол даже такого идеального и полновластного князя, каким был в его изображении Константин.

В приведенных выше летописных известиях как в капле воды уже видно дальнейшее развитие отношений между Новгородом и великими князьями владимирскими (а потом московскими). В случае если верховная власть над Новгородом закреплялась бы за ними (пусть даже и формальная), а Новгород сохранял свою фактическую самостоятельность, должна была возникнуть риторика, которая бы объяснила эту неоднозначную ситуацию. И поэтому неудивительно, что она возникла.

После монголо-татарского нашествия, как известно, происходят изменения в отношениях между Новгородом и князьями. С одной стороны, развиваются и укрепляются республиканские институты и утверждается фактическая самостоятельность Новгорода, с другой — исчезает

1. См. об этом: *Насонов А.Н.* История русского летописания XI—начала XVIII в. С. 220–223.

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 423.

общерусский «рынок» потенциальных князей и с 50-х гг. XIII в. Новгород признает верховную власть великих князей владимирских, которые одновременно считаются новгородскими князьями¹.

Эта двойственность проявляется и на уровне политической риторики. Теперь уже в самих новгородских текстах закрепляется представление о том, что Новгород — «отчина» владими́ро-суздальских Рюриковичей, потомков Ярослава Всеволодича. В 1270 г. происходит конфликт между новгородцами и князем Ярославом Ярославичем, сыном Ярослава Всеволодича. Этим решил воспользоваться его брат Василий Ярославич, прислал послов в Новгород со следующим обращением: «Кланяюся святой Софьи и мужемъ новгородцемъ: слышалъ есмь, аже Ярославъ [Ярославич] идетъ на Новъгородъ со всею силою своею ... жаль ми своя отчина»². Тут можно различить сразу два «слоя» представлений. Во-первых, здесь проявляется та риторическая двойственность, о которой говорилось выше: князь называет Новгород своей отчиной и при этом кланяется «мужам-новгородцам», явно признавая право новгородского «политического народа» на «вольность в князьях». Во-вторых, это известие принадлежит перу владычного летописца. А им, судя по всему, был тот самый нотариий архиепископов Спиридона и Далмата Тимофей, с творчеством которого связано внедрение в новгородское летописание ряда важнейших республиканских тем и сюжетов, о чем уже говорилось выше³. Весьма существенно, что он — будучи убежденным сторонником новгородской вольности — вполне сочувственно фиксирует претензии князя на отчинное владение Новгородом.

В самом по себе провозглашении князем Новгорода своей отчиной не было ничего нового. Так, этим отметил

1. Янин В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. М., 2008. С. 136–163; Горский А.А. Русские земли в XIII–XIV веках: пути политического развития. СПб., 2016. С. 58–59, 63–64.
2. ПСРЛ. Т. III. С. 88–89, 320.
3. Гиппиус А.А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы. С. 215.

даже один из главных положительных героев *НПЛ*, упомянутый выше Мстислав Мстиславич Удатный, который еще в 1208/1209 г. пришел на выручку новгородцам, чтобы защитить их от владими́ро-суздальских князей. Согласно летописи, он кланялся «святѣи Софии», гробу своего отца и «всѣмъ новгородьцемъ» и заявил: «...пришьль есмь къ вамъ, слышавъ насилье от князь, жаль ми своя отчины»¹. Этот фрагмент рассматривается сейчас А.А. Гиппиусом как вставка, включенная в более ранний текст летописцем архиепископа Антония после его возвращения на новгородскую кафедру в 1225 г.² Нотарий Тимофей, таким образом, просто во многом воспроизвел риторичеку своего предшественника. Однако в новых условиях — «монополизации» суздальскими Рюриковичами прав на новгородское княжение — притязания на «отчинное» владение Новгородом приобрели уже иное значение, предопределяя двойственность концепции новгородской вольности.

В дальнейшем эта двойственность так или иначе отражалась во многих новгородских текстах. После поражения на Шелони в июле 1471 г. статус Новгорода как отчины великих князей Московских был юридически закреплен в августе того же года в Коростынском мирном договоре, но двойственность сохранилась в виде формулы «ваша отчина — мужи вольные». Согласно новгородскому проекту договора, новгородцы обещали: «...от васъ, от великихъ князей, намъ, вашей отчинѣ Великому Новугороду, мужемъ вол[ь]нымъ не отдатися никоторою хитростью...»³. Но еще раньше похожую риторичеку мы видим и в летописи.

В 1397/1398 г.⁴ после конфликта из-за Двинской земли архиепископ Новгородский Иоанн вел переговоры с московским великим князем Василием I и, согласно летописи,

1. ПСРЛ. Т. III. С. 51, 249. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 255–256. См. также: ПСРЛ. Т. III. С. 54, 253.
2. *Гиппиус А.А.* Архиепископ Антоний, новгородское летописание и культ святой Софии. С. 197.
3. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С.Н. Валка. М.; Л., 1949. № 26. С. 46 (далее — ГВНП).
4. О дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 293.

попросил, чтобы он «от Новагорода от своих мужии от волных нелюбье бы отложилъ»¹. Здесь не говорится об «отчине», но новгородские «вольные мужи» называются «своими» по отношению к князю, что близко по смыслу.

Церемониальная «икона» этой формулы в ее новгородской интерпретации очень хорошо представлена в рассказе «Летописи Авраамки» (одна из летописей новгородско-софийской группы) о визите в Новгород в 1460 г. московского великого князя Василия Темного. Сначала там говорится о воздании «чести» новгородскими властями московским гостям: «...архиепископъ владыка Иона возда честь князю великому Василью Васильевичю всея Руси и сыномъ его, князю Юрью и князю Андрѣю, и ихъ бояромъ, чтивше его по многи дни и дары многы въздасть ему, и сыномъ его и боярамъ его; такоже и князь Василей Васильевичъ Новгородчкый въздалъ честь князю великому Василью Васильевичю и дары многы, и сыномъ его князю Юрью и князю Андрѣю и его бояромъ; потому же и степеннии² Великого Новагорода, и боярѣ и весь Великий Новѣгородъ честь велику въздаша ему князю великому Василью Васильевичю и сыномъ его, князю Юрью и князю Андрѣю, и дары многы, и боярамъ его добрѣ честь въздаша ему»³. Ответ на это не заставил себя ждать. Великий князь, его сыновья Юрий и Андрей и его бояре «удариша челомъ святѣй Софии и боголѣпному Преображению святого Спаса на Хутины и преподобному Варламу великому чудотворцю и святымъ церквамъ, и у архиепископа владыкѣ Ионѣ благословение возмя, поклонивъся у всѣхъ седми соборовъ, а Новугороду отчинѣ своеи мужемъ волнымъ такоже поклонивъся, поѣха на Москву одаренъ Божиюю благодатию и преподобнымъ Варламомъ и архиепископа владыкѣ Ионѣ благословениемъ и многими дары, и всего Великого Новагорода здоровьемъ и смириениемъ, и отѣха мирно...»⁴. Отношения между великим князем и Новгородом изображаются здесь как

1. ПСРЛ. Т. III. С. 390.

2. Вероятно, имеются в виду степенные посадник и тысяцкий.

3. ПСРЛ. Т. XVI. Стб. 201–202.

4. Там же. Стб. 202.

фактически равноправные, церемониал (приветствия, поклоны, дары) выглядит «зеркальным», а Василию II принадлежит лишь, если так можно выразиться, «первенство чести». Новгородское политическое сообщество называется в разных случаях по-разному: «весь Великий Новгород» и «Новгород, своя отчина, мужи вольные». Характерен контекст последнего обозначения: летописец как бы вынуждает великого князя кланяться своей «отчине». Главное и по сути единственное право (оно же — обязанность), которое принадлежало, по мысли новгородских книжников, придерживавшихся этой идеологической концепции, владимирским (а потом московским) великим князьям как «отчинникам» Новгорода, — защита своей отчины от внешней угрозы. Недаром новгородцы в летописи вспоминают о том, что у них есть формальный сюзерен, когда им становится необходима военная поддержка, как это было в 1348 г., когда новгородские послы звали Симеона Гордого «оборонять своя отчины» из-за того, что «идеть на нас король свѣискийи (шведский. — П.Л.)...»¹.

Однако была, по-видимому, в Новгороде и другая тенденция. Ее сторонники искали какие-то идеологические обоснования и риторические ходы, которые позволили бы вернуться к представлению о Новгороде как об «отчине» самих новгородцев. Эксплицитных выражений этой тенденции мы практически не встретим, но кое-какие данные об этом имеются.

Во-первых, встречается представление о том, что новгородская «воля» имеет своим источником не древних или современных князей, а Бога. В «Слове о Знамени», посвященном знаковому для новгородцев событию, о котором шла речь выше, — удачной обороне от войск коалиции во главе с Андреем Боголюбским в 1170 г., имеется следующее рассуждение: «Сице бо живущемъ новгородцемъ и владѣяху своею областью, якоже имь Богъ поручиль, а князя держаху по своей воли». Из дальнейшего изложения становится понятно, что под «новгородцами»,

1. ПСРЛ. Т. III. С. 360 (о дате см.: *Бережков Н.Г.* Хронология русского летописания. С. 298).

владевшими подчиненными им территориями, понимаются жители концов, т.е., как нам уже известно, новгородское политическое сообщество, состоявшее из членов городских территориальных организаций¹. «Слово» датировалось по-разному, в пределах XIV–XV вв. (по современным представлениям, в окончательной редакции — скорее XV в.)².

В несколько более позднем произведении из Знаменского цикла, «Воспоминании о Знаменнии» (по-видимому, 30-х гг. XV в.), которое, как правило, связывается с творчеством известного книжника XV в. Пахомия Серба (Логофета), эта тема представлена еще более выражено. Пахомий работал в Новгороде по приглашению новгородского архиепископа Евфимия II (1429–1458), поэтому, если автор этого сочинения действительно он, не может быть сомнений в том, что высказанные там оценки соответствуют позиции новгородских властей и отражают официальную новгородскую идеологию того времени. Обычно в историографии справедливо акцентируется ее антимосковская направленность³. Но этим ее содержание отнюдь не исчерпывается. Открывает «Воспоминание» следующая фраза: «Бысть убо знамение се дивное и преславное иконоу Пречистыя Владычице Нашея Богородица, житие проходящимъ человекомъ Великого Новаграда самовластно, и никым же обладаеми, нъ ... влядяще областию своею, яко же и лѣпо бѣ, и князя имѣюще от иныхъ странъ призванаго въ отмщение съпротивнымъ; бѣ же тогда у нихъ князь Романъ Мъстиславличъ,

1. Лосева О.В. Жития русских святых в составе древнерусских Прологов XII — первой трети XV в. М., 2009. С. 328. В обсуждении этого фрагмента в нашей монографии (Лукин П.В. Новгородское вече. С. 529) имеются неточности, связанные с характеристикой «Слова о Знаменнии» (датировка, воспроизведение текста).
2. См.: Агафонов И.С. Идеологические тенденции в нарративах Знаменского цикла XV–XVII вв. // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2015. № 4 (62). С. 16–22.
3. Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. С. 126–128; Vodoff V. Le culte de Znamenie à Novgorod: Tradition et réalité historique // Oxford Slavonic Papers. New Series. Vol. XXVIII (1995). P. 6–7.

внукъ Ижеславль»¹. Новгородское «самовластие» здесь не связывается ни с какими князьями. «Человеки Великого Новгорода», т.е. новгородское политическое сообщество, никем к моменту осады 1170 г. не было «обладаемо». Более того, специально подчеркивается, что князья призывались по воле новгородцев «от иных стран» и не для того, чтобы «обладать» Новгородом, а для конкретной цели — военной («въ отмщение съпротивным»). Чуть ниже в том же тексте говорится: «Едина от власти града того (Новгорода. — П.Л.) Двина глаголемая отметнувьшеса убо обычную дань даяти Новуграду, но предавшеса князю Андрью Суздальскому. Новгородци же съвѣщавшеса, даньника по обычаю на предреченную Двину послаша и с нимъ от пяти коньцевъ по сту мужъ»². В этой трактовке новгородский «политический народ», состоящий из горожан, входивших в кончанские объединения, оказывается полновластным владельцем новгородских волостей и получателем даней с них, причем особо акцентируется внимание на том, что такое положение соответствует обычаю, а попытки князей вмешаться в установленный порядок обычай нарушают. Естественно, речь идет именно об идеологии, а не о реальной ситуации второй половины XII в., когда даже еще не существовало и пяти концов³. Эта концепция явно была полемически заострена против идеи о Новгороде как о княжеской отчине — по крайней мере имплицитно (поскольку прямо в «Воспоминании» о происхождении новгородского «самовластия» не говорится).

Несколько позже Пахомий Логофет создал еще одно произведение на ту же тему — «Слово Похвальное иконе Знамение». В нем он в целом повторяет те же мотивы. Андрей

1. *Агафонов И.С.* Осада Новгорода в 1170 г. по письменным источникам. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2015. Приложение 2. «Воспоминание о Знамени». Текст. С. 162.

2. Там же.

3. Два позднейших конца — Плотницкий и Загородский — возникли, скорее всего, не ранее XIII в. (*Дубровин Г.Е.* Формирование Плотницкого конца и государственные реформы в Новгороде в середине — второй половине XIII в. // *Древняя Русь: Вопросы медиевистики.* 2013. № 1 (51). С. 41–53).

Боголюбский «зря Великыи Новъградъ самовластенъ и никымже обладаемъ, богатством же исполнени, тѣмже и завистию разгорѣсь..»¹, но конкретики становится значительно меньше, а религиозной риторики — еще больше.

Любопытно, что в обоих произведениях, посвященных чуду от иконы Знамение, Пахомий Логофет, хотя и весьма позитивно отзываясь о новгородском «самовластии» и осуждает покушение на него со стороны Андрея Боголюбского, нигде прямо не говорит о том, что это было божественное установление. Между тем в «Слове о Знамении», как мы помним, этот тезис выдвигался. В чем была причина этой редакции, сказать сложно². Но вряд ли она была случайной: Пахомий Логофет только усиливал религиозно-назидательную направленность текста с помощью, по характеристике В. Водова, «цветистой и напыщенной риторики»³. Ясно, так или иначе, что в Новгороде XV в. шло напряженное осмысление своей «вольности» и предпринимались как попытки вывести ее непосредственно от сверхъестественных сил, минуя любых князей, в том числе и «древних», так и полемика с этими попытками — как имплицитная, так и эксплицитная.

Во-вторых, фиксируются попытки «отвязать» новгородскую историю от князей-Рюриковичей с помощью создания альтернативного мифа *de origine*. Показательны в этом смысле легенды о варяжском (а не славянском) происхождении новгородцев и о «старейшине» Гостомысле, не принадлежащем к русской княжеской династии. Они приобрели особую актуальность в XV в., но, скорее всего, бытовали и ранее⁴.

1. Яблонский В., священник. Пахомий Серб и его агиографические писания. Биографический и библиографически-литературный очерк. СПб., 1908. С. XCIII.
2. Об использовании Пахомием Логофетом «Слова о Знамении» см.: Дмитриев Л.А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. С. 115–119.
3. Vodoff V. Le culte de Znamenie à Novgorod: Tradition et réalité historique. P. 7.
4. Лукин П.В. Старейшина Гостомысл и первый дож Паолуччо Анафесто: республиканские мифы и их судьбы // Древняя Русь: Вопросы

В-третьих, — и здесь мы уже вступаем в пространство, где риторика соединяется с политической практикой, — существовавшая в Новгороде второй половины XV в. партия, ориентированная на Великое княжество Литовское, по-видимому, вообще стремилась устранить «отчинную» терминологию и из правовых документов. Так, в договоре (или проекте договора) Новгорода с Казимиром IV 1471 г.¹ новгородская вольность есть, а признания себя его «отчиной» — нет. Там от имени великого князя Литовского и короля Польского говорится: «Докончальт есми с ними миръ и со всѣмъ Великимъ Новымъгородомъ, с мужи волными»².

Новгородская «вольность» не осталась незамеченной и внимательными наблюдателями извне, и характеризовали они ее в полном соответствии с новгородскими же источниками и достаточно определено. Жильбер де Ланнуа, рыцарь из Фландрии, побывавший в Новгороде в 1413 г., с одной стороны, называет Новгород «вольным городом и владением общины» («ville franche et seigneurie de commune»), с другой — замечает, что у новгородцев «нет другого короля или правителя, кроме великого короля Московского, правителя Великой Руси», добавляя, впрочем: «которого они, когда хотят, признают правителем, а когда не хотят — нет»³. Эти наблюдения полностью соответствуют концепции «люди вольные — отчина великого князя», точнее, ее новгородской интерпретации. Немецкий хронист и автор «Хроники Констанцкого собора» (ок. 1420 г.) Ульрих Рихенталь сравнивал Новгород с Венецией. В хронике говорится о том, что на соборе, заседавшем в 1414–1418 гг., присутствовали представители Римско-Католической церкви Новгорода; и ее автору было известно, что Великий

медиевистики. 2019. № 1 (75). С. 67–71; *Он же*. Новгородцы «от рода варяжска» и троянское происхождение венецианцев: две республиканские легенды *de origine* // Средние века. 2019. Т. 80. № 1. С. 93–111.

1. О датировке см.: Янин В.Л. Новгородские акты XII–XV вв. Хронологический комментарий. М., 1991. С. 187–189.
2. ГВНП. № 77. С. 130.
3. *Ceuvres de Ghillebert de Lannoy, voyageur, diplomate et moraliste, recueillies et publiées par Ch. Potvin avec des notes géographiques et une carte par J.-C. Houzeau*. Louvain, 1878. P. 33.

Новгород («groß Novograt») — самоуправляющийся город и что «он выбирает герцога, как венецианцы» («...daz ist ain statt für sich selb und welt ain hertzogen als die Venedier»)¹. «Герцог» в данном случае применительно к Новгороду — не князь, а, скорее всего, тысяцкий (в ганзейских документах его обычно называли «hertoch» — «герцог»), применительно же к Венеции — конечно, дож. Выражение «ein stat für sich selb» (буквально: «город для себя самого») вполне можно считать проявлением той тенденции к республиканской «суверенизации», о которой шла речь выше.

Сохранялись на Западе представления о новгородской вольности и позднее, уже после присоединения Новгорода к Москве. Сигизмунд Герберштейн писал, что Новгород в период своего процветания «был самовластным» («sui <...> juris esset»), а в немецком переводе уточнял, что тогда этот город «пребывал в своих свободах» («in jren Freihaiten gewest ist»)².

Республиканская риторика в Пскове

Как и в случае с Новгородом, при обсуждении псковского республиканизма на первый план выходило вече. Между тем это слово появляется в псковских источниках довольно поздно. Иногда в историографии встречается мнение, что оно впервые упоминается в жалованной грамоте Пскова Якову Голутвиничу с братом и детьми³. Издатели датировали ее 1308–1312 гг.⁴ Однако не так давно С.М. Каштанов и А.А. Вовин независимо друг от друга показали, что она должна датироваться значительно более поздним временем (А.А. Вовин относит ее к рубежу XV и XVI вв.,

1. Chronik der Konstanzer Konzils 1414–1418 von Ulrich Richental / Eing. und hrsg. von Th.M. Buck. Ostfildern, 2011 (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen). S. 199.
2. *Герберштейн С.* Записки о Московии: В 2 т. / Под ред. А.Л. Хорошкевич. Т. I: Лат. и нем. тексты, рус. пер. с лат. А.И. Малеина и А.В. Назаренко, с ранненововерхненем. А.В. Назаренко. М., 2008. С. 338–339.
3. *Аракчеев В.А.* Средневековый Псков: власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004. С. 59.
4. ГВНП. № 333. С. 318.

а С.М. Каштанов вообще склонен считать фальсификатом XVII в.)¹. Первым хронологически четко датированным упоминанием псковского веча следует считать грамоту псковских властей польскому королю и литовскому великому князю Казимиру 1480 г.²

Имеются более ранние летописные упоминания псковского веча в летописях, но их сложно твердо датировать в силу того, что летописные рассказы могли возникать и существенно позднее описываемых в них событий. Среди исследователей псковского летописания в общем наличествует консенсус относительно того, что все псковские летописи (А.Н. Насонов определил их как Псковские первую, вторую и третью) восходят к общему источнику — своду, возникшему в XV в. Споры шли и идут о времени составления этого свода и его источниках. Сам А.Н. Насонов датировал его 50-ми — началом 60-х гг. XV в.³ Впоследствии, однако, Х.-Ю. Грабмюллером была предложена схема, предусматривающая существование целого ряда псковских летописных сводов, первым из которых был свод 1368 г. («die Pskover Ur-Chronik»), а одним из важнейших звеньев этой схемы оказывается свод 1410 г. Именно после этого свода псковская летописная традиция разделяется, что впоследствии приводит к оформлению трех летописей («die Spaltung der Pskover Stadtchronistik»). С другой стороны, свод 1368 г. объединил в своем составе материал двух летописных традиций — Троицкой церкви и связанной предположительно с псковскими посадниками. Они возникли соответственно в 20-е гг. XIV в. и на рубеже XIII–XIV вв. (сразу после смерти князя Довмонта)⁴. Схема

1. *Каштанов С.М.* Исследования по истории княжеских канцелярий средневековой Руси. М., 2014. С. 342–346 (впервые — в 2002 г.); *Вовин А.А.* Датировка жалованной грамоты Пскова Якову Голутиновичу // *Древняя Русь: Вопросы медиевистики.* 2014. № 2 (56). С. 75–82.
2. ГВНП. № 339. С. 325.
3. *Насонов А.Н.* Из истории псковского летописания // ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. Псковские летописи. М., 2003. С. 23–33 (1-е изд. — 1946).
4. *Grabmüller H.-J.* Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur russischen Regionalchronistik im 13.–15. Jahrhundert. Wiesbaden, 1975 (Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa. Bd. 10). S. 125–192.

Х.-Ю. Грабмюллера, хотя и оценивалась как недостаточно доказательная, подробно разобрана так и не была, и до сих пор в истории псковского летописания остается много неясного¹. Тем не менее исследователи в целом — с разной степенью уверенности — принимают вывод ученого о существовании псковского свода начала XV в. и даже приводят в пользу его существования дополнительные аргументы².

Если схема Х.-Ю. Грабмюллера в своей основе верна, то в своде 1410 г. и в более ранних псковских летописных текстах вече прямо не фигурировало. Впервые псковское вече упоминается в местном летописании под 1454 г.³, и в дальнейшем в псковских летописях оно появляется регулярно⁴. На этом основании делается вывод о том, что псковское вече — явление позднее, в связи с чем в относительно недавнее время получили развитие «скептические» точки зрения на него. Ю. Гранберг на основе анализа словосочетаний, в которых фигурирует вече в летописях, пришел к выводу, что это слово в псковском контексте обозначало не собрание псковичей, а место проведения официальных церемоний, которое могло становиться ареной спонтанных политических проявлений⁵. А.А. Вовин же, корректируя эту — слишком радикальную, по его мнению, — точку зрения, на основе анализа более широкого круга источников предполагает, что псковское вече было и не собранием, и не местом собраний, а обозначало «определенную церемонию, ритуал или процедуру, легитимирующую принятие

1. *Лурье Я.С.* [Rec. ad:] H.-J. Grabmüller. Die Pskover Chroniken. Untersuchungen zur russischen Regionalchronistik im 13.-15. Jahrhundert // *Russia mediaevalis*. Т. III. München, 1977. S. 83–92.
2. *Ibid.* S. 87–88; *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова: XIV — начало XVI в. СПб., 2019. С. 56–84.
3. ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. С. 52, разночтения; Т. V. Вып. 2. М., 2000. С. 140–141. Ср.: *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова. С. 130.
4. Б.Б. Кафенгауз составил специальную сводку упоминаний вече в псковских летописях, в которую вошло 66 свидетельств — вплоть до падения Псковской республики в 1510 г. (*Кафенгауз Б.Б.* Древний Псков: очерки по истории феодальной республики. М., 1969. С. 92–98).
5. *Granberg J.* Veche and the Chronicles of Medieval Rus: A Study of Functions and Terminology. Göteborg, 2004 (Dissertations from the Department of History, Göteborg University. 39). P. 151–171.

политических решений», причем такая легитимация была «неизменным условием» этого. В распространении в Пскове понятия «вече» автор усматривает проявление «новгородизации» псковских реалий, т.е. развитие псковских политических институтов и соответствующей политической риторики по новгородской модели. Заимствованное из Новгорода понятие стали со второй половины XV в. использовать в Пскове для обозначения уже давно существовавших там собраний горожан. Поэтому анализ употребления слова «вече» не может служить «ключом» к пониманию сущности политического строя Пскова. Для этого нужно обратить внимание на другие обозначения: «весь Псков» и «мужи-псковичи»¹.

В целом концепция А.А. Вовина является, несомненно, серьезным шагом вперед на пути изучения строя Псковской республики и, более того, позволяет выйти из замкнутого круга, возникшего в результате подмены исследования реалий фиксацией на самом слове. Тем не менее у нас нет оснований утверждать, что слово «вече» вообще нигде и никогда не применялось по отношению к собраниям псковичей и до середины XV в. Имеется к тому же пример, намекающий на обратное. В 1217 г. на новгородцев и псковичей во время военного похода напали ливонские «немцы», которым сообщила о месте расположения русского войска чюдь: «Чюдь же начаша слати съ поклономъ льстью, а по Нъмьци послаша; и начаша новгородци гадати съ пльсковичи о чюдьской речи, отшедьше далече товарь, а сторожи нощнии бяху пришли, а днѣвнии бяху не пошли; а наѣхаша на товары без вѣсти, новѣгородци же побегоша съ вѣча въ товары, и поймавше оружие и выбиша е ис товарь»². Совецание новгородских и псковских воинов названо в новгородской летописи вечем. И это действительно было собрание широкого состава, поскольку там участвовало все войско поголовно, за исключением сторожей, которые должны были охранять опустевший

1. *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова. С. 132–136.

2. ПСРЛ. Т. III. С. 57.

лагерь («товары»)¹. Отсюда следует, что по крайней мере собрания *с участием* псковичей вполне могли называться вече́м в новгородских источниках. И это сразу ставит вопрос о том, не случайность ли отсутствие упоминаний «веча» в псковском летописании первой половины XV в. и тем более XIV в. — не слишком богатом описаниями внутривластической истории города вообще.

Выше уже цитировалось известие новгородской летописи под 1253 г., в котором идет речь о победе новгородцев и псковичей над ливонцами и упоминается заключение мира «на всеи воли новгородьской и на пльсковьскои»². Это означает, что в Новгороде уже в середине XIII в. считали, что в Пскове, как и в самом Новгороде, существует политический коллектив — носитель «всей воли».

Х.-Ю. Грабмюллер обратил внимание на то, что псковские летописцы XIV в. интересовались почти исключительно военными походами и церковным строительством, так что политические институты могли просто не находиться в фокусе их внимания. Кроме того, имеется параллель такому «молчанию» о вече — это отсутствие его прямых упоминаний в *НПЛ* за XII в. (хотя в летописании других земель новгородское вече в это время упоминается). Разумеется, это связано не с отсутствием явления, а с особенностями политической риторики и стилистическими предпочтениями летописцев.

Глобально же следует признать правоту А.А. Вовина: дело действительно не в слове «вече», и ключ к пониманию основных проблем истории республиканского Пскова следует действительно искать не в нем. Суммируем вкратце его выводы, с которыми мы полностью согласны. Историк убедительно показал, что в Пскове, как и в Новгороде, главным и системообразующим политическим институтом было не «вече», а «политический народ» Пскова, который мог именоваться в источниках по-разному, но все эти обозначения были фактически синонимичными: «мужи-псковичи»,

1. *Лужин П.В.* Новгородское вече. С. 211–212.

2. ПСРЛ. Т. III. С. 80, 307.

«все псковичи», «весь Псков», позднее — «весь Великий Псков». В состав этой общности входили только жители самого Пскова, принимавшие решения, которым обязаны были подчиняться как «пригорожане» (жители подвластных «всему Пскову» городов, таких, как Изборск, Воронич и др.), так и селяне. По-видимому, вне псковского политического коллектива находились изначально даже «посажане» — жители Пскова, обитавшие за городской стеной. В состав «всего Пскова» входили при этом люди различного социального статуса.

Тем не менее искусственным выглядит противопоставление веча «политическому народу». Как уже говорилось выше, понятие «вече» в самом деле не имело (или, по крайней мере, долго не имело) четкого терминологического значения и не использовалось в качестве подлежащего (действующего лица) в тех контекстах, в которых используются современные термины, обозначающие коллегиальные органы власти («Верховный совет постановил», «Сенат США утвердил» и т.д.). Это, однако, никоим образом не означает, что вече следует считать ритуалом или местом его проведения. Источникам неизвестны ни ритуалы под названием «вече», ни топонимы с таким названием¹. Положение этого слова в тех фразах, где оно использовалось, определялось не самими реалиями, а способами их описания.

Вече псковских источников, несомненно, обозначало собрание — как это было с вечем и в других русских городах, с афинской экклесией, римскими комициями и венецианским «народным собранием» («contio», «arengo»). Однако действующим лицом было не само абстрактное собрание, а его участники, объединенные в «политический народ».

1. И.К. Лабутина упоминает, впрочем, псковское вече среди топонимов, но при этом признает его тождество с буевищем — площадью, где вече собиралось. Таким образом, вече как «место» совпадает с обычным названием этого места, и это при том, что сама же исследовательница отмечает, что у слова «вече» были и другие значения. Следовательно, оно не могло означать топоним (ср. старорусское выражение «на Москве», которое могло означать только город Москву и ничего больше) (Лабутина И.К. Историческая топография Пскова в XIV–XV веках. М., 2011. С. 178–179).

Не было это понятие и обязательным для употребления, по крайней мере в нарративных источниках. Существует ряд примеров, когда в разных псковских летописях одно и то же событие характеризуется и как вече, и без употребления этого слова¹. Ярким подтверждением этого могут служить летописные рассказы об изгнании из Пскова князя Владимира Андреевича Ростовского осенью 1462 г. В Псковской II летописи (далее — III) об этом говорится так: «Выгнаша псковичи князя Володимира Одрѣевича изо Пскова, а иныя люди на вечи съ степени съпхнули его; и онъ поехал на Москву съ бесчестиемъ к великому князю Ивану Васильевичю жаловатися на Псковь»². В Псковской I (далее — II) — несколько иначе: «...псковичи выгнаша из Пскова князя Володимера Андрѣевича; а иныя невѣгласы псковичи, злыя люди сопхнувше его степени; онъ же поѣха изо Пскова со многимъ бесчестиемъ на Москву к великому князю жаловатися на псковичь»³. Но так читается только в Тихановском списке, по которому и осуществлено издание. В списках Архивском I, Погодинском и Оболенского указывается, что инцидент с князем случился «на вече» («на вечи»): в первом из них: «люди на вече степени спихну его»; в двух других: «люди степеня [с степеня] на вечи спихнули его»⁴. Наконец, в Псковской III (далее — IIII) летописи вече вообще отсутствует: «...выгнаша псковичи <...> при посаднике степенномъ Максиме Ларивоновиче князя Володимера; а онъ приеха не по псковской старины, псковичи не зван, а на народ не благъ, и изо Пскова с бесчестиемъ поеха на Москву к великому князю Иоану Васильевичю жялится на псковичь...»⁵.

Такая терминологическая нечеткость объяснялась по-разному, но обычно подразумевалось, что она должна сви-

1. См.: *Кафенгауз Б.Б.* Древний Псков. С. 104–105; *Granberg J.* Veche and the Chronicles of Medieval Rus. P. 159, 161–162.
2. ПСРЛ. Т. V. Вып. 2. С. 52.
3. ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. С. 62.
4. Там же, разночтения.
5. ПСРЛ. Т. V. Вып. 2. С. 150.

детельствовать о некоторой ущербности псковского веча. Б.Б. Кафенгауз усматривал причину молчания одних летописцев о вече при упоминании его другими в политической слабости веча в Пскове: реальная власть, по его мнению, принадлежала посадникам¹. По мнению Ю. Гранберга, легкость, с какой летописцы могли опускать слово «вече», — показатель малой его важности для составителей «нарративов»².

В действительности, однако, дело, как представляется, в том, что в Пскове, как и в Новгороде, вовсе не вече находилось в центре республиканской политической культуры. В связи с этим не имеет принципиального значения, сколько именно раз и с какого времени начинает употребляться в отношении псковских политических собраний слово «вече». Это, несомненно, важно как с точки зрения политической риторики, так и с точки зрения процесса институционализации псковского республиканизма. В историографии этой теме придается гипертрофированное значение, хотя в псковском своде законов эпохи самостоятельности — Псковской судной грамоте — прямо говорится о том, что высшим органом власти является не вече, а псковское политическое сообщество — «Господин Псков»: «А которой строке пошлинной грамоты нет, — и посадником доложить господина Пскова на вечи, да тая строка написать. А которая строка в сей грамоте нелюба будет господину Пскову, ино та строка волно выписать вонь из грамот» (ст. 108)³. Важнейшие решения законодательного характера имеет право принимать только «господин Псков» на своем собрании — вече. Но «вольностью» обладает не вече, а именно «политический народ» (во второй фразе вече даже не упоминается).

Очень ярко республиканская риторика проявилась в псковской «Повести о Довмонте», посвященной литовскому по происхождению князю, оказавшемуся в 1265 г. в Пскове

1. *Кафенгауз Б.Б.* Древний Псков. С. 105.
2. *Granberg J.* Veche and the Chronicles of Medieval Rus. P. 163.
3. Памятники русского права. Вып. 2 / Сост. А.А. Зимин. М., 1953. С. 300.

и ставшему в 1266 г. псковским князем¹. Ее первоначальная редакция возникла во второй четверти XIV в.² В «Повести» два главных действующих лица: князь и «мужи-псковичи», под которыми понимается псковский «политический народ». «Мужи-псковичи» — это субъект принятия решений. О вокняжении Довмонта говорится так: «...и посадиша его псковицы на княжение въ граде Пскове» (редакция III); «...и посадиша его мужи псковичи на княжение въ граде Пскове» (редакция IIII)³. Сам Довмонт заявляет «мужам-псковичам», что Псков — это их «отечество»: «Братия мужи псковичи, потягнете за святую Троицу и за святые церкви, и за свое отечество»⁴. «Святая Троица» — это Троицкая церковь в Пскове и одновременно палладиум Пскова, материальное воплощение псковской самостоятельности, аналогичное новгородской Софии. Святые церкви воплощают православную идентичность псковичей. Но что такое «отечество»?

В современном русском переводе оно так и передается: «отечество»⁵. Нынешнее слово «отечество» обозначает Родину (как правило, со специфическими торжественными военно-патриотическими коннотациями). В имеющейся литературе это, видимо, принимается как данность и специально не обсуждается⁶. Однако слово «отечество (отчество, отъчество)» имело значение не только «отечество, Родина», но и «родовое владение, доставшееся по наследству от предков, удел, вотчина»⁷. Интересно, что, в свою очередь, слово «отчина»,

1. *Rowell S.C.* Between Lithuania and Rus': Dovmont-Timofey of Pskov, his life and cult // *Oxford Slavonic Papers. New Series.* 1992. Vol. 25. P. 3–6.
2. *Охотникова В.И.* Псковская агиография XIV–XVII вв.: Исследования и тексты. Т. I. СПб., 2007. С. 407–408.
3. *Охотникова В.И.* Повесть о Довмонте (Исследование и тексты). Л., 1985. С. 189, 196.
4. Там же. С. 190, 194, 196.
5. Сказание о Довмонте / Подг. текста, пер. и комм. В.И. Охотниковой // Библиотека литературы Древней Руси. Т. VI. СПб., 1999. С. 59.
6. *Горский А.А.* «Всего еси исполнена земля русская...»: Личности и ментальность русского Средневековья: Очерки. М., 2001. С. 64, 65.
7. *Словарь русского языка XI–XVII вв.* Вып. 13. М., 1987. С. 238–239 (далее — *СлРЯ*).

как об этом говорилось выше, могло иметь значение «Родина, отечество»¹. Поэтому такая неоднозначность требует специального анализа контекста, и вполне уместен вопрос: не подразумевается ли в «Повести о Довмонте» под «своим отечеством» псковичей не абстрактное отечество вообще, а Псковская земля как наследственное владение псковского «политического народа»? Как показал А.А. Горский, специально исследовавший так называемые «патриотические формулы» в древнерусских письменных источниках, для периода «раздробленности» общерусские формулы не характерны². Точно так же и весь контекст говорит в пользу того, что под «отечеством» здесь следует понимать не всю Русскую землю в широком смысле, а Псков³. Параллель же с Новгородом как «отчиной» новгородцев в известии *НПЛ* под 1255 г., о котором шла речь выше, склоняет к «наследственной» интерпретации. В принципе оба значения слова «отечество» тут как бы сливаются, и становится очень трудно однозначно определить, что именно в данном случае первично: отечество как «Родина» или отечество как отчина (указание на наследственную принадлежность). Тот факт, что, судя по данным словарей, и «отечество», и «отчина» в значении «Родина» встречаются преимущественно в переводных текстах или текстах, испытавших их прямое или косвенное влияние, заставляет предпочесть второй вариант. Таким образом, по-видимому, автор «Повести о Довмонте» исходил из того, что Псков — это отчина, наследственное владение «мужей-псковичей» (и поэтому, естественно, их «отечество»). Псковское «отечество» (как и новгородская «отчина») в этом контексте оказывается той «общей вещью» (*res publica*), заботиться о которой призывает псковичей автор «Повести» устами своего главного героя.

В финале «Повести» в редакции *ПМ* уже сами «мужик-псковичи» оказываются этим объектом заботы: «...много бо дне пострада (Довмонт. — *П.Л.*) за дом святыа Троица

1. СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 14. М., 1988. С. 65.
2. Горский А.А. «Всего еси исполнена земля русская...». С. 64, 68.
3. См. также: Кром М.М. Патриотизм, или Дым отечества. СПб., 2020 (Азбука понятий; вып. 12). С. 54.

и за мужей за псковичь стоянием дому святыа Троица»¹. Здесь опять-таки просматривается прямая параллель новгородским формулам — например, формуле, приведенной в рассказе *НПЛ* о борьбе с Москвой за Двинскую землю в 1397–1398 гг., когда новгородское войско во главе с посадниками поклялось: «...или паки изнаидем свою отчину къ святѣи Софѣи и к великому Новугороду, паки ли свои головы положимъ за святую Софѣю и за своего господина за великыи Новѣгород»². И «мужи-псковичи», и «господин Великий Новгород» одновременно оказываются и объектами «республиканской» заботы, и активными действующими лицами — политическими сообществами, призванными эту заботу осуществлять.

Таким образом, важнейшие элементы республиканской риторики присутствовали в псковской книжности задолго до попыток великих князей Московских присоединить Псков и вне контекста противостояния с Москвой.

Особое место в псковской республиканской риторике занимало выражение «добровольные люди». Так, в 1461 г., согласно псковской летописи, псковичи «повелѣша» своим послам «бити челомъ» приехавшему в Великий Новгород Василию Темному «о жаловании и о печаловании своая отчины, мужей псковичь добровольных людей»³. Формула «великокняжеская отчина — мужи псковичи (весь Псков), добровольные люди» носила вполне официальный характер, о чем свидетельствует грамота Пскова другому московскому великому князю Ивану III 1477 г., в которой псковичи обращаются к нему так: «А вамъ, своимъ государемъ (читай: господаремъ. — *П.Л.*) вѣликимъ княземъ русскимъ и царемъ, отчина ваша, добровольные люди, весь Псковъ челомъ бьемъ»⁴.

1. *Охотникова В.И.* Повесть о Довмонте. С. 199.

2. ПСРЛ. Т. III. С. 391. Отметим, что здесь подразумевается не Новгород как топоним (город или Новгородская земля), а «господин Великий Новгород» как политическое сообщество новгородцев, осененное патронатом святой Софии (ср.: *Горский А.А.* «Всего еси исполнена земля русская...». С. 65).

3. ПСРЛ. Т. V. Вып. 1. С. 58.

4. ГВНП. № 338. С. 324.

В историографии эти формулы обычно интерпретируются как переходные, парадоксальные, противоречивые, свидетельствующие о постепенном подчинении республик Москве. Считается, что в Коростыньском договоре речь идет о признании себя «органической частью Русского государства» при сохранении своего внутреннего статуса, внутреннего порядка управления¹. Примерно в таком же духе характеризуется в одном из последних исследований и соответствующая псковская формула². Однако как анализ функционирования этих формул в новгородских и псковских источниках и стоявшей за ними политической практики, так и сравнительно-исторические данные указывают на другое. В рамках новгородской и псковской политической риторики идея о том, что московский великий князь обязан их защищать от внешних врагов, вполне сочеталась с убеждением в собственной вольности. Как показал применительно к Пскову С.В. Городилин, в псковском летописании преобладающим контекстом, в котором фигурирует формула с упоминанием «отчины» и «добрвольных людей», оказываются обязательства великого князя *жаловати и боронити* Псков либо псковские просьбы о том же. Историк — полагаем, небезосновательно — считает, что стимулом к появлению таких идей в Пскове стал Салинский договор 1398 г. между Великим княжеством Литовским и Тевтонским орденом, который рассматривался как прямая угроза независимости Пскова (он, в соответствии с договором, должен был отойти в сферу влияния Ордена), в результате чего там стала ощущаться необходимость в обретении могущественного защитника, каковым в той ситуации мог быть только московский великий

1. *Алексеев Ю.Г.* «К Москве хотим». Закат боярской республики в Новгороде. Л., 1991. С. 84.
2. *Krom M.* The City of Pskov in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries // *Russian History*. Vol. 41 (2014). No. 4. P. 451–456. Подробнее историографию вопроса см.: *Городилин С.В.* Иван Репня Оболенский: «наш князь» или чужой наместник? К вопросу о статусе псковских князей в XV — начале XVI в. // *Археология и история Пскова и Псковской земли. Ежегодник Семинара имени академика В.В. Седова*. Вып. 33. Материалы 63-го заседания (2017 г.). М.; Псков, 2018. С. 65–68.

князь¹. В этом смысле псковская формула «великокняжеская отчина — добровольные люди» оказывается аналогом новгородской формулы «великокняжеская отчина — люди вольные» и отражает ту же двойственность политической идентичности, которая как в новгородской, так и в псковской интерпретации не подразумевала никаких реальных ограничений самостоятельности республик. В то же время, как и в случае с Новгородом, победа московской интерпретации этой двойственной риторики могла привести (и привела) и к институциональным изменениям.

Нереспубликанские республики?

Можно ли найти «республиканизм» в других древнерусских землях, не только в Новгороде и Пскове? Дореволюционная земско-вечевая теория, а в советское время — школа И.Я. Фроянова исходили из того, что по крайней мере в домонгольское время, а может быть, и позже основы политического строя на Руси были в принципе повсюду едины, что подтверждается повсеместным существованием веча, которое — по мысли сторонников таких взглядов — являлось главным органом власти. Выше мы, однако, видели, что вовсе не само по себе вече было основой древнерусского республиканизма. Крайняя редкость упоминаний веча в Новгороде в XII в., как уже говорилось выше, не может свидетельствовать об отсутствии республиканских тенденций эволюции новгородского политического строя в этот период, а наличие таких упоминаний в других

1. *Городилин С.В.* «Твоя отчина мужи псковичи люди добровольные»: к вопросу о происхождении и политико-правовом контексте летописной формулы // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. Вып. 6: VI чтения памяти академика РАН Л.В. Милова. Материалы к международной научной конференции. Москва, 21–22 ноября 2019 г. М., 2019 (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 163. Сер. 2: Исторические исследования: 102). С. 86–91. См. также: *Лужин П.В.* Что означает формула «ваша отчина, (добро)вольные люди»? Дубровницкая параллель // Комплексный подход в изучении Древней Руси. Материалы X Международной научной конференции 9–13 сентября 2019 года, Москва, Россия / Отв. ред. Е.Л. Конявская. М., 2019. С. 120–122.

древнерусских городах не может само по себе свидетельствовать о том, что там такие тенденции были выражены. Вечевые собрания, конечно, отражают политическую активность горожан, но такая активность могла носить эпизодический характер, возникая лишь в критических, кризисных ситуациях. Подлинной основой древнерусского республиканского строя было существование «политического народа» и использование соответствующих понятий и риторики.

Весьма неоднозначную ситуацию мы видим с этой точки зрения в *Киеве*.

Применительно к Киеву в летописях есть множество упоминаний политической активности населения, в том числе и в форме веча. Однако с киевским «политическим народом» дело обстоит сложно: соответствующий дискурс практически отсутствует. Более того, заметны некоторые выражения, которые можно считать проявлением совсем иной риторики. Так, в рассказе о мести княгини Ольги древлянам киевляне говорят древлянским послам: «*Неволя* есть намъ; князь нашъ убиенъ бысть, а княгынѣ наша хочетъ за вашъ князь (выйти замуж за древлянского князя Мала. — *П.Л.*)». После этого они на руках «понесоша я в лодыи»¹. В данном случае не имеет значения, что это была уловка со стороны Ольги и киевлян и что сам рассказ носит, по-видимому, легендарный характер. Существенно то, как понимал киевский летописец — предположительно XI в.² — что такое «неволя» горожан. «Неволя» в его представлении связана с беспрекословным подчинением горожан князю (здесь — княгине), который может принудить к выполнению даже унижительных требований. Между прочим, понятие «неволя» помогает прояснить значение его

1. ПСРЛ. Т. III. С. III; Т. I. Стб. 56.

2. По А.А. Шахматову, повествование о первых трех мщениях княгини Ольги древлянами появилось в «Начальном своде» конца XI в. (*Шахматов А.А. Разыскания о древнейших русских летописных сводах.* СПб., 1908. С. 109–110 (§ 72), 544). Есть и другие мнения. С.М. Михеев относит его к «Древнему сказанию» («Древнейший свод», по А.А. Шахматову), который датирует 1016–1018 гг. (*Михеев С.М. Кто писал «Повесть временных лет»? С. 154–155, 217).*

антонима — «воля». «Воля», которой в тот момент лишены киевляне, оказывается отсутствием такого подчинения.

В 1068 г., согласно Начальному летописанию, после поражения, которое нанесли половцы князю Изяславу Ярославичу, «людие киевстѣи прибѣгоша Киеву, и створиша вѣче на торговици», и потребовали у князя оружия и коней для продолжения войны с половцами. После отказа Изяслава «начаша людие говорити на воеводу Коснячя¹; идоша с вѣча на гору...». В результате киевляне прогнали Изяслава, а вместо него провозгласили князем сидевшего в тюрьме Всеслава Полоцкого². В следующем, 1069 г. киевляне после бегства поставленного ими Всеслава «створше вѣче, послаша къ Святославу и ко Всеволоду, глаголюще: „мы уже зло створилѣ есмы, князя своего прогнавшѣ; а се ведеть на нас Лятьскую землю; а вы поидита въ град отца своего; аще ли не хочета, то намъ *неволя*: зажегше град свои, ступимъ в землю Грѣчьскую“»³. Киевляне боялись мести изгнанного ими в предыдущем году Изяслава Ярославича, который вел на Киев своих союзников-поляков, и, стремясь ее предотвратить, обратились к его младшим братьям: Святославу и Всеволоду.

Киевляне принимают решения на вече, предъявляют требования князю, изгоняют одного князя и ставят на престол другого, считают «град» своим, и недооценивать это при интерпретации степени политической активности киевлян во второй половине XI в. нельзя⁴. Однако некоторых существенных деталей, знакомых нам по Новгороду и Пскову, здесь нет. На вече собирается не «весь Киев», не «все кияне», а «люди киевские» или даже просто «людье», что, в отличие от афинского демоса, не было обозначением

1. Правильно: Коснячка.

2. ПСРЛ. Т. III. С. 189; Т. I. Стб. 170–171. См. подробнее: *Лукин П.В.* Зачем Изяслав Ярославич «възгна торгъ на гору»? К вопросу о месте проведения вечевых собраний в средневековом Киеве // *Средневековая Русь*. Вып. 7. М., 2007. С. 31–55.

3. ПСРЛ. Т. III. С. 190–191; Т. I. Стб. 173.

4. См. об этом подробнее: *Лукин П.В.* «...нам неволя: зажегше град свои, ступим в Гречьску землю». К интерпретации статьи «Повести временных лет» под 6577 г. // *Rossica Antiqua*. Т. I. СПб., 2006. С. 229–259.

«политического народа» («людь» — самое общее наименование вообще любых людей). Изгнание князя сами же киевляне признают «злом», т.е. не считают его легитимным актом. Наконец, свою судьбу они ставят в зависимость от согласия Ярославичей заступиться за них; в противном случае они будут вынуждены бежать в Византию. Это показывает, что, скорее всего, концепцией «вольности» они не руководствовались. Разумеется, надо еще раз оговориться, что мы не знаем точно, что именно было в головах у киевлян в 1069 г. (очень вероятно, что они-то считали свои действия вполне легитимными), речь идет о том, как это представлено в начальном летописании. Показательно само отсутствие в описании того, что можно назвать «ристорикой вольности».

Упоминание воли киевлян мы видим, однако, уже в XII в., в летописном рассказе о кратком и несчастном княжении в Киеве Игоря Ольговича. Когда в 1146 г. умер его брат, киевский князь Всеволод, черниговские Ольговичи хотели посадить на киевский стол Игоря. Однако киевляне, судя по летописи, без восторга отнеслись к такой перспективе, и их пришлось уговаривать. В частности, раздражение киевлян вызывали тиуны умершего Всеволода, на которых они жаловались на собравшемся у Туровой божницы вече. Поэтому еще один брат покойного, Святослав Ольгович, отправился туда и попытался договориться с киевлянами, заявив: «Язь цѣлую крестъ за братомъ своимъ [Игорем Ольговичем], яко не будетъ вы насилья никоторого же, а се вы и тивунъ, а по вашей воли». Далее состоялась процедура крестоцелования: «И на томъ [Святослав] целова хрестъ к нимъ у вѣчи. Кияне же вси съсѣдше с конь, и начаша молвити: „Братъ твои князь [Игорь] и ты“. И на томъ цѣловаше вси Кияне хрестъ и с дѣтми, оже под Игоремъ не льстити, под Святославомъ»¹. Здесь мы как будто видим некоторые

1. ПСРЛ. Т. II. Стб. 321–322. См. подробнее: *Лукин П.В.* Вече: социальный состав // Горский А.А. и др. Древняя Русь: очерки политического и социального строя. М., 2008. С. 110–116; *Флоря Б.Н.* Представления об отношениях власти и общества в Древней Руси (XII — начало XIII в.). С. 32.

существенные элементы «риторики вольности», известные нам по Новгороду: наличие политического коллектива, которое имеет наименование, образованное с помощью определения, указывающего на всеобщность («вси кияне»); упоминание «воли» этого политического коллектива; самостоятельную активность политического коллектива: принятие решений на «народном собрании» — вече, заключение договора с князем, скрепляемое соответствующей церемонией (крестоцелованием). Типологически это напоминает уровень раннего новгородского республиканизма, когда республиканские риторические формулы и ритуалы еще только формировались (в частности, представление о «воле» новгородцев существовало, а формулы «на всей воле новгородской» еще не было). Однако дальнейшего развития в этом направлении в Киеве, очевидно, не произошло. При этом по крайней мере вплоть до установления монголо-татарского господства представления о киевском политическом сообществе как о некоем единстве сохранялись. Об этом находим интересное свидетельство в «Истории монгол» Платона Карпини. В IX главе там перечисляются свидетели путешествия папского посольства к хану Гуюку в 1246–1247 гг., среди которых указан «весь город Киев» (*civitas omnis Kiovie*): «Весь город Киев является свидетелем. Он дал нам охрану и лошадей до первой татарской заставы, и по возвращении принял нас с татарской охраной и ее лошадьми»¹. Как видно, «весь город Киев» не просто безмолвный свидетель — он выступает в качестве активно действующего лица, которое заботится о послах. Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. С подлежащим единственного числа «[весь] город Киев» в латинском оригинале координируется сказуемое множественного — «дали» («dederunt»). Это не грамматическая ошибка, а использование *constructio ad sensum* (согласования по смыслу), характерного в латинском

1. *Civitas omnis Kiovie testis est, qui nobis dederunt conductum et equos usque ad primam custodiam Tartarorum, et in reversione recepit nos cum conductu Tartarorum et equis eorum...* (*Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei mongoli* / Ed. E. Menestò. Spoleto, 1989 (Biblioteca del 'Centro per il collegamento degli studi medievali e umanistici nell' Università di Perugia', 1), IX: 50. P. 332, разночтения (к строке 676).

языке для предложений, в которых подлежащим является имя собирательное, подразумевающее живых существ. Есть примеры, когда в такой роли выступают названия стран и городов, и очень легко такой тип согласования происходит (особенно в поздней латыни) после таких определений, как «omnis» и «totus»¹. Это означает, что «весь город Киев» воспринимался и Плано Карпини, и его русскими информаторами как коллективный политический субъект. Однако из того же источника мы видим, что реальная власть в Киеве принадлежала тысяцкому и его окружению. В отличие от Новгорода, тысяцкий не был в Киеве республиканским магистратом. Он был наместником, которого назначил отсутствовавший в Киеве князь (т.е. владимирский великий князь Ярослав Всеволодич, убитый в 1247 г. в Каракоруме²). Поэтому применительно к Киеву можно говорить лишь о наличии некоторых республиканских тенденций в XI–XIII вв., что отразилось и в сфере политической риторики.

Странной, на первый взгляд, может показаться постановка вопроса о республиканской риторике в *Северо-Восточной Руси*. «Владими́ро-Сузда́льское княже́ство» (Сузда́льская земля исторических источников) очень часто ассоциировалось в историографии с деспотизмом, и именно в деспотизме могущественных владимирских князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо предлагалось искать корни деспотизма московского. Однако еще А.Н. Насонов в своей ранней и во многом опередившей время статье убедительно опроверг эти построения (что не мешало им повторяться в дальнейшем)³.

1. *Hoffmann J.B.* Lateinische Syntax und Stilistik / Neubearb. von A. Szantyr. München, 1972 (Handbuch der Altertumswissenschaft. Abt. II, T. 2). § 233. S. 436–438.
2. См. об этом: *Горский А.А.* Русские земли в XIII–XIV веках. С. 38.
3. *Насонов А.Н.* Князь и город в Ростово-Суздальской земле (в XII и первой половине XIII в.) // Века. Исторический сборник. Ч. 1. Пг., 1924. С. 3–27. Ср.: *Кобрин В.Б., Юрганов А.Л.* Становление деспотического самодержавия в средневековой Руси (К постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 4. С. 54–64; *Данилевский И.Н.* Русские земли глазами современников и их потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. С. 65–94.

Именно в летописании Северо-Восточной Руси (под 1175 г.) появилась классическая сентенция о вечевом строе на Руси: «Новгородци бо изначала, и Смолняне, и Кыяне, [и Полочане], и вся власти якоже на думу¹ на вѣча сходятся, на что же старѣишии сдумають, на томъ же пригороди стануть»². Подробно политико-институциональное значение этого известия мы рассматриваем в другом месте³, но тут нужно остановиться на некоторых моментах, которые обычно игнорируются в историографии.

Исторический контекст известия — междоусобная война в Суздальской земле между внуками Юрия Долгорукого, Мстиславом и Ярополком Ростиславичами, и его младшими сыновьями, Михалком и Всеволодом Юрьевичами, а также между ориентировавшимися на этих князей городами: старшими (сторонниками Ростиславичей: Ростовом и Суздалем) и младшими (выступавшими за Юрьевичей: Владимиром-на-Клязьме, Переяславлем-Залесским и др.). Выше в *Лавр.* приводится следующее рассуждение — панегирик в честь владимирцев, которые заняли, с точки зрения летописца, правильную позицию в конфликте (в пользу Юрьевичей): «Мы же да подивимся чюду новому⁴, и великому, и преславному матере Божья, како заступи град свои от великих бѣдъ, и гражаны своя укрѣпляетъ. Не вложи бо имъ Богъ страха, и не убояшася, князя два имуще въ власти сеи и боляръ, ихъ прѣщенья ни во чтоже положиша за 7 недѣль. Безо князя будуще в Володимери градѣ, толико възложише всю свою надежу и упованье к святѣи Богородицѣ и на свою правду»⁵. И ниже, комментируя победу Юрьевичей, летописец ссылается на евангельское изречение: «Исповѣдаю ти ся, отче, Господи небеси и земли, яко утаиль се от премудрыхъ и разумень, открыль еси младенцемъ» (Мф. 11:25)⁶.

1. Так в *Радз.* и *ЛПС*, в *Лавр.* и *Ак.* ошибочно: «на дому» (см.: *Лукин П.В.* Новгородское вече. С. 40–41).

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 377–378.

3. *Лукин П.В.* Вече: социальный состав. С. 92–97.

4. *Лавр.* ошибочно: «чюдному».

5. ПСРЛ. Т. I. Стб. 377.

6. Там же. Стб. 378.

В роли «младенцев» в летописи выступают младшие города, в роли «премудрых и разумных» — старшие (Ростов и Суздаль), причем оценка последних в свете евангельского текста сугубо отрицательная. Иисус сравнивает осуждаемые Им галилейские города с Содомом, Тиром и Сидоном — не в пользу первых. Далее летописец иллюстрирует эту цитату комментарием по поводу междоусобицы в Суздальской земле: «Тако и здѣ не разумѣша правды Божья исправити Ростовци и Суждалци, давнии творящесе старѣишии, новии же людье мѣзинии Володимерьстии уразумѣвше, яшася за правѣду крѣпко и рекоша вси собѣ: „Любо Михалка князя собѣ налѣземъ [и брата его Всеволода¹], а любо головы своѣ положим за святую Богородицу и за Михалка“. И утѣши и Богъ и святая Богородиця чюдотворная Володимерьская <...> се бо Володимерци прославлени Богомъ по всеи земли за ихъ правду, Богови имъ помагающую»².

Когда несколько ранее владимирцы узнали о покушении Ростиславичей на имущество владимирского кафедрального Успенского собора, они возмутились: «Мы есмы волная князя прияли к собѣ и крестъ цѣловали на всемъ, а си яко не свою волость творита, яко не творящися сѣдѣти у нас, грабита не токмо [волость] всю, но и церкви»³.

Приведенные выше отрывки принадлежат перу владимирского летописца-клирика и, как показывает история текста, были записаны после победы Юрьевичей и до смерти старшего из них, Михалка, после которой текст был отредактирован в пользу его брата Всеволода Большое Гнездо, т.е. между июнем 1175 г. и июнем 1176 г.⁴ Это означает, что повествование о междоусобице в Суздальской земле было записано по горячим следам, а отразившиеся там воззрения — это воззрения современника событий, который, конечно, ориентировался на господствовавшие в городской элите Владимира взгляды.

1. Вставка в *Радз.* и *Ак.*

2. ПСРЛ. Т. I. Стб. 378.

3. Там же. Стб. 375.

4. *Насонов А.Н.* История русского летописания XI—начала XVIII в. С. 158–160.

Как можно охарактеризовать эти представления? На первый взгляд, республиканская идеология в этих сентенциях проявляется еще более выражено, чем в новгородском летописании.

Прежде всего, в известии о приглашении Ростиславичей вроде бы присутствует «риторика вольности», которой мы не видели в столь артикулированной форме в Киеве. Так это обычно и понимается в историографии. Ю.А. Лимонов, например, считал, что возмущение совершаемыми князьями злоупотреблениями привело к взрыву недовольства владимирцев и созыву веча, на котором выступали ораторы, исходившие «из преамбулы „вольности“, т.е. свободы выбора князя, чье поведение, нарушившее ряд с городом, освобождало горожан от присяги на верность»¹. Однако в *Лавр.*, если обратить внимание на буквальное значение написанного, говорится о вольности не владимирцев, а князей-Ростиславичей. «Волная» в *Лавр.*, вероятно, нужно понимать как винительный падеж двойственного числа, соотношенный с сущ. «князя» (также винительный падеж двойственного числа). Такое же чтение представлено и в *Ип.*, где использован северо-восточный источник («волная князя»), и в *ЛПС*, в котором отразилась переяславская обработка владимирского свода начала XIII в. («волнаа князя»)². Лишь в *Радз.* и *Ак.* это место оказалось отредактировано, и смысл поменялся: «Мы есмо волнии, а князя прияли к собъ»³. Переработка в протографе *Радз.* и *Ак.*, очевидно, представляла собой, как уже говорилось выше, позднейшую владимирскую редакцию переяславской обработки более раннего владимирского же свода. В первоначальном тексте владимирского летописца, таким образом, акцент делался на «вольности», высоким статусе *князей*, обязанных — в соответствии с этим

1. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь. С. 123.

2. ПСРЛ. Т. XLI. С. 103. В издании поставлена запятая между «волнаа» и «князя»: «Мы есмы волнаа, князя прияли к собъ». Но если бы определение относилось к владимирцам, должно было бы быть «волнии».

3. ПСРЛ. Т. I. Стб. 375–376, разночтения.

статусом — соблюдать крестоцелование. Только позднее, возможно, даже в 30-е гг. XIII в. на одном из этапов редактирования владимирского летописного свода это известие было видоизменено таким образом, что «вольность» стала атрибутом горожан.

В любом случае в *Лавр.* в принципе провозглашается право владимирцев приглашать князей или даже избирать нового князя после смерти прежнего из круга близких родственников покойного¹.

«Правда» владимирцев соотносится с правдой Божьей. Относительно этой «правды» можно в целом согласиться с Н.Н. Ворониным: под «правдой» владимирский летописец имел в виду прежде всего оправданные, по его мнению, притязания владимирцев на политическую самостоятельность по отношению к «старшим» городам Северо-Восточной Руси². Однако для риторики владимирского летописца характерен ярко выраженный «князецентризм», а его «риторика вольности» носит достаточно ограниченный характер. Волость, в которой находится Владимир-на-Клязьме, — это владение князей, а не владимирцев. Князья обязаны заботиться о *своей* волости. Без князя не мыслили себя и новгородцы, но владимирский летописец подчеркивает и другое: само наличие «в волости» враждебных князей уже ставит под вопрос «правду» владимирцев. Сопротивление князьям, даже нарушившим крестоцелование, и их боярам (совершенно обычное явление в Новгороде) оценивается как беспримерный подвиг и чудо. Обращает на себя внимание в этом смысле довольно прохладная характеристика вечевых порядков «старших» городов (сами собрания владимирцев, несомненно имевшие место, «вечем», между прочим, не называются). В то же время владимирцам вкладывается в уста тезис, согласно которому

1. *Флоря Б.Н.* Выборность правителя в памятниках владимиросудальского летописания второй половины XII — начала XIII века // От Царьграда до Белого моря. Сборник статей по средневековому искусству в честь Э.С. Смирновой. М., 2007. С. 601–602.
2. *Воронин Н.Н.* К характеристике владимирского летописания 1158–1177 гг. С. 34–36.

Михалко Юрьевич имеет право претендовать на княжение во Владимире, так как он «старѣ в братьи своеи»¹.

Ни киевские, ни владимирские данные о городских вольностях, как справедливо заметил Б.Н. Флоря, не свидетельствуют о каких-то попытках их институционализации². Речь скорее идет о том, что там существовали определенные представления о правах горожан, которые должны уважать князя, сохраняя при этом за собой полноту власти. Проявлялось это, как мы видели, и на уровне риторики, которая никогда не достигала того уровня, которого достигла новгородская «риторика вольности» уже в домонгольский период. В то же время в условиях распространения подобных представлений, в том числе и в официальном летописании (киевском и северо-восточном), о каких-либо деспотических или самодержавных тенденциях также говорить не приходится. Тем не менее относительная неразвитость республиканской идеологии и отсутствие ее институциональных подпорок, вероятно, способствовали таким тенденциям в Северо-Восточной Руси после монголо-татарского завоевания (о социально-политической истории Киева в этот период мы почти ничего не знаем³).

Сложен вопрос с «риторикой вольности» в *Полоцке*, оказавшемся через некоторое время после монголо-татарского нашествия на Русь под властью великих князей литовских. В позднем летописном памятнике Великого княжества Литовского (20-е гг. XVI в.) содержится рассказ о полоцких вольностях. В этом рассказе упоминаются «мужи полочане, котории вechом справовалися, яко Великии Новгород и Псков». Происхождение полоцких свобод связывается автором этого текста с легендарным

1. ПСРЛ. Т. I. Стб. 375. Эта двойственность отмечена Б.Н. Флорей: *Флоря Б.Н.* Выборность правителя в памятниках владимиросудальского летописания второй половины XII — начала XIII века. С. 602–603.
2. *Флоря Б.Н.* Представления об отношениях власти и общества в Древней Руси (XII — начало XIII в.). С. 34.
3. См.: *Горский А.А.* Русские земли в XIII–XIV веках. С. 38–40.

князем литовского происхождения Борисом-Гинвилем: «...пануючи ему в Полоцку был ласкав на подданных своих и дал им, подданным своим, волности и вѣчо мѣти и в звон звонити, и по тому ся справовати, яко у Великом Новѣгороде и Пѣсковѣ»¹. В Полоцке действительно еще в XII в. упоминается вече и фигурирует общность «полочан», приглашающая и изгоняющая князей. Между князьями и «полочанами», очевидно, существуют договорные отношения. Фиксируется общность полочан и в документах более позднего времени, когда Полоцк находился уже в составе Великого княжества Литовского². В одном из ганзейских документов конца XIV — начала XV в. прямо упомянуто вече в Полоцке³.

Проблема, однако, состоит в том, что у нас практически нет собственно полоцких нарративов, на основании которых можно было бы судить о республиканской или коммунальной риторике. Легендарное повествование о Борисе-Гинвиле, конечно, свидетельствует о том, что рефлексия о республиканском строе Полоцка в позднее Средневековье и Раннее Новое время существовала, но ее очень сложно «привязать» хронологически. В свое время И.В. Якубовский, сопоставив положения привилея польского короля и литовского великого князя Сигизмунда I Полоцку с договорами между князьями и Новгородом, обнаружил в них ряд параллелей и предположил, что первые «ряды» полочан с князьями (литовскими) заключались в первой половине XIV в.⁴ Б.Н. Флоря считает, что республиканские традиции в Полоцке восходят еще к вечевым порядкам домонгольского времени, а к Великому княжеству Литовскому Полоцк присоединился уже будучи республикой после угасания

1. ПСРЛ. Т. XXXV. С. 130.
2. Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig». Kollektives Handeln sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa (Mittelalter, frühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). Stuttgart, 2005 (Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa). S. 41–89.
3. См. о нем: Лукин П.В. Новгородское вече. С. 295 .
4. Якубовский И.В. Земские привилеи Великого княжества Литовского. Ч. 2 // Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 347. 1903. Июнь. С. 275–279.

местной княжеской династии¹. К сожалению, однако, данных о республиканской риторике в Полоцке у нас пока за исключением позднего и легендарного летописного повествования, причем, видимо, не связанного непосредственно с полоцкой литературной традицией нет. Современный исследователь имеет поэтому формальное право говорить, что в древнерусском Полоцке отсутствовали аналоги таких ключевых для западноевропейского коммунального строя понятий, как «Gemeinde» или «communitas»². Вопрос поэтому заслуживает дальнейшего изучения. Но, конечно, помещение Полоцка в раздел о «нереспубликанских» республиках условно.

Относительно же остальных древнерусских земель либо нет оснований предполагать наличие республиканской риторики / идеологии, либо об этом отсутствуют достаточные для определенных выводов данные.

Заключение

Наблюдения, результаты которых были изложены выше, показывают наличие в древнерусском узусе ключевых аспектов республиканской риторики. В особенности это характерно — что не удивительно — для Новгорода и Пскова, но отдельные ее элементы можно встретить и в Киеве, и во Владимире-на-Клязьме, и в Полоцке. В Древней Руси не было прямого аналога понятия *res publica*, но оно не использовалось и во множестве европейских средневековых коммун, существовавших параллельно с Новгородом и Псковом.

Важнее, что в средневековых русских республиках существовали обозначения республиканского политического коллектива («политического народа»), который и был их сюзереном — своеобразной коллективной личностью,

1. Флоря Б.Н. Историческая традиция об общественном строе средневекового Полоцка // Отечественная история. 1995. № 5. С. 110–116. Ср. критические замечания по поводу преемственности политического строя Полоцка в составе Великого княжества Литовского и вечевых порядков домонгольского Полоцка: Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig». S. 24–25.
2. Rohdewald S. «Vom Polocker Venedig». S. 67.

соответствующей личностям физическим во главе княжеств. Республиканская риторика на Руси была построена именно вокруг таких понятий. Считалось, что правят именно эти политические коллективы («весь Новгород», «все новгородцы», «весь Псков», «мужи псковичи») через собрания «политического народа» (вече) или через выборных должностных лиц. Эти выборные или, точнее, «аккламированные» (провозглашенные, признанные, «прославленные») «политическим народом» на вече должностные лица были не выборными представителями-посредниками, которым «политический народ» делегировал свои политические права, а сам на срок их полномочий уходил в сторону, но республиканскими магистратами, с помощью которых и — если так можно выразиться — «через» которых «политический народ» заботился о своей — как бы сказали римляне — *res publica*¹.

Важнейшим элементом республиканской риторики, получившим наибольшее развитие в Новгороде, было представление о наличии у «политического народа» комплекса вольностей (свобод) — «всей воли новгородской», требовавшей своего обоснования в реальных или фиктивных документах, которые как бы подтверждали конституционно-правовые основы республики («Ярославли грамоты», «уставы старых князей», договоры с князьями).

Процесс складывания республиканских представлений и риторики шел постепенно. Но важнейшие их элементы возникли в Новгороде не позднее середины XII в. и в дальнейшем лишь укреплялись, усложнялись и развивались. Своего рода венцом этого развития, прерванного присоединением Новгорода к Москве, стало появление наименования «Господин господарь Великий Новгород» и прямого сопоставления воли «Великого Новгорода» с волей Божьей. Такое же направление развития, но в несколько более скромных формах и с некоторым «отставанием» было в целом характерно и для Пскова. (Прото)республиканские тенденции и соответствующая риторика могут быть

1. См.: *Штафк Р.* Res publica. С. 32.

засвидетельствованы в разное время и в других древнерусских центрах, но где-то они не получили достаточного развития (Киев, Владимир-на-Клязьме), где-то для их изучения не хватает источников (Полоцк).

Неоднозначный характер носили такие выражения, как «отчина великого князя, (добро)вольные люди», которые использовались для обозначения статуса Новгорода и Пскова в самих этих политических образованиях. Внимательный анализ показывает, что эти выражения — в их новгородской и псковской интерпретации — никак не противоречили их республиканскому строю и политической самостоятельности. В то же время сама идея принадлежности к единому русскому пространству, представления о том, что их вольности дарованы древними князьями, и признание себя — пусть и во многом формально — отчинами (наследственными владениями) великих князей владимирских, а потом московских оказывали существенное воздействие на коллективную идентичность новгородцев и псковичей и впоследствии, по-видимому, способствовали тому, что попытки сопротивления московской экспансии носили довольно хаотичный характер и закончились неудачей. Противоположные тенденции, направленные на осмысление своих вольностей вне связи с князьями и создание соответствующих мифов и риторических стратегий, имели место в Великом Новгороде, но в отпущенное историей для его независимости время не возобладали.

К. Ю. Ерусалимский

Глава III

Республика без республиканизма: дискурсы общего дела в Московской Руси

Российская культура раннего Нового времени — а точнее было бы говорить о множественных формах ее культуры, о российских культурах — не выработала республиканских языков политического описания и не отразила целостной и авторитетной репрезентации России или ее сообществ в качестве республики. Само понятие *республика* — позднее заимствование, воспринятое опосредованно в конце XVII–XVIII в. из латыни при почти полном отсутствии латинского образования до того времени, когда были созданы специальные школы при высших государственных учреждениях¹. В различных текстах московской книжности и в документальных источниках бытование этого термина, его калек и переводов фиксируется уже в XII–XV вв. Однако насколько он отражал факты самосознания местных авторов? Наличие институтов публичной власти и форм

1. *Okenfuss M. J.* The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy. Leiden et al., 1995. P. 50 ff., 161 ff.; *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М., 1996; *Weickhardt G. G.* Early Russian Law and Byzantine Law // Russian History. 2005. Vol. 32. No 1. P. 1–22; *Рамазанова Д. Н.* Итальянская школа братьев Лихудов в Москве (1697–1700 гг.). М., 2019. С. 20–32, 42–45. Переводческая работа в Посольском приказе и Коллегии иностранных дел подчинялась прежде всего задачам внешней политики высшей власти, дипломатических и военных ведомств. См.: Переводчики и переводы в России конца XVI — начала XVIII столетия: материалы междунар. науч. конф. / Отв. ред. Д. В. Лисейцев, С. М. Шамин. М., 2019; *Схиммельпэнник ван дер Ойе Д.* Русский ориентализм. Азия в российском сознании от эпохи Петра Великого до Белой эмиграции / Пер. с англ. П. С. Бавина. М., 2019. С. 39–50.

коллективной воли не является показателем принятия республиканизма в какой-либо его вариации. Сразу необходимо оговориться, что тщетны были бы его поиски в местных памятниках, характеризующих такие явления, как *вече* или *земские соборы*, *ополчения* или *приговоры всей земли*, массовые протестные *мятежи* или *воровские затейки*, хотя именно в таких направлениях мы могли бы ожидать проявления республиканской мысли по аналогии с латинской и реформационной Европой.

Легитимность княжеской власти не вызывала в русских землях сомнений вплоть до утверждения королевского и царского суверенитета (хотя вполне уместен вопрос, насколько королевская и царская легитимности пересекались между собой), однако, как показали с несходных точек зрения еще М.А. Дьяконов, В.И. Сергеевич и В.Е. Вальденберг, пределы княжеской и царской власти не ограничивались какими-либо внешними по отношению к ним силами, помимо Бога. Вопрос об ограничении власти в правоведческой литературе XIX — начала XX в. о русских древностях и Новом времени в целом не связан с историей стороннего коллективного действия по ограничению власти, а потому и не рассматривался из перспективы противостояния политических типов и политических институтов¹.

Не было парадоксом и почти полное отсутствие в Северо-Восточной Руси соответствующего языка при изложении греческой и римской истории, поскольку ключевым источником по этим сюжетам вплоть до конца XVII — начала XVIII в. оставался хронограф, скомпилированный на основе ряда византийских источников, и сходные с ним местные сочинения. В Хронографе периоды республики рассматривались как безвременье и опускались². Не было

1. *Дьяконов М.А.* Власть московских государей: Очерки из истории политических идей Древней Руси до конца XVI века. СПб., 1889; *Вальденберг В.Е.* Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. Пг., 1916.
2. *Творогов О.В.* Древнерусские хронографы. Л., 1975. С. 32–45, 54–58, 74–97, 119–127, 141–159, 160–187; *Водолазкин Е.Г.* Всемирная история в литературе Древней Руси: (на материале хронографического и палеиноного повествования XI–XV вв.). СПб., 2008.

«своих» республиканских форм и подоби́й и в русских древностях, так что для книжников, как правило, не возникало перспективы подобного описания внутренних реалий, а внешние общества представляли в подобных случаях как экзотические и ненормальные, что также накладывало свой отпечаток на исторические повествования. В наши задачи входит тем не менее рассмотреть случаи негативной готовности к республиканским формам, осмысленное отрицание, вычеркивание или умолчание о республиках в тех случаях, когда рефлексия над их политическим устройством напрашивалась или была обеспечена источниками книжников, — например, когда возникали образы преодоления политической нестабильности, многовластия и безвластия. Как известно, русские и московские книжники успешно владели этим инструментом при отсылках к *неведомым народам* или татарскому *игу*¹.

Языки республики и республиканизма обсуждались в российских текстах и практиках XV — начала XVIII в. без уверенности в том, что они описывают реальность или воплощены, как политический идеал мог бы быть воплощен на практике, в качестве особого замысла или образа. В науке сложилось несколько несходных интерпретаций того, как это происходило в Московском государстве (или шире — в Русском государстве к востоку от владений Шведского королевства, Короны Польской и Великого княжества Литовского). Одна из них предполагает, что ни сами эти языки, ни их социальные реализации не были актуальны, тогда как элита опиралась на автократические институты (честь, клановую солидарность, конкуренцию за первенство перед государем), а низы — на размытое понимание социальных границ, бытовые и профессиональные демаркации (в целом далекие от каких-либо доктрин). Этот взгляд разделяет Нэнси-Шилдз Коллманн, когда

1. *Ведюшкина И. В.* Историческая память домонгольской Руси: религиозные аспекты // История и память. Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л. П. Репиной. М., 2006. С. 554–608; *Гальперин Ч.* Татарское иго. Образ монголов в средневековой России / Пер. М. Е. Копыловой; под ред. Ю. В. Селезнева. Воронеж, 2012.

обсуждает социальную идентификацию жителей России, главным образом в XVI–XVII вв. Согласно данной точке зрения, абстрактные доктрины были чужды московским подданным, и даже институты подданства (условно: гражданства) были маркированы несходными правами и обязанностями в зависимости от происхождения и мелких страт. Отсутствовало понятие о едином «обществе»¹. При этом клановые связи ко второй половине XVII в. уступали место индивидуализму, моральной межклассовой поддержке и свободным ассоциациям. Доктрины для этого также были не нужны, на их месте легко обнаружить отдельные акты благотворительности и моральные высказывания².

Переломное значение XVII в. в истории российской — в том числе политической — мысли признавали и сторонники концепции «секуляризации», а также «вестернизации», «обновления», «новизны» (среди них в российской науке С.Ф. Платонов, Д.С. Лихачев, А.Н. Робинсон, Б.А. Успенский³, в мировой науке — Эдвард Кинан, Дэниел Роулэнд, Джордж Уайкхарт⁴). Это направление

1. *Kollmann N.Sh.* Concepts of Society and Social Identity in Early Modern Russia // Religion and Culture in Early Modern Russia and Ukraine / Ed. by S.H. Baron, N.Sh. Kollmann. DeKalb, IL, 1997. P. 34–51. Идею структурного единства элит и высшей власти в России XV–XVII вв. отстаивают также с несходных точек зрения Хартмут Русс и С.Н. Богатырев: *Rüß H.* Herren und Diener. Die soziale und politische Mentalität des russischen Adels, 9.–17. Jahrhundert. Köln et al., 1994; *Bogatyrev S.* The Sovereign and His Counsellors: Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350-s — 1570-s. Saarijarvi, 2000.
2. *Коллманн Н.Ш.* Соединенные чеством. Государство и общество в России раннего Нового времени / Пер. с англ. А.Б. Каменский; науч. ред. Б.Н. Флоря. М., 2001. См. также: *Steindorff L.* Memoria in Altrußland: Untersuchungen zu den Formen christlicher Totensorge. Stuttgart, 1994; *Kaiser D.H.* Testamentary Charity in Early Modern Russia: Trends and Motivations // The Journal of Modern History. 2004. Vol. 76. P. 1–28.
3. *Платонов С.Ф.* Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925; *Лихачев Д.С.* Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958; *Робинсон А.Н.* Борьба идей в русской литературе XVII века. М., 1974. С. 194–245; *Успенский Б.А.* Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994. С. 219–253 (см. также др. издания всех названных работ).
4. *Keenan E.L.* Muscovite Political Folkways // The Russian Review. 1986. Vol. 45. P. 115–182; *Rowland D.* The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles // Russian History. 1979. Vol. 6. № 2. P. 259–283;

вызвало разногласия. Отмечалось, что «сакральная» концепция преувеличивает значение патриархальных структур и православия в жизни Московского государства. При этом идеи сопротивления касаются власти так или иначе, но как будто обходят стороной безграничные полномочия монархии и принадлежат зачастую неопределенному кругу приверженцев, чье участие в политике было непрямым, а идеи не носили характер ученых доктрин (протопоп Аввакум, Симеон Полоцкий, Григорий Котошихин, Степан Разин)¹. Оспаривая тезисы Гарвардской школы о структурной монолитности московской политической культуры Нового времени, Маршалл По отметил, что «вотчинная», или «деспотическая», концепция самодержавия берет начало в работах Б.Н. Чичерина и М.А. Дьяконова. Сам М. По не разделяет концепции «патримониальной политической ментальности» у москвитов, считая ее историографическим конструктом, восходящим к «Запискам о Московии» Сигизмунда Герберштейна². Лишь на метафорическом уровне москвиты признавали господство над собой государя и его безграничное право распоряжаться их собственностью, подразумевая негласную договоренность с властью о верной службе со стороны подданных и щедром вознаграждении со стороны монарха³. Более

Weickhardt G. G. Political Thought in Seventeenth-Century Russia // Russian History. 1994. Vol. 21. № 3. P. 316–337.

1. Сомнениям способствовала критика концепта «абсолютизм» в монографии Николаса Хеншелла «Миф абсолютизма». Согласно концепции Хеншелла, «абсолютизм» представил в виде политического строя порядки, которые до 1789 г. почти единодушно считались дисфункцией. См. об этом концепте применительно к русской истории подробнее: *Ostrowski D. The Façade of Legitimacy: Exchange of Power and Authority in Early Modern Russia // Comparative Studies in Society and History. 2002. Vol. 44. № 3. P. 534–563.*
2. Влияние «Записок о Московии» на европейскую экспертизу Московии стало предметом специального исследования Маршалла По, изданного отдельной статьей и в книге, основанной на погодном реестре изданий, касающихся Московского государства, в Европе до 1700 г. См.: *Poe M. T. «A People Born to Slavery»: Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca, NY; London, 2000.*
3. *Poe M. What Did Russians Mean When They Called Themselves «Slaves of the Tsar»? // Slavic Review. 1998. Vol. 57. № 3. P. 585–608, см. особенно P. 589–590, 596–598. Сходные предпосылки намечены критиками*

радикальное развитие тезиса М. По предложено в работе Корнелии Зольдат, полагающей, что, называя себя *холопами* Бога и государя, московские элиты совершали подвиг христианского самоотречения, а не декларировали свое бесправное унижение и рабство¹.

Вэлери Кивельсон в своем исследовании о *московском «гражданстве»* в качестве мыслительного эксперимента предложила условный научный инструментарий (в духе концепции «идеальных типов» Макса Вебера) с целью найти компромисс между «деспотической» точкой зрения, предполагающей деспотизм как неотъемлемую составляющую российской политики, и более «оптимистичными» подходами органического социального баланса или марксистской стадильности. Задача — увидеть зачастую в тех же источниках, которые интерпретировались сторонниками «органического» и «деспотического» подходов, что за ширмой безразличия российских подданных к политической теории (или неумения различать) имели место функциональные механизмы социальной интеграции, работавшие независимо от политических абстракций и не приводившие к их возникновению. Как отмечает В. Кивельсон, в московской культуре функционировали понятия, позволяющие ее носителям принадлежать к единой политической общности, защищать эту свою принадлежность, участвовать в той или иной мере в политике. Учитываются при этом и номинации, подчеркивающие горизонтальное соучастие в общности (например,

концепции Пайпса (*Weickhardt G.G. Was There Private Property in Muscovite Russia? // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 2. P. 531–538; Frank J. Richard Pipes, Russian Conservatism and Its Critics // Between Religion and Rationality: Essays in Russian Literature and Culture. Princeton, 2010. P. 143–156*). Само существование Гарвардской школы — предмет дискуссий (*Perrie M. The Muscovite Monarchy in the Sixteenth Century: «National», «Popular» or «Democratic»? // Cahiers du Monde russe. 2005. Vol. 46. № 1/2. P. 233–241; Martin R.E. Political Folkways and Praying for the Dead in Muscovy: Reconsidering Edward Keenan's «Slight» Against the Church // Cahiers du Monde russe. 2006. Vol. 48. № 3–4. P. 283–305*).

1. *Soldat C. The Limits of Muscovite Autocracy. The Relations between the Grand Prince and the Boyars in the Light of Iosif Volotskii's «Prosvetitel» // Cahiers du monde russe. Vol. 46 (2005). No. 1/2. P. 265–276.*

вся земля), и декларации вертикальной зависимости, которые для низов звучали скорее как горизонтальная апелляция к политической сфере (например, *государев мужик*). Придерживались московиты принципов общей справедливости и благополучия, принимали на себя обязанности в общем благе и признавали посредничество писаных законов в отношениях с верховной властью¹. В монографии «Картография царства» исследовательница приводит примеры того, как в XVII в. локальные власти сопротивлялись нанесению на карты владений, а «крепостные» крестьяне успешно противостояли своим же помещикам в борьбе за земельные наделы². Энн Клеймола и Ричард Хелли высказывали похожий взгляд на практику доносительства XIV–XVII вв. В доносах исследователи видели особый институт, позволявший достигать согласия, конкурировать за престиж и успех, добиваться свободы и поддерживать действующие законы и политическую стабильность. При этом сохранялось отличие в социальной роли *извета* XVI–XVII вв. от эпохи профессиональной полиции и сталинского периода, и, таким образом, речь должна идти об особой модели социального взаимодействия в Российском царстве, которую власть должна была насаждать и ограничивать, поддерживая сначала в элите, а позднее в широких массах «обязанность доносить»³. При таком взгляде на политическую общность институциональные роли и субординации недостаточны для изучения основ общезжития. Опыт изучения *московского «гражданства»* исходит в названных примерах из предполагаемого тождества между *libertas* и *civitas*, характерного для римской республиканской традиции. Свобода и полномочия возникают в ее рамках из законов и общего правового устройства,

1. *Kivelson V.* Muscovite «Citizenship»: Rights without Freedom // *The Journal of Modern History.* 2002. Vol. 74. P. 465–489.
2. *Kivelson V.* Cartographies of Tsardom: The Land and Its Meanings in Seventeenth-Century Russia. Ithaca; London, 2006. P. 29–98.
3. *Kleimola A.M.* The Duty to Denounce in Muscovite Russia // *Slavic Review.* 1972. Vol. 31. № 4. P. 759–779; *Hellie R.* The Origins of Denunciation in Muscovy // *Russian History.* 1997. Vol. 24. № 1/2. P. 11–26.

включенность в которое означает для граждан (подданных) полную меру политического участия¹.

О.В. Хархордин и Л.И. Иванова-Веэн обнаружили в новгородских памятниках XII–XV вв. терминологические (*вещь*) и институциональные (*мост*) аналоги европейского республиканского круга². Вслед за работами В.Л. Янина это был шаг к обнаружению политических идей, которые доктринально выражены, впрочем, так и не были. Не менее остро звучали в историографии дискуссии вокруг политической культуры позднесредневекового Пскова и его зависимости от Новгорода Великого³. Они сами по себе важны как свидетельство того, что датировка и смысловое наполнение социальных и идейных реалий могут существенно зависеть от времени и контекста возникновения источников. Этот фактор, близкий к построениям «новой интеллектуальной истории», сказался и на изучении Московского царства. М.М. Кром обратил внимание на единство и несходство *земского* и *государева дела*, видя в единой этой формуле привитую к началу XVI в. кальку с греческого понятия *политика* (τὰ πολιτικά)⁴. Республиканские и автократические формы сочетались в России XVI — начала XVII в. иначе, чем могла бы допустить политическая теория в духе

1. Об этом подробнее см.: *Pettit Ф.* Республиканизм: Теория свободы и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева. М., 2016. С. 82–83. Критика данной концепции звучала неоднократно. См., например: *Pettit Ph.* On People's Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge, 2012; *Pietrzyk-Reeves D.* Tradycja republikańska, republica, repulikanizm // *Horyzonty Polityki.* 2013. Vol. 4. № 7. S. 47–66.
2. *Charchordin O., Ivanova-Veën L.* Novgorod als *res publica* // *Osteuropa.* 2003. Bd. 53. № 9–10. S. 1308–1333. См. также: *Kharkhordin O.* What Is the State? The Russian Concept of *Gosudarstvo* in the European Context // *History and Theory.* 2001. Vol. 40. P. 206–240; *Idem.* Republicanism in Russia: Community Before and After Communism. Harvard, 2018; *Хархордин О.В.* Республика. Полная версия. СПб., 2021. С. 112–126.
3. *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова: XIV — начало XVI в. С. 15–88. Здесь же обширная литература и ссылки на дискутируемые тезисы.
4. *Кром М.М.* «Дело государево и земское»: Понятие общего блага в политическом дискурсе России XVI в. // *Сословия, институты и государственная власть в России: (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л.В. Черепнина.* М., 2010. С. 581–585.

Аристотеля или Макса Вебера¹. М.А. Киселев выработал подход, соединяющий элементы истории понятий (в духе *Begriffsgeschichte*) и истории политических учений (в духе так называемой Кембриджской школы). Этот взгляд ценен для рассмотрения республиканского тезауруса в России до середины XVIII в. и фактов его бытования в ученых трудах, дипломатической практике, ранней публицистике и в рассуждениях иноземных мыслителей, побывавших в России. Конечно, обнаружить подспудную социальную платформу для республиканизма в России до XVIII в. его применение вряд ли поможет².

* * *

Из предложенного обзора ясно, что говорить о конкурирующих политических доктринах республиканизма в России до XVIII в. не приходится. Ожидания исследователей, стремящихся обнаружить следы республиканской идеи в древнерусских землях, также не оправдались. Круг учений об управлении полисом или республикой почти не затронул самосознание древнерусских книжников. Если они и знали о республиках и в чем-то копировали республиканский строй или доктрины, то на поверхности их рефлексии о своих идентификациях это почти не отразилось. Абстрактные политические типы не вызвали рефлексии и в местных летописных текстах, актовых и законодательных памятниках. Аналоги принятых в европейской культуре республиканских категорий *народ*, *политическое тело*, *конституция*, *парламент*, *тиран* в России либо отсутствовали в публичных высказываниях, либо — например, понятия *народ*, *мучитель* — сохраняли

1. *Кром М.М.* К пониманию московской «политики» XVI в.: дискурс и практика российской позднесредневековой монархии // Одиссей: Человек в истории. 2005. С. 283–303; *Он же.* Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. М., 2018. С. 209–217.
2. *Киселев М.А.* Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века // Исторический вестник. Т. 6 (153). 2013. С. 18–53.

устойчивые значения, почерпнутые из библейской и святоотеческой книжности, а также из опыта древнехристианских и православных монархических и имперских культур. Расхождение в круге чтения с католическим миром к концу XV в. проявилось прежде всего в том, что русская культура была лишена доступа (в каком-то и не нуждалась) к текстам, составлявшим основу схоластической традиции: творениям Аристотеля, Цицерона, Августина Блаженного, Фомы Аквинского. В рамках последней, например, в Короне Польской уже в XV — первой половине XVI в. открылись дискуссии о политических устройствах, формах правления, источниках власти, разделении и сменяемости властей.

Конечно, существовало опосредованное влияние европейских учений на русскую политическую мысль. Общим был комплекс представлений о «природном» и «гражданском» образе жизни на земле, почерпнутый из переводных памятников: «Шестодневов» и «Физиолога», «Козьмы Индикоплова», «Азбуковника» и т.п. В природном мире политические типы проявлялись лишь пунктирно, и рефлексия русских переводчиков и читателей на эту тему почти незаметна в сохранившихся источниках. Примерами могут служить удивительные народы, населяющие Индию, Африку, побережье Ледовитого океана и морские просторы. Индийский народ *агрометы* (*агроты*, см. также *рахманы*) сходятся вместе, чтобы друг друга сжигать: «Тие меют в себе горячесть великую, гды в едно место сойдутся, сами ся запалют, родичов палят, родичов едят»¹. Сходятся между собой и другие люди (*аримфеи*, *исатыри*, *катаниши*, *коневрусы*, *орионы*, *сатиры*, *сирены*, *сирины*, *трепятьцы*, *троглодиты*, *телорози*, *фригалы* и др.) и звери (например, *аспиды*, *муравьи*, *обезьяны*), но какой тип общественных связей они образуют, из этих текстов непонятно. Принципиальное отличие всех этих существ от мира людей и ангелов в том, что последние — *вещь словесная*, а значит, только у них может быть *вещь общая*, т.е. республика и любая другая политическая

1. Белова О.В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символов / Отв. ред. А.А. Турилов. М., 2001. С. 50, 216.

форма¹. Однако эти миры взаимно проницаемы. Например, «мнози достойни веры кроникаре пишут, иже часто человеки пременяются в волки»², сказания о *китоврасе* оказали влияние на Палею и житийную литературу³, а *кинокефала* св. Христофора изображали на иконах с песьей головой (хотя это вызвало споры и запреты на Московском соборе 1666–1667 гг. и неоднократно в XVIII в.)⁴. Звери благодаря своим полезным для человека качествам были частью словесного мира, и в символических комментариях звучали оценки их мыслей и устремлений. Животный образ жизни ведут монархические народы *гог* и *магог*, запертые до последних времен Александром Македонским⁵. Это дикие существа, хотя и люди, и во главе их — цари. Наоборот, звери *волы* вполне отвечали социальным идеалам московского общества XV–XVII вв.: они нужны «на службу человекомъ, въ сердце своем безлобаа вещь, всю добру вещь мислит», а из их тела после смерти рождаются *пчелы*, у которых выраженное подобие человеческой политике: трудолюбие и монархия. «Царь пчелный» поддерживаем пчелами в старости, а после смерти его тело «мещут во цветы»⁶. При этом лев рассматривается как «царь зверем»⁷. Животные жили, таким образом, в коллективах, приближающихся по своему устройству к небесной и человеческой монархии.

Разногласия и дебаты не были в числе идеалов московского общества, пронизанного иноческими образами, которые не случайно находили названные выше символические и буквальные параллели в животном мире. «Домострой»

1. Там же. С. 71–72. О различных видах зверообразных «людей» см.: Там же. С. 167–170. См. также: *Пиотровская Е. К.* «Христианская Топография Козьмы Индикоплова» в древнерусской письменной традиции (на материале дошедших фрагментов). СПб., 2004. С. 200–201.
2. *Белова О. В.* Славянский bestiарий. С. 73.
3. *Руди Т. Р.* Об одной талмудической параллели к «апокрифическому» Житию Василия Блаженного // Труды Отдела древнерусской литературы Пушкинского Дома (далее — ТОДРЛ). Т. 60. СПб., 2009. С. 103–136.
4. *Зверев А. С.* Кинокефалия // Православная энциклопедия. Т. 33. М., 2013. С. 568–570.
5. *Белова О. В.* Славянский bestiарий. С. 87–88.
6. Там же. С. 75–77, 213–214.
7. Там же. С. 159–163, 230–231.

к середине XVI в. поощряет молчаливое делание и видит опасность в «слове празном и хулном, или с роптанием, или смех, или кощунны скверныя и блудныя речи», тогда как полезно любое рукоделие вести «с молитвою и з доброю беседою, и с молчанием»¹. При этом рукоделие считается лучшим занятием во «всяких делах»². Само понимание *дела* в «Домострое» далеко отстоит от политического *общего дела*, это — путь домового духовного спасения, с размеренным, разумным и вежливым распорядком в поступках и упорядоченным вещным миром. Как именно домашняя экономика переходит в политику, составителей этого памятника не интересует, если не считать, что «царю и князю и всякому велможю» следует повиноваться по завету апостола Павла³. Венцом благополучной православной жизни является венчание детей, на котором во всех трех «чинах свадебных» разыгрывается и полный аналог политического успеха: родители царствуют, дары описаны тоже так, как если бы свадьба была полным аналогом придворной церемонии или имела с ней даже самые незначительные сходства⁴. В истории, в отличие от пособий по домашней жизни и от природного мира, случались республиканские устройства, подобия демократии и охлократии, однако знания о них были настолько бедны, что до начала XVII в. главными источниками об этих знаниях для нас послужат ученые тексты, далекие как от повседневной жизни Московского государства, так и от его политического устройства.

Смена в самосознании едва ли не первого — имперского, как будет показано ниже, — республиканца в русской культуре, князя Андрея Курбского, от его кругозора и доктрин до перехода на службу короля Сигизмунда II Августа к развернутому учению об *общей вещи* в эмиграции, доказывает, что видный московский книжник XVI в. не мыслил

1. Домострой / Изд. подг. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. СПб., 2001. С. 32 (гл. 24), 43 (гл. 37), 45 (гл. 38) и др.; ср.: Там же. С. 97–98 (гл. 19), 107–108 (гл. 33), 108–109 (гл. 35) и др.
2. Там же. С. 38 (гл. 29); ср.: Там же. С. 102–103 (гл. 24).
3. Там же. С. 11 (гл. 5); ср.: Там же. С. 91 (гл. 7).
4. Там же. С. 74–87.

в категориях республиканства и никак не использовал самих этих категорий все то время, пока оставался в пределах Московского царства. Можно ли ждать от источников до эмиграции Курбского большего внимания к предмету, весьма далекому от политических реалий восточных русских земель и Российского государства? Пользуются признанием метафорические редукции, ведущие к поиску политических форм вне тезисов о предписаниях, реализациях и идейных или идеологических программах. Тезис о «полисном» гражданстве в древнерусских землях позволяет уйти от ряда ошибочных интерпретаций древнерусской политики, но сам по себе не подтверждается ни одним примером полисной теоретической рефлексии, социальной мобильности и политического искусства¹. На всем протяжении развития права в Северо-Восточной Руси, вплоть до Соборного уложения 1649 г., конституционное (субстанциональное) понимание закона не проявлялось в судебной практике, пронизанной процедурным (процессуальным) подходом². Ни к чему не приводят и поиски демократических институтов народоправства, прямой вечевой демократии — прежде всего из-за отсутствия минимальной институциональной перспективы. Нет доказательств того, что до конца XVI в. в Северо-Восточной Руси существовала политическая репрезентация³, и есть достаточные

1. Теория вечевых городов-республик в духе разработок И.Я. Фроянова и А.Ю. Дворниченко имеет мало общего с политическими реалиями в описаниях русских книжников и для нашего исследования не представляет интереса. См., например: *Лукин П.В.* Новгородское вече. М., 2014. С. 445–500; *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова. С. 35–36, 96–98, 250–263. Ср., например: *Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю.* Города-государства Древней Руси. Л., 1988.
2. *Weickhardt G.G.* Early Russian Law and Byzantine Law. P. 14–15.
3. Дело не в том, насколько близок к либеральной модели был принцип кооптации депутатов на земские соборы, а в том, как именно отражены и закреплены этот и другие принципы представительства в теоретической рефлексии жителей Российского царства XVI–XVII вв. Сохранившиеся источники говорят о том, что никак. См. обзор и острую постановку проблемы в отношении записок Дж. Флетчера, Ж. Маржерета, а также в отношении тезиса о земских соборах как органе сословного (а не территориального) представительства: *Лисейцев Д.В.* Почему Земский собор — не парламент? // Российская история. 2020. № 4. С. 142–150.

свидетельства в пользу того, что шляхетская демократия и ее институты были позаимствованы на русских землях Речи Посполитой из практики Короны Польской и Священной Римской империи¹.

В.Л. Янин говорит о Новгородском государстве в категориях республиканского управления, которое, по мнению исследователя, состояло из трех слоев: полноправных «великих бояр»-землевладельцев, «меньших» землевладельцев-вечников (из них позднее выделились «житьи» люди), а также низшей «простой чади», или «черного люда»². Проблема возникает, если перенести эту систему координат на другие регионы Русской земли. Мы обнаружим все аналоги новгородского республиканского общества, но не обнаружим ни следов самого республиканства, ни рефлексии об обществе как целом в подобных категориях. Значит ли это, что «республика» в Новгороде — это научная условность? Или у нас просто недостаточно свидетельств, чтобы найти следы республики в других русских землях, и это всего лишь эффект языка самоописания или сохранности источников? Отчасти этот вопрос решался в статье Олега Хархордина и Ларисы Ивановой-Веэн о Новгороде как *res publica*, где нивелированы смысловые различия между пониманием республики в Древнем Риме и древнем Новгороде, т.е. предложен стадийный подход не только к республиканским традициям, но и к самому пониманию того, что такое *res publica*. В этой перспективе *общая вещь* — идеальное состояние вещи-дела, судебного предмета и его рассмотрения, а бытование в Новгороде Великом понятия *вещь* приближено к эпохе *Двенадцати таблиц* в Риме. В числе прочего авторами показано, что понятие *людские вещи* уже в Ефремовской Кормчей книге XII в. используется для греч. *δημόσια* (аналог в латинском переводе этого места — *res publica*), и вывод из этого и ряда других примеров безусловен: «Это значит, что у новгородцев был

1. К этому вопросу мы еще обратимся в этой работе, когда рассмотрим рецепцию европейских политико-правовых реалий московской шляхтой XV–XVII вв. См. здесь ниже.
2. Янин В.Л. Новгородские посадники. С. 210, 212, 414.

доступ к дискурсу, в котором были в обращении славянские аналоги латинского понятия *res publica*, даже если само это слово не было в употреблении»¹. Впрочем, эта ниша в русской книжности находилась под сильным влиянием дискурсов христианской *общей пользы* и *общего жития*². Когда идея *общей вещи* зазвучит в XVI в. в сочинениях князя А.М. Курбского, в ней единство христианского братства *верных* и республиканизма будет адресовать одновременно к церковным и судебно-политическим контекстам.

Приложимо ли более позднее, теоретически осмысленное представление о *республике* (как об *общем деле*) к Новгороду Великому³? Вечевой идеал лишь в годы московско-новгородских

1. Charchordin O., Ivanova-Veén L. Novgorod als *res publica*. S. 131; Харчордин О.В. Республика. Полная версия. С. 88–89. Дальнейшая параллель моста через Волхов с республикой через языковое подобие вещи-пред-моста мосту по аналогии с *ob-iectum* (как набрасыванием и соединением объекта) представляет собой ценный пример институционального и понятийного анализа, в котором обнаруживаются и древние истоки славянского понятия *вече*. Менее убедительно, на мой взгляд, звучат аналогии Великого моста с функциями республики: свержение с моста как свержение с трона, как политический театр смерти или как очищение от грехов. Роль моста в этих качествах эксплицитно выступает только в хрониках (новгородских летописях). Конечно, и в данной параллели *моста с общей вещью* возможна новгородская «инфраструктура свободы», которой противостояли московские власти, когда заказали переработку моста в 1532 г. или осуществляли на мосту и на Волхове расправы над новгородцами в 1570 г. Однако прямо мост нигде в московских выпадах против новгородских порядков не выступает.
2. См. тезаурусы *вещи* и *общего* в памятниках до конца XIV в.: Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.): В 10 т. / Гл. ред. Р.И. Аванесов, И.С. Улукханов. Т. 1. М., 1988. С. 406–412; Т. 5. М., 2002. С. 566–572.
3. Этот вопрос нелегитимен с точки зрения стоического понимания республики как делания, а не как состояния. Вопрос о первичности действия или состояния в приложении к римским республиканским традициям потребовал бы такого же пересмотра, как и применительно к русской политической культуре. В этом смысле мы бы ожидали от источников таких понятий, которые описывали бы, например, не *государство*, а *правление* (причем не частное и непрерывное, а коллективное и состоящее из завершенных действий). Однако мы исходим в этой работе из самой возможности рецептивного подхода и скрытых реакций российского — в максимально широком понимании — общества XV–XVII вв. на доктрины и их обозначения и лишь во вторую очередь рассматриваем соответствие древнерусских практик теоретическому осмыслению республиканизма в дискурсах наших дней. См.: *Asmis E. The State as a Partnership: Cicero's*

войн XV в. стал восприниматься как своеобразная альтернатива монархическому управлению. Показательна в этом смысле особая редакция «Хождения во Флоренцию», в которой анонимный автор, по предположению Н.А. Казаковой, — москвич в 1440-е гг., так отозвался о новгородцах (начало цитаты — о военной беззащитности города): «...А бояре в нем меншими людьми наряжати не могут, а меншии их не слушают. А люди сквернословы, плохы, а пьют много и лихо; только их Бог блюдет за их глупость»¹. Впрочем, следует отметить, что в терминологии Аристотеля *меньшие люди* могут соответствовать демосу (или толпе), а *бояре* — аристократии (или олигархии), тогда как монархическая форма правления не вызывает интереса у автора заметки. Это, как и ироническая поддержка новгородского политического устройства в конце цитаты, позволяет думать, что автор был близок к новгородцам. После присоединения к Великому княжеству Московскому *господином* Великому Новгороду было запрещено называться, потому что его *господин* — великий князь московский Иван III. Вечевые колокола вошли в противоречие с великокняжеским судом московских наместников в Новгороде («вѣчу колоколу въ отчинѣ нашей в Новѣгородѣ не быти»)², а затем и Пскове, где в середине XV — начале XVI в. бытовало самоназвание «Господин Великий Псков» («Господарство Псковское», «Псковская держава»)³. При этом следов влияния псковитян и новгородцев на московскую политическую культуру после присоединения их вечевых республик к Москве не заметно. В Москве проживала крупная псковская община,

Definition of *Res Publica* in His Work *On the State* // History of Political Thought. 2004. Vol. 25. № 4. P. 569–598; *Kharkhordin O.* Why «Res Publica» Is Not a State: The Stoic Grammar and Discursive Practices in Cicero's Conception // History of Political Thought. 2010. Vol. 31. № 2. P. 221–245. См. также ответ на данный вопрос в приведенной в данном сборнике работе П.В. Лукина.

1. Казакова Н.А. Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков. Из истории международных культурных связей России / Под ред. Д.С. Лихачева. Л., 1980. С. 47–48.
2. ПСРЛ. Т. 25. М., 2004. С. 318. См. также: Лукин П.В. Новгородское вече. С. 265.
3. Вовин А.А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 44–51.

однако она не лоббировала вечевые идеалы — по крайней мере, о подобных тенденциях в Москве первой половины XVI в. нам ничего не известно. Контакты с Новгородом Великим в книжном деле, церковной политике, борьбе с ересями также не сказывались на модификациях московских политических структур¹. Уже много лет спустя после того, как в Северо-Восточной Руси заканчиваются вечевые собрания, и три четверти столетия спустя после падения Господина Великого Новгорода начинаются так называемые Земские соборы в Москве. Есть ли связь и преемственность между вечевыми и соборными институтами? Может быть, частичная есть, но в науке уже неоднократно отмечалось, что, при всем внешнем институциональном сходстве, на уровне культурной памяти и языковых реалий зависимость московских соборов середины — второй половины XVI в. от вечевых традиций Южной, Северо-Восточной и Северной Руси не прослеживается².

Возможно ли, что закат вечевой традиции свидетельствует о преднамеренном уничтожении этого института и подавлении его последствий? Согласно выводу Т.Л. Вилкул, понятие «вече» выступает как особый политический термин, оценочный, эмоционально нагруженный и отчасти — говоря современным языком — публицистический. Его избегали летописцы, регулярно заменяя при копировании сообщений на другие, и тоже эмоционально окрашенные, аналоги (например, называя вече «сонмищем

1. Эту «всеядность» Москвы и Московского государства в размещении, обустройстве и государевой службе иноземных людей Томас Оуэн обсуждает как переход заграничных инициатив Новгорода Великого после падения его независимости к Москве и, соответственно, от новгородской экономической модели развития России к московской. Этот тезис мог бы послужить важным военно-политическим уточнением к теории экономического отставания Александра Гершенкрона. См.: *Owen Th. C. Novgorod and Muscovy as Models of Russian Economic Development // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 19 (1995). P. 497–512.*
2. Соборные практики в правление Ивана Грозного включали военные «съемы», церковно-земские «соборы», публичные «покаянные» речи и окказиональные обсуждения внешней политики. См.: *Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1996. С. 144–301.*

людским»¹. Юрий Гранберг показал, что со второй половины XV в. *вече* заметно усиливается в Пскове, хотя институционального значения в государственном устройстве так и не приобретает. В других землях подобный взлет и не происходит (даже в Новгороде Великом), хотя с 1430-х гг. понятие *вече* становится выражением, регулярно в источниках характеризующим новгородско-псковские народные собрания². П.В. Лукин, говоря о приближении значения понятия *вече* в XIV–XV вв. к терминологическому, подразумевает, что к XV в. народные собрания не только обретают институциональные очертания, но и начинают осознаваться как альтернатива единодержавной власти³. В.А. Аракчеев изучил 66 вечевых собраний в Пскове до 1510 г.⁴ А.А. Вовин опроверг раннюю датировку грамоты Пскова Якову Голутиновичу, в которой предположительно впервые выступает институт псковского *веча*, перенес это упоминание с начала XIV на конец XV или начало XVI в. Это, в свою очередь (с учетом ряда оговорок о терминологии и датировке Псковской судной грамоты), позволило самыми ранними считать в летописях сообщение от 1463 г., в грамотах — за 1480 г.⁵ Поздняя датировка вечевой формы управления в государственной системе Великого Новгорода и Пскова позволяет напрямую связать это учреждение с нарастающим противостоянием этих государств монархическим тенденциям как вовне, так и в самих северных русских государствах⁶.

1. *Вилкул Т.Л.* Люди и князь в древнерусских летописях середины XI–XIII вв. М., 2009. С. 26–31.
2. *Гранберг Ю.* Вече в древнерусских письменных источниках: функция и терминология / Пер. С.Л. Никольского и др. // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004 год: Политические институты Древней Руси. М., 2006. С. 3–163, здесь С. 100–135.
3. *Лукин П.В.* Новгородское вече. С. 43.
4. *Аракчеев В.А.* Средневековый Псков. Власть, общество, повседневная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004. С. 59.
5. *Вовин А.А.* Городская коммуна средневекового Пскова. С. 130–136, 229–240.
6. Противопоставление городских коммун вечевых республик Новгорода и Пскова московским традициям, где под действием монархической власти коммуны не сложились, проведено Рудольфом

И в данном случае исследователи оказываются перед парадоксом. П.В. Лукин отмечает институциональный характер веча, говоря об уничтожении символа Новгородской республики — вечевого колокола — Иваном III: «Наличие такого символа — бесспорное проявление институционализации веча и новгородской „вольности“ в целом»¹. А.А. Вовин также сталкивается с тем, что важнейший вопрос на *вече*, помимо принятия посольств и обсуждения деятельности посадников, — присяга и отпуск правящего князя, который обращается к Пскову и псковичам «за все добро псковское»². Не значат ли подобные тезисы, что вечевой институт в Новгороде явлен нам наиболее отчетливо в момент своего исчезновения, а в Пскове сходный социальный феномен проявляет себя в первую очередь и главным образом в своем отношении к своему политическому противовесу в форме монархической власти? Существовал ли политический институт *веча* в Новгороде Великом к 1478 г. и в Пскове к 1510 г.? Не был ли он «оформлен» актами или волевыми жестами

Мументалером: *Mumenthaler R. Spätmittelalterliche Städte West- und Osteuropas im Vergleich: Versuch einer verfassungsgeschichtlichen Typologie // Jahrbücher für osteuropäische Geschichte. 1998. Bd. 46 / 1. S. 39–68, особенно S. 48–49, 57–59, 65–66* (здесь также историографический обзор). В известном смысле этот взгляд развивает бинарную логику противостояния древнерусской демократии и государственного монархизма, отразившуюся в ряде исторических концепций «государственной» или «юридической» школы. Наиболее дискуссионным в этой перспективе остается вопрос о причинах долговременного сосуществования «демократической» и «государственной» традиций, обычно решаемый с точки зрения закономерностей исторического развития или в логике внешних влияний (среди них — ордынского и византийского). См., например: *Самоковасов Д.Я. Заметки по истории русского государственного устройства и управления // Журнал Министерства народного просвещения. 1869. № 12. С. 217–248* и др.

1. *Лукин П.В. Новгородское вече. С. 265.*
2. *Вовин А.А. Городская коммуна средневекового Пскова. С. 133–135.* Исследователь склонен уподоблять «вольность» вечевого городского государства средневековым коммуна. «Весь Псков» или «псковичи» в этой логике выступают в качестве граждан горизонтального сообщества. Республиканские права — или их аналог — могут быть обнаружены в традициях, восходящих в ряде русских земель к XII в.: в «посаждении на стол» князя, заключении «ряда» города или города-государства с князем, отделении прав частного лица от занимаемых должностей («посадника» и др.).

его уничтожения? Не были ли вечевой колокол или челобитье князей Пскову метонимиями республиканской формы правления, уничтоженными из Москвы вместе с новгородской и псковской независимостью? Челобитье правящего князя не находит аналогов в московской политической культуре (если не считать соборные покаяния, на которых народное собрание — это церковная общность, не принимающая никаких политических решений). Что касается Новгорода Великого, то помимо московских выпадов в его адрес и записок иностранцев XVI–XVII вв. (когда независимость Новгорода была уже *de facto* утрачена), найти доктринальные выражения его республиканской идеи не удастся¹. Дискурс «новгородской вольности» предьявлен именно в Московском летописном своде конца XV в.², а *вольность* «худых мужиков вечников», как и позднее в посланиях Ивана Грозного Елизавете Тюдор правление «мужиков торговых», а в послании Алексея Михайловича псковичам власть «худых людишек», представлена в московском летописании как вопиющее безобразие, смута и измена. Впрочем, новгородцы во время восстания 1650 г. в публичных обращениях к властям называли «бедой» погром Ивана Грозного 1570 г., а Иван Жеглов в переписке с боярином кн. И.Н. Хованским в ходе того же восстания 1650 г. призывал князя для расследования не присылать в город не-новгородцев, которые местного «извычая не знают»³. *Извычай* местных традиций был нарушен *бедой* московского насилия, и присланный из Москвы воевода уступил и признал права повстанцев. Впрочем, в ходе Псковского восстания того же года Иван Грозный был представлен горожанами как идеальный монарх, воевавший во главе не *ыноземцев*, а *русских людей*, в отличие от нынешнего царя (который при этом не переставал быть для повстанцев

1. *Лукин П.В.* Новгородское вече. С. 310, 333–335, 504–520.

2. *Гранберг Ю.* Вече в древнерусских письменных источниках. С. 24–25, 118–119.

3. *Козляков В.Н.* Царь Алексей Тишайший. Летопись власти. М., 2018. С. 85–91.

«праведным надежей»¹). Противостояние с вольностью как проявлением мятежного своеволия должно было иметь своей оборотной стороной экзальтированное монархическое начало, выразившееся в дихотомии *господаря — холопа* в московской политической культуре. Однако ни в Москве, ни на окраинах Российского государства не было не только республиканских символических ресурсов, но и дискурсов неограниченной монархии, и все попытки их освоить обращались скорее в эксцессы власти, чем в образцы для подражания.

Еще в XIX в. отмечалось, что вечевые традиции в Пскове сохранялись и после 1510 г. и дали о себе знать, например, в 1569–1570 гг. в «Изборском деле» и тайном противостоянии горожан и Псково-Печорского монастыря Ивану Грозному², в 1608 г., когда народное собрание (*всегородная*) не подчинилось угрозам воеводы Петра Никитича Шереметева и именитых людей и присоединилось к сторонникам Лжедмитрия II³, и в марте–июле 1650 г., когда власть

1. *Аракчеев В.А.* Средневековый Псков. С. 223. В.А. Аракчеев считает, что повстанцами управлял наивный монархизм: «Ни в одном документе 1650 г. республиканские институты власти не упоминались, а сами псковичи в челобитной называли себя холопами государя» (Там же. С. 226).
2. *Флоря Б.Н.* Иван Грозный. 4-е изд. М., 2009. С. 255–270.
3. *Бутурлин Д.П.* История Смутного времени в России в начале XVII века. М., 2012. С. 143–144, 182–184, 191–192, 214, 234–235. В концепции Д.П. Бутурлина хорошо видна двусмысленность ученого конструкта *всегородной*. Существование самого института общенародной *всегородной* (на основе *всегородной избы*) доказывается только тем, что горожане перешли на сторону Лжедмитрия II. Новгород Великий, как получилось в этом построении, никаких древних прав и свободлюбивых традиций, в отличие от Пскова, не выразил, поскольку самозванца не поддержал. Отказ новгородцев нарушать присягу Василию Шуйскому устраняет необходимость обсуждать и конструировать сами традиции в собраниях новгородцев: «В Новгороде выгоды торговли, хотя много, но еще не совсем упавшей, связывали между собой разные сословия, и потому именитые люди сохраняли некоторое влияние над мятежной чернью. К тому же митрополит Исидор пользовался общим уважением. Его увещевания, подкрепленные мнением знатнейших граждан, сильно действовали на простолюдинов» (Там же. С. 145). Здесь осуществляется обратный идеал — единства местной «черни», торгового класса, дворян и детей боярских, духовенства и московских властей. Историк привносит

в городе перешла к *всегородной избе* с выборными людьми во главе с двумя земскими старостами¹. Сходными проявлениями свободолюбия в названных случаях были отказ подчиняться московской верховной власти и ее представителям, готовность отстаивать решения горожан (*всего города, всего мира* — по аналогии со *всей землей*) и противостоять властям, а также разногласия между городскими верхами и низами. Заговор в пользу Речи Посполитой в 1569 г. — московский же конструкт, в котором сегодня невозможно отделить вымысел от подлинных намерений, а тем более недостаточно источников эти «намерения» кому-то приписать. «Изменная» статья о попытке псковичей воспользоваться военной помощью польского короля присутствовала и в царской грамоте к повстанцам в 1650 г., и они попытались убедить делегацию Земского собора вычеркнуть эту статью из своей присяги царю Алексею Михайловичу². В 1608 г. на стороне царя Дмитрия Ивановича была отнюдь не городская «чернь», а стрельцы, часть местной дворянской корпорации во главе с Федором Михайловичем Плещеевым и городского чиновничества³. Конечно, протест носил во всех названных случаях чрезвычайный характер и не отразился ни в постановлениях, ни в каком-либо регламенте собраний. Дело даже не в масштабе обвинений — политическая измена, а прежде всего в опасениях московской власти, которые были нацелены против Речи Посполитой в 1569 и 1650 гг., а в годы Смуты — против царя Дмитрия Ивановича, который воплощал для Москвы также угрозу польско-литовского правления в России.

Политические собрания Пскова хранились в памяти не только в мятежные годы опричнины и Смуты или

в это противопоставление Новгорода и Пскова в 1608 г. оценочную шкалу, превращая своей логикой традиционное свободолюбие Пскова в злодеяние, а общую верность московским властям в Новгороде, вне зависимости от формы ее утверждения, в добродетель.

1. *Аракчеев В.А.* Средневековый Псков. С. 197–238, здесь С. 215 и сл.
2. Там же. С. 234–235.
3. *Кабанов А.Ю., Рабинович Я.Н.* Смутное время начала XVII века: судьбы участников. Иваново, 2015. С. 7, 16.

в бунташном 1650 г. В послании к земским старостам Пскова от 3 апреля 1665 г. А.Л. Ордин-Нащокин объяснял обеднение города в годы войны со Швецией и Речью Посполитой в числе прочего отсутствием *гражданского постановления* псковичей («в крепости гражданского постановления не держат»). Республиканская и городская семантики тесно связаны, поскольку речь идет о «несогласии между посадскими людьми», засилье «лутчих людей над маломощными» и несоблюдении псковичами «гражданских законов». Исправить положение Ордин-Нащокин предлагал при помощи созыва «общего всенародного совету», который должен был бы пройти в земской избе при участии земских старост и «лутчих людей»¹.

Косвенные доказательства республиканской традиции в средневековом Новгороде и Пскове звучат также в предыстории казачества на Волге, Яике и Тереке — и в обсуждаемой в связи с этим роли ушкуйников. Впрочем, как отмечал критик этой точки зрения Виктор Брехуненко, первые упоминания казаков в названных регионах относятся к более позднему времени и связаны вовсе не с ушкуйниками, а главным образом с ордынскими, мещерскими и рязанскими казаками, «тогда как вероятные мигранты из Пскова и Новгорода конца XV в. ничем себя не выдают»². Демократизм самоуправления казаков исследователь связывает со спецификой Великого Кордона, развивая концепцию «фронттира» Фредерика Тернера. Новгородцы и псковичи, как и носители коронных и литовских политических традиций, не могли, по мнению В. Брехуненко, определить развитие местных свободолюбивых традиций украинского казачества и его анклавов. Впрочем, с одной стороны, нельзя исключать, что миграции приносили в Степь носителей республиканских традиций. Учитывая связь между обсуждаемым республиканством северных русских земель и монархическими тенденциями XV — начала XVI в.,

1. *Козляков В.Н.* Царь Алексей Тишайший. С. 389.
2. *Брехуненко В.* Козаки на Степовому Кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот XVI — першої половини XVII ст. Київ, 2011. С. 58–61, 186–187.

вернее было бы говорить не о перенесении древних традиций в Степь или Поволжье, а разве что об отдельных диссидентах, бежавших в эти регионы в ходе противостояния монархических и, условно, тираноборческих сил в Новгороде Великом и Пскове. С другой стороны, сама концепция Ф. Тернера и его последователей акцентирует *вольность* как основу политического устройства, тогда как монархические, равно как и анархические, традиции позволяет выявить в гораздо меньшей мере, о чем будет сказано ниже¹.

Историческая культура Московской Руси не раз затрагивает республиканские формы правления и, несомненно, знакома с республиками в древности и современности. Летописная история Руси начинается с того, как новгородцы в поисках *наряда*, т.е. верховного управления, приглашают к себе трех братьев — Рюрика, Синеуса и Трувора. Образы *трех братьев* воспроизводят мифологическую схему триединой власти, которая воплощалась в библейских сыновьях Ноя, в братских триумвиратах русских князей, в триумвиратах скандинавских конунгов саг XII–XIII вв., в «Великопольской хронике» конца XIV в. в триединстве Чеха, Леха и Руса. Конечно, это тройное управление, как и более поздний идеал великокняжеского дуумвирата, ослабляло единоезвучное звучание монархической идеи². Однако правление князей, сколько бы одновременно их ни было, не было идентично республике и не мыслилось как таковая вплоть до российской драматургии XVIII в. Нигде в русской книжности ранее эпохи Просвещения не возникло идей соправления или конкуренции между тремя братьями, противостояния за власть или расхождений в политических идеалах. Дуумвираты Ивана IV и его брата князя Юрия Васильевича (1533–1563 гг.) или Ивана V и Петра I (1682–1696 гг.) не обрели ни политических обоснований и предысторий, ни законодательного подкрепления.

1. См. также: *Чорновол І.* Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний вимір. Київ, 2015. С. 163–186.
2. О триумвирах в политической культуре раннего Средневековья см.: *Белова О.В., Петрухин В.Я.* Фольклор и книжность: миф и исторические реалии. М., 2008. С. 39–43.

Не были допустимы в Москве и так называемые регентства, хотя временные замещения верховных правителей их матерями, сестрами, шуринами и духовными главами предпринимались неоднократно (1533–1538, 1584–1598, 1605–1606, 1619–1633, 1654–1658, 1682–1689 гг.)¹.

Любой шаг к «смуте» и «мятежу» рассматривался как опасное нарушение божественного порядка. В сознании одного из составителей «Повести временных лет» *наряд* является спасением от разногласий, а следовательно, летописец мыслит в категориях княжеско-имперской власти. Летописание не рассматривает междуцарствия как периоды особого — например, коллективного — правления, а видит в них лишь временные неурядицы. Как правило, язык летописания сохраняет представление о верховенстве церковной или светской власти даже после кончины ее носителя. Исключения возникают на заре XVI в. и почти всегда лишь подтверждают правило. Рассказ о смерти Вадима (Храброго) Новгородского от рук Рюрика возник не ранее XV в. Имперская версия происхождения Рюрика относится ко времени не ранее конца 1510-х — начала 1520-х гг. и, скорее всего, возникла в контексте дипломатического союза с Ливонским орденом против Ягеллонов. До этого времени Рюрик не мыслился как самодержец, а его противостояние с Вадимом никак не охарактеризовано и является, по всей видимости, вымыслом книжников XV — начала XVI в., породившим позднее бурные просветительские и романтические республиканские фикции. Впрочем, образ Вадима в новгородско-московской книжности мог возникнуть по аналогии с образом княгини Ванды — свободолюбивой польской правительницы, покончившей жизнь самоубийством, чтобы не идти против воли замуж за германского

1. *Назаров В.Д.* Институт соправительства в Московском великом княжестве (конец XIV — нач. XVI вв.) // Верховная власть, элита и общество в России XIV — первой половины XIX века. Российская монархия в контексте европейских и азиатских монархий и империй. Вторая международная научная конференция. Тезисы докладов. М., 2009. С. 113; *Солодкин Я.Г.* Существовал ли институт соправительства в Московском государстве на рубеже XVI–XVII веков? // Вестник «Альянс-Архео». Вып. 6. М.; СПб., 2014. С. 8–15.

правителя. После ее смерти, в отличие от московской летописной нормы, в Польше установилось близкое к республике правление «совета двенадцати», тогда как после смерти Вадима Рюрик продолжил самодержавное правление. Правление 12 *знатных*, назначаемых раз в год в общинах-*пагах*, упоминается применительно к саксонским племенам еще в житии святого Лебуина, составленном в 840-х гг. — первой трети X в.¹ Не исключено, что этот или подобный рассказ оказал опосредованное влияние на московскую знать. Князь Андрей Курбский в «Истории» рассказывал, что изначальной формой управления Русской землей было соправление Рюрика и «шести мужей», имперских (*рейских*) князей, от которых произошли наиболее знатные нетитулованные в Московском государстве. Аналогов этой идеи в русской и московской книжности не обнаруживается, если не считать сообщений о предках московских бояр на великокняжеской службе в Житии Александра Невского. Однако важно, что для Курбского первенство московской ветви русских княжат в правах на власть над Великой Русью было под вопросом, и в «Истории» приведены различные версии совместного правления всего рода потомков Рюрика в *Русской земле*, а затем и в *Святорусской империи*. Их летописные и агиографические источники прочитаны князем Андреем Михайловичем в республиканском ключе².

«Русская земля» выступает в летописных текстах как владение всех русских князей, и этот взгляд сохраняет еще князь Андрей Курбский, когда говорит о «всех русских князьях» (в истории утверждения единой русской митрополии) и, вслед за древнерусским летописным идеалом, о «сынах русских» (оплакиваемых в братоубийственной войне между Москвой и Великим княжеством Литовским). Впрочем, уже поверхностный взгляд на события общерусской истории из «Повести временных лет» показывает, что общее дело в летописи — это дело именно князей,

1. *Лужин П.В.* Новгородское вече. С. 56–57.

2. О республиканских идеалах кн. А.М. Курбского см. здесь ниже.

и Русскую землю они называют не чьей-то общей, а — как в Любече в 1097 г. — «нашей», княжеской. Князь Михаил Ярославич, согласно его Житию, по примеру Дмитрия Солунского спасает свою *вотчину, отчество* и *город* Тверь и весь *христианский народ* в битве против московско-татарского войска. По мысли М.М. Крома, идея *нашего государства* возникает лишь к рубежу XVI–XVII вв. и отражается в памятниках Смутного времени — например, в «Новой повести о преславном Московском царстве» (1610 г.). Впрочем, даже в этом памятнике мобилизация направлена на борьбу за Смоленск против короля Сигизмунда III под лозунгом защиты православия. Король между тем также апеллировал в своих универсалах к православию и не отрицал православную веру своих соперников, призывая их в свое подданство.

С другой стороны, к середине XVI в. претензии на «всю Русь» высказывали уже не только великие князья московские, но и ряд княжеских отпрысков Великого княжества Литовского, и шведские власти, и особенно польско-литовские монархи. Король Стефан Баторий называл Ивана Грозного господарем не *всей Руси*, а лишь *своей Руси*. Как отмечал М.М. Кром, в *Слове о погибели земли Русской* понятие *вся земля* обозначает широкую этно-конфессиональную христианскую общность, противостоящую язычникам. Взгляд московских книжников эпохи Псковского похода 1581–1582 гг. или Смуты на свое *общее дело* предполагает, что книжник обсуждает общность в ее противостоянии с иноверцами, по сути — со всеми европейскими странами, наемники из которых опустошали Русскую землю под командованием польского короля.

Было бы неверно вслед за рядом исследователей полагать, что политическая идентификация в Московском государстве строилась от незнания о республиканских формах. Как отмечали исследователи «Русского Хронографа», внимание составителя этого масштабного памятника в XV — начале XVI в. сосредоточено на царствах как носителях единой державы, в отличие от других форм правления, которые рассматривались как признак упадка. В Хронографе так,

например, характеризуется устройство бриттов до начала их подчинения Римской империи при императоре Септимии Севере: «Живут сии на горах дивиих и в полях пустых, не имуть бо ни градов, ни жилищ, ни землю делают, но паством и ловом и овощием питаются и ходять от места на место нази и необувени. И жены все обще имуть, не имать кождо своеа жены, и отрочата вместе питають. Ни начальника имуть, но общими людми обладаеми суть, воинствуют колесницами четверными и кони их и копи их мали. И терпятъ глад и зиму, в благах крыющесе многи дни, точию вне дрѣжаще главы от воды, питаются тинами и корением и корою древеною»¹. Этот образ жизни московский книжник назвал бы диким, считая признаком цивилизации его противоположность — т.е. жизнь в городах и в домах, возделывание земли в одетом виде и в обуви, отдельные моногамные семьи и раздельное воспитание детей. Ненормально и прятаться от холода в болотах, и воевать без войска на колесницах с маленькими копьями. Наконец, показательное утверждение: «Ни начальника имуть, но общими людми обладаеми суть». Республиканская, согласно греческому источнику — демократическая, форма (*общие люди*) воспринимается как безначалие и дикость, что не могло выпасть из поля зрения и при обращении к более поздним республиканским формам.

Прямые ссылки на европейские республиканские традиции встречаются в Московской Руси при посольском ведомстве в тот же исторический момент, когда создавался «Русский Хронограф». Так, 27 июля 1518 г. имперский

1. ПСРЛ. Т. 22. М., 2005. С. 257. В основе данного отрывка текст, заимствованный из Хроники Иоанна Зонары (около 1118 г.), известный на Руси к началу XVI в. Этот текст, известный как «Паралипомен Зонарин», содержит чуть более обширный отрывок, в котором в числе прочего говорится о бриттах: «ни начальника имут, но общими людми обладаеми сут». На месте всего указанного отрывка в хронике Зонары читается: *δημοκρατοῦνται*. См.: *Ἰωάννου του Ζωνάρᾳ ἐπιτομή ἱστοριῶν* / *Ioannis Zonarae epitome historiarum / Cum Caroli Ducangii suisque annotationibus* ed. L. Dindorfius. Vol. 3. Lipsiae, 1870. P. 105 (Lib. XII. Cap. X); *Паралипомен Зонарин* / Подг. О. Бодянский // *Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских* (далее — ЧОИДР). Год третий. № 1. М., 1847. С. 74–75 (кириллическая пагинация); *Творогов О.В. Древнерусские хронографы*. С. 182.

посол Франческо да Колло произнес в Кремле речь, в которой призвал великого князя Василия III присоединиться к защите «общего христианского дела» (лат. *res publica christiana*, ит. *tutta la repubblica christiana*) и к антитурецкой коалиции¹. В 1520–1530-х гг. кальками «дѣло народное» (*res publica*) и «дело общее человеческое» пользовался ученый дипломат Ф.И. Карпов в переписке с митрополитом Даниилом. Рассуждение о том, что полезнее для государства, правда или страдание, начинается в послании с вопроса: «...или дѣло народное, или царство, или владычество, к своей вѣчности паче приемлет правду или тръпѣние?»². По словам Карпова, опасным для республики является долготерпение «без правды и закона общества». Несмотря на звучание «республиканских» калек в сочинениях ученого великокняжеского советника, он не противопоставляет республики царствам и любым прочим владычествам, а упоминает *дѣло народное* (или *общество*) как гражданское действие в царстве или граде, подчиненное в идеале «грозе правды и закона» (на страже которых должны быть *начальники*) и «милости» евангельской благодати (на стражу которой призывает адресата своего послания)³. Излагая эту доктрину, Карпов ссылается на Аристотеля, Святое Писание и Овидия. Его вопрос лишь метафорически относится к России, однако понимание политического единства как правления, царства и народного дела одновременно — новация в российской культуре и в то же время попытка привить ей язык античной теории «всякого градского дела» (т.е. о теории гражданства)⁴.

1. *Синицына Н.В.* Максим Грек. М., 2008. С. 107.
2. Библиотека литературы Древней Руси (далее — БЛДР). Т. 9. Конец XV — первая половина XVI века. СПб., 2006. С. 350 (подг. текста — Д.М. Буланин).
3. Там же. С. 346–359.
4. *Буланин Д.М.* Сочинения Федора Ивановича Карпова // БЛДР. Т. 9. С. 546–548 (здесь же библиография). См. также: *Клибанов А.И.* Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 207–218 (здесь акцент сделан почему-то на античной теории, которая вне единства с этикой благодати не позволяет понять мысль Ф.И. Карпова); *Кром М.М.* Рождение государства. С. 210; *Halperin Ch.* Ivan the Terrible: Free to Reward and Free to Punish. Pittsburg, Pa, 2019. P. 26–28.

Понятие *речь посполитая* появляется в документации, исходящей из Вильно, Кракова и Варшавы, и в таком виде оно доходит до Москвы и откладывается, формируя знания о скрытой за ним политической форме. Но видны ли в них следы рецепции? Слово «посполито» в значении *совместно, совместными усилиями* звучит в московской дипломатии этого направления еще до объединения Короны Польской и Великого княжества Литовского в единую Республику. Московские читатели могли его встретить еще в XV — начале XVI в. в переводе послания кн. Конрада Мазовецкого (1493 г.)¹ или в сообщении о переходе кн. М.Л. Глинского на московскую службу «с своею братьею, и с приятели, и с посполитыми людьми со многими» (1508 г.)². В послании Ивана Грозного Сигизмунду II Августу в начале Ливонской войны говорится: «И ты, брат наш, полож на своем разуме, что не токмо Богу или господарем пограничным, но посполито всѣх земел народу о Ливонской землѣ вѣдомо, коим обычаем та земля по се время стояла и нам даню подлежала»³. Всеобщность знания о зависимости Ливонии от Москвы царь стремится обосновать, прибегнув к формуле всеобщего признания (*посполито всех земель народу*). Использование в данном случае слова «народ» указывает в московской языковой практике XVI в. на *всех христиан* вообще, однако слово «посполито» является заимствованием из польско-литовской деловой практики и вне такого контекста в России не использовалось.

Уже после Люблинского сейма 1569 г. в Москве неоднократно звучало название нового соседнего государства. 31 декабря 1601 г. посольство М.Г. Салтыкова услышало от Сената: «...также и господарь наш наяснейший Жигимонт король и Паны рада обоих господарств Коруны Польские и Великого княжества Литовского и вся Речь

1. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной Коллегии иностранных дел. Ч. 5. М., 1894. С. 15.

2. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб., 1851. С. 153–154.

3. РГАДА. Ф. 79 (Сношения России с Польшей). Оп. 1. № 5. Л. 147–147 об.; Ф. 389 (Литовская Метрика). Оп. 1. № 591. Л. 232 (Иван IV — Сигизмунду II Августу. Москва, апрель 1560 г.).

Посполитая, за помощью Божьею, хотим и радеем всего добра христианству»¹. После чего понятие *речь посполитая* началось на переговорах еще неоднократно в значении, которое приближенно можно раскрыть: *представительство Короны Польской и Великого княжества Литовского на сейме*. Спустя неделю, 6 января 1602 г., в словах Л.И. Сапеги это понятие приобрело дополнительные смыслы: «А вперед мы, Паны-рада, и рыцерство, и вся Речь Посполитая просим у Бога милости, чтоб меж великих государей наших утвердилась сердечная крепкая братская любовь и дружба...»². В данном случае восполнена вся шляхта как народ *единой Речи Посполитой*, а в словах литовского канцлера Льва Сапеги мирное отношение к московским партнерам и готовность заключить мирный договор отличали всех подданных короля и граждан республики. Еще сильнее акцент на шляхте сделан в речи Сапеги перед Салтыковым со товарищи 7 января о стремлении польско-литовской стороны к миру: «И государь наш Жигимонт король и Паны-рада и вся Речь Посполитая Коруну Польские и Великого княжества Литовского того вперед не отставливают...»³. Переход от короля к сенаторам, а от них ко всей республике говорит о сближении идеи республики со *шляхтой как представительным народом*⁴.

Как показывают исследования польско-литовского парламентаризма, политика мыслилась локальной шляхтой и парламентариями (в Посольской избе и Сенате) как право

1. Сборник Императорского Российского исторического общества (далее — СИРИО). Т. 137. М., 1912. С. 112–113.
2. Там же. С. 155.
3. Там же. С. 160.
4. Республиканизм в польской культуре XVI–XVIII вв. неоднократно изучался в наши дни. Впрочем, недостает сравнений с рецепцией классической традиции в приграничном с Московским государством Великом княжестве Литовском. См., например: *Grześkowiak-Krwawicz A. Regina libertas: Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku*. Gdańsk, 2006; *Pietrzyk-Reeves D. Ład Rzeczypospolitej: Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska*. Kraków, 2012; *Owczarska M. Założenia i rozwój polskiej myśli republikańskiej w XVI wieku // Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej / Pod red. M. Maciejowskiego et al. Wrocław, 2014. S. 389–407.*

всего политического народа (т.е. шляхты) на власть в стране, на все отечество и на малое отечество (т.е. поветы)¹. Самосознание шляхты отразилось на московской культуре особенно в эпоху Смуты, когда *города* и *выбор по городам* составили оплот движения служилых людей за восстановление единства России, а *ополчения* наследовали польско-литовским традициям всеобщих военных сборов (*pospolite ruszenie*). Избрание Михаила Романова на Соборе 1613 г. в техническом смысле напоминает работу Посольской избы Сейма Речи Посполитой. Встреча российских представителей с английскими парламентскими традициями в середине XVII в. подчинялась уже логикам возобновленной монархии, и не следовало бы видеть в реакции гонца Г.С. Дохтурова в 1645 г. на Гражданскую войну что-то большее, чем покорный отчет царского слуги. Но даже для такого бездумного описания перед нами не вполне адекватный взгляд, уподобляющий «думных людей» парламентариям, а короля — любым государям, которые везде стремятся владеть «своими государством»². Статус гонца и характер посольского изложения в статейных списках заставляют не вполне согласиться с выводом М.А. Киселева: «Такая ситуация была зафиксирована в московском

1. См. подробнее: *Kriegseisen W.* Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. Warszawa, 1991; *Choińska-Mika J.* Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów. Warszawa, 1998; *Achremczyk S.* Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647–1772. Olsztyn, 1999; *Żakrzewski A.B.* Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI–XVIII w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa, 2000; *Rachuba A.* Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763. Warszawa, 2002; *Mazur K.* W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006; *Ambroziak T.* Rzeczpospolita w litewskich instrukcjach sejmikowych w latach 1587–1648. Próba analizy terminologicznej // *Czasopismo Prawno-Historyczne*. T. 65 (2013). № 2. S. 191–214; «Прикладом своїх предків...». Історія парламентаризму на українських землях в 1386–1648 рр.: Польське королівство та Річ Посполита / За ред. В. Михайловського. Київ, 2018; *Михайловський В.* Бібліографія парламентаризму на українських землях до 1648 року: Польське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита. Київ, 2018 и др.
2. *Рогинский З.И.* Поездка Герасима Семеновича Дохтурова в 1645–1646 гг. (из истории англо-русских отношений в период английской революции XVII века). Ярославль, 1959. С. 24–25.

политическом глоссарии: привычная власть государей в государствах и непривычное господство думных»¹. Самостоятельное правление «думных» в России XVI–XVII вв. вязалось с боярским *многомятежным хотением и безгосударством*, однако уподобление английского парламента Государевой думе свидетельствовало о крайне упрощенном видении дел в Англии московским гонцом. Ему и не по чину было рассуждать — гонцам предписывалось срочно исполнять поручение, собирать подручные сведения и как можно меньше сообщать о себе и российских делах, отговариваясь низким статусом (*я у государя человек молодой...*).

Понятие *республика* в приложении к московской истории встречается в сочинениях кн. А.М. Курбского. Сочинения мятежного князя московского и польско-литовского периодов разительно отличаются между собой в терминологии, кругозоре и идейных построениях. В «Истории о князя великого московского делех» и связанных с ней сочинениях эмигрантского периода (около 1570-х — начала 1580-х гг.) князь отстаивал образ единой *христианской республики*, которую впервые в русской книжности называл *Святорусской империей*². Республиканский идеал выражен князем в различных формах. Прежде всего в идее *доброго и полезного общего* — это *общее* упоминается в том же контексте и подразумевает *общую вещь*, которая является буквальной калькой для обозначения *республики*³. Воплощением блага, пользы, ангельской чистоты и благодати

1. Киселев М.А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 22–23.
2. Граля Х. Была ли «Святая Русь» «местом памяти» Руси Речи Посполитой? // «Места памяти» Руси конца XV — середины XVIII в. М., 2019. С. 261–262.
3. Курбский А.М. История о делах великого князя московского / Отв. ред. Ю.Д. Рыков; сост. К.Ю. Ерусалимский; пер. с древнерусск. А.А. Алексеев. М., 2015. С. 835. Прим. 132–2. В московской рукописной традиции конца XVII–XVIII в. глосса к *общей вещи*, которая читается в ранних списках: *посполитой речи*, была устранена уже из общего протографа подавляющего большинства копий II–V изводов (т.е. в списке ОР ГИМ, собр. А.С. Уварова № 301, л. 132). Помимо польской и русской кальки Курбский использует и транслитерацию *рез публика*, однако предпочитает в основном тексте «Истории» использовать именно русскую кальку.

Святого Духа был для князя Андрея Михайловича ближний советник Ивана IV Алексей Адашев¹. Вера в *общее всех воскресение* и *общежительный* принцип северных отшельников объединяют в построениях князя религиозную жизнь и политику². Этот взгляд на *республику* приближает идеал князя к проекту реформ во Флоренции Джироламо Савонаролы в конце XV в., сторонником которых применительно к Московскому государству был, по всей видимости, Максим Грек³. Впрочем, Россия в правление *Избранной рады*, согласно Курбскому, — именно *общая вещь христианская*, несущая Крест «аж до Каспийского моря и окрест»⁴. Это приближает идеал *республики* к поздней Римской империи (продолжением которой при дворе Василия III и Ивана Грозного и считали Российское царство)⁵.

1. *Курбский А.М.* История о делах великого князя московского. С. 24.
2. Там же. С. 194, 216.
3. Враги *Избранной рады* при дворе царя Ивана Васильевича при этом выступают и за свержение республики, будучи скрытыми сообщниками дьявола и сторонниками превращения христианского царя в тирана. Как республиканское правительство осуществляет общее христианское дело, так и «ласкатели» царя *общуют со дьяволом*, как говорится в «Истории» еще о временах Василия III и неоднократно — о свержении *Избранной рады*. Общение с дьяволом также приносит *пользу*, но она представлена как прямая противоположность пользы для республики. См.: *Курбский А.М.* История о делах великого князя московского. С. 152.
4. *Курбский А.М.* История о делах великого князя московского. С. 216.
5. Возможно, но ничем прямо не доказано сближение представлений А.М. Курбского с современными ему католическими и реформационными учениями о государстве. Нет ни одного явного источника его доктрины среди европейских современников. Курбскому был бы близок современный ему университетский томизм с его *via antiqua* в отношении естественного закона, церковных полномочий в ограничении власти и борьбе с тиранией. Вместе с тем он поборник расширенной версии *консилиаризма*, когда рассуждает о роли духовенства в просвещении монарха и защите христианской республики от тирании (например, попа Сильвестра, предположительно митрополита Германа Полева, митрополита Филиппа, псковского игумена Корнилия и своего духовного отца Феодорита Кольского). При этом его взгляды на ересь и на право сопротивления богопротивной власти приближаются к реформационным тезисам. Ср., например: *Скиннер К.* Истоки современной политической мысли / Пер. с англ. А.А. Олейникова; под науч. ред. В.В. Софронова. Т. 2. М., 2018. С. 198–255.

Гибрид доктрины *общего дела* с идеей богоспасаемой имперской власти дополнялся осмысленной метафорой политического тела, которое представляла Русская земля, когда в ее сердце правила «Избранная рада», возглавляла «тело» светлая и просвещенная голова — юный царь Иван Васильевич, а укрепляли прочие части тела («уды») — ангелоподобные и «добрые» советники и «всенародные» люди. Учение о *corpus rei publicae* восходило в европейской традиции к сочинениям Иоанна Солсберийского. Оно было унаследовано в Короне и Литве, составив риторическую основу унии двух государств, соединенных в *единое тело*. Еще одно возможное заимствование из европейской политической мысли — понятие *всенародных человеков*. Этот, судя по всему, гапакс для московской письменной культуры находит прямой аналог в латинской книжности XV в. у Павла Влодковица, который заимствовал его у Марсилия Падуанского: *universitas civium*, т.е. собрание граждан, имеющих право от лица народа решать ключевые вопросы республики¹. Оно характеризует не демократизм либерального типа и не требует предположения об участии простых горожан, крестьян и челяди в управлении монархической республикой². Курбский намечает «чины» этого политического народа, когда говорит в подробностях о бессудных казнях Ивана Грозного. Это — ближние советники царя (*Избранная рада*), высшая княжеская аристократия, нетитулованные боярские роды и вся шляхта республики, духовенство и пуштынножители. Избрание в ближний совет царя по государственным заслугам и пользе для республики возможно из любых слоев этого политического народа, и примеры такого участия представлены в «Истории» Курбского. Подобие

1. Об этом см.: Frost R. Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej: Powstanie i rozwój 1385–1569 / Przeł. T. Fiedorek. T. 1. Poznań, 2018. S. 209–210.
2. С. О. Шмидт допускал, что речь в данном случае идет именно о служилых людях, о «менее знатных феодалах». В таком случае выражение А. М. Курбского следовало бы рассматривать как развитие идеи шляхетского народа Московского государства. См.: Шмидт С. О. У истоков российского абсолютизма. С. 211–213, 268–269. О концепции С. О. Шмидта см. также: Ерусалимский К. Ю. У истоков российской политической культуры: С. О. Шмидт в осмыслении абсолютизма // Археографический ежегодник за 2013 год. М., 2019. С. 176–214.

парламента можно видеть скорее в *Избранной раде*, чем во всеобщих соборах, которым князь Андрей Михайлович не уделяет в своем построении никакого внимания, хоть и допускает их созыв для дел, касающихся всей республики.

Идея тела-республики в «Истории» Курбского дополнена неоплатоническими аллюзиями, почерпнутыми из учения Максима Грека, и медицинскими открытиями в духе Мигеля Сервета. Последнему принадлежит и разделяемое Курбским учение о ненасилии в отношении еретиков и заблуждающихся в религиозных воззрениях, которых князь считал необходимым перевоспитывать и убеждать духовным оружием, а не градским мечом. При всей архаичности этих взглядов в эпоху Люблинской унии, они были не только созвучны представлениям реформационных христиан, но и частью полемического пространства, в котором Курбский лично и вместе с православными Короны и Литвы выступил в защиту традиционного православия. «История» Курбского содержит также ряд параллелей с идеей универсального христианского народа. Царь Иван Васильевич после своего духовного падения и скатывания республики в опричный («кромешный», по словам Курбского) ад не уважает те естественные права, которые соблюдают даже скифы и сарматы. Пример античного прошлого обманчив — скифы и сарматы в сознании современников князя Андрея Михайловича были актуальными народами, населяющими Степь и земли *Двух Сарматий*. Вместе с тем естественные права были предметом бурного обсуждения на Констанцском соборе, где П. Влодковиц в 1416 г. подобным тезисом опровергал смысл крестоносной идеи и отстаивал права Жмуди самой выбирать себе веру. Это был шаг на пути к отказу от насильственной христианизации, фоном для которого послужил спор о причинах войны Тевтонского ордена с христианскими странами. Предки Курбского покоряли Югру, а сам он — Казань и поволжских язычников. Согласие с идеями Влодковица смягчает взгляд на задачи крестоносной войны, развитый им, видимо, в тех фрагментах «Истории», которые создавались еще в период его московской службы.

Князь Андрей Михайлович стремится выйти за пределы польской языковой стихии, когда рассуждает о *все-народных человеках и сынах русских*. Шляхта *Муромского повета* и *Волинская шляхта* в его «Истории» родственные понятия, и это знак общности в самосознании военного аристократа Московского царства и Короны Польской (и Великого княжества Литовского). При этом к польской шляхте Курбский относится критично, вменяя ей бездействие перед лицом турецкой и татарской угрозы; тогда как московскую шляхту считает гибнущей под ударами «дракона» высшей власти и внешнего, крымского «дракона». Следовательно, шляхта не в силах выполнять свои республиканские обязанности — противостоять внешней и внутренней тирании. В Москве понятие *шляхты* в отношении местного служилого сословия тем не менее тоже применялось, о чем говорят посольские материалы эпохи правления Лжедмитрия I. Бояре князя Ф.И. Мстиславский и И.М. Воротынский обращались к Юрию Мнишеку, отсылая понятием *рыцарство* к практике обозначать так польско-литовскую шляхту. До этого времени в посольской документации в приложении к московскому служилому классу это понятие не использовалось. В своем роде мы имеем дело с внутренним заимствованием, отсылающим к социальной реалии соседнего государства: «И мы его цесарского величества бояре думные и все рыцарство московское, грамоту твою приняв любительно, выслушали есмя и тебя в том похваляем»¹.

С князя Андрея Курбского берет отсчет еще и дискурс общественных «чинов» в московской культуре. М.А. Киселев рассматривает проекты гражданского переустройства в XVII в. и подчеркивает попытку сословной реформы в челобитной «о четырех чинах» 1660 г. (церковный, служилый, торговый и земледельческий)². Можно отметить, что данная схема, к тому же выражающая только интересы

1. СИРИО. Т. 137. С. 188 (22 сентября 1605 г. Отправление Петра Чубарова к Юрию Мнишеку).
2. Киселев М.А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 33–34.

провинциального дворянства, не была первой абстракцией в истории России. Уже в XVI в. предпринимались попытки разделения населения страны на *чины*. О «чинах» в сходном понимании писал в 1563 — начале 1564 г. кн. А.М. Курбский Вассиану Муромцеву. Во время реформы «сошного обложения» в России была частично проведена в жизнь реформа, близкая к «волочной помере» в Великом княжестве Литовском, позволившая разделить все оседлое владельческое население на три группы, близкие к сословным¹. Впрочем, ни в 1555 г., ни в 1660 г. никаких прав «чины» не получали, да и понятий какого-либо представительства от «чинов» не сложилось. Учения Епифания Славинецкого, Юрия Крижанича и Николая Спафария содержат слова о формах правления, но даже близкая к автохтонной идея Спафария о трех *чинах градов* (*царственном, изрядном и народном*) является рефлексом учения Аристотеля, а не переводом российских реалий на язык теории. В рассуждении А.А. Винюса 1673 г. об английской форме правления схема смешанного правления в духе «Политики» Аристотеля предстает как вполне усвоенная русским дипломатом. *Монарх* единовластен, но без парламента «не может в великих делах никакого совершенства учинить». *Парламент*, или *сейм*, делится на верхний и нижний *дома* и обеспечивает единство монархической формы правления с аристократической и демократической².

1. О троичном делении общества в Европе сохраняют свой вес исследования Жоржа Дюмезиля и Жоржа Дюби, однако применительно к российской культуре найти прямой аналог тринитарной структуры не удастся. Андрей Курбский рассуждает о «чинах» еще до эмиграции, однако о «трех сословиях» ничего не знает, тогда как сошная реформа до нас дошла в своих практических последствиях и не оставила никаких теоретических обоснований. Почему именно три формы *сох* были предусмотрены, вкладывался ли в это какой-либо абстрактный смысл — данных на сей счет у нас нет. См.: *Evergates Th. The Feudal Imaginary of Georges Duby // Journal of Medieval and Early Modern Studies. Vol. 27 (1997). No. 3. P. 641–660.*
2. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Т. 12. М., 1961. С. 247–248; *Лопатников В.А.* Ордин-Нащокин. Опередивший время. М., 2017. С. 212. Ср.: *Казакова Н.А.* А.А. Винюс и статежный список его посольства в Англию, Францию и Испанию в 1672–1674 гг. // ТОДРЛ. Т. 39. Л., 1985. С. 359–360; *Киселев М.А.* Форма правления и социальная

Дальний родич Курбского, князь Иван Хворостинин, отвоёвав свое за юного царя Михаила Романова, попытался уехать из страны. Это было следствие душевного надлома и культурного разуверения. Когда из польского плена вернулся патриарх Филарет, на Хворостинина завели «слово и дело». Князь будто бы обзывал царя *деспотом русским* «не по достоинству», т.е., как чувствовали следовательно, он имел в виду не исконное греческое значение слова, а какое-то обидное для царя¹. Но, помимо того, князь мечтал «отъехать в Литву», будто бы читал польские книги и высказывал неверие в Воскресение Христа. Он просил отпустить его «в Рим или в Литву» и оскорблял местных жителей: «...на Москве людей нет, все люд глупой, жити... не с кем»². Следственное дело сохранило его стих, который передан в пересказе, но в оригинале, видимо, представлял собой вполне складный трехстопный хорей: «Сеют землю рожью, а живут все ложью»³. Обвинения обернулись судом и пострижением, а по сути — заключением князя Ивана в монастырь в 1623–1624 гг., откуда он вернулся в Москву монахом, раскаявшись в грехах.

Спасение от казни и временное покаяние в монастыре были предметом тайной борьбы черного духовенства и оппозиционно настроенного дворянства с верховной властью. В XVI–XVII вв. расширилась практика расправ-пострижений жен в монастырь, а также политические обвинения в адрес придворных, приводившие к временному заточению в мужских обителях или пострижению в монахи⁴.

иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 35–43 (в передаче Н.А. Казаковой и М.А. Киселева часть цитаты и финал о полномочиях короля выпущены).

1. *Соловьев С.М.* Соч.: В 18 кн. Кн. 5. М., 1990. С. 316–317.
2. *Lewitter L.R.* Poland, the Ukraine and Russia in the 17th Century // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 27 (1948). № 68. P. 157–171, здесь P. 158–159.
3. *Опарина Т.А.* Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. Новосибирск, 1998. С. 144–145 (текст стиха цитируется в следственном деле, цитата здесь же на с. 145).
4. *Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б.* Женщина в православии: церковное право и российская практика. М., 2011. С. 183–188, 222–225.

По одному этому противостоянию можно судить о затаенной борьбе против всесилия светской власти. За добровольное пострижение выступали Вассиан Патрикеев еще при Василии III, а также князь Андрей Курбский, Тимофей Тетерин, монахи Кирилло-Белозерского монастыря в годы правления Ивана Грозного. Правление «расстриги» под именем царя Дмитрия Ивановича означало, что для верховной власти к началу XVII в. претензии на возвращение в мир из любого пострижения сами по себе представлялись преступными, тогда как в среде сопротивления принудительное монашество было показателем политического преследования¹. Монахам (черной старице Марфе Жилиной) был приписан и опасный для Михаила Романова слух, распространившийся в 1633 г., о том, что царевича Алексея подменили вместо родившейся у царицы дочери². Родословный бунт в условиях династического кризиса грозил новой Смутой. И для власти, и для распространителей слухов этот тип мятежной борьбы представлялся опасным вызовом в адрес действующей власти. Иван Хворостинин понес наказание, которое смиряло его еретические и богохульные взгляды, но в первую очередь несло отпечаток демонстративного торжества власти над антимиром.

Польские слуги короля в Москве оставили ценные воспоминания о своем общении с москвитями, среди которых были и политико-правовые расхождения. Литовский шляхтич Самуэль Маскевич записал диалоги соотечественников,

1. Расстрижение из перспективы действующей власти может рассматриваться как нарушение божественного мироустройства, которое должно лишать прав на власть даже наследника престола, способного доказать свою подлинность «царскими знаками» на теле. Конечно, в популярной среде противников Бориса Годунова и Василия Шуйского факт предполагаемого расстрижения царевича Дмитрия Ивановича не был препятствием для его прославления и признания в качестве действующего царя. Подробнее об институте самозванства в российской политике см.: *Ingerflom C.-S.* Le tsar, c'est moi: L'imposture permanente, d'Ivan le Terrible à Vladimir Poutine. Paris, 2015.
2. *Perrie M.* Substituted Tsareviches and Enemy Agents: The Case of Archimandrite Fedorit (1635–1636) // *Russian History*. Vol. 34 (2007). No. 1/4. P. 368, 370–372.

литвинов и поляков, с местными жителями о холопстве и свободе. Отношение к европейским ценностям было скорее негативным. В обмен на свою *несвободу* (*niewola*) москвиты согласны были получать справедливый суд царя, их «солнца праведного, светила русского», которому и «бесправие» разрешено самим Богом. Чтобы объяснить читателям эту позицию, мемуарист прибегает к сравнению: в Речи Посполитой «худшие» тратят годы жизни, если не всю жизнь, чтобы добиться справедливости в судах в споре с «сильнейшим», а царь судит по делам их равно и «худшего», и «сильнейшего». *Свобода* (*wolność*) поляка для москвиты — *своеволие* (*swawola*)¹. Даже в таком выпаде в пользу «тирании» для читателя было о чем задуматься. Во-первых, читатель в Короне и Литве должен был понять, что московская культура иная, ее нельзя присвоить и переделать. Во-вторых, тирания и для москвитов не была оправдана и допустима, власть царя была тем более легитимна, даже в своей московской форме, благодаря недочетам истинной — для Маскевича — формы правления Речи Посполитой. Это, конечно, снижает ценность самого свидетельства: оно могло быть частично или полностью вымышлено. Однако верховная власть Москвы и в Смуту, и позднее шла на признание ценностей шляхты. Скорее исключением был выпад против польских *свобод и вольностей* в официальном обращении Федора Шереметева на переговорах с Львом Сапегой в Деулине в конце 1618 г.² С одной стороны, его подкрепляют разве что насмешливые выпады Ивана Грозного от имени бояр в адрес короля Сигизмунда II Августа: «Видиши ли, яко везде убо несвободно есть»³. Это, как и другие провокационные высказывания от имени царя Ивана Васильевича или при его

1. Pamiętniki Samuela i Bogusława Maskiewiczów (wiek XVII) / Oprac., wstęp, przypisy A. Sajkowski; red., słowo wstępne W. Czaplinski. Wrocław, 1961. S. 146.
2. *Majewski A.-A.* Moskwa 1617–1618. Warszawa, 2011. S. 38.
3. РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. № 8. Л. 6 об. (Кн. И.Д. Бельский — Сигизмунду II Августу. Москва, 2 июля 1567 г.), 22 (Кн. И.Ф. Мстиславский — Сигизмунду II Августу. Москва, 5 июля 1567 г.), 40 об. (Кн. М.И. Воротынский — Сигизмунду II Августу. Москва, 15 июля 1567 г.).

действительном участии, — крайне ненадежный источник для выводов о приемлемом для жителей Московской Руси политическом богословии. Пример можно найти в событиях 1634 г. Смертный приговор воеводе боярину М.Б. Шеину за Смоленскую кампанию сопровождался освобождением от ответственности двух дьяков, которые делали все по преступным приказам Шеина: «...то и делали все неволею»¹. Потеря *воли*, даже при всеобщей *несвободе* (в результате грехопадения и изгнания Адама и Евы из рая), не считалась в Москве благом.

Есть ли все же аналог государству как *общему делу* в московской риторике XVI—начала XVII в.? С одной стороны, уже в работах С.О. Шмидта и Ю.М. Эскина подчеркивалось участие высших сословий в формировании самодержавной формы управления, в которой новацией, а не пережитком был институт местничества и связанные с ним иерархии, ограничивающие права монархов². С.Н. Богатырев связал перемены в великокняжеской миссии с созданием московских чинов венчания на царство. В чинах венчания, памятниках летописания и делопроизводства появляется образ царя как заступника за бояр, вельмож, князей, княжат, детей боярских, а также за *все христоролюбивое воинство и всех православных христиан*³. Это также была новация, поскольку в текстах еще конца XV—начала XVI в. великие князья выступают в качестве заступников неопределенно за *всех христиан* и роль царского совета, воинов и жителей страны в подобных контекстах не оговаривается. М.М. Кром развивает концепцию служения «неким

1. Акты Археографической экспедиции. Т. 3. СПб., 1836. № 251. См. также: *Коллманн Н.-Ш.* Преступление и наказание в России раннего Нового времени / Пер. с англ. П.И. Прудовского и др. М., 2016. С. 95, 427.

2. *Шмидт С.О.* У истоков российского абсолютизма. С. 330–380; *Эскин Ю.М.* Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. М., 2009. С. 13–14, 95–122, 378–404. См. также: *Berelowitch A.* La hiérarchie des égaux. La noblesse russe d'Ancien Régime (XVI^e–XVII^e siècles). Paris, 2001; *Коллманн Н.-Ш.* Соединенные честью. С. 271–321.

3. *Bogatyrev S.* Reinventing the Russian Monarchy in the 1550s: Ivan the Terrible, the Dynasty, and the Church // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 85 (2007). No. 2. P. 271–293.

высшим общим интересам» в понимании монархов, начиная с Ивана III (впервые — в его послании московскому войнству под Смоленск в 1502 г.). Формула *дело наше и земское* от лица великого князя московского является, с точки зрения исследователя, аналогом республиканской терминологии, а в Смутное время на ее основе развилось представление о *земских и о всяких делах* и идеологическая программа *всей земли*¹. Эта программа служила точкой опоры и для самодержавной власти, и для правительств во время междоусобиц. Всплеск *земской* риторики приходится на опричнину 1565–1572 гг., что говорит в пользу мобилизационной версии ее применения. Для земцев это была травма, и сама неприемлемость обезглавленной «республики» для государственного управления — свидетельство в пользу прямых монархических интерпретаций формулы. Развитие идеи *земского дела* и *земли* как субъекта политики относится к эпохе Смуты. В текстах этой эпохи появляется идея божественного наказания «за умножение наших согрешений» («Иное сказание»), «безслеснаго ради молчания» (Иван Тимофеев), «за всего мира безумное молчание» (Авраамий Палицын), позволившее злу одержать верх над страной². От имени *всей земли* выступают и московские бояре в июле 1610 г., и Ополчения в 1611–1613 гг. Наконец, во время Соляного бунта 3 июня 1648 г. царь Алексей Михайлович обязался на иконе Спаса перед повстанцами найти виновных в злоупотреблениях, после чего «и миром и всею землею положили на его государскую волю»³. Эти *мир* и *вся земля* в указах, исходящих от царя в те же дни, названы *всякими людьми, всей чернью и всем народом*, а когда царь вымаливает жизнь для Б.И. Морозова, то повстанцы принимают просьбу и бьют

1. Кром М.М. Рождение государства. С. 209–217.
2. Яковлев А.И. «Безумное молчание»: (причины Смуты по взглядам русских современников ее) // Сборник статей, посвященных Василию Осиповичу Ключевскому. Ч. 2. М., 1909. С. 651–678; Rowland D. The Problem of Advice in Muscovite Tales about the Time of Troubles. P. 270–271.
3. Платонов С.Ф. Статьи по русской истории (1883–1902). СПб., 1903. С. 88; Козляков В.Н. Царь Алексей Тишайший. С. 51–53, 56, 59–60.

челом царю вновь *миром и всей земле*. Влияние *всей земли* или *мира* на *государеву волю* — формула легитимности, а не политического устройства. Она не противоречит смиреннию перед высшей властью царя, а легитимность этого влияния снижается за счет сопутствующей ему *смуты великой*, и задача власти в том, чтобы ее усмирять, а не включать в государственный строй. В целом данный отдаленный аналог республиканизма, в своем роде *монархический республиканизм*, звучит в источниках нечасто в качестве экстраординарного политического фактора, хотя и чаще, чем кальки и транслитерации *общего дела* в духе Хронографа, послания Карпова и эмигрантских сочинений Курбского, и с большей аудиторией, чем документы Посольского приказа.

Как служение российских монархов и их холопов «высшим интересам» сочеталось с информацией о политических образованиях республиканского типа в Европе во второй половине XVI–XVII в.? Республиканские аллюзии в формуле *земского и нашего дела* усложняются особенностями ее бытования и ее восприятием. В период опричнины *земское дело* впервые отделилось от *господаря* как общее дело без царя. Субъект политики в данных текстах идентичен коллективному суверену самодержавной эпохи: это царственное *мы*, но *без личности* монарха. Впрочем, открытие общности, которая еще В.О. Ключевскому и С.Ф. Платонову представлялась воссозданной русской нацией, происходило на фоне резкого роста апокалиптических ожиданий и религиозной ксенофобии¹. *Общее дело* мыслилось участниками войны как противостояние со злом при поддержке Бога и всех святых, а павшее царство — скорее как обездоленная империя, чем как национальная земская республика².

Из вышесказанного следует, что идеология *земского и нашего дела* отражает не столько рецепцию республиканских

1. Кузнецов Б.В. События Смутного времени в массовых представлениях современников: «Видения» и «Знамения», их значение в этот период: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1997; Ульяновский В.И. Смутное время. М., 2006.
2. Яковлев А.И. «Безумное молчание». С. 665–675.

идей в России и русских землях, сколько круг взглядов, из которых при определенных условиях могли сложиться соответствующие современные политические идентичности, но, по всей видимости, так и не сложились. Этот подход напрашивается в рамках концепций Энтони Смита. Его идея *ethnie* близка к пониманию, например, Византии как *республиканской политики* в духе Энтони Калделлиса¹. Обсуждение республиканской валентности ряда соответствующих понятий может скрыть их полную непригодность в том качестве, которое призвано было бы говорить об их участии в современных идентичностях. В частности, выше мы отмечали бытование переводческих калек *вещь, общая вещь, общие люди, дело земское, дело народное* в русских письменных памятниках. Курбский был первым писателем московского происхождения, кто пытался распространить республиканскую терминологию в ее оригинальной римской и польской форме (в транслитерации) среди московских эмигрантов в Европе, русских шляхтичей и горожан. Однако и само понятие республики в греческих и латинских текстах, из которых оно пришло на русские земли, далеко от республиканских идеалов эпохи Цицерона и допускало главенство императора над республикой и ее институтами и поддержание ее традиций и обрядов. В эпоху Каролингов, особенно в 810-е гг. в канцелярии Элизахара при императоре Людовике Благочестивом, понятие *res publica* было возрождено в деловой переписке. Но не в качестве обозначения объединений, основанных на идее всеобщего участия и свободы, а для обобщенной характеристики частных владений — будь то церковных или герцогских (но в отличие от *regnum* или *ecclesia*)². Позднее, уже в эпоху Ренессанса, республиканские и монархические идеалы выражали одни и те же

1. Калделлис Э. Византийская республика: Народ и власть в Новом Риме / Пер. В.И. Земсковой. СПб., 2016.
2. Sassièr Y. L'utilisation d'un concept romain aux temps carolingiens: La *res publica* aux IXe et Xe siècles // Médiévales. 1988. No. 15. P. 17–29; Malaspina E. *Res publica* nell'Occidente romanobarbarico: nostalgia ed eclissi di un modello // Rivista di cultura classica e medioevale. 2012. No. 2. P. 317–332.

авторы, создавая при этом непротиворечивые политические доктрины¹.

Вопрос в том, насколько российские интеллектуалы и государственные служащие нуждались в доктринах. Останемся всего на нескольких примерах. В русских землях было известно понятие *народ*, но им почти не пользовались в Новгороде Великом XIV–XV вв. (что и само по себе вносит отличие в публичные дискурсы). В Москве вплоть до начала XVI в. старательно отличали *народ* (или *род*) и *людей*, под которыми понимали совершенно несходные, иногда по идее противостоящие друг другу общности. Народ приобрел церемониальное значение и не предполагал репрезентации, идентифицируя общность только в тех случаях, когда он возникал, т.е. собирался на церковных церемониях, возглавляемых митрополитом или патриархом. Это понимание было чрезвычайно устойчиво, что подтверждается примерами употребления лексем *род* / *народ* и т.п. в древнерусских памятниках, где оно встречается в высоких библейских, церковных и церемониальных контекстах. Общность *крестьяне* коррелирует с религиозной церемонией и воплощается при непосредственном участии в процессии самой этой общностью. Народ не мыслится в качестве абстрактного единства представителей единой нации или обширной территории. Христианский *народ* в воинских контекстах — мобилизованная община *верных*, плененная иноверцами и ждущая своего *исхода* (как библейский *избранный народ*, исходящий из Египта)².

1. *Скиннер К.* Истоки современной политической мысли. Т. 1–2. См. также ряд исследований в русле Кембриджской школы: *Evangelisti P.* À la place du bonheur: bâtir le bien commun et la prospérité de la «res publica»: La littérature de «consilia» de la couronne catalano-aragonaise // *Revue Française d'Histoire des Idées Politiques.* 2010. No. 32. P. 339–358; Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018 (здесь приведен ряд работ и полемических отзывов на с. 53–405 и ряд исследований о русских политических реалиях XVIII–XX вв.).
2. *Witzenrath Ch.* Rachat («rédemption»), fortification et diplomatie dans la steppe — la place de l'Empire de Moscou dans la traite des esclaves en Eurasie // *Esclavages en Méditerranée. Espaces et dynamiques économiques.* Madrid, 2012. P. 181–194.

Параллель православных с *народом-Богом* намечалась при помощи прямой исторической и символической преемственности между ветхозаветными царями, византийскими императорами и русскими правителями¹. Негативной идентичностью христианского *избранного народа* было изгнание иудеев, отрицание претензий евреев на избранность, гонение на иудаизм². Этот аспект самосознания изучен Исайей Грубером на примере Толковых Псалтирей и Азбуковников, источники которых были недоступны и непонятны московским интеллектуалам³. В XVI–XVII вв. слово *нация* в России и Посольском приказе, как правило, понимали в буквальном значении. Допускался, к примеру, лишь искаженный перевод понятий *Священная Римская империя германской нации*. В переписке с императором из Москвы направлялись письма «монархе Римского царствия», а само название *Священная Римская империя* определялось с использованием полонизма *Рѣша Немецкая* — таким образом, слово «нация» в переводе вовсе не нуждалось. Эти факты не свидетельствуют о том, что национальное самосознание было в России недоразвито, а лишний раз подтверждают, что его не было совсем — и в данном случае логики Н.-Ш. Колманн и В. Кивельсон более уместны, чем поиск соответствий «национальным» дискурсам западного христианства в российском православии.

Признаком свободолюбия или феодальных пережитков в едином монархическом государстве иногда называют право говорить правителю *встречу*, т.е. перечить ему или озвучивать неприятные для него точки зрения. Примером могут служить воспоминания Максима Грека (по сути, это

1. Rowland D. Towards an Understanding of the Political Ideas in Ivan Timofeyev's *Vremennik* // The Slavonic and East European Review. Vol. 62 (1984). No. 3. P. 371–399, здесь P. 381–383, 389–390; Lenhoff G. The Construction of Russian History in «Stepennaja Kniga» // Revue des études slaves. Vol. 76 (2005). No. 1. P. 31–50, здесь P. 40–45 и сл.
2. Pereswetoff-Morath A. A Grin without a Cat. Vol. 1–2. Lund, 2002; Пемпухин В.Я. «Русь и все языци»: Аспекты исторических взаимосвязей: Историко-археологические очерки. М., 2011. С. 249–255, 302–310.
3. Gruber I. From Bethlehem to Belozero: Biblical Languages and National-Religious Boundaries in Muscovy // Russian History. Vol. 41 (2014). No. 1. P. 8–22.

не воспоминания, а донос) о словах Ивана Никитича Берсеня Беклемишева о том, что великий князь Василий III «упрям и встречи против себя не любит»¹. Впрочем, слова Берсеня говорились втайне и с просьбой их не разглашать. Если это и свидетельство об оппозиционных настроениях при московском дворе начала XVI в., то их политические значения далеки от тираноборческих форм. Готовность говорить *встречу* характеризует, как правило, желание исправить государя, наставить его на путь истины. Этот путь, как позднее в оценках Котошихина, противопоставляет нынешнего правителя прошлым (Берсень сравнивал Василия III с его отцом, Иваном III). Непокорного не защищают никакие права, его ждет смерть. Таким запомнился слуга Курбского Василий Шибанов, не побоявшийся прилюдно отстаивать чистоту помыслов своего господина перед царем Иваном Васильевичем². Во время восстания Лжедмитрия II стародубский сын боярский «говорил царю Василью встрешно» о том, что Шуйский узурпатор, — не побоявшись умереть под пытками за царя Дмитрия Ивановича³. Во всех подобных случаях встреча предполагает не политическое право, а христианскую обязанность одиноким умереть за правду перед лицом высшей власти.

Монархическая власть не ограничивалась, а усиливалась, когда ей перечили. Ее идеал предполагал, что власть воплощает и осуществляет наилучшее политическое состояние и соответствующий ему образ благополучия, который в российской культуре XV–XVII вв. сформировался

1. *Зимин А.А.* Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 272, 284. Показательна здесь дискуссия А.А. Зимина с традицией В.О. Ключевского видеть во взглядах И.Н. Берсеня Беклемишева «философию политического консерватизма». Фоном для рассуждений исследователя служат перспективы создания сословно-представительной монархии и обязанность разумно управлять страной при поддержке мудрых советников, т.е. взгляды, которые, как считал А.А. Зимин, разделяет А.М. Курбский.
2. *Ерусалимский К.Ю.* На службе короля и Речи Посполитой. М.; СПб., 2018. С. 353–355.
3. ПСРЛ. Т. 14. М., 2000. С. 76. См. также: *Козляков В.Н.* Служилые люди России XVI–XVII веков. М., 2018. С. 61.

вне традиций Аристотеля и Платона и без выраженных следов университетской схоластики. Обучение будущих правителей не предполагало таких глубоких познаний о европейских порядках, как позднее в самооценках Екатерины II («республиканская душа»)¹, наставлениях Ф.-С. Лагарпа и М.Н. Муравьева будущему Александру I и великому князю Константину Павловичу, а В.А. Жуковского — Александру II. Первые известные прецеденты XVII в. больше говорят о значении придворного образа жизни и любознательности учеников, чем об особых программах воспитания. Рано умерший царевич Алексей Алексеевич (1654–1670), помимо духовного чтения и учебных книг, имел в своей библиотеке «Летописец вкратце царем и великим князем» и «Собрание патриарха Никона», воспитываясь в духе «Степенной книги» и Лицевого летописного свода. В целом мало нарушал эту линию и подаренный ему далекий от разномыслия и республиканских идей «Жезл правления» Симеона Полоцкого (1666–1667). Впрочем, в собрании царевича были глобусы, географические описания, 137 книг на иноземных языках и «книга Аристотелева, книга Монархия»². После Смуты звучали новые для российских властей понятия, и ими все больше проникались сами правители. *Общее благо* звучит в письмах царя Алексея Михайловича. Это понимание *блага* нетрудно отличить от ренессансного понимания *республики*. Царю приходилось подавлять сторонников низложенного патриарха Никона, обвиняя их среди прочего в латинских наклонностях (за это пострадали митрополиты Павел Крутицкий и Илларион Рязанский). Казнь английского короля Карла I и изгнание его сына, Карла II, вызвали в Алексее Михайловиче сочувствие к гонимым. В июне того же года английским купцам был запрещен проезд по территории России дальше Архангельска³. Епифаний Славинецкий

1. Хархордин О.В. Республика. Полная версия. С. 98–105.
2. Забелин И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2005. С. 655–656.
3. Anderson M.S. English Views of Russia in the 17th Century // The Slavonic and East European Review. Vol. 33 (1954). No. 80. P. 140–160, здесь P. 141–142.

подготовил неизвестный в наши дни перевод английского трактата «О убийении короля аггельского», а в архиве Тайного приказа сохранился перевод из «печатного листа» о казни короля, в котором приведены его слова на эшафоте о нежелании дать народу «чрезмерную волю»¹. *Благо*, таким образом, понимается как всеохватное богоугодное делание (*радение, служба*), исчерпывающее гражданскую роль подданных и препятствующее мятежам и бесчинствам. Первыми среди равных будут и монархи в самых разных значениях, в числе прочих они — граждане своего православного отечества. Учителя будущего царя Федора Алексеевича (прежде всего Симеон Полоцкий) привили ему любовь к польской культуре, сказавшуюся на ходе реформ в духе шляхетской республики в 1676–1682 гг.

В опричной и послеопричной России возникали характерные формулы *общего дела*, которые были направлены на сплочение элит вокруг монарха. Помимо чрезвычайного крестоцелования действовал принцип общих пиров и трапез, который закрепился в правление Бориса Годунова. Придя к власти, царь Борис Федорович ввел особую присягу себе и своим потомкам, обязательную трапезную молитву о многолетии царской семьи с испитием чаши о здравии господаря «на трапезах и вечерах»². Обычай отразился в таком сатирическом памятнике XVI–XVIII вв., как «Повесть о бражнике» (в 1664 г. попавшем в список «отреченных

1. РГАДА. Ф. 27 (Разряд XXVII. Приказ Тайных дел). Оп. 1. № 64. Л. 1–14. См. также: *Алпатов М.А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XII–XVII вв. М., 1973. С. 340–341; *Андреев И.Л.* Алексей Михайлович. 2-е изд. М., 2006. С. 393–394.
2. *Орлов А.С.* Чаши государевы // ЧОИДР. Кн. 4. М., 1913. С. 13–14; *Сokolova Л.В.* Чаши государевы заздравные // Грузинская и русская средневековые литературы. Тбилиси, 1992. С. 191–208. Эту точку зрения важно отличать от концепции «народной монархии», в которой церемонии рассматриваются как популярные социальные жесты. Обратная точка зрения, согласно которой ритуал конструирует свои составляющие, включая «народ», «чернь», «собор» и т.д., требует иной исследовательской оптики и выходит за рамки данной концепции. Превращение *народного* тезауруса в *национальный* — предмет либеральной историографии рубежа XIX–XX вв. и ее наследников, далекий от проблематики нашей работы. См. об этом: *Perrie M.* The Muscovite Monarchy in the Sixteenth Century. P. 233–236.

книг»¹. Несмотря на закрытый и предписанный формат присяг, клятв и здравий, они выполняли более широкую социальную функцию, формируя образы царя и царской семьи как главной ценности не только для бюрократии и элиты, но и для низших слоев. Этот образ наполнялся ритуальными смыслами благодаря таким церемониям, как Шествие на осляти или Водосвятие, публичному празднованию рождения царских детей и именин царя и членов его семьи, а также благодаря публичным казням «изменников» и «богохульников». И Григорий Котошихин, и Юрий Крижанич видят в публичных церемониях важный ресурс для сплочения московского «народа». Впрочем, использование официальной московской документации, а в равной мере записок иностранных агентов о России, для выявления республиканских дискурсов крайне затруднено. Если властные образы «общего дела» излучают репрессивные политические значения и весьма незначительно ретушируют «дело государя» теми или иными формулами совместного делания, то для иноземных агентов политические формы были по определению скрыты фигурой высшей власти и ее ведомств, бросающих тень на любые самостоятельные репрезентации. Сопrotивление высоким языкам в городской сатире XVII в. не складывается в доктрины, однако намечает в своем роде протестные светские и шутовские ритуалы «босоты и наготы»².

* * *

Путь к снятию, к последней стадии идентификации (расхождению) был закрыт европейскими мыслителями, описывающими деспотизм и тиранию *Востока*, *Московии* или *Болгарии*. Когда Ивэр Нойманн пишет о рождении

1. *Семьячко С.А., Смирнов И.П.* Повесть о бражнике // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: (XVII в.). Ч. 3. Санкт-Петербург, 1998. С. 85–89; *Пигин А.В.* Древнерусская Повесть о бражнике в интерпретации старообрядческих полемистов // Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Litteraria Rossica. 2015. С. 261–269.
2. *Лихачев Д.С.* Поэтика литературы // Художественно-эстетическая культура Древней Руси. XI–XVII века. М., 1996. С. 379–380.

европейского политического Я, он не учитывает выводов Маршалла По об органичности идеи московской тирании в европейской политической мысли¹. По мнению данного исследователя, в рамках европейских — главным образом аристотелианских — дефиниций определение строя московитов как тирании было выводом из собранных фактов, а не русофобским вымыслом. Как *тирания* в чистом виде, так и *тирания без тирана* обсуждались между московитами и европейцами на всем протяжении XVI–XVIII вв. «Просветитель» Иосифа Волоцкого воссоздает библейский (прежде всего новозаветный) образ «нечестивых царей», которым противостоят их жертвы — мученики². Князь Семен Бельский на пиру у хана Сахиб-Гирея в 1537 г. заявлял, что «тиранством» и «новшествами» московский государь («царь») отвратил от себя народ, крымский хан мог бы легко разогнать тамошнее войско и часть народа, а другая, большая, примет самого Бельского своим великим князем при поддержке хана³. Пользовавшийся русской калькой слова *тиран* (т.е. *мучитель христиан*) князь Андрей Курбский в своих сочинениях, написанных в эмиграции, объяснял порабощение русской знати тем же, что Бельский рассчитывал обратить себе на пользу, — союзом монгольской тирании и московского властного безбожия⁴.

1. Нойманн И.Б. Использование «Другого»: Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М., 2004. С. 109.
2. Soldat C. The Limits of Muscovite Autocracy. P. 270–272.
3. Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя: (начало XV — первая половина XVI в.). Очерки. М., 2004. С. 142–143.
4. До недавнего времени считалось, что аналогом понятия *тиран* в московской культуре является калька *мучитель*. Именно ее применяет к Ивану Грозному Андрей Курбский (*Goldfrank D.M. The Deep Origins of Tsar²-Muchitel²: A Nagging Problem of Muscovite Political Theory // Russian History. Vol. 32 (2005). No. 3–4. P. 341–354; Каравашкин А.В. Власть мучителя. Конвенциональные модели тирании в русской истории // Россия XXI. 2006. № 4. С. 63–64; Halperin Ch. Ivan the Terrible. P. 70*). Однако словоформа *тиран* обнаружена в кириллических документах, составленных в Швеции в пропагандистских целях и имевших какое-то распространение в Московском государстве уже на рубеже 1570–1580-х гг. (*Селин А.А. Новые материалы об идеологической борьбе в годы Ливонской войны // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Вып. 12. СПб., 2006. С. 34–37*).

Апофеозом в противостоянии московской политической доктрины с республиканизмом стала переписка Ивана IV со Стефаном Баторием в июне—сентябре 1581 г., когда польский король возобновил войну против Москвы и втянулся в многостраничную литературную полемику со своим врагом. Фоном для упреков со стороны короля послужило одно из посланий царя от 29 июня, в котором прозвучали выпады о нарушении королем древнего посольского обычая, преступлении договоров, следовании басурманским обычаям, унижении московских послов и соединении на войну вместе с изменниками царя. В подтексте звучало обвинение всей политической системе противника: король, по мысли Ивана IV, был не ровня царю, незаконный, поскольку избран на престолы — и то в обход законно избранного правителя (т.е. императора Максимилиана II), не имевший династических прав на свои престолы (и незаконный правитель Ливонии и Пруссии), ставленник Османской империи (верный турецким обычаям) и неблагочестивый (с аналогиями из древней истории). Тем не менее достигший Святого престола латинский перевод этого послания дважды передает термином *Res publica* обозначение общего христианского единства или же власть правителя в своей стране («*de communi Reipublicae commodo*», «*...et quod nos detrimentum Reipublicae nostrae a nostris perfidis accipere gaudebas*»)¹. В ответном послании от 2 августа, которое было направлено в Москву одновременно на латыни и на русском языке Речи Посполитой, король Стефан обрушился на московскую тиранию, возводя избирательную монархию и политическую систему Речи Посполитой ко временам Римской республики и указывая на права граждан выбирать себе добродетельных правителей, каковым царь в Москве не является, будучи образцовым наследником древних и недавних тиранов

1. РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. № 13. Л. 42 об. — 65 об., 89–93 (л. 66–89 утрачены); Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 515–529; № 592. Л. 130–144 об.; Biblioteka ks. Czartoryskich w Krakowie. № 1664. S. 201–226; № 307. S. 351–361; № 310. S. 65–89; Archivio Apostolico Vaticano. Segr. di Stato. Polonia. № 15. F. 156–160.

и подлинным басурманином, гонителем своих подданных и наследником ханов, у которых его предки слизывали кумыс с конских грив. Кроме того, король неоднократно употреблял понятие *Res publica* в значении *государство* (каковым в понимании короля была и древняя Римская республика, и ее имперские наследники: «Voce ea Latini Imperium et potestatem humanam significant cuius quidem verbi usus a Republica Romanorum promanavit [*или* manavit], qui id non tam summo alicui Magistratui, quam ipsi populo universo [*или* universo Romano] tribuerunt»)¹. Два значения (тираноборческое и институциональное) в этом сочинении короля и его советников были соединены в неразрывное целое. Иван Грозный иронизировал уже в сентябре на переговорах с посредником и представителем Святого престола Антонио Поссевино в ответ на прямые упреки со стороны Стефана Батория в *тирании*, сходной с библейской египетской, что фараоны были свободными правителями и «дань» — которой требовал король с Москвы в качестве контрибуции — никому не платили («...фараон египецкой никому дани не даывал»)². Обвинения в тирании царь Иван Васильевич парировал, превращая обличения своего политического типа в защиту суверенитета. Выбор между утратой суверенитета и тираническим правлением московский монарх решал осознанно в пользу *тирании*, хотя понимал, что его обличают и упрекают в неуважении добродетельных форм правления. Царь знал о *правах и свободах* шляхты и условиях выборов короля после смерти Сигизмунда II Августа и побега Генриха Валуа из Кракова, однако лавировал и, по всей видимости, готов был сохранить политические устои Короны Польской, но не собирался идти на уступки Панам раде Великого княжества Литовского (включая Киев и Вольнь).

1. РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 591. Л. 546 об. — 575; РГАДА. Ф. 389. Оп. 1. № 592. Л. 163 об. — 200; Biblioteka Narodowa w Warszawie. № 6604. К. 1–33; Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku. № 982. S. 44–54; GStA-PK. HVA 719. E5. F. 2–18; Archivum Romanum Societatis Iesu. Polonia. Opera nostrorum. № 329 I. F. 2–23v; РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. № 13. Л. 265 об. — 350.
2. РГАДА. Ф. 78 (Сношения России с римскими папами). Оп. 1. Кн. 1. Л. 267.

Уже в Смутное время возникли проекты, весьма похожие по идее и форме на присяги польских королей. Их основная часть по имени Генриха Валуа называлась *Генриховыми артикулами*, а дополнения (предназначенные изначально для французских послов на сейме 1573 г.) — *Pacta conventa*. После смерти Сигизмунда III Вазы, с 1632 г. две эти части взаимно дополняли друг друга в королевской присяге, произносимой при вступлении на престол. Договорные «статьи» в России отразились в ряде памятников, испытавших влияние польско-литовской традиции. Еще на первых выборах польско-литовского монарха после смерти Сигизмунда II Августа Панове рада прислали в Москву Ивану IV статьи, в которых указывались договорные основы возможного избрания московской кандидатуры, и царь обсуждал с посланниками Речи Посполитой *права и свободы* на случай своей победы на выборах¹. Во время Смуты принятие договорных грамот в самом Московском государстве обсуждалось неоднократно: крестоцеловальная грамота Василия Ивановича Шуйского 19 (29) мая 1606 г.; договор послов Лжедмитрия II с Сигизмундом III Вазой 4 (14) февраля 1610 г.; окружная грамота Боярской думы 20 (30) июля 1610 г., договор бояр с представителями Сигизмунда III и наказ со «статьями» послам к королю под Смоленск от 17 (27) августа 1610 г. в качестве условия воцарения королевича Владислава в России; приговор 30 июня (10 июля) 1611 г.² Соглашение между Станиславом Жолкевским и Григорием Леонтьевичем Валуевым в Клушине от

1. *Флоря Б.Н.* Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI — начале XVII в. М., 1978. С. 46–119.
2. *Кобрин В.Б.* Смутное время — утраченные возможности // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала XX в. / Сост. С.В. Мироненко. М., 1991. С. 176–182; *Крамми Р.О.* «Конституционная реформа» в Смутное время // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Период Киевской и Московской Руси: Антология / Сост. Дж. Маджеска; пер. с англ. З.Н. Исидоровой. Самара, 2001. С. 240–258; *Флоря Б.Н.* Польско-литовская интервенция в России и русское общество. М., 2005. С. 115–137; *Hellie R.* Did Russians Ever Hope for Non-Autocratic Rule? // Harvard Ukrainian Studies. Vol. 28 (2006). No. 1/4. P. 471–482; *Козляков В.Н.* Смутное время в России начала XVII века. М., 2021. С. 299–301, 340–344.

29 июня (9 июля) 1610 г. развивало условия, достигнутые ранее под Смоленском (Валуев и его соратники принесли при этом присягу королевичу Владиславу Жигимонтовичу)¹. Сравнение этих обязательств высшей светской власти перед *землей* и *всякими людьми* показывает, что уже между февралем и августом 1610 г. у московских политических сил оформилось требование невмешательства во внутреннюю жизнь страны. «Собственно говоря, — пишет В.Н. Козляков, — это и был негласный „общественный договор“ Московского государства, разрушенный в Смутное время»². К этому мнению важно было бы все же добавить, что по форме этот «договор» предполагал вхождение Российского царства в сферу польско-литовского республиканизма. От этого вывода уходили российские исследователи Смуты, видя в нем идею зависимости и подчиненности российской политической культуры. Одну из самостийных концепций предложил Ю.В. Готье, доказывавший, что самодержавие от слабого Федора Ивановича и избранного царя Бориса Годунова и самозванца Дмитрия Ивановича, будто бы подготовленного боярским заговором в Москве и смещенного им же, само деградировало до состояния, при котором договорные записи стали возможны³. Этот вывод подменяет вопрос об источниках документа его «исторической необходимостью». Впрочем, согласно логике Готье, попытки боярства чуть было не увенчались успехом в момент свержения Василия Шуйского и принятия московской «семибоярщиной» ограниченной версии договорных статей 4 (14) февраля 1610 г., в которых «чувствуется влияние польско-литовского государственного строя»⁴.

Обещания боярина кн. В.И. Шуйского перед вступлением на престол подробно обсуждаются в «Новом летописце». Будто бы боярин сначала обещал целовать крест всей

1. *Бутурлин Д.П.* История Смутного времени в России в начале XVII века. С. 259, см. также с. 276–277, 453–482 (Наказ посольству к Сигизмунду III Вазе. Москва, 17 августа 1610 г.).
2. *Козляков В.Н.* Василий Шуйский. М., 2007. С. 235–237, цит. со с. 236.
3. *Готье Ю.В.* Смутное время. М., 2019. С. 49–50.
4. Там же. С. 67–68.

земле, «что мне ни нат кем ничево не зделати без собору никакова дурна... а которая де была грубость при царе Борисе, никак никому не мститель», — а хотя бояре и «всякие людие» начали отговаривать его, поскольку таких обрядов в Московском государстве «искони век... не повелось», будущий царь не отказался от своих слов, а присутствующие целовали ему крест после совершения обряда самим Шуйским, не посоветовавшись «со всею землею и з городами»¹. Василий Иванович обещал осуждать на смерть и лишение имущества «всякого человека» только боярским судом, а у ближних родственников отнимать имущество, только если они были «в одной мысли» с преступником. Слова об игнорировании «всей земли и городов» можно отбросить, поскольку они отражают негативное отношение к самой договорной практике со стороны автора «Нового летописца», оценивавшего события Смуты с точки зрения эпохи монархической реставрации². Договорные статьи в грамоте Шуйского, на которой было принесено взаимное целование креста будущим царем и его подданными, соединяют польско-литовскую и российскую правовые практики. Из реалей Речи Посполитой заметно влияние клаузулы Литовского Статута 1529 г. и последующих редакций разд. I арт. 1, в котором господарь гарантировал справедливый суд, прежде чем наступает наказание. Отчасти также — *Генриховские артикулы*, в которых король обязывался соблюдать законы, подчиняться постановлениям Сейма и согласовывать с ним свои важнейшие решения, или приложения к ним — *Pacta conventa*. Впрочем, статус обязательств Василия Шуйского и последующих грамот был ближе к последним, поскольку конституционных гарантий будущие цари никому не давали, соглашаясь лишь с существующим устройством и отказываясь, вполне в духе принципов предшествующего века, преследовать врагов предыдущего правителя.

Хотя Василий Шуйский придерживался обязательств перед *всей землей*, и его обязательства, и другие подобные

1. ПСРЛ. Т. 14. М., 2000. С. 69.

2. *Вовина-Лебедева В.Г.* Новый летописец: история текста. СПб., 2004. С. 315–327.

контрактные выступления были выдвинуты еще до обряда коронации (венчания на царство) и не были подтверждены ни одним венчанным московским царем и не превратились в определенный порядок при помощи особого указа или уложения. Кроме того, республиканская терминология в данных актах отсутствует или сглажена, хотя обязательства царей перед церковными главами, землей, собором и служилыми людьми были беспрецедентны в истории России. Избрание на царство *всей землей* вносило дополнительную легитимность в самодержавие Бориса Годунова, Василия Шуйского, Владислава Жигимонтовича и Михаила Романова, однако из них только царь Василий Иванович ссылался на приговор *земской думы* о своем избрании (во время заговора декабря 1608 — 17 февраля 1609 г.)¹. Конструкты *вся земля, земская дума, всякие люди* или *все чины* переводились на язык польско-литовского республиканского устройства. Именно такого взаимопонимания искало руководство Московского государства в переговорах со Станиславом Жолкевским в августе 1610 г., готовя послов под Смоленск, которые должны были передать: «А будет король или паны рада учнут говорить, что без болшого сойму, не прирадя всюю землею, государю королевичу в Московское государство идти нельзя, и для того король велит сойм учинити Коруны Полские и Великого княжества Литовского всем людем, и они б дожидались сойму; а на сойме король о всех делех постановя, королевича на Московское государство отпустить»². Польско-литовские политические реалии в сознании патриарха Гермогена и других московских властей содержали практически все аналогии московского устройства. *Королю* соответствовал *царь*, *Панам раде* — *Бояре*, *Сейму* — *Собор всей земли* (в отличие от *освященного собора*, который выступает также в формуле *патриарх и весь собор*) или *Вся земля, станам* (сословиям) — *все чины* или *все люди*. Постановление *о всех делех*,

1. О датировке заговора кн. Р.И. Гагарина и др. см.: Козляков В.Н. Смутное время в России начала XVII века. С. 253–254 (прим. 149), 254–256.

2. Бутурлин Д.П. История Смутного времени в России в начале XVII века. С. 480 (Москва, 17 августа 1610 г.).

которое в наказе послам применяется также к российским реалиям (например, к договорным *статьям* в формуле *бити челом о делех*), соответствует польско-литовским сеймовым решениям, т.е. *конституциям*.

Обязательства высшей светской власти и *земли* выросли обоюдно. Было бы неверно считать, что эти клятвы вносили ограничения только в полномочия власти. Если не считать ссылки на целование креста Ивану IV в окружной грамоте царевича Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I) от ноября 1604 г. (в достоверности которой можно сомневаться)¹, до времени царя Федора Ивановича нет прямых свидетельств о приведении к крестоцелованию всего правоспособного населения Российского царства. Даже сторонники договорных отношений (например, Федор Карпов или Андрей Курбский) не упоминают никаких взаимных клятв при Василии III или Иване Грозном и к таковым не призывают. Соборное утверждение Бориса Годунова на царство, по всей видимости, сопровождалось всенародным крестным целованием о верности царю и его потомкам по формуле: «На том, рече, целую крест, как в сей записи писано»². Утвержденные грамоты 1598 г. хранились в царских палатах и Успенском соборе Кремля³. Лжедмитрий I привел население к присяге в июне 1605 г. После его свержения царица инокиня Марфа Нагая и царь Василий Шуйский пытались снять клятвенные обязательства перед царем Дмитрием Ивановичем, представляя их как клятвопреступные по отношению к более ранним обязательствам патриарху Иову. В свою очередь Лжедмитрий II в своих грамотах (в частности, в Смоленск в апреле 1608 г.) допускал прощение для всех присягнувших на верность Шуйскому и даже для самого московского узурпатора (хотя они *забыли царское крестное целованье* ему, т.е. еще Лжедмитрию I), но считал исконным

1. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археологической экспедицией императорской Академии наук. Т. 2. СПб., 1841. С. 76–77. № 61 (Ноябрь 1604 г.). См. также: *Козляков В.Н.* Смутное время в России начала XVII века. С. 91–92.
2. *Бутурлин Д.П.* История Смутного времени в России в начале XVII века. С. 371 (Москва, 20 февраля 1607 г.).
3. Там же. С. 374–375 (20 февраля 1607 г.).

и нарушенным кознями Бориса Годунова крестное целование себе и Ивану IV: «И его Борисовы советники Богдан Яковлев сын Бельской, да Ондрей Петров сын Клешнин, да Василей Щолкалов отрынули от себя его злокозненный умысл и прынесли искреннюю благодать во сердцех своих, и помня нам великим государем крестное целованье, как блаженное памяти государу нашему батюшку цару и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси и нам крест целовали...»¹. Этот вымысел свидетельствовал об остроте для Лжедмитрия II, как и для царя Василия Ивановича, вопроса о снятии общей присяги царю Борису Федоровичу. Из сказанного следует, что соборные гарантии *всей земли* на воцарение Бориса Годунова современниками воспринимались как общегосударственная присяга. Подобные присяги повторялись при каждом новом правителе в Москве, а сам этот механизм вплоть до решений Земского собора 1613 г. был беспрецедентным в истории России соединением присяги на верность и соборных выборов нового монарха и династии. В этих условиях названные выше крестоцеловальные записи избираемых на трон правителей перед *землей* задумывались в качестве *Pacta conventa*, но ни разу не были утверждены ни земскими соборами, ни высшей духовной властью. Сами претенденты на престол, в отличие от королей Речи Посполитой и других европейских стран, воспринимали обязательства перед *землей* как вторичные по отношению к соборному и присяжному определению своей царской и великокняжеской власти.

Память о событиях Смуты сохранялась на протяжении XVII в. Григорий Котошихин считал, что московские цари после Ивана IV избирались на трон (*обираны на царство*) и принимали на себя обязательства (*писма*) перед людьми править справедливо. Подразумевались при этом Федор Иванович, правители эпохи Смуты и Михаил Федорович. Царь Алексей будто бы эту традицию нарушил². Это

1. *Бутурлин Д.П.* История Смутного времени в России в начале XVII века. С. 382–384 (Орел, 24 апреля 1608 г.).
2. *Котошихин Г.К.* О России в царствование Алексея Михайловича / Подг. Г.А. Леонтьевой. М., 2000. С. 150. Вряд ли данная точка зрения

упоминание отчасти подтверждается сведениями псковского сказания начала XVII в. «О бедах и скорбях и напастях» о том, что Михаила Романова бояре «к роте приведоша», а также в сочинениях В.Н. Татищева (1730 г.), Филиппа Юхана Табберта Страленберга (1730 г.) и Иоганна Готтхильфа Фоккеродта (1734–1737 гг.)¹. Возможно, псковский аноним и перебежчик Котошихин тенденциозны, отстаивая идеалы времен Смуты, а авторы XVIII в. — политическую культуру эпохи *кондиций*. Однако сомнения в существовании обязательств Михаила Романова перед знатью, как представляется, беспочвенны. Во-первых, хорошо известна крестоцеловальная окружная грамота Совета всяя земли от февраля 1613 г., и она должна была рассматриваться как гарантия взаимных обязательств между царем и подданными. Во-вторых, обязательства верховной власти отражены в местнической политике. Как отмечает Ю.М. Эскин, утвержденные грамоты 1598–1613 гг. в равной мере гарантировали сохранение прав «чиновных людей», что преподносилось как двуединое обязательство — подчинение элиты самой власти и установленным порядкам службы и мест, т.е. по сути гарантии стабильности самих

была широко распространена в России. Ее высказал Котошихин в своей записке о Московском государстве уже в Швеции (1667 г.), доказывая при этом незаконные и нарушающие традицию тяготения Алексея Михайловича к автократии. См. об этом в упомянутых ниже работах Дж. Уайкхарта, а также: *Шмидт С.О.* Русская эмиграция и ее влияние на отечественную историческую мысль // Документальное наследие по истории русской культуры в отечественных архивах и за рубежом. Материалы международной научно-практической конференции 29–30 октября 2003 г. М., 2005. С. 11–64, здесь с. 18–21.

1. Л.В. Черепнин занял двойственную позицию, сомневаясь, что присяга была принесена, но при этом считая сведения о «роте» царя Михаила перед собором «шагом на пути эволюции сословно-представительной монархии в сторону от опричного „образца“, учрежденного Грозным» (*Черепнин Л.В.* Земские соборы Русского государства в XVI–XVII вв. М., 1978. С. 204–211, цит. на с. 210). В.Н. Козляков, развивая точку зрения С.Ф. Платонова, парирует, что все названные источники недостаточно надежны и поиск подобных источников является «тупиковой темой для исследования» (*Платонов С.Ф.* К истории московских земских соборов. М., 2018. С. 73–74; *Козляков В.Н.* Московское царство. СПб., 2019. С. 184–193, цит. на с. 193).

элит со стороны власти¹. Впрочем, существенная оговорка о значении утвержденных грамот в московской политической жизни заключается в том, что известные ныне грамоты «1598 г.» и «1613 г.» не могут относиться к фактическому времени восшествия на престол Бориса Годунова и Михаила Романова, а созданы соответственно около 1599 г. и в 1616–1617 гг. и дополнены подписями задним числом². Не случайны и делопроизводственные ссылки на прощение «прежних вин», означавшие всеобщую амнистию после Смуты для подданных Михаила Романова³. Прощение упоминалось в приказной документации от имени царя и коснулось многих воевод и детей боярских, побывавших на службе у Лжедмитрия II и Владислава Жигимонтовича (в их числе — Ф.К. Плещеев, Г.Н. Орлов, кн. Ф.Т. Черново Оболенский и др.)⁴. Маловероятно, что эти гарантии не были прописаны особым указом и произнесены царем Михаилом Федоровичем прилюдно. Наконец, в-третьих, крестоцеловальные обязательства Алексея Михайловича упоминали челобитчики 2 июня 1648 г. («помня государево крестное целование»), соответственно в шведском переводе того времени: «чтобы ты твою данную присягу и обещание вспомнить захотел»), которую И.Л. Андреев понимает как ограничительный документ при венчании на царство⁵, а Д.А. Ляпин — как крестоцеловальную грамоту⁶.

1. Эскин Ю.М. Очерки истории местничества в России XVI–XVII вв. С. 141–147.
2. Лисейцев Д.В. К датировке составления царских утвержденных грамот конца XVI—начала XVII в. // Мининские чтения: Труды участников международной научной конференции. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (24–25 октября 2008 г.). Нижний Новгород, 2010. С. 24–31.
3. РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Столбцы Московского стола. Оп. 9. 1640 г. Ст. 157. Л. 22, 23. См. также: Ерусалимский К.Ю. На службе короля и Речи Посполитой. С. 478.
4. Кабанов А.Ю., Рабинович Я.Н. Смутное время начала XVII века. С. 5–22, 51–68, 69–88.
5. Челобитная «мира» московского царю Алексею Михайловичу 10 июня 1648 г. // Общественная мысль России XVI–XVII вв. Т. 2: Московское царство / Сост. И.Л. Андреев. М., 2010. С. 455.
6. Ляпин Д.А. Царский меч: социально-политическая борьба в России в середине XVII в. СПб., 2018. С. 98.

Д.А. Ляпин полагает, что под крестным целованием могла пониматься присяга народа царю, а не его присяга народу. Однако и конструкция фразы в челобитной, и сама практика взаимных обязательств при целовании креста этому выводу противоречат. Еще одним аргументом в пользу концепции И.Л. Андреева является неоднократная готовность Алексея Михайловича присягать на «правах и вольностях» казакам и своим предполагаемым подданным Речи Посполитой, к чему мы обратимся чуть позже.

Царская власть в России постепенно и эпизодически проникалась понятиями республиканского тезауруса. Прежде всего, в русской истории XVI—начала XVII в. было немало примеров неблагочестивых царей, и приходилось признавать как тиранические злоупотребления предков, так и целые злые правления. Из примеров внутренней тирании в российской книжности сложилось согласие, не выраженное ни в одной строгой доктрине¹. Эти интеллектуалы не имели в России печатной аудитории, но излагали свои взгляды в беседах и набирались мнений в повседневной жизни. Памятники, содержащие опасные мысли, имели неравное влияние и круг читателей. «Временник» Ивана Тимофеева и «Описание» Григория Котошихина сохранились в одном списке и не имели хождения. При этом Джордж Уайкхарт отмечал, что взгляды Котошихина сближаются с идеями его британских современников Томаса Гоббса и Джона Локка в представлении о необходимости контракта властителя и подданных и ограничении самодержавия законами². Их современник Готфрид Вильгельм Лейбниц на польских выборах короля в 1668–1669 гг. боролся против российской кандидатуры, видя в ней автократическую угрозу для прав и свобод Речи Посполитой, Европы

1. *Вальденберг В.Е.* Древнерусские учения о пределах царской власти: Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века. М., 2006; *Rowland D.B.* Did Muscovite Ideology Place Limits on the Power of the Tsar (1540s—1660s) // *Russian Review*. Vol. 49 (1990). P. 125–155.
2. *Weickhardt G.G.* Political Thought in Seventeenth-Century Russia. P. 321, 337. См. также: *Idem.* Kotoshikhin: An Evaluation and Interpretation // *Russian History*. 1990. Vol. 17 (1990). No. 2. P. 127–154, здесь P. 135, 148–149, 153–154.

и «всего христианства»¹. Московские учения об ограничении власти были в то время неизвестны и никак не влияли на образ страны. Впрочем, примеры более популярных текстов об обязанностях и злоупотреблениях власти также есть. «Словеса дней и царей» Ивана Хворостинина известны в трех списках, а взгляды опального придворного обсуждались соборно². «История» Авраамия Палицына, послания протопопа Аввакума и пришедшая в рукописную традицию к 1670-м гг. «История» Андрея Курбского — в десятках читаемых списков к началу XVIII в. Истории павшего Российского царства, погруженного в Смуту, создавали по крайней мере образ разрушительных ошибок, ведущих к гибели династии и множества людей и к многолетним тяготам всей страны. Препятствовать этому должны были как цари новой династии, так и ее православные защитники.

Диалог с соседней страной, в которой *права и вольности* были предметом гордости и политическим устройством, в Москве считали допустимым. Когда в 1655 г. Речь Посполитая погрузилась в Потоп и Ян Казимир бежал в «Венгерские горы», в Москве отказались признавать власть короля, но царь Алексей Михайлович обязался перед Сенатом и шляхтой Великого княжества Литовского не нарушать их «веры, прав и вольностей»³. Российские власти готовы были признать политические институты республиканского государства, если бы оно в лице своих граждан приняло подданство московского царя. С другой стороны, перед нами условности делового этикета, за которым расхождение политического устройства монархии и республики не менее очевидны. Прежде всего, Москва диктовала Варшаве свои условия с позиции силы, считая Великое княжество Литовское уже своей собственностью и предлагая королю

1. *Wójcik Z.* Russian Endeavors for the Polish Crown in the Seventeenth Century // *Slavic Review*. Vol. 41 (1982). P. 67–68. О российском опыте в доктрине Лейбница см.: *Мезин С.А.* Петр I, Лейбниц и Сперанский // *Российская история*. 2011. № 1. С. 115–120.
2. *Семенова Е.П.* И.А. Хворостинин и его «Словеса дней» // *ТОДРЛ*. Т. 34. Л., 1979. С. 286–297.
3. *Флоря Б.Н.* Русское государство и его западные соседи (1655–1661 гг.). М., 2010. С. 44.

и сословиям Речи Посполитой сохранить федерацию, что было всего лишь уловкой, чтобы «под рукою» царя оказалась еще и Корона Польская¹. Во-вторых, в ходе переговоров в Немежи в августе 1656 г. московское представительство настаивало на избрании царя на трон Короны и Литвы при живом короле Яне Казимире (*vivente rege*), что грозило очевидным для партнеров нарушением *прав и свобод* их страны². В Москве рассматривались *Pacta conventa* (договорные *статьи*) также во время выборов в Речи Посполитой в 1668–1669 гг., а уже на выборах 1674 г. посол В.М. Тяпкин передал в Москву обширный документ, отложившийся в Посольском приказе под названием «Перевод статей постановленного уговоренного от чинов Речи Посполитой Коронной и Великого княжества Литовского и государств, к ним надлежащих...», в котором заключались *Pacta conventa* (*присяжная запись*) короля Яна III Собеского. Язык перевода, как отметил А.В. Богатырев, говорит о некоторой чуждости политической культуры Речи Посполитой для московских реалий: польск. *dygnitarstwa, stany* и лат. *ordinum* переведены при помощи моск.-русск. *чин*; лат. *civium* — *жители*; лат. *administrator* и *arendator* — в равной мере как *правитель, правления, наймы*; польск. *deputat* — *приназначенный* и т.д.³ В целом в Посольском приказе были хорошо знакомы с республиканским устройством, однако часть его понятий была непереводаема на московский русский язык или перевод значительно обеднил объем значений первоисточника. Таким было положение дел с республиканской терминологией во властных верхах Российского государства к началу XVIII в., когда в дипломатии уже широко использовалось понятие *вещь гражданская* (калька для *res publica*), однако в словарных текстах 1700-х гг. *гражданство* и *народное жителство* как прямые переводы соответствующих греческого

1. Козляков В.Н. Царь Алексей Тишайший. С. 204–206, 210–212, 214–215, 220–221, 226–227, 242–249.
2. *Wójcik z Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa szwedzkiego w okresie wojny północnej 1655–1660*. Warszawa, 1957. S. 27.
3. Богатырев А.В. Русский текст «Pacta Conventa» Яна III Собеского и его польский первоисточник // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 19. М., 2020. С. 66–81, здесь с. 70, 72.

и латинского образцов не имели политических коннотаций¹. Как уже говорилось выше, «гражданская» лексика еще в 1660-е гг. тесно увязывалась с Псковом и московско-псковскими отношениями, не предполагая обобщений для всего Российского царства, но допуская автономный от Москвы республиканский образ общегития в Пскове.

Помимо Речи Посполитой и Англии, пример республиканского строя показывали северные итальянские города-государства. Республиками (*гражданствами*) в середине 1650-х гг. считались в Москве Генуя и Лукка². Их политическое устройство в наименьшей мере волновало российскую власть, поскольку они входили в ареал дипломатии в направлениях Империи, Франции или Святого престола. О выборах «князя» (т.е. дожа) Венецианской республики можно было прочесть в Софийской II летописи (около 1518 г.) отдельный рассказ о посольстве Семена Толбузина в 1475 г. Нетитулованные кандидаты должны были быть умными и храбрыми, а назначение одного из них на высшую должность зависело от «малого дитяти», вынимавшего именные бобовые зерна из сосуда для голосования³. *Дож* и был известен в Посольском приказе при Иване Грозном как *венецианский князь*. Вся дипломатическая переписка велась с Венецией через *князя* как полномочного главу страны и при посредничестве римского папы. Как показывает М.А. Киселев, лишь в 1655 г. венецианского посла в Москве расспрашивали, кто в Венеции «князь именем или статьи»⁴. Под «статами» понимали форму государственного устройства, отличную от монархической.

1. См. здесь главу «Республиканская идея в России в век Просвещения» (К.Д. Бугров, М.А. Киселев).
2. *Киселев М.А.* Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 35–36. См. также: «Республиканская идея в России в век Просвещения» (К.Д. Бугров, М.А. Киселев).
3. *Казакова Н.А.* Западная Европа в русской письменности XV–XVI веков. С. 119–121.
4. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными (далее — ПДС). Т. 10. СПб., 1871. Стб. 865. См.: *Киселев М.А.* Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 24.

Примерами *Статов* для Посольского приказа служили Голландия после Революции и Англия времен протектората Оливера Кромвеля, а также с какого-то момента — *Речь Посполитая Венетейская*, *Речь Посполитая Немецкая* и *Речь Посполитая Женевская*¹. Впрочем, понимание политического строя Венеции не сказалось на дипломатической адресации — посольство Ивана Чемоданова от царя направилось в следующем году к высшей власти республики в лице дожа и отказалось встречаться с сенаторами («владельцами»), когда выяснилось, что дож («князь») болен, — даже если сенатор сядет «на княжом месте»². Таким образом, на переговорах московиты использовали обычный еще со времен Ивана Грозного посольский прием, усомнившись в политических полномочиях сенаторов, которые исполняют свои функции всего по полгода («месяц по пяти и по шти»). «Великие люди» (сенаторы) избирались «всею землею»³. Это вполне переводилось на язык московских властей междоуцарствия эпохи Смуты, но не на язык дипломатии суверенов. Отсутствие единоначалия в Венеции подробно отражено в статейном списке послов и стало причиной конфликта посольских «обычаев». При этом одной из целей посольства из Москвы было признание венецианцами царя Алексея Михайловича величайшим правителем Европы — что со всех точек зрения было уже слишком и говорило только о непонимании внутреннего устройства страны, которой для Москвы долгое время не существовало⁴.

1. Последние два примера почерпнуты нами из Картотеки древнерусского словаря ИРЯ РАН (статья «Посполитый»), основаны на Походном журнале 1725 г. (с. 32–33) и Географии 1710 г. (с. 24). См. также: Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 17: (Помаранець — Потипати). М., 1991. С. 217–218.
2. Древняя российская вивлиофика (далее — ДРВ). Ч. 8. СПб., 1775. С. 446.
3. Там же. С. 408–409.
4. Longworth Ph. Russian-Venetian Relations in the Reign of Tsar Aleksey Mikhailovich // The Slavonic and East European Review. Vol. 64 (1986). No. 3. P. 380–400, здесь P. 388–392; *Di Salvo M.* Italia, Russia e mondo slavo. Studi filologici e letterari / A cura di A. Alberti et al. Firenze University Press, 2011. P. 97–116.

Понятие *Статы* в российской высокой книжности не использовалось. Оно обозначало и форму правления в Венецианской республике и Республике Соединенных провинций, и самих должностных лиц (*Господа Генеральные Статы*)¹. Это аналог названия высшего совета в Короне Польской и Великом княжестве Литовском *Панове рада*, *Панове радные*, обозначавшего и институт в его полном составе, и представительный круг советников из его состава. В «Вестях-Курантах» за 1660 г. для лат. *res publica* впервые звучит «республика», хотя чаще переводчики (например, «Куранты» за 1669 г. и переводная «Космография» 1670 г.) применяют польскую кальку *речь посполитая*². Поскольку до 1568 г. в Европе не было прецедентов немонархического управления, а власть в Короне Польской и Великом княжестве Литовском считалась в Москве монархической, а не республиканской, прецедентов обсуждения такой необычной политической формы мы не обнаружим. Только в периоды польско-литовских междуцарствий (*interregna*) в Москве задумывались над порядком старшинства в тамошнем управлении и считали это положение дел временным и опасным. Во главе государства в таких случаях помещались *Панове рада* Короны и Литвы и *рыцарство*, как называли в Москве польско-литовскую шляхту. Республика как их единство не упоминается в документах, исходящих из Посольского приказа. И все же только польско-литовская политическая практика долгое время открывала перед Москвой непосредственный контакт с республиканской формой правления. Новости в переводных «авизах» (*Курантах*) характерно обходили различия в политическом устройстве государств Европы при помощи понятия *земля*³. Республики для переводчиков

1. Санин Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений, 1648–1667 гг. М., 2019. С. 138–139.
2. Киселев М.А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века. С. 25–26; Хархордин О.В. Республика. Полная версия. С. 90–91.
3. Шамин С.М. Куранты XVII столетия: Европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати. М.; СПб., 2011. С. 84, 106–110, 277–280.

второй половины XVII в. были непривычны. Как отмечает С.М. Шамин: «Не слишком хорошо известной в Москве оказалась Швейцария. Сама страна справедливо получила у переводчиков Посольского приказа определение „вольной речи посполитой“, а Женева была помещена в Италии. Возможно, переводчик перепутал ее с Генуей»¹. Это логично, учитывая далекое от ученых доктрин и политической борьбы происхождение новостей в переводных *Курантах*, а также ориентацию этой газеты на чтение государем и высшей московской бюрократией. Происхождение этой газеты, как уже отмечали Д.К. Уо и Ингрид Майер, теснее связано с посольскими обычаями и задачами тайной политики: *письмами и отписками* приграничных воевод и их доносителей, *наказами и статейными списками* посольских служащих, *расспросными речами* иммигрантов из Европы и других уголков мира, — чем с общественным мнением и публицистикой². Посольский приказ на всем протяжении своего существования культивировал емкие нравоучительные сказания (*exempla*), призванные объяснить не само по себе прошлое, а политическую актуальность и извлечь из этих сказаний наиболее благоприятные для московской политической практики прецеденты. Этой цели соответствовали и исторические памятники вроде *Хронографа* или *Степенной книги*, и наглядные визуальные источники — родословные древа, европейские иллюстрированные хроники и космографии. Христианско-имперский идеал русского настоящего и его исторические корни со времен формирования посольского обряда истории в XVII — начале XVIII в. не менялись³.

1. Там же. С. 110.
2. *Waugh D. C., Maier I. Muscovy and the European Information Revolution: Creating the Mechanisms for Obtaining Foreign News // Information and Europe: Mechanisms of Communication in Russia, 1600–1854 / Ed. S. Franklin, K. Bowers. Cambridge: Open Book Publishers, 2017. P. 77–112, здесь P. 80–85.*
3. *Ерусалимский К. Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI века // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. С. 664–731.*

В отношении украинских территорий позиция Москвы была со времен Смуты более жесткой, чем в борьбе за польский и литовский престолы, а после присоединения Запорожского войска царю Алексею Михайловичу приходилось лавировать, чтобы не отвадить казаков. Требования *прав и вольностей народа руского*, озвученные Запорожским войском в 1622–1623 гг., в Москве не признавали¹. После смерти Богдана Хмельницкого посольство Богдана Матвеевича Хитрово и Ивана Афанасьевича Прончищева в ноябре 1657 г. должно было вместе с новым гетманом жалованной грамотой подтвердить «войсковые права и вольности»². Уступки звучали с обеих сторон на фоне готовящегося в Москве «избрания» Алексея Михайловича на польский и литовский престолы. Не прошло и двух лет, как признанный в Москве гетман Иван Выговский совместно с королевскими представителями разработал проект Гадячской унии, предполагавший денонсацию Переяславских соглашений и в первоначальной версии вступление Русского княжества по образу Литовского княжества (*in Ducatum Russiae na kształt Księstwa Litewskiego*), а в постановлении Сейма — в качестве Третьего народа (*naród Ruski*) в федеративное объединение с Коронай Польской и Великим княжеством Литовским (*wszystka Rzeczpospolita narodu Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ruskiego*)³. Сейм не поддержал эту инициативу, однако тенденция казаков к республиканскому федерализму была налицо, и московским церковным и светским властям приходилось ее отчасти признавать. Так, на Переяславскую раду 1659 г. царь лишь утвердил своим указом полностью независимый от московского представительства состав рады (включая *чернь*) и велел выбрать нового гетмана. Федерализм был ослаблен навязанным из Москвы воеводским управлением, налоговой и церковной зависимостью,

1. *Брехуненко В.* Козаки на Степовому Кордоні Європи. С. 308–315, 328–344.

2. *Козляков В.Н.* Царь Алексей Тишайший. С. 226.

3. Гадяцька унія 1658 року / Редкол. П. Сохань, В. Брехуненко та ін. Київ, 2008. С. 11–12 (Гадяч, 8 (18) сентября 1658 г.), 14–22 (Варшава, 12 (22) мая 1659 г.) (подг. к публ. В. Герасимчук). См. также: *Тайрова-Яковлева Т.* Гадяцька угода — текстологічний аналіз // Там же. С. 31–46.

а также предписанием новоизбранному гетману приезжать в Москву, чтобы *государевы очи видеть*¹. Царь Алексей Михайлович допускал, по всей видимости, и далее, что *вольное* вхождение Запорожского войска под его власть будет одновременно и концом *вольности*. Об этом свидетельствует, например, то, что Московские статьи 1665 г., формально подтвердившие казацкие вольности, предполагали исполнение и контроль со стороны царских воевод². Опосредованно требования *прав и вольностей* были восприняты российской православной элитой после Тринадцатилетней войны, но не подразумевали ни федерализма, ни идеи шляхетско-казацкой демократии.

Рецепция казачьего *круга* как образа свободной политической общности также в России не состоялась. В Москве окружили казаческую политическую организацию примерно таким же «заговором молчания», которым когда-то ранее были окутаны монгольские политические формы и европейские республики. О существовании *сечи, рады, круга (майдана)* и *коша* знали в Москве, но не считали, что эти формы управления переводимы на какие-либо московские понятия. Совещание ватаги, которое носило черты *круга*, на расспросе казака московские власти писали *думой*, уподобляя институт российскому правительственному аналогу³. Республиканские параллели не раз возникали у путешественников в Степи и описателей казаков, а также в XVIII в. в исторических экскурсах самих представителей *вольных людей*. Трудность перевода в данном случае двуедина. С одной стороны, на языке московского делопроизводства казаки не столько отстаивали свои свободы, сколько своевольничали или стремились под власть православного царя. Столкновение языков произошло уже после грамоты Михаила Федоровича на Дон 29 июля 1617 г., где служба и договор с казаками связаны с их «целованием

1. Козляков В. Н. Царь Алексей Тишайший. С. 261.

2. Там же. С. 375–377.

3. Документы российских архивов по истории Украины. Т. 1. Документы по истории запорожского казачества 1613–1620 гг. / Сост. Л. Войтович и др. Львов, 1998. С. 223–224.

креста», т.е. с клятвенными обязательствами. От этой формулы в дальнейшем пришлось отказаться, а возвращение к практике целования креста в конце декабря 1631 г. после убийства казаками посланника Ивана Карамышева вызвало недовольство на Дону, отказ признать клятвы своих представителей в Москве и напоминание о службе «не поместьями и не с вотчин, а с травы и воды»¹. *Трава и вода* казаков противопоставлены не просто московским формам землевладения, но и недопустимой для вольных людей служебной зависимости российского класса землевладельцев. Возможно, это было высмеивание каких-то юридических формул (например, подведомственность «по земле и по воде»; ср. также выражение *утечи душою да телом*, т.е. спастись от смерти, бежав без имущества; или освобождение как раздача «земли на четыре части, а дела до них нет никому»)². В повстанческой истории Российского государства эта формула вновь появилась в Большой Псковской челобитной 1650 г., в которой служилые люди противопоставлялись обеспеченным иноземным офицерам, поскольку здешние («природные») служили «с травы и с воды, и с кнута»³. Сравнение показывает, что *трава и вода (и кнут)* упоминаются не в обозначение свободы или особого устройства, а как знак прошения о поддержке, милости и прекращении притеснений.

Подобным образом *вечное холопство* под *пресветлой державой, крепкой или высокой рукой его царского величества*, согласно формуле в переписке Донского войска с Москвой и в московской формуле присоединения Запорожского войска к России в 1651–1654 гг., не гарантировало сторонам взаимопонимания. Одним из следствий обсуждения присяги было столкновение языков сопротивления тирании

1. *Брехуненко В.* Козаки на Степовому Кордоні Європи. С. 238–240 и сл.
2. *Корецкий В.И.* Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. М., 1975. С. 262; *Панеях В.М.* Холопство в XVI — начале XVII века. Л., 1975. С. 50; *Каптанов С.М.* Государь и подданные на Руси в XIV–XVI вв. // IN MEMORIAM: Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб., 1997. С. 224–225.
3. *Козляков В.Н.* Царь Алексей Тишайший. С. 90.

с московской политической метафорой *холопского гражданства*¹. Параллель к московским условиям была проговорена гетманом Богданом Хмельницким, который от короля Владислава IV Вазы в 1647–1648 гг. ожидал признания *вассальной рыцарской службы* казаков, т.е. по сути их шляхетства. При переходе в подданство России самого гетмана и казаков не смутили эти расхождения, и они настояли на своем понимании присяги как добровольного военного соглашения с Москвой на взаимных условиях, но подчеркнув свой «давний обычай войсковой». Москва, как и в своих предварительных договоренностях со шляхтой Короны Польской и Великого княжества Литовского на королевских выборах, признала права казаков как ответное обязательство царя на крестоцелование в монархическое подданство (*приведение черкас ко кресту*), но не предлагая ни равенства казаков с российскими служилыми людьми, ни идеи интеграции элит².

Немало примеров, в которых высказывания казаков о своих политических институтах и обычаях нарушали республиканские логики в тех дискурсивных нишах, где мы бы ожидали их увидеть. Независимые *круги* в рядах их управления подавлялись ими самими, а высказывания о борьбе против «боярства» в Москве напоминали риторику шляхетской Речи Посполитой и боевого равенства, а не республиканского равноправия, при этом шляхта нередко становилась главной мишенью польско-литовских

1. *Voessk B. Imperial Boundaries. Cossack Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great. Cambridge, 2009.*
2. Дискуссии о «букве и духе» Переяславских соглашений см.: *Davies B. The Road to Pereiaslav: Ukrainian and Muscovite Understanding of Protectorate, 1620–1654 // Cahiers du Monde russe. Vol. 50 (2009). No. 2/3. P. 465–493, здесь P. 483, 486; Санин Г.А. Россия и Украина в Вестфальской системе международных отношений, 1648–1667 гг. С. 127–130. См. здесь выше в обсуждении концепций В. Кивельсон и М. По. Примером интеграции элит можно считать присвоение в Москве в 1665 г. гетману Ивану Брюховецкому боярского чина, а его высокопоставленным спутникам-запорожцам, приехавшим к царю с посольством, московских дворянских чинов. Однако уже вскоре после этого Иван Брюховецкий разорвал отношения с Москвой. См.: *Козляков В.Н. Царь Алексей Тишайший. С. 373–374.**

казаков, как дети боярские и бояре — московских¹. Принцип *с Дону выдачи нет* не носил уравнительного характера, а устанавливал только право на свободное вхождение в ряды казачества, не гарантируя новоприбывшим никаких других прав. Запорожское мотто *вольного въезда и выезда за Пороги* также не содержит коннотаций политического устройства, а уточняет лишь «визовый режим». Ученые истории XVII–XVIII вв. оплотом демократии намечали то Сечь, то старшину, то «зуполную раду» запорожцев и городских казаков². В советской науке предпринимались попытки рассматривать казаческие объединения как *sui generis* республики, однако приходилось вносить в концепцию оговорки из марксистской перспективы: управление казаков не вело к поддержке ими никаких буржуазных социальных групп, а следовательно, республики без третьего сословия были обречены кануть в Лету истории³. С другой стороны, казаки при всем демократизме *сечи* и *круга* поддерживали вертикальный стиль управления, как наследие княжеской власти *totius Russiae*. На выборах короля в 1648 г. Запорожское войско выступало за самодержавное управление в Речи Посполитой, восстановление «греческого» православия, отмену религиозных свобод⁴. Пиком своеобразного монархического республиканства стал торжественный въезд Богдана Хмельницкого в Киев и последующая самодержавная экзальтация гетманской власти. Это был результат соединения освободительных тенденций в Запорожском войске с теократической доктриной, проповедуемой киевским духовенством, и византийской книжной традицией. В 1607 г. в Остроге издано «Завещание» императора Василия I Македонянина, в 1620-е гг.

1. *Urwanowicz J.* Wojskowe «sejmiki». Koło w wojsku Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Białystok, 1996.
2. *Яковенко Н.* Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття. Київ, 2012. С. 418–419.
3. *Рознер И. Г.* Антифеодальные государственные образования в России и на Украине в XVI–XVII вв. // Вопросы истории. 1970. № 8. С. 42–56.
4. *Козляков В. Н.* Царь Алексей Тишайший. С. 68–83.

в Печерской Лавре — трижды Номоканон, в 1628 г. — «Почтение» Агапита¹.

Идейные формы в Москве XVI–XVII вв. далеки от публичных дискурсов-идеологий Нового времени, что особенно видно по развитию идеи сакрального города. Москва не была Третим Римом в доктринальном смысле. Такой популярной и разделяемой массами доктрины не существовало, у нее не было и соответствующих популярных форм вплоть до возникновения политического мистицизма в XIX в., притом что, как показывают специальные исследования, сама метафора в различных контекстах приобретала самые разные смыслы. Менялся и ее статус: от династической и апокалиптической идеи до доктрины симфонии властей, ренессансной идеи царства, воздвигнутого на костях, и доктрины сопротивления в старообрядческих учениях. Идеи *земского дела* в XVI в. или *всей земли* в эпоху Смуты звучат чрезмерно — это мобилизационные декларации, призванные сплотить «граждан» государства в качестве холопов государя. В мирные годы востребованность в подобных декларациях приближалась к нулю. В годы Смуты от имени *всей земли* выступало уже

1. *Плохий С.* Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. Київ, 2005. С. 268–301; *Яковенко Н.* Нарис історії України. 3-є вид., перероблене та розширене. Київ, 2006. С. 314–319, 356–359; *її ж.* Дзеркала ідентичності. С. 397–426, здесь с. 404–409, 424–426; *Брежу-ненко В.* Козаки на Степовому Кордоні Європи. С. 147–155, 171–174, 184–220, 253–274, 366–369; *Його ж.* Східна брама Європи. Козацька Україна в середині XVII–XVIII ст. Київ, 2014. С. 102–111, 130–147. В контексте «борьбы за свободу» казаческое движение и восстание Степана Разина рассматривает В. Кивельсон. Впрочем, монархические идеалы повстанцев и отеческое величие самого атамана при этом не учитываются. Например, Степан Разин говорил о *свободе* для «чорных людей» Российского государства, подразумевая их освобождение от «бояр» и «изменников», однако ни о чьих *правах* в его высказываниях и распоряжениях речи не шло. См.: *Kivelson V.* Muscovite «Citizenship». P. 486; ср.: *Khodarkovsky M.* The Stepan Razin Uprising: Was It a «Peasant War»? // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge.* 1994. Bd. 42. H. 1. P. 6–7, 11–13; *Berelowitch A.* Stenka Razin's Rebellion: The Eyewitness and Their Blind Spot // *From Mutual Observation to Propaganda War.* Bielefeld, 2014. P. 93–124, здесь P. 103–105, 108–109, 112–116; *Никитин Н.И.* Разинское движение: взгляд из XXI в. М., 2017. С. 64–66.

правительство князей Ф.И. Мстиславского и В.В. Голицына, свергнувшее царя Василия Шуйского. Амбиции Первого, а затем и Второго ополчения объединить *всю землю* были во многом компенсацией утраченной в стране верховной власти, а не устойчивой доктриной, которая была бы удобна разделяемому учению. Звучание этого идеала на Земских соборах вплоть до середины XVII в. отражает не затухающий республиканизм, а приверженность Михаила и Алексея Романовых и российского дворянства идеалам царства в противовес Смуте.

Московская политическая культура XVII — начала XVIII в. допускала пренебрежение и некоторую неосведомленность в вопросах политических типов, однако с первых шагов шляхетской борьбы за исконную или выборную монархию в годы Смуты знания о республиканском устройстве были достаточны, в том числе чтобы его игнорировать и относиться к нему снисходительно. Согласно личному доктору царя Сэмюэлю Коллинзу (1667 г.), его ближний советник и глава посольского дела А.Л. Ордин-Нащокин был почитателем монархий и «врагом республик», которые считал «рассадниками мятежа и ересей» и хотел бы уничтожить по всей Европе¹. Этим канцлер царя Алексея Михайловича вполне поддерживал своего величественного патрона, осудившего казнь английского короля и заметно для современников лавировавшего между риторикой вольностей и абсолютной власти в отношениях с Речью Посполитой и вольным казачеством. Царь Петр Алексеевич,

1. *Bickford O'Brien C.* Russia and Eastern Europe. The Views of A.L. Ordin-Naščokin // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Neue Folge.* Bd. 17 (1969). Н. 3. Р. 371. Возможно, конечно, в этих словах отразилось преувеличение самого автора или осторожность московского канцлера в общении с навязчивым придворным. Однако достоверность самого диалога английского врача с Ординым-Нащокиным на тему основных политических типов весьма вероятна. Против такого взгляда также может говорить то, что именно Афанасий Лаврентьевич выступал за возрождение Земского собора для обсуждения мира с Речью Посполитой во время следствия по «делу» патриарха Никона. Однако само свидетельство об этом исходило от Никиты Ивановича Зюзина, который разглашал, по мнению следствия по «делу» патриарха Никона, царские секреты. См.: *Козляков В.Н.* Царь Алексей Тишайший. С. 325–328, 388–389.

как и его отец, видел в республике особый тип, отличный от монархического правления, проявляя осведомленность в аристотелевской доктрине¹.

* * *

Рядом с Российским царством на всем протяжении его развития существовали противостоявшие ему республики. Самой крупной из них стала объединенная в 1569 г. Речь Посполитая. Как показано выше, ни название этой страны, ни ее политический строй не были приняты в Москве, и само по себе это показатель того отношения, которое российские власти и элиты питали к соседу. Московское государство и Речь Посполитая формировались во взаимных притяжениях и отталкиваниях, и в историографии принято изучать влияние московской угрозы, военные конфликты между двумя государствами и в целом российский фактор в политических тенденциях Короны Польской и Великого княжества Литовского. Противоречия оформлялись в устойчивые взаимные клише, носившие все более выраженные этнические формы. В Речи Посполитой ко времени московской Смуты сложился образ воровского государства на Востоке, несущего опасность одним своим существованием. Историческая память с конца XV — начала XVI в. пестовала образ особого *московского народа*, отличного от других русинов, а в хрониках второй половины XVI — начала XVII в. предпринимались попытки представить москвитов как шляхетный народ, равный по своим правам с польским и литовским и даже более древний.

Обособленность москвитов во всех версиях печатных хроник польско-литовских авторов представлена как этнический факт, тогда как триумфальная литература и визуальные репрезентации закрепили представление о победоносном сокрушении московских противников². Второй

1. См. статью К. Д. Бугрова и М. А. Киселева в наст. издании.
2. *Maliszewski K. Obraz Rosji i Rosjan w kulturze polskiej doby późnego baroku // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / Pod red. J. Staszewskiego, K. Mikulskiego,*

Литовский Статут 1566 г. на юридическом уровне закрепил образ *неприятеля нашего великого князя московского*, лишь отчасти сглаженный в Третьем Статуте 1588 г. Выезд за пределы Великого княжества во Втором Статуте разрешался во всех случаях, кроме оскорбления величества господаря («ображенья маестату») и не считая Московского государства («выймуючы земли Московские»)¹. Образ «неприятеля московского» вновь возник в актах Люблинской унии 1–4 июля 1569 г. в ознаменовании обязательств суверена Речи Посполитой вернуть их прежним владельцам «замки, имения,

J. Dumanowskiego. Toruń, 2002. S. 143–152; *Niewiara A.* Moskwin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret. Łódź, 2006; *Krzywy R.* Wstęp // Głuchowski J. Wtargnienie w Moskiewski kraj Mikołaja Radziwiłła w roku 1568. Warszawa, 2017. S. 17–28. Репрезентации триумфа над Москвой и образ свергаемой московской тирании в XVI–XVII вв. изучались в книгах: *Zawadzki K.* Prasa ulotna za Zygmunta III. Warszawa, 1997; *Pfeiffer B.* Caelum et regnum: Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia. Zielona Góra, 2002; *Kąkolewski I.* Melancholia władzy: Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia. Warszawa, 2007. О литературных и визуальных репрезентациях «присяги царей Шуйских» в польской культуре см. статьи Д. Хемперека, В. Тыгельского, Ю.-А. Хрошчицкого и А.-Я. Ямского в сборнике: *Hóld carów Szujskich / Pod red. J.A. Chrościckiego, M. Nagielskiego.* Warszawa, 2014. Колониальные дискурсы в отношении Москвы дискутируются в работах: *Franczak G.* Moskwa — polskie Indie Zachodnie. O pewnym mirażu kolonialnym z początku XVII wieku // *Nel mondo degli Slavi. Incontri e dialoghi tra culture. Studi in onore di Giovanna Brogi Bercoff / A cura di M. Di Salvo, G. Moracci, G. Siedina.* Firenze, 2008. S. 163–171; *Grala H.* Rzeczpospolita Szlachecka — twór kolonialny? // *Perspektywy kolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie kolonialnej / Red. J. Kieniewicz.* Warszawa, 2016. S. 275–299.

1. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 г. // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя. Т. 3. Дадатак. А–Я / Рэдкал. Т.У. Бялова і інш. Мінск, 2010. С. 482 (арт. 7). В Статутах Первом 1529 г. и Третьем 1588 г. говорится более обобщенно о победе в «землю неприятельскую». См.: Там же. С. 436 (арт. 2, 4), 555–556 (арт. 6, 7). См. также: *Ланно И.И.* Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569–1586): Опыт исследования политического и общественного строя. Т. 1. СПб., 1901. С. 533–554. Третий Статут не имел юридического приоритета на землях, вошедших в состав Короны Польской по Люблинскому договору 1569 г., где до начала XVIII в. сохранял юридическое значение так называемый Волынский — Второй Литовский Статут 1566 г. См.: *Довбищенко М.* Українська адвокатура Волині литовсько-польської доби (XVI–XVIII ст.). Київ, 2019. С. 79–91.

посессии и владения», захваченные неприятелем¹. Влияние военной угрозы со стороны Москвы на короля в его поисках объединительной схемы для Короны Польской и Великого княжества Литовского отмечали и современники². Во время выборов 1573 г. при помощи образа лукавого захватчика — великого князя московского, волка в овчей шкуре — французская делегация готовила общественное мнение в пользу Генриха Валуа³. Полоцкие привилеи были захвачены москвитями — отвоєванный замок был восстановлен в правах в 1580 г., однако «все листы, привилея и твердости на права и волности всей земли Полоцкое належачье, на он час в том замьку Полоцком в церкви Светое Софии... суть побрань»⁴. В королевском привилее Витебску 1592 г. прозвучало, что воры («злодеи») украли старые привилеи из храма Пречистой Богородицы, «пришедши... з Великого Навагорода»⁵. Важно было подчеркнуть, что в потере привилегий виноваты преступники из Московского государства. В эти же годы началось формирование образа московского православия как потенциальной угрозы для православных подданных короля⁶, а также образа казака, разрушающего Речь Посполитую в сговоре с Москвой⁷.

1. Akta unii Polski z Litwą 1385–1791 / Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków, 1932. S. 346, 361, 370; ср.: Помнікі права Беларусі XIV–XVI стст.: агульназемскія прывілеі і акты дзяржаўных уній: крыніцазнаўчы дапаможнік / Склад. Г.Я. Галенчанка і інш. Мінск, 2015. С. 278, 299, 314.
2. *Januškevič A.* Unia Lubelska a wojna Inflancka: wzajemna współzależność na tle polityki wewnętrznej Litwy // Unia Lubelska z 1569 roku: Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej / Pod red. T. Kempy, K. Mikulskiego. Toruń, 2011. S. 45–54.
3. *Kąkolewski I.* Melancholia władzy. S. 252–285.
4. *Пазднякоў В.С.* Помнікі права Беларусі XIV–XVI стст.: абласныя прывілеі. Крыніцазнаўчы дапаможнік. Мінск, 2018. С. 179–191, цит. на с. 181.
5. Там же. С. 102.
6. *Hodana T.* Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów — obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI — połowy XVII stulecia. Kraków, 2008. S. 19–62.
7. *Luber S.* Die Herkunft von Zaporoger Kosaken des 17. Jahrhunderts nach Personennamen. Wiesbaden, 1983; *Станиславский А.Л.* Гражданская война в России XVII в.: казачество на переломе истории. М., 1900; *Сас П.М.* Запорожці у польсько-московській війні наприкінці Смути (1617–1618 рр.). Біла Церква, 2010.

Сказывались эти представления и на том, как в моменты обострения локальных конфликтов звучали инвективы в адрес местных москвитов, однако в целом на всем протяжении существования унии Короны и Литвы московская нация и ее представители на службе короля и Речи Посполитой воспринимались как законный свободный народ в ряду других народов. Лукаш Дзялынский в своем дневнике передает речь московского стрелецкого головы Микулы, взятого в плен в Велиже во время Великолуцкого похода в августе 1580 г. Речь была произнесена в кругу шляхтичей и перед родными пленника, которым было разрешено вернуться к царю. Она отражала военную доблесть и сожаление москвиты, что он не погиб за царя. Микула знал, к кому он обращается, но не выказал ненависти, а, наоборот, ссылаясь на общность ценностей воинов с обеих сторон, вызвав в шляхтичах сочувствие¹. Сочувственный портрет москвиты в эмиграции В.С. Заболоцкого рисует в своих записках начала XVII в. новогрудский шляхтич Федор Евлашевский. Записки шляхтичей начала XVII в., побывавших в Москве и Московском государстве, изображают недоверие и «гордость» со стороны московских соратников в отношении «ляхов» и «литвинов», однако это отношение требовало внушений и уличных дискуссий, которыми запестрели тексты. Объединительные проекты с Москвой обсуждались на высшем уровне, и последний из них в канун Смуты — он был выдвинут Л.И. Сапегой и допускал приход к власти над общей Польско-Литовско-Московской республикой представителя Москвы. При этом завоевательные планы в отношении Москвы и в период Смуты вызывали у магнатов и шляхты Короны и Литвы настроенное отношение вплоть до открытого сопротивления, несмотря на поддержку идеи интервенции теоретиками справедливой войны².

1. *Ерусалимский К.Ю.* Стрелецкий сотник Микула—Московит, о котором узнала Европа // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. М., 2020. Вып. 15. С. 187–214.
2. *Wisner H.* Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty // *Napis*. 2006. Ser. 12. S. 99–108; *Bukowski J.* Magnateria Rzeczypospolitej wobec dymitriad i wojen interwencyjnych z Rosją // *Scripta minora* / Red. B. Lapis. T. 4. Poznań, 2006. S. 199–313.

Москва была крупным и к середине XVI в. в целом открытым центром притяжения служилых людей, а в их числе и шляхты-русинов и «литвы», однако образ западных соседей складывался в памятниках местной исторической и военной культуры нелестный. Бесы являлись святому Сергию в островерхих литовских шапках, и этот сюжет в XVI–XVII вв. был во множестве списков жития святого доступен московским читателям. Побег «в Литву» в родословных книгах, Дворовой тетради и в крестоцеловальных грамотах середины XVI в. отмечался как преступление, ставящее крест на карьере и равнозначное прекращению местной ветви рода бежавшего. Высшая власть позволяла себе насмешки над правами соседних монархов на свои владения и ставила под сомнение права Пястов и Ягеллонов на «русские» земли и связанные с ними территории, в конечном счете — на Корону и Литву. В этом ряду унижительное обращение царя к королю и Г.А. Ходкевичу летом 1567 г. от имени кн. И.Д. Бельского как князя «Литовского и Бельского», который по своему происхождению был полноправным наследником всего Великого княжества Литовского. Польское происхождение и долгое нахождение на коронных землях являлось показателем чуждости. Московские служилые люди читали в разрядных книгах и о детях боярских по прозвищу «Лях», вызывавшему, по всей видимости, насмешку. Заточение «литовских» элит в Москве в 1534 г. после побега кн. С.Ф. Бельского и Ляцких, а также следственные дела против кн. И.Д. Бельского и Воротынских в 1562 г. и против кн. П.М. Щенятева в 1568 г., возможно, имели и более популярные формы, которые до нас дошли лишь глухими отзвуками: скажем, упомянутое в «Истории» Курбского убийство «ляховицы» Марии по прозвищу Магдалина или события в Москве 17 мая 1606 г., имевшие выраженные религиозно-этнические очертания, как и преследования «белорусцев» и книг «литовской печати» при патриархе Филарете. Тем не менее вряд ли может вызывать сомнение, что задолго до реформ царя Федора Алексеевича в московском обществе существовали знания о «ляхах» и «литве», облегчавшие московской беглой шляхте интеграцию в польско-литовское общество.

Невзирая на обилие мобилизационных и ненавистнических дискурсов во взаимных отношениях между двумя *de jure* воюющими сторонами, московские элиты и привилегированный класс не только видели у соседей близкий по типу общественный строй, но и пользовались его благами, заимствовали его идеалы, интегрировались в общество Короны и Литвы и рассуждали о перспективах слияния противостоящих слоев в одно государство. В отдельные исторические периоды такая перспектива казалась насущной и неизбежной, и это не могло не отразиться на самосознании и политической культуре московского общества. В настоящей работе будет предпринята попытка проследить влияние польско-литовских социально-политических представлений, шляхетского «сарматизма» и тенденций федеративного развития в Короне и Литве на московский служилый класс, который можно по аналогии с зарубежным образцом и вне зависимости от позднейших преобразований царя Федора Алексеевича условно обозначить как московскую шляхту.

Характер политической унии Короны Польской и Великого княжества Литовского и их слияния «в единое тело» требовал сложного обоснования на языке российской политической культуры и, конечно, не был в полной мере понятен в Москве¹. Идея государственного «тела» была малоизвестна в московском православии, хотя она и звучала в сочинениях Максима Грека и из уст митрополита

1. О принятии унии см., например: *Halecki O. Przyłączenie Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w roku 1569.* Kraków, 1915; *Ferenc M. Mikołaj Radziwiłł «Rudy» (ok. 1515–1584): Działalność polityczna i wojskowa.* Kraków, 2008. S. 287–397; *Камінський Суліма А.* Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура / Пер. з пол. Я. Стріхи. Київ, 2011. С. 55–80; *Падалінскі У.* Прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на Люблінскім сойме 1569 года: Удзел у працы першага вальнага сойма Рэчы Паспалітай. Мінск, 2017. См. также сборники статей, в которых многие работы непосредственно затрагивают вопрос интерпретации Люблинской унии: *Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу: Матэрылы міжнар. навук. канферэнцыі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.)* / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. Мінск, 2010; *Unia Lubelska z 1569 roku: Z tradycji unifikacyjnych I Rzeczypospolitej* / Red. T. Kempa, K. Mikulski. Toruń, 2011.

Макария во время суда над Иваном Висковатым. Позднее Андрей Курбский выразил ее уже в своих эмигрантских сочинениях, испытавших влияние европейского республиканства. Впрочем, в Российском царстве были известны основные политические термины польско-литовской унии. Понятие *dominium*, охватывающее государственные образования, объединенные Кревской унией, и употребляемое как в единственном, так и во множественном числе, точно соответствует моск.-рус. *господарство* и его однокоренным понятиям¹. В нем, возможно, не так выражен принцип, позволяющий различать *corona regni* и *regnum*, как в унии Короны Польской и Великого княжества Литовского². Однако в московской деловой риторике сохранялось отличие между понятием *наше господарство*, выражающим личную власть суверена во всех своих владениях, и *наши господарства*, указывающим на разноликие территориальные пределы московских правителей. Федеративное понимание территориального объединения Великого княжества Литовского, выраженное в кревской и радомско-виленской формуле *Littwania et caetera dominia*, было близко к формуле, в которой московские цари перечисляли свои *Московские господарства*, присоединяя к ним обоособленно Казань, Астрахань, Ливонию, Сибирь и Кавказ, как позднее Белую и Малую России — к Великой России. Форма объединения государств вокруг Москвы с середины

1. Золтан А. К предыстории русск. «государь» // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1: Киевская и Московская Русь / Сост. А.Ф. Литвина, Ф.Б. Успенский. М., 2002. С. 584–588; *Бачинский А.А., Ерусалимский К.Ю., Кочекская Н.А., Моисеев М.В.* Дипломатическая переписка Ивана Грозного: проблемы авторства, хранения и бытования // Российская история. 2018. № 2. С. 11–12; *Авдеев А.Г.* «Государь» или «господарь»? Об одном элементе титулатуры правителей Древней Руси // Российская история. 2018. № 5. С. 9–16.
2. Здесь я ориентируюсь на интерпретацию уний 1386–1569 гг.: *Frost R.* *Ograniczenia władzy dynastycznej. Rzeczpospolita polsko-litewska, Szwecja a problem monarchii złożonej w epoce Wazów (1562–1668)* // Проблемы інтєрацїї і інкарпарацїї ў развіццї Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу: Матэрылы міжнар. навук. канферэнцїі (Мінск, 15–17 кастрычніка 2009 г.) / Навук. рэд. С.Ф. Сокал, А.М. Янушкевіч. Мінск, 2010. S. 155–173; *Idem.* *Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej.* T. 1. S. 31–108.

XVI в. — а во многом уже с конца XV в. — мыслилась как имперская, однако это была в своем роде империя *ad hoc*, и ее фактические границы могли как разрастаться, так и съезживаться, не переставая быть единством царств под скипетром православного, или белого, царя¹.

Можно ли считать московское единство тождественным тому, которое мыслилось при помощи столь многосложной для сегодняшнего понимания формулы, как *perpetuo applicare* Кревского соглашения 1385 г., скрепленного браком Ягайло с Ядвигой в начале 1386 г.? С одной стороны, принципиальным отличием между этой формулой в польско-литовском исполнении и в России, объединявшей северовосточные великие княжества, северские земли, Великий Новгород и Псков, Рязанское великое княжество и земли, не входившие в конгломерат общей исторической памяти, было отсутствие самой договорной основы. «Вечное присоединение» Великого княжества Литовского к Короне Польской или к королевской Короне в силу политико-династического основания заключенного договора, выполненного с соблюдением норм писаного права на мирной основе, принципиально отличалось от того единства, которое росло на восток от Великого княжества Литовского и к концу XV в. вступило в прямое противоречие с представлениями о территориальном единстве под властью великих князей литовских. Благодаря охвату земель принесшими суверенных потомков матримониальными союзами, великие князья Ольгерд и Витовт и их наследники могли поднимать вопрос о правах на восточные русские земли. Тот же вопрос со стороны Москвы звучал бы полностью бесосновательно по той же причине — он и не звучал вплоть до правления Ивана Грозного, когда возникли

1. Обзор литературы и исследование семантики «белого» в евразийской политической культуре см.: *Трепавлов В.В.* «Белый царь»: Образ монарха и представления о подданстве у народов России XV–XVIII вв. М., 2007. О Российском царстве как империи *ad hoc* см. подробнее: *Ерусалимский К.Ю.* Империя *ad hoc* и ее враги: о трудностях интерпретации российских политических дискурсов XVI — начала XVII века // *Theatrum Humanae Vitae*. Студії на пошану Наталі Яковенко. Київ, 2012. С. 207–216.

как фантастические родословные легенды, так и признанные в Литве и Короне династические аргументы, на сей раз в пользу прав Москвы на русские земли.

С другой стороны, русские земли ни в акте Кревского (1385) и Городельского (1413) соглашений, ни позднее в Мельнике (1501) и Люблине (1569) не были включены в состав основных *dominiorum*, которые бы соединялись в единое *regnum* или *dominium*, несмотря на то что русский титул сохраняли за собой и Ягайло, и Витовт. Это существенно меняет взгляд на контекст и значение соединительных формул в отношении тех земель на восток от Литвы и Короны, которые предполагались в числе государств и земель, входивших в состав договаривающихся сторон. И в Креве, и в Люблине такими территориальными образованиями могли считаться любые владения, входящие в состав Короны и Литвы как двух отдельных целых. И в том, и в другом случае русские земли могли быть лишь частью целого, причем Московское государство, не будучи стороной соглашения, в первом случае угадывается как потенциальное владение Витовта, видящего там свои династические права, а во втором — как общий неприятель и сторона, не входящая в сферу интересов той или иной части федерации. Как показали Ярослав Пеленский и Наталия Яковенко, «русский» вопрос вытеснялся в объединительной формуле Короны и Литвы благодаря понятию «*stany*» («общества» или «страт») в отношении региона, тогда как «старина» в русских землях поддерживалась вплоть до конца XVI в. структурами общей памяти, высоким статусом княжеской власти и локальными культурно-правовыми традициями¹. Сходной точки зрения придерживается Наталия Старченко, говоря об особых территориальных правовых традициях в Речи Посполитой, где не только *народы*, но и *воеводства*

1. *Pelenski J.* Inkorporacja ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku. Ideologia i korzyści: próba nowego spojrzenia // *Przegląd Historyczny*. 1974. N. 65. *Zesz.* 2. S. 248–262; *Яковенко Н.М.* Українська шляхта з кінця XIV — до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). 2-е вид., переглянута і виправлена. Київ, 2008. См. также: *Брехуненко В.* Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. Київ, 2005. С. 36–43.

сохраняли правовую специфику¹. На политико-терминологическом уровне данный феномен изучали Кароль Мазур и Томаш Амброзьяк, говоря о «республике» как подвижной форме, в различных дискурсах и контекстах меняющей смысловое наполнение: от региональной «отчизны» до идеи сословного представительства и парламентской республики в целом².

Летописная метафора «собираения русских земель» далека от правового языка и тем более от формулы *perpetuo applicare* и уподобляет объединение земель собиранию грибов или приобретению того, что принадлежит собирателю уже в силу принадлежности прямым и предполагаемым предкам в любом прошлом. Библейские аналогии «собираения земель» как жатвы звучали бы в данном случае не только нескромно, но и подозрительно, потому что собиранием в Библии и сакральной книжности занимается не только Господь, но и дьявол или смерть³. Хроника Яна Длугоша отразила такой индивидуальный критический взгляд на унию между Короной и Литвой, а права Ягелло и его потомков на польскую корону вызывали у каноника краковского епископа немалые сомнения. Формула Люблинской унии возникла в условиях торжества нового отношения к прошлому, выраженного в хрониках Мартина Бельского и Мартина Кромера⁴. В них хроникальный

1. *Старченко Н.* Люблінська унія як ресурс формування концепту політичного «народу руського» (1569–1648 рр.) // Український історичний журнал. 2019. № 2. С. 4–45.
2. *Mazur K.* W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648. Warszawa, 2006. S. 226–255; *Амброзьяк Т.* Партикуляризм в парламентской жизни Великого княжества Литовского 1587–1648 гг. Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2018. С. 130–163.
3. Впрочем, в Библии мотив «жатвы» почти всегда имеет сугубо позитивное значение. Ср.: Ис. 9:3; Мф. 13:30; 25:26; Ин. 4:36.
4. Как показывает Йоанна Ожел, «мифическое время» прародителей поддерживало в Короне и Литве на всем протяжении их единства несходные версии «своего прошлого». В то же время легендарная эпоха Палемона (Публия Либона) не оставляла места для приращения Литвы к Руси, и в самосознании Великого княжества Литовского была гарантирована независимость не только от Короны, но и от Москвы. Впрочем, немалое место в своей работе Й. Ожел

взгляд Длугоша был заметно переработан в пользу той версии истории, которая превращала право на присоединение «всей Руси» (ср. в Киевском акте Люблинского сейма от 5 июня 1569 г.: «ruska ziemia wszystka») к Короне в право «общего дела»¹. Для литвинов и русинов концепция общего дела звучала в ряде случаев угрожающе, поскольку предполагала, что, например, походы польских королей на русские земли, а следовательно, и эксклюзивное право Короны на Русь означают необходимость «возвращения» юго-восточных земель Великого княжества Литовского в состав Короны Польской вне зависимости от иных условий унии. Предыстория республики, рассказанная тогда же и позднее Матеем Стрыйковским и Александром Гваньини, допускала больше возможностей для унии между русинами, поляками, литвинами, крестоносцами и даже москвитями, однако строилась на той же идее общего дела. Таким образом, лишь отчасти хроникальный канон, созданный Длугошем, являлся *common stock* польско-литовской истории — непосредственным фактором нового объединения 1569 г. стало, наоборот, переосмысление этого канона и критика Длугоша с позиций республиканского естественного права, неминуемо и из глубокой древности объединившего народы Короны и Литвы.

В Москве также понимали, что летописный язык непригоден для описания переворота, принесенного имперской идеей в восточную русскую культуру во второй половине XV в. Летописи оказывались в фактической оппозиции к московским политическим инициативам,

посвящает более поздним версиям о старшинстве Леха над Палеоном. В исторической памяти унии, как представляется, от этого вопроса идея первенства Короны над Литвой и русскими землями не зависела. См.: *Orzeł J. Historia — tradycja — mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVII wieku. Warszawa, 2016. S. 25–122.*

1. *Litwin H. Kijowszczyzna, Wołyń i Braclawszczyzna w 1569 roku. Między unią a inkorporacją // Проблемы інтеграції... S. 200–203; Chorążyczewski W., Degen R. Przyłączenie czy przywrócenie? (Na marginesie aktów inkorporacyjnych Podlasia, Wołynia i Kijowszczyzny z 1569 roku) // Великае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура: зб. навук. арт.: У 2 ч. Ч. 1 / Уклад. А.А. Скеп'ян. Мінск, 2017. S. 201–208.*

а некоторые отразили сложные и почти всегда малоудачные попытки исправить прежние оценки современности и даже древности, яркими примерами чего стали Свод митрополита Даниила, Воскресенская летопись, Летописец начала царства, Лицевой летописный свод и близкая к летописанию Степенная книга. Летописание как жанр, допускающий независимые оценки, еще в противостоянии московских книжников в правление Василия II Темного и даже Ивана III вступает в противоречие с государственным аппаратом в более поздней московской культуре и неминуемо влечет за собой демарши против отдельных решений летописцев и летописного дела. Например, Лицевой свод был забракован и не завершен, а его воссоздание в правление Федора Ивановича не привело к возникновению новой традиции общей памяти. Возрождение летописного жанра в XVII в. происходило уже на фоне широкой популярности текстов совсем другого рода, соединяющих летописную независимость и достоверность с фрагментарным видением прошлого, визионерством и пропагандой («Новый летописец», «Сказание» Авраамия Палицына, «Казанская история», Сборник Ивана Пересветова, Хронограф 1617 г., Житие Сергия Радонежского). Чем же вызвана гибель официального летописания на рубеже 1560–1570-х гг.? Нет ясных оснований считать, что это произошло в какой-то связи с европейскими культурными тенденциями, однако и изменение в повествовательных жанрах, маркируемое этой хронологической границей в Москве, несет отпечаток тех тенденций, которые заметны в польской и литовской историографии. Последние записи официальной летописи в Москве относятся к 1567 г. — далее молчание, после которого жанр меняется до неузнаваемости, несмотря на многочисленные позднейшие рефлексии прежних форм. По всей видимости, в Москве велся поиск формы, аналогичный тому, который и способствовал в Короне и Литве новой концепции политической унии. Вряд ли в окружении Ивана IV не понимали, что «общее дело» поляков и литвинов в формуле Люблинских соглашений предполагало по меньшей

мере согласие объединившихся народов стоять вместе за «всю Русь»¹.

Однако могли ли в Москве этой исторической доктрине что-либо противопоставить? Политический язык московских канцелярий был нагружен иными акцентами, нежели летописание, — прежде всего, безличными деловыми формулами, в которых проступал еще не принятый в русской политической культуре самодержавный проект. Выхватить в этом языке индивидуальные голоса крайне трудно, что хорошо показала дискуссия вокруг предполагаемых следов мирной политической программы Избранной рады, представленных в исследованиях А.Л. Хорошкевич². Дискуссия, как бы мы ни оценивали ее результаты по частным вопросам, выявила слабую проработанность в науке именно тех дискурсов, которые послужили Анне Хорошкевич фоном для интерпретации политических программ неформального совета Ивана Грозного. Посольское делопроизводство конца XV — начала XVIII в. сохранило множество точечных решений в терминологических коллизиях, а иногда — терминологические ребусы, восходящие к полновесным политическим логикам, которые не известны более ни по каким обобщенным текстам. Более того, как показали исследования В.М. Живова, Ан. Береловича, Дж. Окенфусса и Яна Хеннингса, в России еще во второй половине XVII в. не происходило стандартизации ни в восприятии правовых текстов, ни в юридической терминологии, ни в торговле, ни в посольском деле³.

1. *Флюшкин А.И.* Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб., 2013. С. 129–136.
2. *Хорошкевич А.Л.* Задачи русской внешней политики и реформы Ивана Грозного / А.Л. Хорошкевич // Реформы и реформаторы в истории России. М., 1996. С. 3–34; *Она же.* Россия в системе международных отношений середины XVI века. М., 2003; *Она же.* Гостеприимство И.М. Висковатого / А.Л. Хорошкевич // Иноземцы в России в XV–XVII веках. М., 2006. С. 253–259.
3. *Okenfuss M.-J.* The Rise and Fall of Latin Humanism in Early-Modern Russia: Pagan Authors, Ukrainians, and the Resiliency of Muscovy. Leiden et al., 1995; *Berelowitch An.* De modis demonstrandi in septidecimi sæculi Moschovia // Von Moskau nach St. Petersburg. Das russische Reich im

И тем не менее эти выводы не должны касаться тех аспектов стандартизации, которые выявляются в источниках латентно и изучены еще явно недостаточно. В правление Василия III и первые годы правления Ивана Грозного разнообразные формы договоренностей с титулованными суверенами допускались в Москве и были предметом межгосударственных соглашений. В пограничных землях сохранялись владения великого князя и три категории князей: не подчиняющиеся Москве, «смотрящие» на Москву независимые князья и «служащие» — князья, чьи владения гарантированы Москвой и зависят от нее лишь частично¹. Данная схема отражает более ранний этап отношений между Москвой и Крымским ханством, когда «служащими» великому князю и его детям князьями считались Василий Шемячич и Трубецкие, а князья, которые на Москву «смотрят», не уточнялись². Статус «смотрящих» князей нигде не оговорен, однако он играл какую-то роль в московском политическом кругозоре, по крайней мере — внося в него элемент непредсказуемости. Система «служилого» княжения, сложившаяся в отношениях Москвы с северо-восточными княжествами, к началу правления Ивана Грозного выродилась в номинальное привилегированное подданство³. Статус князя-«слуги», которым еще в середине XVI в. были наделены князья «литовского» происхождения И.Д. Бельский

17. Jahrhundert / Hrsg. von H.-J. Torke. Wiesbaden, 2000. P. 8–46; *Живов В.М.* Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 73–115; *Hennings J.* Russia and Courtly Europe: Ritual and the Culture of Diplomacy, 1648–1725. Cambridge, 2016.

1. РГАДА. Ф. 123 (Сношения России с Крымом). Оп. 1. Кн. 8. Л. 29–29 об. (Грамота в делах за конец 1533 — начало 1534 г.).
2. *Хорошкевич А.Л.* Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец XV — начало XVI в. М., 2001. С. 192.
3. *Зимин А.А.* Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972. С. 402–404; *Кобрин В.Б.* Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. С. 137–138, 157–158; *Назаров В.Д.* Рюриковичи Северо-Восточной Руси в XV в. (о типологии и динамике княжеских статусов) // Сословия, институты и государственная власть в России: (Средние века и раннее Новое время): Сб. ст. памяти акад. Л.В. Черепнина. М., 2010. С. 426–427.

и М.И. Воротынский, отражал это промежуточное положение, уже в опричнину уничтоженное¹.

Статус князя-слуги исчез одновременно с последним независимым удельным князем и его матерью. Владимир Старицкий был убит по инициативе Ивана IV в конце 1569 г., вскоре после объединения Короны и Литвы. И одним из обвинений, предъявленных князю Владимиру и Новгороду Великому, было отступничество в пользу Сигизмунда II Августа. Как мыслилось в Москве возможное объединение этих «отступников» с новой польско-литовской унией — невозможно сказать, и показательно, что никакие источники в самих Короне и Литве не донесли сведений на этот счет. А титул князя-слуги был восстановлен после отступления войска крымского хана Девлет-Гирея от Молодей и погиб вместе с его носителем, кн. М.И. Воротынским, в 1573 г. после таинственного «чародейского» дела, о котором крайне мало информации сохранилось помимо «Истории» Андрея Курбского. Для князя-эмигранта казнь видного политика и воеводы была личной трагедией, но он донес и важный аспект отношений между царем и прославленным воином. Пыткам предшествовал оговор слуги, и за колдовством, как и в ряде подобных случаев в XVI–XVII вв., скрывалось подозрение в *crimen laesae maiestatis*, которое Воротынский, по словам Курбского, отказывался признавать. Этот факт находит неясную параллель с казнью в конце 1567 г. шляхтича И.П. Козлова, которого по злобной иронии или намекая на какие-то сегодня неизвестные факты Иван Грозный считал слугой Михаила Воротынского. Возможно, именно через Воротынского вело тайные переговоры литовское руководство, направив в Москву к лету 1567 г. письма от лица короля и магнатов.

В канун обмена тайными письмами и сразу после него произошло трехкратное в течение одного года повышение

1. Шмидт С. О. Исследования по социально-политической истории России середины XVI века. Дисс. ... д-ра ист. наук. М., 1964. С. 338; Беликов В. Ю., Кольчева Е. И. Документы о землевладении князей Воротынских во второй половине XVI — начале XVII в. // Архив русской истории. 1992. Вып. 2. С. 93–121, здесь с. 98.

владельческого статуса кн. А.М. Курбского в его владениях в Великом княжестве Литовском. Этот факт говорил о стремлении короля и литовской элиты представить Курбского как образец для Боярской думы, о чем говорилось, судя по ответным письмам, в послании от Г.А. Ходкевича кн. М.И. Воротыньскому¹. В том же 1567 г. в Великом княжестве Литовском велось расследование по факту приезда московских купцов в Киев, под подозрением в тайных контактах с Иваном IV оказался кн. К.К. Острожский, тогда как киевский мещанин Булыга бежал в Москву². Нет ли связи между переманиванием московской элиты литовскими магнатами и следствием против киевских мещан? Известные ныне источники не говорят о присылках посланий из Москвы в Киев или другие земли Великого княжества Литовского, однако секретные контакты могли осуществляться и через официальные посольские каналы.

К моменту заключения унии между Коронай и Литвой относится уникальный в своем роде «королевский» проект Ивана Грозного, служивший на протяжении нескольких лет прикрытием для российского правления царя в Ливонии. Эрцгерцог Магнус на рубеже 1569–1570 гг. получил корону из рук царя, но был окружен чиновниками из Москвы, которые регулярно доносили ему о поведении короля-вассала³. При всей призрачности власти Магнуса в Ливонии, его статус показывал тенденцию Москвы к расширению политического лексикона. На заре государственной унии между Коронай и Литвой этот жест был важным знаком, позволявшим представить правление царя как открытое для полусвободных союзов. Как представляется, физическое уничтожение удельного князя и пресечение служилых князей и князей-слуг в московском политическом языке

1. *Ерусалимский К.Ю.* На службе короля и Речи Посполитой. С. 385–388, 868–871.
2. *Баранович А.И.* Украина накануне Освободительной войны середины XVII в.: (социально-экономические предпосылки войны). М., 1959. С. 23–24.
3. *Селарт А.* Иван Грозный, Кайзер Ливонский? К истории возникновения идеи о российском вассальном государстве в Ливонии // *Studia Slavica et Balcanica Petropolitana* (далее — SSBP). 2013. № 2. С. 180–197.

были тем не менее реакцией именно на события в Короне и Литве, а не результатом каких-то долгосрочных тенденций в повестке московских великих князей и царей. Уделы существовали и позднее, пограничное противостояние за отчины Трубецких еще в XVII в. вносило противоречия в жизнь России и Речи Посполитой, однако для Москвы было важно продемонстрировать, что никаких поползновений, которые свидетельствовали бы о симпатиях к федеративным тенденциям в самой России, не потерпят. На этом фоне череда бутафорских властных проектов — королевство Магнуса, попытки царя бежать в Англию, перенос столицы в Вологду, череда незаконных браков царя, инспирированные Иваном IV шутовские браки царевича и наследников Старицких, надежды царя на королевский и великокняжеский престол в Короне и Литве после смерти Сигизмунда II Августа, правление Симеона Бекбулатовича — это не бессмысленные маскарады, а ответы на федеративную альтернативу, предложенную объединенным государством-соседом, и частично скрытый страх перед ее осуществлением в России¹. Люблинская уния не вызвала паники в Москве, и официальный посольский церемониал отразил даже уверенность в обыденном течении дел, а также готовность к сотрудничеству, однако и в этом отношении в конце 1560-х и начале 1570-х гг. произошли не во всем заметные перемены в московской дипломатии.

Прежде всего, после ряда мирных инициатив со стороны Вильно царь в 1570 г. пошел на перемирие, которое вряд ли было выгодно с военной точки зрения Москве и не потребовало даже созыва Земского собора, что внешне вступало в противоречие с практикой, наметившейся четырьмя годами ранее. Литвины — судя по всему, по тайной договоренности короля с канцлером Великого княжества Литовского — с 1568 г. неоднократно выказывали готовность вести переговоры о признании царского титула Ивана Васильевича, что достигло своего пика в переписке

1. О Симеоне Бекбулатовиче см.: *Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков: Просопографическое исследование. Рязань, 2011 (по указателю).*

царя с Я.Я. Глебовичем. Известны два письма последнего в Москву от 1573 и 1574 гг., в которых он обращается к «Его Царской Милости». Это было бы фактом государственной измены, если бы были сомнения в том, что Панове рада принимали участие в этой переписке¹. Полоцкий пленник Глебович и был отпущен царем в надежде на привлечение сторонников своей милостью в Великом княжестве Литовском, о чем говорят сохранившиеся фрагменты мемуаров Глебовича в «Гербовнике» Бартоша Папроцкого. Кроме того, царь проводил политический эксперимент в Москве, испытывая на подопытных полоцких шляхтичах литовскую форму управления прямо в Кремле: литвинам было разрешено создать подобие замкового суда и принимать законные решения, сообщая их через посольных в Литву, как если бы полоцкие уряды были просто перенесены в Москву².

Уничтожая пленников и политических противников в своем царстве, а также унижая шведских послов после заключения Люблинской унии, Иван Васильевич демонстрировал одновременно готовность к союзу с Литвой и к подавлению любого сопротивления своей власти. Возможно, царь действительно верил, что показательными убийствами и пытками, получившими наглядное воплощение для европейцев благодаря рассказам посольства Яна Кротоского, Миколая Талвоша и Андрея Ивановича Харитоновича³ и «Запискам» Альберта Шлихтинга⁴, он предстает во всем

1. РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. 1573 г. № 1. Л. 7 об. — 10, 19 об. — 21 об.; ОР РГБ. Троицкое собр. II. № 17. Л. 193 об. — 198, 209 об. — 212 об.; ОР РГБ. Ф. 235. Папка 3. № 21. Л. 12–15 об., 22 об. — 25.
2. *Straszewicz M.* Testament Anny z Korsaków Rahoziny z 1563 roku. Przyczynek do dziejów jeńców połockich // *Przegląd historyczny*. Т. 96 (2005). Zesz. 3. S. 449–458. Данные факты не учтены при подготовке сборника: *Urzednicy Wielkiego Księstwa Litewskiego*. Spisy. Т. V. Ziemia Połocka i województwo Połockie XIV–XVIII wiek / Pod red. H. Lulewicza. S. 146. № 438; S. 164. № 551; S. 167. № 563; S. 180. № 657; S. 193. № 724.
3. Подробнее о составе посольства и задачах миссии см.: *Радаман А.А.* Клієнты і «прыяцелі» Астафея Багданавіча Валовіча ў Наваградскім павеце ВКЛ у 1565–1587 гг. // *Unus pro omnibus: Валовічы ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага XV–XVIII стст.* / Склад. А.М. Янушкевіч; навук. рэд. А.І. Шаланда. Мінск, 2014. С. 293–294.
4. *Grala H.* Wokół dzieła i osoby Alberta Schlichtinga. (Przyczynek do dziejów propagandy antymoskiewskiej w drugiej połowie XVI w.) // *Studia*

величии перед лицом своих союзников и будущих подданных¹. Такой взгляд на законную государственную власть Иван IV неоднократно выражал в канун Люблинского сейма в переговорах с Елизаветой Тюдор, Юханом III и даже рассылая с английскими купцами послания от Антверпена до Южного Ирана. При этом мира с Литвой царь придерживался и дальше вплоть до подтверждения сведений о победе Стефана Батория на выборах в 1575–1576 гг. Как раз на эти годы приходятся экстравагантные политические формы управления в Москве, до сих пор, пуще опричнины, ставящие в тупик тех историков, которые ищут в них внутривнутриполитический смысл.

Царь сохранял открытость дипломатии перед Литвой даже в ущерб отношениям с Коронным Сенатом, о чем свидетельствует следственное дело посланника от Сената Речи Посполитой (из Короны Польской) Лаврина Дубровы или включение в посольскую документацию секретного письма Григория Остика. Даже объявляя войну Стефану Баторию и готовя удар по литовским замкам в Ливонии, в конце 1576 — начале 1577 г. царь сохранял мирные отношения с Литовской радой. Царь уступил литовским сенаторам и обязался удовлетворить претензии литовских купцов. Наконец — и это наиболее интересный аспект отношений с новой унией — царь пошел на обсуждение прав и свобод литовской шляхты, гарантий для соблюдения всех неотъемлемых прав, действующих на территории Великого княжества Литовского. Впрочем, говорить о свободе вероисповедания в России не приходилось ни до постановлений Варшавской конфедерации в конце января 1573 г., ни после

¹ *Źródłoznawcze*. 2000. T. 38 (2000). S. 35–52; *Дубровский И. В.* Латинские рукописи сочинений Альберта Шлихтинга // *Русский сборник: Исследования по истории России*. Т. XVIII. М., 2015. С. 74–217.

1. Перспективы включения Великого княжества Литовского в состав Российского царства обсуждались в период опричнины. Они отразились как на агрессивных проектах (например, заговоре против герцога Юхана Финляндского с целью заполучить в Москву Катерину Ягеллонку), так и на различных схемах законного перехода Литвы под руку московского царя и его вассальных бояр (явных в полуофициальной переписке Боярской думы с Сигизмундом II Августом и Панами радой).

них. Не согласился царь и на прощение своих изменников в случае своего избрания на троны Речи Посполитой.

Религиозный фактор унии был весьма значимым и в 1386, и в 1569 г. Почти все русские земли, входившие в орбиту Москвы до присоединения Новгорода Великого, не испытывали разногласий по вопросу о вероисповедании. Впрочем, Москва выполняла и крестоносную миссию среди нехристианских народов, чем заслужила себе похвалы европейских путешественников и благодаря чему во многом и была включена в число цивилизованных стран в ренессансной этнографии. С другой стороны, мы обречены переоценивать роль Москвы и московского православия в этом процессе. Христианизация литовских и финских народов долгое время оставалась делом Новгорода и Пскова, нередко совместно с другими русскими землями и Тевтонским орденом. Завоевание Югры, а затем поволжских язычников было, по сути, военным захватом. Впрочем, присоединение Новгорода происходило при методичном подавлении автономии и полномочий новгородской архиепископии, сохранявшейся, как казалось Ивану Грозному, в избытке у архиепископа Пимена к началу 1570 г. Если в разделении полномочий царства и священства (Моисея и Аарона) в представлениях царя Ивана нам сегодня видится лишь один из аргументов в борьбе за неограниченную власть, то в условиях расширения религиозных свобод в Великом княжестве Литовском благодаря Виленскому и Гродненскому привилеям в канун Люблинской унии придирчивое внимание к участию попа Сильвестра в политике, ограничение светских прав митрополитов и последовавшие за ними кровавые погромы высшего духовенства и новгородской церкви в годы опричнины могут рассматриваться как ответ на новые перспективы, исходящие из Великого княжества Литовского. Покорение мусульманских земель было сопряжено с волной крестоносных настроений, которые поддерживали не только обычный шляхтич Иван Пересветов и княжеская элита в лице Андрея Курбского, но и царь в официальной переписке с Империей, Святым престолом и Великим княжеством Литовским, и, разумеется, официальная церковь.

Кревская и Люблинская унии объединили земли разных вер в государство, где в конце XIV в. пришлось соблюдать паритет между католицизмом привилегированной коронной шляхты, православием русских земель и язычеством традиционной «собственной Литовской земли» (в терминологии М.К. Любавского). В историографии сложилось два встречно расположенных аналитических направления, которые не всегда достигают между собой точек соприкосновения. С одной стороны, после работы О.П. Бакуса о мотивах перехода литовской знати на московскую службу в XV — начале XVI в. ясно, что фактор религиозных притеснений православных литвинов переоценен в московском летописании¹. Москва, будучи к концу XV в. престольной для православной митрополии, видела в католической власти Великого княжества Литовского главный козырь для сопротивления, успешно мобилизующего в отношениях русских земель с Ордой. И формула Городельской унии этому взгляду способствовала — принятие русских земель в состав объединения Короны и Литвы означало отказ от княжеской власти, которую православная церковь поддерживала. Вряд ли случайно, что многие из литовских перебежчиков на дворе Ивана III и Василия III были титулованными владетелями.

С другой стороны, фактор религиозных гонений до сих пор упоминают как один из ключевых в истории «цивилизационного выбора»². Если это так, то к 10 января 1569 г., когда в Люблине открылся объединительный сейм, роль Великого княжества Литовского и литовских элит в этом выборе была совершенно неочевидна. Привилеи 1430 и 1432 гг. предоставляли права и свободы литовской православной шляхте, однако не устраняли расхождений между католическими и православными политическими языками. Княжеская власть уступала идее правящей шляхты. В конечном счете последний оплот титулов в Короне и Литве представили русские земли Великого княжества

1. *Backus O.P. Motives of West Russian Nobles in Deserting Lithuania for Moscow 1377–1514.* Lawrence, KS, 1957.
2. *Frost R. Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej.* T. 1. S. 258–284, 629–658.

Литовского, где привилегии княжеской власти уступали вместе с ориентацией на православие уже во второй половине XVI в., претензии княжеского рода Слуцких на место в Сенате в силу правящего происхождения пресеклись вместе с мужской ветвью рода (1592 г.)¹, а требования восстановить права князей звучали на сеймах еще много лет спустя после Люблинской унии (1638 г.)². Первый Литовский Статут формально открывал доступ всем христианам к высшему управлению. Сенаторская должность К.И. Острожского была одновременно сделкой с местными православными элитами и означала, что формула Городельской унии больше *de facto* не действует. Приход Реформации и возобновление войны с Москвой в 1561–1562 гг. подтолкнули Сигизмунда II Августа принять Виленский (1563 г.) и Бельский (1564 г.) привилеи, открывшие прямой путь к возникновению общехристианской толерантности в духе Варшавской конфедерации (1573 г.).

Во второй половине XVI в. уния мыслилась как объединение христианских земель, но под христианством понималось множество реформационных учений, и среди них — реформированное православие и католицизм, которые все имели доступ к высшей власти. Кроме того, на землях унии, как и в Московском государстве, селились правоспособные мусульмане с привилегиями религиозно-этнического меньшинства (подобных привилегий, исходящих из Москвы, мы не знаем ни в XVI в., ни в последующие два столетия), а также иудеи, которым была гарантирована королевская защита (в отличие от части Европы и от Москвы, где как раз при Иване Грозном высшая власть прямо запретила иудеям доступ на территорию государства, и вплоть до разделов Речи Посполитой во второй половине XVIII в. запреты, модифицируясь, сохранялись). Вхождение Короны и Литвы в объединение

1. *Wisner H.* Rzeczpospolita Wazów. III. Sławne Państwo, Wielkie Księstwo Litewski. Warszawa, 2008. S. 12, 18.
2. *Żakrzewski A.B.* Paradoksy unifikacji i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony XVI–XVIII w. // *Czasopismo prawno-historyczne.* 1999. T. 51. Z. 1–2. S. 221.

с Московским государством Ивана Грозного могло привести к серьезным потрясениям в религиозной жизни новой унии после смерти Сигизмунда II Августа. Показательно, что нам неизвестно ни о каких гарантиях, которые Москва предложила бы польско-литовским иудеям, мусульманам, а также реформационным христианам, хотя права католиков царь соглашался соблюдать. Наоборот, присоединение Москвы к Речи Посполитой могло бы снять ту напряженность в отношении к местным православным, которая, как показали исследования Бориса Гудзяка, Томаша Кемпы, Мажены Ледке, Томаша Ходаны и Василя Ульяновского, подталкивала элиту Великого княжества Литовского переходить из православия в реформационные церкви, а высшую власть в сотрудничестве с Римом — искать способы ограничить религиозный фактор в тяготении русских земель Речи Посполитой к Москве¹.

* * *

В науке преувеличена замкнутость российских политических элит. Конечно, они до царя Петра Алексеевича не ездили за границу на учебу, и крайне редки были в Москве браки с европейскими партнерами. Однако проекты отмены этого пережитка известны со времен Ивана Грозного, тогда как сами правители предпринимали попытки выехать из страны, причем неоднократно декларируя свои намерения подданным. В приписках к Лицевому своду прозвучало обращение царя к верным боярам, в котором он допускал побег своего сына из Московского царства: «Не дайте бояром сына моего извести никоторыми обычаи, побежите с ним в чюжую землю, где Бог наставит»². По предположению

1. *Gudziak B.A.* Crisis and Reform. The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest. Cambridge, Mass., 2001; *Liedke M.* Od prawosławia do katolicyzmu: Ruscy możni i szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec wyznań reformacyjnych. Białystok, 2004; *Kempa T.* Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Toruń, 2007 и др.
2. ПСРЛ. Т. 13. М., 2000. С. 531.

С.Б. Веселовского и Б.Н. Флори, эти слова отражают настроения царя времен опричнины («в опричном угаре»)¹. Впрочем, приписки в недоработанных томах Лицевого свода не могли возникнуть ранее 1576–1577 гг., когда завершались работы над огромной иллюстрированной летописью. Настроение этих приписок ближе к периоду, когда победы в Ливонской войне сменились непоправимыми поражениями и у царя усилился страх мятежа в пользу одного из наследников или Стефана Батория².

Бегство из государства было в конце 1560-х — 1570-х гг. тем особым настроением, в котором концентрировались и страхи, и чаяния московских элит. А этот исторический момент был одним из самых успешных в реализации интегративной идеи по отношению к московским подданным, а особенно к московской шляхте, которая опиралась на Второй Литовский статут 1566 г. и конституцию Варшавского сейма 1578 г., пользуясь равными правами с местным рыцарством. Московские переселенцы влились в политический народ Короны и Литвы и составили его неотъемлемую часть³. Близкой им была и «российская»

1. *Веселовский С.Б.* Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 283; *Флоря Б.Н.* Иван Грозный. 4-е изд. М., 2009. С. 78–79.
2. Поздняя датировка Лицевого свода, уводящего окончание работ над ним в период правления царя Федора Ивановича, поддержана в работах А.А. Амосова и В.В. Морозова, а также отчасти в статье С.О. Шмидта 2011 г. См.: *Морозов В.В.* Лицевой свод в контексте отечественного летописания XVI века. М., 2005; *Ерусалимский К.Ю.* Лицевой летописный свод в дипломатии Ивана Грозного // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 6. С. 24–33.
3. Понятие политического народа применительно к шляхте Великого княжества Литовского разработано Ю. Кяупене. Исследовательница отметила, что литовский политический народ придерживался своего видения политической причастности на заре Люблинской унии. Сплочение происходило благодаря общей военной опасности, клиентарным связям, сознанию своей обособленности от коронной шляхты и европейским тенденциям в общественной мысли (*Kiaupienė J.* «Mes, Lietuva». Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorija XVI a.: (viešasis ir privatus gyvenimas). Vilnius, 2003; *Она же.* Политический народ Великого княжества Литовского в системе политических структур Центрально-Восточной Европы в XV–XVI веках // Словения, институты и государственная власть в России... С. 586–591). В дискуссии вокруг тезиса о самобытности литовского

идентичность украинского казачества, местной шляхты и всего политического «русского народа» в составе Речи Посполитой в конце XVI — первой половине XVII в.¹ Шляхта Короны и Литвы после смерти Сигизмунда II Августа считалась и с возможностью слияния с Московским государством и избрания на троны Речи Посполитой московской кандидатурой².

На королевской службе оказались представители едва ли не всех крупнейших фамилий, окружавших московский трон. Родичами московских удельных князей были Ярославовичи, Шемятичи, Верейские. Ветвью боярского рода Захарьиных были Иван Васильевич Ляцкий и его сын Иван. Сигизмунду I Старому служил брат высших московских политиков кн. С.Ф. Бельский. Суздальская знать в лице кн. И.Д. Губки Шуйского и его потомков утвердилась в Брестском повете Великого княжества Литовского. Ярославские Рюриковичи были представлены Андреем Курбским и позднее его потомками. Тверские — кн. В.И. Телятевским, который по своему поместному праву в Московском государстве претендовал даже на ярославский титул, посягая на

политического народа затрагивался вопрос об отношении литовских магнатов к «шляхетской демократии» и проблема вырождения демократии в олигархию (*Niendorf M. Wielkie Księstwo Litewskie. Studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569–1795) / Przekł. M. Grzywacz. Poznań, 2011. S. 49–70; Вилмас Д. К вопросу о характеристике государственного строя Великого княжества Литовского после Люблинской унии: демократия versus олигархия // Проблемы інтеграції... С. 149–154).*

1. *Плохий С.* Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. Київ, 2005. С. 192–229; *Яковенко Н.* Дзеркала ідентичності: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI — початку XVIII століття. Київ, 2012. С. 9–43; *Брехуненко В.* Козаки на степовому кордоні Європи: Типологія козацьких спільнот XVI — першої половини XVII ст. Київ, 2011. С. 11–146. См. также: *Мильников А. С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI — начала XVIII в. СПб., 1999. С. 74–105; *Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства / Отв. ред. А.В. Доронин. М., 2017. С. 93–105 (здесь особенно статьи Ю. Кяупене, О.И. Дзырновича, В.И. Ульяновского, М.В. Дмитриева, И. Грали, А.М. Бовгири).*
2. *Żakrzewski A.B.* Wielkie Księstwo Litewskie między Wschodem a Zachodem. Aspekt polityczny i prawno-ustrojowy // *Między Zachodem a Wschodem. S. 23–36.*

прерогативу Курбского и его потомков в Речи Посполитой и князей Сицких в Москве. Смоленских воплотил Владимир Заболоцкий, вспомнивший в эмиграции о своем княжеском происхождении. Предполагаемые черниговские князья были представлены кн. М.А. Ноготковым Оболенским. Впрочем, последние трое вымерли, не оставив потомства «по мечу».

Это далеко не все, кто хотел бы перейти на службу Сигизмунда I Старого, Сигизмунда II Августа и их наследников, хотя неясно, как именно Шуйский появился при дворе короля, и очевидно, что Телятевский не хотел — он сдался Стефану Баторию в Полоцке. Вместе с братом великой княгини, матери Ивана Грозного, Михаилом Глинским собирався выехать кн. Иван Турунтай Пронский — он был бы встречен своими дальними родичами из рода великих князей пронских, давно служившими литовским монархам. Не удалось бежать в июле 1554 г. кн. С.В. Звяге Ростовскому. Пытался прорваться в Литву кн. Ю.И. Горенский — но был схвачен и казнен. В начале мая 1581 г. бежал ближний родич опричных выдвиженцев царя Д.И. Бельский, который сумел уйти во главе небольшого отряда, отбившегося с потерями от преследования. Вскоре после смерти Ивана Грозного бежал М.И. Головин, позднее убитый в Литве И.И. Бунаковым, мстившим за смерть своего отца.

Среди шляхтичей, близких к ведущим московским родам, были Колычевы, Бутурлины, Тетерины, Сарыхозины, Кашкаровы, Голохвастовы, Бунаковы, Остафьевы, Зверевы, Измайловы... Не все названные роды испытали потрясения в России. Часто неясно даже, в какой именно хронологической связи находятся казни в России с побегом представителей их родов. Традиция интерпретации, идущая от С.Б. Веселовского, в целом позволила установить корреляцию между казнями и «выездами», однако во многих случаях выводы самого исследователя и последовавших за ним авторов не подтвердились. Неясно, когда именно были уничтожены «всеродне» Тетерины и Сарыхозины. Нельзя исключать как то, что царь подозревал перебежчиков в заговоре против своей особы, в результате чего были убиты их родичи, так и то, что казни охватили род

еще до их побега или несколько позже (например, в виде мести за Изборскую кампанию). На стороне короля в небольшой исторический промежуток около конца 1563 — начала 1564 г. оказались одновременно не менее пяти мужских представителей Тетеринных и Сарыхозинных. Трое из них на рубеже 1568–1569 гг. приняли участие в Изборской кампании князей Александра и Ивана Полубенских и привели пленных на Люблинский сейм. Одного из изборских пленников получил в подарок от кн. А.И. Полубенского Курбский¹. Возможно, от этих же людей князь Андрей Михайлович узнал что-то новое и о казнях и других событиях первых лет опричнины, о чем рассказал в мартирологах своей «Истории». Это были заметные события в Короне и Литве. Они вызвали не только энтузиазм у хронистов и поэтические реплики², но и настоящие военные триумфы в Варшаве и Люблине. Пленным и эмигрировавшим москвитам выплачивали пожалования из казны в знак торжества над противником и милости короля³. На объединительном сейме прозвучали даже упреки в адрес короля, что он заботится больше о приезжих москвитях, чем о собственных пленниках в Москве. Этот голос звучал из уст одного из полоцких пленников, выпущенных, чтобы призывать шляхту и короля к выкупу затворников. Впрочем, как можно полагать, царь видел в захваченной полоцкой элите в своем роде заложников, позволявших, как ему казалось, манипулировать ими в переговорах с королем и Панами радой. Конечно, впечатление эти действия царя

1. *Ерусалимский К.Ю.* На службе короля и Речи Посполитой. С. 266–275.
2. *Хорошкевич А.Л.* Захват Полоцка и бегство кн. А.М. Курбского в Литву // *Świat poganicza. Warszawa*, 2003. С. 117–120; *Кантелер А.* Латинские поэмы о победах литовцев над московскими войсками в 1562 и 1564 гг. и о побеге Курбского // *Ad fontem / У источника*. Сборник статей в честь чл.-корр. РАН Сергея Михайловича Каштанова. М., 2005. С. 318–325; *Некрашевич-Короткая Ж.В.* События и лица российской истории второй половины XVI — первой половины XVII в. в памятниках латиноязычной поэзии Великого княжества Литовского // *SSBP*. 2012. № 2 (12). С. 26.
3. *Скрынников Р.Г.* Царство террора. СПб., 1992. С. 360–361; *Ерусалимский К.Ю.* Московско-литовская война 1562–1566 гг. и введение опричнины: проблемы демографии и земельной политики // *Российская история*. 2017. № 1. С. 3–31.

производили прямо противоположное, но все же Ивана Васильевича окружали подданные, видящие в литвинах скорее собратьев, а не врагов.

Что роднит всех шляхтичей московского происхождения на королевской службе и что позволяет говорить о перспективе унии Литвы и Короны с Москвой? Имена перебежчиков в источниках говорят о том, что они носили типичный для ренессансной книжности национальный идентификат — они были *московитами*, *москалями*, *москвитинами*. К 1560-м гг. он перестал означать прямую связь с Москвой как городом или Московским княжеством, а в подавляющем большинстве случаев имел расширительное значение, охватывая все земли, находившиеся под властью московских великих князей. Эта нация просуществовала в лице своих представителей в Европе вплоть до начала XIX в., когда была преобразована в сознании европейцев в особый стереотипный образ, в чужого «Другого» национальной культуры. Наличие своего идентификата не оставляет сомнений, что польско-литовское общество было готово видеть в эмигрантах особый народ, но не стремилось создавать никакой диаспоры или культурной основы для восприятия эмигрантов в качестве меньшинства в самой Короне, Литве, а затем — в Речи Посполитой. Московиты прямо ассоциировались с Московским государством, пока носили это прозвище, и должны были, потеряв его, потерять и свою причастность к московскому обществу. Во вторых, правовые ситуации, в которых фигурируют в Речи Посполитой московские шляхтичи, позволяют судить о том, что сразу или вскоре по прибытии они пользовались привилегиями военного сословия нового отечества. Реестры присяги Короне Польской винницкой и брацлавской шляхты 1569 г. показывают, что московиты и их жены принесли присягу на верность королю и Короне Польской вместе с остальными своими собратьями по оружию. Впрочем, феодальная лестница была открыта для московитов, как правило, не вся. Их первые пожалования — *хлебокормление* или *выживенье*, чаще всего состоявшее из средств на пропитание и натуральных выплат. Земельные пожалования

до воли и ласки господаря не могли быть переданы по наследству, нельзя было также распоряжаться ими как-либо еще без согласия на то короля. Наиболее частой формой ленного держания было *доживоте* — т.е. право пожизненного владения имением, иногда расширяемого до двух и трех поколений.

Участие в войне именно против *неприятеля московского* не было обязанностью шляхтичей-москвитов, однако считалось частью их военной повседневности. Иван Ляцкий и князь Семен Бельский прямо декларировали перед началом Стародубской войны готовность отвоевать свои отчины в Московском государстве. Князь Семен с 1536 г. осуществлял проект создания буферного государства на Рязани и Белой, в котором сам готовился стать сувереном. Допускал он и установление дружественного по отношению к королю Сигизмунду Старому, Сулейману Великолепному и крымским Гиреям правительства в Москве. Пытались решительно повлиять на Ливонскую войну Курбский в 1564–1567 гг. и связанные с ним дружбой и общими целями его соотечественники из отряда кн. А.И. Полубенского в 1568–1569 гг.

О москвитях на королевской службе в королевских пожалованиях в новом отечестве говорилось, что они бежали от московского тирана, бросив свои владения, взамен которых они и награждались. Временный статус феодальных держаний нигде не определялся в связи с необходимостью отвоевать имущество перебежчиков в Московии. Так задача больше не стояла. Как будто вычеркивая эту же перспективу, в Москве в ряде случаев уничтожались родовые гнезда «изменников», благодаря чему исчезал еще в первой половине XVI в. существовавший статус разделенного рода, в котором находились многие крупные роды Московского государства и Великого княжества Литовского¹.

Коллизии поджидали москвитов не только в землях покинутого отечества, но и во владениях короля. Так, в имении

1. Неполный список разделившихся между Москвой и Литвой брянских и смоленских фамилий см.: *Кром М.М.* Меж Русью и Литвой: Пограничные земли в системе русско-литовских отношений конца XV — первой трети XVI в. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. С. 264–287.

Г.А. Ходкевича Спасове после Ульской битвы 1564 г. на московитов напали местные жители, видимо приняв отходящую с поля боя роту за наступающего неприятеля. Развернулся настоящий кровавый бой, о чем Луцкий гродский суд рассматривал иск ротмистра. Вплоть до окончания Ливонской войны реестры Королевской казны из Варшавского архива древних актов позволяют проследить службу особой роты из 50 московитов, которыми командовал какое-то время с 1563 г., видимо, Владимир Заболоцкий, а позднее также — Умар Сарыхозин и Агиш Сарыхозин. Агиш при Сигизмунде III выдвинулся на лидирующие позиции среди московитов-эмигрантов. Это положение после него не сохранилось, даже когда в Литву переезжали высокопоставленные в Москве Хованские, Салтыковы, Трубецкие и В.А. Ордин-Нащокин.

В российской историографии имперского периода перспективы, открытые объединительным сеймом 1569 г., часто представлялись в зеркале идеи колонизации. Однако эта идея имеет весьма мало общего с реалиями середины — второй половины XVI в. Уния Литвы с Короной и инкорпорация в Корону русских земель четырех воеводств Великого княжества Литовского открывали новый период в политическом устройстве союзных государств. Волынь и восточные воеводства получили автономию, приближаясь в своем статусе к самостоятельной и самобытной системе внутри федеративного государства. Великое княжество Литовское в ходе реформ еще до Люблина приобрело права и свободы, не только приближающие местную шляхту к собратьям в Короне, но и освобождающие ее от всевластия королевских наместников. Идея объединения «равных с равными» не была пустой декларацией, а соблюдалась как неотъемлемое право литвинов на всем протяжении существования федерации. Безразличие, выраженное царем, когда он узнал от польских и литовских представителей о заключении унии, скрывало несогласие. Москва не принимала сам язык прав и свобод, не видела в служилых людях единого влиятельного сословия, не допускала гарантий для «мужиков торговых»

и противостояла всем известным примерам представительных собраний.

Историческая память, сформированная в России на фоне мобилизации в войне против Ливонии и Великого княжества Литовского, лишала легитимной предыстории существование обоих врагов, а история унии между Литвой и Коронай рисовалась как историческая ошибка, следствие слабости власти в обоих этих государствах. Достаточно вспомнить, что незадолго до объединительного сейма Иван Грозный высказывал сомнение, что до Ягайло в Короне Польской вообще были короли, а право королевы Ядвиги на корону царь ошибочно или намеренно связывал с ее происхождением от «пошлых королей». Эти высказывания звучали в официальной политике, и вряд ли элиты в Вильно и Кракове могли относиться к ним как к пустой болтовне и списывать их на эмоции. Ядвига была символом унии. Ее образ возникал в памяти всякий раз, когда вспоминались первые унии между Ягайло и Витовтом, причем все общеземские привилегии Великого княжества Литовского отсчитывают существование унии именно от договоренностей Ягайло с Витовтом, а следовательно, Иван IV и его окружение в своей риторике наносили удар в самое сердце объединительной идеи.

Образцы «листов»-ультиматумов от лица шведского короля Юхана III за 1582–1584 гг. показывают, что в Москве знали и слово «тиран» применительно к московской власти, и обязательства поддержать права и свободы вместо кровопролития и рабства¹. Это не была риторика *ex post*, а язык, который звучал в сознании московской шляхты на всем протяжении становления государственной машины Ивана IV и его наследников на московском престоле. Обещание «прав и вольностей» московским «чинам» (т.е. сословиям) не раз звучало в годы Смуты от лица Сигизмунда III Вазы, причем результаты переговоров московского посольства к королю под Смоленском в августе 1610 г. показывают, что в Москве настаивали на соблюдении

1. Об этом см. выше, на с. 204.

своего «обычая», приближавшего политическую культуру московитов к европейским порядкам¹. Наконец, «московский двор Владислава Вазы» отразил тот тип зеркального построения московских элит, который наметился еще в период Стародубской войны и неизменно сопутствовал московско-польским отношениям вплоть до первых лет правления Романовых².

Эмигранты из Московского государства сохраняли политический кругозор православного государства, где княжеская власть была в своем роде обязательной светской стороной устройства общества. В нашем распоряжении на фоне множества данных о взаимных конфликтах и службах титулованных и нетитулованных московитов в новом отечестве нет ни одного примера, когда московиты выразили бы несогласие с верховенством князей над нетитулованными шляхтичами. Наоборот, Владимир Заболоцкий в переговорах с имперским агентом аббатом Иоганном Циром выразительно отстаивает свой княжеский статус, давно утраченный его предками в Москве. Андрей Курбский и Василий Телятевский претендуют на новый ярославский титул, которого в Москве они бы не получили. Один из Оболенских претендует на родовой титул, невольно завышая себе цену в момент обмена пленными и вызвав негодование даже у царя Ивана Васильевича.

Эти наблюдения подкрепляются отчетливо княжеским самосознанием Андрея Курбского в его «Истории» и других сочинениях. Он изображает Русскую землю как общую вотчину «княжат русских», а возвышение Москвы считает общим делом всех князей, подспудно и в нарушение принятых в Москве родословных легенд возводя в княжеское достоинство даже ведущие боярские роды «имперских княжат» на русской и московской службе. Это был намек на сходство боярских родов в Москве с правящим в Великом

1. *Polak W.* O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy w latach 1607–1612. Toruń, 1995. S. 211; *Флоря Б.Н.* Польско-литовская интервенция в России и русское общество. С. 245–247, 253–266.

2. Подробнее см.: *Jaworska M.* «Moskiewski dwór» królewicza Władysława w latach 1617–1618 // *Kronika Zamkowa*. 2015. Roczn. 2 (68). S. 31–58.

княжестве Литовским *de facto* родом имперских князей Радзивиллов. При этом Курбский видит в себе, конечно, реформатора, отступая от княжеского идеала управления Святорусской республикой-империей. Как мы уже говорили, его «общая вещь христианская» прямо объясняется в «Истории» и «Новом Маргарите» как «реч посполитая» или «рез публика». Во главе его тела-республики не «голова»-царь, а «сердце» — Избранная рада¹. Ее венчают нетитулованные политики-советники: незначительный по происхождению, но одаренный и полезный для «общей вещи» Алексей Адашев и благовещенский поп, близкий к новгородскому купечеству Сильвестр². Мартирологи в «Истории» открываются описанием гибели имени рода Адашевых и уходом из Москвы Сильвестра, и только затем следует мартиролог князей, после которого — списки бояр и простых шляхтичей и репрессированного духовенства. Все урядники Курбского в новом отечестве — нетитулованные, и он не проявляет никакого интереса к ново-прибывшим из Москвы на королевскую службу князьям.

И все же в опыте москвитов на королевской службе прослеживается общая логика. Все крупнейшие княжеские роды, перешедшие на королевскую службу, начиная со второго поколения, теряют княжеский титул (часто — вместе с православным вероисповеданием). Правосознание москвитов на королевской службе говорит об отсутствии границ в интеграции, несмотря на мобилизационные построения в Короне и Литве против Москвы и неизбежно обостренную этничность в отношениях с местным населением. Московские шляхтичи отстаивали свои права и свободы теми же способами, что и местные «служилые» люди. Показателен пример Ивана Бурцева, появившегося

1. *Курбский А.М.* История о делах великого князя московского / Изд. подг. К.Ю. Ерусалимский; отв. ред. Ю.Д. Рыков. М., 2015. С. 24, 216, 835. Примеч. 132-2.
2. *Грбовский А.Н.* Иван Грозный и Сильвестр: (история одного мифа). Лондон, 1987; *Курукин И.В.* Жизнь и труды Сильвестра, наставника царя Ивана Грозного. М., 2015. С. 108–134 (диссертация — 1981 г.); *Филюшкин А.И.* История одной мистификации: Иван Грозный и «Избранная Рада». М., 1998. С. 309–329.

в конце 1570-х гг. в источниках в роли «выростка» в семье луцкого шляхтича Ивана Хренницкого. Затем он уже слуга своего пана Иван Бурцевич и наконец — коронный «возный генерал» Иван Бурцевский, служивший при судах еще в начале XVII в. Московит втягивается в судебную структуру нового для себя государства. Ему приходится участвовать и в расследовании смертей сыновей своей госпожи, и в многосложной борьбе за замок Буремль, чуть было не стоившей ему самому жизни, но также в многочисленных других процессах волинских урядов. Возможно, с его неместным происхождением связаны как публичные выступления в доказательство своего шляхетского статуса, так и процедурные ошибки в исполнении своих обязанностей «возного», которые могли служить и судебными уловками. В начале 1602 г. он обвиняется в нападении на спорное шляхетское имение крупного киевского и волинского рода Чапличей и упоминается как «Иван Москвитин, возный»¹.

Григорий Сафонов (Сафонович) выступает на Житомирском городском уряде, рассказывая о своих многолетних службах при князьях Хованских и жалуясь на неуважительное обращение с ним самим и такими же, как он, иноземцами, московскими шляхтичами. Требуя терпимости к себе и ко всему московскому обществу (*«всею кмѣну посполства земль и мѣста столечного Москвы»*). В его заявлении, во многом мемуарном, отражено и этническое, и социально-демографическое мышление московского воина. Сама запись в актовой книге является частью процедуры индигената, а свидетельство о службе у Хованских призвано подтвердить привилегированный, шляхетский статус Сафоновича. Его язык менее изощрен и не связан с латинской традицией, в отличие от сочинений Курбского. Вместе с тем язык простого престарелого сына боярского

1. *Старченко Н.* Борьба за спадок князя Андрія Курцевича-Буремського (1592–1596) // Кризь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя. Львів, 2012. С. 370–395. См. также: *Ерусалимский К. Ю.* Иван Москвитин: смерть и возрождение // Русская авантюра: идентичности, проекты, репрезентации / Сост. М.С. Неклюдова, Е.П. Шуилова. М., 2019. С. 19–51.

отражает конвергенцию культур, которую ему самому важно было подчеркнуть, сталкивая между собой политико-правовые реалии России и Речи Посполитой. Московское государство он считает частью Белой Руси. Свои права видит в чем-то равными в новом отечестве с эмигрантской элитой, определяя ее привычный для Москвы думный и княжеский статус («з думными», «з думных бояр, особливо з княжат московских»)¹. В рассказанной им истории службы у Хованских освещена литовская ветвь рода, которая не отражена в московских родословцах. Тем не менее в Литве и Короне было известно о выезде Данилы Хованского вместе с Остафием Дашковичем в Киевскую землю и о службе его внуков Острожским и Кишкам².

Подобные примеры можно умножать. Они доказывают, что московские шляхтичи втягивались уже в первом поколении в польско-литовское общество, испытывая лишь те трудности, которые ни для местных судов, ни для них самих не казались непреодолимыми. В нашем распоряжении нет ни одного свидетельства, позволяющего судить о том, что на судах и в иных публичных местах в Короне и Литве москвиты испытывали культурные фрустрации, однотипные и непреодолимые разногласия с местными жителями и т.п. Такие конфликты были, конечно, неизбежны и по косвенным данным реконструируются

1. Жизнь Князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни: Акты, изданные Временною Комиссиею, высочайше учрежденною при Киевском Военном, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе / Подг. Н.Д. Иванишев. Т. 2. Киев, 1849. С. 296–300.
2. Все названные сведения почерпнуты Ю. Вольфом из того же сообщения Г. Сафоновича и частично удостоверены упоминаниями потомков князя, жившего во времена великого князя Василия III, в источниках начала XVII в. Московские источники и биографы российских представителей рода окружили всех литовских родичей молчанием. См.: *Wolff J.* Kniaziowie litewsko-ruscy od konca szternastego wieku. Warszawa, 1895. S. 17–18. Ср.: Памятники истории русского служилого сословия / Сост. А.В. Антонов. М., 2011. С. 25–26 (а также указатель); *Шереметев П.С.* О князьях Хованских. М., 1908; *Зимин А.А.* Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV — первой трети XVI в. / Отв. ред. В.И. Буганов. М., 1988. С. 28–67; *Павлов А.П.* Думные и комнатные люди царя Михаила Романова: просопографическое исследование: В 2 т. Т. 2. СПб., 2019. С. 48–52; Т. 1–2 (по указателю).

в отношениях землевладельцев с местными слугами и подданными. Прежде всего непреодолимым в первом поколении, т.е. для самих эмигрантов — и иногда их ближайшей родни, — был статус *Москвитина*, оставлявший за ними на всю жизнь шлейф причастности к чужому и враждебному государству. Эта причастность акцентировалась только тогда, когда над шляхтичем нависала угроза, правовая или политическая (попасть под подозрение в совершении преступления, лишиться правоспособности, реже — потерять спорное имение). Изредка, особенно в годы войны с Москвой, обострялись мобилизационные настроения, и московским шляхтичам приходилось несладко: бывало, им желали зла за их соотечественников или даже совершали на них труднообъяснимые нападения. Вместе с тем известных ныне фактов достаточно, чтобы увидеть, как московская шляхта интегрировалась в разнообразные повседневные контексты Короны и Литвы и даже формировала собственные доктрины о равенстве московской шляхты с местными соратниками.

* * *

Можно ли вывести из названных выше тенденций концепцию взаимовлияния Московского царства и Речи Посполитой? Политические типы этих двух государств во многом были сходны, а параллели между ними угадывались их жителями. Более того — идеи «московской угрозы» и «рыцарского своеволия» виделись во взаимном отражении и осваивались, как если бы существовал осознанный выбор между монархическим и республиканским политическими типами. Москва сглаживала выпад в адрес тирании, отстаивая преимущества твердого суверенитета, тогда как политическая мысль соседей развивалась в направлении представительной монархии, допускавшей включение Московии в состав Речи Посполитой в качестве субъекта федерации. Аналогичные планы со стороны московских властей виделись главным образом в качестве инкорпорации всей Русской земли

(а позднее — Малой и Белой России) с последующим династическим господством Москвы над подвластными Короной и Литвой. Однако планы частичной инкорпорации теплились и в Речи Посполитой в канун Люблинского сейма и позднее дали о себе знать в годы московской Смуты. В то же время республиканские высказывания находили все больше читателей и сторонников в России с начала XVI в., отзываясь в высших придворных кругах — в творчестве Федора Карпова, князя Андрея Курбского, князя Ивана Хворостинина, Сильвестра Медведева. Неоднократно в годы Смуты высшая власть приближала свое правление к польско-литовскому монархическому образцу, не нарушая самодержавной полноты полномочий, но создавая формулы коллективного правления от имени *всей земли* или *собора*.

Российская эмиграция в Речи Посполитой быстро осваивала языки республиканского устройства и пользовалась всеми его благами, имея доступ к его политическим институтам уже в первом — третьем поколении после выезда из Российского царства. Предрасположенность к неограниченному самодержавию — историографический конструкт, разбивающийся о факты противостояния верховной власти традиционных (удельно-княжеской, княжеской, боярской, оппозиционно активной церкви) и менее укорененных в местной истории сил (например, городского дворянства, казаков, национальных элит). Вместе с тем без изменений оставался основной круг чтения московских жителей этого времени. Ни печатная продукция, ни живой обмен идеями с Европой не нарушали того образа власти, который воспринимался из библейской книжности, бестиариев, хронографов, посольских дискурсов и географических сочинений. Это не мешало дискурсам *общего дела* проникать в политические реалии Москвы при посредстве структур, далеких от доктринальной борьбы, — в молчаливом признании европейских республик или в риторике коллективной политики, совместных пиров, соборных решений, в переводах европейских и казацких политических форм на московский русский язык.

Н. В. Ростиславлева

Глава IV

Развитие республиканизма в Западной Европе (XVII — начало XX в.): между идеей и реальностью

Западная Европа имеет давнюю республиканскую традицию, но выразить ее в стройной системе политических ценностей, связать с философскими вызовами и социальными намерениями удалось только в эпоху Просвещения. Эта эпоха началась в Англии еще в середине XVII в. и отмечена разнообразием представлений о формах государственной власти. Монархия, демократия, аристократия — классические аристотелевские формы государства были востребованы и европейскими просветителями. Чаще всего в их политических проектах обсуждались и положительно оценивались просвещенная и конституционная монархии, однако и республика как форма правления также нашла место в политических построениях мыслителей XVII–XVIII вв. Другой продуктивный подход к изучению темы — это попытка осмыслить феномен республики с точки зрения методологии истории понятий (*Begriffsgeschichte*). Семантическая структура понятия республики определена восприятием времени, особенно это имеет значение для периода 1750–1850 гг. — это «переломное время» постепенного исчезновения сословий и появления современной системы социально-политических понятий в контексте концепта «Новое время»¹. Козеллек ввел такие исторические

1. Koselleck R. Einleitung // *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* / Hrsg. von O. Brunner,

категории, как пространство опыта (*Erfahrungsraum*) и горизонт ожиданий (*Erwartungshorizont*)¹. Насколько напряжение между ними влияло на семантику понятия республики Западной Европы Нового времени?

Республиканизм XVII в., по мнению О.В. Хархордина, характеризуется такими признаками, как свобода, гражданская добродетель, участие в общем благе, признание заслуг гражданина². Историк связывает эти характеристики с классическим республиканизмом и находит воплощение этих характеристик в проектах просветителей. В опубликованном в Германии словаре по истории понятий главный акцент в интерпретации республики XVII в. делается на значении для этого времени теории естественного права, в рамках которой «понятие республики играло подчиненную роль. „*Societas civilis*“ и „*civitas*“ имеют приоритет и обозначают политическое единство или, как это формулируют сейчас, — государство. Республика всего лишь описывала отдельный аспект *civitas*, а именно политическое устройство или, как это сформулирует сторонник теории естественного права конца XVIII в., — государственное устройство»³. Это определение очень ценно, так как оно позволяет при анализе как соединять элементы классического республиканизма, заточенного на *civitas*, так и рассматривать феномен республики в политическом плане.

Публицисты английской революции еще в годы первой гражданской войны выказали некоторое предпочтение республиканской идее, которая в английской политической мысли в целом занимала довольно маргинальные позиции и уступала конституционно-монархическим устремлениям. Однако с 1649 по 1653 г., а формально до 1660 г. в Англии существовала республика, которую, правда,

W. Conze, R. Koselleck. Bd. 1. Stuttgart, 1972. S. V, VII; *Idem*. Zeitschichten: Studien zur Historik. Frankfurt/M., 2003. S. 238–239.

1. *Idem*. Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/M., 1989. S. 348–352.
2. Хархордин О.В. Республика. Полная версия. СПб., 2021. С. 86.
3. Mager W. Republik // Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bd. 5. Stuttgart, 1984. S. 577.

в исторической литературе давно уже называют «республиканским экспериментом».

Открыто с прицелом на практику республиканизм заявил о себе в годы английской революции в идеологии движения левеллеров (уравнителей), лидером которого был *Джон Лильберн* (1614–1657). Разделяемая им теория естественного права, принципы которой — свобода и равенство, стала основой республиканского импульса. С одной стороны, свобода в республиканской версии Лильберна присутствует, но она скорее является для него принципом естественного права. Он начал бороться с существующим режимом еще в середине 1637 г., когда открыто выступил против произвола. Именно тогда укрепляется его приверженность идее прирожденных прав и свобод, которая вскоре дополнилась положением о верховенстве народа. Если с достаточной долей условности можно интерпретировать как участие в общем благе; главным понятием в этом сюжете является «участие». В памфлете «Защита прирожденного права Англии», размышляя о парламентском строе Англии, Лильберн утверждал, что власть членов парламента зависит от тех, кто его избирает¹, а в «Деле армии», которое являлось программным документом левеллеров, отражавшим и позицию Лильберна, избирателями объявлялись «все свободнорожденные от 21 года», исключая активных сторонников короля². Право голоса в «Народном соглашении» 1647 г. уже приблизилось к требованию всеобщего голосования, что было абсолютно в духе принципов прирожденных прав и свобод и верховенства народа. В последней редакции «Народного соглашения» Лильберн и его соратники заявляли, что право голоса должны иметь «все люди в возрасте 21 года и старше, не являющиеся слугами, или просящими милостыню, или служившими королю

1. [*Lilburne J.*] Englands Birth-Right Justified Against all Arbitrary Usurpation, whether Regall or Parliamentary, or under what Vizor soever (8 October 1645) // Tracts on Liberty by the Levellers and their Critics (1638–1660), 7 vols. / Ed. by David M. Hart and R. Kenyon. Vol. 2 (1644–1645). Indianapolis, 2015. P. 207.
2. The Case of the Armie Truly stated [October 15, 1647] // Leveler manifestoes of the Puritan Revolution. New York a.o., 1944. P. 212.

в армии или добровольными пожертвованиями; эти же люди могут быть избранными в представительный орган власти; те, кто служил королю, лишаются этих прав на десять лет»¹. Эта версия носит ярко выраженный антимо-нархический характер, что присуще Англии периода гражданской войны². Но были — правда, чуть позже — и примеры абсолютистской версии республиканизма, например у Гоббса³. Столь пристальное внимание к избирательному праву — свидетельство стремления Лильберна обеспечить верховенство принципа народного суверенитета, который в идеологических построениях лидера левеллеров тесно связан с республиканской формой правления.

О прообразе республики он уже писал в памфлете «Защита прирожденного права Англии» (1645), где заявлял, что власть парламента «ограничена теми, которые его выбирали, и что он должен делать не то, что ему захочется, а то, что он должен делать, т.е. заботиться о благе народа»⁴. Считая избираемую палату общин по сути верховной властью, Лильберн апеллировал к идеалам прирожденных свобод, к идеалам донорманнского периода. Призыв Лильберна к ликвидации палаты лордов появился только в 1646 г., а в четвертой редакции «Народного соглашения» (1649) отчетливо звучит требование республики⁵. Как пишет К. Скиннер, Оливер Кромвель и индипенденты согласились на установление республики, страстно желая смещения Карла I. Таким образом историк подчеркивал ситуативный момент в ее провозглашении⁶. После казни

1. *Lilburne J., Walwyn W., Prince T., Overton R.* An Agreement of the Free People of England (1 May 1649) // *Leveler manifestoes*. P. 402–403.
2. См. об этом подробнее: *Republicanism. A Shared European Heritage. Vol. I. The Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe* / Ed. by M. van Gelderen and Q. Skinner. Cambridge, NY, 2002. P. 27–42.
3. *Хархордин О.В.* Республика. Полная версия. С. 66–71. См. также: *Mager W.* Republik. S. 587.
4. [*Lilburne J.*] *Englands Birth-Right Justified Against all Arbitrary Usurpation, whether Regall or Parliamentary, or under what Vizor soever* (8 October 1645)P. 207; *Он же.* Памфлеты. С. 37.
5. *Lilburne J., Walwyn W., Prince T., Overton R.* An Agreement of the Free People of England (1 May 1649). P. 400–410.
6. *Republicanism. A Shared European Heritage. Vol. 1.* P. 316.

короля Лильберн в памфлете «Новые цепи Англии» уточнил свои представления о республике, подчеркивая, что «божий народ есть источник всякой справедливой власти»¹, что парламент — это высшая власть в государстве и она не должна быть узурпирована Государственным советом, а беспарламентское правление, даже на короткое время, недопустимо². Парламент, в свою очередь, не должен вмешиваться в религиозный вопрос, так как ничто «еще не причиняло нации таких бед в прошлом, как это вмешательство парламента в религиозные дела»³. Но главное — Лильберн требовал необходимых дополнений, чтобы было «оговорено об уничтожении навсегда королевской власти и установлении гарантий против восстановления палаты лордов»⁴.

Вред республике, по мнению Лильберна, приносили монопольные компании, акцизы и пошлины, необеспеченность людей работой, невнимание к нуждам бедняков и чрезмерная усложненность судебных процедур⁵. Т.е. представления Лильберна о республике дополняются насущными социальными требованиями. Среди политических установлений республиканского правления по Лильберну следует отметить принцип разделения властей. Так, он сетовал, что «величайший оплот нашей безопасности — суд 12 присяжных — обесценен <...>»⁶, а роль депутатов парламента состоит «только в принятии законов, правил и инструкций для различных судов и должностных лиц, которым должны подчиняться все члены республики и народные представители так же, как и все другие»⁷. Самостоятельность исполнительной власти у Лильберна не прослеживается: она должна быть подконтрольна законодательной. Республиканская версия Лильберна и левеллеров

1. *Lilburne J. England's New Chains Discovered* [Электронный ресурс; режим доступа: свободный] <https://www.bilderberg.org/land/newchain.htm> (дата обращения: 27.08.2020).

2. *Ibid.*

3. *Ibid.*

4. *Ibid.*

5. *Ibid.*

6. *Ibid.*

7. *The Leveller Tracts 1647–1653*. New York, 1944. P. 158.

навеяна требованиями конкретного политического момента (результат гражданской войны) и определенной социальной группы и апеллирует к идеалам англосаксонского (донорманнского) периода истории Англии. Хотя теория естественного права как рационалистическая конструкция уповает на разрыв с традицией, но этот разрыв у Лильберна и левеллеров не абсолютен: ими допускается обращение к англосаксонскому прошлому. Представляется, что это является особенностью как XVII в., так и английской истории в целом, когда традиционность в том или ином виде обязательно «прорастает».

Республика была для Лильберна частью политической борьбы, которая должна была привести к уравниванию и возвращению прирожденной свободы, была решением дилеммы «свобода или рабство». Поэтому о теоретическом осмыслении этого феномена Лильберном и его продуманных гарантиях, наверное, говорить не стоит.

Иную интерпретацию республики можно обнаружить у его современника *Джона Мильтона* (1604–1674) — известного поэта, мыслителя-революционера. Он критиковал схоластику, призывал к расширению знаний и к рационализму. Мильтон наряду с Ф. Бэконом, Гоббсом и Локком признается в английской исторической литературе выдающимся политическим мыслителем XVII в.¹

В памфлете «Скорый и легкий путь к установлению свободной республики»² он согласовывал свои политические идеи с борьбой против абсолютизма Стюартов и апеллировал к естественному праву: «Они знали, что народ Англии свободный народ, сам являющийся представителем этой свободы <...>, поэтому не связаны никакими статутами предыдущих парламентов, а только законом природы, который является единственным законом, основополагающим для всего человечества»³.

1. *Deine Jones I.* The English Revolution. An Intoduction to English History 1603–1714. London, 1972. P. 1.
2. *Milton J.* The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth / Ed. with Introduction, Notes, and Glossary by E.M. Clark. New Haven, 1915.
3. *Ibid.* P. 10–11.

Приверженность естественному праву связана у Мильтона с идеей народного суверенитета, о которой он писал еще в 1644 г. в речи «Ареопагитика». Эту идею обычно приписывают Руссо, но ее родоначальником можно назвать и Мильтона. В годы английской революции она была укоренена в индипендентских сектах. Люди, по мнению Мильтона, по природе своей свободны. Свобода — прирожденный дар божий. Люди не были предназначены творцом к повиновению и жили, первоначально не зная над собой никаких властей, пока «из корня Адамова между ними не возникли взаимные несправедливость и насилие. <...> Тогда, видя, что подобная жизнь должна привести всех к неминуемой гибели, они решили объединиться и сообща обороняться против нарушителей общего мира. Отсюда возникли селения, города, государства»¹. Эта власть была вверена одному мудрейшему или нескольким равным по достоинству. Таким образом, король и сановники получили свою власть как доверенные и уполномоченные народа, а не милостью божией. Поэтому, по Мильтону, народ имеет право низлагать королей, так как король не равен народу, и если король хорош, то не может сделать больше, чем простой человек².

В связи с этим возникает вопрос: любого ли монарха Милтон считал тираном и призывал к борьбе с ним? В принципе, справедливый король, как полагал мыслитель, — это великое благо и счастье нации, он отец своей страны. Но в условиях английской революции тогдашний король Карл I воспринимался им негативно, как тиран. Создание «Ареопагитики» было во многом навеяно борьбой с ним. Казнь короля в январе 1649 г. была по Мильтону благом, она получила высшее религиозное освящение. Он писал: «Он [Бог] нередко предаёт гибели неправедных и превозносящих себя монархов»³. Может создаться

1. Цит. по: *Рождественский А.* Предисловие к русскому переводу // *Ареопагитика*. М., 1907. С. IV.
2. *Milton J.* The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth. P. 17.
3. *Milton J.* A Defence of the People of England, in Answer to Salmasius's Defence of the King [латинское название: «Defensio prima»] или

впечатление, что Мильтон выступал против королевской власти. Однако он все же допускал существование «справедливого короля», хотя в условиях революции это для него скорее умозрительное понятие, которое не «вписывалось» в каноны революционной пропаганды.

Уже в 1660-е гг. мыслитель отдавал свой голос не за королевскую власть. Король по Мильтону — «это ноль, без всякой цели поставленный перед рядом значимых цифр. И великое счастье и благо для народа, если его король действительно только ноль, так как часто он является для него настоящим бедствием, настоящим бичом Божиим, потому что его нельзя ни предать суду, ни подвергнуть наказанию без того, чтобы это не грозило опасностью великих потрясений или почти гибелью для целой страны»¹. Возлагать заботы об общем благе на плечи одного человека является по Мильтону своего рода безумием. «Бог в гневе дал евреям царя и поставил им в вину, что они просили его об этом»². Наследственная власть лишает нацию свободы и превращает ее в нацию рабов. Поэтому свободная нация может быть только республиканской³. Накануне надвигающейся реставрации Мильтон предостерегал английский народ от отказа от республиканского правления и возвращения к монархии, так как «это значило бы надеть на себя прежние рабские цепи, значило бы бесплодно истратить столько сил, столько напрасных жертв»⁴. Тираноборец предлагал согражданам свой проект наилучшего республиканского устройства, которое должно стать настоящим обществом свободы и всеобщего счастья.

Каковы сущностные черты республиканского устройства по Мильтону? Мыслитель предлагал в качестве

«Defensio pro Populo Anglicano»] // Milton J. The Prose Works of John Milton / With a Biographical Introduction by R.W. Griswold. In 2 vol. Vol. 2. Philadelphia, 1847. P. 6.

1. *Milton J.* The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth. P. 17.
2. *Ibid.* P. 15.
3. *Ibid.* P. 20.
4. *Ibid.* P. 40.

представительного органа избираемый многостепенным голосованием верховный совет, члены которого наделялись пожизненным правом заседать в нем. В начале XX в. эту конструкцию будут интерпретировать как пролог нового вида деспотизма¹. Представляется, однако, что в русле английской политической традиции XVII в. такой порядок выглядит гармонично, так как он несет в себе элементы преемственности.

Республика как наиболее совершенная форма государственного устройства призвана обеспечивать по Мильтону прежде всего духовные свободы человека, а не политические. Главное для него — это свобода совести и слова, которые обеспечивают права человека. Мыслитель писал: «Свобода совести — драгоценнейшее для человека благо»², которого он не должен быть лишен, так как «каждому должно быть предоставлено веровать по его личному убеждению» и ни государство, ни церковь не должны вмешиваться в сферу духовной свободы человека³.

Эта же мысль уже звучала в «Ареопагитике», где Мильтон замечал, что не стоит следовать традициям прелатов, старавшихся втиснуть свободную совесть и христианские вольности в человеческие каноны и правила⁴. В этих рассуждениях Мильтон опять-таки оставался в рамках ценностных ориентиров своего времени. Хотя концепция пуританской революции С. Гардинера уже давно уступила место новым подходам, тем не менее борьба за религиозную свободу — это знак английской революции XVII в.

Мильтон пошел дальше требования религиозной свободы. Еще в «Ареопагитике» он писал: «Дайте мне свободу знать, свободу выражать свои мысли, а самое главное —

1. *Рождественский А.* Предисловие к русскому переводу. С. IX.
2. *Milton J.* The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth. P. 34.
3. *Milton J.* A Treatise of Civil Power in Ecclesiastical Causes; Showing that it is not Lawful for any Power on Earth to Compel in Matters of Religion // *Milton J.* The Prose Works of John Milton / With a Biographical Introduction by R.W. Griswold. In 2 vol. Vol. 2. Philadelphia, 1847. P. 129.
4. *Idem.* Areopagitica / With a commentary by Sir R.C. Jebb and with supplementary material. Cambridge, 1918. P. 52.

свободу высказываться в соответствии со своей совестью»¹. Конечно, в традициях английской революции, Мильтон не допускал свободы вероисповедания для католиков, полагая, что католики — это опасная политическая партия.

Значение Мильтона прежде всего в том, что он один из первых выступил в защиту духовной свободы, в защиту свободной печати, полагая, что цензура бесполезна, вредна и уничтожает человеческое достоинство. «Свобода — вот кормилица всех великих талантов, она, подобно наитию свыше, очистила и просветлила наши души, она сняла оковы с нашего разума, расширила его и высоко подняла его над собой»², а убить «хорошую книгу почти то же самое, что убить человека. Кто убивает разумное существо, убивает подобие Божие; тот же, кто уничтожает свободную книгу, убивает самый разум, убивает образ Божий как бы в зародыше»³. Духовная свобода сопряжена с обеспечением гражданской, под которой Мильтон понимал ситуацию, «когда жалобы с готовностью выслушиваются, тщательно разбираются и быстро удовлетворяются, тогда достигнут высший предел гражданской свободы, какого только могут желать рассудительные люди»⁴. Таким образом, по Мильтону, республиканский идеал призван не только обеспечить духовную свободу, но и дать простор развитию гражданских инициатив, которые имманентно присущи принципу народного суверенитета.

Умозрительность присуща и республиканским проектам французского Просвещения, в основе которых лежит как антиабсолютистский вызов, так и принцип народного суверенитета. Республиканский идеал в мировоззрении французских просветителей был лишь одной из версий политических прогрессивных реформ. Особенно наглядно это проявляется в творчестве *Вольтера* (1694–1778). В канонах Просвещения он для обоснования своих взглядов на общество и государство опирался

1. Ibid. P. 57.

2. Ibid. P. 56.

3. Ibid. P. 7.

4. Ibid. P. 2.

на теорию естественного права. Естественный человек являлся героем многих его «Философских повестей», например «Простодушного», а естественный закон просветитель уравнивал с интересом, разумом и свободой¹. Вольтер в качестве государственного идеала упоминал в своих произведениях просвещенную монархию, конституционную монархию и республику. Довольно сложно определить его приоритет. Видимо, Вольтер такую задачу перед собой и не ставил, поскольку полагал, что совершенных форм правления не существует. На заре своего творчества, в 1730–1740-е гг., он с большим упоением отзывался о конституционной и просвещенной монархиях². О республике Вольтер писал позже в «Республиканских идеях» (1762) и статьях для «Философского словаря» (1760-е гг.). На страницах «Философского словаря» антиабсолютистский дискурс тесно переплетается с антицерковным. Вольтер писал: «Два этих тигра, один из которых носит тонзуру, другой же — корону, равно опасны»³. Он призывал облагородить религию с помощью философии и почитания законов государства⁴.

В рассуждениях Вольтера о республике также прослеживается рационалистический дискурс. Республику он считал первичной формой государства, которая, по его мнению, возникла из соединения семей, т.е. в ходе естественного развития, а монархия — в результате грабежа и насилия⁵. Он рассуждал с позиций естественного права, которое само по себе было рационалистической конструкцией, основанной на фикциях. Республиканский строй Вольтер называл разумным, естественным, терпимым, приближающим человека к равенству, обеспечивающим

1. *Voltaire*. Oeuvres complètes. T. XXXVI. Paris, 1785. P. 230.
2. *Idem*. *Zadig* // Oeuvres complètes. T. XXI. Paris, 1879. P. 2 ff.; Oeuvres complètes. T. XXI. P. 31–93.
3. *Вольтер*. Статьи из «Философского словаря». Раздел V. О необходимости верить в верховное бытие // Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 673.
4. Там же. С. 673–674.
5. *Voltaire*. Oeuvres complètes. T. XXXVI. Paris, 1785. P. 256–257.

людям свободу, собственность и права¹. Однако, восхваляя республику, он постоянно возвращался к идеалам просвещенной монархии. Например, в 1774–1776 гг. приветствовал реформы Тюрго, которые в литературе принято называть неудавшимися реформами просвещенного абсолютизма². Поэтому, скорее всего, разделяемые им формы правления, и республика в частности, были для Вольтера приемлемы в той мере, насколько они гарантировали преодоление произвола. Интерес к республиканским идеям был также инициирован у Вольтера полемикой с Ш.-Л. Монтескье, который в вопросах о формах правления апеллировал более к «политическим чувствам», чем к разуму.

Политическая теория Ш.-Л. Монтескье (1689–1755) лишена назидательности, не отягощена линейным поиском политического идеала, но кажущаяся разнородность не мешает понять основу его политических размышлений — неприятие деспотизма и поиск гарантий свободы, что прослеживается уже в «Персидских письмах»³. Р. Арон видит в главном труде Монтескье «О духе законов» единую доминанту и единую концептуальную систему, подчеркивая, что речь «идет о проблеме совместимости теории узкого круга типов правления и теории причинности»⁴.

Рационализм аристотелевского типа стал для Монтескье лишь отчасти основой типологии форм правления. Он выделял монархию, деспотию и республику. Природа правления в соответствии с Аристотелем определялась числом обладателей суверенной верховной власти, «республиканское правление — это то, при котором верховная власть находится в руках или всего народа, или части его; монархическое — при котором управляет один человек, но посредством установленных неизменных законов; между тем как в деспотическом все движется волей и произволом одного лица вне всяких законов и правил»⁵.

1. Ibid. Т. XXIX. Р. 204–206.

2. См. об этом подробнее: Фор Э. Опала Тюрго. М., 1979.

3. Montesquieu Ch. Lettres persanes. Paris, 1954.

4. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 38.

5. Montesquieu Ch.L. Oeuvres complètes. Т. III. Paris, 1886. Р. 101.

Монтескье выделял демократическое и аристократическое республиканское правление, полагая, в отличие от Аристотеля, что это две версии одного типа правления. Он видел уязвимость каждого вида; так, «при народном правлении власть не должна находиться в руках низшего слоя населения», тогда как аристократия может привести к злой тирании, поэтому ее необходимо дополнять принципом или духом умеренности¹. Принцип правления — это то, что заставляет правление действовать. Принцип республиканского правления, по Монтескье, определяется чувством добродетели, монархии — чести, деспотии — страха.

Как это коррелирует с представлением философа о республике? Ее стабильность и процветание зависят от уровня добродетельности граждан. Арон отмечает, что категория «добродетель» является у Монтескье не этической, а юридической, под которой следует понимать уважение к закону и преданность индивидуума коллективу². Поэтому в республике Монтескье актуализировал равенство, подчеркивая, что люди чувствуют себя равными друг другу, чувствуют себя гражданами, т.е. в его концепции республики существует связь политического и социального факторов, включающих в себя характер межличностных отношений.

Монтескье, вопреки рационалистическому подходу, видит смену форм правления не во времени, а в пространстве, полагая, что республиканская форма правления присуща небольшим государствам, и это его представление основано на изучении не только античного опыта, но и современных ему республик, например Швейцарии и Нидерландов. «Республика по своей природе требует небольшой территории, иначе она не удержится», а устойчивость ей придает федеративное устройство³.

Однако свою классическую и актуальную до сего дня догму о разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную он разработал, наблюдая за монархическим

1. *Montesquieu Ch.L. Oeuvres complètes. T. IV. P. 204; T. III. P. 113, 182.*

2. *Арон Р. Этапы развития социологической мысли. С. 39.*

3. *Montesquieu Ch.L. Oeuvres complètes. T. III. P. 301, 337–340.*

правлением Англии, поскольку не фиксировал в республиках развитую систему представительства.

Систему представительства не приветствовал в республике и Ж.-Ж. Руссо (1712–1778), который снискал славу как главный теоретик общественного договора и народного суверенитета. По Руссо, возникшая после общественного договора общая воля неотчуждаема, ее нельзя делегировать. Он писал: «Суверенитет не может быть представлен по той причине, по которой он не может быть отчуждаем»¹, поэтому депутаты — это не представители народа, а только его уполномоченные. Руссо ратовал только за прямую демократию, где законодательная власть принадлежит народу как суверену². В этом отчетливо просматривается его швейцарское происхождение: в небольших кантонах народные сходы были обычным делом. В больших государствах это было проблематично. О.В. Хархордин полагает, что Руссо выправляет ситуацию, прибегая к категории признания³. Правительство необходимо для исполнения законов и поддержания свободы, для установления отношений между подданными и сувереном, и оно может существовать в виде демократии, аристократии и монархии. Форма правления, по Руссо, зависела от распределения между гражданами богатства и от наличия числа влиятельных людей⁴. Там, где богатство и таланты распределяются относительно равномерно, возникает демократия. Но формы правления, по Руссо, — лишь формы организации исполнительной власти, которая лишена самостоятельности. Верховная власть при любых формах правления принадлежит народу. Выделял ли Руссо идеальную форму правления? Вопрос до сих пор дискуссионный. В советской историографии, например в классическом труде В.П. Волгина, отмечалось, что Руссо сочувствовал

1. *Руссо Ж.-Ж.* Об общественном договоре // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 221–222.
2. Там же. С. 191–192.
3. *Хархордин О.В.* Республика. Полная версия. С. 81–82.
4. *Rousseau J.-J.* Oeuvres complètes. T. VII. Politique. T. I. Paris, 1788–1793. P. 168–169.

республиканскому строю и демократии, и в качестве примера приводится его обращение к Женевской республике¹. Однако в последующих рассуждениях В.П. Волгина утверждает, что Руссо с практической точки зрения считал демократию невозможной². В условиях современности в политических воззрениях Руссо подчеркивается, что основой всех форм правления является для философа суверенитет общей воли, которая может вмешиваться в жизнь гражданского общества вне ограничений, а вмешательство индивидуальных волей в ее решения не допускается. Приверженность Руссо такой конструкции позволяет интерпретировать его политическую теорию с авторитарных или даже тоталитарных позиций³. Поэтому обсуждать вклад Руссо в теорию республиканизма, казалось бы, не совсем корректно, так как его политическая теория растворяется в торжестве народного суверенитета и не актуализирует принцип индивидуальной свободы, отдавая приоритет свободе гражданской. Однако приверженность Руссо эгалитаризму, отрицание статуса как принципа организации общества, провозглашение гражданского состояния и гражданской добродетели как эгалитарного патриотизма позволяют разглядеть его симпатию к республиканской традиции как возможности преодоления деспотизма. Рационалистические построения Руссо повлияют на создание республики в США, на республику монтаньяров в ходе Революции во Франции⁴, которая в полной мере продемонстрирует проявление насилия со стороны общей воли, а также найдут отчасти воплощение в отдельных либеральных конструкциях XIX в.

1. *Волгин В.П.* Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1977. С. 202.
2. Там же. С. 214–215.
3. См. об этом подробнее: *Dippel W.* Wissenschaftsverständnis, Rechtsphilosophie im vormärzlichen Konstitutionalismus bei Rotteck und Welcker. Münster, 1990; *Тыфсенко А.В.* Французские просветители о человеке, обществе, государстве // Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. М., 2002. С. 144.
4. *Blum C.* Rousseau and the Republic of Virtue. The Language of Politics in the French Revolution. Ithaca, 1986.

Республиканские идеи отстаивал *Габриэль де Мабли* (1709–1785). Он происходил из старинного дворянского рода, очень ценил свою независимость, не стремился к политической карьере, а всецело отдавал себя научно-литературным занятиям, оставив обширное литературное наследие и обретя большой авторитет как мыслитель. Интересна для прояснения его взглядов работа «О правах и обязанностях гражданина», написанная в 1758 г., но опубликованная уже после его смерти. Она представляет собой беседу между французом и англичанином. Прежде всего бросается в глаза приверженность Мабли теории естественного права, в которой он актуализирует как равенство, так и свободу: «Я думаю, что люди вышли из рук природы совершенно равными, а следовательно, без прав одних над другими. Природа не создала королей, правителей, подданных, рабов — это очевидно, и она нам предписала один закон: работать, чтобы быть счастливыми»¹ и добавляет, что в естественном состоянии «каждый человек был своего рода монархом, который имел право на мировую монархию»², понимая под такой монархией отсутствие принуждения в дообщественном состоянии. Общественный договор поставил людей в новые условия: появились обязанности исполнять закон, понадобилось создать правителей, а это «означало, что гражданин отказывается от своей независимости»³. Мабли не призывал вернуться в умиляющее естественное состояние, прославлял народный суверенитет, народное представительство, выборность должностных лиц, симпатизировал республике, которая была его мечтой, его политическим идеалом: «Когда я читаю описание какого-нибудь путешественника о некоем пустынном острове, над которым расстилается ясное небо и по которому течет полезная для здоровья вода, у меня всегда является желание отправиться туда и основать там республику, где все богаты, все бедны, все равны, все свободны, все братья и где первым законом

1. *Мабли Г.* О правах и обязанностях гражданина // Мабли Г. Избранные произведения. М., 1950. С. 220.

2. Там же. С. 220–221.

3. Там же. С. 221.

было бы запрещение владеть собственностью»¹. Эти размышления Мабли очень приближают его интерпретацию республики к *civitas*. Горизонт его ожиданий заострен на решении социально-экономических проблем. Исправить несчастья можно, лишь избавив человечество от страстей; нужно «спуститься в человеческое сердце»², что уже отменяет индивидуальную свободу, которая переживет ряд трагических моментов в годы Революции конца XVIII в.

В эти годы во Франции приверженцами республики являлись жирондисты, среди них были и теоретики, например *Жан Антуан Кондорсе* (1743–1794). Его работа «Эскиз исторической картины человеческого разума», написанная на основе рационалистической идеи линейного прогресса, выдвигала схему развития человеческого сообщества, венцом которой стала бы всемирная республика ученых³. Движущей силой прогресса человечества, по Кондорсе, явилась бы ненасытная потребность в знании, а возглавили бы это движение ученые, объединившись в Академию, которая превратилась бы в центр развития человечества. Он мечтал, чтобы люди вели себя разумно, наслаждались свободой. Схема Кондорсе выдержана в духе яростного рационализма Просвещения, она является оптимистичной, но абсолютно умозрительной и антиисторичной.

Возникает вопрос: что это за форма власти в период господства монтаньяров? Например, Н.И. Кареев не скрывал своего негативного отношения к якобинизму⁴ и не считал якобинский режим республикой, утверждая, что это революционная диктатура, которая не могла создать свободного политического строя — она лишь подготовила наступление другой диктатуры, диктатуры военно-цезаристской.

1. *Мабли Г.* О правах и обязанностях гражданина. С. 313.
2. *Мабли Г.* О законодательстве, или Принципы законов // Мабли Г. Избранные произведения. С. 125.
3. *Кондорсе Ж.А.* Эскиз исторической картины развития человеческого разума. М., 2011 (*Condorcet M. J. A. N. de.* Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Paris, 1798).
4. В современной историографии якобинцев чаще всего называют монтаньярами. См.: *Чудинов А.В.* Французская революция: история и мифы. М., 2007.

Историк полагал, что якобинский террор дискредитировал саму идею республики в последние годы XVIII — первые годы XIX в.¹

Умозрительный элемент акцентирует в понимании республики монтаньярами П. Генифе, отмечая, что «когда речь шла о добродетели, никто не говорил о граде будущего, о республике — разве что косвенно, неопределенно и с преувеличениями; говорили „о Терроре и только о Терроре“». Его рассматривали не как конечный рубеж, а как средство, необходимое, чтобы достичь этой ускользающей цели. Это был разговор, оторванный от своей цели, от Республики². Французский историк называет размышления Робеспьера о республике «пустым красноречием», полагая, правда, что это не утопия, а искусственное риторическое построение³.

Империя Наполеона означает конец Первой республики, хотя в названии французского государства республика будет фигурировать вплоть до 1806/1808 гг.: на государственных печатях она исчезнет согласно указу 26 января 1805 г., в пояснениях в газетах — с 1 января 1806 г., в законах термин последний раз употребили 29 апреля 1806 г., с 22 октября 1808 г. название «республика» перестает чеканиться на французских монетах. И этим декретом определение государства как республики было окончательно упразднено⁴.

Просвещение в Германии было прежде всего интеллектуальным и культурным феноменом, целями которого являлись познание, критика, истина, общее благо, веротерпимость. Некоторая политизация произошла только в 80-е гг. XVIII в., но и она не продемонстрировала приверженность немецких просветителей республиканскому идеалу. Традиции республиканизма существовали еще в средневековой Священной Римской империи германской нации, в которой имперские и ганзейские города нередко

1. *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Часть I. СПб., 1909. С. 176.
2. *Генифе П.* Политика революционного террора 1789–1794. М., 2003. С. 283.
3. Там же. С. 282–283.
4. *Mager W.* Republik. S. 597.

имели республиканское устройство. В идеях немецких просветителей в большей степени присутствовала социальная критика (*К. Ф. Бардт* (1741–1792)¹, *Х. Вольф* (1679–1754)), но ни *Г. В. Лейбниц* (1646–1716), ни *Г. Э. Лессинг* (1729–1781), ни *Х. Вольф* не ставили под сомнение правомерность существования монархии, пытаясь в своих проектах объединить монархический принцип и теорию естественного права. Приверженцем конституционной монархии был *Ф. К. Мозер* (1723–1798), полагавший, что государство должно зависеть от общественного мнения нации и быть ограниченным общегосударственными законами и местными установлениями². Отторжение абсолютистского государства в Германии нередко вело не к идеализации республиканского идеала, а к прославлению нации. Так, например *И. Г. Гердер* (1744–1803) делал акцент на особенностях немецкого национального характера, который произрастал, по его мнению, на почве общей истории, социальной солидарности, культурной и языковой общности, определявших ценности и стереотипы поведения нации³.

Довольно любопытную политическую конструкцию предложил *И. Кант* (1724–1804): в ряде своих работ, например в сочинениях «Ответ на вопрос: что такое Просвещение?», «К вечному миру. Философский проект», «Метафизика нравов», «Общепринятое изречение: это может быть правильным в теории, но не подходит на практике», он использовал термин «республика». Философ определял общую сущность как общество, находящееся в гражданском состоянии, искал пути примирения господства и свободы и полагал, что республиканизм — это государственный принцип, выполняющий функцию отделения исполнительной власти от законодательной, поскольку деспотизм проявляет себя в несанкционированном исполнении

1. См.: *Hoeren Th. Präjakobiner in Deutschland* — Carl Friedrich Bahrdt (1741–1792) // *Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte*. Vol. 47 (1995). № 1. S. 55–72.
2. *Moser F. K. Der Herr und der Diener, geschildert mit patriotischen Freiheit*. Frankfurt/M., 1759. S. 220.
3. *Herder J. G. Patriotismus und Humanität*. Berlin, 1953. S. 39.

государственных законов, которые он сам себе дал¹. В работе «К вечному миру» Кант уравнивал республику с конституцией, которая обеспечивает основанное на разделении властей представительное правление². Т.е. философ не воспринимал республику как форму правления, а связывал ее скорее с правовым гражданским обществом, которое, по его мнению, должно обеспечивать свободу, поскольку это возможно «только в обществе, и именно в таком обществе, в котором членам его предоставляется величайшая свобода, а стало быть, существует полный антагонизм и тем не менее самое точное определение и обеспечение свободы ради совместимости ее со свободой других <...>»³. В практической плоскости Кант ратовал за просвещенную монархию, не скрывая своей симпатии к Фридриху II, уточняя, что «мы (пруссаки. — *Н.Р.*) располагаем таким блистательным примером, и в этом отношении ни один монарх не превосходил того, кого мы почитаем в настоящее время»⁴. Главное преимущество просвещенного правителя, который «не боится собственной тени», великий кенигсбержец видел в охране общественного спокойствия, «на что не отважится республика», но полагал, что стремление народа к свободе в итоге повлияет «на принципы правительства»⁵, т.е. на его движение к правовому обществу. Кант подчеркивал, что народ в принципе обладает суверенным правом на власть, но сомневался, что тот может это право реализовать, так как «разве возможно, чтобы у тысячи тысяч индивидуумов была достаточно развита разумная воля для того, чтобы занять руководящую роль в обществе», и народ обязан повиноваться, но может жаловаться на несправедливость государя⁶. Позицию Канта отличает двойственность, в ней переплетается пиетет перед рационализмом Просвещения («чистым разумом»)

1. *Mager W. Republik.* S. 609–610.

2. *Кант И.* Сочинения. Т. 6. М., 1966. С. 257–309.

3. Там же. С. 13.

4. Там же. С. 34.

5. Там же. С. 34–35.

6. *Kant I. Werke.* Bd. 7. Berlin, 1922. S. 125.

и вызовами иррациональной реальности («практическим разумом»). Р.Дж. Коллингвуд назвал это «слишком жесткой антитезой»¹. С другой стороны, в кантовской интерпретации Просвещения сосуществует духовное и институциональное, этическое и политическое². Именно в таком контексте продуктивно рассматривать его представление о республике, т.е. выйдя за пределы чисто политического анализа. Однако размышления Канта о гражданском обществе являются предтечей развития либеральных идей в Европе. Не случайно в 2004 г., в год 200-летия его смерти, тогдашний канцлер ФРГ Г. Шредер подчеркивал роль великого кенигсбержца в зарождении либерализма.

Эпоха либерализма в Европе (1815–1860) отличалась разнообразием воплощений. Но существовало инвариантное ядро — стремление к свободе, равные шансы для самореализации личности и, конечно, отрицание насилия. Во Франции либеральной доктрине первой трети XIX в. не присущи республиканские проекты. Французский либерализм более, чем где-либо в Европе, являлся постреволюционным движением, поэтому все, что было связано с Первой республикой, им не приветствовалось. Достаточно назвать *Б. Констан* (1767–1830), который, рассуждая о природе королевской власти в конституционной монархии, полагал, что «при свободном государстве у монархов остаются благородные, прекрасные, возвышенные прерогативы»³. Признавая принцип народного суверенитета, французский либерал утверждал, что он не является безграничным, поскольку «вписан в границы, очерченные справедливостью и правами индивида»⁴, и называл Руссо пособником деспотизма⁵.

1. *Коллингвуд Р.Дж. Идея истории // Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 101. См. также: Iggers G. Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Überblick im internationalen Zusammenhang. Göttingen, 2007. S. 11, 114.*
2. *Фуко М. «Что такое просвещение» // Вестник Московского университета. Сер. Филология. № 2. 1999. С. 132–149.*
3. *Констан Б. Принципы политики // Классический французский либерализм. М., 2000. С. 49.*
4. Там же. С. 35.
5. Там же. С. 29.

Были и более умеренные либералы, например *Ф. Гизо* (1787–1874), который, будучи сторонником конституционного монархического порядка, не помышлял о республике. Более того, он не скрывал своей антипатии как к республике, так и к демократии в принципе, считая, что она может привести либо к диктатуре, либо к анархии, и называл ее «величайшим из зол, которое подтачивает и разрушает правительству и свободы, достоинство и счастье граждан»¹.

Английский либерализм первой половины XIX в., даже в лице самых своих радикальных представителей, например *Дж. С. Милля* (1806–1873), республиканские проекты не актуализировал. Неоднозначное отношение к республиканизму продемонстрировал и ранний германский либерализм.

Германский либерализм первой половины XIX в. в историографии принято называть ранним². Германия не была еще в то время единым государством. Образованный на Венском конгрессе Германский союз представлял собой довольно рыхлую конфедерацию. Общегерманской доктрины либерализма также не существовало, поэтому как в идеологическом плане, так и в практической сфере он проявлял себя по-разному. Существовали региональные модели либерализма, которые зависели от исторических особенностей пространства, их экономических и социально-политических приоритетов, а также от влияния соседних стран.

Взгляды германских либералов разных регионов в первой половине XIX в. на политическое устройство были различны. Республиканизм в целом более характерен для демократического лагеря Германии. Так, именно демократы на состоявшемся накануне революции 1848–1849 гг. Оффенбургском съезде отстаивали республиканское устройство Германии. В Оффенбургской программе было прописано, что Германия должна стать республикой³. По сути дела, накануне, в революционные 1848–1849 гг.

1. *Guizot F. De la démocratie en France. Paris, 1849. P. 2.*

2. *Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. Frankfurt/M., 1988. S. 12–15.*

3. *Deutsche Verfassungsdokumente 1803–1850 // Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte / Hrsg. E.R. Huber. Bd. 1. Stuttgart, 1972. S. 323–324.*

произошло переформатирование понятия «республика». Именно в предмартовский период она становится идеальной формой правления для демократов и происходит преодоление классического либерализма, интерпретирующего эту форму как *res publica / civitas*¹. Собранные в 1847 г. в Геппенгейме либералы были больше озадачены проблемой национального единства, а в политическом плане склонялись к монархическому принципу². Однако и среди представителей раннего либерализма были сторонники республиканского устройства. Важно выяснить, в каких контекстах они размышляли о республике.

Подобная умозрительность не могла в принципе быть устойчивой в либеральной доктрине, так как либералы всегда стремились свои идеи реализовать на практике. Однако ранний либерализм — это своеобразный переход от идеалов Просвещения к принципам классического либерализма. Причем там, где элементы либерализма стали укореняться раньше, умозрительность находила большее воплощение. Немецкие конституционалисты оказали серьезное влияние, в частности, на российский либеральный опыт, что отмечалось в отечественной историографии³, но в деталях не рассматривалось.

Наиболее либеральным был немецкий Юго-Запад (Баден, Бавария, Вюртемберг). Там либерализм распространился раньше, чем в других германских землях. Х. Фенске считает, что это связано с влиянием более развитых Франции и Швейцарии⁴. Не последнюю роль играли миграция и торговые пути, пролежавшие через эти земли. Влияние Франции было определяющим, поскольку все эти государства входили недавно в состав Рейнского союза

1. Nolte P. Bürgerideal, Gemeinde und Republik. «Klassischer Republikanismus» im frühen deutschen Liberalismus // Historische Zeitschrift. Bd. 254 (Jun., 1992). H. 3. S. 654.

2. Deutsche Verfassungsdokumente. S. 324–326.

3. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997. С. 376–377.

4. См. об этом подробнее: Ростиславлева Н.В. Теория и практика раннегерманского либерализма. М., 2010; Fenske H. Der liberale Südwesten. Stuttgart, 1981. S. 15.

и на их территории в годы его существования действовал кодекс Наполеона. Разрыв с традицией там был в принципе возможен. Когда империя Наполеона рухнула и Рейнский союз прекратил свое существование, именно в этом пространстве были приняты самые первые конституции. В этих землях тринадцатый параграф утвержденного Венским конгрессом Союзного акта интерпретировали как необходимость разрыва с традицией, обретения конституций и формирования современных парламентов. Наиболее либеральной была конституция Великого герцогства Баден. В наследии баденских либералов можно обнаружить приверженность республиканской идее в принципе.

Известные либералы Великого герцогства Баден — профессора Фрейбургского университета *Карл фон Роттек* (1775–1840) и *Карл Теодор Велькер* (1790–1869). В основе их взглядов на республику лежит отношение к теории естественного права. Роттек был его безусловным сторонником, считая свободу и равенство принципами естественного права, допуская в минимальном плане действие морали.

Республику Роттек идеализировал как форму власти, которая обеспечивала господство общей воли и конституции. Он подходил к пониманию республики умозрительно и писал на страницах своего учебника по истории государства и права: «Только республика справедлива, только республика хороша»¹ и понимал под ней такое государство, «где через систему разделения властей обеспечивается господство общей воли или по меньшей мере общественному мнению придаются уважение и сила благодаря свободе печати, безразлично, стоят ли во главе многие или один...»². Для Роттека важна была республика как принцип, а не как форма правления. Разделение властей, общественное мнение, свобода печати являлись для него гораздо более значимыми, чем конкретно республиканская форма правления.

1. *Rotteck's Lehrbuch des Vernunftsrechts und der Staatswissenschaften*: 4 Bde. Bd. 2. Stuttgart, 1830 S. 199 (далее — LdV).

2. Цит. по: *Herdt U. Die Verfassungstheorie Karl von Rottecks*: Diss. Freiburg, 1967. S. 110.

Формы правления он выделял по внутренним и внешним критериям. Внешние критерии, согласно Аристотелю, — это количество людей, обладающих властью. Поэтому монархия — это власть одного, аристократия — господство немногих, «лучших», а демократия — власть всех, которая в его рационалистической схеме была идеальной и самой древней формой. Внутренние основания, по Роттеку, — это присущие каждой форме условия, которые являлись либо благоприятными, либо неблагоприятными для реализации общей воли. Исходя из этого, он выделял республиканское, деспотическое и анархическое правления и их крайние формы — олигархию, тиранию и охлократию.

На страницах политического словаря «Государственный лексикон», редактором и автором которого он являлся вместе с Велькером, Роттек употреблял термин «демократический принцип». Среди немецких историков существует мнение, что понятия «республика» и «демократический принцип» для Роттека тождественны¹. Представляется, что для него они не взаимозаменяемы, поскольку он считал, что республика может существовать в условиях демократического и аристократического правления. Под демократией он понимал величие всех, а не господство народа. По Роттеку, демократический принцип — это основа равного права, он противопоставлял его господству привилегий².

Как рационалист, Роттек считал, что первая возникшая после заключения общественного договора форма власти — это демократия, причем он усматривал ее элементы во всех обществах. «Аристократия и монархия были лишь искусственными персонификациями общественной власти, тогда как демократия — естественная, и поэтому она „прародина“ всех остальных форм», — писал баденский либерал на страницах «Государственного лексикона»³. Роттек

1. См. об этом подробнее: *Jobst H. Die Staatslehre Karl von Rottecks // Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. Bd. 103 (1955). S. 487.*

2. *Staatslexikon oder Enzyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände (далее — SL). Bd. 4. Altona, 1837. S. 254, 256, 260–261.*

3. *Ibid. S. 257.*

считал, что демократия, а «именно демократический принцип или идея правового господства общей воли выражает сущность государства». Демократия, по Роттеку, может существовать как в республиканской, так и в монархической форме. Он использовал такие понятия, как республиканско-демократический и монархическо-демократический принципы, видел относительность преимуществ одного над другим¹. Ему импонировало то, как республика была воплощена в США.

Другая линия рассуждений ученого — это связь демократии с «конституционным принципом», с разумным правом, под которым он понимал естественное право², основами которого, как уже упоминалось, были свобода и равенство. Восхваляя демократию, Роттек полагал, что в чистом виде она не может существовать, поскольку неограниченная власть большинства могла привести к деспотии, а отказ от управляющих структур — к анархии³. Он выстраивал логическую цепочку прежде всего как либерал и полагал, что свобода должна распространяться не на всех граждан, а только на тех, которые в состоянии сделать разумный выбор. Именно их он считал наиболее ценными для государства и призывал защитить их права в конституции.

Теория либерализма тесно связана с практикой, это одна из важнейших особенностей данного феномена. Политическая реальность всегда вторгалась в концепции либералов, поэтому в практическом ракурсе Роттек уже предпочитал монархическо-демократический принцип. Либерализм — это постреволюционное движение, и с этих позиций монархическо-демократический принцип также предпочтительнее, так как меньший радикализм должен помочь избежать революционных всплесков. На страницах «Государственного лексикона», тома которого начали выходить в 1830-е гг., Роттек уже с долей скепсиса оценивал вероятность установления республики. Опираясь

1. SL. Bd. 4. S. 260–261.

2. Ibid. S. 262.

3. *Rotteck C. v. LdV*. Bd. 2. S. 199.

на историю Французской революции, он видел, что республика 1792–1794 гг. привела к господству «черни»¹. Подобная позиция иллюстрирует некоторый отход Роттека от умозрительных схем Просвещения, прежде всего от теории естественного права.

Коллега Роттека Велькер к теории естественного права подходил взвешенно. Он его не отвергал, но больше тяготел к исторической традиции. Свобода уже не была для него просто принципом теории естественного права, а на развитие форм государства он смотрел с позиции свободы, где кульминацией являлось правовое государство. Поэтому Велькер уже был безоговорочным сторонником конституционной монархии, наиболее удачное воплощение которой он видел в государственном устройстве Англии².

Феномен республики также стал предметом раздумий Велькера. Он отмечал, что это слово часто переводили как «свобода». Для него, впрочем, так же как и для Роттека, республика не являлась формой правления в собственном смысле этого слова, а выступала как основа, на которой покоится государственное устройство³. В представлении Велькера, наследственная монархия более соответствовала республиканской атмосфере, чем аристократия⁴.

Фридрих Кристоф Дальман (1785–1860) — известный историк и политик, представитель немецкого Севера — подходил к республиканскому устройству исторически. Он полагал, что республиканская форма подходит только Англии, а в Европе 30–40-х гг. XIX в. нет условий для ее осуществления⁵.

Теория естественного права не вызывала большого одобрения Дальмана. Он утверждал, что естественное состояние — это вспомогательное средство, которое позволяет интерпретировать возникновение государства как акт

1. *Rotteck C.v. LdV. Bd. 1. S. XV–XVI.*

2. Цит. по: *Sell F. Die Tragödie des Deutschen Liberalismus. Baden-Baden, 1981. S. 127; SL. Bd. 15. S. 55.*

3. *SL. Bd. 11. S. 521.*

4. *Ibid. S. 523.*

5. Цит. по: *Sell F. Die Tragödie des Deutschen Liberalismus. S. 127.*

человеческого творения¹. Идея постепенности, отрицание общественного договора, понимание сути государства как глубокой загадки бытия заставляют признать, что резкий разрыв с прошлым им не приветствовался². Более того, об отходе ученого от принципов Просвещения свидетельствует признание роли христианства в возникновении государства³.

Как и Роттек, он признавал типологию форм правления Аристотеля, но идеальной всегда считал наследственную монархию с определенной политической и имущественной компетенцией королевской власти и отсутствием ответственности монарха перед парламентом. Абсолютную власть монарха он отрицал в принципе. Наличие парламента было для Дальмана важнейшим условием монархического правления.

Профессор размышлял о демократии, но видел возможность ее существования или в определенных исторических периодах (Античности), либо на территории очень маленьких образований, например в швейцарских кантионах. Аристократическое правление Дальман считал довольно многообразным и утверждал, что это не просто наличие властных полномочий у избранных, но и такие формы, как теократия и олигархия, — т.е. в чистом аристотелевском виде оно, по его мнению, не существовало⁴.

Англия была для Дальмана идеалом политического устройства⁵: «...все, кто признает ценность различных ветвей власти, едины в том, что в Англии основы конституционного устройства как раз те, к которым стремятся все

1. *Dahlmann F.C.* Die Politik: auf dem Grund und Maß der gegebenen Zustände zurückgeführt. Berlin, 1924. S. 52–53.
2. *Ibid.* S. 55.
3. *Dahlmann F.C.* Ein Wort über Verfassung // Kleine Schriften und Reden über Staatenhaus. Stuttgart, 1886. S. 17.
4. *Idem.* Die Politik. Berlin, 1924. S. 59–61, 63–75, 84–99, 103–122.
5. Дальман очень глубоко проработал сюжеты, посвященные английскому устройству в трактате Монтескье, он был знаком с работой У. Блекстоуна «Комментарии английского права», где в систематической форме изложено английское государственное право. См. об этом: *Wilhelm Th.* Die englische Verfassung und der vormärzliche deutsche Liberalismus. Stuttgart, 1928.

новоевропейские государства»¹. Он с похвалой отзывался о двухпалатной системе английского парламента, но к местным органам власти относился с предубеждением, полагая, что их деятельность может привести к сепаратизму. Здесь мы видим рассуждение типичного либерала немецкого Севера, для которого достижение национального единства являлось более предпочтительным, чем ценности гражданского общества, признающего высокое значение местных органов власти.

Стремление Дальмана освоить историческую традицию связано с его заинтересованностью урегулировать Шлезвиг-Гольштейнский вопрос², т.е. включить герцогства, находящиеся под властью Дании, в немецкий мир. Опираясь на рационалистические схемы Просвещения, решить проблему герцогств было невозможно, тем более что эти схемы не признавали роль национального начала. С другой стороны, именно стремление урегулировать Шлезвиг-Гольштейнский вопрос заставило Дальмана как депутата Франкфуртского парламента солидаризироваться с демократами и выступить против ратификации перемирия Мальмё от 26 августа 1848 г., завершавшего прусско-датскую войну 1848 г. Оно было подписано Пруссией под давлением Англии, Швеции и России, не желавших усиления Германии.

Политическим идеалом демократов Франкфуртского парламента во главе с Р. Блюмом была республика. Они отказались от ратификации перемирия, поскольку были против того, чтобы Германия растворилась в Пруссии, так как это бы реально осложнило борьбу за республику. Дальман их поддержал. Он представлял во Франкфуртском парламенте Пруссию, однако оспаривал ее решение. Либерал солидаризировался с демократами не из-за республиканских убеждений, а из-за стремления включить Шлезвиг в состав Германии. В итоге демократы и Дальман

1. *Dahlmann F.C.* Ein Wort über Verfassung. S. 18.

2. Герцогства Шлезвиг и Гольштейн с XIV в. находились под властью Дании, населены они были преимущественно немцами. Гольштейн входил в состав Германского союза. Либеральные политики немецкого Севера были заинтересованы, чтобы власть Дании в этих герцогствах была уничтожена.

проиграли, перемирие под нажимом либералов было ратифицировано, но монархические убеждения историка поколеблены не были и республика как политический выбор им во внимание никогда не принималась¹. Он поддерживал республиканский выбор как форму правления, но это было ситуативно, от «классического республианизма» он не отмежевывался.

Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) — известный прусский политик и ученый — являлся наиболее ярким представителем интеллектуального либерализма. Восток Германии всегда проявлял большую склонность к постепенности изменений с опорой на традицию. Антирационалистический дискурс можно обнаружить в одной из первых работ В. фон Гумбольдта «Идеи конституционного государственного устройства в связи с новой французской конституцией», где подчеркивалось, что «не сможет удалиться ни одна государственная конституция, которая создает государство по заранее намеченному плану как бы с самого начала; может удалиться только такая конституция, которая возникла в результате борьбы более мощного случая с противостоящим ему разумом»². Под «мощным случаем» Гумбольдт понимал традицию, которую следовало востребовать, проводя преобразования.

Политические вопросы находились в фокусе размышлений ученого, но он их осмысливал исторически. Вместо Аристотеля Гумбольдт апеллировал к Платону. Этот античный философ был популярен в европейской гуманистической мысли³. Гумбольдт принадлежал эпохе неогуманизма, поэтому с пиететом относился к Платону. Немецкий мыслитель подчеркивал нравственное начало в античной мысли. Он писал: «...древние философы всегда заботились также в существенном смысле и о человеке;

1. См. об этом подробнее: *Ростиславлева Н.В.* Проблема «историк и политика» в творчестве Ф.К. Дальмана (1785–1860) // Новая и новейшая история. 2008. № 1. С. 149.
2. *Гумбольдт В. фон.* Идеи конституционного государственного устройства // О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. М., 1995. С. 184.
3. См., например, сочинения Т. Мора или Эразма Роттердамского.

так как нравственное достоинство казалось им в человеке высшим благом, то поэтому „Республика“, например, по чрезвычайно верному замечанию Руссо, есть сочинение не политическое, а скорее педагогическое»¹. К античным порядкам в целом и к античной республике Гумбольдт относился со скепсисом. Он призывал к такому политическому устройству, которое бы принимало во внимание внутренние потребности отдельной личности.

На страницах работы «О пределах государственной деятельности» Гумбольдт писал, что лучше, если бы вместо государственных отношений возникали доброжелательные соглашения граждан, имеющие целью достижение общей безопасности. Он замечал: «...и пусть мне будет позволено противопоставить эту безопасность всем остальным возможным целям государственной деятельности, обозначенным общим именем положительного блага граждан»². А. Гулыга увидел в этом произведении Гумбольдта критику деспотического государства с его вмешательством в повседневную жизнь людей³.

Оптимальной формой правления была для Гумбольдта монархия, так как «...избрание именно монархической формы представляется доказательством высшей свободы избирающих... Наиболее целесообразным в этом случае будет один единичный предводитель или один судья. Забота о том, что этот единичный предводитель или судья может сделаться властителем, недоступна свободному человеку»⁴. Понимая свободу в нравственном ключе, Гумбольдт выступал за мудрого правителя у власти. Республиканскую форму для современного ему мира он не обсуждал. Рационализм, а следовательно, и теорию естественного права он отвергал в качестве оси координат в оценке форм правления.

Представитель немецкого Запада, точнее промышленно развитой Рейнской области, которая стала частью Пруссии

1. *Гумбольдт В.* О пределах государственной деятельности. Челябинск; М., 2003. С. 9.
2. Там же. С. 19.
3. *Гулыга А.В.* Немецкая классическая философия. М., 2001. С. 174.
4. *Гумбольдт В.* О пределах государственной деятельности. С. 48.

только в 1815 г., *Давид Ганзман* (1790–1864) был известным политиком, бизнесменом, банкиром. Его активная как предпринимательская, так и политическая деятельность началась в 30-е гг. XIX в., когда влияние Просвещения и Французской революции практически исчерпало себя. Отрицая принцип народного суверенитета, Ганзман считал, что власть монарха в современных условиях не может восприниматься в отрыве от идей общего блага и прерогативы государства. В 1831 г. он писал: «В политике не могли бы царить никакие соображения кроме как власть и благо государства или то, что от этого неотделимо, — блеск и власть монархии»¹. Республиканскую форму он не одобрял, демократические идеи также не нашли его отклика. Но, восхваляя монархический принцип, он полагал, что монарх должен разделить свою компетенцию с двухпалатным парламентом и допустить принцип ответственности министров перед парламентом, свободу печати и влияние общественного мнения². Ганзман был сторонником сильной монархической власти, но, как бизнесмен, понимал важность отсутствия политического деспотизма для буржуазного развития.

Как и другие рейнские либералы, например Меффиссен, Ганзман рассматривал развитую промышленность как одно из условий свободы³. Республиканская идея им никогда не принималась во внимание, а к демократическим идеалам он относился настороженно. Но германские демократы его ценили. Созыв Соединенного ландтага в Пруссии в годы революции 1848–1849 гг. во многом состоялся благодаря популярности рейнских либералов Д. Ганзмана и Л. Кампгаузена среди демократов.

Ганзман демократические идеи не одобрял, препятствовал организованному сопротивлению народа в годы

1. Цит. по: *Hansen J.* Preußen und Rheinland von 1815 bis 1915. Hundert Jahre des politischen Lebens am Rhein. Bonn, 1918. S. 67.
2. *Hansemann D.* Über Preußens Lage und Politik am Ende des Jahres 1830 // Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830–1850 / Hrsg. von J. Hansen. Bd. 1. 1830–1845. Essen, 1919. S. 47–49.
3. См. об этом подробнее: *Langewiesche D.* Liberalismus in Deutschland. Frankfurt/M., 1988. S. 31–32.

революции 1848–1849 гг., мотивировав это тем, что народные собрания создают помехи на улицах и площадях города¹.

Революция 1848–1849 гг. поставила на повестку дня всеобщее избирательное право. Именно на его основе был сформирован Франкфуртский парламент. Ганземан являлся противником всеобщего избирательного права, выступал за установление имущественного ценза, однако прусское правительство в целом в 1848 г. склонялось к его введению, поскольку таким образом оно смогло бы противостоять напору демократов. Ганземан с марта по сентябрь 1848 г. был в составе либерального министерства в Пруссии, часто являлся оппонентом правительственному большинству. Безотлагательные реформы, порядок и соответствующая интересам буржуазии конституция — это то, к чему политик стремился, но кабинет министров и король его не поддерживали². Демократический принцип им не одобрялся ни при каких условиях.

Для раннего германского либерализма республиканизм является отчасти анахронизмом, поскольку он был имманентно связан с философией рационализма и принципами теории естественного права, которые являлись важнейшими элементами эпохи Просвещения и основами для разрыва с традицией. Республиканская идея актуализировалась теми либеральными мыслителями, которые испытывали сильное влияние схем французского Просвещения, например баденским мыслителем К. фон Роттеком. Однако необходимость для либералов реализовывать свои идеи на практике заставляла их выступать с поддержкой не республиканской формы, а республиканского духа, который, по их мнению, прекрасно сочетался с монархической формой, что уже отмечалось при анализе представлений о республике И. Канта.

Развитие раннего либерализма в Германии происходило в направлении от одобрения естественного права к признанию важности исторического права, т.е. традиции.

1. См. об этом: *Rehmann E. David Hansemann als Represäsentant der preussischen Bourgeoisie. Berlin, 1981. S. 312–313, 315.*
2. *Ibid. S. 325–326.*

Поскольку в силу исторической традиции практическое осуществление республиканского идеала в тогдашней Германии не представлялось возможным, то такая умозрительность в первой половине XIX в. обретала определенную утопическую коннотацию.

В годы революции 1848–1849 гг. понятие республики перестроилось, что связано с дискуссиями во Франкфуртском парламенте о государственной форме: республика или конституционная монархия¹.

Республиканская идея восторжествует в либеральных кругах после поражения Германской империи в Первой мировой войне. Блестящей иллюстрацией идейной эволюции от монархического принципа к республиканизму являются политические взгляды *Макса Вебера* (1864–1920), который сформировался в либеральной среде и считается одним из значимых либералов рубежа XIX—начала XX в.

В основу отношения немецкого социолога к действительности лежал ценностный подход. Ведущими ценностями по Максу Веберу были нация, власть, культура.

Вопрос о форме государства занимал ученого в связи с ценностью нации и ее будущим в мире. В конце XIX в. и в годы Первой мировой войны он полагал для Германии оптимальной монархическую государственную форму, поскольку она выводит «вершину правления из конкурентной политической борьбы, предоставляет известную устойчивость курса и независимость правительства от партий»². Но это должна быть парламентская монархия, преодолевшая пагубное наследие Бисмарка, который злоупотреблял «монархическим чувством» и оставил после себя «совершенно беспомощный парламент»³. Из культурно-политических соображений Вебер считал целесообразным сохранение отдельных немецких династий.

1. *Nolte P.* Bürgerideal, Gemeinde und Republik. «Klassischer Republikanismus» im frühen deutschen Liberalismus. Berlin, 1992. S. 654.
2. Цит. по: *Вебер М.* Жизнь и творчество Макса Вебера. М., 2007. С. 480.
3. *Weber M.* Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland // Weber M. Gesamtausgabe. Abteilung 1. Bd. 15. Tübingen, 1984. S. 450.

В годы Первой мировой войны ученый, размышляя о монархии, руководствовался приоритетом нации. Он писал: «Ни одного выстрела я бы не сделал и ни одного пфеннига не уплатил бы в качестве военного займа, если бы эта война не была национальной, если бы речь шла о форме государства, например о войне за то, чтобы мы сохранили эту беспомощную династию и это аполитичное чиновничество. Форма государства для меня безразлична, если страной управляют политики, а не дилетанствующие шуты, как Вильгельм II и ему подобные»¹. В силу данных причин Вебер видел необходимость в утверждении принципа парламентаризации.

В 1916 г. ученый выступил в Нюрнберге по приглашению «Немецкой национальной комиссии по вопросам достойного мира», где он заявил, что люди воюют не ради «идей 1914 г., а ради идей 1917 г.» Война должна ускорить демократизацию и предоставить всем равное избирательное право. Вебер рвался в политику, но он не был востребован и всю свою энергию направил на размышление об «идеях 1917 г.»².

С начала лета 1917 г. Вебер начал издавать значительные статьи по вопросам государственного устройства. В работе «Избирательное право и демократия в Германии» он отстаивал демократическую идею равного избирательного права, но уточнял, что в любом государстве демократия приводит к бюрократическому правлению, поэтому там, где имеются наследственные органы государственной власти, парламентская власть необходима. Преимущества парламентаризации Вебер видел в существовании парламентского расследования, контроле за поступками чиновников, ведении дискуссии в парламенте и поиске компромисса³.

В 1918 г. Вебер в статье «Парламент и правительство в новой Германии» вновь поднял вопрос о соотношении

1. *Weber M.* Жизнь и творчество Макса Вебера. С. 480.
2. *Weber M.* An der Schwelle des dritten Kriegsjahres // *Weber M. Gesamtausgabe. Abteilung 1. Bd. 15.* Tübingen, 1984. S. 660.
3. *Weber M.* Wahlrecht und Demokratie in Deutschland // *Weber M. Gesamtausgabe. Abteilung 1. Bd. 15.* Tübingen, 1984. S. 347–396.

понятий демократизации и парламентаризации. Он видел проявление демократизации в том, что в Германии невозможно существование двухпартийной системы и в ней «долгое время будет одновременно существовать четыре-пять крупных партий». Также ученый увязывал вопрос о парламентаризации с федерализацией и доказывал, что отмена прусского трехклассного избирательного закона является общегерманским делом. Вебер признавал, что национально мыслящий политик будет стремиться к универсальным тенденциям развития, но будет иметь в виду политические преобразования для своего народа, т.е. эти политические преобразования, по Веберу, необходимы для решения «мировых политических задач»¹. Идея господства как одна из базовых ценностей ученого отчетливо просматривается в его рассуждении о парламентаризации и демократизации, парламентаризации и федерализации.

Все эти размышления Вебера совпали с настоящей потребностью в окончании войны. К концу лета 1918 г. наступил практически полный паралич политических сил. Но только 28 октября 1918 г. указом кайзера были внесены решительные изменения в конституцию, т.е. демократизация и парламентаризация состоялись, но их значение утонуло в начавшейся революции и поражении Германии в Первой мировой войне.

Еще в ноябре 1918 г. М. Вебер полагал, что только добровольное отречение Вильгельма II может спасти монархию и династию. Он принял идею республики, когда республика в Германии состоялась. Его выбор — это республика политической демократии, а не республика советов. Позиция Вебера — это, безусловно, отказ от *res publica / civitas*. Но его пример прекрасно показывает: преодоление «классического республиканизма» было в Германии повсюду болезненным процессом. Вебер, наряду с Г. Пройсом, принял участие в разработке конституции Веймарской республики, отстаивая федеративный принцип государства и его многопартийный характер. В условиях Версальской

1. *Idem.* Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland. S. 596.

системы, которая у него вызывала отторжение, он не отказался от своих ценностных ориентиров, что заставило его выступить с предложением: обеспечить устойчивость республики в чрезвычайных обстоятельствах и включить в основной закон 48-ю статью, что в дальнейшем позволило социологам называть Вебера идеологом принципа фюрерства. Представляется, что это выглядит несколько утрированно, так как Вебер 14 июня 1920 г. умер от испанского гриппа и историки уже не могут знать, как он отреагировал бы на ситуацию конца 20-х гг. XX в.

Что касается Франции, то она вошла в XX в. с совершенно упроченным республиканским режимом. Внутренняя история Франции за три последних десятилетия XIX в. в значительной степени сводится к борьбе одних общественных сил внутри страны за республику, других — против республики¹. В политической истории Франции до конца XIX в. сменилось три республики. Но сама республиканская идея имеет там долгую историю и, как уже было показано, корнями уходит в историю Французской революции конца XVIII в. Н.И. Кареев считал, что Первая республика во Франции была созданием исключительных обстоятельств, переживавшихся страной, против которой начали войну другие державы и которой изменяло, в союзе с внешним врагом, ее собственное правительство. «Можно даже сказать, что это была республика без республиканцев. <...>. Убежденные и деятельные республиканцы в эпоху первой революции составляли, по сравнению с многомиллионным населением страны, лишь незначительную горсточку, в которой притом не было единства и отсутствовали настроения и навыки политической свободы»².

В истории социалистической мысли Франции эта республика вызывала восхищение. *Сильвен Марешаль* (1750–1803), соратник казненного в 1796 г. Гракха Бабефа, писал о «великом дне 10 августа 1792 г.» — дне свержения монархии

1. *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Т. VII. Часть I. Пг., 1916. С. 52–53.
2. *Он же.* История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Часть I. СПб., 1909. С. 175.

во Франции. Не менее великим днем он объявлял 21 января — дату казни Людовика XVI, когда «были сброшены оковы, которые нас сжимали четырнадцать веков. <...> да здравствует республика. Клянитесь еще раз поддерживать ее, единую и неделимую, до самой своей смерти...». Также Маршалль писал о верности незыблемым принципам, составляющим «нетленную основу нашей вечной Республики»¹. Причем казнь жирондистов — убежденных республиканцев и творцов первой республики — Маршалль приветствовал, одобрял также и казнь Эбера, Шометта, Дантона, Демулена, Жака Ру и даже самого Робеспьера. Представляется, что его больше волновала не республика как форма правления, не республиканский принцип, а отмена дворянских привилегий, уничтожение санкюлотами собственности аристократов, равенство, которое нашло выражение в политике максимума цен².

В начале XIX в. с призывом к созданию всемирной ассоциации народов, необходимости всестороннего экономического развития в интересах обездоленного класса общества выступили *Анри Сен-Симон* (1760–1825) и его последователи, сенсимонисты. Защитниками социальной справедливости являлись Фурье и фурьеристы, Э. Кабе, Т. Дезами, О. Бланки и многие другие. Для Сен-Симона государственная власть должна была быть организатором производства, т.е. руководить не людьми, а вещами и стремиться, как уже отмечалось, к установлению всемирной ассоциации народов при устранении национальных границ. Но реальная политика заставляла социалистов поддерживать другие политические формы.

XIX в. вошел в историю Франции как эпоха борьбы за республику. В период Реставрации республиканские идеи во Франции не приветствовались. Как уже отмечалось, либералы не симпатизировали ни республике, ни демократии. Только отдельные лица, такие как *Жильбер Лафайет* (1757–1834) и *Антуан Дестют де Траси* (1754–1836), слыли

1. *Marechal S. Tableau historique des événements révolutionnaires de l'an II. Paris, 1795. P. 12, 15–16, 164–165.*
2. *Кучеренко Г.С. Исследования по истории общественной мысли Франции и Англии. XVI — первая половина XIX в. М., 1981. С. 220.*

за республиканцев, но они лишь в принципе признавали этот образ правления, полагая, что осуществление его возможно лишь в очень отдаленном будущем. Но даже среди представителей тайных обществ студентов, мечтавших о низвержении Бурбонов, республиканская идея была выражена слабо. Лишь к самому концу Реставрации началась теоретическая разработка и литературно-публицистическая пропаганда республиканских идей.

Особенностью Франции 1830-х гг. являлось сосуществование идей республики политической демократии и социальной республики, т.е. республики справедливости, которая прочно связана с распространением принципов социализма. Как направление политической мысли социализм ставил перед собой задачи радикального изменения социальных и особенно экономических отношений на началах справедливости. Республика в данном контексте играла роль инструмента, позволявшего переформатировать социально-экономические отношения на началах равенства, обеспечить право на труд и реализовать идею производственной кооперации.

В дальнейшем республиканская идея прочно вошла в арсенал социалистической мысли Франции, представители которой, например *Луи Блан* (1811–1882), уже в июльской революции 1830 г. видели шансы для утверждения республики и переживали по поводу того, что политическое воспитание умов в период Реставрации было слабым. Например, как писал Луи Блан, эмиссар республиканцев Лафайет проявил нерешительность и на переговорах с претендентом на престол Бурбонов герцогом Орлеанским, они «говорили о республике, о республике Соединенных штатов: Лафайет с тем, чтобы сказать, что она пользуется всеми его симпатиями; герцог — чтобы возбудить сомнение насчет возможности применения в такой стране, как Франция, американских теорий. <...> [Он] соглашался с Лафайетом, что „Франции нужен трон, окруженный республиканскими учреждениями“»¹. Идея примирения

1. *Блан Л.* Июльские дни 1830 г. (из истории десяти лет). Киев, 1906. С. 140.

республики и монархии была популярной в тот период французской истории, «республиканский трон» оценивался Луи Бланом как последняя мечта, порожденная желанием перемен¹. Но сторонники социальной республики, воспитанные на идеях Сен-Симона, например С.-А. Базар, воспринимали июльские дни как упущенный шанс для дела республики².

В целом в сознании французской интеллигенции в годы июльской монархии республика была окружена романтическо-патриотическим ореолом. После гибели наполеоновской империи Франция не играла особой роли в европейской политике, тогда как воспоминания о Первой республике идеализировались, отождествлялись с гражданской доблестью Республиканского Конвента, спасшего Францию от иноземного завоевания.

Накануне европейских революций 1848–1849 гг. влиятельными становятся социалистические течения. Во Франции — это прежде всего идеи *Пьера-Жозефа Прудона* (1809–1865), в Германии — *М. Гесса* (1812–1875) и *Карла Грюна* (1817–1877), представителей немецкого, или «истинного», социализма. Между ними установились тесные и дружеские связи. Что касается Прудона, то именно тогда он показал себя противником государства в принципе, заявляя, что «свобода — это анархия, ибо она не допускает господства произвола, признает лишь авторитет закона, т.е. необходимости»³. В статье «Последние философы», явно под влиянием Прудона, Гесс писал об анархии как об упразднении государства⁴. Но Гесса нельзя назвать противником всякого государства: он полагал, что его недостатки зависят не от сущности этого института, а от конкретных форм, от порочности и глупости властей⁵. Но о желаемых формах он не высказывался и путь к изменению общества видел тогда еще не в революции, а в воспитании и образовании, был

1. Там же. С. 141.

2. Там же. С. 141, 145.

3. Цит. по: *Бернштейн Э.* Анархизм. СПб., 1907. С. 45.

4. *Hess M.* Philosophische und sozialistische Schriften. Berlin, 1980. S. 391.

5. *Ibid.* S. 199.

приверженцем мыслей Гегеля о мировой гармонии и фейербаховского гуманизма. Главную задачу и Прудон, и Гесс видели в необходимости достичь социальной гармонии. В годы революции 1848–1849 гг. произошло размежевание сил: Грюн остался вместе с Прудоном, тогда как Гесс встал на позиции марксизма и не приветствовал ту республику, за которую выступали французские социалисты и немецкие демократы в 1848–1849 гг.¹

Вторая республика (1848–1852) во Франции, которая возникла в результате февральской революции 1848 г., оказалась непрочной. Н.И. Кареев обращал внимание на сильную монархическую традицию Франции и причины непрочности Второй республики видел в том, что «продолжали существовать влиятельные и сильные численностью общественные классы, проникнутые монархическими традициями и усматривавшие в республике прямую опасность для своих интересов»². Одна из отрицательных черт республиканизма 1848–1852 гг. заключается в его своеобразном доктринерстве, заставившем деятелей этой эпохи подражать монтаньярам 1793 г., поскольку потомки парижских санкюлотов продолжали чтить традиции Первой республики. А. Токвиль полагал, что монтаньяры не соответствовали духу этой революции, которой были ближе социалистические идеи. Однако именно в это время во Франции после июньского восстания рождается противостояние «приличной республики» (*honette Republik*), точнее республики политической демократии, и «красной республики» (*rote Republik*)³, социальной республики.

1. *Ростиславлева Н.В.* Мозес Гесс о Прудоне // Анархия и власть. М., 1992. С. 41–49.
2. *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Ч. I. СПб., 1909. С. 176.
3. *Mager W.* Republik. S. 639. Существует другая точка зрения, что для Германии такое противостояние не актуально. Так, Нольте отмечал, что вплоть до конца XIX в. не была преодолена классическая интерпретация республики (*civitas*). Исключение составляло рабочее движение, которое стояло на позициях красного республиканизма. Это, по его мнению, привело к тому, что только после Первой мировой войны, а в полной мере после 1945 г. республика стала восприниматься как одна из форм правления. См. об этом подробнее: *Nolte P.*

Антидемократический натиск в годы Второй республики получил ярко выраженный антиреспубликанский характер, что в итоге привело к созданию Второй империи Наполеона III. В годы становления Третьей республики (1875–1940) на пути осуществления республиканской идеи стояли те же препятствия, которые похоронили и Первую, и Вторую республику: противостояние городской демократии и крупных землевладельцев, клерикалов и консервативно настроенных крестьян¹.

В промежутках между существованием республик во Франции происходил полный разгром республиканских партий, правительственные и общественные репрессии против республиканцев², а призыв «Да здравствует республика!» обрел мятежное значение. Республиканцы почти на два десятилетия были исключены из политического курса Франции. После амнистии 1859 г. вернувшиеся из изгнания республиканцы стали поддерживать депутатов своей партии, а вскоре в общественную жизнь вступило новое поколение республиканцев, в числе которых Флоке, Гамбетта, Ферри, совсем молодой Клемансо. Они публиковали в малоизвестных газетах памфлеты, задевавшие Вторую империю³.

Пробуждение общественного недовольства режимом Второй империи проявилось в пристальном внимании к наследию Французской революции XVIII в. Именно в эти годы были написаны работы о Революции Луи Блана, Мишле, которые, в отличие от Тьера и Минье, осмысливали Первую республику не с буржуазных, а с демократических позиций⁴, поэтому республиканизм в эти годы начал

Bürgerideal, Gemeinde und Republik. «Klassischer Republikanismus» im frühen deutschen Liberalismus // Historische Zeitschrift. Heft 254 (1992). S. 654–655.

1. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Ч. I. С. 177.
2. Там же.
3. Николадзе Н. Луи Блан и Гамбетта // Отечественные записки. 1883. № 1. С. 74–107.
4. Блан Л. История французской революции: В 12 т. СПб., 1907–1909; Michelet J. Histoire de la révolution française. 9 vols. Paris, 1879.

соединяться с социальной идеей. Политики-республиканцы также на излете Второй империи проявляли интерес к лидерам Революции: Гамбетта восхищался Дантоном, Гамель — Робеспьером и Сен-Жюстом.

На республиканизм 1860-х гг. оказывали влияние философия позитивизма, материализма, агностицизма, на Гамбетта, например, сильное воздействие оказал Конт. Вновь обретали популярность идеи О. Бланки и П.-Ж. Прудона, что вело к разрыву республиканцев с якобинизмом и распространению республиканской идеи в социалистическом духе.

Третья республика заставила республиканизм пережить немало драматических эпизодов. Приверженцы республики Жюль Ферри, Жюль Фавр, Леон Гамбетта, Жюль Симон столкнулись с сильным противодействием монархистов. Не было единства и среди республиканцев, которые нередко солидаризировались с орлеанистами (умеренными монархистами). А. Тьер являлся не только первым президентом Третьей республики, но и ее теоретиком, стремившимся примирить свободу и порядок. Так, Георг Еллинек в своем общем учении о государстве полагал, что Третья республика «осуществила, на основе учения Б. Констана, Тьера и Прево-Парадоля, систему парламентарного правления, и глава государства занимает положение нейтрального элемента, стоящего над другими государственными факторами, но зато лишенного реального участия в руководстве государственными делами. Во Франции палаты являются высшим органом по отношению к президенту...»¹. Он определял такую республику как чисто представительную демократическую республику, в которой правительство находится в постоянной зависимости от решений парламента². В условиях зависимой исполнительной власти, преобладания в палатах Национального собрания монархистов появляется слоган, определявший суть Третьей республики в 1870-е гг., — «Республика без республиканцев». В этих условиях признанным вождем в борьбе за республику стал

1. *Еллинек Г.* Общее учение о государстве. СПб., 1903. С. 487.

2. Там же. С. 485, 487.

Леон Гамбетта. Он требовал настоящей, а не поддельной, истинно «республиканской республики», наступление которой знаменовало бы переход власти к новым общественным слоям, основал газету «Французская республика», на страницах которой требовал введения прочной республиканской конституции¹. Кареев сравнивал Францию с парламентарной монархией с президентом вместо короля во главе². На наш взгляд, это не самое удачное сравнение знаменитого русского историка, так как в конституционной монархии, согласно Еллинеку, существует «два непосредственно первичных органа», тогда как в Третьей республике и президент, и правительство всецело были зависимы от палат.

Французскому политическому республиканизму последней трети XIX в. была присуща гетерогенность: существовали традиционная республиканская партия, крайне левая, к которой принадлежал Гамбетта, а под влиянием таких кризисов Третьей республики, как буланжизм и Панамская афера, усилила свои позиции новая радикальная партия во главе с Жоржем Клемансо.

Республика не могла перевоспитать нацию сразу, поэтому основа для реакции сохранялась, но республика не уделяла должного внимания социальному вопросу, и сохранялась хорошая основа для социалистического движения и переосмысления истории Революции с социалистических позиций, что и было сделано Ж. Жоресом³.

Были историки, например И. Тэн, которые скептически отзывались «о возможности и пригодности республики во Франции». Тэн после поражения Парижской коммуны проорочил скорое падение республики⁴. В годы Третьей республики с позиций позитивизма и психологического метода

1. *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Ч. I. С. 200.
2. Там же. С. 213.
3. *Жорес Ж.* Социалистическая история французской революции: В 6 т. М., 1976–1983.
4. *Кареев Н.И.* История Западной Европы в Новое время. Т. VI. Ч. I. С. 159.

он написал сочинение о Наполеоне Бонапарте и труд «Происхождение современной Франции», где осуждал Революцию, которая разрушила французскую традицию и вызвала появление политического республиканизма. С этих же позиций он осуждал наполеоновский режим, но не только за присущий ему авторитаризм, но и за чужеродность и непонимание исторической традиции Франции¹. Ренан, Тэн, Флорбер выступали против демократии и демократических принципов, считая, что спасение Франции — установление политического руководства среднего класса.

Как писал в 1929 г. П.Н. Миллюков: «Республика есть, несомненно, лучший государственный строй для народов, достигающих достаточной степени народного развития. Это не значит, что республика есть безусловно высший идеал, годный для всех времен и народов, на всякой ступени их развития». Хотя, как отмечал автор, и у монархии «есть поклонники, тоже склонные считать ее высшей формой для всех времен и народов и ступеней развития»². Однако историк подчеркивал, что монархия — это форма прошлого, а XX столетие — век демократов-республиканцев. «Даже в таких странах, как Германия, — писал Миллюков, — где еще недавно существовала монархия, выдававшая себя за окончательное воплощение духа германского народа <...> эта монархия уже заменена демократической республикой»³. С позиции методологии истории понятий в XX в. произошло опустошение смысла, инфляция термина, что проявилось в его использовании в названии государств⁴. Республика окончательно утратила антимонархическую направленность, стала понятием и начала обретать эмоциональный смысл.

1. Тэн И. Наполеон Бонапарт. М., 1888; *Он же*. Происхождение современной Франции: В 5 т. СПб., 1907.
2. Миллюков П.Н. Республика или монархия? Б.м., 1929. С. 4–5.
3. Там же. С. 5.
4. Mager W. Republik. S. 650.

К.Д. Бугров, М.А. Киселев

Глава V

Республиканская идея в России в век Просвещения

***Respublica* переводов и проповедей в первой четверти XVIII в.**

В 1700 г. в преамбуле к Константинопольскому мирному договору между Россией и Турцией, оригинал которого был написан на латыни, от имени договаривавшихся сторон заявлялось: «Обоюду приложив склонение, воля учинилась, дабы покой обновился и права дружбы и употребление древняго соседства поставлены были, которые причиною суть согласия вещей гражданских, и сотворяют обилие и пользу народов»¹. *Вещь гражданская* — это дословный перевод латинского *res publica*. Можно только догадываться, как современники понимали выражение *вещь гражданская*. Вполне возможно, что даже переводчик этого договора, сделав такой дословный перевод, не до конца понимал политической специфики понятия *respublica*, которое современный переводчик без труда передал в обозначенном контексте как *государство*.

О сложностях с пониманием политического значения понятия *respublica* в начале XVIII в., которые были у российских переводчиков, позволяют судить издания Ф.П. Поликарпова-Орлова (ок. 1670–1731), успевшего отучиться к моменту их создания в том числе в Славяно-греко-латинской

1. Трактат, заключенный в Константинополе, 3 июля 1700 года // Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 1869. С. 2. См. также: Хархордин О.В. Республика, или Дело публики. СПб., 2020. С. 88; Словарь русского языка XVIII века. Вып. 3. Век—Воздуть. Л., 1987. С. 104.

академии. В «Букваре» 1701 г. в разделе «О чинех политических, и мирских» — «De officiis politicis, & mundanis» приводились слова, описывавшие монархическую форму правления: *самодержец, кесарь* — *Imperator, caesar, монарх* — *monarcha, царь* — *rex* и т.д.¹ Кроме того, в книге был раздел «О граде, и яже суть в нем» — «De urbo, & quae sunt in ea», в котором были помещены слова, связанные с городской жизнью: *город великий; городок; погост; город приморский; город многолюдный; град столичный; стены градски; ворота градския; вал, окоп; перекон, ров; столп, башня; улица; тесная улица; мясной ряд; лавка с тавары; купец, купчина; кружало, кабак*. И именно в этом разделе посреди городских строений и их обитателей наравне с *отчизной* и *отечеством* оказалось слово *гражданство*, оно же — *політіа*, оно же — *civitas, respublica*². Соответственно, у читателя могло сложиться впечатление, что слово *гражданство* обозначает только городскую жизнь, а не суверенную политическую общность. Впрочем, в «Трехязычном лексиконе» 1704 г. латинское *res publica* и греческое *політіа* Поликарповым-Орловым переводилось уже как «Народное жителство»³. Правда, стоит полагать, читателю такой перевод мало что говорил о политическом смысле *respublica*.

Отметим, что Ф.П. Поликарпов-Орлов ориентировался на знакомые ему рукописные лексиконы, составленные ученым монахом-богословом Епифанием Славинецким (ум. 1675)⁴. В Московском государстве с середины XVII в. в столичной интеллектуальной среде, связанной с царским двором, возрастающее влияние приобретали выходцы из белорусских и украинских земель, имевшие возможность

1. *Поликарпов-Орлов Ф.П.* [Букварь славяно-греко-латинский]. М., 1701. Л. [III об.].

2. Там же. Л. [116–117].

3. *Поликарпов-Орлов Ф.П.* Лексикон трехязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704. Л. [184 об.].

4. См.: *Рамазанова Д.Н.* «Лексикон трехязычный» Федора Поликарпова в собрании Музея книги Российской государственной библиотеки // Вивлиофика: История книги и изучение книжных памятников. Вып. 1. М., 2009. С. 158–199. См. о Епифании Славинецком: *Румянцева В.С.* Епифаний Славинецкий в Москве // Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и различное / Под ред. М.В. Дмитриева. М., 2012.

приобщиться к западноевропейским политическим понятиям и представлениям¹. Собственно, Епифаний Славинецкий как раз прибыл в Москву из Киева в 1649 г. и привез с собой «Латинский лексикон», в котором для латинского слова *respublica* был предложен перевод *гражданство, житие народное*². В другом словаре, составленном Епифанием Славинецким уже с привлечением Арсения Сатановского (ум. после 1653) и названном «Лексикон словено-латинский», *гражданство* переводилось как *civitas, urbanitas*, а *народное житие* — *res publica, communitas*³. Итак, из таких лексиконов действительно могло сложиться впечатление, что *respublica* — это что-то связанное с городской жизнью.

Иное дело, что не стоит абсолютизировать эти примеры. В России второй половины XVII в. уже были интеллектуалы, которые могли объяснить представителям правящей элиты политическое значение понятия *respublica*. Так, в 1664 г. в Москве оказался другой ученый монах из Речи Посполитой — Симеон Полоцкий (1629–1680). Получивший образование в Киево-Могилянской коллегии, а также прослушавший курсы моральной философии и теологии в Виленской иезуитской академии⁴, он с 1667 г. был воспитателем детей царя Алексея Михайловича (1629–1676), включая и взшедшего на престол в 1676 г. Федора Алексеевича (1661–1682). Помимо прочего, в Москве Симеон Полоцкий написал энциклопедию в стихах «Вертоград многоцветный»,

1. См.: Киселева М.С., Чумакова Т.В. Вхождение России в интеллектуальное пространство Европы: между Царством и Империей // Вопросы философии. 2009. № 9. С. 22–44.
2. Лексикони Е. Славинецького та А. Корецького-Сатановського / Підг. до вид. В.В. Німчук. Київ, 1973. С. 353.
3. Там же. С. 441, 472. Работавший в середине 1650-х гг. над переводом атласа Я. Блау товарищ Епифания Славинецкого монах Исайя передал на русский латинские заголовки «Liguria sive status reipublicae Genuensis», «Respublica Lucensis» с помощью слова *гражданство*: «Лигурия или чин гражданства Генуенского», «Гражданство Луценское» (Казакова Н.А. Русский перевод XVII в. труда Блау «Theatrum orbis sive atlas novus» // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XVII. Л., 1985. С. 166, 167).
4. Сазонова Л.И. Так был ли Симеон Полоцкий «тайным униатом»? // Славяноведение. 2018. № 2. С. 58.

где поместил виршу «Гражданство», в которой речь велась о следующем:

*Како гражданство прєблаго бывает,
гражданствующым знати подобает¹.*

Кроме того, в вирше «Власть» Симеон Полоцкий поместил такие строфы:

*Властелин глава, прочии же люди
суть во гражданстве, яко в теле уди.
Глава всех тело, власть люд управляет
и промышляет².*

В данном случае тезис, что *властелин — глава (голова) гражданства*, а *другие люди* — остальные члены политического тела, фактически воспроизводил существовавшие со Средневековья западноевропейские рассуждения в духе «*Rex / Princeps caput est Reipublica*»³.

Уже ученик Симеона Полоцкого, близкий к царевне Софье (1657–1704) придворный интеллектуал Сильвестр Медведев (1641–1691) так озаглавил свое историческое сочинение о стрелецком бунте 1682 г.: «Созерцание краткое лет 7190, 7191 и 7192, в них же что содеяся во гражданстве». При этом он написал в нем ряд общих суждений об управлении *гражданством*. Согласно этому тексту, Аристотель «советовал в гражданстве, чтобы началство и власти правление людем мелким отдавати, сиречь таковым, которые бы во убожестве и недостатке прежде жили, пришедше же в богатство такожде гордыми не были бы и спесивы»⁴. В другом месте он поместил совет «мужа мудра ...о хотящих быти во гражданстве», согласно которому «в гражданстве имут быти тайная скипетров похищения, смерти, яко естественныя,

1. *Симеон Полоцкий*. Избранные сочинения / Подг. текста, ст. и комм. И.П. Еремина. СПб., 2004. С. ю.

2. *Simeon Polockij*. Vertograd mnogocvĕtnyj. Vol. 1: «Aaron» — «Dĕtem blagoslovenie» / Ed. by A. Hipsley and L.I. Sazonova. Köln [etc.], 1996. P. 155.

3. См.: *Канторович Э.Х.* Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М., 2014. С. 314–320.

4. *Сильвестр Медведев*. Созерцание краткое лет 7190, 7191 и 7192, в них же что содеяся во гражданстве / С пред. и прим. А.А. Прозоровского. М., 1894. С. 38.

тако напрасные, людей велможных, им же последую великия молвы и смущения и различная постановления уряду гражданского»¹. Кроме того, говоря об одном из эпизодов стрелецкого бунта, Сильвестр Медведев отмечал: «Паки воздвижеса житейское море бедоносными яростми волнами, яже своим свирепым гнева волнением мало-мало не опроверже росийского гражданства и царского величества самодержавства»². Как несложно заметить, у Сильвестра Медведева, как и у Симеона Полоцкого, *гражданство* — это суверенная политическая общность, *respublica-civitas*, а не городская жизнь — *urbanitas*.

Конечно, Сильвестр Медведев, оказавшийся в стане противников молодого Петра I (1672–1725), был в 1691 г. казнен, в связи с чем не приходится преувеличивать степень его влияния на отечественную политическую мысль. Тем не менее связанная с его именем ориентация на западноевропейские политические идеи в первой четверти XVIII в. получила мощнейший импульс в связи с петровскими вестернизационными преобразованиями. Благодаря непосредственным распоряжениям Петра в России немалыми тиражами были изданы переводные сочинения, затрагивавшие и вопросы политики. И, соответственно, переводчики столкнулись не просто с проблемой перевода одного слова, а с необходимостью адекватной передачи русскому читателю комплекса связанных политических понятий и рассуждений, в центре которых была как раз *respublica*.

В 1718 г. в Санкт-Петербурге вышел перевод с латинского «Введения в историю европейскую» С. Пуфендорфа (1632–1694), выполненный по повелению Петра I видным церковным деятелем Гавриилом Бужинским (1680–1731). В этом сочинении присутствовал полный набор понятий, описывающий формы правления в духе аристотелевско-полибианской традиции с элементами естественного права в части описания возникновения политических объединений людей через договор. Гавриилу Бужинскому пришлось проявить немалую изобретательность при

1. Там же. С. 37.

2. Там же. С. 94.

переводе. Так, он следующим образом перевел название первой главы этой книги: «De quibusdam Imperiis priscis, & imprimis de Romana Republica, ex cujus fragmentis multa recentiora Imperia propullularunt» — «О некоторых государствах древних, и в начале о Римском обществе, из его же разделения многия новыя государства произыдоша». Итак, по Гавриилу Бужинскому, *Republica* лучше всего передавалось словом *общество*. В этой главе шло изложение истории возникновения первых *societates* (в переводе — *дружества*) из соединения *familia* (в переводе — *домовладений*). Эти *дружества-societates*, объединившись в плане политики, и становились *Republica*. Первая такая *Republica*, согласно книге, была ассирийская *Monarchia*, или, в передаче Гавриила Бужинского, первым *обществом* была ассирийская *Монархия*¹. А.А. Алексеев, говоря о лексике этого перевода, справедливо отмечал: «Здесь лат. *res publica*, обозначающее понятие о государстве, последовательно передается словом *общество*»². При этом следует отметить, что переводчик также использовал слово *государство*. Однако он делал это отнюдь не для перевода латинского *respublica*. *Государство* стабильно использовалось для перевода слова *Imperium* в значении «территориально-политическая единица». В некоторых случаях слово *Imperium* в том же значении переводилось как *царство*. *Imperium* же в значении «власть» переводилось как *владение, власть, правление*. Что примечательно, слово *regnum*, как правило, переводилось и как *королевство*, и как *государство*.

В то же время Гавриил Бужинский, комментируя как *трудное речение* выражение этого перевода «до Аристократии или Димократии, а не Монархии», дал такое разъяснение: «Правление *Государств, или обществ* (выделено нами. — М.К.) есть тройственное. Монархия, Аристократия, и Димократия. Монархия, или монархическое правление

1. Пуфендорф С. Введение в историю европейскую. СПб., 1718. С. 1–4.
2. Алексеев А.А. Из истории общественно-политической лексики петровской эпохи // XVIII век. Сб. 9: Проблемы литературного развития в России первой четверти XVIII века / Под ред. Г.П. Макогоненко, Г.Н. Моисеевой. Л., 1974. С. 313.

тое есть, идеже един владычествует, и над всеми высочайшую власть имать. Аристократия, идже избраннейшии или благороднии первейшии содержат правление общества. Демократия, идже народ правительствует»¹. Подчеркнем, что *монархия*, *аристократия* и *демократия* наравне с экзотическими для русского читателя *келтами*, *беотами* и *февдой* (феодом) были отнесены Гавриилом Бужинским к словам, сложным для понимания. Это в полной мере объясняется тем, что аристотелевско-полибианский язык форм правления был в России первой четверти XVIII в. новационным и требовал интеллектуальных усилий для его введения в политический лексикон. Не менее примечательно в связи с этим и равенство, поставленное между *государством* и *обществом*, т.е. *respublica*. Это допускало толкование, что *государство* — это есть *respublica*, суверенное политическое объединение людей во имя общего блага, которое может управляться разными *правлениями* (правительствами).

Уже после смерти Петра I, в 1726 г. в Санкт-Петербурге на русском языке был напечатан другой трактат С. Пуфендорфа — «De officio hominis et civis, juxta legem naturalem», где в развернутом виде была представлена нововременная естественно-правовая концепция договорного происхождения политических общностей. Перевод, инициированный Петром I и получивший заглавие «О должности человека и гражданина по закону естественному», был выполнен Иосифом Кречетовским в конце 1721 — конце 1723 г. и в 1724–1725 гг. отредактирован Гавриилом Бужинским при участии Петра².

По сравнению с пуфендорфовским переводом 1718 г. при передаче на русский язык латинской терминологии, использованной для описания возникновения

1. [Гавриил Бужинский.] Толкование неких речений трудных, в книзе сей обретающихся // Пуфендорф С. Введение в историю европейскую. СПб., 1718. С. 10.
2. См.: Киселев М.А. Сочинения западноевропейских авторов по естественному праву в книжных собраниях российских государственных и церковных деятелей первой четверти XVIII в. // Вольтеровские чтения. Вып. 5 / Ред.-сост. А.А. Златопольская, Н.М. Сперанская. СПб., 2019. С. 170–173.

и функционирования власти, произошли некоторые изменения. Из перевода С. Пуфендорфа 1726 г. следовало, что среди *содружеств* (societatis) существовали *великие содружества* (magna Societates), также называвшиеся, согласно переводу, *гражданства* или *грады* (civitas), они же — *содружества гражданские* (societatem civilem). Объединение последнего рода возникало благодаря *договору* (pactum), в котором объединяющиеся люди заявляли, что они «взаемно хотят сограждане быти. На который договор подобает, да бы вси и всяк единственно согласились, и кто не восхощет согласиться, таковой вне будущего града (Civitatem) да жительствует»¹. После этого объединившиеся должны были принять *установление или указ* (Decretum), которым бы был определен «ВИД ПРАВЛЕНИЯ ВО ОНОМ ГРАДЕ (forma regiminis)». Затем заключался второй *договор* с теми, кому в соответствии с *видом управления* вверялась власть управлять от имени *града*. В соответствии с этим *договором* получившие власть «должны тщаться, о общей безопасности и целости, а прочие вси к послушанию оным должны быть обязаны»². Власть, полученная управляющей стороной, определялась как высшая власть — *высочайшее повелительство* (Summum Imperium). И далее, в главе «О видах общества (De formis Regum Publicarum)» заявлялось, что «высочайшее повелительство различныя виды приемлет». В связи с этим отмечалось, что «ПРАВИЛНАГО града ТРИ суть ВИДЫ (Civitas regularis tres sunt Formae), Первый егда высочайшее повелительство (Summum Imperium) есть при едином человеце, и именуется МОНАРХИИ (Единоначальство). Второй: Егда высочайшее повелительство есть при соборе состоящемся из избранных граждан, именуется, АРИСТОКРАТИИ (Избраннодержавство). Третий: Егда высочайшее повелительство есть при соборе, состоящем из всех обще домоправителей (Patribus familias), называется ДИМОКРАТИИ (Народодержавство). В первом виде

1. *Пуфендорф С.* О должности человека и гражданина по закону естественному. СПб., 1726. С. 404.

2. Там же. С. 405.

той, который владычествует (*qui regum potitur*), именуется МОНАРХ. Во втором ИЗБРАННЫЙ. В третьем НАРОД»¹. Пуфендорфом разъяснялось, что помимо *правильных видов* существуют и *немошные*: «Немошные таковыя общества (*morbidis ejusmodi Rebuspublicus*), собственныя такожде своя имена имеют: тако что ПОРОЧНАЯ МОНАРХИЯ, именуется ТИРАНСТВО. ПОРОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ или СТАТ НЕ МНОГИХ, НАЗЫВАЕТСЯ ОЛИГАРХИЯ. ПОРОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДНОЕ, нарицается ОХЛОКРАТИА»². Дополнительно в книге читатель извещался о существовании *неправильного общества* (*Respublica irregularis*), «в котором не тако совершенно соединение оное, на котором существо града (*Civitatis*) состоит обретается, и то не по образу немоши, или порока, в правлении общества (*administratione Reipublicae*) пребывающему». И затем приводились такие примеры: «Аще в котором обществе (*republica*) сенат или народ, с высочайшим в обоих частях повелительством дела управляют, тако что един другому не подчинены суть, или аще в государстве (*regno*) которм, власть господ тако превозможет, яко властителю (*Regi*) оны не иным образом, но токмо аки неравные союзники, починены суть»³. По этому вопросу дополнительно констатировалось, что бывают *системы* или *совокупления градов*. Например, когда *грады* «таким между собою связуются, что оны силы за един град вменитися могут». Кроме того, могли существовать *системы* иного рода с помощью *общаго правителя* (*communi Rege*), когда «многия отделенныя государства (*separata regna*), или по согласию, или по случаю брака, наследия или победы, единого его имеют правителя, однакож тако, что для того в едино государство (*unum Regnum*) не совокупляются, но всякое по своим их законам основателным, чрез общаго правителя (*Rege*) управляемо бывает»⁴.

1. Там же. С. 422.

2. Там же. С. 428.

3. Там же. С. 430–431.

4. Там же. С. 431–432.

Итак, русский читатель мог извлечь из этой книги такую схему: *граждане* в результате *договора* (Pactum) объединялись в *великие содружества* (magna Societates) — *грады / гражданства / общества* (civitas, Respublica), что предполагало определение *установлением* (Decretum) *вида правления* (Regimnis forma) и затем по второму *договору* передачу *высочайшего повелительства* (Summum Imperium) выбранным властвовать. Возникшее таким образом *общество* (Respublica) имело характер *правильного* (regularis), если был четко определен носитель *высочайшего повелительства* (один человек, несколько или все), который в полной мере отправлял возложенные на него обязанности по управлению во имя общего блага; *немошного* (morbidis), когда носитель *высочайшего повелительства* отправлял власть не во имя общего блага; *неправильного* (irregularis), когда в *обществе* оказывалось несколько несоподчиненных носителей власти и, соответственно, было невозможно определить, а кто именно является обладателем *высочайшего повелительства*. И в связи с этим заметим, что слова *государь* и *государство* едва ли не исключительно использовались при передаче понятий, используемых для описания *монархий*, и, соответственно, *Regnum* переводилось как *государство*, *Rex* — как *государь*, а *Interregnum* — как *между государство*¹.

В связи с этим следует отметить, что иностранные термины адаптировались в этот период в российском политическом лексиконе с помощью трех базовых приемов: 1) транслитерирование (*respublica* → *республика*), 2) калькированный перевод (*respublica* → *вещь гражданская*) и 3) подбор эквивалента из русского или же церковнославянского языка (*respublica* → *гражданство, общество*). В случае с передачей *respublica* церковнославянизмом *гражданство* работали следующие обстоятельства. Еще с Античности синонимом *respublica* в латинском языке было слово *civitas*, оно же в греческом — πόλις / πολιτεία, которое обозначало гражданскую общину, политическое объединение *граждан* (лат. cives, греч. πολιτες). В церковнославянском языке греческое

1. Пуфендорф С. О должности человека и гражданина по закону естественному. С. 439–449.

πόλις переводилось словом *град*, а πολιτής — *гражданин*¹. Последнее могло означать как горожанина, т.е. жителя города, так и члена политической общности. Соответственно, слово *гражданство*, использованное для перевода политеία, было применено и для определения городской жизни / совокупности горожан, городской корпорации, а также обозначения политической общности — *civitas*. Столкнувшись с необходимостью передачи на русский язык не самого простого политического понятия *respublica*, переводчики через привлечение его синонима *civitas* могли выбрать *гражданство*, избавив себя от необходимости изобретения неологизмов. Правда, из-за этого церковнославянского наследия иногда могло сложиться впечатление, что слово *respublica* связано прежде всего с городской жизнью, а не с политикой. Что же до использования слова *общество*, то оно могло быть выбрано для перевода *respublica* в схожей логике посредством *civitas*. Ведь еще Аристотель определял πόλις как κοινωία, оно же в древнерусском переводе — *общество*².

На протяжении XVIII в. можно было встретить случаи, когда *respublica* в значении суверенной политической общности в переводах передавалось с помощью транслитерирования³. В то же время переводчики типа Епифания Славинецкого и Гавриила Бужинского для перевода латинского слова *respublica* прибегали именно к приему подбора эквивалента, используя *гражданство* или же *общество*. И, что важно, в оригинальных сочинениях российские авторы XVIII в., ведя рассуждения о суверенных политических общностях, в итоге предпочитали также использовать такого рода эквиваленты. В конце концов, перевод — это лишь первый

1. Полный церковно-славянский словарь / Сост. Г. Дьяченко. М., 1993. С. 131; *Седакова О.А.* Словарь трудных слов из богослужения: Церковнославяно-русские паронимы. М., 2008. С. 107.
2. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 12 (О—Опарный). М., 1987. С. 195.
3. См., например: *Неттелбладт Д.* Начальное основание всеобщей естественной юриспруденции, приравненное к употреблению основания положительной юриспруденции. М., 1770. С. 257. См. также: *Хархордин О.В.* Республика, или Дело публички. С. 92.

этап адаптации понятия. Следующим же шагом должно быть появление текстов, в котором авторы с помощью усвоенных тех или иных понятий выстраивают свои собственные рассуждения о политике. И, например, в одном из первых российских трактатов о *естественном праве*, опубликованном в 1764 г. В.Т. Золотницким (ок. 1741 — после 1796), было написано, что во имя *счастья* и *безопасности* люди объединялись в «небольшия фамилии», а затем и в «целыя общества». Однако этого «не было еще совершенно довольно к умножению и сохранению своего благополучия», в связи с чем «начали из сих обществ учреждаться большия гражданства и составлять великия государства». Далее Золотницкий отмечал, что «с договором о соединении гражданства вместе и владение онаго составляется»¹. Соответственно, «род правления, в разсужении самага владения», состоял из трех разновидностей: «1) Когда владеющий в гражданстве в одной только персоне заключается, то сие владение называется, *Монархиею* (*Единовластием*). 2) Когда владение гражданства состоит в правлении онаго из некотораго числа выбранных мужей, то называется оно *Аристократиею* (*Многopравлением*). 3) Когда право владения относится к целому собранию всех граждан, то называется оно *Демократиею* (*Народоправлением*)»². Если бы это сочинение было на латыни, то вместо *гражданства* Золотницкий использовал бы слова *civitas* и *respublica*.

Более того, к 1720-м гг. фиксируются примеры, когда переводчик передавал *respublica* в смысле суверенной политической общности русским словом *государство*. В 1724 г. А.Ф. Хрущов (1691–1740) создал рукописный перевод одного из ключевых политических текстов европейского XVIII в. — «Les aventures de Télémaque» Франсуа Фенелона (1651–1715). Помимо прочего, в этом тексте, получившем русское название «Похождение Телемака», можно прочесть такой фрагмент: «Дети <...> не подлежат родителем

1. *Золотницкий В.Т.* Сокращение естественнаго права, выбранное из разных Авторов для пользы Российскаго Общества. СПб., 1764. С. 78–79, 81.
2. Там же. С. 102–103.

своим, но всему государству (la République). <...> Царь (Le Roi) — отец своему народу, наипаче же — отец всем юношам»¹. Итак, Хрущов определил политическую общность *la République*, во главе которой находился *Le Roi*, как *государство*.

Проясним всю важность такого перевода. В московском политическом языке XVI–XVII вв. *государство*, обозначавшее политико-территориальную единицу, управляемую *государем*, рассматривалось как универсальная и должная форма организации власти. Конечно, внешнеполитические реалии вносили свои коррективы, когда приходилось сталкиваться со странами, управляемыми коллективными органами (*статами, речью посполитой*), а не одним *государем*. Однако они оценивались скорее как аномалии и исключения на фоне нормы *государства*². В этом отношении восходивший к Античности язык разных форм правления (*монархия, аристократия, демократия*) суверенных политических общностей, обозначаемых на латыни *respublica* или *civitas*, был принципиальной новацией. Последняя, помимо прочего, позволяла помыслить как норму суверенную политическую общность без единовластного правителя. И уже у Сильвестра Медведева *российское гражданство* (*civitas-respublica*) оказывалось четко отделенным от *царского самодержавства*, что было бы непросто сделать, оперируя он только парой *государь* и *государство*. Собственно, отсюда и проистекали сложности при использовании понятия *государство* в том значении, которое имело понятие *respublica*. Как результат, в некоторых случаях *государству* могли начать придавать более узкое значение, используя его лишь для описания монархической формы правления, как это произошло в отмеченных выше переводах Пуфендорфа. В их логике *государство*, использованное как синоним *королевства* (Regnum), было лишь разновидностью *гражданства*

1. Фенелон Ф. Похождение Телемака: Русский рукописный перевод 1724 г. Т. I. [Текст рукописи] / Лингвист. изд., словоуказ., комм. подг. В.М. Круглов. СПб., 2011. С. 201.
2. См.: Киселев М.А. Форма правления и социальная иерархия в российской политической мысли XVII — первой четверти XVIII века // Исторический вестник. Т. 6 (153). 2013. С. 19–27.

(Respublica). Однако можно было продолжить использовать понятие *государство* в значении суверенной политической единицы и, соответственно, начать с его помощью передавать понятие *respublica*. С одной стороны, это фактически вело к отделению *государя* от *государства*. С другой стороны, это облегчало переход от московского политического языка к языку форм правления, позволяя продолжать говорить о *государстве*. Более того, это до некоторой степени позволяло элиминировать республиканские коннотации *respublica*. Ведь если за латинским словом *respublica* стоял призрак могущественной Римской республики с ее *libertas* и выборными органами, то за русским *государством* виделось Московское царство с его *вольным самодержавством*, передаваемым по наследству.

Итак, ко времени смерти Петра I в России циркулировал набор текстов о политике, в которых велись рассуждения о *respublica* в значении суверенной политической общности, переводимой словами *общество*, *гражданство*, а также *государство*. Однако эти слова использовались прежде всего в сочинениях, связанных с теоретическим осмыслением феномена власти. В то же время помимо теоретического измерения бытования понятия *respublica* было, скажем так, практическое, связанное с актуальными внешней политикой и политической географией. Дело в том, что в современной Петру Европе существовал ряд государств, которые сами себя определяли как *республики*. И это означало, что они не являются абсолютными монархиями. Одним из наиболее близких примеров для подданного российского царя было Польско-Литовское государство, определявшее себя как *речь посполитая*, т.е. республика: хотя в этом государстве был выборный *монарх*, однако он не был обладателем верховной власти. Сам Петр при работе над последней редакцией «Истории Свейской войны», комментируя события 1714 г., не ранее 1719 г. оставил такую собственноручную запись: «Правительство швецкое, не чая возвращения короля своего (Карла XII. — М.К.) ис Турок, намерены были без оного мир учинить и республику..., для чего и сейм назначили (что по смерти короля и последовало).

Но когда уведали, что король их возвращается, тогда сие дело глубокому молчанию предали. А резон сейму сказали, что без короля не знали, что чинить в своих упадках, того ради будто для совету оной собирали»¹. Как видно из текста, под *учинением республики* Петр понимал не создание суверенной политической общности — *гражданства*, а ликвидацию абсолютной монархии, после чего король должен был лишиться суверенной власти, которая должна была бы перейти коллективному органу. Итак, под *республикой* Петр понимал немонархическую форму правления, а не государство как таковое.

Такое актуальное противопоставление *республик* и *монархий* в петровское время нашло выражение в произведениях близкого Петру I Феофана Прокоповича (1681–1736), одного из ключевых церковных деятелей и проповедников первой трети XVIII в. В «Слове похвальном в день рождества... Петра Петровича», произнесенном в Санкт-Петербурге в 1716 г. и затем напечатанном в 1717 г., Феофан Прокопович обещал показать, «коликое щастие есть от царскаго чадородия государствам чина монаршескаго, наипаче же тем, в которых по наследию проходит скипетр, а не по избранию предается, и се как России, так и всем монархом подобным есть обще». Слушателям предлагалось убедиться в том, «како благополучнейший есть чин таковой от протчих правления чинов», и, соответственно, «*фазсмотреть* состав правительства монаршескаго и наследуемаго», в связи с чем Феофан Прокопович обращался к серии исторических примеров и заявлял: «Предревнее оное Ассирийское государство, от Немрода и Нина зачатое, была то монархия, а монархия единой фамилии наследуемая. Тойжде вид имяеху последствовавшия ему Медское и Персидское скипетра. Не иное устрой Бог с Израилем. Не иным бразом управляху себе ветхий под фараонами и последнейшии под Птоломеами египтяни. Тоже видети было у македонов, епиротов, иллириков, в Понте и Асии, в Парфии и на островах моря Средиземнаго и Егенского,

1. Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого) / Сост. Т.С. Майкова. Вып. 1. М., 2004. С. 415; Вып. 2. М., 2004. С. 211.

тожде в древней Африке, тожде (да многая прочая минем) у наших предков — скифских и сарматских народов. И се древняя. Да видим и нынешняя. Начни от Европы, представнут Испания, Галлия, Англия, Германия, Дания, Швеция и прочая. Все вид монаршеский, все скипетра наследуемое имущество». То же, по Феофану Прокоповичу, было и в Африке, и в Азии, и «в Америке, новом имянуемом свете»¹.

Конечно, существовали *государства*, где не было *правления монаршеского и наследуемого*. Однако, по Феофану Прокоповичу, для России они не могли рассматриваться в качестве положительного *примера*: «Не в пример речь посполитая Польская, — да и не в зависть! Вемы, яко крепкое было оное государство в строю монаршем; не вельми ж еще давно златые оныя узы на себе растерзало, и не мое есть разсудати, не от начала ли широты нынешней начало оскудевати и утесняемо быти». В схожем духе Феофан Прокопович восклицал и о Венеции: «Не в пример речь посполитая Венецейская, — да и не в диво! Тело оное не великое, в едином граде заключенное, вкупе сенат, вкупе народ, вкупе дух, вкупе уды». Более того, он отмечал: «Да и тем во время избрания вождя их не удобь уразуменная печаль, еже бы запяты хитрья подступы и факции, избрание избирателей и не единократное». Это позволяло Феофану Прокоповичу сделать такое общее наблюдение: «А во всем и воли людские, и жребий метания с крайним опасством мешаются, яковая болезнь в государствах наследуемых не бывает». И, по его мнению, «подобному подлежит разсуждению и речь посполитая Генуанская, и конфедерация бельгийских ординов. Шванцарская аристократия требует французской протекции». Правда, после этого проповедник указывал на Древний Рим: «Едино нечто противное мнится быти древняя речь посполитая Римская». Говоря об истории последней, он отмечал: «Оная по изгнании королей не обрете себе постоянного правительства иннаго; по королех консули, по консулях децемвири, по децемвирах трибуни, по трибунах паки консули, а в крайних нуждах

1. *Феофан Прокопович. Сочинения* / Под ред. И.П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 39–40.

избираемы бывали диктаторы, власть всемогущая и лютая и паче монаршества страшнейша, еще же то в младом веце, в теснейшей области». Однако затем, «пришедши же в возраст (яко же глаголет римский историк Флор) мужеский, не возможе себе управити тонким оным демократии кормильцем: были мятежи лютыя от Граххов, от Мариа, от Силли, от Катилины, от Антония. Домашнею Иулия и Помпея войною приходило до крайней пагубы, даже паки в вид монаршеский претворися». Это вновь позволяло Феофану Прокоповичу сделать такой вывод: «И от сего известно, как здравейшее есть, паче инных, человеческому сожитию единовластное правление». Итак, по Феофану Прокоповичу все исторические примеры свидетельствовали о том, «коль полезное есть правительство самодержское наследуемое» и «коликим бедствием отверста стоит демократия и аристократия, подобне и монархия не наследуемая, но по избранию от дому до дому преходящая»¹.

Как видно из изложенного, главной политической общностью для Феофана Прокоповича оказывалось *государство, правление* которого могло иметь разные *виды (чины)*, ключевыми из которых были *демократия, аристократия* и *монархия*. В то же время, делая отсылки к конкретным примерам из истории, а также политического устройства современных ему европейских *государств*, он использовал полонизм *речь посполитая*, т.е. республика. И последняя как *вид правления* четко отграничивалась от *монархии*, хотя Феофан Прокопович и не объяснял подробно, как соотносится *республика* с *аристократией* и *демократией*. Впрочем, как можно было понять из упоминания *демократии кормильца*, Римская *речь посполитая* в период своего расцвета и перед *претворением* в *вид монаршеский* рассматривалась им как *демократия*. Что это так, становится понятным из другого сочинения Феофана Прокоповича, опубликованного в 1721 г. В нем он делал следующий экскурс в политическую историю Рима: «Иулий Кесарь, и по нем Август, Тиверий, и прочии, аще состав Демократии, т.е. всенароднаго правления

1. Там же. С. 40, 41.

или Республики, и изменили на Монархию»¹. Получалось, что для Феофана Прокоповича *республика* — это синоним *демократии*, она же — *всенародное правление*. Кроме того, дополнительно приведем рассуждения Феофана Прокоповича из «Правды воли монаршей» 1722 г. об *образах правления (правления)*. Там было написано, что в одном из них «главные всего отечества дела управляются согласием всех жителей, яковое правительство было прежде у многих народов Еллинских, и долго пребывало у римлян. А в наша времена есть такое правительство в Венеции, Голландии, и в Полци: и сие нарицается Димократиа, то есть Народодержавство». Соответственно, в *аристократии* «не всего народа, но и не единого лица волею, но несколько избранных мужей сословием (т.е. собранием. — М.К.) правится отечество, яковыи правления образ был в Риме при десяти правителях недолгое время», в то время как в *монархии (самодержавстве)* «вся держава в руках единого лица держится»².

Из рассуждений Феофана Прокоповича, произнесенных в 1716 г., следовало, что внутренняя политическая стабильность, равно как и внешнеполитическая безопасность, присущи прежде всего *монархии*. Что же до *речей посольских*, которые он определял также как *демократии*, то они обладали стабильностью и связанной с ней безопасностью лишь в случае небольшого размера (*тело не великое, в теснейшей области*), а также наличия союзных им *монархий*. При этом, что примечательно, *республика-демократия* как форма правления, по Феофану Прокоповичу, отнюдь не предполагала, что все взрослые мужчины в государстве принимали непосредственное участие в управлении. Ведь он прямо

1. [Феофан Прокопович]. Розыск исторический, коих ради вин, и в яковом разумении были и нарицались императоры римстии, как язычестии, так и христианстии, понтифексами или архиереами многобожного закона; а в законе христианством, христианстии государи, могут ли нарециися епископи и архиереи, и в каком разуме. СПб., 1721. С. 8.
2. Правда воли монаршей. Во определении наследника державы своей, Уставом Державшейшаго Государя нашего Петра Великаго... Публикованным утверждена, и всенародною присягою свидетелствована. Зде пространнее, простосердечных ради, но мало ведущих человек показуется. М., 1722. С. 28.

написал, что современное ему Польско-Литовское государство — это *республика-демократия*! Скорее республиканская форма правления предполагала, по Феофану Прокоповичу, наличие выборного представительного органа (типа сейма), в избрании которого могли принимать участие все обладавшие правами граждан (польская «шляхетская демократия») и которому в итоге от имени *народа* принадлежала верховная власть. В *аристократии* же верховная власть была сосредоточена в руках небольшого коллективного органа, как это было в случае с древнеримской коллегией из десяти человек (*децемвиры*).

Собственно, коллективный орган, которому принадлежит верховная власть, и оказывался в логике Феофана Прокоповича и в *аристократии*, и — особенно — в *демократии* источником политической нестабильности как из-за «фракционной» борьбы, так и из-за сложности — при наличии большой территории — быстро собраться и принять решение. И, как должно было стать очевидным для слушателя, это означало, что для России как большой страны наиболее подходящей формой правления является *монархия*. Отметим, что сама постановка проблемы Феофаном Прокоповичем именно в 1716 г. о преимуществе *монархии* перед другими формами правления, включая *республику*, отнюдь не означала, что в это время в России вдруг стал набирать популярность республиканизм, с которым следовало вести полемику. Для него такая речь, приуроченная к дню рождения царевича Петра Петровича, была лишь поводом продемонстрировать как свое красноречие, так и ученость. Тем не менее такая проблематика была свидетельством того, как адаптация концепций о разных формах правления в базовой троичной версии *монархия-аристократия-демократия*, приходивших на смену московитским представлениям о *государстве*, в логике комплексного заимствования тянула за собой и *монархический* дискурс, в рамках которого именно *монархия* провозглашалась лучшей формой правления, особенно для политических единиц с большой территорией, а иные формы правления как конкуренты должны были критиковаться.

В связи с этим возникает еще такой вопрос: почему Феофан Прокопович, в отличие от теоретиков нововременного естественного права типа С. Пуфендорфа, последователем которых его нередко считают, решил противопоставить *монархии* именно *республику*, а не только *демократию* и *аристократию*? Вспоминая тексты Пуфендорфа, можно было вести рассуждение об этих формах правления как разновидностях *гражданства / общества* (*respublica / civitas*), не определяя при этом *демократию республикой* (*речью посполитой*). Скорее всего, здесь работал указанный актуальный европейский политический контекст. В конце концов, русскому человеку периода петровских преобразований были уже знакомы государства вроде Венеции или Польско-Литовской Речи Посполитой, в которых отсутствовал институт монарха или же его власть была ограничена и которые определяли себя *речами посполитыми / республиками*. Феофан Прокопович, обращаясь к широкой публике, не утруждал ее рассуждениями, что есть *республики*, которые являются *монархиями* и которые при этом себя не называют *республиками*, и что есть *республики*, которые являются *республиками* в том смысле, что они не *монархии*. Вместо этого он отдал предпочтение более понятным представлениям и понятиям, в рамках которых термин *республика / речь посполитая* ассоциировался с формой правления, где верховная власть в *государстве* принадлежит в той или иной части не монарху, а коллективному органу. В схожей логике он в проповеди 1716 г. даже не использовал слова *общество* и *гражданство*¹, а обратился

1. В качестве примера, когда проповедник мог рассуждать именно об *обществе*, укажем на «Слово о победе, полученной у Ангута галерами», произнесенное 27 июня 1720 г. в Санкт-Петербурге Гавриилом Бужинским. В нем он доказывал необходимость «отечеству своему, соплеменным и единоплеменным благотворити», апеллируя к следующему: «Было, глаголет Цицерон, иногда такое время, егда людие зверским образом уединенно, без градов и обществ, житие провождали, но понеже безчисленным терпящу от своевольных и к разбоям приобикших людей обыди, не хотящих труждатися, но чуждыми трудами токмо хотящих жити, мудрых неких советом снисдошася и противу сицевых уставиша гради и общества таковых насилствия воспящати, и егда единственно никтоже моножаше со своєю дворнею таковым насилником сопротивитися, общественный

к более понятному и знакомому слушателям понятию *государство*, которое получило значение универсальной политической единицы, а не только формы правления, где *государь* имеет полную власть в *государстве*. Таким образом, своими рассуждениями Феофан Прокопович способствовал утверждению в российской политической мысли представлений, что суверенной политической общностью является *государство*, которое может иметь несколько *форм правления*, одну из которых можно определить как *монархия*, а другую — как *республика*.

Монархия contra республика: политическая рефлексия участников событий 1730 г.

19 января 1730 г. в Москве умер Петр II (1715–1730), после чего Верховный тайный совет (ВТС) выбрал на российский трон Анну Иоанновну (1693–1740). При этом последней трон был предложен на условиях подписания ей *кондиций*, ограничивавших ее власть как монарха в пользу ВТС («без оно-го Верховного тайного совета согласия») и, более того, допускаявших ее смещение в случае их несоблюдения. Анна Иоанновна, с которой велись закулисные переговоры об условиях ее воцарения, подписала этот документ 28 января, в связи с чем в письме, адресованном всем подданным, заявляла: «Пред вступлением моим на российский престол <...> изобрели мы за потребно для пользы российского государства и ко удовольствованию верных наших подданных <...> написав, какими способы мы то правление вести хотим, и подписав нашу рукою, послали в Тайный верховный совет»¹. И с этого момента, на первый взгляд, можно было бы вести разговор о ликвидации в России

восприяша союз, то обществу таковому кая должность предлежит от нас на его сохранение?» (Проповеди Гавриила Бужинского (1717–1727). Историко-литературный материал из эпохи преобразований / Изд. Е.В. Петухов. Юрьев, 1901. С. 439).

1. Ответное письмо Анны Иоанновны Верховному тайному совету с изъявлением согласия на его предложение. 28 января 1730 г. // Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. М., 2010. С. 122.

самодержавной монархии, ставшей следствием республиканских замыслов *верховников*. Собственно, сама возможность ликвидировать самодержавную монархию появилась благодаря усвоению представителями российской правящей элиты представлений о возможности разных форм правления, включая и немонархические¹. Однако специфика действий ВСТ состояла в том, что изменение *формы правления* официально представлялось как пожалование со стороны новоизбранной императрицы, как очередной акт милости со стороны монарха. Получалось, что ВТС желал провести смену формы правления, оперируя понятиями монархического дискурса, не привлекая при этом дискурса республиканского². Итог этого известен: 25 февраля Анна Иоанновна разорвала *кондиции*, что вполне можно было истолковать именно в рамках монархического дискурса: «Анна вначале милостиво изволила пожаловать „кондиции“, а потом — ради общего блага и по общему желанию! — аннулировала их»³.

Отметим, что все же после оглашения в Москве 2 февраля согласия Анны Иоанновны взойти на престол и до 25 февраля представителями дворянства велась работа по составлению проектов лучшего государственного устройства, в рамках чего поднимались и вопросы, связанные с разными *формами правления*, а также велись беседы, в которых, похоже, звучали и высказывания о преимуществах *республиканского* правления и о его возможности в России. Так, Ю.И. Кологривов (ум. 1754), будучи под следствием в 1740 г., вспоминал в Тайной канцелярии о 1730 г., что ему якобы говорил граф Е.И. Мусин-Пушкин (ум. 1733): «Самодержавию не ради знатные, а имянно, Голицыны, Долгоруковы, також и Михайла Матюшкин не очень то любит:

1. См.: *Киселев М.А.* Междоусобие 1730 г. в России: проблема формы и содержания политического кризиса // Альтернативы, переломные пункты и смены режима в истории России / Под ред. Д. Свака. Будапешт, 2015. С. 93–102.
2. См.: *Бугров К.Д.* Политический кризис 1730 г. и идеология providенциального монархизма // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 2 (427). С. 96–104.
3. Там же. С. 99.

он де италианец и мы де с фамилиею своею републику любим... Не худо б де, чтоб Верховной совет был, приводя все, дабы была република... Хорошо б де, кабы баланс у нас был»¹. Кроме того, в 1731 г. на следствии над вице-президентом Коммерц-коллегии Г. Фиком (1678–1750), находившимся во время событий 1730 г. в Санкт-Петербурге, ассессор И. Рудаковский (ум. 1737) утверждал, что, якобы по словам Фика, который получил известия о содержании *кондиций*, «может быть, определения будет о правительстве, как в Швеции», что «империя Российская ныне стала сестрица Швеции и Полше» и что «россияня ныне умны, понеже не будут иметь впредь фоваритов, таких как был Меншиков и Долгоруков»². Секретарь Юстиц-коллегии И. фон Гагемейстер утверждал, что «Фик в своем доме за чаем одобрительно отзывался о действиях верховников, ссылаясь на опыт Англии и Швеции, доказывающий, что и таким образом можно править народами», а жених фиковской дочери капитан Я. Рихтер «смутно припоминал, что Фик говорил об отмене самодержавия и намерении Верховного тайного совета организовать управление по шведскому образцу»³.

Иное дело, что после 25 февраля такие разговоры были не просто неактуальны, они были опасны, равно как и политические тексты о преимуществах *республики* перед *монархией*, если, конечно, кто-либо успел их написать в столь короткий промежуток времени. С.В. Польской выявил один из текстов, который мог быть создан в это время⁴. К сожалению, его сохранность оставляет желать лучшего, так что читаются лишь некоторые его фрагменты.

1. Из показаний Ю.И. Кологривова. 13 октября 1740 г. // Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. С. 199–200.
2. Цит. по: Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. С. 78.
3. Ларина Я.И. «Кто тогда не рассуждал?» Розыскное дело Генриха Фика и междоусобице 1730 г. // Российская история. 2017. № 3. С. 86–87.
4. См.: Польской С.В. Черновая записка о «высоком государственном правлении» и ее место среди дворянских проектов 1730 года // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. 2012. № 2/2 (93). С. 51–52.

Этот небольшой документ объемом несколько более одного листа озаглавлен «Изначало правительства римского и како оное содержалось». В нем сообщалось, что «сначала правление римское имелось быть самодержавное под разны императорами». Оно сменилось *вторым правлением* (скорее всего, аристократическим), а затем было учреждено *третье правление*, «весьма полезное государству», которое называлось «рес публика» (в другом фрагменте — *демократия*). Его устроили так, чтобы «всякой вкусил сладость воли»; в нем «каждой человек может сказать, что как его чести, так и имения без вины государственной, тако ж и общего их совета, как лишением живота и чести и имения дерзнуть никто не может». И после этого было в Риме еще два других вида *правления*¹.

Кроме того, в бумагах кабинет-министра А.П. Волынского (1689–1740) сохранилась записка, которую Д.А. Корсаков определил как *памфлет*, направленный против *верховников*². Там давалась следующая оценка политической ситуации: «Слышно здесь, что делается или уже сделано, чтоб быть у нас республике». После этого автор заявлял: «Я зело в том сумнителен». Для него было три ключевых повода *сомневаться*. Во-первых, «Боже сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавнаго государя десяти самовластных и сильных фамилий; и так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежняго идолопоклонничать и милости у всех искать». Во-вторых, согласно автору, «понеже народ наш наполнен трусостью и похабством, для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради». Третий повод для *сомнения* заключался в следующем: «Если война на нас будет; и в то время потребно расположить будет обществом или рекрутский набор, или прочий какой сбор для пользы и обороны государства; для того надлежит тогда всякому понести самому на себе для общей пользы некоторую

1. РГАДА. Ф. 17. Оп. 1. Д. 343. Л. 3–3 об.

2. Корсаков Д.А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 264, 265. Прим. 41.

тягость, в том голосов сообразить никак не возможно будет, и что надобно сделать и расположить в неделю, того в полгода или в год не сделают, а что и положено будет, то будет на главных всегда в доимках, а мы, средние, одни будем оставаться в платежах и во всех тягостях». Кроме того, в записке отмечалось следующее по вопросу о возможности сокращения или ликвидации обязательной службы для дворян: «Еще ж слышно, что делается воля к службе; и правда, что в неволю служить зело тяжело, но ежели и вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и не трудолюбив; и для того, если некотораго принуждения не будет, то конечно, и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пицци, кроме что всяк захочет лежать в своем доме; разве останутся одни холопы и крестьяне наши, которых принуждены будем производить <...> и таких на свою шею произведем и насажаем непотребных, от которых впредь самим нам места не будет»¹.

Если с известной долей осторожности проанализировать такую информацию, то следует допустить, что в феврале 1730 г. при обсуждении формы правления в России звучали доводы в пользу *республики*, под которой понимали форму правления, в которой та или иная часть власти принадлежит коллективному органу. Это могла быть апелляция к установлению *воли* и ликвидации произвола со стороны монарха или его фаворита. И, скорее всего, это адресовалось в первую очередь представителям дворянства. Однако приводились и доводы против, когда указывали, что установление в России *республики* не принесет *воли* и уменьшения произвола, так как одного правителя заменит десять *сильных фамилий*. Кроме того, под вопрос ставилась способность *народа* принять такую *волю* и должным образом участвовать в защите *общего блага* из-за низких моральных качеств («народ наш наполнен трусостью и похабством <...> не вовсе честолюбив, но паче ленив и не трудолюбив»).

1. Записка с поправками рукою Волынского // Памятники новой русской истории. Т. II. СПб., 1872. Отд. II. С. 209–211.

Соответственно, установление *республики* привело бы не к наслаждению дворянством *волей*, а к притоку в управление бывших *холопей и крестьян* с перспективой установления их господства.

Завершившаяся неудачей *затейка верховников* с ее республиканскими коннотациями оставила свой след в истории политических идей и представлений России XVIII в. (да и не только). И, конечно же, она отразилась на творчестве участников этих событий, наложив отпечаток на осмысление ими республиканской проблематики.

Феофан Прокопович, бывший активным сторонником самодержавия Анны Иоанновны¹, в записке, созданной вскоре после 1730 г., описывал *затейку* как попытку «применить форму Государства», во время которой члены ВТС прибегли к обману, когда «требование свое приватное и тайное и малаго факции их числа народным», а также «придали еще они же Господа явственно тиранское насилие»². При этом он задавался вопросом, какими примерами вдохновлялись *верховники*, «не посматривано ли где на низложение Царя Василия Ивановича Шуйскаго», и не упоминал ли кто из них «Суд Англичанский на Короля их Карола перваго», ведь «известно, что снимать корону с Государя есть дело весьма подобное помянутому делу Англичанскому»³. Уже в незавершенной «Истории о избрании и восшествии на престол <...> Анны Иоанновны» Феофан Прокопович так оценил действия ВТС: «Они не думали видеть народное владительство (кое обычно вольною республикою

1. См. о роли Феофана Прокоповича в событиях 1730 г.: Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории послепетровской России (1725–1762 гг.). СПб., 2019. С. 222–223.

2. [Феофан Прокопович]. Изъяснение, каковы были неких лиц умыслы, затейки и действия в призове на престол Ея Императорскаго Величества // Памятники новой русской истории. Т. I. Отд. I. СПб., 1871. С. 13, 14, 16.

3. Там же. С. 15. И. В. Курукин и А. Б. Плотников утверждают, что в этой записке Феофан Прокопович «вспоминал „безбожную некую душу“, которая „похваляла“ казнь английского короля в 1649 г.» (Курукин И. В., Плотников А. Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. С. 80. Прим. 43). Однако в этой записке Феофан Прокопович лишь предполагает, что такая *безбожная душа* могла быть, а не утверждает, что она была на самом деле.

называют), но всю крайнюю силу осьмиличному своему Совету учреждали, который владения образ, в толь малом числе владеющих, не может нарещись владительство избранных, Греческа аристократия, но разве сковническое торжество или насильство, которая олигархия у Еллинов именуется»¹. Итак, в логике Феофана Прокоповича по *кондициям* 1730 г. верховная власть фактически присваивалась ВТС, все члены которого не были *избраны народом*, а были назначены либо предшествующими монархами, либо решением самого ВТС. Раз так, то учреждаемую ими форму правления нельзя было даже назвать *аристократией*, не говоря о том, чтобы определить ее как республиканскую. При этом он допускал, что *верховники* в своих действиях могли даже вдохновляться примером английских республиканцев XVII в.

Кроме того, события 1730 г. вдохновили Феофана Прокоповича на еще одну большую политическую проповедь, которую он произнес «в день воспоминания коронации» 28 апреля 1734 г. В ней проповедник рассуждал о том, «как многополезно есть Российскому государству владычество самодержавное, прозванное от Философов Еллински монархия и монократиа: а прочия правления формы или образы, то есть многоличное вельможей правительство, нарицаемое Аристократия, или всенародное зовомое Димократия, и другия из них составы, творимья, были бы у нас не без

1. *Феофан Прокопович*. История о избрании и восшествии на престол блаженные и вечностойныя памяти государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийския. СПб., 1837. С. 14. О.В. Хархордин пишет, комментируя это высказывание Феофана Прокоповича, что последний использовал выражение *народное владительство* для перевода термина *res publica* и, более того, утверждал, что «„владительство народное“ или *res publica*... лучше всего реализуется в форме монархии» (*Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. С. 94–95). Однако Феофан Прокопович выражение *народное владительство* использовал для перевода термина *демократия*, синонимом которой для него был термин *республика*. Это более чем четко видно из цитированного выше сочинения Феофана Прокоповича 1721 г., где он написал про изменение римлянами «Демократии, то есть всенароднаго правления или Републики». Соответственно, для Феофана Прокоповича *республика* не могла лучше всего реализоваться в форме *монархии*. Последняя как форма правления противопоставлялась им *республике*.

бедствия»¹. Феофан Прокопович заявлял слушателям: «Который же вид правительства человеческому жительству полезнейший есть, монархия или аристократия, или демократия, или какии другии из оных трех растворенных составы, давное о том у Философов политических прение и немалое несогласие: однакож множайшая часть стоят за монархию, показуя многия как в аристократии, так и в демократии трудности и бедствия, которым не подлежит монархия». Что до *аристократии*, то в ней «малое число владетелей зело страшно, чтоб не согласились на разорение отечества». И это подтверждалось такими примерами из античной истории: «Уставили было Римляне Децемвиров себе, то есть десять мужей владеющих, да скоро искусом узнали, как оное владычество вредно, и того ради скоро же оное и отставили. А то дивные, что у Афинян тридесять было старейшин, да и те сложилися на крайнее изнурение народа и насилу их Афиняне истребили»². Если же число таких *владетелей* увеличить, то возникали другие проблемы: «Как много <...> толь добродетельных мужей, да и числом многих, и во одно время собрати мощно? Как во множестве советов и намерений тайна сохранится?» И далее Феофан Прокопович констатировал, что в итоге эти *владетели* «неким рвением на части расторгунтся, и народ разорвут на разныя факции, станет тогда отечество подобное или ризе раздранной, или дому разломанному, или телу растерзанному, и воспоследует междуусобие, <...> и сделается либо крайняя погибель, <...> либо премена на монархию». И, конечно же, *демократии* «тяжж все трудности увидим, но зело еще тяжчайшия»³.

В связи с этим Феофан Прокопович провозглашал: «Придают к тому Любомудрцы, что всегда монархии должае стоят, нежели республики». И далее он делал следующую оговорку касательно Польско-Литовского государства: «И не в пример нам соседы наши: стали они между

1. *Феофан Прокопович*. Слова и речи поучительныя, похвальныя и по здравительныя. Ч. III. СПб., 1765. С. 193.

2. Там же. С. 195–196.

3. Там же. С. 196–197.

тремя сильными Потентатами, из которых всяк другому и третьему на среде лежащаго угодия попустити не похощет». В то же время Польско-Литовское государство было *образцом* того, «что в аристократиах, и демократиах частыя бывають мятежи и смуты народныя, то есть смертныя отечества болезни, огневицами ли их назовеши, или обмороками, или epilepsиями». Итак, по Феофану Прокоповичу получалось, что Польско-Литовская *республика* существует столь долгое время на столь большой территории не благодаря внутреннему устройству, а из-за соперничества соседей за власть над нею. Конечно, Феофан Прокопович не собирался доказывать невозможности существования *демократии* и *аристократии*. Отметив, что «все республики начало приняли от *монархий*: так например у Римлян, у Афинян, у Спартан, у Коринфян», он констатировал: «Как аристократия, так и демократия, естьли оныя прямыя по имени своему быти хотят, не могут быти разве в малом народе и в близких себе пределах: как например Венетейская и Батавская и преждняя, все почитай, Греческия». Впрочем, он все же замечал: «Особенно же о демократии можем и то сказать, что прямой ея нигде никогда не бывало, кроме некоторых немногих и нетрудных дел, вся прочая некия ведут и переводят, а народ лаская, титулю дружества своего потчуют». Соответственно, «по таким суждениям одна осталась благонадежная монархия»¹.

После таких общих рассуждений Феофан Прокопович указывал, что в российской истории *правления* образ дважды сменялся с *монархии* на *аристократию*. Во-первых, после смерти великого князя Владимира Святого «тело всея России приняло на себе вид, аки бы аристократии: понеже великий Владимир при своем во вечная отшествии, разделяя государство сыном своим, заповедал им быти за одно, да не то сделалось». Во-вторых, при воцарении Василия Шуйского «вторгнулась в Россию Аристократия». Это вело исключительно к бедам, которые можно было преодолеть только с помощью восстановления

1. Там же. С. 197–198.

монархии. И далее он живописал, как Россия под скипетром достойных правителей стала процветать и в том числе расширять *пределы* государства. В этом отношении *затейка верховников* им оценивалась как катастрофа, которую чудом удалось избежать: «Ежели бы все то случилось при беспокойствии нашего века, или когда не много попечения имели о общем добре, на супротив того, когда всегдашняя и взаимныя ненависти, вражды, зависти, притворства, напасти продолжались, или ежели бы при другом каком внутреннем нашем неблагополучии случилась благополучнаго сего владения перемена, не крайняя ли бы то наша была гибель?»¹

Таким образом, в проповеди 1734 г. Феофан Прокопович фактически понятием *республика* объединил немонархические формы правления (*демократия* и *аристократия*) и затем противопоставил их *монархии*, которая единственная была определена как *благонадежная*. Доводы за *монархию* и против *республики* были в целом схожи с тем, о чем он говорил в 1716 г.: *республика*, будучи управляема коллективным органом, подвержена внутренним конфликтам и может долгое время стабильно существовать лишь в небольших по населению и территории государствах. Однако в 1734 г. он дополнительно указал на проблему необходимости для стабильности *республики* большого числа *добродетельных* людей во власти. Похоже, тема *добродетели* и *нравов* была отзвуком событий 1730 г. И, конечно же, в рамках его пессимистического видения человеческой природы как движимой *злыми страстями*² наличие большого числа *добродетельных* людей было фактически невозможно. Раз так, то и с позиции лучшей управляемости, и с позиции

1. Феофан Прокопович. Слова и речи поучительныя, похвальныя и поздравительныя. Ч. III. С. 200–208, 211–213, 215.

2. В проповеди в день коронации Анны Иоанновны, произнесенной 28 апреля 1731 г. в Москве в Успенском соборе, Феофан Прокопович утверждал, что «верховная в человецех власть, сия то есть и злострастям человеческим узда, и человеческого сожительства ограда, и обережение, и заветренное пристанище. ЕСТЬЛИ БЫ НЕ Сие, уже бы давно земля пуста была, уже давно исчезл род человеческий» (Феофан Прокопович. Слова и речи поучительныя, похвальныя и поздравительныя. Ч. III. СПб., 1765. С. 80).

моральных качеств *народа* лучшей формой правления для России оказывалась именно *монархия*.

С учетом вышеизложенного отметим, что, по мнению Дж. Ханкинса, а также соглашающегося с ним О.В. Хархордина, противопоставление *республики* и *монархии* как форм правления было новацией, возникшей в ренессансной Италии¹. Одним из наиболее известных его сторонников был Н. Макиавелли (1469–1527), который в первой главе своего «Князя» («Il Principe») прямо заявил: «Все государства (stati), все власти, которые господствовали или господствуют над людьми, были и суть или республики (republiche), или княжества (principati)»². Иное дело, что, согласно О.В. Хархордину, «это противопоставление не смогло пересечь Альпы и оставалось достоянием лишь итальянской политической мысли вплоть до революции в Англии и Франции»³.

Феофан Прокопович противопоставлял *монархии* *республику*, которые рассматривал как разновидность *формы правления государства*. И вот здесь уместно вспомнить, что с 1698 по 1701 г. он учился в Риме в коллегии св. Афанасия, «обращая основное внимание на изучение литературы, истории, философии Античности, Возрождения, Нового времени»⁴. Более того, специфика культурной ситуации России начала XVIII в. была такова, что подданные царя столкнулись с проблемой за «одно-два десятилетия спешной работы усвоить всю сумму европейской учености», начиная едва ли не с Античности⁵. В свою очередь это создавало возможность для относительно свободного выбора того или иного элемента «европейской» культуры, подчас без жесткой привязки к интеллектуальной традиции конкретной страны. Собственно, интерес к «Князю»

1. *Hankins J. Exclusivist Republicanism and the Non-Monarchical Republic // Political Theory. Vol. 38 (2010). No. 4. P. 466–470; Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. С. 19–21.

2. *Макиавелли Н.* Сочинения / Под общ. ред. А.К. Дживелегова. М., 1933. С. 213.

3. *Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. С. 21.

4. *Ничик В.М.* Феофан Прокопович. М., 1977. С. 12.

5. *Николаев С.И.* Литературная культура Петровской эпохи. СПб., 1996. С. 28.

Н. Макиавелли представителей правящей элиты в России первой половины XVIII в., равно как и факт существования в это время русского рукописного перевода «Il Principe», к настоящему времени более чем известны¹. Кроме того, в России этого времени в среде правящей элиты циркулировали и другие сочинения итальянских авторов, как на западноевропейских языках, так и переведенные на русский. Например, в библиотеке Феофана Прокоповича присутствовал один из экземпляров рукописного перевода «Известий с Парнаса» Т. Боккалини (1556–1613), выполненного в 1728 г. А. Васильевым, в котором *монархия* противопоставлялась *республике*, она же — *держава вольная*, и, помимо прочего, утверждалось, что *народ*, «который родился, воспитался, обжился, и даже заматорев состарелся в раболепстве; якоже вси писатели и повествователи политических поведений исповедуют, вес[ь]ма не может жити в вол[ь]ности, потому что республики сочиняются паче от добраго состояния умов гражданских, имеющих размер к житию в вол[ь]ности, нежели от законов или прав»². Затем в 1730 г. сотрудник Коллегии иностранных дел П.М. Софонов перевел политические сочинения трех ренессансных итальянских авторов. Одно из них принадлежало знавшему Макиавелли Ф. Гвиччардини (1483–1540)³, который также противопоставлял республике монархию. Соответственно, в переводе Софонова отмечалось, что советы Гвиччардини будут полезны «так в самодержавствии (Principato), как в речи посполитой (Republica)»⁴. Кроме того,

1. См.: Юсим М.А. Макиавелли. Мораль, политика, фортуна. Этика Макиавелли. Макиавелли в России. М., 2011. С. 322–350; *Он же*. «Государь» Макиавелли в русской рукописи XVIII века // «Государь» Макиавелли в русской рукописи XVIII века / Исслед. и публ. М.А. Юсима. М., 2019. С. 8–14.
2. Польской С.В. «Ведомости Парнасские» Т. Боккалини и их русские читатели: к вопросу о влиянии республиканских идей в России первой трети XVIII века // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 17 (2015). № 3. С. 190, 193.
3. Бугров К.Д., Киселев М.А. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века. Екатеринбург, 2016. С. 290–297.
4. ОР РНБ. Ф. 573. СПбДА. 417. Л. 4–4 об.

тот же Феофан Прокопович хорошо знал один из наиболее популярных политических романов раннего Нового времени «Argenis» Дж. Баркляя (1582–1621). В этом сочинении, написанном в Риме, Барклай рассматривал *монархию* (Regnum) и *республику* (Respublica) как разные формы правления и доказывал, что именно монархия является лучшей формой правления, в том числе и с точки зрения гарантии *вольности* гражданам. Феофан Прокопович еще в 1705 г. в курсе лекций по теории поэзии «De arte poetica» для учеников Киево-Могилянской академии¹, рассуждая о композиции эпического повествования, рекомендовал «перечитывать превосходнейшее сочинение Иоанна Баркляя, под заглавием „Аргенида“ (каковая книга в настоящее время имеет очень большое распространение)»². Первый же перевод «Аргениды» на русский был создан в 1724–1725 гг. В.К. Тредиаковским (1703–1769) во время обучения в Москве в Славяно-греко-латинской академии³. Таким образом, и Феофан Прокопович, и ряд его современников имели возможность ознакомиться к 1730 г. с текстами, в которых *республика* противопоставлялась *монархии* и в которых поднимались проблемы готовности народа к принятию *вольности*, связанной с республиканской формой правления. Стоит полагать, что тексты такого рода наравне с актуальной европейской политической географией работали на закрепление в российской политической мысли противопоставления *монархии* и *республики*, которые, в свою очередь, могли рассматриваться как разновидности *государства*.

В связи с этим важно обратиться к работам другого активного участника событий 1730 г. В.Н. Татищева (1686–1750), который был также одним из ключевых российских авторов 1730–1740-х гг., писавших о политике и формах правления. Конечно, его главные сочинения не были изданы при его жизни. Так, соответствующий том его «Истории Российской», содержащий важную главу «О древнем

1. Еремин И.П. Предисловие // Феофан Прокопович. Сочинения. С. 4.
2. Феофан Прокопович. Сочинения. С. 409–410.
3. Николаев С.И. Ранний Тредиаковский (первый перевод «Аргениды» Д. Баркляя) // Русская литература. 1987. № 2. С. 93–95.

правительстве руском и других в пример», был напечатан в 1769 г.¹, а незаконченный «Лексикон российской» — в 1793 г.² Что же до «Разговора дву приятелей о пользе науки и училищах» и «Произвольного и согласного рассуждения и мнения собравшегося шляхетства руского о правлении государственным», то они были напечатаны только в XIX в., хотя в XVIII в. их рукописные копии и имели некоторое хождение³. Тем не менее его рассуждения позволяют узнать, что мог думать о *республике* представитель правящей элиты в России этого времени.

Рассуждая в 1730-е гг. в сочинении «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах» об объединении людей в *общества*, В.Н. Татищев отмечал, что «общества <...> суть разные, яко супружеское, отеческое — с чады, домовое — господина с рабами», а «главное же общество почитается, которое состоит из власти и подданных». В этих *главных обществах* (ср. с *magna Societates* С. Пуфендорфа) «власти <...> суть разные, яко порядочные и чрезвычайные». *Порядочные*, по Татищеву, это — «1) монархия, или единовластие, как то Россия, Франция, Дания, Гишпания и пр. государства состоят и единым государем правятся; 2) аристократия, или избранными неколикими персонами, как видим веницианское правление; 3) демократия, или общенародное, когда все общество сами или каждое малое общество от себя, выбирая, определяют с полной мочью, и оные, собрався, о пользе общей советуют и определяют, как то Галандия, Швейцария и многие *малые республики* (выделено нами. — М.К.) состоят». Что до *чрезвычайных властей*, то они «суть весьма разных состояний, яко негде имеется государь, но без совета знатных ничего делать не может, как то императоры Германии, которым курфистры и князи приобщены; другие, где к тому и общенародныя

1. *Татищев В.Н.* История Российская с самых древнейших времен. Кн. I. Ч. 2. М., 1769.
2. *Он же.* Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской. Ч. I–III. СПб., 1793.
3. См.: *Валк С.Н.* О составе издания // Татищев В.Н. Избранные произведения / Под общ. ред. С.Н. Валка. Л., 1979. С. 8–14, 21–22.

собрания приобщены, как в Англии, Польше и Швеции, сеймы общенародные имеют». После этого он задавал такой вопрос: «Какие законы естественные главным сим обществам быть могут?» И в ходе ответа он делал такое суждение: «Если я *всякое общенародие* (выделено нами. — М.К.) уподоблю человеку, то рассматривая его состояние, правительству душе, а подвластных телу уподоблю»¹.

Уже в другом месте этого сочинения В.Н. Татищев, рассуждая о человеке и его *естестве*, указывал на способность заключать договоры. Именно из *договора*, по Татищеву, происходило «общественное согласие, где для защищения своего от нападения сильного многие, совокупяся взаимным договорам, общего благополучия единомышленно искать и от насилия защищать обяжутся, как то *общенародия, или республики* (выделено нами. — М.К.)»². Кроме того, Татищев, вопрошая о том, «кто законы может народу давать», давал следующий ответ: «Суть собственно учрежденные законодательницы, которые по разности состояния *каждого общенародия* (выделено нами. — М.К.) разны именуется, яко: 1) в самовластии, или монархии, государь есть един законодатель; 2) в аристократических, где несколько знатных правительствуют, Сенат или Парламент именуется; 3) в общенародных от всего общенародия»³.

Как видно из приведенных фрагментов, В.Н. Татищев в 1730-е гг. при описании объединений людей — *обществ* — мог использовать в качестве универсального политического понятия *общенародие*, оно же в одном случае — *республика*. Татищев рассказывал, что *общенародие*, будучи *главным обществом*, как суверенное политическое объединение возникало в результате договора граждан, избравших себе *власть* в виде того или иного *правления* (*правления*), будь то *монархия, аристократия, демократия* или же их сочетание. Что примечательно, Татищев в качестве синонима *демократии* использовал выражение *общенародное правление*,

1. Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 119.

2. Там же. С. 122.

3. Там же. С. 124–125.

оно же — *республика*. С учетом этого формулу, что *законы* могут даваться «в общенародных от всего общенародия», можно было бы выразить такими словами: в республиках с республиканской формой правления законы даются всей республикой! Можно сказать, что в этом тексте Татищева еще проявлялась двойственность значения понятия *respublica*, которое определяло как суверенную политическую общность (государство), так и форму правления государства, где верховная власть принадлежит коллективному органу, избираемому *народом*. Важно подчеркнуть: при этом В.Н. Татищев как синоним *общенародия* использовал и *государство*. Так, он рассуждал о том, что «разность вер великой в государстве беды не наносит». Это подтверждало «некоторых государств и действительное состояние, особливо в общенародных или смешенных правлениях», а также «между монархиями <...> несколько государств, а паче наша Россия»¹. Соответственно, потенциально Татищев мог преодолеть обозначенную двойственность с помощью обращения к понятию *государство* в значении суверенной политической общности.

В «Разговоре дву приятелей о пользе науки и училищах» В.Н. Татищев также рассмотрел проблему, какая из форм *правления* является лучшей. Он утверждал: «Разныя обстоятельства, яко положение мест и состояние народов, разные причины тому подають, ис котораго по разсуждению каждого народа способнейшее правление учинено. Но сие можно за генеральное почесть, что малые и от посторонних сил безопасные могут удобно общенародно правиться, и сих хотя силы и распространение земель умножаться не могут, потому что легко все согласиться тайность скрыть и вскоре решение и исполнение произвести не могут, но они за то пользу почитают, что живут по воле, и, кроме закона, никого не боятся. Великия же хотя от нападения других и безопасныя, но для множества народа общаго собрания всегда, как потребно, иметь не способны. Те могут некоторым знатнейшим правление поручить, но у сих

1. Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 87.

за распрями и несогласиями часто нужное оставляется, а народ от прихотей разных правителей разоряется. Как то о Римской республике читаем, что от того в падение и разорение пришло. <...> Великия же и от соседей небезопасные государства без самовластного государя быть и в целости сохраниться не могут»¹.

Итак, выгода *демократии* состояла в том, что при ней граждане «живут по воле, и, кроме закона, никого не боятся». И, говоря это, В.Н. Татищев одним из первых российских авторов озвучил преимущество немонархической формы правления. Однако и *демократия*, и *аристократия* в больших по размерам государствах оказывалась невозможной как из-за опасностей внутренних конфликтов, так и неспособности быстрого реагирования на внешние угрозы. Яркие примеры этого, по Татищеву, давала история «нашего государства»: ведь когда «князи разделились и зделалась аристократия, никто никого слушать не хотел, ниже порядок советов для общей пользы учрежден был, то перво сами меж собою друг друга воевали, побивали и, государство разоряя, в такое безсилие пришли, что вскоре татары, нашед, почитай, всю Россию овладели». Положение было исправлено при Иване III, который «монархию основал». Уже во время Смуты бояре «выбранному Шуйскому царю Василию законы некоторые государству вредительные предписали, чрез что, его лиша престола, зделали, почитай, общенародное правление». Конечно, Татищев знал, что «тогда выбраны были 7 человек бояр». Однако он отмечал, что «противо подлости, козаков и других, не знающих пользы отечества, сила оных весьма была недействительна». Именно это и позволило Татищеву утверждать, что в России при семибоярщине фактически установилась *демократия*. Как следствие этого, «крайнее разорение паче татарскаго нападения последовало». И такое положение было исправлено с помощью выбора «самовластного и наследственного государя»².

1. Там же. С. 120.

2. Там же. С. 120–121.

В 1740-е гг. В.Н. Татищев продолжил свои терминологические поиски для описания разных форм правления государства. Прежде всего, в эти годы он активно работал над «Историей Российской», где вновь специально обратился к вопросу о возникновении *власти* и *порядков правительств*. В 45-й главе «О древнем правительстве русском и других в пример» Татищев указал, что человеку по своей природе свойственно объединяться в *сообщества*, в каждом из которых должно быть обладающее *властью начальство*, установленное на основе *договора*. Всего историк выделил три *сообщества* — *супружеское, единодомовное* или *хозяйское сообщество, гражданство*¹. Итак, по сравнению с 1730-ми гг., для определения третьего вида *сообщества* Татищев отказался от понятия *общенародие* и выбрал *гражданство*, которое фактически использовалось для передачи на русский язык слов *civitas / respublica*. *Гражданство* возникло по Татищеву так: «Хозяйские сообщества не могли долго в спокойности и безопасности быть, ибо как оных умножилось, так зависть, ненависть и злость в сердцах нечестивых возрасла», — и объединились во имя безопасности. Кроме того, *совокупление* проистекало и «от потребностей, ибо всякому хозяину различные вещи требовались, которых всяк про себя делать... мог». Соответственно, «разных промыслов и ремесл люди совокупились, дабы всяк свободно потребное себе в близости достать и своим промыслом других довольствоваться, яко же и сам потребное получить в близости мог, и все обшче о пользе и засчете всего сообщества обязались, чрез что гражданство начало возимело»².

В связи с тем, что «никакое сообщество без начальства, а начальство без преимущества и власти быть не может», в *гражданстве* было создано соответствующее *правительство*. Переходя к формам *правительств гражданств*, В.Н. Татищев указывал, что «монархия, аристократия и демократия, почитаются за порядочные и к сохранению

1. Татищев В.Н. История Российская. Т. 1. М.; Л., 1962. С. 360–361.

2. Там же. С. 361.

обсчей пользы по состоянию областей удобнейшая». Отметив, что существуют еще и *поврежденные правительства* — *охлократия, олигархия и тирания*, возникшие из-за того, что «правительства или подданные, оставя общую пользу, более о своей собственной прилежать стали», историк замечал: «Многими разными порядки из объявленных трех смешанные правительства, как которой области обстоятельства лучшую пользу представляют, произошли, яко некоторые состоят 1) из монархии и аристократии, 2) из монархии и демократии, 3) из всех трех, 4) из аристократии и демократии». Задаваясь, как и в 1730-е гг., вопросом, «которое бы правительство было лучшее и всякому сообществу полезнейшее», Татищев утверждал, что «нужно взирать на состояния и обстоятельства каждого сообщества, яко на положение земель, пространство области и состояния народа». Согласно историку, «в единственных градах и малых областях полития или демократия удобно пользу и спокойность сохранить может. В величайших, но от нападений не весьма опасных, яко окружены морем или непроходными горами, особливо где народ науками довольно просвясчен, аристократия довольно способною быть может, как нам Англия и Швеция видимые примеры представляют. Великия же области, открытые границы, а наипаче где народ учением и разумом не просвясчен и более за страх, нежели от собственного благонравия, в должности содержатся, тамо оба первые не годятся, но нужно быть монархии». В связи с этим Татищев замечал: «Я 1730-го Верховному совету обстоятельно представил и нам достаточные приклады прежде бывших сильных Греческих, Римской и других республик, доказывают, что они дотоле сильны и славны были, доколе своих границ не разпространили». Кроме того, «равно о монархиях Ассирийской, Египетской, Персидской, Римской и Греческой, как правления древния и законы в пользу общую хранили, дотоле власть их почтенною и всем соседем страшною представлялась; когда же подданные дерзнули для собственного любоимения или властолюбия власть монархов уменьшать, тогда

вскоре государства с крайнею бедою прежде подвластным бывшим в рабство подвергнулись»¹.

Действительно, как известно из сочинений самого В.Н. Татищева, он был одним из тех участников событий 1730 г., которые выступили сторонниками сохранения в России самодержавия. Именно этому вопросу было специально посвящено его сочинение «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном». Оно имело вид проекта, созданного едва ли не в 1730 г., однако, скорее всего, было написано во второй половине 1740-х гг.², так что его следует рассматривать в контексте идейных исканий Татищева этого времени, в том числе связанных с критериями определения лучшей формы правления. И, что немаловажно, в этом сочинении данная проблема увязывалась с российским историко-политическим опытом.

Прежде всего, В.Н. Татищев ставил следующую проблему: «Ежели нужно нам самовластное древнее правительство (в России. — М.К.) пременить, то прежде разсудить, какое по состоянию народа и положения за лучшшее». В связи с этим историк заявлял: «К пременению правительства никакой нужды ни пользы нет, разве великой вред». Чтобы это понять, в его логике следовало рассмотреть «все правильные, а потом смешанные правительства: 1) монархия или единовластие, 2) аристократия или избранных правительство, 3) демократия или общественное правление». По Татищеву, «в единственных градах или весьма тесных областях, где всем хозяевам домов вскоре собраться можно, в таком демократия с пользою употребиться может». Там, где *область* хотя и состоит из «неколиких градов», однако защищена «от нападеней неприятельских...», как то на островах и пр. может аристократическое быть полезно, а особливо если народ учением просвясчен и законы

1. *Татищев В.Н.* История Российская. Т. I. С. 361–362.

2. См. о его датировке: *Польской С.В.* «Рассуждение о правлении государственном» В.Н. Татищева и дворянское политическое движение 1730 года // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 8 (2006). № 3. С. 690–692.

хранить без принуждения прилежит, тамо так острого смотрения и жестокого страха не требуется». Что же до *монархии*, то «великие и пространные государства, для многих соседей завидующих, оные ни которым из объявленных правиться не может, особливо где народ не довольно учением просвящен и за страх, а не из благонравия или познания пользы и вреда закон хранит, в таковых не иначе, как само- или единовластие потребно». После этого он приводил конкретные исторические *примеры*: «Состояния областей много разнятся, так и правительства оные избираются смешанные из дву или всех трех по части. Пример сему имеем Галандия, Свейцария, Генуя и пр., изрядно *правятся демократиею и называются республики* (выделено нами. — М.К.); Венеция почти едина правится аристократиею; Испания, Франция, Россия издревле, Турецкое, Персидское, Индиское, Китайское, яко великие государства, не могут иначе правиться, как самовластием. Затем смешанные: Немецкая империя и Польша правятся монархия с аристократиею; Англия и Швеция из всех трех состоят»¹. К этому Татищев добавлял следующее: «Да есче и сие случаями бывает недостаточно, яко Рим прежде императоров правился аристократиею и демократиею, а в случае тяжкой войны избирал диктатора и давал ему полное единовластие. Равно Галандия в трудном состоянии избирала статгалтера с полною властиею, и в Англии некогда на время королю в чем-либо дают полную власть. Из сего видим, что *издревле утвержденные республики* (выделено нами. — М.К.) в случаях опасных и трудных монархию вводят хотя и на время, знатно довольно видя, что монархическое правление полезнее»². Итак, из данных рассуждений следовало, что республиканская форма правления, которая у Татищева ассоциировалась с *демократией*, была возможна лишь в небольших государствах, а аристократия помимо благоприятного географического положения страны, защищающего ее от внезапных нападений, требовала

1. Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 146, 147.

2. Там же. С. 147–148.

также и *просвещенного, благо нравного народа*. Из этого следовал однозначный вывод, что для России с ее большими пространствами, враждебными соседями и недостаточно *просвещенным* народом *монархия* является лучшей формой правления.

Примечательно, что при этом В.Н. Татищев привел и доводы против *монархии*: «1) Единому человеку великую власть над всем народом дать небезопасно, ибо как бы мудр, справедлив, кроток и прилежен ни был, беспогрешен и во всем достаточен быть не может; коль же паче когда страstem своим даст волю, то нужно наглým неправым насилиям и гублениям неповинных происходить. 2) Когда он избрет во временщики кого, то оной равно самовластен и еше из зависти более других губит... 3) Вымышленная свирепым царем Иоанном Васильевичем Тайная канцелярия в стыд и поношение пред благоразсудными народы, а государству разорение, ибо за едино неосторожно сказанное слово пытаются, казнят и детей невинных имения лишают». И, конечно же, затем он их опроверг, отмечая по поводу *временщиков*, что «сие более в республиках случилось, как о древней греческой и римской истории читаем, как усилился, некоторые вельможи междуусобием великие разорения нанесли»¹.

Кроме того, к *формам правления* В.Н. Татищев в 1740-е гг. обратился при работе над «Лексиконом российским историческим, географическим, политическим и гражданским», который он так и не завершил до своей смерти. В нем историк дал такое определение *демократии*: «Порядок правления в государстве общенароднаго, и для того оные называются *общенародия, или республики* (выделено нами. — М.К.)». Далее он добавлял: «Сие хотя так именуется, однако ж как бы мало общенародие ни было, все обще править не могу, но избирая людей способных, им правление вверяют, и оные сочиняют коллегию или инаго звания, яко Парламент в Англии, Статы в Голандии и пр.; и оные, если дело великое требует еше совета от избравших, для котораго

1. Татищев В.Н. Избранные произведения. С. 149.

собирая по разным местам способные от народа, советуя и тем выбранным их мнение сообщают, чрез что хотя от многих вредительных предприятий предостерегаются, однако ж от продолжительных и несогласных советов часто великие пользы упущают и вред наносят, и чим такое владение пространнее, тем более бедам подвержено»¹.

Что до *аристократии*, то ее В.Н. Татищев определял так: «Правление области или государства знатных людей собранием, при которых полная власть зависит, и оные состоят под судом того собрания, для того оные избранные не токмо не наследственные, но и не вечные, ибо по причинам отставляются и новые в положенное число избираются, и народ повинен их законам и повелениям повиноваться. Она есть посредственное между монархией и демократией». Говоря о конкретных примерах, Татищев отмечал: «Таковое правление почитается в Немецкой империи, Англии и Швеции. Однако ж все оные смешаны с монархией, а последние 3 и с демократию для их сеймов и нижняго парламента, собственно же Венеция может чистую аристократию имяноваться». И далее он замечал касательно российской истории: «У нас такое правление по смерти Мстислава Великаго или паче от Ерослава Перваго разделением государства на княжении великое разорение нанесло. А в 1729 году умыслил было Верховной совет возобновить, но не успел»².

Итак, в 1740-е гг. В.Н. Татищев все же ушел от двойственного использования понятия *общенародие* для обозначения и демократической (республиканской) формы правления, и суверенной политической общности. Последнюю в итоге он стал определять словом *гражданство*, синонимом которого у него было также *государство*. *Републикой* же, по Татищеву, было государство с демократической формой правления или же со смешанной формой с элементами *демократии*. Можно сказать, что Татищев в итоге также пришел к противопоставлению *монархии*

1. Там же. С. 257.

2. Там же. С. 166.

и *республики*, которые при этом были разновидностями формы правления государства. Такое противопоставление, как и у Феофана Прокоповича, благодаря событиям 1730 г. для него имело вполне практическое значение и рассматривалось на примере российской истории. Будучи сторонником *монархии* в России, он доказывал невозможность в ней *республики*. Для этого Татищев использовал как доводы, связанные с размерами территории и ее географическими характеристиками, так и морально-политические аргументы, апеллируя к *просвещенности* народа и связанной с этим способностью *хранить законы* без принуждения. Из татищевских рассуждений вытекало, что стабильность государства в России при ее больших территориальных размерах, протяженной границе, а также со слабо просвещенным народом возможна лишь при самодержавной *монархии*, пусть она как форма правления и не лишена некоторых недостатков. Соответственно, введение республиканской формы правления в России в татищевской логике должно было бы привести к внутренним конфликтам, которые, ослабив государство, подготовили бы почву для внешнеполитических поражений вплоть до завоевания и, соответственно, гибели государства.

И, словно бы в завершение спора со сторонниками республиканской формы правления, в 1751 г. в Санкт-Петербурге В.К. Третьяковский, который в 1730-е гг. стал одним из создателей придворной оды, прославляющей правление Анны Иоанновны¹, опубликовал перевод «Аргениды» Дж. Баркляя. Сам Третьяковский так передал содержание XV главы первой части книги, где как раз велся спор о преимуществах монархии перед республикой: «Анаксимандр <...> начал доказывать, что правление Демократическое и Аристократическое есть лучше Монархического, и что оно согласнее с натурою. Но Никопомп доводы его отражает и утверждает, что нет полезнее обществу Монархии, и что в ней токмо истинная вольность находится,

1. Бугров К.Д. Политический кризис 1730 г. и идеология провиденциального монархизма // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 2 (427). С. 100.

а во всех прочих правлениях тень токмо оныя, в самой же вещи всеконечная неволя»¹. Итак, Третьяковский обошелся без упоминания слова *республика*. При переводе текста Барклай, в котором понятие *respublica* было ключевым, Третьяковский, известный своими языковыми экспериментами, перевел его как *всеобщество*. Как результат, в книге можно было прочесть, как один из героев романа, ведя беседу о *всеобществах*, «в которых верховнейшее право народ имеет», указывал, что «часто незнающих и ленивых лехкомыслие народа производит: также, возмущениями, завистью, и устремлением кипят народныя хотения». Что же до формы правления, «где вся сила в одних вельможах; то такое правительствующее собрание предпочесть Царству, весьма стыдно, <...> и умножив число Государей, умножить неволи подлость: ибо вы, вместо одного токмо Царя, столько поставляете Государей, сколько там людей, из которых состоит оный правительствующий совет». Кроме того, критиковался и тезис, что *общие дела* управляются «благоразумнее от многих, нежели от одного токмо Царя»: «Чтож? разве Цари мудрых людей никогда советов не употребляют? А сие, похваляемое вами правительствующее собрание разве часто не поступает по пристрастиям, когда каждый из них о собственной пользе, или когда любовью горит к своим, а на равных ненавистью дышет?» В итоге критика республиканской формы правления завершалась следующими риторическими вопросами: «Какоеж сие всеобщество (*respublica*)? Оноель, в котором силен народ? то есть, в котором к бунтам, к неистовству, к улещиванию народных мнений, и к обману оных принаравливают себя злосовесныи и мятежныи умы ласкательством, повиновением, и сладостию красноречия?»²

Итак, можно сказать, что к середине XVIII в. в России под влиянием ряда факторов (наследие московского политического языка, современная политическая география Европы, восходящая к Макиавелли интеллектуальная

1. Краткое содержание глав // Барклай Дж. Аргенида. Повесть героическая. Т. I. СПб., 1751.
2. *Барклай Дж.* Аргенида. Повесть героическая. Т. I. С. 168–169.

традиция противопоставления *монархии* и *республики*, события 1730 г.) под *республикой* по преимуществу понимали одну из форм правления *государства*, где та или иная часть верховной власти принадлежит коллективному выборному органу. При этом в рассуждениях о лучших формах правления *республике*, которая могла объединять как чистые формы правления (*демократия* и *аристократия*), так и смешанные, противопоставлялась *монархия*. И именно последняя объявлялась наиболее подходящей для России. Что до попытки *верховников* 1730 г. упразднить самодержавие, то ее провал придал дополнительный импульс антиреспубликанской составляющей монархического дискурса, в рамках которого утверждалось, что республиканское правление невозможно в России как из-за ее больших размеров, так и из-за слабо просвещенного народа. Конечно, победа *верховников* в 1730 г. могла придать республиканский импульс российской политической мысли. Однако их поражение, связанное с тем, что они не смогли предложить адекватного республиканского языка, альтернативного монархическому, привело к полному торжеству монархизма.

Под знаком Монтескье: *республика*, *монархия* и гражданские добродетели во второй половине XVIII в.

Итак, понятие *республика* к середине XVIII в. закрепилось в российской политической культуре в значении определенной формы правления, противопоставленной монархии. Какой именно формы правления? На протяжении всего XVIII столетия сохранялось и классическое, «тройное» понимание форм правления, в котором демократия и аристократия представляли двумя разными формами.

Автор упоминавшегося выше «Сокращения естественного права» (1764) В.Т. Золотницкий придерживался вполне традиционной классификации, выделяя три формы правления — монархию («единовластие»), аристократию («многовластие») и демократию («народоправление»). В свою очередь, монархия может быть «совершенной» или

«ограниченной», а также «отчизненной» или «законной». Точно так же и в аристократии власть сената может быть «ограниченной» и «неограниченной». А демократия? «Сие правление хотя в частях граждан состоит: однако, поелику все те части вместе взятые составляют вид целого правления, есть государство публичное». Впрочем, в таком государстве тоже существует сенат, «который хотя народу подвластен, однако народным именем все дела к обществу принадлежащие располагает и учреждает»¹. Правовед Ф.Г. Штрубе де Пирмонт (1704 — ок. 1790) в «Кратком руководстве к российским правам» (1755) делит формы правления на монархию и республику, а затем каждую — еще на две разновидности: «А чтоб людям можно было тем крепче содержать натуральной их союз, и тем сильне себя оборонять противу нарушителей всеобщего покоя, то добровольно учредили они между собою такия общества, которыя гражданскими называются. В сих обществах вместо Бога либо единственная какая особа власть имеет править поданными, либо сию власть имеют многие люди из самих членов общества. В первом случае общества именуются монархиями, в которых самодержцы иногда одним токмо Законам Божиим, а иногда и публичным некоторым правам следовать обязаны. В последнем называются оныя республиками и разделяются на аристократию, где выше показанная власть некоторому числу знатнейших людей поручена, и на демократию, где весь народ о делах к своему содержанию и благополучию касающихся сам рассуждает и повелевает»².

Профессор Московского университета Х.А. Чеботарев (1745/1746–1815), анализируя в «Географическом и методическом описании Российской империи» (1776) различные формы правления, выделяет лишь три их разновидности: «Внешняя или наружная власть, по различию правителей,

1. *Золотницкий В.Т.* Сокращение естественного права. С. 116.
2. *Штрубе де Пирмонт Ф.Г.* Краткое руководство к российским правам // Бугров К.Д., Киселев М.А. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века. С. 323.

есть или монархическая, или аристократическая, или демократическая». Примерами монархии у Чеботарева выступают Испания, Франция и Россия — «такой род правления... в котором все дела, внутренние и внешние производятся именем одной особы, т.е. главного в нем правителя». Аристократиями являются Венеция и Генуя, где «главная власть зависит от целой какой-нибудь знатной коллегии». Примеров демократической формы правления Чеботарев не приводит, отмечая лишь, что демократией можно считать «такое государство, в правлении которого участие приемлет весь, составляющий его народ, которой имеет право сам собою избирать к тому способных и доверенных людей». Наконец, бывают *смешанные правления* — такие, как Англия, которую можно одновременно назвать и монархией, и аристократией¹. Кроме того, государства отличаются друг от друга «в рассуждении способа, которым правители их достигают верховной власти». Бывают наследственные государства, где «престол зависит от природного наследства» (Испания, Франция), и избираемые государства, где «Государь возводится на престол, чрез порядочное избирание, производимое всеми государственными чинами» (Священная Римская империя, Речь Посполитая, Швеция)².

Но к середине XVIII в. возникает и новая, более сложная классификация, представленная в трактате Ш.-Л. Монтескье (1689–1755) «О духе законов» (1748, русский перевод 1775 г.). Монтескье придерживался следующего деления: «Три рода правлений: *общенародное* (республиканское), *самодержавное* (монархическое) и *самовластное* (деспотическое)». При этом республику Монтескье все-таки делил — делая уступку старому аристотелевскому подходу — на две разновидности: «Когда в общенародной державе (Республика) весь народ имеет верховную власть; то сие называется *Народным правлением* (Демократия); а если та же власть находится в руках у некоторой части народа, то

1. Чеботарев Х.А. Географическое методическое описание Российской империи. М., 1776. С. 25–26.

2. Там же. С. 27.

сие называется *Вельможным правлением* (Аристократия)»¹. Монтескье не менее решительно отказывался использовать понятие *la République* (республика) в универсальном значении политической общности, отдавая предпочтение понятию *l'État* (государство). Таким образом, Монтескье дает противопоставлению *монархия — республика*, которое мы рассмотрели выше, новое измерение: отныне речь идет не только о различии между единоначалием и коллективным властвованием или между властью законов и властью лиц, но и о различии принципов форм правления, тех социальных качеств людей, которые приводят их в движение: в республике это — *добродетель*, в монархии — *честь*, а в деспотии — *страх*.

Оставаясь поклонником выдающихся гражданских добродетелей, о которых сообщали античные авторы, Монтескье одновременно проводил четкую линию между «древней» и «новой» свободой; классический республиканизм в его представлениях принадлежал прошлому, великому, но одновременно и устрашающему; современное же Монтескье общество Европы XVIII в., основанное на международной коммерции², было пространством умеренных «законных» монархий, разделения властей и гарантий личной свободы индивидов взамен гражданской добродетели греко-римского толка. И республика, и монархия способны гарантировать свободу, однако разными путями; в современном мире монархия куда жизнеспособнее, а потому и предпочтительнее. Аргументация Монтескье вытекала из осмысления новых социально-экономических реалий Европы XVIII столетия, Европы международной коммерции, апология которой становится устойчивой по крайней мере со времен знаменитой басни Б. Мандевиля (1670–1733) о «частных пороках и общественных выгодах». Монархии Монтескье — это и есть удивительные машины, в которых частные пороки преобразуются в общественные выгоды;

1. *Монтескье Ш.* О разуме законов. Т. I. СПб., 1775. С. 13, 14.
2. См.: *Бугров К. Д., Киселев М. А.* Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века. С. 257–270.

придворным и коммерсантам вовсе не нужно быть добродетельными, чтобы наслаждаться законностью и быть хорошими гражданами. Честолюбие, стремление к обладанию, тяга к роскоши, конкуренция за монаршую милость — вся эта машинерия страстей движет монархию не менее эффективно, чем суровая добродетель самопожертвования двигала древние республики Спарты, Карфагена и Рима.

Наконец, значение для Монтескье имеет и географическое положение: огромные страны имеют тенденцию быть деспотиями, средние — монархиями, малые — республиками; вместе с тем чем экстремальнее климат, тем более страна подходит для деспотии, чем он умеренней, тем более она подходит для монархии или республики. Эту и без того непростую классификацию Монтескье делал еще более хитроумной, вводя в книге XI понятие *цели*, существующей у каждого государства: *целью* Англии является свобода, *целью* Древнего Рима — расширение границ, Спарты — война, Китая — «общественное спокойствие». Анализ римской истории, предпринятый Монтескье в «Размышлениях о причинах величия и упадка римлян» (1734, русский перевод 1769 г.), показывал: падение республики в Риме было связано с чрезмерно успешным исполнением этой цели: после предельного расширения границ республика перестала работать как должно и после череды гражданских войн преобразилась в монархию.

Освоение этой сложной, многогранной классификации оказалось для европейской общественно-политической мысли делом непростым. Так, в сочинении 1755 г. (русский перевод 1775 г.), посвященном анализу «О духе законов» и регулярно издававшемся в качестве предисловия к этому сочинению Монтескье, Ж.Л. Д'Аламбер (1717–1783) утверждал: «Правление можно разделить на три рода, народное (*le républicain*), самодержавное (*le monarchique*) и самовластное (*le despotique*). В народном правлении народ весь вместе (*le peuple en corps*) имеет верховное могущество (*la souveraine puissance*), в самодержавном одна особа управляет по принятым за основание законам, а в самовластном не знает другого закона, кроме воли Государя или лучше сказать

мучителя (du tyran)». Однако Д'Аламбер корректировал концепцию Монтескье, вводя старую концепцию смешанного правления: «Сим разделением не утверждается того, что бы во всей вселенной были только сии три рода правления так, как не говорится здесь и того, что бы находились такие государства (des états), которые бы единственно и в точности принадлежали к одному какому нибудь из сих учреждений; но большая из них часть суть ... полемешены или одни другими подтенены. Тут самодержавие склонено к самовластию; там правление самодержавное смешано с народным (le républicain)... Три рода правления (de gouvernement) в нем заключающиеся суть так различны, что они не имеют собственно ничего между собою общаго; а в прочем все государства (les états) нам известныя взаимствуют частно одно от другаго»¹. Другой французский мыслитель, Л. де Жокур (1704–1779), написавший целый ряд статей о политических институтах для знаменитой «Энциклопедии», следовал четверной классификации форм правления Монтескье, замечая: «Во правлении пороком признавать должно, когда законы и обыкновения государства не сходятся с естественным расположением народа или качеством и положением земли»². Демократия, согласно Жокуру, опирается на добродетель, подразумевающую любовь к Отечеству, законам, равенству и «воздержанию». В разделе об аристократической форме правления Жокур прямо ссылается на Монтескье, описывая институциональную организацию этой формы и подчеркивая роль умеренности. А главное, Жокур — следуя Монтескье — заявлял, что «монархическое правление не имеет, подобно республиканскому, добронравия первоначальным основанием», так как роль движущего принципа тут занимает честь³. Но одновременно он давал характеристики и «поврежденным» вариантам республик (охлократия, олигархия); монархию

1. *Д'Аламбер Ж.Л.* Разрешение разума законов // Монтескье Ш. О разуме законов. Т. I. С. XIII.
2. *Жокур Л. де.* О государственном правлении и разных родах оногo. Из Энциклопедии. СПб., 1770. С. 22.
3. Там же. С. 59.

Жокур делит на «совершенную» (которая, в свою очередь, не тождественна деспотии), «избирательную» и «ограниченную»; последняя по существу является смешанной формой правления¹. Как будто для того, чтобы окончательно запутать читателя, Жокур включил в свою классификацию еще и *тиранию* — «правление, несправедливо отправляемое без обуздания законов»², причем тирании подвержены любые другие правления.

Классификация Монтескье распространялась и в России. В 1763 г. из русского перевода учебного пособия немецкого географа А.Ф. Бюшинга (1724–1793) 1758 г., работавшего в Санкт-Петербурге в 1761–1765 гг. и имевшего возможность общаться с представителями правящей элиты³, читатель мог узнать, что «государство (ein Staat) есть собрание многих фамилий, коих благополучное состояние зависит от особого верховного правления». Это утверждение сопровождалось таким комментарием: «Слово государство берется здесь в общем знаменовании». Типология форм правления по Бюшингу следует за Монтескье: если «в государстве верховная власть зависит только от одной персоны, то называется оно *монархическим*», при этом если «Государь (Regent) <...> правит не смотря на законы и правила самовольно, то правление его именуется безпредельным (Despotisch)», тогда как «государство, коим управляют многия персоны, называется *Республикою* (Republic)», и когда «верховную власть имеет определенное число персон, то такое правление называется *Аристократическим*, а ежели она общая с народом, то именуется *Демократическим*»⁴. Преподававший в Московском университете профессор Ф.Г. Дильтей (1723–1781) в популярном сочинении по географии в 1768 г. писал касательно «*формы правления держав Европейских*» (forms de

1. Жокур Л. де. О государственном правлении и разных родах оногo. С. 72.

2. Там же. С. 158.

3. Белковец Л. П. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в. Г.Ф. Миллер и А.Ф. Бюшинг. Томск, 1988. С. 194–205.

4. Бишинг А. Ф. Руководство к основательному и полезному познанию географического и политического состоянию Европейских государств и республик. СПб., 1763. С. 1–2, 4–5.

gouvernement des états), что «они разделяются на пять *сортов*», а именно: «*Деспотическое, Монархическое, Аристократическое, Демократическое и Смешенное*»¹. Я.П. Козельский (1728 — после 1793) в «Философических предложениях» (1768) кратко пересказывает Монтескье в части, касающейся четырех форм правления: «Писатели полагают четыре формы правления: 1. Демократическую, в которой весь народ, будучи в полном собрании, устанавливает новые и уничтожает бесполезные законы, решает уголовные и другие важные дела. 2. Аристократическую, в которой сенат управляет всеми вышеписанными делами. 3. Монархическую, в которой один государь управляет народом на основании законов. 4. Деспотическую, в которой один же государь управляет всеми делами по одной своей воле»². М.М. Щербатов (1733–1790) в «Разных рассуждениях о правлении», оставшихся в XVIII в. в рукописи, сравнивает между собой разные формы правления — монархию, деспотию, аристократию и демократию. При этом Щербатов время от времени характеризует аристократию и демократию как два разных варианта республики, например, говоря об «обыкновенном пороке медленности, общем всем республикам»³. Пороки республики Щербатов дробит надвое: аристократия, где люди «горды и тверды», страдает от «мучительства вельмож простому народу», а демократия, где люди «смутнолюбивы и увертчивы», — от внутреннего хаоса и нестабильности, от вражды партий и, наконец, от захвата власти «пронырливыми» демагогами. При этом республики (Щербатов опять имеет в виду республику в целом, а не аристократию либо демократию) основаны на равенстве граждан, благодаря чему «никакое другое правление нам не подаст толь великого числа знатных примеров любви к отечеству». Причина тому — то, что «республиканцы почитают

1. *Дильтей Ф.Г.* Детской атлас, или Новой удобной и доказательной способ к учению географии. Т. 1. М., 1768. С. 37.
2. *Козельский Я.П.* Философические предложения // Общественная мысль России XVIII века. Т. 1. Philosophia Rationalis. М., 2010. С. 244–245.
3. *Щербатов М.М.* Разные размышления о правлении // Щербатов М.М. Сочинения. Т. 2. Политические сочинения. СПб., 1896. С. 342.

себя единым родом, в котором каждый имеет некоторую особливую часть себе во удел, от которого он больше или меньше прибытку получит, по мере доброго состояния, в котором все другие части будут находиться»¹. Утопическая страна Офирия Щербатова законная монархия; с ней граничат несколько стран: государства дысвов (шведов, на «зазеркальном» языке Офирии), пиуров (пруссаков) и палей (поляков) — из которых последнее представляет «республику довольно сильную по естественному положению, но ослабленную царствующими в ней неустройствами»². Щербатов, конечно, имел в виду Речь Посполитую.

В «Размышлениях о законодательстве вообще» М.М. Щербатов говорит о трех — не о четырех! — «родах правления», «монархическом, вельможном и народном» («самовластие» он тоже поминает, но характеризует его как «злоупотребление монархической власти»), а также о том, что возможны смешанные формы: «Не было и несть ни у единого живущего в градах народа точно чистого какого из сих правлений, но все единое с другим мешалось, ибо монарх не может править без вельмож, вельможи не могут править без начальника и без народа, ни народ без начальников сам себя управлять»³. Щербатов приводит немало исторических примеров тех или иных форм смешения, заключая, что все-таки «везде есть единая власть превосходящая, которой соответствует умоначертание народное и коей законы в рассуждении политического состояния соответствовать должны». Например, Франция — монархия, Англия, «не взирая, что имеет короля, есть правления республики», а Швеция, Польша и Венеция — «вельможного правления». Примечательная оговорка: Щербатов назвал Англию не демократией, а республикой! В «Размышлениях о самстве» Щербатов говорит о бедах, которые эгоизм («самство»)

1. *Щербатов М.М.* Разные размышления о правлении. С. 350.

2. *Щербатов М.М.* Путешествие г-на С... швецкаго дворянина в землю Офирскую // Щербатов М.М. Сочинения. Т. 2. Политические сочинения. СПб., 1896. С. 871.

3. *Щербатов М.М.* Размышления о законодательстве вообще // Щербатов М.М. Сочинения. Т. 2. Политические сочинения. СПб., 1896. С. 384.

приносит разным социальным группам. «Самство» поражает социальные слои, выделенные на функциональных основаниях, — ремесленников, земледельцев, купцов, воинов и судей¹, — а также политиков, среди которых Щербатов называет «царей», «вельмож» и особо «правителей республик», которые, страдая от «самства», «стараясь вольность народную угнетать и тиранами себя учинить»². Как видим, здесь речь опять идет о республике, объединяющей две формы правления, аристократию и демократию.

Обращался к характеристике различных форм правления и екатерининский сановник, руководитель российской внешней политики в 1760–1770-х гг. Н.И. Панин (1718–1783), характеризуя российскую форму правления как «вконец истребившуюся» в знаменитом «Рассуждении о непременных государственных законах» (начало 1780-х гг.): «Государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя Государю в самовольное ево управление, и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления: — не монархическое; ибо нет в нем фундаментальных Законов: — не Аристократия; ибо верховное в нем правление есть бездушная машина движимая произволом государя: — на Демократию же и походить не может земля, где народ пресмыкаяся во мраке глубочайшаго невежества носит безгласно бремя жестокого рабства»³. При этом Панин знал и понятие республики как обобщающую рамку: в 1770-х гг. он замечал по поводу богатств польских конфедератов: «Богатства сии таковы, что во всяком правительстве были бы они выше меры для партикулярного человека, а тем более они опасны и очевидно предосудительные в правлении аристократическом. Таковы суть неизмеримые имения Радзивилловские,

1. Это разделение было общеупотребительным в XVIII в. См.: Границы и маркеры социальной стратификации / Под ред. Д.А. Редина. СПб., 2018. С. 156–197.
2. Щербатов М.М. Размышления о самстве // Щербатов М.М. Сочинения. Т. 1. Статьи историко-политические и философские. СПб., 1898. С. 419.
3. Бузров К.Д. Монархия и реформы. Политические взгляды Н.И. Панина. Екатеринбург, 2015. С. 258–259.

Потоцких, Черторижских, Мнишеков и еще некоторых, да и для безопасности самой Польши было бы полезно, если бы их довели до меньшей разницы равенства приличного республиканцам»¹.

Наконец, воспроизводил классификацию Монтескье и А. Ф. Бестужев (1761–1810) в трактате «О воспитании» (1798): «Все правления, следуя Монтескию, могут подразумеваться под тремя видами, кои суть республиканское, деспотическое и монархическое»; примерами Бестужеву служат соответственно Рим и Нидерланды, Турция, Россия и Испания².

Но если четверная система в целом была широко адаптирована российскими мыслителями во 2-й половине XVIII в., то новаторское содержание, которое Монтескье вкладывал в противопоставление монархии и республики, российским мыслителям было принять трудно. Впрочем, не только российским: Монтескье активно подвергали критике и в Западной Европе. Немецкий автор, камералист И. Г. Юсти (1717–1771), часто цитирующий Монтескье в «Существенном изображении естества народных обществ и всякого рода законов» (1760, русский перевод 1770 г.³), критиковал классификацию форм правления Монтескье, предпочитая ей классическую тройную классификацию, и, в частности, заявлял: «Общепародие есть слово всем и каждым областям вообще принадлежащее, с умолчанием токмо образа правления; понеже всякое гражданское общество ни что иное есть, как существо общее в соединении общих сил... хотя называются иногда области государей не имеющие, особливо общепародиями, не взирая на то, многоначальны ли они, или народоначальны»⁴. Юсти отказывался считать деспотизм отдельной формой

1. *Бугров К. Д.* Монархия и реформы. Политические взгляды Н. И. Панина. С. 151.
2. *Бестужев А. Ф.* О воспитании // *Общественная мысль России XVIII века. Т. 2. Philosophia moralis.* Сост. Т. В. Артемьева. М., 2010. С. 503.
3. *Расков Д.* Камерализм книг: переводы Юсти в России XVIII века // *Terra Economicus.* 2019. № 17 (4). С. 67.
4. *Юсти И. Г.* Существенное изображение естества народных обществ и всякого рода законов. М., 1770. С. 85.

правления и резервировать добродетель только за республикой: по его мнению, ни одна форма правления без добродетели устоять не способна.

Видный французский просветитель Г. Мабли (1709–1785) в работе «Разговоры Фокионовы о сходности нравоучения с политикою» (1763, русский перевод 1772 г.) развивал концепцию, прямо противоречившую идеям Монтескье. Мабли — устами знаменитого афинского оратора Фокиона — обрушивался на страсти: «Каждая из них, слепотствуя о всякой другой пользе, кроме собственныя, разрушает союз республики, смотря на себя, как на предмет и на центр всего. Порок разделяет граждан, а добродетель сводила б их и содержала бы в соединении... Превзошло б дело выше Создателя естества, когда б хотели искоренять наши страсти. Они им сотворены и так же бессмертны, как и он: но повелевает он нам их сокращать, распорядить и управлять ими по советам разума; ибо таким только образом теряют они яд свой и поспешествуют нашему благополучию»¹. Фокион (читай: Мабли) суммировал: «Таков есть установленный в делах человеческих порядок, что благополучие областей есть подлинное и надежное наказание за их добродетели, а нещастие неминуемое наказание за их пороки»². А вот когда новейшие философы принимаются «с холодной кровью» во всем сомневаться, «чего уповати имеет республика от граждан и от градоначальников?»³ Эти соображения Мабли считает валидными для всех форм правления, не только для древней республики. В качестве предпочтительной формы правления он постулирует смешанное правление⁴. Конечно, политика может — подобно искусному лекарю — придавать некоторым страстям «цвет добродетели»: такие «смрадные страсти», как «зависть, ревнование, честолюбие, гордость, тщеславие» разумная политика превращает в «подражание,

1. *Мабли Г.* Разговоры Фокионовы о сходности нравоучения с политикою, собранные греком Никоклесом. СПб., 1772. С. 31.

2. Там же. С. 38.

3. Там же. С. 41.

4. Там же. С. 57.

славолюбие, мудрость, твердость, геройство»; но чтобы это работало, надо вначале предохранить граждан от скупости, лени и роскоши¹. Как видим, Мабли не видел различий между политической и моральной добродетелью и считал, что добродетель является основой для любой формы правления, полностью игнорируя соображения Монтескье относительно различий в принципах монархии и республики.

В сочинении «Образ народного любочестия» (1758, русский перевод 1793 г.) швейцарский врач и философ И. Циммерман (1728–1795) сравнивал республиканское правление (опять-таки представленное в двух вариантах — демократическом и аристократическом) с тираническим самовластием, которого республика должна постоянно остерегаться. Но затем Циммерман заявлял, что для Европы такое противоположение уже не актуально: древние философы знали или республики, или свирепое самовластие и «не чаяли того, что о просвещенных монархиях можно будет сказать некогда то ж самое, что говаривали они и о своих республиках, то есть, что не люди, но законы там владычествуют»².

Российские авторы, как и Юсти, в большинстве своем считали, что добродетель нужна не только республикам, но и всем формам правления без исключения. Так, на Монтескье напал Ф.Г. Штрубе де Пирмонт, который в «Российских письмах» декларировал: «Никакому государству и ни единой державе без добродетели пробыть невозможно, что больше в государстве добродетелей, толь щасливее оно будет. Некоторыя свободныя земли и области от того знатную перемену во всей форме правительства претерпели, а другие совсем погибли, что места добродетели заступившие пороки главною виною сих перемен и всего падения учинились. Сего зла в таких монархиях еще больше и чаще бывало, где бесчеловечие с непорядками владельцев с пагубным честолюбием и со злостями подданных

1. *Мабли Г.* Разговоры Фокионовы о сходности нравочестия с политикою, собранные греком Никоклесом. С. 210.
2. *Циммерман И.-Г.* Образ народного любочестия. СПб., 1793. С. 252.

ужасные действия произвели»¹. В сходном духе высказывался и Ф.А. Эмин (1735–1770) в предисловии к «Истории Российской» (1767): «От Аристотеля времен по нынешние дни многие умствующие Законописатели неизчисленные написали томы о разном свойстве владений. Иные из них республиканскую вольность, а иные самодержавное правление прославляли. Но естли их писания здравым разобратъ разсуждением, то в каждом из оных явное найти можно пристрастие: ибо обыкновенно Республиканцы хвалят свою вольность, а подданные самодержавство. Но все их долговременные и неизчисленные споры пятью словами Премудрая решит МОНАРХИЯ. Тонко вопрошает: В чем состоит вольность, и какие быть должны следствия оной? Нет такого малоразсудного человека, который бы того не знал, что свойство вольности должно споспешествовать ко благополучию общественному, и что следствия оной должны быть истинна и добродетель: ибо ни в одной Республике творение зла не дозволяется. Когда же вольность состоит в делании добра, то сия золотая вольность нигде толь свободного, как в России не имеет пристанища»².

Н.И. Новиков (1744–1818) в статье «О воспитании и наставлении детей» (1783) утверждал: «Единое воспитание есть подлинный творец добрых нравов: чрез него вкус добродетели, привычка к порядку, отечественный дух, благородная (на истине и знании основанная) народная гордость, презрение слабости и всего прикрашенного и маловажного, любовь к простоте и к натуре со всеми другими человекодружественными, общественными и гражданскими добродетелями должны овладеть сердцами граждан; чрез него мужчины и женщины должны образованы быть

1. *Штрубе де Пирмонт Ф.Г.* Россиския (или Руские) письма // Бугров К.Д., Киселев М.А. Естественное право и добродетель: Интеграция европейского влияния в российскую политическую культуру XVIII века. С. 382.

2. *Эмин Ф.А.* Российская история жизни всех древних от самого начала России государей, всевеликия и вечной достойныя памяти императора Петра Великого действия, его наследниц и наследников ему последование и описание в Севере золотого века во время царствования Екатерины Великой в себе заключающая. Т. I. СПб., 1767. С. IX.

сходственно с их полом, а всякий особенный класс государства тем, чем быть ему надлежит»¹. Ведь именно воспитание готовит граждан к исполнению их должностей и, следовательно, к тому, чтобы быть «благополучными людьми и полезными гражданами», поскольку «худой человек всегда бывает и худой гражданин»². Равным образом и А.Ф. Бестужев считал добродетель, вырабатываемую путем доброго воспитания, необходимой в любом государстве. Ведь воспитание «произращает нравы, учреждает могущество, должную деятельность, благополучие народа; оно соглашает начальствующих с повинующимися, страсти примиряет с законами, веления с природою»³. Подобно Фокиону Мабли, Бестужев полагал, что страсти нуждаются в обуздании разумом, и, ссылаясь на Сократа, настаивал на возможности полезного использования страстей⁴. При этом Бестужев сочувственно относился к древним Спарте и Риму, предлагая вдохновляться теми успехами, которых воспитание граждан достигло в этих республиках: «Естьли добродетель царствовала в Риме в недре гражданского несогласия и посторонней войны, между беспрестанною борьбою высокомерия и вольности, патрициев и народа, сената и трибунов, под законами непостоянными и правлением переменным, где вера без нравоучения и богослужение было развратное, — то не может ли она являться во всем блеске в недре тишины и спокойствия, в правлении постоянном и благоустроенном, тут, где вера старается возвысить нравы и способствует спокойствию законов»⁵. Словно бы наперекор Монтескье, Бестужев был уверен в том, что просвещенная Европа XVIII в. способна культивировать добродетели спартанского толка куда успешнее самой Спарты!

1. *Новиков Н.И.* О воспитании и наставлении детей // *Общественная мысль России XVIII века.* Т. 2. *Philosophia moralis.* Сост. Т.В. Артемьева. М., 2010. С. 267.
2. Там же. С. 271.
3. *Бестужев А.Ф.* О воспитании // *Общественная мысль России XVIII века.* Т. 2. *Philosophia moralis.* С. 504.
4. Там же. С. 519.
5. Там же. С. 508.

Публицист и поэт И.П. Пнин (1773–1805) в «Опыте о просвещении относительно к России» (1804) декларировал: «Поистине благополучны те только страны, где власть правительства, основывая на благоразумных, человеколюбивых и с целью гражданских обществ согласных правилах, главнейшим для себя поставляет законом: что чем более гражданин уверен в своей безопасности и собственности, тем становится он рачительнее, деятельнее, полезнее и преданнее своему государству. Тогда-то любовь к Отечеству есть тот алмазный щит, против коего ни устремленные громы врагов, ни коварные замыслы злодеев, ни бури мятежей устоять не могут. Тогда, возжегши души граждан, движет их к тем великим и чудным делам, которым, читая историю, дивимся мы и восхищаемся»¹. Подобный порядок должен опираться на неприкосновенность права собственности, соблюдение закона и «благоденствия всех людей без изъятия». На этой-то базе Пнин и развертывал свою социальную программу: вначале — *собственность*, потом — *добродетель* и, наконец, — *просвещение*. В этой триаде *собственность* должна была признаваться за каждым гражданином без исключения, вне зависимости от принадлежности к конкретной социальной группе (это соображение позволяло Пнину развязать яростную атаку на крепостное право), а вот *добродетели* и *просвещение* следовало принаравливать к нуждам конкретных социальных страт (земледельцев, купцов и ремесленников, дворян, священников), чтобы соблюсти неприкосновенность «государственной цепи», образуемой социальным неравенством и поддерживающей государство в целости. Подобно Бестужеву, Пнин не видел никакой сложности в том, чтобы инкорпорировать античную гражданскую добродетель в пространство современной ему монархии, сохраняя при этом жесткую социальную стратификацию.

Как отмечалось, еще одной важной характеристикой республики было то, что ее считали подходящей для небольших и слабых в военном отношении государств. В России

1. Пнин И.П. Опыт о просвещении относительно к России // Общественная мысль России XVIII века. Т. 2. Philosophia moralis. С. 587.

это мнение было в XVIII в. популярно. Мы уже видели выше, что его придерживались Феофан Прокопович и В.Н. Татищев. В 1765 г. Н.И. Панин в письме к послу в Польше Н.В. Репнину замечал, что против военных планов Пруссии Польше «не много поможет и сеймическое большое число голосов, в которое, кажется, у вас столь много влюблены и которым Швеция от начала пользуясь, должна чуть не ему ли одному приписать доскональное свое погружение в бедствиях»¹; спустя почти сорок лет аналогичное мнение о необходимости монархии для России высказал сменивший Панина в роли руководителя российской внешней политики А.А. Безбородко (1747–1799)². Придерживалась такой же точки зрения и Екатерина II, еще в 1764 г. в «Наказе» генерал-прокурору Вяземскому напоминавшая: «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которья все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным, а другие все, по слову Евангельскому, наемники есть»³. Но, возможно, наиболее ярким примером является рукописный трактат забытого ныне публициста Т.И. Черкасова «Благородство» (1788), беспощадно критикующий *власть многих*: «Правление многих по истинному начальному всякия власти и зависимости происхождению и в самом естестве не находит для себя ни одобрения, ни подтверждения. А чтоб они, парламентшики, подлинно неохуждаемое имели намерение, того предположити никак невозможно, по известному несостоянию их, поборати о том, о чем они

1. Письмо Н.И. Панина к послу кн. Репнину (29 марта 1762 г.) // Сборник Императорского Российского исторического общества. Т. 57. М., 1887. С. 227.
2. Записка канцлера князя Безбородки о потребностях империи Российской // Русский архив. 1877. Кн. 1. Вып. 3. С. 297.
3. Собственноручное наставление Екатерины II князю Вяземскому при вступлении им в должность генерал-прокурора // Сборник Императорского Российского исторического общества. Т. 7. СПб., 1871. С. 347.

справедливо мыслить не могли, как о сем и само последствие довольно доказало. Да к тому ж и в сооружении таковом, силы их превосходящем, не восхотели они или, свойственное сказать, не умели последовати примерам других государств, яко то Англии, Швеции и самых республик». Впрочем, республики, согласно Черкасову, эфемерны: Швеция зависит от иностранных хозяев, Венеция и Соединенные Провинции страдают от политической нестабильности, «Англия же, яко малый врабий, не инако, как посредством бесчеловечнейших граблений своих обих до сего Индии возлетающей, умствованием краснословов своих, без всякаго и чести, и совести своя зазрения голоса свои продающих, лишилася праваго крыла своего (Американских селений), и уже близ есть плачевнаго для нея ключения»¹. После нескольких критических замечаний по адресу «вольности безпредельной» автор трактата приходит к выводу: «А что пространнейшая Россия не может понести никакого другаго правления, кроме монархическаго, тому никто, здравой разумок имеющей, противусловствовати не может»². В военном и административном отношении монархии гораздо сильнее республик, монархии лучше обеспечивают стабильность — и если можно доказать, что и добродетель с вольностью процветают под монаршим скипетром, то у республики не остается ни единой сильной стороны.

Критика и апология древних республик: рождение российского республиканизма конца XVIII в.

Во 2-й половине XVIII в. под влиянием социологизирующих концепций эпохи и, в частности, Монтескье характерной чертой республики начинает считаться не только коллективный характер управления, но и *равенство* граждан — явное в демократии и несколько более проблемное в аристократии. Вопрос ставится не только о том, каковы

1. *Лыцова А. С.* Трактат Т.И. Черкасова «Благородство» (1788 г.) // Документ. Архив. История. Современность. Екатеринбург, 2016. С. 300.

2. Там же.

правители, но и о том, каковы граждане. Республика — это не просто власть коллективного органа вместо единоличного властвования монарха, но и особые качества граждан. Мы уже видели, что авторы 1-й половины XVIII в. — такие, как А.П. Волынский, — отвергают республику еще и по той причине, что российский народ «недостаточно просвещен»¹.

Монтескье полагал, что особая республиканская добродетель, порождаемая равенством, принадлежит прошлому, тогда как в настоящем движущей силой крупных монархий выступают честь, коммерческий обмен, личный интерес. Как мы видели выше, большинство российских авторов не были с этим согласны; предпочитая, как и Монтескье, монархию республике, они вместе с тем не видели проблем в том, чтобы инкорпорировать республиканскую гражданственность в монархическом правлении под скипетром просвещенного государя или государыни и с сохранением социальной стратификации помещичьего общества.

А как же *равенство*? У равенства были свои авторитетные защитники. Европейский республиканизм Нового времени, начиная от Макиавелли, связывал замечательную гражданственность древних республик Спарты и Рима с особым социальным устройством, предусматривающим равенство граждан-воинов между собой. К примеру, Дж. Харрингтон (1560–1612), видный английский теоретик «народного правления» XVII в., полагал, что «республика равенства одна не имеет изъянов и существует в полном совершенстве правления»; в практическом смысле Харрингтон предполагал добиться равенства с помощью перераспределения земельных участков и непрерывной ротации всех властных должностей². Конечно, это равенство было зарезервировано только для круга полноценных граждан, из этого числа исключались те, у кого не было земли, те, кто работал по найму; обратной стороной республиканской

1. Применительно ко 2-й половине XVIII в. см.: *Марасинова Е.Н.* «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. М., 2017. С. 377–384.

2. *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Российский республиканизм XVIII — начала XX века в сравнительно-историческом контексте. Екатеринбург, 2019. С. 29.

гражданственности могло стать порабощение всех недостаточно сознательных. Столетие просвещенных монархий и роста международной коммерции поубавило число сторонников такой республики; уже Монтескье склонен был считать ее архаизмом, однако традиция продолжала существовать. Наиболее устойчивой она была в Англии, откуда пересекла океан и стала одним из интеллектуальных истоков идеологии революции в Америке, создания Соединенных Штатов.

Однако еще более ярким и влиятельным адвокатом республиканского равенства был в XVIII в. Ж.-Ж. Руссо (1712–1778). Для Руссо, находившегося — через посредство Ф. Фенелона — под влиянием классической республиканской традиции Нового времени, коммерция и роскошь во все не были полезными пружинами нового общества; хотя имущество и производит неравенства, законы, в противовес ему, должны вырабатывать равенство, потому что без равенства нет свободы. В «Рассуждении о том, способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов» (1749, русский перевод 1768 г.) Руссо саркастически замечает: «Политики древности беспрестанно говорили о нравах и о добродетели; наши — говорят лишь о торговле и о деньгах. <...> По их мнению, ценность человека в Государстве определяется лишь тем, что он в этом Государстве потребляет; таким образом, один сибарит стоил бы добрых тридцати лакедемонян. Вот и угадайте, которая из этих двух республик, Спарта или Сибарис, была покорена горстью крестьян и которая из них повергла в трепет Азию»¹; эту же линию критики продолжает он и в «Рассуждении о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1754, русский перевод 1770 г.). А в сочинении «О политической экономии» («De l'économie politique», 1755) Руссо продолжил критическую линию: между интересами правителя и подданных не существует никакой естественной связи,

1. Руссо Ж.-Ж. Рассуждение, получившее премию Дижонской академии в 1750 г., по вопросу, предложенному этой же академией: «Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?» // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. М., 2000. С. 39.

богатые и могущественные по сути узурпируют власть, опираясь на аппарат принуждения и идеологического обмана. А потому интересы государя и подданных диаметрально противоположны¹.

Российские авторы мастерски критиковали коллективное правление как неспособное управлять обширной территорией и хранить государственные секреты, одновременно провозглашая, что республиканская добродетель и вольность могут процветать еще лучше в просвещенной и мудрой монархии. Однако любой социальный анализ указывал на связь между равенством и гражданской добродетелью; кто хочет спартанской гражданственности, тому нужно и спартанское равенство. Для дворянской, помещичьей российской элиты защита равенства была недопустимой, и во 2-й половине XVIII в. доминирующей тенденцией в отечественной общественной мысли становится апроприация республиканских добродетелей (подталкиваемая модой на все античное, ярко воплотившейся в «Камероновой галерее» дворца в Царском селе) при одновременной критике *равенства*. Критика эта теперь начинала звучать как критика анархизма и атеизма, правда, сам Руссо атакам по этой линии подвергался редко — роль наиболее опасных радикалов была в XVIII в. зарезервирована за Гоббсом, Спинозой, Макиавелли и Вольтером.

Конечно, тенденция эта вовсе не ограничивалась Россией, ее можно считать общеевропейской. Во 2-й половине XVIII в. популярными были политические сочинения видного швейцарского литератора и ученого А. Галлера (1708–1777), наглядно и увлекательно описывавшие различия между формами правления. Если повесть «Усонг» (1771), написанная в «восточном» колорите, была посвящена анализу деспотизма, а повесть «Альфред» (1773) описывала «законную монархию», то сочинение «Фабий и Катон» (1774) в диалоговой манере раскрывало плюсы и минусы аристократии и демократии, двух республиканских форм правления. Политический анализ в повести тяготеет к двум

1. *Он же*. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. С. 114.

основным блокам. Во второй книге пространственные диалоги ведут Фабий Максим, который у Галлера выступает защитником аристократии, и Марк Катон (имеется в виду, конечно, Катон Старший), представляющий сторонником демократии. Они спорят о том, необходима ли республике патрицианская элита («дворянство»); и Фабий, и Катон считают наиболее опасной угрозой республиканскому строю роскошь и алчность, ведущие к гибели добродетели, однако Фабий полагает, что патрицианские благородные роды способны противостоять такому разложению, а вот для Катона именно монополия патрициев на власть и богатство является залогом необратимости коррупции нравов. Но вскоре уже Катону приходится защищать римские добродетели от афинского «лжемудреца» Карнеада¹, который насаждает среди молодых римлян атеизм, а заодно обучает их доктрине народного суверенитета, повторяя в общих чертах доводы английских республиканцев XVII столетия или Ж.-Ж. Руссо²: «Вся существенная власть принадлежит народу... Люди соединились, дабы жить в обществе. Каждый член одного для собственной пользы жертвует частью своей вольности и прав, вручая их тем людям, коим вверил он верховное правление. Сия власть принадлежит по праву всем людям, составляющим единое общество; но все члены одного по причине частных дел своих не могли заниматься тягостною должностию государственного правления, избрали таких мужей, коим уступили исполнительную власть»³. Итак, «дворянство», Сенат и цари — не более чем должностные лица, уполномоченные народом — «истинным царем и верховным законодателем», который «непрерывно обладает верховною властью и не имеет ни права, ни возможности сложить с себя оную», — править ради общего блага. Народ имеет право по своей воле «низлагать или переменять людей, служащих ему, то есть царей, дворян

1. В русском переводе П. Полонского Карнеад именуется Канреадом, а то и Кандреадом.
2. *Siegrist C. Albrecht von Haller*. Stuttgart, 1967. S. 50.
3. *Галлер А.* Фабий и Катон. Повесть, взятая из римской истории. Ч. 2. СПб., 1793. С. 64–65.

и сенаторов», не исключая и того случая, когда в стране установлено наследственное правление, с помощью частого и постоянного проведения народных собраний по важнейшим государственным вопросам.

Катон, в начале повести защищавший власть народа (демократию) в споре со сторонником аристократии Фабием, теперь вынужден выступить против радикальной концепции Карнеада. Какие же доводы он использует? Катон обращается к исторической аргументации, которую противопоставляет спекулятивному демократизму своего оппонента: «Первоначальным владельцем в свете был почтенный старец, окруженный сынами его и внуками, над которыми он начальствовал... Власть его была основана на благодеяниях; дети, обязанные ему жизнью, воспитанные им и хранимые в младенчестве их... повиновались ему добровольно; и сие повиновение было на твердом основании, состоящем в благодарности их к нему за благодеяния и в почтении к сему оракулу, наставившему их во всем, что нужно в жизни»¹. Другой исторический источник формирования власти — выдвижение доблестных воинов, отличившихся в борьбе за земли или «прекрасных женщин»; харизма воинов приводила к тому, что то, «что было вначале действием добровольного выбора, то впоследствии с помощью друзей его учинялось совершенным самовластием». А эти политические системы, в свою очередь, уже не могли допустить того, чтобы новые ораторы или воины могли бы возмущать народ, поскольку «при малейшем приключении все государственные пружины были бы подвержены разрушению одна от другой»². Третий же довод Катона таков: люди заведомо не равны между собой, а потому и учитывать в принятии решений следует мнения не всех, а только добродетельных и искусных. «Не в том состоит благополучие державы, чтобы давать всему народу мало-временную власть; но в том, чтобы предпринимать меры, удобные восстановить на твердом основании общественное

1. *Галлер А. Фабий и Катон. Повесть, взятая из римской истории.* Ч. 2. С. 70.

2. Там же. С. 73.

благоденствие. Такова есть держава, где законы охраняют имущества и безопасность каждого гражданина и где насилие никогда без наказания не остается»¹. А между тем худшая черта «народного правления» — опора на насилие, необходимое для получения власти. Ведь люди, объясняет Катон, вовсе не являются «хладнокровными и бескорыстными философами», по своей природе они эгоистичны и подвержены страстям: «Люди столько злы, что нельзя естественным склонностям их дать волю; нужно, дабы верховная власть служила преградой для буйству пагубных для отечества их страстей. Но сия власть не может существовать в таком правлении, где законами располагает многочисленный народ, присвояющий себе право издавать законы»². Катону приходится признать: «Нет в свете правления, которое для всех бы народов и во все времена могло быть равномерно полезным». Значит, и «вольность» непригодна не во всех исторических ситуациях, а только «предающемуся сластолюбивым впечатлениям народу, не имеющему других правил, кроме порочных склонностей своих», поскольку закон — слишком слабая связь, не способная удержать этих индивидов в гражданском единстве «вольной державы». Для развращенных и злобных людей возможность властвовать будет величайшим бедствием, постоянным источником гражданской междоусобицы. А вот монарх, «имея неограниченную власть, предохранит спокойствие и безопасность граждан от разорений, производимых сластолюбием и неправдой»³. Кроме того, монархия необходима обширным государствам, в которых промедление в принятии решений может быть чревато военным поражением.

Доводы, изложенные Катонем (читай: Галлером) против руссоистских, антимонархических и «атеистических» идей Карнеада, широко использовались российской общественно-политической мыслью (это сходство не говорит, разумеется, о том, что именно Галлер был источником влияния;

1. Там же. С. 85.

2. Там же. С. 88.

3. Там же. С. 93.

мы уделили столь много места анализу «Фабия и Катона» в иллюстративных целях).

Важным аргументом в пользу такого аристократического республиканизма выступала античная история (не случайно республиканский сюжет Галлер поместил в римские декорации), авторитетно сообщавшая о выдающихся гражданских добродетелях Спарты и Рима. Содержательный анализ, идущий далее, чем воинственная *политическая орнитология* Черкасова, не мог игнорировать греко-римскую древность, изобилующую историями об успешных и стабильных республиках. Риторическое использование понятия «республика» могло предполагать не только конфронтацию с монархическим порядком, но и стремление к синтезу.

Историк И.Н. Болтин (1735–1792) поместил в «Примечаниях на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка» (1788) обширное рассуждение о преимуществах монархической формы правления. Начинает его Болтин, что характерно, ссылкой на кризис 1730 г., угрожавший России установлением аристократической формы правления. Но, поскольку монархия принимает решения быстрее, чем аристократия, для обширной России аристократическая форма правления была бы губительной — Болтин цитирует здесь доводы Татищева, которые мы уже рассмотрели выше¹. Кроме того, Болтин приводит и другой пример пагубности аристократической формы правления — Францию эпохи религиозных войн. В конечном счете Болтин приходит к безусловному преимуществу монархии над республикой, не сводящемуся только к вопросу о территориальной протяженности: «Опыт доказал, что под народным правлением не может безопасность и спокойство частных людей быти охраняема; понеже вольность черни, под таким правлением, превращается в своевольство и необузданность, которая добрых и честных людей подвергает всегда опасности, а не редко и гибели. Монархическое правление, содержа средину между Деспотичества и Республики, есть надежнейшее

1. Болтин И.Н. Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. Т. 2. СПб., 1788. С. 475–476.

убежище свободе»¹. Аналогичный довод Болтин использует и в разделе своих «Примечаний», посвященном вопросу о свободе, сообщая историю про каппадокийцев, которые, несмотря на оставленную им римлянами свободу, просили прислать им царя: «Монархия, по их разсуждению, более им приличествовала, нежели республика»².

Ссылаясь на Болтина, анонимный автор «Исторического известия об упомянутых старинных чинах в России», помещенного в XX части «Древней российской вивлиофике» Н.И. Новикова (1791), делал аналогичные выводы: «Оставить первобытную свободу буйной черни есть то же, что пустить диких медведей между людьми... Правительство Российское благоразумно рассудило, многочисленное сие в государстве сословие людей грубых, непросвещенных и готовых на всякое буйство, обуздать привязанием их к земле, из владельцовых земель учинить по всему государству частныя полиции, обязав помещиков ответствовать за все неурюстройства, в их деревнях происходящая»³. Чуть позднее автор делает оговорку: упомянутые меры «необходимы были в отношении только к закоренелой грубости и малого о вещах понятия крестьян, не могущих благом свободы воспользоваться без вреда своего и общего, каковыя причины остаются еще и поныне»; стоит «закоренелой грубости» смениться просвещением, и потребность в порабощении отпадет⁴.

Французская революция окончательно сместила баланс: республика отныне подвергалась нападкам не как *форма коллективного правления*, ослабляющая административную и военную «вертикаль», но как режим *равенства*, провоцирующего жесточайшую нестабильность, гражданскую войну. Отчаянной критике французская «вольность» подвергалась в сочинениях И.В. Лопухина (1756–1816), А.С. Шишкова (1754–1841), И.Е. Срезневского (1770–1819), А.С. Волкова (1770–1802),

1. Там же. С. 477.

2. Там же. С. 236.

3. Историческое известие об упомянутых старинных чинах в России // Древняя российская вивлиофика. Ч. 20. М., 1791. С. 267.

4. Там же. С. 270.

П.П. Икосова (1760–1811) и других авторов¹. Но наиболее показательными — с точки зрения анатомии республиканского политического порядка — являются яростные атаки на «химеру вольности» в трудах М.М. Хераскова (1733–1807), созданных под впечатлением от революции во Франции. В романе «Полидор, сын Кадма и Гармонии» (1794) Херасков описывает гражданскую войну на острове Терсите, где царский родственник, Рувад, «предался гнуснейшим порокам... явился подпорою неистовых умклячений, терзитскую столицу заражающих... поругался вышними Существами — добродетелями — общей связию человек, и наконец — Царской властью!»² При помощи волшебного щита Полидору — главному герою романа — удается погасить смуту, исцелив обезумевших терситян; под крылом возрожденной монархии остров процветает. Революция на Терсите описана Херасковым как болезнь, коллективная потеря разума, провоцирующая восстание молодежи против отцов, мятеж против монархии и бунт против Бога и завершающаяся кровопролитием и массовыми убийствами.

Еще детальнее критические инвективы против республики проработаны Херасковым в поэме «Царь, или Спасенный Новгород» (1800), написанной в противовес трагедии Я.Б. Княжнина «Вадим Новгородский» (1789). Механизм внутренней нестабильности — жажда власти, заставляющая злодея Ратмира, «второго Кориолана», подняться на бунт новгородцев, обольщая их, ради собственной выгоды, как «змий». Теперь новгородские граждане «разбой считают за геройство», а город охвачен распрей и кровопролитием. Херасков очень пространно описывает злодеяния Ратмира в охваченном бунтом Новгороде: кровожадные республиканцы — слепцы, ведущие слепцов, и для возвращения порядка и стабильности им необходим монарх³:

1. См.: *Штранге М.М.* Русское общество и французская революция 1789–1794 гг. М., 1956.
2. *Херасков М.М.* Полидор, сын Кадма и Гармонии. Ч. II. М., 1794. С. 32–33.
3. *Он же.* Царь, или Спасенный Новгород. М., 1800. С. 26–27.

*Цари суть Боги в мире зримы;
Их воля — есть священна власть!
Так пастыри необходимы,
Дабы стада безбедно пасть.
Мы некогда Князей имели,
Которы Новгородом владели
Как пастыри — или отцы;
Дух есть верховный у безплотных,
Начальство зрится у животных:
Народы без Царя — слепцы.*

Важно также, что народное «буйство» у Хераскова ассоциируется с молодостью, тогда как благоразумный монархизм — со старостью, а также с болезнью: добродетельный старец Гостомысл, явившийся к могучему монарху Рюрику, предлагает ему новгородский трон и объясняет, что «славенов род умеет быть царям послушен», если бы не вспышка безумия, насаждаемая злокозненным Ратмиром, словно бы отравившим народ. Ратмир, стремясь установить окончательное равенство, уничтожает все знатные отличия. Мудрые старцы, призвавшие Рюрика, — это знатные вельможи, и именно их в первую очередь преследует Ратмир, который «для черни тих, для знатных злобен»¹; демократический бунт в Новгороде — бунт отцеубийц.

Херасков заключает, вынося республике и демократии окончательный приговор²:

*Без правил умствую, равенство
К блаженству отверзает путь;
Но та свобода, то блаженство,
Тяжелы узы смертным суть!
Давно стези златаго века
Изгладились для человека;
Коль в нем любви к Начальству нет;
Он в мире — как слепец живет.*

Н.М. Карамзин (1766–1826) в «Историческом похвальном слове Екатерине II» (1802) суммировал все эти доводы с характерным изяществом: «Не за тем оставил человек дикие

1. Там же. С. 73.

2. Там же. С. 150.

леса и пустыни; не за тем построил великолепные грады и цветущия селы, чтобы жить в них опять как в диких лесах, не зная покоя и вечно ратоборствовать не только с внешними неприятелями, но и с согражданами: что же другое представляет нам История Республик? Видим ли на сем бурном море хотя единый мирный и щастливый остров?» Карамзин не был столь категоричным, как Херасков, но его критические стрелы разили еще больше: «Мое сердце не менее других воспламеняется добродетелью великих Республиканцев; но сколь кратковременны блестящая эпохи ея? Сколь часто именем свободы пользовалось тиранство, и героических друзей ея заключало в узы? <...> Или людям надлежит быть Ангелами, или всякое многосложное Правление, основанное на действии различных воель, будет вечным раздором, а народ несчастным орудием некоторых властолюбцев, жертвующих отечеством личной пользе своей»¹. Итак, с одной стороны — заразительный пример добродетели великих республиканцев (а Карамзин и сам был «республиканцем в душе»), с другой стороны — неустойчивая система согласования различных воель, которая все время грозит опрокинуть хрупкий республиканский баланс.

Если люди не ангелы, то монархия гораздо лучше, чем республика, решает проблему согласования воель: «Только единая, нераздельная, державнейшая воля может блюсти порядок и согласие между частями столь многосложными и различными... только она может иметь сие быстрое, свободное исполнение, необходимое для пресечения всех возможных беспорядков». После этого Карамзин, обращаясь к историческим примерам и современности, восклицал: «Сограждане! Рим, котораго именем целый мир назывался, в едином самодержавии Августа нашел успокоение после всех ужасных мятежей и бедствий своих. Что видели мы в наше время? Народ многочисленный на развалинах трона хотел повелевать сам собою: прекрасное здание общественного благоустройства разрушилось; неописанныя несчастия были жребием Франции, и сей гордый народ,

1. *Карамзин Н.М.* Историческое похвальное слово Екатерине II // Карамзин Н.М. Сочинения. Т. VIII. М., 1804. С. 67–68.

осыпав пеплом главу свою, проклиная десятилетнее заблуждение, для спасения бытия своего вручает самовластие щастливому Корсиканскому воину»¹.

Но были в России и авторы, более чувствительные к анализу Монтескье. При этом поиск социальных основ прославленной республиканской добродетели приводил этих авторов к сумрачным выводам. Так, профессор Московского университета И.М. Шаден (1731–1797) в сочинении «Слово о праве обладателя в разсуждении воспитания и просвещения науками и художествами подданных» (1771) заявлял: «Не могу не приписать верховной степени преимущества, тем обществам, которые под законами единой державия красуются; единой особе и не простому уже гражданину вверяют право и власть, управлять свободныя граждан всех дела к желаемому концу общества». Именно *монархия*, по мнению Шадена, была достойна всяческих похвал. Относительно же других форм правления он заявил: «В молчании оставляю недостатки, и горестныя от них происходящие бедствия, которым часто подвержены бывають правления государств, Аристократическое и Демократическое именуемых». В чем же причина? Шаден давал сложный ответ. Во-первых, он ссылался на характерную нестабильность республик: «Воззрите на горестныя слезы обывателей Польских, которые длани простерши, вас молят о помощи: воззрите на республику Женевскую, которая вся пламенем объята военным, и держится единственно еще благосклонностию подкрепляемая соседей: воззрите на Льва (Сим именем называется в Венеции темница смертоносная), пожирающаго вольность граждан Венецианских»². Но к этому доводу Шаден добавлял и еще кое-что: обратной стороной республиканской вольности и добродетели, оказывается, является лютое рабство! «Рабство есть то несчастное предразсуждение; оно есть изваяние в свирепстве неукротимаго воображения и чувств к жестокости приобыкших. <...> Хотя многих как в древности находило,

1. Там же. С. 65–66.

2. Шаден И.М. Слово о праве обладателя в разсуждении воспитания и просвещения науками и художествами подданных. М., 1771. С. 12–14.

так и ныне имеет оно своих защитников и предстателей, которые славою республики древняго Рима и блеском великих дел, в Греции произведенных, суетно ослепясь, во первых доводами оное крайне было утвердили; а потом ограничив, несколько сократили: однако ничто меня в том не может уверить, что такое установление будто на праве основано, щастию государства, равномерно как и благополучию каждого члена его не сопротивно и враждебно. И так что ты с чудовищем сим в корысть приобрел себе, Римлянин? Какие ты собрал прибитки, Ликург? Сколько ты, Солон, чрез то снискал пользы? Премного вы старания и трудов своих погубили вотще; <...> свободы вы прямое чувство изринули, тем на конец бедственный своим обществам и плачевный гроб сооружили, и в нем сограждан своих благоденствие предали погребению. Столь великая в рабстве пагуба!»¹ Столь зловещему положению дел Шаден противопоставлял процветание современной ему монархии с ее высокоразвитой коммерцией, наукой и ремеслом: «Чего ради, когда уже без нанесения великаго вреда обществу, никого в нем по праву лишить не можно случаев, способных к оказанию совершенств, для достойных услуг обладателю, во утверждении благосостояния народнаго: то и следует, чтобы всем дозволено было науками просвещать себя и художествами, равномерно как и врожденною наслаждаться свободою»². Под скипетром такой монархии естественная свобода людей идет рука об руку с правом совершенствоваться в науках и искусствах, с правом участвовать в жизни коммерческого, «отполированного», просвещенного общества. Сходным образом анализировал социальную анатомию древних республик и российский правовед С.Е. Десницкий (1740–1789) в «Слове о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции» (1768). Республика у него — это правление, где властвуют законы, а не люди. Но из-за республиканского равенства «народ не повинуется магистрату, который он

1. *Шаден И.М.* Слово о праве обладателя в разсуждении воспитания и просвещения науками и художествами подданных. С. 32.

2. Там же. С. 33.

сам выбирает к управлению государства», отсюда рождается «своеволие», которое у римлян было еще усилено чрезмерным расширением владений республики. Противоядием от этих раздоров Десницкий называет... рабство: «Для сих обстоятельств во всех древних республиках порабощение некоторых людей премного способствовало к устоянию такого правления и к восстановлению тишины и спокойствия в отечестве. Ибо в таких правлениях целость и благосостояние отечества того требует, чтобы те, которые большую часть составляют народа и которые больше склонны бывают к бунтам и возмущению, всегда содержались в неволе... В сей политике римляне поступали еще и далее, продолжая и другую кабалу в своем отечестве, то есть порабощение детей своих. Такая полномочная власть, дозволенная отцу над своими детьми, равномерно надобна была у римлян, как и порабощение других подлого состояния людей необходимо нужным казалось для подкрепления слабости и тишины в народе»¹. Оказывается, республикам приходилось гарантировать свою стабильность довольно-таки страшным образом — Десницкий прямо называет его «варварским».

Уделил внимание этой проблеме и упомянутый уже Н.М. Карамзин, в «Историческом похвальном слове Екатерине II» уравнивавший образы Рима и Спарты другим, менее успешным и привлекательным историческим образом «недостойной республики»: «Теперь обращается взор наш на ту, некогда мощную Республику, которой имя и бытие уже исчезло в Европе. Давно ли еще наглая и злобная Польша терзала наше отечество?»² И, отзываясь о печальной судьбе Польши как государства, Карамзин словно бы повторял соображения Шадена и Десницкого: «Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть неодушевленный труп. Афинская, Спартанская, Римская,

1. Десницкий С.Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции // Общественная мысль России XVIII века. Т. 2. *Philosophia moralis*. С. 242–243.

2. Карамзин Н.М. Историческое похвальное слово Екатерине II // Карамзин Н.М. Сочинения. Т. VIII. М., 1804. С. 25–26.

имели свое цветущее время: Польская была всегда игрой лицом гордых вельмож, театром их своеволия и народного унижения. Развалины храмов добродетели горестны для сердца; но пусть ветер развеивает пепел тех капищ, где тиранство было идолом! Никто не жалеет о Польше»¹.

Итак, республика для российской общественной мысли XVIII в. — предприятие заманчивое, но чрезвычайно опасное. Российские авторы — «республиканцы в душе» — много сил отдали для того, чтобы открепить республиканские гражданские добродетели от их предполагаемой основы, социально-политического равенства. Гражданственность могла процветать и в монархии; на долю же республики оставалась только провоцируемая равенством политическая нестабильность, все время оборачивающаяся кровавым кошмаром братоубийственной войны или беспощадным порабощением народной массы.

Но нельзя и недооценивать привлекательность классического описания республик, великого наследия греко-римской Античности. Выше мы видели, как авторы типа Бестужева старались поместить ценности Спарты и Рима в социально-политическую ткань монархии, вовсе не ожидая отторжения. Привлекательность этим сюжетам придавало, в частности, то, что классический республиканизм расценивал республики как *могущественные* в военном отношении государства, несокрушимые «республики мечей». Залогом военной мощи республики выступала гражданская добродетель, вдохновлявшая воинов на невиданный героизм даже в самой тяжелой ситуации — подобно спартамцам в Фермопилах, римлянам после катастрофы при Каннах или карфагенянам при Заме. Характерный милитаризм классического республиканизма связывал добродетель с особым политическим устройством, позволявшим индивиду прожить достойную жизнь в качестве свободного гражданина. Иными словами, военная мощь республики не имеет иного основания, кроме экстраординарной добродетели собственных граждан. Эта концептуальная модель

1. Карамзин Н.М. Историческое похвальное слово Екатерине II // Карамзин Н.М. Сочинения. Т. VIII. М., 1804. С. 40–41.

использовалась крупнейшими авторами республиканской традиции — такими, как Н. Макиавелли¹, который полагал, что хорошему гражданину нужно быть солдатом², или Дж. Харрингтон, чья идеальная республика Океания культивирует военную дисциплину как элемент гражданской добродетели³, или, наконец, латиноамериканские республиканцы начала XIX в. — например, С. Боливар (1783–1830)⁴. От подобных аргументов не могли отвернуться даже авторы, решительно поддерживавшие монархию. Так, Феофан Прокопович, который, как мы видели, едва ли не первым в России предъявил аргумент о военной слабости республик, в «Слове похвальном в день рождества благороднейшего государя царевича и великого князя Петра Петровича» (1716), описывая военное превосходство монархий над республиками, не смог обойти вниманием важнейшее исключение — «древнюю речь посполитую Римскую», которая была непобедима на поле сражения. Феофану пришлось разрешить противоречие, заявив, что о Римской республике «особенные бяху судьбы Божии»⁵. В такой оптике

1. *Snyder R.* Citizen-Soldiers and Manly Warriors. Military Service and Gender in the Civic Republican Tradition. New York, 1999. P. 15–44.
2. *Lukes T.* Martialing Machiavelli: Reassessing the Military Reflections // *The Journal of Politics.* 2004. № 66. P. 1089–1108.
3. *Worden B.* James Harrington and the Commonwealth of Oceana // *Republicanism, Liberty and Commercial Society, 1649–1776.* Stanford, 1994. P. 103. В «Республике Океании» (1656) Харрингтон характеризовал «народное правление» в следующих словах: «Это такое правление, которое никогда ни один монарх не покорял, с начала мира и до этих дней: ибо республики Греции пали под ярмо царей Македонии, когда уже истощили себя в борьбе между собой... Это такое правление, которое часто проводило могучих монархов в триумфальном шествии»; в сочинении «Прерогатива народного правления» (1658) Харрингтон высказался так: «Голландец, что при власти государя был лишь рыбаком, с восстановлением народного правления стал лучшим солдатом» (*Бугров К.Д., Соколов С.В.* Российский республиканизм XVIII — начала XX века в сравнительно-историческом контексте. Екатеринбург, 2019. С. 29, 31).
4. Интересный анализ «республиканского империализма» Боливар предпринял современный историк Дж. Саймон (*Simon J.* Simon Bolivar's Republican Imperialism: Another Ideology of American Revolution // *History of Political Thought.* Vol. 33 (2012). No. 2. P. 280–304).
5. *Феофан Прокопович.* Сочинения / Под ред. И.П. Еремина. М.; Л., 1961. С. 40.

республика — это уже не «малый врабий», если использовать *политическую орнитологию* в духе Черкасова, а могучий орел.

А ведь, несмотря на разнообразные опровержения республики в общественной мысли XVIII в., в России сохранялся модус для обсуждения республиканизма на отечественной почве. Речь идет, конечно, о Новгородской республике. М.М. Щербатов характеризовал древний Новгород, калькируя республиканскую классику: посадник — это консул или дож; даже после призвания князей из-за буйшевавших в городе распрей «правление республиканское и чин посадника с его властью сохранились; ибо князю было препоручено защищение границ и военные дела, а в гражданском правительстве посадники по-прежнему свою власть имели и были защитники вольности новгородския противу власти княжеския и посредники между государем и народом»¹.

Какой же республикой представлялся российским авторам древний Новгород? Несмотря на, казалось бы, общую солидарность с приведенным выше монархическим аргументом о военной мощи монархий и слабости республик, многие авторы XVIII в. считали Новгород «республикой мечей», указывая на его непрезойденную военную мощь. История о военной мощи Новгорода появляется еще в XVII в., фиксируется в «Ядре российской истории» (1715) А.И. Манкиева (? — 1723), а уже из этих источников попадает в исторические сочинения XVIII в., коррелируя с представлениями о военных республиках классической Античности². Ярким примером такой амбивалентности является глава «Новгород» в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) А.Н. Радищева (1749–1802). Характеризуя Новгород как могущественную республику, Радищев упомянул

1. *Щербатов М.М.* О древних чинах, бывших в России, и о должности каждого из них // Щербатов М.М. Сочинения. Т. 1. Статьи историко-политические и философские. СПб., 1898. С. 3.
2. *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Республика мечей или торговая республика? Российская историческая мысль XVIII — начала XIX в. о военной мощи республиканского Новгорода // *Cahiers du Monde Russe*. 2018. № 1. P. 93–116.

и пословицу, и стотысячное войско: «...Из стен его могло выходить до ста тысяч войска. Известно, по летописям, что Новгород имел народное правление. <...> Хотя у их были Князья, но мало имели власти. Вся сила правления, заключалась в посадниках и тысяцких. Народ в собрании своем на вече, был истинный Государь. Старинная речь; кто может стать против бога и великаго Новагорода, служить может доказательством его могущества»¹. Однако в этой же главе Радищев отметил, что причиной возвышения Новгорода была торговля, а причиной гибели — «внутренние несогласия» и «хищный сосед». Это тем более интересно, что Радищев отлично знал античный канон и, в частности, перевел «Размышления о греческой истории» Мабли, где — при описании похода Ксеркса на Грецию — особо подчеркивалось различие между военной доблестью древних республик, сумевших дать отпор агрессивному деспоту, и трусостью республик современных, коммерческих².

К рубежу XVIII–XIX вв. представление о классических республиканских чертах древнего Новгорода сделалось расхожим в российской общественной мысли³. Ограничимся здесь одним примером: публицист В.В. Попова (1778/1779 — ок. 1816), говоря о республиках в работе «О благоденствии народных обществ» (1807), склонялся к тому, что республики должны быть коммерческими государствами,

1. *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А.Н. Полное собрание сочинений: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 263–264.
2. «Мы не знаем, что такое есть покорение вольного народа. С тех пор, как монархия стала обще в Европе правление, где все подданные, а не граждане, и где разумы равно от сребролюбия и сладострастия изнемогают; то война производится в землях к повиновению обычных и защищаемых наемниками. Самые республики нам предлагающая представляют токмо толпу мещан прилепленных ко гражданским упражнениям: отчаяние не родит уже там чудес, и мы не найдем народов предпочитающих разрушение свое потере вольности» (*Радищев А.Н.* Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастья греков. Сочинение г. аббата Мабли. Переведено с французского // Радищев А.Н. Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. С. 246).
3. *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Республика мечей или торговая республика? Российская историческая мысль XVIII — начала XIX в. о военной мощи республиканского Новгорода. Р. 95–101.

которые «не должны и не могут быть весьма велики, дух завоевания истинным республикам несвойствен, но токмо правлениям деспотическим»¹. Однако здесь же Попугаев говорит и об «ужасной мощи» Новгорода, которая, правда, подрывалась внутренней нестабильностью и отсутствием политического баланса — очередное проявление характерной новгородской необузданности: «Республика Новгородская, невзирая на всю энергию ее патриотизма, на всю ужасную силу ее, пребывала во всегданнем внутреннем колебании и потому наконец соделалась жертвою неутвержденного равновесия оных»².

Итак, древний Новгород был идентифицирован российской общественной мыслью XVIII в. как республика, больше того — как *могущественная в военном отношении республика*. Ничего нового к анализу республиканской политики эта идентификация не добавляла; для обрисовки республиканских черт Новгорода российские авторы использовали европейские, античные лекала. Однако данная идентификация позволяла осваивать богатейшую греко-римскую образность, хорошо знакомую российскому образованному читателю по историческим сочинениям³. Исследовательница российской философии XVIII в. Т.В. Артемьева подчеркивает, что «определенное увлечение республиканскими идеалами выразилось в идеализации Новгородской республики и республиканского Рима, а Вадим Новгородский и Брут стали в литературе символами, обозначающими приверженность авторов к республиканским идеалам»⁴. Вместе с тем история Спарты и Рима

1. *Попугаев В.В.* О благоденствии народных обществ // Русские просветители (от Радищева до декабристов). Т. 1. М., 1960. С. 343.
2. Там же. С. 341. Показательно, что прилагательное «ужасный» Попугаев использует в своем трактате 6 раз, из них 3 употребления приходятся на один и тот же абзац текста, где говорится о военной мощи деспотий. Мощь Новгорода Попугаев охарактеризовал тем же прилагательным, что и мощь Александра Македонского или Ксеркса.
3. *Baehr S.* From History to National Myth: Translatio Imperii in Eighteenth-Century Russia // *Russian Review*. 1978. № 1 (37). P. 11–13.
4. *Артемьева Т.В.* История метафизики в России XVIII века. СПб., 1996. С. 95.

подрывала довод о том, что монархия подходит для обширных и могущественных стран лучше, чем республика, поскольку лучше способна воевать.

Сильный текст Хераскова, последовательно и в красках описывающий самые разнообразные преступления Ратмира и его товарищей, старающихся через кровопролитие и убийства родственников установить-таки чаемое «естественное равенство», завершается картиной сражения между мятежниками и воинством Рюрика. В аналогичных ситуациях на страницах антифранцузских памфлетов — таких, как «Дифирамв» П.П. Иковского, — «росские орлы» легко повергали мерзкую гидру мятежа. Но Новгород защищают пусть и обезумевшие, но славяне; Херасков не смог отдать Рюрику легкую победу, и патриотический канон заставил его описывать битву мятежников с монархом как чрезвычайно упорную, едва ли не героическую¹:

Горит мятежное сраженье!

Но что виной упорств таких?

Не храбрый дух — предубежденье

О вредном безначальстве их.

Новгородцы, хотя их лагерь страдает от пьянства и кутежей, так и не потерпели неудачи на боевом поле: сопротивление республиканцев прекращается лишь после вмешательства самого божества. Ратмир в бессильной злобе убивает сам себя.

Упомянутый уже выше «республиканец в душе» Н.М. Карамзин в трагедии «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1802) развивал своеобразный взгляд на события XV в. Новгород он описывал как классическую республику мечей². В начале трагедии Карамзин как бы предоставил слово противоборствующим сторонам — московским послам, защищающим права монарха, и Марфе Борецкой, отстаивающей новгородскую «вольность». Примечательная речь Марфы ярко демонстрирует стерильный —

1. Там же. С. 186.

2. *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Республика мечей или торговая республика? Российская историческая мысль XVIII — начала XIX в. о военной мощи республиканского Новгорода. Р. 105.

по сравнению с текстом Княжнина — республиканизм Карамзина, охотно использовавшего античные образы, но всегда аккуратно соединявшего их с похвалами по адресу древнерусских государей (Г.А. Гуковский замечал, что «Карамзин, описывая республиканские доблести, восхищается ими в эстетическом плане; отвлеченная красивость героики увлекает его сама по себе»¹). «Великодушные славяне», предки новгородцев, «были свободны, когда текли с востока на запад избрать себе жилище во вселенной, свободны, подобно орлам, парившим над их главою в обширных пустынях древнего мира»; не подчинялись никому, кроме Рюрика, Владимира и Ярослава (но это все были великие и мудрые князья), «гордо и спокойно» сохраняли свою «упорную непреклонность», и даже монгольский хан Батый, «видя отважность свободных людей», не решился напасть на Новгород². Во введении Карамзин подчеркивает, что Марфа «хотела (весьма некстати!) быть Катоню своей республики». Как и Херасков, Карамзин попадает в ловушку сюжета: новгородцы у него сражаются с московским войском несколько раз, демонстрируя экстраординарный героизм, но все равно проигрывают войну и вынуждены сдаться. Никакого кризиса Новгород не испытывает, борется до конца, но это его не спасает.

Обращение к историческому сюжету позволяло отечественным мыслителям выбраться из концептуальной ловушки вопроса о том, как возможна вольность в России при слабом просвещении. Именно этот регистр сделал возможным обсуждение республики не только как актуальной политической потенции России, но и как темы из ее далекого прошлого. Риторические фигуры, связывающие «славянскую вольность» с разнообразными нарративами о величии древнего славянства, в интеллектуальном смысле восходят именно к этому источнику. Древняя, исконная вольность славян-новгородцев, еще и представавшая

1. *Гуковский Г.А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938. С. 308.
2. *Карамзин Н.М.* Марфа Посадница, или Покорение Новагорода // Карамзин Н.М. Избранные сочинения: В 2 т. Т. I. М.; Л., 1964. С. 683.

в геоклиматическом измерении Монтеस्कье (напомним: умеренно-прохладный климат — для вольных народов, жара и пустыня — для деспотий), была основанием для того, чтобы разрешить парадокс республики: древнюю вольность можно восстановить, превратив тот самый народ, что «пресмыкается», согласно Панину, в могучих граждан свободной земли, таких славянских римлян-спартанцев. Аргументы такого рода лежали в центре националистического подхода к российской политике: достаточно вспомнить хотя бы М.А. Бакунина, считавшего славян от природы склонными к свободе — правда, не к свободе республиканской, а к свободе анархии. Конечно, формула о свободных и могучих славянах старше республиканской концепции Новгорода, она встречается уже в XVII в., но греко-римская образность помогла ей закрепиться — и прекрасно себя чувствовать! — вплоть до наших дней¹.

Совершенно по-другому трактовали республиканский порядок А.Н. Радищев и Я.Б. Княжнин, наиболее важные фигуры в отечественной республиканской традиции XVIII в. Хотя ни одного из них нельзя было назвать последовательным республиканцем, оба они сочувственно описывали внутренние конфликты, раздирающие республику. Радищев эксплуатировал республиканские идеи, обращаясь к историческим темам (в частности, в оде «Вольность» и в «Песни исторической»), однако полифонизм «Путешествия», его «гельвецианская» мораль (говоря языком Ю.М. Лотмана), его близость к нравоучительным романам XVIII столетия были далеки от республиканизма. Ода «Вольность» — наиболее республиканский текст Радищева; здесь он описывает классический цикл жизни республики (от республики через раздоры — к монархии, затем через свержение тирана — вновь к республике), а также критически отзываясь о даруемом монархом «покое»,

1. Сошлемся на рассуждения публициста В.В. Штепы (кстати, аттестовавшего себя как «символического гражданина Новгородской республики») об исходной «утопичности» славянского государственного проекта в обличье «демократического Новгорода» (*Штепа В. RUтопия*. Екатеринбург, 2004. С. 241–253).

в то же время сочувственно говоря о казни Карла Стюарта английскими республиканцами в XVII в. Княжнин в трагедии «Вадим Новгородский» (1789) описывает Вадима как славянского Катона, а Рюрика — как Цезаря, радикально интерпретируя стереотипный конфликт республиканской нестабильности с монархическим порядком. Рюрик Княжнина — идеальный монарх, однако Вадим и его сторонники до конца продолжают с ним бороться, отказываясь подчиняться даже лучшему из государей; больше того — Вадим с содроганием отвергает царскую корону, которую Рюрик великодушно готов ему уступить, и предпочитает совершить самоубийство, опять-таки следуя катоновскому биографическому канону.

* * *

Итак, в XVIII в. вестернизирующаяся российская интеллектуальная элита могла использовать понятие *республика* несколькими способами. В относительно редких текстах *республика* могла служить универсальным понятием, определяющим суверенную политическую общность. Однако к середине XVIII в. в качестве такой универсалии отечественные авторы все же предпочитали использовать *государство*. Соответственно, за *республикой* стали прежде всего видеть коллективную форму правления, противопоставленную единоличной власти (монархии), и в этом качестве воспринимать в рамках одной из таксономий: тройной аристотелевской, выделявшей формы правления по численности участников (один — немногие — все), четверной таксономии Монтескье, связывавшей ту или иную форму правления с социально-культурной базой, или наиболее простой двойной, прямо сталкивавшей монархию как режим порядка с республикой как «необузданной вольностью». При этом форма правления могла считаться *смешанной*, берущей лучшие черты аристократии, демократии и монархии; адаптация европейских представлений о смешанной форме правления открывала путь комбинирования, встраивавшего привлекательные республиканские

социальные, культурные и экономические паттерны в модель российской монархии.

Вопрос о том, лучше ли правление одного, немногих или всех, был для российской общественной мысли не очень сложным: монархия считалась предпочтительной в административном и военном отношениях, а также лучше способной контролировать обширную территорию (в XVIII в. с его глобальным расширением ведущих европейских держав это фактически означало признание монархии единственной актуальной формой правления). К тому же концепция смешанной формы правления позволяла вырабатывать такой набор элементов управления, который бы подходил для конкретного случая наилучшим образом.

Но политическая философия XVIII в. ставила еще и вопрос о, говоря словами Руссо, выборе между Спартой и Сибарисом, и на него ответить было сложнее. Монтескье полагал, что две эти системы обладают фундаментальными различиями в экономике и социологии и что поэтому Спарта принадлежит прошлому, а будущее — за Сибарисом, в котором коммерческая «политичность» заменяет собой жестокую добродетель и который по сравнению с мрачной Спартой оказался совсем неплох¹. Российские же авторы в большинстве своем не готовы были открыто стать на сторону Сибариса, стараясь придать лицу монархии спартанские черты. Социальный же анализ в духе Руссо, делавшего выбор в пользу Спарты и четко отграничивавшего республику от монархии с помощью понятия о равенстве, подвергался критике по двум основным линиям. Одна из них описывала республику как жестокое правление, опирающееся на рабство и «кабалу», другая — как странство нестабильности, гражданской войны, своеволия и кровавых мятежей. Конечно, обе линии критики были связаны между собой, обе они восходили к единому истоку — признанию того, что не может быть целый народ равно добродетельным. Угнетение, мятежи, кровопролитие

1. *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Республика мечей или торговая республика? Российская историческая мысль XVIII — начала XIX в. о военной мощи республиканского Новгорода. Р. 99.

и тирания — такова анатомия республики в российском XVIII в. При этом ни проблематика ограничения власти, ни даже оправдание права на сопротивление тирану во все не были сопряжены с выбором в пользу республики. Желательным для большинства авторов отечественного XVIII в. был добродетельный монарх, внимающий советникам, чтящий законы и поддерживающий в своем государстве добродетель, а не республиканские политики, всегда способные превратиться в новых Мария и Суллу, беспринципных и безжалостных интриганов, озабоченных только личной властью без всякой оглядки на добродетель и мораль. Предполагалось, что такой благожелательный монарх куда больше преуспеет в насаждении гражданских добродетелей, чем сами республиканцы с их кровожадным равенством, поскольку одновременно сможет сохранить социальную стабильность, законный порядок, военную мощь и иерархию разумного неравенства, на вершине которой будет находиться дворянская элита. Эту точку зрения можно считать отправной для отечественной традиции *конституционализма*.

Но несмотря на всю эту критику, образ республики оставался привлекательным благодаря греко-римскому интеллектуальному наследию; на российской почве он оказался связан с историей о древнем Новгороде, однозначно интерпретированном как могущественная республика. Через эту новгородскую тематику римская образность входит в российский исторический нарратив. А дальнейшее развитие представлений о республике в XIX в. как раз и будет связано с преодолением отмеченной выше дилеммы — с развитием представлений о коллективном целом, выработавшихся вначале на путях национализма, а затем — социализма.

М.Б. Велижнев

Глава VI

Республиканизм в общественной мысли России первой половины XIX в.¹

Определения и проблемы «республиканизма»: вопросы метода

«Республиканизм»: pro et contra

Актуальность «республиканизма» как политической доктрины с фиксированными принципами, ценностями и набором классических текстов не вызывает сомнений. Его сторонники прежде всего особым образом интерпретируют свободу (как «не-доминирование») и выступают за необходимость участия людей в управлении государством на разных уровнях. Ответственный гражданин имеет особую мотивацию «действовать добродетельно» и чувствует свою ответственность перед сообществом, в котором он живет. Он реализует свою свободу в совместных с другими индивидами действиях на благо отечества. История и теория республиканизма за последние десятилетия превратились в самостоятельные научные дисциплины — с собственной методологической программой, особенностями работы с материалом и разветвленной иерархией исследователей². Так, с открытием и истолкованием автономной

1. Мы благодарим Т.М. Агнашева и А.Р. Курилкина за помощь при подготовке настоящей работы.
2. См. лишь некоторые значимые публикации по теме: *Bobbio N., Viroli M. Dialogo intorno alla repubblica*. Roma, Bari, 2001; *Venturi F. Pagine repubblicane* / A cura di M. Albertone. Torino, 2004; *Clark J.C.D. The Language of Liberty, 1660–1832. Political Discourse and Social Dynamics in*

республиканской традиции связано становление целой научной школы — «Кембриджского» подхода к анализу политических языков Нового времени¹. Состоятельность современного республиканизма очевидна, и тем не менее в сюжете, связанном с функционированием этой научной и политической концепции, есть свои подводные камни — на наш взгляд, существуют как минимум *три* проблемы, с которыми сталкивается исследователь, изучающий республиканские практики в Новое и Новейшее время (в том числе в контексте истории «республиканской» России).

Во-первых, ясно — и это касается многих -измов, — что сам термин «республиканизм» возник относительно недавно. Парадоксальным образом, чем ближе мы подходим к современности, тем сложнее становится различить республиканскую риторику и повестку в ряду других политических языков и программ. Скажем, мы без труда можем представить римскую и греческую республиканские традиции, республиканизм итальянских коммун эпохи Возрождения, британскую республиканскую линию XVII в.,

the Anglo-American World. Cambridge, 1994; Gelderen M. van. The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555–1590. Cambridge, 1992; The Invention of the Modern Republic / Ed. by B. Fontana. Cambridge, 1994; Machiavelli and Republicanism / Ed. by G. Bock, Q. Skinner and M. Viroli. Cambridge, 1990; Milton and Republicanism / Ed. by D. Armitage, A. Himy and Q. Skinner. Cambridge, 1995; Pocock J.A.G. The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton, 1975; Republicanism. A Shared European Heritage / Ed. by M. van Gelderen and Q. Skinner. 2 vols. Cambridge, 2002; Skinner Q. Hobbes and Republican Liberty. Cambridge, 2008; Петтум Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева. М., 2016; Ожье С. Теории республики / Пер. с фр. С.Б. Рындиной; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб., 2021; Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. с англ. А. Магуна. СПб., 2006; Res publica: история понятия: Сб. статей / Науч. ред. О.В. Хархордин. СПб., 2009; Современная республиканская теория свободы: коллект. моногр. / Науч. ред. Е. Рошин. СПб., 2015; Атнашев Т., Велижев М. Первооткрыватель республиканской традиции, или Как заниматься политической философией с помощью истории политических языков? // Покок Дж.Г.А. Момент Макиавелли: Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция. М., 2020. С. 821–851; и др.

1. Подробнее см., например, материалы сборника: Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Под ред. Т. Атнашева и М. Велижева. М., 2018.

республиканские черты американской или французской революций конца XVIII столетия. Однако затем — прежде всего начиная с XIX в., интересующего нас в настоящей главе, — следы автономной республиканской традиции на Западе начинают теряться; у республиканизма появляются могущественные конкуренты — национализм, социализм, либерализм, возникновение которых связано с попытками европейских интеллектуалов ответить на новые политические вызовы. Как мы увидим ниже, этим идеологиям удалось интерпретировать стремительные изменения, порожденные промышленной и политической революциями, куда успешнее, чем республиканизму. Как следствие, изучение истоков республиканской доктрины мыслится учеными и политическими философами как возможность актуализировать уже во многом утерянную линию политической теории, которая способна помочь в разрешении актуальных общественных конфликтов¹.

Во-вторых, в еще большее затруднение наблюдатель приходит при взгляде на периферийные с точки зрения истории республиканской мысли традиции — к ним, в частности, относится и русская политико-философская культура. В XIX столетии мы сталкиваемся со сложным явлением: с одной стороны, в государстве Романовых самостоятельной «партии» (в самом широком смысле этого слова), идентифицирующей себя с республиканизмом, не существовало. С другой стороны, образованные русские дворяне регулярно бывали за границей (во многом благодаря войнам), читали европейскую прессу и, наконец, говорили на европейских языках зачастую не хуже (а то и лучше), чем на

1. См.: *Pettit Ф.* Республиканизм; *Хархордин О.В.* Республика, или Дело публики. СПб., 2020. См. также: *Kharkhordin O.* Republicanism in Russia. Community before and After Communism. Cambridge, Mass.; London, 2018. Более того, в среде ученых, занимающихся республиканскими практиками и институтами, ведутся постоянные споры о легитимности автономной историографической повестки как таковой: часто анализ событий прошлого непременно требует корреляции с политико-философскими проблемами сегодняшнего дня. Об этом см. недавнюю обзорную статью: *Charette D., Skjónsborg M.* State of the Field: The History of Political Thought // *History: The Journal of the Historical Association*. Vol. 105 (2020). P. 470–483.

русском. И в этом смысле республиканские дебаты, проходившие, например, в Англии, Франции, Германии или США, были прекрасно знакомы многим подданным русских императоров, интересовавшимся политикой. Это обстоятельство создает для исследователя дополнительные трудности: в России республиканизм присутствовал на уровне отдельных деклараций, но ухватить его сущность как цельного политико-философского движения оказывается чрезвычайно сложно.

В-третьих, переходя к анализу высказываний в жанре политической теории, мы сталкиваемся с напряжением между республиканизмом как цельной и стройной доктриной и многообразием, порой даже противоречивостью его проявлений в различных политических и речевых контекстах. Например, до начала Великой французской революции Екатерина II неоднократно называла себя «республиканкой» «в душе» или «душой». Как показывает Д. Гриффитс, в данном случае речь идет о «...самовосприятии Екатерины как монарха, правящего в республиканском духе...»¹. Иначе говоря, у республики и монархического правления могли быть общие цели — просвещение, культ законности, экономическое процветание, религиозная терпимость, свобода высказываний, смягчение жестокости уголовных законов, устройство судебной системы и др.² Реализация общего блага подданных — особенно в огромном по размеру государстве — была возможна при монархической форме правления (отсюда и республиканизм исключительно «в душе», а не на политической практике). Мы имеем дело с республиканской традицией, в которой антонимом республики служит тирания, а не монархия. Екатерина, как она считала, правила в соответствии со своим «добрым сердцем» и благами

1. *Гриффитс Д.* Екатерина II: императрица-республиканка // Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир. Статьи разных лет. М., 2013. С. 80. См. также: *Польской С.В.* Основные политические понятия в России XVIII в. // *Общественная мысль России: с древнейших времен до середины XX в.: В 4 т. Т. 2: Общественная мысль России XVIII—первой четверти XIX в.* М., 2020. С. 163–164.
2. *Гриффитс Д.* Екатерина II: императрица-республиканка. С. 80–85.

«намерениями», отвергая насильственные методы в системе государственного управления¹. С условно «республиканской» установкой был связан и выбор Екатериной воспитателей и учителей для вел. кн. Александра Павловича — швейцарского педагога республиканских убеждений Ф.С. Лагарпа² и М.Н. Муравьева, также известного своей симпатией к античным республиканским добродетелям³.

Парадоксальным образом, республиканизм Екатерины не подразумевал целого ряда важнейших элементов республиканской теории: например, народного суверенитета, поскольку, с ее точки зрения, в России общее благо продуктивнее созидалось иным политическим путем, «сверху». Риторическую стратегию Екатерины следует признать успешной: монарх-республиканец — это чрезвычайно эффективная позиция в публичном поле (Екатерина характеризовала себя соответствующим образом именно в переписке со своими иностранными корреспондентами). Однако важно

1. Там же. С. 85–87.
2. См., например: *Андреев А.Ю.* Император и его учитель: личные и политические аспекты взаимоотношений Александра I и Ф.С. Лагарпа // *Филаретовский альманах*. 2012. № 8. С. 76–96; *Зайцева И.И., Пайяр К.* Швейцария — Россия: aller-retour. Республиканские идеи Ф.-С. Лагарпа на полях книг учебной библиотеки великого князя Александра Павловича // *Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники. Материалы XIII Царскосельской научной конференции*. СПб., 2007. С. 161–175; и др.
3. См.: *Каплун В.* Свобода в раннем российском республиканизме: гражданский республиканизм в России и европейская республиканская традиция Нового времени // *Что такое республиканская традиция: Сб. ст. / Науч. ред. О.В. Хархордин*. СПб., 2009. С. 137–139. «Республиканское» воспитание Александра, разумеется, не было секретом для его подданных. Так, И.Д. Якушкин писал в «Записках» о принятии французской Хартии в 1814 г.: «Когда уверили императора (Александра I. — М.В.), что французы желают иметь Бурбонов, он поставил в неперемennую обязанность Людовику XVIII даровать права своему народу, обеспечивающие до некоторой степени его независимость. Хартия Людовика XVIII дала возможность французам продолжать начатое ими дело в 89-м году; в это время республиканец Лагарп мог только радоваться действиям своего царственного питомца» (Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. М., 1951. С. 8; впрочем, в дальнейшем, по мнению Якушкина, настроения императора решительно изменились).

помнить, что возможность такого самоописания возникла исключительно благодаря семантической неопределенности самого понятия «республика», отсылавшего к разным политико-философским концепциям. Таким образом, мы едва ли можем свести «республиканизм» Екатерины к ясной и непротиворечивой доктрине.

Как разрешить три очерченные выше проблемы? Мы предлагаем рассматривать республиканскую теорию не только и не столько как совокупность идей или понятий, но как особый язык говорения о политике, с помощью которого можно сделать определенный набор утверждений и дать истолкование целому ряду исторических событий и актуальных процессов. Под политическим языком мы понимаем совокупность риторических приемов, ключевых слов и аргументов, которые используются при обсуждении методов и сути государственного управления и основ общежития (прав и обязанностей людей, законов, устройства администраций и пр.) внутри одной и той же политической и языковой системы¹. Акцент не на идеях, а на языках поможет преодолеть трудности, возникающие перед исследователями республиканизма, — как можно говорить о республиканских идеях в «нереспубликанской» ситуации (при отсутствии республики как формы правления или в тот момент, когда республиканские принципы фактически оказываются под запретом, как это было в России николаевского царствования)?

Такой подход скорее следует считать новым в исследованиях по истории отечественного республиканизма. В дальнейшем, в рассуждении о наиболее авторитетных историографических концепциях, связанных с интерпретацией русской республиканской традиции в первой половине XIX в., мы неизбежно будем говорить о республиканизме как доктрине. Впрочем, одна глава нашей работы прямо посвящена республиканской риторике, и в этом смысле она важна для нас и в методологическом отношении.

1. См.: Атнашев Т.М., Велижев М.Б. История политических языков в России: к методологии исследовательской программы // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2018. Т. 2. № 3. С. 111.

Мы расскажем историю о том, как после публикации первого «Философического письма» Чаадаева в 1836 г. и связанного с ней скандала его автор попытался использовать отдельные элементы республиканского лексикона в своей «Апологии безумного». Данный пример тем более существенен, что Чаадаев вовсе не был республиканцем, однако это не помешало ему воспользоваться республиканскими аргументами для обоснования собственной независимости от российских властей.

Как показывает Дж.Г.А. Покок, в конкретных текстах ни один из политических языков не существует в изолированном виде¹. Напротив, мы имеем дело с постоянной языковой реконфигурацией, а политической речи свойственна повышенная чувствительность к разным лингвистическим регистрам. Отсюда нашу методологию следует сформулировать так: мы стремимся не изолировать республиканскую идиому среди других политико-языковых элементов, но посмотреть, как она взаимодействует с ними, оформляется ли она в отдельную доктрину или циркулирует внутри других, более влиятельных дискурсивных практик. Таким образом, *языковую поливалентность* республиканизма в первой половине XIX в. мы рассматриваем как его конституирующую черту.

Кроме того, историю русского республиканизма первой половины XIX в., на наш взгляд, необходимо рассматривать в *сравнительной перспективе* — как элемент общеевропейской практики политических дискуссий. Речь в данном случае идет не только о теории культурного трансфера² и о транснациональных подходах³, но и о типологическом

1. Подробнее см.: Покок Дж.А.Г. The State of the Art // Кембриджская школа: теория и практика интеллектуальной истории / Сост. Т. Атнашев, М. Велижев. М., 2018. С. 142–190.
2. См., например: Эспань М. История цивилизаций как культурный трансфер / Пер. с фр. под общей ред. Е.Е. Дмитриевой. М., 2018.
3. См.: Вернер М., Циммерман Б. После компаратива: Histoire croisée и вызов рефлексивности / Пер. с англ. М. Могильнер // Ab Imperio. 2007. № 2. С. 59–90; Comparative and Transnational History: Central European Approaches and New Perspectives / Ed. by H.-G. Haupt and J. Kocka. New York; Oxford, 2009.

компаративизме в духе Марка Блока¹. Теория культурного трансфера, будучи, по нашему мнению, чрезвычайно успешной и полезной методологической программой, предполагает наличие агентов-медиаторов, связывающих между собой различные культурные сообщества. Равным образом транснациональные подходы подразумевают сетевое взаимодействие разных сред, формирующих сложноструктурированное политическое или интеллектуальное пространство. Мы же прибегнем к типологическому сопоставлению: выявим основные черты русского и европейского республиканизма, сравним их между собой, установим сходства и различия. Глобальный взгляд на «другую» историю, как мы надеемся, способен сообщить нечто новое о собственном, локальном материале.

Первая часть работы посвящена вопросам *теории* республиканизма в первой половине XIX в. После Великой французской революции республиканская идеология радикально трансформируется и становится частью других влиятельных политических концепций. Мы подробно остановимся на двух случаях: национализма и либерализма (вопрос о социализме и республиканизме мы кратко затронем в ходе дальнейшего повествования). Здесь нас будут интересовать европейские и американские сюжеты, без понимания которых едва ли возможно адекватно интерпретировать тексты, составлявшие отечественную традицию. Затем мы поговорим об *истории* отечественного республиканизма в первой четверти XIX в., поместив ее в компаративную перспективу. Наконец, в заключительной части исследования мы проанализируем, как республиканизм функционировал в качестве *политического языка* в николаевскую эпоху и как власть в целом оценивала республиканизм во второй четверти XIX столетия.

Хронологически наша работа очерчивает историю республиканских идей с рубежа XVIII и XIX вв. до 1848 г. Выбор в пользу 1848 г. как финальной точки исследования

1. Блок М. К сравнительной истории европейских обществ / Пер. с фр. И.К. Стаф // Одиссей. Человек в истории. Русская культура как исследовательская проблема. М., 2001. С. 65–93.

продиктован тем соображением, что европейские революции обнаружили новое измерение республиканизма. Оно было связано прежде всего с популярностью и массовостью социалистических проектов преобразования европейского мира, о чем применительно к России имеет смысл рассуждать уже в контексте распространения марксизма во второй половине XIX в.

«Республиканизм»: базовое определение

Американская и французская революции привели к радикальному пересмотру республиканской доктрины, возникшей еще в Античности и получившей дополнительное истолкование в начале Нового времени. Как считают многие теоретики, в этот момент республиканская теория распадается на две автономные линии, за которыми просматривается определенный набор политических принципов. Так, О.В. Хархордин, следуя западной научной традиции, разделяет *классический* и *исключающий* типы республиканизма, ставшие актуальными в самом конце XVIII в.¹

Классический республиканизм предполагал, что целью республики является общее благо, между тем как форма правления при этом существенной роли не играет. Правление монарха, направленное на заботу о народной пользе и (хотя бы отчасти) регламентированное законом, также могло оцениваться как республиканское. В классической традиции республике противостояла не монархия, а тирания. *Исключающий* республиканизм, напротив, состоял в непримиримой оппозиции между республикой и монархией. Каждая из форм правления автоматически исключала другую, причем «республика превосходила монархию в моральном отношении». Обе концепции сосуществовали в течение первых десятилетий XIX в.

Кроме того, Хархордин, опираясь на работы Э. Нельсона, различает *классический* и *неклассический, современный*

1. Хархордин О.В. Республика. С. 15–20.

республиканизм. *Классическая* республиканская доктрина сводится к четырем элементам: а) пониманию свободы как не-доминирования, свободе, «которая означала „не быть в воле другого“»¹; б) важности доблести или добродетели, прежде всего гражданской, которая является важнейшим свойством человеческого характера, который побуждает членов сообщества добиваться свободы; в) необходимости участия в публичной жизни ради достижения общего блага; г) исканию славы для себя и своего сообщества, обретение которой заслуживает почестей, благодаря которым человек становится известным потомкам и тем самым обретает символическое бессмертие². К этим характеристикам следует присовокупить пристальный интерес к истории и культ Античности в Новое время.

Современный республиканизм опирается на иные принципы³: а) важность представительных институтов и системы разделения властей, которым гражданин делегирует право собственной политической инициативы; б) опору на выборы, а не на жребий, т.е. предпочтение аристократического способа волеизъявления (выборы выигрывает «лучший») демократическому (жребий слеп и падает на индивида вне зависимости от его личных качеств)⁴; в) судебные гарантии прав человека от посягательств государства. В этой формулировке современный республиканизм чрезвычайно сходствует с либерализмом, так что зачастую необходимы специальные усилия, дабы различить их между собой.

Дефиниции республиканизма устроены таким образом, что они легко могут ввести исследователя в затруднение. Так, одно и то же явление — например, конституционный монархизм — в зависимости от избранного определения то оказывается чертой республиканского дискурса, то, наоборот, свидетельствует об отсутствии специфического

1. Хархордин О.В. Республика. С. 38.

2. Там же. С. 38–41.

3. Там же. С. 77–81.

4. Подробнее см.: Манен Б. Принципы представительного правления / Пер. с англ. Е.Н. Рощина; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб., 2008.

республиканского содержания¹. Кроме того, как отмечает Ф. Петтит, «...многие из тех, кого следовало бы считать республиканцами, не называли себя так по стратегическим или иным соображениям»². Характерный пример «смешения понятий» — это известный «республиканизм в душе», который был присущ сразу нескольким русским императорам (а также Н.М. Карамзину). Как мы уже сказали, проблема заключалась не только в несводимости многообразных политико-языковых свидетельств о республиканизме к одной или двум доктринам. В первой половине XIX в. республиканская теория вступает во взаимодействие с только что возникшими большими идеологиями (национализм, социализм, либерализм), а ее отдельные элементы становятся частями новых политических языков.

*История «республиканизма» в первой половине XIX в.:
общий контур*

Как именно происходило «переключение» республиканизма в другие политико-языковые регистры? Об этом пишет в своей классической работе «Гражданский республиканизм» (2002) И. Хонохан³. Она отмечает, что в конце XVIII столетия сохраняли свою значимость две разные концепции республиканизма, соответствующие современному и классическому республиканизму в классификации Хархордина. Первая из них прежде всего опиралась на идею представительства и предполагала определенный набор институциональных решений, способных реализовать принципы парламентского правления. Свобода понималась здесь как гарантия неприкосновенности личности и ее прав (в частности, права собственности), обеспеченная законом. Вторая концепция подразумевала гораздо

1. Примеры смешения понятий в дискуссии о республике в России начала XIX в. приводит в своей статье Н.Д. Потапова: *Потапова Н.Д. Декабристы и республиканская традиция // Петербургский исторический журнал. 2019. № 2. С. 199–200.*
2. *Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. С. 58.*
3. *Honohan I. Civic Republicanism. London, 2002.*

большую степень вовлеченности индивида в процесс государственного управления. Здесь свобода основывалась на гражданской активности, которая и служила главным средством, позволявшим обезопасить политическое сообщество от тирании и рабства. Хонохан отмечает, что события революционного террора во Франции дискредитировали партисипаторную модель республиканизма, в то время как представительная версия теории оказалась куда более восприимчивой к историческим изменениям — именно она легла в основу республиканских конституций XIX в.¹

После Французской революции стало окончательно понятно, что старые республиканские порядки, известные в Античности, едва ли поддаются прямому переносу в современность. Модерность требовала иных, более гибких подходов, способных учесть размеры новых государств, количество их жителей и новую коммерческую цивилизацию, возникшую в XVIII в. Свобода и участие в политической жизни перестали прочно ассоциироваться друг с другом. Именно в этот момент инициативу у республиканизма перехватил либерализм, который в основе своей восходил к «мягкой» версии республиканизма, акцентировавшей внимание на значимости представительных институтов власти².

Как мы уже сказали, либеральная доктрина предполагала, что защиты (в том числе и от республиканского государства) требует прежде всего личная свобода граждан, в жизнь которых государству следует вмешиваться как можно реже. Свобода больше не требовала политической активности и гражданских добродетелей. Индивиды, передав часть своих политических инициатив представителям, теоретически затем могли отстраниться от государственной жизни до следующих выборов. Ключевую роль в этой истории, как справедливо считает Хонохан, сыграла республика Соединенных Штатов, поскольку она доказала, что институциональную модель, основанную на разделении

1. *Honohan I. Civic Republicanism*. P. 110–113.

2. *Ibid.* P. 114–115.

властей и законе, можно реализовать в огромной по размеру и современной по экономике стране. Исследователь отмечает, что труды двух великих теоретиков демократии XIX в. — А. де Токвиля и Дж.С. Милля — прекрасно вычерчивают траекторию трансформации отдельных республиканских принципов в элементы либеральной доктрины. Оба автора придерживались отчетливо либеральных взглядов, однако их политические концепции базировались на важности участия граждан в управлении государством. Таким образом, они явно предпочитали «гражданскую добродетель» «политической пассивности»¹.

В свою очередь, социалисты также инкорпорировали часть республиканских принципов в собственную идеологическую программу. В частности, речь идет о «социальной природе индивидов, идее более позитивной свободы и воздействии экономического неравенства на политическое равенство и свободу»². Впрочем, сходства не были тотальными, поскольку в целом К. Маркс считал основным двигателем истории классовую борьбу, основанную на экономической зависимости одних классов от других. Как замечает Хонохан, в коммунистическом будущем, в котором неравенство окажется устранено, надобность в политической активности каждого гражданина исчезнет³.

Наконец национализм, кристаллизовавшийся в течение XIX в., также проявлял чувствительность к республиканским идеалам, прежде всего к патриотизму, однако истолковывал его в ином ключе — через идею народа, открывавшего свою миссию в истории и реализовывавшего ее в процессе исторического развития. Новая доктрина допускала идею народного суверенитета, который, добавим, мог реализовываться в самых разных политических формах — как при демократической системе власти, так и в виде самодержавного правления, основанного на союзе национального монарха и народа, как это случилось

1. Ibid. P. 115–118.
2. Ibid. P. 118.
3. Ibid. P. 118–119.

в России в царствование Николая I. Впрочем, суть дела не менялась: «свобода», «сообщество» и «народный суверенитет» обретали свое истинное значение лишь в контексте построения коллективной нации, которую «отныне можно было помыслить вне активного гражданского самоуправления»¹.

Итак, кризис республиканизма в первой половине XIX в. был связан прежде всего с двумя обстоятельствами: дискредитацией исключаящего республиканизма революционным террором и последующей фузией отдельных элементов республиканской доктрины с большими идеологиями — либерализмом, социализмом и национализмом. Речь шла о том, что республиканизм не смог адаптироваться к ключевым экономическим и идеологическим изменениям, произошедшим в первой половине столетия: к промышленной революции, к формированию идеи национального государства и кристаллизации националистической идеологии, к развитию парламентарно-монархических режимов или монархий, если не представительных, то основанных на идее главенства закона. Посмотрим внимательнее, как происходило «растворение» республиканизма в либеральной и националистической идеологии. Мы попытаемся ответить на вопрос: чего именно не хватило республиканизму для того, чтобы стать консенсуальной, автономной и авторитетной политической теорией?

Республиканизм и «большие» идеологии XIX столетия

Республиканизм и либерализм

В исторической перспективе либерализм оказался самым опасным противником республиканизма, парадоксальным образом в силу взаимной близости их теоретических принципов. Едва ли не каждый программный текст современных политических философов-республиканцев неизбежно начинается с подробного объяснения того, чем

1. *Honohan I. Civic Republicanism. P. 119.*

республиканская доктрина отличается от либеральной. И для республиканцев, и для либералов начала XIX в. высшей ценностью служила свобода, однако республиканская «свобода древних» и либеральная «свобода новых» отличались друг от друга. В первом случае свобода обеспечивалась активным участием граждан в управлении социумом. Во втором случае принципиален был сам выбор в пользу участия или неучастия в политической жизни. Как писал И. Берлин в классическом тексте о двух понятиях свободы: «В течение всего XIX в. либеральные мыслители доказывали: если свобода подразумевает, что кто-то вправе вынудить меня к тому, чего я даже предположительно не желаю делать, я не свободен; другими словами — учение об абсолютной суверенности само по себе тираническое учение»¹.

Итоги американской и французской революций побудили политических философов пересмотреть базовые принципы республиканизма, дабы лучше адаптировать их к политическим вызовам постреволюционного мира. От части республиканских политических аргументов пришлось отказаться, при этом сохранив другие элементы доктрины. Механизмы трансформации республиканской теории в либеральную убедительно и плодотворно интерпретированы в монографии историков политической мысли А. Каливаса и И. Кацнельсон «Начала либерализма. Как сделать республику современной» (2008)². Соавторы локализуют процесс апроприации либерализмом республиканских аргументов в политической философии Америки и Франции рубежа XVIII и XIX вв. Несомненно, в двух этих случаях новый вызов, порожденный революцией, оказался наиболее очевидным. Континентальный либерализм прежде всего

1. *Берлин И.* Два понимания свободы // Берлин И. *Философия свободы.* Европа / Пер. Л. Седова. Изд. 2. М., 2014. С. 176. Критический взгляд на противопоставление республиканизма и либерализма см.: *Larmore Ch.* *Liberal and Republican Conceptions of Freedom // Republicanism: History, Theory and Practice / Ed. by D. Weinstock and Ch. Nadeau.* London; Portland, 2005. P. 83–103.
2. *Kalyvas A., Katznelson I.* *Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* New York, 2008. Там же см. библиографию вопроса.

(и вполне ожидаемо) связывается Каливасом и Кацнельсон с трудами Ж. де Сталь и Б. Констан. Взгляды обоих мыслителей претерпели идентичные изменения: сначала они выступали сторонниками республиканского правления, а затем перешли на либеральные позиции, отдавая предпочтение новой интерпретации свободы. Интересно, что смена идеологического вектора в обоих случаях происходит в первое десятилетие XIX в. и, вероятно, связана не только с анализом революционных событий, но и с осмыслением их последствий в наполеоновскую эпоху¹. После окончательного падения Бонапарта (с которым в 1814 г. Констан непосредственно сотрудничал) Констан формулирует новую — синтетическую — версию либеральной доктрины, позволявшую разрешить базовое противоречие республиканизма — между классическим и исключаящим типом идеологии.

Каливас и Кацнельсон убеждены, что фузия республиканской концепции и либерализма началась благодаря двум теоретикам американской революции — Дж. Мэдисону и Т. Пейну. Оба мыслителя считали, что классический «древний» республиканизм нельзя в буквальном смысле реализовать в современном им мире: из-за отсутствия в Античности системы представительства и в связи с породившей представительство новой демографической и государственно-территориальной ситуацией. В XVIII в. граждан стало намного больше, чем прежде, и живут они в странах, превосходящих по размеру античные республики. Более того, республики Средневековья и Нового времени (Польша, Генуя, Венеция, Голландия и др.) также не отвечали идеалу народного представительства, так как носили аристократический и монархический характер².

Республиканизм Пейна и Мэдисона был исключаящим: американская конституция отвергала наследственную монархию и не опиралась на аристократический принцип.

1. Подробнее об этом см. также: *Jainchill A. Reimagining Politics after the Terror. The Republican Origins of French Liberalism.* Ithaca; London, 2008.
2. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 93–95.

По мнению Пейна, монарх всегда так или иначе являлся тираном, поскольку суверенитет, сосредоточенный в руках одного человека, автоматически предполагал рабство других людей. Наилучшей формой реализации народного суверенитета Пейн и Мэдисон считали систему представительства, которая по сути и являлась истинно республиканской, свидетельствующей о присутствии гражданской добродетели древних в современной ситуации. Парламентская форма правления позволяла решить проблему социальной дифференциации конца XVIII столетия и отразить интересы граждан разных политических воззрений, исповеданий и имущественного положения. Так, Мэдисон считал, что дух разногласий в обществе неискореним, а следовательно, не имеет смысла добиваться, чтобы все индивиды думали одинаково. Именно делиберативная демократия, дискуссия и равные возможности и гарантировали свободу¹.

Как замечают Каливас и Кацнельсон, Мэдисон противопоставил республиканские принципы республиканским практикам. Согласно их концепции, «развитие либерализма как политической и конституциональной доктрины стало незапланированным результатом усилий, призванных ввести стабильные, хорошо работающие республиканские институты»² в новом мире. Строго говоря, речь идет не о замене одних идеалов и практик другими, а о синтезе традиций, основанном на селекции принципов, способных реализовать прежние концепции в иной политической действительности. В этом смысле Каливас и Кацнельсон убеждены в фундаментальной новизне американского либерализма: мыслители XVII в. (тот же Дж. Локк) могли исповедовать близкие идеи, однако они никогда не сталкивались

1. Ibid. P. 98–114. О демократии и республике см.: *Rosanvallon P.* The History of the Word «Democracy» in France // *Journal of Democracy*. Vol. 6 (1995). No. 4. P. 140–155; *Markoff J.* Where and When Was Democracy Invented? // *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 41 (1999). No. 4. P. 660–690; *Магун А.* Демократия, или Демон и гегемон. СПб., 2016.

2. *Kalyvas A., Katznelson I.* Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns. P. 116.

с возможностью основать республиканское правление в огромной по размеру стране¹.

Если Пейн и Мэдисон интерпретировали итоги успешной республиканской революции, то французские теоретики либерализма — прежде всего г-жа де Сталь и Констан, — напротив, имели дело с последствиями событий, которые они считали «величайшим поражением республиканизма»². Так, в текстах второй половины 1790-х гг.³ де Сталь противопоставляла республиканизм как монархии, так и революционному террору. С ее точки зрения, наследственная монархия не соответствовала духу современности, политическому равенству и идее национального суверенитета и, по сути, вела к тирании и деспотизму. В целом монархическую власть нельзя совместить с народным правлением — и попытки сделать это де Сталь считала бесперспективными. В то же время она не принимала и чистой демократии: якобинскую диктатуру она приравнивала к беззаконию и приписывала ей лишь разрушительную силу⁴.

Классические формы народовластия де Сталь, подобно Мэдисону и Пейну, считала устаревшими и не соответствующими новому характеру европейских обществ с учетом развития торговли, роста индивидуализма, запроса людей на безопасность и благополучие и пр. Современные республики превратились в правление «лучших». Опиравшаяся на систему выборов и цензов политическая репрезентация позволяла избрать наиболее компетентных

1. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 117. Подробнее об американском республиканизме XVIII в. и его влиянии на французскую политику см.: *Appleby J. Liberalism and Republicanism in the Historical Imagination.* Cambridge (Mass.); London, 1992.
2. О республиканизме мадам де Сталь и Констан см. также: *Craiuțu A. A Virtue for Courageous Minds. Moderation in French Political Thought, 1748–1830.* Princeton; Oxford, 2012. P. 158–237; *Fontana B. Germaine de Staël. A Political Portrait.* Princeton; Oxford, 2016.
3. В трактатах «Размышления о мире, обращенные к г. Питту и французам» 1795 г., «Размышления о внутреннем мире» 1795 г., «О нынешних обстоятельствах, которые могут завершить революцию, и о принципах, в согласии с которыми следует установить во Франции республику» 1798–1799 гг.
4. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 123–126.

и образованных граждан для обсуждения насущных проблем государственного управления. При этом принцип демократической легитимности сохранялся, не угрожая политической стабильности представительного режима (как это случилось при прямой демократии). Таким образом, республиканизм в наилучшей степени отражал демократические ценности, но добивался этого не демократическим (а аристократическим) путем.

Как отмечают Каливас и Кацнельсон, речь в данном случае не шла о либеральном принципе, поскольку де Сталь в то время не придавала особого значения индивидуальным правам и личной свободе граждан. Кроме того, она критиковала систему разделения властей, которая не соответствовала, по ее мнению, идее народного суверенитета, и допускала возможность «временной легальной диктатуры», способной справиться с политическими кризисами. Наконец республиканизм де Сталь выражался в ее приверженности идеям патриотизма как источнику гражданской добродетели, который побуждал жителей страны «подчинить их отдельные частные интересы общей воле»¹.

В 1800-е гг. политические предпочтения мадам де Сталь радикально изменились. Ее трактат «О Германии» (1814) свидетельствует о решительном повороте к либерализму: отныне она интерпретировала свободу прежде всего «в категориях личной безопасности и независимости от власти коллектива»². Отношение де Сталь к республиканизму также претерпело эволюцию. В «Рассуждениях о революции во Франции» (1817) де Сталь, отдавая должное принципам 1789 г., утверждала, что античный мир не знал истинной свободы — «неотчуждаемых прав человека», не зависящих от мнения большинства. Отныне ее увлекала английская форма представительной монархии, при которой наиболее эффективно защищались личные права и свободы граждан. Предпочтения де Сталь оказались отданы свободе, а не равенству³.

1. Ibid. P. 128–134.

2. Ibid. P. 136.

3. Ibid. P. 135–140.

С чем оказался связан столь радикальный поворот во мнениях? По мнению Каливаса и Кацнельсон, проблема заключалась в противоречивости самого французского революционного порядка. Установление республики сопровождалось насилием и фактически уничтожало свободу вместо того, чтобы учредить ее. Системы представительства оказалось недостаточно для введения народного суверенитета, ей надлежало соединиться с политическими практиками, способными гарантировать свободу индивидов от государства. Таким образом, отдельные элементы республиканизма вошли в противоречие друг с другом: патриотизм, гражданская добродетель и равенство оказались достижимы лишь ценой утраты гражданами личной свободы. В новой ситуации либеральная доктрина обнаружила известную устойчивость и способность — с помощью института представительного правления и закона — оберегать гражданскую свободу от посягательств государства и общества¹.

Констан также стремился обнаружить «золотую середину» между позицией ультрароялистов и радикальных республиканцев и вообразить такую политическую конструкцию, которая позволила бы соединить крайности². В трактате «Фрагменты недописанной книги о возможности республиканской конституции в государстве с большой территорией», созданном в первой половине 1800-х гг., он предпринял первую теоретическую попытку описать разумную систему государственных институтов, носившую, по мнению Каливаса и Кацнельсон, отчетливо республиканский характер. Прежде всего, Констан отверг монархический принцип, поскольку в эпоху Просвещения королевская власть пережила такой кризис легитимации, от которого она не смогла прийти в себя вплоть до Великой французской революции, когда все проблемы монархического

1. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 142–145.
2. Подробнее о полемиках, в которые были вовлечены де Сталь и Констан, см.: *Dijn A. de. French Political Thought from Montesquieu to Tocqueville. Liberty in a Levelled Society?* Cambridge, 2008.

правления проявились в полной мере. Король перестал быть арбитром между соперничавшими группами в обществе, а его власть стала произволом (в пользу одного из сословий — дворянства)¹.

Констан задался вопросом: если монарх не способен гарантировать порядок, то кто должен установить во Франции политическую стабильность? По его мнению, новую легитимность следовало укоренить в выбранных нацией представителях, нравственных и этических основах конституции — стремлении к общему благу и патриотизме. Характерно, что в этот момент проблема личных свобод находилась на периферии внимания Констана, гораздо более важной целью оказывалось для него равенство. Далее возникал вопрос: что делать, если ветви власти начнут всерьез конфликтовать друг с другом? Констан предложил ввести политический институт, наделенный экстраординарными, почти диктаторскими полномочиями, — «*puissance preservative*» («охранительная сила»). Необходимость нового элемента властной структуры Констан мотивировал так: суд не мог выполнять функции арбитра, которому следовало располагаться над существующей системой, что и делало его позицию незаинтересованной и беспристрастной. В дальнейшем Констан отказался от идеи диктаторской власти, однако продолжил поиски нейтральной силы, способной укрепить государственный порядок².

Уже в «Политических принципах, применимых ко всем типам правления» (1802–1806) Констан переходил на отчетливо либеральные позиции. Он вновь обращался к известной задаче: найти такое сочетание властей, которое ограничивало бы возможный произвол каждой из них. Констан изменил представления о ключевом элементе современной политики: уже не равенство, а гражданскую свободу следовало защищать от вмешательства государства. Права человека, живущего в обществе, обладали, согласно Констану, абсолютной и фундаментальной ценностью. Современный

1. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 146–154.
2. *Ibid.* P. 155–158.

мир не походил на старь: больше не существовало одного религиозного или политического авторитета, а в ситуации плюрализма мнений оказывалось невозможно установить единственно правильную точку зрения¹. В новой ситуации задача конституционного порядка заключалась прежде всего в защите индивидуальных свобод.

В политической конфигурации, описанной Констаном, более значимой стала судебная власть, призванная гарантировать свободу и неприкосновенность собственности. Именно закон, а не монарх или диктатор выполнял функции нейтральной «охранительной силы». И все же Констан не был полностью удовлетворен новым институциональным дизайном, поскольку существовала возможность смещения политического баланса — по вине эгоистически настроенных сильных экономических классов и из-за пассивности других членов социума. Выход из ситуации он видел в актуализации республиканской категории «общего интереса», подпитывавшего политическую активность граждан как этическую основу конституционного порядка.

Наконец, в новой версии трактата — «Политических принципах, применимых ко всем типам представительного правления, в особенности к нынешней конституции во Франции» (1815) — Констан высказал собственное неудовлетворение уже самой либеральной традицией. В тексте сложным образом сопрягались разные политические идеи — республиканская, либеральная и монархическая. Констан утверждал, что в качестве нейтральной власти должна выступать представительная монархия. Опасность политической репрезентации состояла в том, что возникавшая благодаря выборам новая элита потенциально могла отобрать власть у большинства населения и вернуть страну к произволу. Кроме того, Констан стал сомневаться, что парламент мог эффективно действовать из-за партийных противоречий, раздиравших его членов. Опять же требовалась некая внешняя сила, способная поддержать нейтралитет².

1. *Kalyvas A., Katznelson I. Liberal Beginnings. Making a Republic for the Moderns.* P. 159–162.
2. *Ibid.* P. 164–170.

Констан пришел к выводу, который прежде им отвергался: роль арбитра следовало вернуть королю, сделав его своеобразной четвертой властью (наравне с парламентом, правительством и судом). Монарх представлял из себя независимую силу, гарантировавшую неприкосновенность конституции, а также права и свободы индивидов. Однако в любом случае королю требовалась новая легитимация власти. Констан оговаривал, что монархическая власть по сути не была экстраординарной, диктаторской. Границы королевских прерогатив следовало зафиксировать в конституции: таким образом, носителем суверенитета по-прежнему оставалась нация. Вторым легитимирующим деятелем монарха доводом, по мнению Констан, служила традиция. Почти мистическим образом король «воплощал историю и коллективную идентичность нации как таковой», а потому именно ему и следовало выступать в качестве независимой силы, уравновешивавшей все остальные ветви власти¹.

Так Констан соединил в своей концепции различные аргументы — консервативный, республиканский и либеральный: желание быть частью коллективного тела нации, любовь к отечеству, стремление к общему благу и индивидуальной свободе вместе служили лучшей защитой от произвола. Именно эти ценности он вкладывал в понятие «конституционная монархия». Как показывают Каливас и Кацнельсон, именно с синтетическим воззрением отца-основателя либеральной традиции и связана ее способность адаптироваться к новой политической ситуации, возникшей в Европе после Великой французской революции². Либерализм сумел успешно интегрировать в себя элементы различных систем мысли, не отдавая окончательного предпочтения ни одной из них и тем самым превращая себя в пространство для достижения политического консенсуса. В этом обстоятельстве и заключалось преимущество либеральной доктрины первой четверти XIX в. над республиканизмом.

1. Ibid. P. 170–172.

2. Ibid. P. 174.

Республиканизм и национализм

Национализм как политическая доктрина стал исключительно популярен в Европе в самом начале XIX в. Разумеется, корни его следует возводить к концепции Ж.-Ж. Руссо о народном суверенитете. Однако не меньшее воздействие на кристаллизацию и распространение национализма оказали немецкие философы рубежа веков и прежде всего И.Г. Гердер¹. В определенной степени национализм обязан своим успехом внешнеполитической ситуации в Европе начала XIX столетия. Наполеоновская экспансия привела к глубокому кризису местных идентичностей, прежде всего в германских государствах. Священная Римская империя германской нации прекратила свое существование, Пруссия и Австрия терпели невиданное прежде унижение, поскольку их зависимость от Франции в этот период стала весьма ощутимой. Наконец, Российская империя в начале 1810-х гг. пережила невероятное падение и столь же головокружительный взлет. Взятие Москвы Бонапартом в 1812 г. воспринималось многими дворянами как национальная катастрофа², между тем как итоги европейской кампании 1813–1814 гг. превзошли все мыслимые ожидания: русская армия оказалась в Париже, а Александр I на ближайшее десятилетие стал одним из самых влиятельных политических лидеров новой эпохи — основанного им (или, вернее, навязанного им союзникам) Священного союза³.

В ситуации национального унижения немецкие философы (И.Г. Фихте, Авг. Шлегель, Э.М. Арндт и многие другие) пытались решить понятную задачу: предложить концепцию народной идентичности, которая не была бы

1. Подробнее см.: *Атнашев Т., Велижев М.* «Особый путь»: от идеологии к методу // «Особый путь»: от идеологии к методу / Сост. Т. Атнашева, М. Велижева и А. Зорина. М., 2018. С. 9–35.
2. См.: *Тартаковский А.Г.* Обманутый Герострат: Ростопчин и пожар Москвы // *Родина*. 1992. № 6–7. С. 88–93.
3. Об этом см.: *Зорин А.Л.* «Звезда Востока». Священный союз и европейский мистицизм // *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла...: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М., 2001. С. 297–336.

напрямую связана с определенной формой политического правления. Конкретная конфигурация политической власти могла подвергаться деформации (что и происходило во время наполеоновских войн), требовалось обнаружить нечто, что нельзя было бы «завоевать мечом». Главным ответом на возникший исторический вызов следует считать теорию национального суверенитета, базировавшуюся на сочетании уникального немецкого духа, истории германских государств, их системы образования, языка и богатой литературной традиции (соответственно религиозный фактор не играл здесь центральной роли, поскольку, как хорошо известно, будущая Германия была крайне неоднородна с конфессиональной точки зрения).

В России националистические идеи также распространились очень быстро — фактически еще до начала войны 1812 г. Уже в николаевское царствование министр народного просвещения С.С. Уваров обосновал знаменитую формулу «православие, самодержавие, народность», в которой национальный принцип неразрывно соединялся с религиозным и политическим. Не случайно взгляды Уварова на национальную идентичность сформировались во время его дипломатической службы в Вене, где он вращался в кругу создателей теории немецкой исключительности. Более того, по остроумному наблюдению А.Л. Зорина, на раннем этапе собственной биографии Уваров сам в буквальном смысле слова был «немецким националистом»¹.

Кроме того, существенно, что национализм являлся провиденциалистской идеологией. Предполагалось, что каждый народ обладает своей собственной исторической миссией, предначертанной ему Богом и реализующейся в процессе истории (эту мысль высказал уже Гердер в своих «Идеях к философии истории человечества», 1780-е гг.). Соответственно, критерием идеального политического

1. См.: *Зорин А.Л.* Заветная триада. Меморандум С.С. Уварова 1832 г. и возникновение доктрины «православие — самодержавие — народность» // *Зорин А.Л.* Кормя двуглавого орла...: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. С. 337–373.

правления служили не абстрактные и рациональные аргументы, а соответствие той или иной формы власти национальному характеру и логике национального исторического развития.

Сам по себе национальный характер, разумеется, являлся предметом интенсивных дискуссий (например, какова исконно «немецкая» или «русская» форма правления — абсолютизм или средневековая республика?). Однако понятно, что в ситуации начала XIX в. республиканская модель не могла полностью удовлетворить теоретиков национализма. Во-первых, она была слишком тесно связана с проблематикой конкретных институциональных форм власти, а не общего «духа». Во-вторых, исторические республиканские прецеденты в массе своей восходили к античной или в лучшем случае средневековой древности, между тем как европейские политические режимы Нового времени в большинстве случаев базировались на монархическом принципе. Таким образом, обретение или «изобретение» традиции¹ чаще связывалось именно с историей монархии, а не республики (так было, например, в России и Пруссии). Впрочем, одним из элементов республиканизма новая идеология воспользовалась в полной мере: речь идет о патриотизме, о любви к отечеству, ставшей базовым принципом доктрины национализма².

Процесс адаптации республиканских принципов в теориях национальной идентичности подробно и убедительно прослеживает итальянский историк М. Вироли в монографии «Во имя любви к отечеству» (1995)³. Преимущество подхода Вироли, на наш взгляд, состоит в том, что он рассматривает республиканизм и национализм не как сумму

1. О термине см.: *The Invention of Tradition* / Ed. by E. Hobsbawm and T.O. Ranger. Cambridge, 1983.
2. Подробнее об истории самого понятия «патриотизм» см.: *Кром М.М. Патриотизм, или Дым отечества*. СПб., 2020.
3. *Viroli M. Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*. 2-a ed. Bari, 2001 (англоязычная версия книги (*Viroli M. For Love of Country. An Essay on Patriotism and Nationalism*. Oxford, 1995) почти ничем не отличается от италоязычной). См. также новейшую работу Вироли: *Viroli M. Nazionalisti e patrioti*. Bari, 2019.

идей, а как два политических языка, вступивших между собой в интенсивное взаимодействие в начале XIX в.¹ Вироли последовательно рассматривает эволюцию патриотизма в разных политико-философских традициях, однако в рамках интересующего нас периода основным становится именно немецкий сюжет.

Итальянский историк отмечает, что особенность немецкого политического контекста заключалась в том, что республиканские институты не были для него по-настоящему актуальны. Национальный характер, как правило, связывался не с республикой, а с монархией: объектом патриотизма в Новое время чаще всего выступала Священная Римская империя германской нации. Политическая вовлеченность интерпретировалась не в категориях гражданской активности, а в терминах надсословного участия в процессе созидания единого национального тела (особенно в ситуации внешней угрозы). Таким образом, представление об общем благе в националистической доктрине сохранялось, однако лишалось своего институционального «республиканского» ядра².

Более того, как отмечает Вироли, Гердер и другие теоретики немецкого национализма по-разному оценивали происхождение республики и нации. Республика оставалась делом человеческих рук, в то время как нация возникала естественным путем. Если «республики появляются на свет благодаря усилиям их основателей, то нации учреждает Бог»³. С этим связана популярность органицистских метафор у Гердера — народы часто сравнивались им с живыми организмами, переживающими, по воле Бога и в соответствии с предначертанным им сценарием, различные стадии биологического развития и роста. Как считали Гердер и Авг. Шлегель, любовь к отечеству продиктована не рациональными доводами, а природными склонностями

1. *Idem*. Per amore della patria. P. 20–23. См. также: *Parry J.* Patriotism // *Languages of Politics in Nineteenth-Century Britain* / Ed. by D. Craig and J. Thompson. New York, 2013. P. 69–92.
2. *Viroli M.* Per amore della patria. P. 108–120.
3. *Ibid.* P. 117.

человеческой души. В нации человек находит нечто «свое», онтологически ему присущее, и потому любовь к отечеству сильнее всех остальных привязанностей, в том числе и склонности к конкретной форме правления.

Определенную разновидность политического национализма мы находим в сочинениях И.Г. Фихте, главным образом в его знаменитых «Речах к немецкой нации» (1808). Вироли замечает, что языки национализма и республиканизма в данном случае смешивались. Фихте считал, что в наибольшей степени немецкий дух был заключен в средневековых германских республиках, а политическая республиканская свобода и национальная культура должны развиваться вместе. Вообще свобода становится одной из важнейших категорий, с помощью которых Фихте, на фоне масштабного политического кризиса германских государств, обосновывает немецкую исключительность. Однако это понятие у Фихте лишено либеральных и республиканских коннотаций: оно не связано с личной безопасностью индивида, гарантированной законом, и его участием в политической жизни. Свобода прежде всего выражается здесь в стремлении народа продолжать совместное существование, составлять часть уникального политического и культурного целого, горизонт существования которого уходит в вечность. Соответственно, рабство интерпретируется Фихте не через рассуждения о праве граждан на волеизъявление или активную вовлеченность в управление страной, но в терминах отказа от собственного национального характера. Национальный характер, в свою очередь, связывается с исторической миссией каждого народа, от реализации которой зависит его финальное спасение. В первой половине XIX столетия национализм укоренен в теории божественного Провидения и в этом смысле противопоставит «земным», «человеческим» идеологиям¹.

Согласно Вироли, аналогичную тенденцию можно наблюдать и в истории французского национализма (исследователь подробно останавливается на научных трудах

1. *Viroli M.* Per amore della patria. P. 122–132.

Ж. Мишле)¹. Идеалы Великой французской революции оставались здесь предметом пристрастного толкования. Между тем постепенно становилось очевидно (как это высказано, например, Э. Ренаном в более поздней лекции «Что такое нация?» 1882 г.): дабы быть французами, недостаточно идентифицировать себя с республикой, национальная идентичность требовала более тесной горизонтальной связи. Республиканские идеи стали элементом доктрины, призванной укрепить «духовное» единство народа. Вироли приходит к выводу, что выявленная на примере Германии и Франции тенденция свойственна и другим интеллектуальным контекстам. Так, в Англии язык классического патриотизма в качестве автономной политической идиомы в интересующий нас период практически не использовался, между тем как отдельные элементы республиканской речи, напротив, встраивались в другие политические дискурсы. Например, риторика свободы, равенства и гражданских прав активно использовалась сторонниками акта о католической эмансипации 1829 г. и парламентской реформы 1832 г. Кроме того, республиканские аргументы включались в рассуждения о социальной справедливости и служили доводами в дебатах об острых экономических кризисах, порожденных последствиями урбанизации и индустриализации. Новые конфликты часто описывались в терминах противостояния свободы и деспотизма².

Итак, доктрина национализма проявила особую чувствительность к отдельным категориям республиканского словаря — прежде всего к понятиям «патриотизм» и «свобода». Впрочем, эти термины наполнились иным содержанием, которое, как показали события XIX в., обладало огромным потенциалом в деле мобилизации масс и консолидации политических элит. Описанные явления можно интерпретировать и как «закат республиканской идеи», и как ее постепенную трансформацию. Очевидно, впрочем, что классический республиканизм

1. Ibid. P. 132–134.

2. Ibid. P. 137–140.

оказался неспособен ответить на исторические вызовы, с которыми в итоге так или иначе справилась доктрина национализма.

Республиканизм в России: три концепции

Российских исследователей республиканизма первой половины XIX в. следует разделить на три категории: те, кто рассматривает республиканскую теорию через призму политических языков (I), те, кто интерпретирует республиканизм прежде всего в контексте истории идей (II), и наконец те, кто считает, что республиканизм — это не только доктрина, но и определенный образ публичного поведения (III). Все три трактовки основательны и обладают своими несомненными преимуществами. Впрочем, как мы постараемся показать ниже, представителям ни одного из этих направлений не удалось в полной мере ответить на вопрос о наличии в России хорошо узнаваемой республиканской традиции.

Ниже мы рассмотрим каждую из интерпретаций, укажем на ее достоинства и недостатки, а затем предложим собственный ответ на два вопроса: а) каков удельный вес республиканизма в отечественной политической культуре первой половины XIX в. (для этого мы рассмотрим его в компаративном контексте) и б) каким образом мы можем анализировать республиканизм как один из политических языков, существующих не автономно, но в диалоге с другими политическими идиомами (и здесь мы воспользуемся чаадаевским кейсом, о котором писали ранее).

Республиканизм как политический язык

Первая концепция, которую мы хотели рассмотреть, интерпретирует республиканскую доктрину в контексте имперской политической речи XVIII в. В наиболее репрезентативном виде она сформулирована в работах К.Д. Бугрова, в частности в его докторской диссертации «Формирование идей республиканизма в российской общественно-

политической мысли XVIII века» (2017) и в главе, написанной им (совместно с М.А. Киселевым) для настоящего издания¹. Главный и, с нашей точки зрения, убедительный тезис Бугрова состоит в следующем: доминирующим политическим языком в Российской империи с начала XVIII в. до первой четверти XIX в. включительно служил язык «провиденциального» или «моралистского» «монархизма», основанный на идее божественной легитимации власти русских самодержцев². Моралистский монархизм «опирался на неизменный характер общего блага... <...> само признание неизменного характера общего блага и личной добродетели, находящихся к тому же в гармонии между собой, означало одновременно признание существования арбитра, способного направить социум к общему благу и оценить степень добродетели отдельного индивида. Таким арбитром и выступал монарх...»³. Этот принцип, как указывает Бугров, противоречил республиканской идее, которая подразумевала, что «добродетель генерируется социальными условиями», а «конфликт» служит «неотъемлемой частью политической жизни»⁴. Попытки дворянства укрепить свои позиции в обществе и системе управления никоим образом не противоречили политической системе моралистского монархизма: «Дворянский статус был связан с волей монарха-демиурга, героя и святого, движущего свою страну по пути вестернизации и преобразований»⁵.

Монарх оставался источником всякой политической инициативы, что стало серьезным препятствием для развития республиканской теории в России. Вероятно, можно

1. См.: *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Российский республиканизм XVIII — начала XX века в сравнительно-историческом контексте: учебное пособие. Екатеринбург, 2019; *Бугров К.Д.* «Вольность, дар бесценный»: о формировании республиканской концепции политической свободы в России конца XVIII века // *Quaestio Rossica*. 2013. № 1. С. 117–127.
2. Подробнее см.: *Он же.* Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века / Дисс. на соиск. ст. доктора ист. наук. Екатеринбург, 2017. С. 89–197.
3. Там же. С. 288–289.
4. Там же. С. 289.
5. Там же. С. 420.

говорить, что в отечественной политической традиции актуальным оставался классический республиканизм, который вполне уживался с монархической формой правления (в том случае, если суверен заботился об общем благе подданных). Однако доминирование языка провиденциального монархизма и радикально иной взгляд на природу гражданской добродетели заставляют предположить, что в целом республиканизм как политический язык — по крайней мере до определенного момента — оставался в Российской империи в тени. Разумеется, сами классические республиканские тексты, итальянские или английские, подданными русских монархов читались и активно обсуждались. Здесь следует сделать оговорку, прямо следующую из разысканий Бугрова: сам по себе факт циркуляции республиканских идей и идиом не гарантирует наличия республиканизма как разработанной и легитимной политической речи. Подлинными «республиканцами», согласно Бугрову, были А.Н. Радищев и Я.Б. Княжнин¹, однако речь идет лишь о двух теоретиках, хотя и важных, но все же не способствовавших утверждению республиканского языка как одного из общепризнанных политических идиом (в том числе и по цензурным соображениям).

Тем не менее Бугров обнаруживает традицию, в которой активно разрабатывался республиканский лексикон. Речь идет о сочинениях, посвященных истории древнерусских республик². Именно благодаря новгородской тематике в русский политический обиход входят «греко-римские исторические концепты»³. Наличие автохтонной традиции здесь принципиально, поскольку любовь к отечеству в республиканской традиции предполагает любовь к «своему собственному» отечеству с особенной, только «нам» присущей

1. *Бугров К.Д.* Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 446–483.
2. См. также: *Бугров К.Д., Соколов С.В.* Республика мечей или торговая республика? Российская историческая мысль XVIII — начала XIX в. о военной мощи республиканского Новгорода // *Cahiers du Monde Russe*. 2018. № 1. P. 93–116.
3. *Бугров К.Д.* Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 424.

исторической традицией. Новгородская (и псковская) республика (в тот момент, когда присущий этим городам политический строй стал опознаваться как «республиканский», а это произошло в последней трети XVIII в.) давала возможность «одомашнить» античные идеалы республиканской жизни, сделать их «своими»: «Поскольку интеллектуальный инструментарий для анализа республики и республиканизма в московской традиции отсутствовал, пробелы в понимании Новгорода как республики восполнялись импортом риторических стратегий и объяснительных моделей»¹ с Запада. Перед нами пример республиканской традиции, «изобретенной» по греко-римскому образцу.

Для концепции Бугрова существенно, что историографические полемики не имели прямого отношения к дискуссиям о природе самодержавной власти. Временная дистанция, отделявшая древний Новгород от России рубежа XVIII–XIX вв., гарантировала относительную свободу политического воображения: «...признание республиканского характера древней новгородской государственности не было само по себе идеологическим актом, отражающим политические взгляды историков и направленным на критику монархии. А республиканские атрибуты, приписывавшиеся Новгороду, имели целью не подрыв самодержавия и пропаганду „вольности“, но построение адекватной объяснительной модели, понятной кругам элиты»².

Если Карамзин в «Истории государства Российского» «растворил республиканизм в провиденциальной идее единства»³, то декабристы, в свою очередь, иначе смотрели на новгородский сюжет. Республиканская тематика стала частью политической речи, выдержанной в романтическом ключе (как возвращение к утраченной традиции, которая воссоздавалась за счет интерпретации новгородской тематики в контексте греко-римской гражданственности). Конечно, Новгород представлял из себя политическую альтернативу «монархическому деспотизму», однако «сам по себе

1. Там же.

2. Там же. С. 476.

3. Там же. С. 445.

подобный взгляд вовсе не означал симпатий к республике и не вел к тому, чтобы считать республику пригодной для России¹, в особенности республику, чья история осталась в отдаленном прошлом.

В какой мере вывод Бугрова релевантен для России первой половины XIX столетия? Здесь, как кажется, существенно вернуться к вопросу о том, что представляет из себя политический язык. Дж.Г.А. Покок в работе «The State of the Art» (1985) отмечает, что одним из критериев, позволяющих убедиться в том, что мы действительно имеем дело с полноценной и автономной политической идиомой, является частотность ее употребления в разных контекстах (т.е. применительно к разным политическим ситуациям)². Этот тезис позволит чуть иначе взглянуть на репутацию новгородской республики в строе историко-политической образности первой половины XIX в.

Начиная с 1800-х гг. восприятие русской истории претерпевает определенную трансформацию. В александровскую эпоху исторические сюжеты стремительно сближаются с политическими. Исторические трагедии, повести и рассказы становятся важнейшим элементом идеологической рефлексии о природе русской монархии и ее основных качествах. Актуализация прошлого связана со стремительным распространением доктрины национализма, ставившей перед публицистами начала XIX в. целый ряд проблем. Во-первых, требовалось определить, каковы, собственно, главные черты русского национального характера. Сделать это было не так просто по той причине, что дворяне и крестьяне, говорившие на разных языках и, по сути, жившие в разных культурных пространствах, с трудом соединялись в единое политическое тело³. Во-вторых, следовало «изобрести» концептуальную схему, позволявшую

1. Бугров К.Д. Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 480.

2. См.: Покок Дж.Г.А. The State of the Art. С. 154.

3. Подробнее см., например: Живов В.М. Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности // Новое литературное обозрение. № 91 (2008). С. 114–140.

адаптировать националистические идеи к языку русского «провиденциального монархизма». Важнейшим стимулом, заставившим отечественных политических теоретиков и саму императорскую власть активно разрабатывать концепцию национального избранничества, стала внешнеполитическая угроза: сначала ожидание масштабной войны с Наполеоном на территории России в 1806–1807 гг., а затем и сам поход Великой армии к Москве в 1812 г.

Если мы посмотрим, какие именно исторические сюжеты привлекали внимание русской читающей и театральной публики в первые сорок лет XIX в., то обнаружим, что в целом новгородская тема находилась на периферии дискуссии об «особом пути» России. Главным историческим периодом, отражавшим провиденциальную судьбу русского народа и русской монархии, стало Смутное время. Выбор в пользу событий начала XVII в. оказался продиктован и символической значимостью начала царствующей династии, и наполненной провиденциальным смыслом параллелью между 1612 и 1812 гг. О центральной роли сюжетов из истории Смутного времени для русского театра начала XIX в. убедительно пишет А.Л. Зорин¹, об их значимости для русского исторического романа 1830-х гг. свидетельствуют библиографические разыскания Д. Ребеккини². Согласно подсчетам итальянского исследователя, иерархия эпох в рамках жанра (с 1829 по 1839 г.) распределяется следующим образом: война 1812 г. — 15 романов, Смута и приход к власти династии Романовых — 10, «период княжеств, монгольского ига и усиления Москвы» — 7, время Петра Великого — 7, Киевская Русь — 6, царствования Ивана III и Ивана IV — 6, время Екатерины Великой — 6, тексты

1. *Зорин А.Л.* Народная война. События Смутного времени в русской литературе 1806–1807 гг. // Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... С. 187–238.
2. О важности другого — «петровского» — сюжета для «сценария власти» Николая I см.: *Riasanovsky N.V.* The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. New York; Oxford, 1985; *Idem.* Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855. Berkeley, 1959; *Уортман P.C.* Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. Т. 1. М., 2002. С. 395–397.

об истории Малороссии — 6, царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны — 5, Новгородская и Псковская республики — 5, романы об истории Сибири — 4, тексты, посвященные истории Кавказа, — 4, прочие — 11¹. Таким образом, в целом «республиканские» сюжеты из древнерусской старины и особые добродетели республиканских героев не вызывали большого интереса у русских авторов (и читателей) в тот период развития русской литературы, когда жанр исторического романа обрел огромную популярность. Во многом это было связано с антиреспубликанской спецификой николаевской идеологии, в особенности после событий 14 декабря 1825 г. и Польского восстания 1831 г.² Впрочем, нам важно констатировать саму тенденцию предпочитать республиканским сюжетам из русской истории сюжеты монархические.

Кроме того, увлечение античной греко-римской образностью оказалось свойственно не только «республиканским» мыслителям. Так, патриотический (в сугубо монархическом смысле) журнал С.Н. Глинки «Русский вестник», вышедший в свет с 1808 г., был наполнен историями о подвигах русских героев, своим поведением весьма недвусмысленно копировавших образцы античной гражданской добродетели (одним из них стал, например, крестьянин Иван Сусанин³). Далее, одно из самых популярных сочинений о республиканском Новгороде в первой половине

1. *Ребеккини Д.* Русские исторические романы 30-х годов XIX века (Библиографический указатель) // Новое литературное обозрение. № 34 (1998). С. 421.
2. О том, как польское восстание повлияло на предпочтения авторов русских исторических трагедий и драм, см.: *Вацуро В.Э.* Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // Вацуро В.Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 569–570.
3. См.: *Велижев М.Б., Лавринович М.Б.* Сусанинский сюжет: становление канона // Новое литературное обозрение. № 63 (2003). С. 186–204; об интеллектуальных истоках «имперского республиканизма», основанного на античных идеалах добродетели и доблести, см.: *Andrew E.G.* Imperial Republics. Revolution, War, and Territorial Expansion from the English Civil War to the French Revolution. Toronto; Buffalo; London, 2011; а также материалы сборника статей: *Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the Common Good* / Ed. by H. Blom, J.Ch. Laursen and L. Simonutti. Toronto; Buffalo; London, 2007.

XIX в.¹ — повесть Карамзина «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» (1803) — при всей сложности своего политического сюжета не содержало однозначных похвал республиканскому прошлому Руси, но, наоборот, осмысляло древнюю историю в свете конфликта между «героической» вольностью и «мудрым» самодержавием как «палладиумом» и политической судьбой России.

Наконец, русская историография означенного периода весьма умеренно интересовалась новгородской тематикой: за первую половину столетия, по сути, вышло лишь две большие работы, целиком посвященные истории древнерусских республик: труд Е.А. Болховитина «Исторические разговоры о древностях Великого Новгорода» (1808) и диссертация С.М. Соловьева «Об отношении Новгорода к великим князьям» (1845)². В обзорных сочинениях по русской истории М.П. Погодина, Н.А. Полевого или Н.Г. Устрялова республиканские прецеденты, разумеется, интерпретиро-

1. См., например, сведения о включении фрагментов из «Марфы Посадницы» в учебную литературу в работе: *Фоменко И.Ю.* Публикации произведений Н.М. Карамзина в русской книге первой четверти XIX века // Н.М. Карамзин в русской книжной культуре. Материалы международной научной конференции (1–2 декабря 2016 г.). М., 2016. С. 150. О карамзинских подтекстах в истории новгородского сюжета в русской литературе начала XIX в. прежде всего см.: *Фризман Л.Г.* Тема Марфы Посадницы и драма Погодина // Погодин М.П. Марфа, Посадница Новгородская / Изд. подгот. Л.Г. Фризман, К.В. Бондарь. М., 2015. С. 255–347 (серия «Литературные памятники»). См. также: *Абраменко В.А.* Образ средневекового Новгорода в общественной мысли России XIX века и значение трудов Н.М. Карамзина в его формировании // Карамзин и его эпоха: Материалы Всерос. науч. конф. (Москва, 18–19 октября 2016 г.). М., 2017. С. 19–25; *Артамонов Д.С.* Вадим Новгородский в сочинениях Н.М. Карамзина и его современников // Там же. С. 26–33.
2. См.: *Аракчеев В.А.* Проблемы социально-политического строя Псковской вечаевой республики в отечественной историографии второй половины XIX — первой половины XX века // Псков. Научно-практический, научно-краеведческий журнал. № 33 (2010). С. 5–11; *Коча Л.А.* С.М. Соловьев о новгородской истории // Новгородский исторический сборник. № 1 (11). Л., 1982. С. 113–118; *Цамутали А.Н.* История Великого Новгорода в освещении русской историографии XIX — начала XX в. // Новгородский исторический сборник. № 1 (11). Л., 1982. С. 96–112. Сборник сочинений о Новгороде, созданных в XIX в. (в том числе А.И. Герценом и др.), см., например: Новгород в русской литературе XVIII–XX вв. / Сост. А.З. Жаворонков. Новгород, 1959.

вались, однако они не играли в повествовании значимой роли. Западники и славянофилы в целом также обращали внимание скорее на другие периоды отечественной истории. Торжественные празднования тысячелетия России в 1862 г., как показывает О.Е. Майорова, свидетельствовали о том, что официальный монархический дискурс полностью «поглотил» новгородский сюжет, сделав его частью непротиворечивой концепции русской национальной власти¹. История новгородской республики, безусловно, интересовала декабристов, однако мы не должны упускать из вида тот факт, что в данном случае речь идет об относительно небольшой группе публицистов и литераторов. Удельный вес их интеллектуальной продукции в сравнении с другими текстами историко-политической тематики (если мы берем в расчет первую половину XIX в.) окажется не столь внушительным.

Где же тогда искать полноценный республиканский дискурс в России? Как показывают разыскания Бугрова и Д.В. Тимофеева, попытки конституционных реформ в России начала XIX столетия также едва ли могут служить материалом по истории отечественной республиканской доктрины. Как отмечает Бугров, необходимо разделять республиканизм и конституционализм: «под конституционализмом можно понимать поиски оптимальной организации властного аппарата, тогда как под республиканизмом мы понимаем теорию, провозглашающую народный суверенитет при соответствующих гражданских доблестях»². В этой интерпретации политическая речь, защищающая закон как фундаментальную ценность и основной регулятор отношений в социуме, отнюдь не всегда является республиканской. Особенно это релевантно для первой трети XIX в., когда сама власть предпринимала усилия по реформированию русского законодательства и по введению юридических норм, регулировавших базовые социальные

1. *Майорова О.Е.* Бессмертный Рюрик: Празднование тысячелетия России в 1862 г. // Новое литературное обозрение. № 43 (2000). С. 137–165.

2. *Бугров К.Д.* Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 259.

и политические процессы в России (речь идет о проектах самого начала александровского царствования и реформистской активности М.М. Сперанского). По словам А.Н. Медушевского, «после Французской революции и особенно в условиях Реставрации конституционализм становится общепризнанной формой легитимации всякой власти, в том числе и монархической»¹. В итоге попытки законодательной регламентации власти «сверху» служат свидетельством стремления не ограничить самодержавие законом, но, напротив, укрепить его, добавить монархии новый тип легитимации, основанный на праве. Конституционализм способствовал консолидации императорской власти, между тем как республиканизм «должен был представлять собой решительный вызов монархизму»². Важно добавить, что историки, считающие реформистскую деятельность первой половины александровского царствования нацеленной на уменьшение (а не на консолидацию) абсолютной власти императора³, также убеждены: речь не шла о введении в России элементов республиканского правления. С.В. Мироненко так определяет преобразования М.М. Сперанского: «Этот новый порядок дел был, по существу, не чем иным, как ограничением самодержавия и созданием в России *монархии* буржуазного типа»⁴.

Не менее существенно, что ключевые понятия либерального лексикона, разрабатывавшие смысловые оттенки понятия «свобода», стали частью официальной политической речи александровской эпохи, прежде всего известной по журнальным публикациям того времени. Речь идет о необходимости введения в России «коренного закона» (аналога «конституции», очищенного от революционных коннотаций), о поддержке предпринимательства

1. *Медушевский А.Н.* Конституционные проекты в России и их западные источники // *Мир России.* 1996. № 1 (Т. V). С. 164.

2. Там же. С. 270.

3. См., например: *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России начала XIX в. М., 1989; *Польской С.В.* Дворянский конституционализм в России XVIII—начала XIX в. // *Вопросы истории.* 2011. № 6. С. 27–42; и др.

4. *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. С. 30; курсив наш. — *М.В.*

и свободе экономической деятельности, о гарантиях гражданских прав и пр.¹ Знаменателен, в частности, тот факт, что в отечественных журналах печатались переводы европейских конституций первой четверти XIX в. По наблюдениям Тимофеева, республиканские конституции печатались с сокращениями, королевские конституции приводились почти в полном объеме и сопровождались подробными комментариями. Исследователь пишет: «...при отборе статей основное внимание было обращено на то, каким образом в текстах республиканских конституций закреплены принципы разделения властей, равенства граждан перед законом, неприкосновенности собственности, свободы вероисповедания, а также порядок внесения по мере необходимости изменений в текст конституции. Особое значение придавалось принципу выборности в процессе формирования высших органов государственной власти»². К аналогичным выводам приходит Н.Д. Потапова: республиканская форма правления достаточно часто обсуждалась в русской прессе начала XIX столетия³.

Из вышесказанного можно сделать несколько выводов. Прежде всего, интерпретация «конституции» как «основополагающего законодательного акта», как замечает Тимофеев, «не только не подразумевала ограничения власти императора, но напротив — всячески подчеркивала необходимость высочайшего утверждения всех ее положений»⁴. Более того, закон мыслился в качестве «инструмента систематизации

1. *Тимофеев Д.В.* Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного подданного первой четверти XIX века. Челябинск, 2011. С. 136–137.
2. Там же. С. 314–315.
3. *Потапова Н.Д.* Декабристы и республиканская традиция. С. 201. См. также: *Пугачев В.В.* Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (от А.Н. Радищева к декабристам) // Ученые записки Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия историко-филологическая. Вып. 57. Горький, 1962. С. 170–174; *Бокова В.М.* Беспокойный дух времени. Общественная мысль первой трети XIX в. // Очерки русской культуры XIX века. Т. 4: Общественная мысль. М., 2003. С. 27–34.
4. *Тимофеев Д.В.* Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного подданного первой четверти XIX века. С. 134.

российского законодательства, ограничения „самовластья“ фаворитов и произвола чиновников»¹. Декабристская политическая программа в целом ряде пунктов (например, в вопросе гражданских прав) не слишком отличалась от того, что сама императорская власть предлагала в качестве предмета обсуждения русской образованной публике.

Впрочем, гражданские права могла устанавливать в Российской империи лишь императорская власть, а народ или нация не являлись источником политического суверенитета. Речь шла о дискурсивных практиках, а не собственно о государственных преобразованиях. При всем сходстве отдельных политических деклараций декабристов и лояльных власти авторов проблема заключалась в том, что выразившиеся на бумаге принципы не становились частью политической реальности. Реформы Сперанского в полной мере реализованы не были, «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева так и осталась без дальнейшего движения, польская конституция 1815 г., несмотря на отдельные (и, добавим, весьма туманные) утверждения Александра I, не подразумевала скорого переноса ее политических принципов на практику управления в остальной части Российской империи, а «самовластье фаворитов» в последние годы александровского царствования никуда не исчезло, прочно ассоциируясь с действиями А.А. Аракчеева². Более того, как пишет Медушевский, «реализация проектов Сперанского и проведение в жизнь идей Уставной грамоты привело бы в лучшем случае к созданию более рационализированной бюрократической администрации,

1. Там же. С. 137.

2. См., например, в «Записках декабриста» А.Е. Розена: «С кончиною Александра I кончилась власть Аракчеева. Все трепетали пред ним, все боялись его, никто не любил его. <...> Александр I, занятый преимущественно делами европейскими, предоставлял ему дела русские; он был совершенно уверен в его преданности» (*Розен А.Е. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 400*), или в «Обозрении проявлений политической жизни в России» М.А. Фонвизина: «...граф Аракчеев, — ненавистный целой России за злобный и свирепый нрав, но любимый Александром, как раб преданный, готовый отдать душу, чтобы угодить ему...» (*Фонвизин М.А. Сочинения и письма. Т. II: Сочинения. Иркутск, 1982. С. 184*), и другие свидетельства.

уменьшению личной власти монарха и, возможно, ограничению произвола, но отнюдь не к созданию конституционной монархии по образцу Великобритании, Франции или даже Германии, к которой русский монархический строй был более близок»¹. Осуществление политической программы декабристов требовало более решительных действий. Вопрос заключался не только в том, как должна быть устроена государственная власть в России, но и в том, каким образом могут быть проведены реформы в ситуации пассивности императорской власти.

В итоге нам представляются убедительными два тезиса представителей первой из названных нами концепций русского республиканизма начала XIX в. Во-первых, язык «провиденциального монархизма» в политической практике явно превосходил по влиянию республиканскую идиому; во-вторых, попытки конституционных преобразований начала столетия не только адаптировали в России новую политическую культуру, но и делали это, не оспаривая легитимность самодержавного правления, а лишь укрепляя ее или, лучше сказать, реформулируя ее основные принципы на других политических языках. Однако предложенная Бугровым «новгородская» интерпретация русского республиканизма требует, как нам кажется, дополнительной аргументации. Возможно, здесь речь идет лишь об одном из многочисленных примеров интериоризации республиканского мышления в России, а не о его главном изводе.

Республиканизм как политическая доктрина

Вторая традиция в изучении отечественного республиканизма касается собственно интерпретации политико-философских концепций, созданных членами тайных обществ в России в период с 1815 по 1825 г. Один из ведущих специалистов в этой области В.С. Парсамов выделяет четыре идеологических проекта, которые, с его точки зрения,

1. *Медушевский А.Н.* Конституционные проекты в России и их западные источники. С. 168.

можно со всей определенностью назвать республиканскими¹. Под этим термином Парсамов понимает «проекты государственного устройства, предполагающие изъятие власти из рук монарха и передачу ее народу путем государственного переворота, как мирного, так и военного»². Таким образом, в основу республиканизма помещается не столько конкретная форма правления (республика или конституционная монархия), сколько принцип народовластия, национальный суверенитет. Определение Парсамова подразумевало, что политическая реформа в корне противоречила идеологии императорской власти. Сам монарх не мог в этой ситуации стать инициатором изменений (например, ввести октроированную конституцию), поскольку источником политической трансформации мог выступать только народ. Это существенная оговорка, поскольку она

1. *Парсамов В.С.* Республиканские модели в русской политической культуре 1815–1825 гг. // *The Russian Empire 1790–1830: in search for narratives for the Alexandrine age.* Mainz, March 23–25, 2017. Reader: version 2.0. P. 74–94; *Он же.* Эволюция общественной мысли в первой четверти XIX в. // *Общественная мысль России: с древнейших времен до середины XX в.: В 4 т. Т. 2: Общественная мысль России XVIII — первой четверти XIX в.* М., 2020. С. 522–542. О республиканизме декабристов см. также: *Семевский В.И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909; *Скрипнилев Е.А.* Республиканские идеалы декабристов // *Советское государство и право.* 1975. № 12. С. 88–93; *Grandhaye J.* Les décembristes. Une génération républicaine en Russie autocratique. Paris, 2011; *Idem.* La République interdite. Le moment décembriste et ses enjeux (XVIII-e — XXI-e siècles). Seyssel, 2012; *Erren L.* Russia a Republic? Some Remarks on the National Consciousness of the Decembrists // *The Enigmatic Tsar and his Empire. Russia under Alexander I. 1801–1825* / Ed. by A. Kaplunovsky, J. Kusber and B. Conrad. Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Warszawa; Wien, 2019. P. 263–283; и др.
2. *Парсамов В.С.* Республиканские модели в русской политической культуре 1815–1825 гг. С. 74. Следует, впрочем, оговорить, что с содержательной точки зрения проекты не менее часто именуются в историографии и «либеральными». В числе «либеральных» черт политических программ членов тайных обществ называются: «Элементы либеральной доктрины у декабристов: государственничество, свобода печати и роль общественного мнения, свобода ассоциаций, свобода получения образования, свобода вероисповедания, национальное самоопределение, необходимость индивидуальной свободы» (*Жуковская Т.Н.* Политические идеи декабристов и традиции западного либерализма: проблемы сопоставления // *Декабристы. Актуальные направления исследований.* Сб. статей и материалов. СПб., 2014. С. 37–39).

автоматически исключает из поля зрения исследователя попытки «ограничения» политической власти «изнутри», о чем мы писали выше.

Четыре проекта, о которых пишет Парсамов, таковы: во-первых, это «чистый» республиканизм «античного образца», отраженный в «Русской Правде» П.И. Пестеля; во-вторых, «либеральный проект» Н.М. Муравьева, «примиряющий монархию и республику на конституционной основе»; в-третьих, это «имперская республика» с сильным аристократическим началом, которую обдумывали основатели «Ордена русских рыцарей» М.А. Дмитриев-Мамонов и М.Ф. Орлов и которая предполагала «личную диктатуру» и «откровенно агрессивную внешнюю политику»; наконец, в-четвертых, Парсамов выделяет «пушкинскую версию общечеловеческой республики в условиях внешнего мира» по образцу «вечного мира» аббата Сен-Пьера и И. Канта, которая тем не менее не исключала насилия в момент смены политической власти¹. С нашей точки зрения, полноценными в политико-философском смысле, вероятно, следует считать только первые два проекта, поскольку они нашли свое выражение в обширных программных документах². Пушкин политических трактатов

1. *Парсамов В.С.* Республиканские модели в русской политической культуре 1815–1825 гг. С. 94.
2. Вопрос о составе корпуса политико-философских текстов, созданных членами тайных обществ до 14 декабря 1825 г., остается сложным. Нет никаких сомнений, что больших по объему трактатов — конституционных проектов было создано немного — прежде всего мы имеем в виду «Русскую Правду» Пестеля и «Проект Конституции» Н.М. Муравьева (с учетом списков, редакций и комментариев других участников движения, а также неизвестных нам текстов, подобных республиканскому конституционному проекту М.Н. Новикова). Между тем очевидно, что часть произведений могла быть утрачена еще до самого суда над декабристами — в числе документов и писем, уничтожавшихся членами тайных обществ, дабы не быть скомпрометированными на возможном процессе (не говоря о не дошедших до нас по другим причинам). Кроме того, существуют агитационные материалы, уставные документы, эпистолярные свидетельства, специальные «записки», рукописные и печатные сочинения, посвященные смежным сюжетам (подобные республиканским «Запискам о Голландии 1815 года» Н.А. Бестужева, вышедшим в свет в 1821 г.), литературные тексты, наконец показания на следствии (подробнее см. обзорную статью: *Азадовский М.К.* Затерянные и утраченные

о республиканизме не писал¹, его взгляды на формы правления и власть эксплицируются из целого набора разновременных высказываний и сочинений. Большие тексты о политических реформах Дмитриева-Мамонова и Орлова если и существовали, то до нас не дошли². Остановимся подробнее на историографической интерпретации республиканских концепций Пестеля и Муравьева³.

произведения декабристов // Литературное наследство: Декабристы-литераторы. I. Т. 59. М., 1954. С. 601–777). Для наших целей, впрочем, существенно, что при всем многообразии документов собственно политических трактатов, которыми изобилует западноевропейская философская традиция XIX в., в «преддекабристской» России появилось, как мы уже сказали, чрезвычайно мало. Кроме того, существенно, что эти тексты не становились предметом открытого и публичного обсуждения (и, следовательно, степень их воздействия на общественное мнение оставалась весьма небольшой). Не следует сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что коммуникация между участниками тайных обществ в целях конспирации в большей части случаев имела устный, а не письменный характер.

1. Кстати, отметим, что откровенная «оппозиционность» пушкинской поэзии конца 1810-х — начала 1820-х гг. отнюдь не свидетельствовала о ее «республиканском» характере, см., например: *Осват А.Л.* Послание Тютчева автору «Вольности» и дело Лувеля // Тезисы докладов научной конференции «Великая французская революция и пути русского освободительного движения». 15–17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. С. 51–52. О.А. Проскурин отмечает по этому поводу: «Между тем установления республики тогда (в 1820 г. — *М.В.*) не было даже в планах деятелей тайного общества, не говоря о Пушкине» (*Проскурин О.А.* Оскорбленное достоинство и право на убийство (Пушкин весной 1820 года) // Новое литературное обозрение. № 151 (2018). С. 141).
2. См. также: *Бокова В.М.* Беспокойный дух времени. Общественная мысль первой трети XIX в. С. 99–101. Кроме упомянутых проектов, следует также назвать планы по учреждению республики, которые обсуждались в «Обществе соединенных славян», см., например: *Раковский Ю.У.* Идея республиканской федерации в программе Общества соединенных славян // Российский менталитет: история и современность. Сборник научных трудов. СПб., 1993. С. 33–37; *Оксман Ю.Г.* Из истории агитационной литературы 20-х годов // Очерки из истории движения декабристов: Сб. ст. / Под ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковского. М., 1954. С. 474–515.
3. Об источниках (преимущественно европейских и американских) конституционных проектов Пестеля и Муравьева см., например: *Дружинин Н.М.* Декабрист Никита Муравьев // Дружинин Н.М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1985. С. 5–304; *Медушевский А.Н.* Конституционные проекты в России и их западные источники. С. 168–170.

В первой половине 1820-х гг. Пестель сформулировал несколько политических проектов, которых имели как конституционно-монархический, так и республиканский характер¹. Наиболее завершенным и известным из них стала «Русская Правда», первая редакция которой была создана к середине 1822 г., а вторая — к середине 1824 г.² В своем тексте Пестель описал республиканскую форму правления, предполагавшую систему представительства, но исключавшую монарха даже как носителя исполнительной власти. Пестель считал возможным символическое возвращение к древним республиканским порядкам, разумеется, с оговоркой о введении системы представительного правления, реализующей принцип народовластия в ситуации невозможности прямой демократии античного образца:

«Когда государства так еще были малы, что все граждане на одном месте или небольшом поле собираться могли для общих совещаний о важнейших государственных делах, тогда каждый гражданин имел голос на вече и участвовал во всех совещаниях народных. Демократия существовала тогда. Сей порядок должен был измениться с увеличением государств, когда уже нельзя было всем гражданам собираться на одном месте. Демократия тогда была уничтожена. <...> Великая мысль о представительном правлении возвратила гражданам право на участие в важных государственных делах»³.

1. О Пестеле-республиканце см.: *O'Meara P.* The Decembrist Pavel Pestel. Russia's First Republican. New York, 2003; *Бокова В.М.* Беспокойный дух времени. Общественная мысль первой трети XIX в. С. 114–122; и многое др.
2. См.: *Покровский А.А.* Состав документального комплекса «Русской Правды» и его археографический анализ // Восстание декабристов. Документы. Т. VII. М., 1958. С. 93.
3. *Пестель П.И.* Русская Правда // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 2. М., 1951. С. 143 (см. этот же фрагмент первой редакции «Русской Правды» в издании: Восстание декабристов. Документы. Т. VII. С. 188). Демократия могла выступать в то время синонимом республики, как это было в «Энциклопедии прав» А.П. Куницына (Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. 1. М., 1951. С. 627).

Далее, Пестель не мыслил свободу в категориях отдельной личности, как это делали Ж. де Сталь и Б. Констан. С его точки зрения, свобода всякого человека зависела от степени его интегрированности в национальное — «русское» — целое. С этим тезисом связаны планы Пестеля по жесткой государственной регламентации почти всех сфер жизни в постреволюционной России. Инструментами унитарной реформы, согласно Пестелю, служила диктатура якобинского образца, которую, впрочем, он трактовал как насилие, призванное утвердить и защитить республиканский порядок от возможных смут, связанных со спецификой переходного периода. В этом отношении, как убедительно показывает Парсамов¹, Пестель действительно держался модели власти, разработанной Робеспьером и его соратниками.

Важная часть политической программы Пестеля касалась языковой и, шире, идеологической унификации². Республика должна быть единой и национальной, не в этническом, но в культурном и административном смысле слова. Однако народность Пестель интерпретировал не в романтическом, а в рационалистическом ключе. Возвращение к древнерусской лексике в системе государственного управления, конечно, напоминало о новгородской республике. Впрочем, история как таковая не служила Пестелю главным ориентиром: республиканское правление следовало основать на разумных принципах и на представлении о единстве человеческой природы. Вне зависимости от своей национальности все граждане республики должны были стать «русскими».

«Проект Конституции» Н.М. Муравьева, редакции которого создавались и редактировались автором на протяжении нескольких лет (с конца 1821 вплоть до осени 1825 г.³), также базировался на идее представительства, однако допускал сохранение наследственной монархии, которой отводилась

1. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. М., 2010. С. 169–173.
2. Подробнее см.: Там же. С. 185–190.
3. *Дружинин Н.М.* Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. С. 138–140.

функция исполнительной власти: «Император есть: Верховный Чиновник Российского Правительства»¹. При этом монарх переставал быть носителем суверенитета и получал свою власть непосредственно от народа: «Источник *Верховной власти* есть народ, которому принадлежит исключительное право делать *основные постановления* для самого себя»². В отличие от Пестеля, Муравьев понимал свободу в либеральном ключе — как индивидуальную безопасность гражданина, которую законам и государству следовало оберегать³. Отсюда его проект не предполагал жесткой регламентации и национального единства. Муравьев иначе видел и государственное устройство — федеративное, а не централизованное — будущей представительной монархии. По словам Парсамова, «свободе личности, вступившей в общество, на государственном уровне соответствует автономность отдельных территориальных образований в составе государства, то есть федерализм»⁴. Иначе, чем Пестель, Муравьев смотрел и на переходный период, следующий за сменой власти. Он отрицал необходимость диктатуры якобинского типа, не предполагал устранения монарха и надеялся сразу же ввести в России конституционное правление.

Случай Муравьева любопытен еще и тем, что его пристрастия менялись, но совершенно не в радикальном направлении. Парсамов отмечает, что Муравьев конца 1810-х гг. (в частности, тогда, когда он критиковал Карамзина-историка и политического мыслителя) — республиканец, отрицающий монархический принцип и считающий якобинские методы «законным сопротивлением социальному гнету»⁵. Между тем после 1821–1822 гг. под влиянием европейских либеральных публицистов Муравьев перешел на иные позиции и начал высказываться в пользу представительной

1. *Дружинин Н.М.* Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. С. 279 («Конституция» цитируется по «пуцинской» редакции текста, восходящей к осени 1824 г.).
2. Там же. С. 268.
3. О влиянии идей Константа на Муравьева см.: Там же. С. 154–155, 165.
4. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. С. 226.
5. Там же. С. 219.

монархии. По предположению Парсамова, здесь мы сталкиваемся со случаем перехода от «римско-республиканского тезауруса» к «государственно-правовому понятийному аппарату, почерпнутому из изучения конституционного опыта всех европейских государств и Соединенных Штатов Америки»¹.

История создания программных документов Пестеля и Муравьева свидетельствовала не столько о приверженности их авторов к определенной политической модели, сколько об интенсивных поисках оптимальной формы народного представительства. Как уже было сказано, Пестель обдумывал проекты, предполагавшие различные системы власти. В каком-то смысле дистанция между представительной монархией и республикой оказывалась не столь уж большой. Суть, напомним, состояла в идее народного суверенитета. Другое дело, что во время следствия над декабристами (мы расскажем об этом ниже) республиканизм оказался жестко привязан к идее царевбийства и вопрос о форме правления обрел первостепенное значение.

Среди членов Северного и Южного обществ не существовало единства в вопросе о том, какую форму правления следует предпочесть. Переговоры между лидерами движения в первой половине 1820-х гг. так и не привели к консенсусу. Как показывают О.В. Эдельман² и В.С. Парсамов³, во время допросов Пестель из тактических соображений был склонен преувеличивать степень убежденности многих собственных соратников в истинности чисто республиканского пути развития. В одной из своих давних, но не потерявших актуальности работ проблему декабристских споров о формах правления интерпретировал В.В. Пугачев⁴. Историк подробно описал один из споров о формах

1. Там же. С. 224. См. также: *Грандей Ж.* Декабристская республика: поиск определения // *Декабристы в Украине: дослідження й матеріали.* Т. 7. Київ, 2012. С. 108–114.
2. *Эдельман О.В.* Следствие по делу декабристов. М., 2010. С. 213–218.
3. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. С. 204.
4. *Пугачев В.В.* Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (от А.Н. Радищева к декабристам). С. 3–174.

правления в России, который произошел в январе 1820 г. на петербургской квартире Ф.Н. Глинки во время заседания коренной думы Союза благоденствия. В своих более поздних показаниях декабристы разошлись во мнениях о результатах совещания. Пестель считал, что он убедил собравшихся в предпочтительности республики, другие участники события отрицали столь явное единодушие. В частности, согласно С.М. Семенову, Ф.Н. Глинка «смело доказывал, что в России, где монархические начала укоренились в понятии русского народа, введение республиканского правления невозможно»¹. Наконец А.Ф. фон Бриген и М.С. Лунин утверждали, что на совещании представительное монархическое правление вообще не противопоставлялось республиканскому.

Анализируя сюжет, Пугачев обратился к истории европейского республиканизма второй половины XVIII — начала XIX в. и, в частности, к классическому республиканизму (не используя сам термин), который не предполагал жесткой градации между формами власти, а настаивал на необходимости реализации республиканских принципов — свободы и общего блага. Историк подробно останавливался на проектах так называемой «республиканской монархии» в трудах Г.Б. де Мабли, Ж. Лафайета и Р.Л. д'Аржансона, базировавшейся прежде всего на идее народного суверенитета. Пугачев не без основания замечал, что в рассматриваемый период понятия «республика» и «республиканизм» не имели четкой референции. Республика могла означать «любое свободное государство», а республиканизм трактовался

1. См.: Пугачев В.В. Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (от А.Н. Радищева к декабристам). С. 150. Близкую мысль в 1824 г. высказывал Рылеев в разговоре с Пестелем в Петербурге (см.: Захаров Н.С. Петербургское совещание декабристов в 1824 г. // Очерки из истории движения декабристов: Сб. ст. / Под ред. Н.М. Дружинина, Б.Е. Сыроечковского. М., 1954. С. 98–99; о колебаниях Рылеева между разными формами правления см.: О'Мара П. К.Ф. Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989. С. 112–125), а также и Н.М. Муравьев (см.: Лебедев Н.М. «Отрасль» Рылеева в Северном обществе // Очерки из истории движения декабристов: Сб. ст. С. 331 (показания Муравьева на следствии, где он описывал перемены, произошедшие в его взглядах в 1821–1822 гг.), 339–340).

«в смысле наличия у человека чувства независимости, ненависти к деспотизму, желания реформ», т.е. имел более нравственное, нежели политическое основание. После Великой французской революции дефиниция понятия изменилась (в смысле исключаящего республиканизма), однако прежнее значение не исчезло. Пугачев показал, что так обстояло дело в немецкой, французской и англо-американской традициях¹. В этом отношении русский контекст не представлял из себя исключения: при реализации принципа народного суверенитета форма правления не служила определяющим фактором. Так, в январе 1820 г. у Глинки Пестель говорил о республике по образцу Соединенных Штатов Америки (т.е. отличной от той, которую он опишет позже в «Русской Правде»), предполагавшей президентскую исполнительную власть, что не вызвало возражений со стороны Н.М. Муравьева. Однако так вопрос решался в теории. На практике же разногласия касались возможности автоматического переноса западных политических моделей в Российскую империю. В этом вопросе единство среди участников совещания у Ф.Н. Глинки отсутствовало².

Другим проблемным для декабристской идеологии пунктом оставалась задача прихода к власти и последующей реализации реформ — путем постепенного воздействия на публичную сферу через просвещение, образование и систему социо-культурных институтов (прессу, театр, кружки, салоны и т.д.) или с помощью вооруженного переворота. Планы физического устранения императора и его семьи возникли уже на самом раннем этапе декабристского движения, однако, по сути, никаких серьезных попыток осуществить эти намерения членами тайных обществ не предпринималось. Так, В.М. Бокова отмечает, что, в сущности, случаев относительно продуманной подготовки цареубийства за всю историю тайных обществ было всего два: так называемый «Московский заговор» 1817 г., который фактически обсуждался в течение одного-единственного дня,

1. *Пугачев В.В.* Из истории русской общественно-политической мысли начала XIX века (от А.Н. Радищева к декабристам). С. 153–161.
2. Там же. С. 163–164.

после чего намерения заговорщиков изменились¹, и подготовка покушения в 1825 г. кружком Рылеева (прежде всего А.И. Якубовичем и П.Г. Каховским)².

Вначале идея цареубийства рассматривалась как яркий театральный жест и законная расправа над тираном. Однако затем на первый план вышла идея вовлечения в дело специальных убийц, которые устранят царскую фамилию, а затем будут осуждены революционным трибуналом. Описанная только что эволюция, на наш взгляд, убедительно истолкована Парсамовым. Рассуждая о первых планах устранения императора в 1816 г. и Лунине как потенциальном исполнителе убийства, исследователь отмечает, что он «мыслит себя героем великой трагедии, в которой ему предстоит сыграть роль тираноборца, а Александру I отводится роль тирана»³. По мысли Парсамова, в этой интерпретации любой монарх оказывался по определению тираном, а «хороший монарх» (каковым в тот момент можно было счесть Александра из-за его конституционалистских пристрастий) превращался в особенного врага свободы, поскольку своими положительными качествами заставлял современников уверовать в позитивный характер императорской власти⁴. Однако через несколько лет намерения Пестеля и его «сочувственников» изменились: театральный жест одиночки-тираноубийцы был отвергнут. Заговорщики перешли к планам спланированной расправы с монархом чужими руками, лишенного героического смысла преступления, которое необходимо совершить ради достижения собственных политических целей⁵. Впрочем, в первой половине 1820-х гг. мысль о необходимости физически уничтожить царя не вызывала в среде членов

1. Подробнее см.: *Мироненко С.В.* «Московский заговор» 1817 г. и проблема формирования декабристской идеологии // *Революционеры и либералы России.* М., 1990. С. 239–250.

2. *Бокова В.М.* От составителя // *Декабристы и их время / Труды ГИМ.* Вып. 88. М., 1995. С. 8–9.

3. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. С. 174.

4. Там же. С. 174–178.

5. Там же. С. 233–234.

тайных обществ всеобщего одобрения. Наоборот, ее разделяло меньшинство заговорщиков.

Повторим, в сфере политической теории мы имеем дело лишь с двумя большими программными документами, выдержанными в республиканской традиции: «Русской Правдой» Пестеля и «Проектом Конституции» Муравьева (с оговоркой, что ряд аналогичных проектов до нас не дошел). От официальных журнальных публикаций «конституционалистского» толка проекты Пестеля и Муравьева отличались фундаментальным признанием необходимости народного суверенитета. С точки зрения практики — хотя тайные общества в России, безусловно, присутствовали (прежде всего в армейской и гвардейской среде), а идея заимствования западных институтов активно обсуждалась декабристами¹ — согласия по этому пункту не наблюдалось. Тот же вывод следует сделать и в отношении методов прихода членов тайных обществ к власти: вне зависимости от того, как трактовать идею цареубийства, далеко не все заговорщики разделяли мысль о необходимости ликвидировать монархию как таковую (скорее речь шла о ее радикальном реформировании и введении народного суверенитета). Возможно ли посмотреть на отечественный республиканизм под иным углом зрения?

Республиканизм как тип повседневного поведения

Наконец представители третьей концепции русского республиканизма — историки В.Л. Каплун, О.В. Хархордин, Н.Д. Потапова² — рассматривают доктрину не только как политическую программу, но и как определенный тип

1. Подробнее см.: *Рогов К.Ю.* Декабристы и «немцы» // Новое литературное обозрение. № 126 (1997). С. 105–126; *Rabow-Edling S.* The Decembrists and the Concept of a Civic Nation // *Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnicity*. Vol. 35 (2007). № 2. P. 369–391; и др.

2. *Каплун В.Л.* Свобода в раннем российском республиканизме: гражданский республиканизм в России и европейская республиканская традиция Нового времени // Что такое республиканская традиция: Сб. статей / Науч. ред. О.В. Хархордин. СПб., 2009. С. 131–152; *Они же.* «Жить Горацием или умереть Катоном»: российская традиция гражданского республиканизма (конец XVIII — первая треть XIX века) //

бытового поведения, ориентированный на образцы античной добродетели. Концептуальные истоки социологической интерпретации декабризма восходят к работам Ю.М. Лотмана. В статье «Декабрист в повседневной жизни» Лотман писал, что члены тайных обществ выделялись в свете: во-первых, они сознательно ориентировались на примеры гражданской добродетели, известные по историографическим и литературным текстам (как древним, так и новым), и, во-вторых, выдвигали на первый план идеал цельной личности, в любой ситуации следующей избранной поведенческой модели¹. Повседневность обладала повышенным уровнем семиотичности: отдельные жесты и слова приобретали особое смысловое значение и порой свидетельствовали о политических воззрениях декабристов больше, нежели собственно программные документы². Лотман так охарактеризовал пристрастие людей эпохи Великой французской революции к античному республиканскому идеалу героического поступка: «...речь шла о римском поведении, о римском чувстве и жесте, а не об экономических

Неприкосновенный запас. 2007. № 5. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2007/55/ka16-pr.html>; Хархордин О.В. Республика. С. 114–124; Потанова Н.Д. Декабристы и республиканская традиция. С. 195.

1. Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 296–336.
2. Так, Каплун пишет: «В случае России гражданский республиканизм этого периода представляет собой не столько теоретическую школу политической мысли или идеологию, сколько гражданскую культуру, проявляющуюся в нормах, правилах, способах мыслить и повседневных практиках „социальных акторов“. ...здесь следует описывать характерные для представителей этой гражданской культуры способы действовать и мыслить в сфере повседневности, а также культурные модели и образцы, на основе которых они осознают и интерпретируют свой собственный опыт как в сфере публичного, так и в сфере частной жизни. Поэтому основными источниками при анализе здесь должны выступать не только и не столько теоретические трактаты, сколько документы различных жанров, отражающие стили мышления и сферу повседневных практик, — мемуары, дневники, письма, литературные, критические тексты» (Каплун В. «Жить Горацием или умереть Катоном» С. 197–219. Электронная версия: <https://magazines.gorky.media/nz/2007/5/zhit-goracziem-ili-umeret-katonom-rossijskaya-tradicziya-grazhdanskogo-respublikanizma.html>. Дата обращения: 22.01.2019).

или политических моделях действительности. Установка на поведение отделяла человека революции от его ближайших предшественников — просветителей XVIII в. Рим для просветителя — пространство идей: просветитель стремится думать как римлянин. Для людей революции это — область поступков: якобинец стремится воспроизвести „римский“ жест»¹.

Как отмечает Каплун (следуя за И. Хонохан), в практике русского республиканизма рубежа XVIII и XIX вв. переплетаются классические темы республиканской теории: 1) гражданская добродетель / доблесть, т.е. нравственная основа республиканизма; 2) гражданская свобода, которая, в частности, выражается в 3) участии граждан в управлении государством; 4) «тема признания другого», т.е. создание глубоких горизонтальных связей в обществе, которые цементируют внутреннее единство, гораздо более прочное, нежели «юридически закрепленная система прав в либеральной демократии»². Кроме того, история — античная³ и национальная — служит основным источником гражданской добродетели и инстанцией, наделяющей повседневное поведение особой легитимацией. Существенно, что героические жесты и поступки, описанные в текстах, легко опознаются и правильно интерпретируются образованной публикой.

Так, по воспоминаниям В.А. Олениной, 6-летний Никита Муравьев отказался танцевать на балу, так как, по его словам, «Аристид и Катон не танцевали». Мальчик согласился присоединиться к танцующим сверстникам лишь

1. *Лотман Ю.М.* В перспективе Французской революции // Тезисы докладов научной конференции «Великая французская революция и пути русского освободительного движения». 15–17 декабря 1989 г. Тарту, 1989. С. 4.
2. *Каплун В.* «Жить Горацием или умереть Катоном».
3. Как отмечает Каплун, особенное внимание русские республиканцы обращали на век Августа, время «утраты гражданской свободы», и поэзию Горация, в которой тот описывал идеал гармоничной гражданской жизни: «просвещенное существование вдали от пустой суеты света, дающее возможность человеку сформировать себя в качестве субъекта действия словом и мыслью на сцене Истории» (Там же).

тогда, когда взрослые убедили его, что античные герои в его возрасте также предавались невинным развлечениям. Муравьев был внимательным читателем «Плутарха для детей», распространенного в ту эпоху адаптированного перевода «Сравнительных жизнеописаний» на французский и русский языки¹. Так книжная культура задавала образец для поведения в свете.

Еще одним важным проводником идей гражданской добродетели служила так называемая «декабристская» политическая поэзия (к этому направлению традиционно относят таких стихотворцев, как К.Ф. Рылеев, Ф.Н. Глинка, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоевский, В.Ф. Раевский, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский и др.). Ключевыми темами гражданской лирики были критика тирании как власти произвола и забвения законов, прославление личной и коллективной свободы и общего блага, настойчивое порицание различных форм рабства, патриотизм, стимулировавший интерес к истории собственной страны (прежде всего к ее республиканским и тираноборческим эпизодам), античная топика, соединявшая настоящее и прошлое России с классическими образцами республиканского поведения². Здесь мы вновь

1. См.: *Капун В.* «Жить Горацием или умереть Катонем». Еще один красноречивый и хрестоматийный пример см. в «Записках» И.Д. Якушкина. Мемуарист рассказывает об эпизоде из своего общения с П.Х. Граббе в 1818 г.: «Пока мы ходили, разговаривая, по комнате, человек Граббе принес его долман и ментик. Я спросил его, куда он собирается в таком облачении. Он отвечал, что ему необходимо явиться к гр. Аракчееву. Между тем мы продолжали ходить, и разговор попал на древних историков. В это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Граббе тоже любил древних. На столе у меня лежала книга, из которой я прочел Граббе несколько писем Брута к Цицерону, в которых первый, решившийся действовать против Октавия, упрекает последнего в малодушии. При этом чтении Граббе видимо воспламенился и сказал своему человеку, что он не поедет со двора, и мы с ним обедали вместе; потом он уже никогда не бывал у Аракчеева, несмотря на то, что до него доходили слухи через приближенных Аракчеева, что граф на него сердится и повторял несколько раз: Граббе этот видно, возгордился, что ко мне не едет» (Записки, статьи, письма декабриста И.Д. Якушкина. С. 20).
2. Литераторам-декабристам посвящено множество научных работ, в частности три тома из серии «Литературное наследство» (том 59-й

сталкиваемся с известным феноменом: политическая программа будущих участников заговора эксплицируется не столько из политико-философских сочинений, сколько из текстов, созданных в «смежных» жанрах. Кроме того, литературная традиция также могла оказывать влияние на замыслы тираноборческих сочинений, причем не меньшее, чем чисто политические соображения¹.

Итак, трансляция республиканской теории требует высокого уровня образованности и соответствующей степени просвещения, поскольку только тексты помогают правильно истолковать героический поступок. Отсюда семиотически нагруженное бытовое поведение подразумевает наличие развитой публичной сферы, которая обеспечивает свободную циркуляцию политических идей и в конечном счете делает тираноборческий модус действия осмысленным. Кроме того, публичный жест, ориентированный на классические республиканские модели, можно по-разному соотносить с темпоральными параметрами человеческой биографии. Понятно, что прежде всего такой жест обращен к современникам. Равным образом очевидно, что история, т.е. прошлое, задает поведенческую матрицу, вне которой смысл того или иного поступка рискует быть потерянным. Однако важно, что бытовое поведение декабристов обращено в будущее, поскольку героическое действие принесет совершившему его индивиду почести в веках. Таким образом,

1954 г. и два выпуска 60-го тома, вышедшие в 1956 г.) и целый ряд специальных сборников материалов и статей (например: Литературное наследие декабристов / Под ред. В.Г. Базанова и В.Э. Вацуро. Л., 1975; и др.). О специфически республиканском субстрате декабристской словесности см.: *Rabow-Edling S. Liberalism in Pre-revolutionary Russia: State, Nation, Empire.* London, 2018. P. 41–52; *Idem.* From Subjects to Citizens: Republicanism, Nationalism and Literary Decembrism // Декабристы в Україні: дослідження й матеріали. Т. 7. Київ, 2012. С. 240–255; *Прийма Ф.Я.* Тема «новгородской свободы» в русской литературе конца XVIII — начала XIX в. // На путях к романтизму. Л., 1984. С. 100–188; и др.

1. См., например: *Китанина Т.А.* Предание о Вадиме Новгородском в политической драме конца XVIII — начала XIX в., или Почему Пушкин так и не написал трагедию «Вадим» // «...Он видит Новгород Великой»: Материалы VII Международной пушкинской конференции «Пушкин и мировая культура». Великий Новгород, 31 мая — 4 июня 2004 г. СПб.; Новгород, 2004. С. 15–20.

здесь мы сталкиваемся с резким усложнением представлений о будущем: теперь речь идет не только о христианском воздаянии за духовные подвиги, но и о земной славе в потомстве. В России культура республиканизма утверждается в царствование Екатерины II, достигает апогея в александровскую эпоху, а после 1825 г. «традиция как целое начинает размываться, а ее отдельные элементы интегрируются другими общественными движениями (либеральными, консервативным, социалистическими)»¹.

Взгляд на историю республиканизма как приверженности определенным принципам, которые находили свое выражение в повседневном поведении, представляется нам чрезвычайно перспективным. Он позволяет соединить разные уровни анализа — историю политических языков, интерпретацию политических доктрин и социологию повседневности в духе Н. Элиаса. Дихотомия «философия»—«бытовое поведение» продуктивно усложняет картину отечественного республиканизма и точнее осмыслить республиканское мировоззрение вне жесткой привязки к формам политической мысли. Несомненно, смещение акцента в сторону повседневных практик открывает новые перспективы в изучении феномена. Однако если мы говорим о российской истории начала XIX в. и республиканизме, понятием как специфическое публичное поведение, то, как кажется, мы сталкиваемся как минимум с двумя серьезными затруднениями.

Первое из препятствий касается попыток очертить границы той группы, которую следует описывать как «республиканцев». Мы можем использовать в данном случае категорию «декабристы», как это делал Лотман. Проблема, впрочем, в том, что по своему составу «декабристы» представляли собой чрезвычайно дифференцированное сообщество, которое объединяло очень разных людей — и по социальному статусу, и по экономическому положению, и по культурному бэкграунду. Так, трудно сказать, все ли

1. *Каплун В.* Свобода в раннем российском республиканизме: гражданский республиканизм в России и европейская республиканская традиция Нового времени. С. 152.

члены тайных обществ были склонны семиотизировать собственное публичное поведение. Как мы можем определить, сколько было в России дворян, чьи бытовые поступки свидетельствовали об их увлечении античными гражданскими добродетелями, неприятия рабства и стремлении к тому, чтобы обрести славу и остаться таким образом в истории? В какой мере «античное» повседневное поведение можно связывать с «республиканизмом»?¹ Разумно ли на основе нескольких мемуарных свидетельств делать вывод о тотальной героизации преддекабристского дворянского быта? Мы убеждены, что теория республиканизма как публичного поведения должна быть дополнена историко-социологическим исследованием тех культурных институтов (салонов, кружков, тайных обществ и пр.), внутри которых это поведение получало свою легитимацию.

Кроме того, концепция гражданского республиканизма необходимо предполагает чрезвычайно развитое состояние публичной сферы, которую В.Л. Каплун справедливо и плодотворно интерпретирует в кантианском ключе: «публичная сфера есть сфера „частных лиц“, т.е. не связанных службой самовластному государю граждан. Республиканизм образованной российской публики этого периода проявляется, когда ее представители мыслят и действуют как „свободные граждане“; находясь же на государственной службе, они вынуждены действовать как подданные самовластного монарха»². Исследователь затем замечает, что «...процесс формирования публичной сферы в России хронологически накладывается на культ античности, широко распространившийся в образованных слоях российского общества, в первую очередь дворянства»³. Отдельная проблема состоит в том, что, как мы сказали выше, «широта»

1. Как справедливо замечает К.Д. Бугров, «...примеры из античной истории легко могли обретать смысл и в абсолютистском контексте, а само по себе восхищение героями Плутарха еще не влекло за собой республиканской политической мысли» (*Бугров К.Д. Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 447–448*).
2. *Каплун В.Л. «Жить Горацием или умереть Катонем».*
3. Там же.

распространения любви к греческой и римской древности в «образованных слоях» дворянства является скорее теоретической конструкцией, нежели выводом, основанным на специальном исследовании. В.Л. Каплун склонен принимать наличие в России артикулированной публичной сферы в качестве аксиоматической посылки собственных разысканий. Между тем, на наш взгляд, этот аргумент сам по себе требует особого доказательства. Формально в России действительно присутствовали многие социокультурные пространства, необходимые для функционирования общественного мнения (в «хабермасовском» смысле слова): пресса, салоны, масонские ложи, театр и пр. Однако совершенно неочевидна высокая степень воздействия подобных институтов на принятие политических решений на местном или государственном уровне (что все-таки необходимо для того, чтобы считать публичную сферу по-настоящему эффективной)¹. Даже если мы примем во внимание концепцию Н. Фрейзер о «сильной» (Х. Арндт) и «слабой» (Хабермас) публичности², то проблема не исчезнет. Так, Фрейзер допускает, что в версии Хабермаса непосредственное влияние общественных дискуссий на государственную политику не является непременным атрибутом публичной

1. К.Д. Бугров пишет: «Публичное пространство дискуссий в России возникло в конце 50-х гг. XVIII в., однако оставалось ограниченным вплоть до начала XX в. Причиной такой ограниченности были не только цензурно-законодательные ограничения или слабое развитие книгоиздания и книготорговли в России соответствующего исторического периода. Определяющим фактором здесь можно считать отсутствие поля для практических дискуссий — коллегиальных, избираемых органов, в которых могла бы протекать полемика, требующая обширных сочинений с тщательно выверенной политической аргументацией» (*Бугров К.Д. Формирование идей республиканизма в российской общественно-политической мысли XVIII века. С. 493*). Однако затем он делает из сказанного, на наш взгляд, ошибочный (во всяком случае применительно к ситуации первой половины XIX в.) вывод: «...поскольку политика вершилась преимущественно при дворе, республиканский язык формировался не в приложении к актуальным политическим проблемам. Пространством его формирования оказалась далекая, казалось бы, от злободневной политики историческая литература» (Там же).
2. *Fraser N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Habermas and the Public Sphere / Ed. by C. Calhoun, Cambridge, 1992. P. 75–77.*

сферы. Дебаты создают особую информационную среду, внутри которой происходит критическое осмысление актуальной системы управления. Впрочем, даже в этом случае российская публичность первой четверти XIX в. едва ли (и в количественном, и в содержательном смысле) сопоставима с аналогичным явлением во Франции XVIII столетия, которое описывал Хабермас¹. Весьма красноречиво об этом свидетельствует то обстоятельство, что главным источником по истории декабристской мысли являются материалы следствия 1826 г., а не программные политические документы или открытая полемика в печати. Более того, в России XIX в. политика в значительной степени регулировалась специфическими нормами придворного общества², а воздействие на власть общественных институтов стало более или менее заметным лишь во второй половине столетия.

Мы рассмотрели три концепции русского республиканизма, однако так и не пришли к выводу, как мы могли бы описать степень его укорененности в русской политической культуре первой четверти XIX в. Выходом из ситуации способно стать обращение к компаративной перспективе, о которой мы писали в начале работы. В качестве образцов для сопоставления мы возьмем историю французского и немецкого республиканизма. Такой выбор мотивирован двумя обстоятельствами: во-первых, особым влиянием, которое общественная мысль германских государств и Франции оказывала на российский политический дискурс в начале XIX в., во-вторых, билингвизмом русской образованной элиты — в первую очередь, разумеется, это касается французского языка. Можно сказать,

1. См.: *Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft.* Neuwied; Berlin, 1962 (рус. перевод: *Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы. Исследования относительно категории буржуазного общества / Пер. В.И. Иванова. М., 2016*). О более широком европейском контексте публичной сферы XVIII в. см.: *Van Horn Melton J. The Rise of the Public in Enlightenment Europe.* Cambridge, 2004.
2. См., например: *Фреде В. Общественное мнение, его облик сверху: Негласный комитет Александра I // Новое литературное обозрение. № 151 (2018). С. 164–185.*

что, описывая историю понятия «республика» во Франции и Германии, мы говорим и о хорошо известных в России политических концепциях.

Сравнительная перспектива: Россия и Западная Европа

Французский республиканизм в первой половине XIX в.

Излишне напоминать, что события Великой французской революции оказали колоссальное влияние на политическую культуру Европы первой половины XIX в. и сформировали то поле значений политических терминов, история которых составляет предмет настоящего исследования¹. Революция не была одномоментной. Речь шла о множестве эпизодов, достаточно длительном историческом процессе, во время которого одна политико-философская концепция с необычайной быстротой сменяла другую: место идеалов конституционного монархизма 1789 г. в 1792 г. занял якобинский республиканизм. Фаза республиканского террора трансформировалась в республиканский, но более аристократический режим Директории. Не линейна и история понятия «республика» в этот период. Так, по подсчетам Р. Монье, наиболее активно французские ораторы и публицисты использовали это понятие в 1792–1795 гг.² Существенно, что во время революции радикально обновился содержательный репертуар республиканизма — прежние смыслы никуда не исчезли, между тем возникли новые значения ключевых терминов республиканской теории. Более того, политический лексикон воспринимался современниками на фоне бурных институциональных преобразований. Таким образом, каждый из понятийных оттенков «республики» оказался связан с конкретными событиями революционной поры: реформами 1789 г., террором,

1. История французского республиканизма первой половины XIX в. изучена основательно. См. ключевой для нашей работы текст: *Monnier R. République, Republicanisme, Républicain // Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680–1820. Н. 21. Oldenburg, 2017. Р. 50–168 (144–262);* в издании принята двойная нумерация страниц.

2. *Ibid.* Р. 54 (148).

деятельностью Директории, консулатом или правлением Наполеона-императора. Репутация республики как понятия и как политической практики шли рука об руку.

В 1789 г. «республика» вовсе не была одним из наиболее частотных концептов революционного словаря. Республиканизм понимался в эту эпоху весьма умеренно — прежде всего как критика королевских прерогатив (и наследственной монархии в целом) и защита принципов и свобод, сформулированных в «Декларации прав человека и гражданина». В 1790 г. монархизм Старого порядка интерпретировался в категориях «разложения», «коррупции» и «тирании», которым противопоставлялась идея национального суверенитета, защищенного законом. Монье показывает, как два значения «республики» — классическое и исключаящее — были знакомы революционным деятелям с самого начала волнений: «республиканцы» могли как защищать представительную монархию, так и отрицать ее, предпочитая чисто республиканскую форму правления. Во время первой фазы революции сторонники представительства, выступавшие за ограничение королевской власти, но не за полное ее исчезновение, доминировали¹.

Период с 1789 по 1791 г. оценивался участниками и свидетелями революции как «масштабный эксперимент в истории Западной Европы, в ходе которого собрание, занимавшееся разработкой конституции... претворило в жизнь теорию естественного права»². Результатом его деятельности стала конституция 1791 г., которая соответствовала положениям «Декларации прав человека и гражданина», удовлетворяла требованию разделения властей и представительства. Парадоксальным образом, само слово «республика» использовалось тогда по-прежнему редко. В политической практике 1789–1791 гг. «республиканизм» служил синонимом радикальных настроений и, как следствие, мятежа против действовавшего конституционного

1. Ibid. P. 62 (156)–64 (158).

2. Mager W. Republik // Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland / O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.). Vol. 5. Stuttgart, 1984. S. 596.

порядка — представительной монархии. Во время полемик о типах представительства понятие обладало двумя ключевыми значениями: «республика» а) как любое свободное государство вне зависимости от формы правления или б) как сугубо республиканская форма правления¹.

20 июня 1791 г. король Франции бежал в Варенн. Это событие символизировало, по мысли Монье, «первый республиканский момент» во французской истории. Именно в это время среди революционных деятелей возникает мысль о введении в государстве республиканского правления. Так республиканизм из партийной идеологии превращается в политическое убеждение, объединявшее представителей самых разных сил в их стремлении противостоять принципам Старого порядка. Публичное пространство наполняется призывами к введению республиканского строя, высказанными в форме петиций, адресов Национальному собранию или в парламентских речах².

После 10 августа 1792 г. слово «республика» становится одним из самых важных элементов политического словаря и дает импульс к институциональным преобразованиям. С этого момента Францию начинают повсеместно называть республикой, что на символическом уровне помимо прочего означает тотальный разрыв со Старым порядком. На заседании Национального Конвента 22 сентября Ж.Н. Бийо-Варенн предлагает называть текущий год не четвертым годом свободы, а первым годом существования Французской республики. Три дня спустя было официально объявлено о провозглашении республики: «Национальный Конвент объявляет, что Французская республика едина и неделима»³.

Вместе с изменением типа правления во Франции меняется и семантика самого понятия «республика»: оно

1. Кроме того, в середине 1791 г. среди революционеров (в частности, жирондистов) популярность получила идея нового федеративного государства по американскому образцу, предполагавшая децентрализацию и вовлечение в революцию как можно большего числа людей.
2. *Monnier R.* République, Republicanisme, Républicain. P. 82 (176)–85 (179).
3. *Mager W.* Republik. S. 597.

окончательно отделяется от принадлежности к одной из революционных партий и обретает позитивные характеристики, связанные с ценностями классических республик — свободой, патриотизмом и политическим равенством. В контексте политической мобилизации осени 1792 г. перспектива республиканской конституции формирует новый образ французского народа — носителя республиканских идеалов, стремящегося обрести права и установить режим социальной справедливости. Республика, по мнению Монье, оставаясь утопией, обращенной в будущее, тем не менее принимает конкретные очертания — получает воплощение в ценностях, политических институтах и территории, которую следует защищать от врагов¹.

Более того, «республика» зачастую оказывается синонимом «отечества» как такового, особенно во время публичных праздников и чествования национальных героев. Патриотизм, нравственная приверженность революционным идеалам и республиканская гордость становятся характерными чертами нового образа республиканца, которого отличала забота об общем благе, любовь к отечеству и ненависть к тиранам в античном духе. Войны, которые вела революционная Франция в 1793–1794 гг., заставляли лидеров Конвента максимально мобилизовать население. В ситуации острого внешнеполитического кризиса усиливаются меры по борьбе с врагами республики и унификации, базирующейся на насилии.

Необходимость все время поддерживать градус нравственного возбуждения (даже тогда, когда Франция к концу 1793 г. начала побеждать своих противников) привела к очередной семантической трансформации «республики». Она начала ассоциироваться не с утопическим горизонтом будущего, а с перманентной активизацией политических усилий, призванных стабилизировать государственный порядок за счет патриотической и республиканской мобилизации. В этот момент исключая республиканизм

1. *Monnier R. République, Republicanisme, Republicain. P. 106 (200)–109 (203).*

окончательно утвердился во Франции в качестве единственной формы республиканской идеологии¹.

Директория осознанно дистанцировалась от предыдущего режима — от практики непрерывной политической эскалации, управляемой централизованной экономикой и символики санкюлотов. На идеологическом уровне в 1795 г. Франция вернулась к словам и символам 1789 г., к представительной, а не демократической республике. Новая конституция 23 сентября 1795 г. ввела более строгую систему цензов и установила тем самым «правление лучших». В этот период республиканцы (в частности, Ф.Н. «Графх» Бабеф) стали объектами пристального внимания полиции. Их начали называть термином «*exclusifs*» — «бескомпромиссными» сторонниками радикального равенства, невозможного в современных республиках. Неизбежно в новой ситуации понятие «республика» потеряло свою прежнюю значимость. От семантического единства 1793–1794 гг. не осталось и следа: умеренные или «настоящие» республиканцы теперь соперничали с «ультрареспубликанцами», «полуреспубликанцами», «импровизированными республиканцами» и «республиканцами-демократами», близкими к анархистам. «Республику» предстояло учредить заново и сделать ее далекой как от классических образцов прямой демократии, так и от республиканского эгалитаризма 1793 г., найти «*juste milieu*» (о чем мы говорили выше в связи с французским либерализмом Константа и мадам де Сталь)².

Приход Наполеона к власти означает конец Первой республики, и само это понятие мало-помалу перестает употребляться для наименования существующего строя, хотя связь республиканского периода с имперским, по-видимому, никогда не исчезала. В законодательных актах слово «республика» в последний раз появляется в апреле 1806 г., а затем в декрете от 22 октября 1808 г., который предписывает с 1 января 1809 г. заменить на монетах «Французскую республику» на «Французскую империю»³.

1. *Monnier R.* République, Republicanisme, Républicain. P. 138 (232)–142 (236).

2. *Ibid.* P. 152 (246)–162 (256).

3. *Mager W.* Republik. S. 597.

Основная проблема, которую поставила перед исследователями история французской революции, состоит в следующем: как «дискурс политической воли», «язык оппозиции»¹ королевскому правлению и системе социальных и экономических привилегий и республиканизм конституционно-монархического толка 1789–1792 гг. сменились идеологией республиканского террора в период якобинской диктатуры? По мнению К.М. Бейкера, главный конфликт французского республиканизма заключался в противоречии, заложенном внутри системы политической репрезентации. С одной стороны, национальный суверенитет сосредотачивался (через выборы представителей) в законодательном органе власти. С другой — источником суверенитета оставалась «единая и неделимая воля народа», намного превосходящая по своему значению мнение большинства в национальном собрании. В результате любое действие парламента можно было оспорить на основе его несоответствия народным чаяниям². Именно этим аргументом воспользовались М. Робеспьер, Л.А. Сен-Жюст и другие якобинские вожди, критикуя волю представительного органа власти и оправдывая террор необходимостью национальной консолидации ради сохранения республики в кризисное время. Согласно Бейкеру, Робеспьер рассматривал гражданские добродетели как имманентные свойства человеческой природы, присущие ему с рождения. Как следствие, борьба с противниками революции, как казалось Робеспьеру, велась во имя добра и против зла как таковых. Республиканизм античного образца, интерпретированный в этих терминах, требовал самых крайних мер: республика перестала обозначать одну из форм правления и стала ассоциироваться с идеальным политическим порядком в масштабах всего человечества³. Бейкер отмечает, что якобинский террор стремился осуществить

1. Термины К.М. Бейкера: *Baker K.M. Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth-Century France // The Journal of Modern History. Vol. 73. No. 1 (March 2001). P. 36.*
2. *Ibid.* P. 46.
3. *Ibid.* P. 48–52.

утопический проект, направленный на максимально возможное утверждение античного республиканизма во французском обществе конца XVIII в. В дальнейшем общая мысль политических теоретиков будет развиваться в ином направлении — в обосновании радикального отличия свободы «древних» от свободы «новых»¹.

Как мы сказали выше, с начала XIX в. отдельные республиканские принципы (уже не якобинского образца) стали элементами либеральной доктрины, прекрасно адаптировавшейся в рамках представительной монархии². Различия между республиканцами и либералами в период Реставрации и позже были зачастую весьма размытыми. Более того, до Июльской революции 1830 г. во французской политике «республиканцы» как активная, независимая группа фактически отсутствовали. Одна часть республиканцев времен Июльской монархии в эпоху Реставрации были либералами, другая вообще питала бонапартистские пристрастия. Во время Ста дней многие республиканцы и либералы (в частности, Констан) примкнули к Наполеону, тем самым затруднив прямую политическую идентификацию новых движений с республиканским прошлым. После финального поражения Бонапарта возвращение к республике и империи оказалось невозможным. Наследие 1789 г. (свобода, равенство и братство, антиклерикализм и патриотизм, культ гражданских добродетелей и идея народного суверенитета) перестало принадлежать исключительно республиканцам. Например, «доктринеры» или «конституционалисты» (такие, как Ф. Гизо и П.П. Руайе-Коллар) сосредоточились на защите легальных электоральных принципов, легших в основу хартии 1814 г., и свободы прессы³. Либеральные политики прямо ассоциировали себя с принципами представительной монархии 1789 г. и защищали «третий путь»,

1. *Baker K.M.* Transformations of Classical Republicanism in Eighteenth-Century France. P. 53.

2. *Pilbeam P.M.* Republicanism in Nineteenth-Century France, 1814–1871. London, 1995. P. 13. См. также: *Nicolet C.* L'idée républicaine en France (1789–1924). Paris, 1982.

3. О политической деятельности Гизо см.: *Rosanvallon P.* Le moment Guizot. Paris, 1985.

отличая его как от абсолютистской монархии, так и от революционной республики¹.

Какие формы республиканизм принимал в эпоху Реставрации? Отчетливо республиканская пресса возникает лишь к концу периода (например, в 1829 г. начали выходить два издания с республиканской программой: «Молодая Франция» А. Марра и «Трибуна департаментов» братьев Фабр). Кроме того, республиканские убеждения разделяли члены некоторых тайных обществ, подобных «Единству» Ж. Рея, в мае 1816 г. попытавшемуся захватить Лион и установить там республику. Впрочем, не все тайные общества стремились к вооруженному восстанию. Многие французские карбонарии (по большей части молодые дворяне) желали не свергнуть, но усовершенствовать монархию через пропаганду патриотизма и / или национализма, бонапартизма и республиканизма, понимаемого, впрочем, весьма обобщенным образом².

Начало собственно республиканского движения во Франции датируется первыми годами Июльской монархии. По мнению П.М. Пилбим, кристаллизации и радикализации республиканизма способствовали три обстоятельства: недовольство многих либералов итогами революции 1830 г., экономические проблемы и неспособность нового режима решить их, а также эффект длительных экономических и социальных изменений, в частности растущей индустриализации, создавших предпосылки для развития социалистических учений. Пространством, в наибольшей степени захваченным новыми республиканскими настроениями, оказались общества и клубы (например, «Друзья народа» или «Права человека»), проповедовавшие патриотизм, свободу печати и всеобщее образование. Деятельность клубов поддерживалась прессой, в частности изданием Э. Кабе «Populaire», агитировавшим скорее не за политические, а за социальные реформы. В 1833 г. возникло общество «Ассоциация за свободное и бесплатное образование народа», секретарем которого стал Кабе, а вице-президентом — Ф. Араго.

1. *Pilbeam P.M. Republicanism in Nineteenth-Century France.* P. 47–64.

2. *Ibid.* P. 74–82.

Общество прямо называло себя республиканским. В число республиканских политиков и публицистов в этот период входят депутаты, писатели, журналисты (Г. Кавеньяк, О. Бланки, Ф. Бюшез, Ф.В. Распай, Кабе, Лафайет, Марра, А. Каррель и др.). По социальному составу новые клубы не были чисто дворянскими, а включали в себя представителей третьего сословия¹.

В политическом смысле республиканцы держались принципов 1789 г. Так, Кабе высказывался в пользу правления, основанного на народном суверенитете, при котором законы и конституция утверждаются непосредственно населением Франции. Конституция должна была служить гарантией личных свобод граждан, равенства и защищать права собственности. Кабе выступал за свободу вероисповедания, собраний, прессы, требовал ограничения монополий и свободы экономической деятельности. Равенство необходимо было обеспечить с помощью бесплатного образования и медицинской помощи бедным. Национальное собрание составляло бы основу политического правления, депутаты получали бы жалованье, а исполнительная власть назначалась бы на ограниченный период времени. В число прочих требований Кабе входили независимость судов и избираемость офицеров солдатами. Эту программу разделяли почти все французские республиканские политики 1830-х гг. Впрочем, исключения также имели место. На многих республиканцев 1830-х гг. большое влияние оказали труды профессионального революционера Ф. Буонаротти, который обосновывал прежде всего важность якобинской диктатуры как демократической и подлинно эгалитарной формы правления².

Республиканское движение оказалось ослаблено в середине 1830-х гг. в связи с репрессиями, направленными на подавление возникавших городских восстаний. Если волнения в Лионе в ноябре 1831 г., строго говоря, почти не имели республиканского подтекста, то восстание в Париже лета 1832 г., возникшее из-за распространявшейся холеры,

1. *Pilbeam P.M.* Republicanism in Nineteenth-Century France. P. 95–103.

2. *Ibid.* P. 106–109.

среди организаторов числило многих республиканцев¹. Гонения начались весной 1834 г. и продолжились после попытки Ж. Фиски убить Луи Филиппа в июле 1835 г. Кавеньяк и Кабе бежали в Англию, а многие республиканские газеты подпали под запрет².

Как констатирует Пилбим, французский республиканизм 1830-х гг. оставался весьма противоречивым явлением. Среди сторонников республиканской формы правления не было согласия ни относительно характера республиканских институтов, ни относительно того, как именно следовало основать республику. Так или иначе, основной целью республиканцев оставалась парламентская реформа, т.е. снижение имущественного ценза. Кроме того, зачастую республиканцы больше внимания уделяли не политическим, а социальным (опека бедных, образование и филантропия) и экономическим (создание обществ взаимопомощи и апология реформ налогообложения) вопросам³.

В 1835–1848 гг. основные оппозиционные течения во французской политике составили революционеры, реформисты и социалисты. Многие республиканцы стали социалистами и призывали учредить социалистическую республику насильственным путем. Классическим примером республиканца-социалиста был Бланки. В начале 1830-х гг. республиканизм Бланки состоял прежде всего в отстаивании социальных гарантий для бедного населения, всеобщего избирательного права и равенства, которое Бланки не связывал напрямую с якобинской фазой Великой французской революции. По сути, социальные конфликты и классовая борьба занимали его куда больше республиканских добродетелей, а республика служила не целью, но средством для решения социально-политических задач. Сам термин «республиканцы» использовался нечасто:

1. О республиканцах в городских восстаниях середины 1830-х гг. см., например: *Bezucha R. J.* The Lyon Uprising of 1834. Social and Political Conflict in the Early July Monarchy. Cambridge (Mass.), 1974. P. 73–95. См. также: *Робер В.* Время банкетов. Политика и символика одного поколения (1818–1848) / Пер. с фр. В.А. Мильчиной. М., 2019. С. 311–322.
2. *Pilbeam P.M.* Republicanism in Nineteenth-Century France. P. 118–119.
3. *Ibid.* P. 127.

наиболее крайних сторонников республиканской формы правления называли «радикалами» (например, А.О. Ледрю-Роллена, Л. Блана, Араго, И. Карно, выступавших за всеобщее избирательное право, реформы социального законодательства и прогрессивную шкалу налогообложения)¹.

Из сказанного следует, что: а) французы получили значимый и травматичный опыт построения республиканской системы во время революции; б) во французской политической культуре первой трети XIX в. фиксируется значительное число текстов, созданных в республиканской традиции, контуры которой, впрочем, оставались весьма неопределенными; в) как минимум до 1830 г. (а местами и позже) республиканский язык активно взаимодействовал с либеральным, в частности при обсуждении идей национального представительства; г) после 1830 г. во Франции возникло автономное и относительно массовое республиканское движение, отличное от прочих форм партийной самоорганизации, хотя и тяготевшее к социализму и другим видам радикального сопротивления; д) французские республиканцы опирались на разветвленную систему публичных пространств социальной коммуникации, в которых происходила политическая полемика.

Немецкий республианизм в первой половине XIX в.

Начиная с 1792 г. понятие «республика» в его якобинской интерпретации находит широкое распространение в Германии, особенно на левом берегу Рейна, в землях, которые находились в зоне французского влияния. Сторонники демократической республики именовали себя «патриотами», политические же противники называли их «якобинцами», а впоследствии «республиканцами». Распространение «республиканских» настроений привело к формированию на этой территории дочерней республики с центром в Майнце².

Кампания по присоединению Майнца к французской республике сопровождалась активной публицистической

1. *Pilbeam P.M.* Republicanism in Nineteenth-Century France. P. 129–151.

2. *Mager W.* Republik. S. 598.

пропагандой конституционных принципов: в клубах якобинцев, при публикации брошюр, составленных из речей членов клуба, в котором преобладали университетские преподаватели, ученые, сторонники теории естественного права и т.д. Одним из самых ярких ораторов был медик Г. Ведекинд, который указывал на несостоятельность монархии как формы правления, заявлял о необходимости создания конституции и призывал следовать примеру французов. Лучшей формой устройства он считал демократию, которую также обозначал как «свободное государство» (*Freistaat*), основанное на разделении властей и принципе представительства. По словам А. Люкса, делегированного от Рейнско-Немецкого Конвента в Национальный Конвент во Франции, истинной республике свойственна любовь к порядку, и «друзья порядка — это и есть настоящие республиканцы... Быть республиканцем означает быть честным, порядочным, справедливым человеком. Республика и царство справедливости суть одно и то же» (из статьи «Как гласит мнение парижан» 1793 г.)¹.

В 1797 г. на западном берегу Рейна сформировалась дочерняя республика, которая, согласно Кампо-Формийскому миру, была подчинена Франции, хотя рейнские республиканцы ратовали скорее за создание независимой республики. Впрочем, их протест был направлен не против объединения с Францией, а против реставрации старой власти. Объявившие о своей независимости города образовали Цизрейнскую республику, которая, однако, так никогда и не оформилась в отдельное государство. В рамках этих неопределенных образований возникали так называемые «народные сообщества» или «конституционные кружки». По сути они представляли собой прообраз политических партий².

Центральным понятием в речах и призывах рейнских радикалов стал «республиканизм» — выражение, не игравшее почти никакой роли в прокламациях якобинцев Майнца. Республиканизм противопоставлялся монархизму,

1. Ibid. S. 600–602.

2. Ibid. S. 603–604.

причем сам суффикс -изм указывал на то, что речь идет о республиканском и монархическом принципах. На левом берегу Рейна между 1792 и 1799 гг. сторонникам «республики» удалось хотя бы отчасти воплотить в жизнь свои политические идеи (причем опирались они на «республику», интерпретированную в жирондистском, термидорианском, реже радикал-демократическом ключе). Патриотам же южногерманских земель и империи Габсбургов приходилось в конце XVIII в. держаться в тени¹.

Основополагающее значение для интерпретации в Германии понятия «республика» имела политическая философия И. Канта, которая во многом основывалась на размышлениях о монархии аббата Э.Ж. Сийеса. Для последнего противопоставление представительного и аристократического порядка было куда важнее, нежели оппозиция монархии и республики. Легитимной в этой перспективе будет такая конституция, где правительство основывается на представительстве. Отсюда вытекало новое определение «республики», которая ассоциировалась только с законным политическим устройством, а назвать «республикой» можно было лишь правительство, основанное на представительстве.

Именно отсюда берут начало размышления Канта о «республике» и «республиканизме». Поначалу Кант избегал понятия «республика», равно как его производных, и для выражения идеи разумного социально-политического порядка использовал выражение «общность» (*gemeines Wesen*²). «Общность» первоначально проистекала из «общей воли» всех граждан. Когда Кант писал в «Метафизике нравов» (1797) о «государственном устройстве» или «гражданской конституции в каждом государстве», центральное значение он придавал разделению властей как фундаменту правопорядка. Кант основывал политическую власть на общей воле суверенного народа, закрепленной в законе и воплощенной в депутатах и должностных

1. *Mager W. Republik*. S. 604–605.

2. См., например, сочинение Канта «О поговорке „Может быть, это верно в теории, но не годится для практики“» (1793).

лицах (именно такое сообщество он и называл «государством», «общей волей» или «республикой»). Наибольшие шансы осуществить постепенный переход от деспотической формы власти к республике Кант приписывал абсолютной монархии. Суверен мог воспринимать свою власть как должность «в духе системы представительства, в духе Фридриха Великого», «всего лишь высшего служащего в государстве», как писал Кант в трактате «О вечном мире». В домартовский период (1815–1848 гг.) кантовская концепция существенным образом повлияла на развитие немецкой политической мысли¹.

В домартовскую эпоху «республика» сохранила три основных значения, восходивших к узусу XVIII в. *Во-первых*, как принцип, противопоставленный «монархии» и «аристократии» (этот смысл становился с течением времени все менее и менее актуальным). *Во-вторых*, как «республика», в которой конституция позволяла установить «общность», препятствовавшую деспотии и анархии. В первой половине XIX в. такое понимание принадлежало скорее ученому языку и имело целью легитимировать конституционную монархию как по-настоящему свободное государственное устройство. Многие либералы домартовского периода разделяли убеждение Канта, согласно которому абсолютная монархия, управляемая в республиканском духе, сама способна проложить путь конституционализму. В *третьем* же значении, распространившемся в период, последовавший за американской и французской революциями, республика уподоблялась чисто демократической форме правления. Странники «демократического» подхода к республике ратовали за предоставление самим гражданам законодательной функции и контроля за системой государственного управления, за максимально возможное распространение принципа выборности. Таким образом, конституционная монархия здесь исключалась: для осуществления демократической программы годилась только демократическая республика².

1. Mager W. Republik. S. 609–610.

2. Ibid. S. 618–620.

По наблюдениям немецких историков, именно *второе* значение республики доминировало в германских государствах в первой половине XIX в. Вслед за Р. Фирхаусом мы могли бы назвать его своеобразным «республиканизмом без республики»¹. Реформы Г.Ф.К. фон Штейна в Пруссии были направлены на развитие в обществе представлений об «общем благе» (главным образом за счет патриотического воспитания и стимулирования местного самоуправления). Так, республиканизм обозначал прежде всего готовность участвовать в *res publica*. Двигателем республиканизма в этом случае оказывалась сама монархическая власть, обеспечивавшая «свободу»² и поощрявшая патриотизм как дискурс, способный связать воедино короля, административный аппарат и самих подданных³.

Идея «республиканизма без республики» получала мощную легитимацию в националистическом аргументе. Основным критерием при выборе формы правления, максимально соответствующей «духу» коллективного действия, считалась историческая традиция, а не рациональные доводы о преимуществах той или иной системы власти. В контексте развития идей германской исключительности тезис о введении республики в Пруссии и других землях не пользовался популярностью. «Исконная» форма «немецкого» правления — это патерналистская монархия с сильной армией и разветвленным бюрократическим аппаратом. Политическая дискуссия все чаще сосредотачивалась на перспективах институционального редизайна

1. *Vierhaus R.* «Wir nennen's Gemeinsinn» (We Call It Public Spirit): Republic and Republicanism in the German Political Discussion of the Nineteenth Century // *Republicanism and Liberalism in America and the German State. 1750–1850* / Ed. by J. Heideking and J.A. Henretta with the assistance of Peter Becker. Washington; Cambridge, 2004. P. 22.
2. Об этом см.: *Bödeker H.U.* The Concept of the Republic in Eighteenth-Century Germany // *Republicanism and Liberalism in America and the German State. 1750–1850* / Ed. by J. Heideking and J.A. Henretta with the assistance of Peter Becker. Washington; Cambridge, 2004. P. 36–38, 45–46.
3. См. также феномен «бюрократического патриотизма» в Австрии: *Klueting H.* «Bürokratischer Patriotismus»: Aspekte des Patriotentums im thesesianisch-josephinischen Österreich // *Aufklärung* / G. Birtsch (Hrsg.). Hamburg, 1991. S. 37–52.

монархии¹ в «либеральном» смысле, с помощью развития представительных органов власти. Как отмечает Х.У. Бедер, в германских государствах в начале XIX в. возник «конституциональный патриотизм», который отличался от «официальной» «любви к отечеству», поскольку не мог довольствоваться идеей реализации свобод и гражданских прав при абсолютной монархии, лишенной парламентских институтов и правового контроля за властью².

Либералы в Пруссии также не были единым целым, разделившись на два крыла: умеренных, выступавших за цензурную систему представительства, и радикалов, ратовавших за всеобщее избирательное право³. Существенно, что радикализм был направлен не только на политическое, но и на социальное реформирование, в частности право голосования для рабочих. С начала 1830-х гг. понятие «республика» все чаще начинало наполняться социально-реформистским содержанием. Демократическая республика противопоставлялась абсолютной и ограниченной монархиям, а также аристократической республике как единственно возможная форма свободного государства. Соответственно, правом определять границы этой свободы и разрабатывать законы должен обладать не только привилегированный класс, но и все остальные граждане. Отчетливое социал-демократическое звучание демократическая республика приобретает в работах таких публицистов, как Т. Шустер, А. Руге, Ю. Фребель и др. Процесс «социальной» интерпретации «республики» достиг кульминации в рамках социально-коммунистического движения «Союз справедливых», программу которого сформулировал В. Вайтлинг в своем журнале «Человечество, как оно есть и каким ему надлежит быть». Центральным пунктом для членов «Союза» служила общность имущества как необходимое условие по-настоящему свободной республики. Существенно, что полемика внутри либерально-республиканской традиции,

1. *Vierhaus R.* «Wir nennen's Gemeinsinn» (We Call It Public Spirit). P. 24–29.
2. *Bödeker H.U.* The Concept of the Republic in Eighteenth-Century Germany. P. 50–52.
3. *Vierhaus R.* «Wir nennen's Gemeinsinn» (We Call It Public Spirit). P. 27.

соперничество либералов с консерваторами или публицистическая активность радикалов сопровождалась интенсивными кампаниями в прессе, обсуждениями в кружках и салонах, дебатами в органах местного самоуправления и на специально созванных собраниях¹.

Таким образом, мы можем выделить следующие ингредиенты немецкого республиканизма первой половины XIX в.: а) собственный, хотя и маргинальный в общегерманском масштабе, опыт республиканского правления; б) большое количество программных текстов о республиканизме; в) плюрализм мнений в отношении того, чем является республика; впрочем, самой популярной оставалась идея о том, что республиканские идеалы лучше всего реализуются при конституционной монархии; г) большое количество элементов публичной сферы, в которой происходило дебатирование политических вопросов; д) после 1830 г. республиканизм начал стремительно смешиваться с социалистическими учениями.

Мы можем констатировать, что история немецкого республиканизма первой половины XIX в., со всеми оговорками, похожа на процесс эволюции республиканских идей во Франции: и здесь, и там внимание политических теоретиков и активистов сосредоточилось на принципах представительного правления. Весьма значимое отличие заключалось в том, что во Франции с 1814 г. действовала парламентская ветвь власти, введение которой в Германии произошло лишь в 1848 г. В немецких государствах (прежде всего в Пруссии и империи Габсбургов) идеи национального суверенитета интерпретировались самой властью в сугубо монархическом ключе: именно монархия, не предполагавшая народного суверенитета, служила образцом исторически укорененной формы правления. В течение всего XIX столетия исполнительная власть в Германии доминировала над законодательной, что, как считает Фирхаус, не слишком мешало циркуляции республиканского духа в публичной сфере, однако затрудняло чисто

1. *Mager W. Republik. S. 629–632.*

институциональное развитие демократического образца¹. Этой чертой немецкий контекст отличался от французского и сходил, наоборот, с ситуацией в Российской империи.

История британского республиканизма первой половины XIX в. отчасти развивалась в сходном ключе. Например, во второй четверти столетия в Англии (стране с богатой республиканской традицией) быстро набирало обороты республиканское движение, интерпретированное как борьба за социальное равенство². Наиболее отчетливым образом эгалитаристская тенденция, для которой несомненным значением обладал опыт якобинской диктатуры³, выразилась в деятельности так называемых чартистов (Дж. Дж. Харни, Ч. Бредлаф и др.)⁴. Как и в континентальных странах, английский республиканизм поддерживался целой серией институтов публичного пространства, внутри которых артикулировалась политическая теория (ассоциаций, клубов, периодических изданий и пр.). Нельзя сказать, что республиканизм как идеология занимал лидирующее положение в британской общественной мысли XIX в., но свое влияние он, несомненно, оказал — в частности, благодаря известной нам по французскому и немецкому примерам имплантации отдельных элементов республиканской доктрины в социалистические учения.

Наконец, в заключение этого раздела отметим, что южноамериканский опыт республиканизма также скорее отличался от российского. Политическое сопротивление на этом континенте, последовавшее за династической сменой в Испании и приходом к власти Жозефа Бонапарта, после

1. *Vierhaus R.* «Wir nennen's Gemeinsinn» (We Call It Public Spirit). P. 32.
2. Подробнее см.: *Gossman N. J.* Republicanism in Nineteenth Century England // *International Review of Social History*. Vol. 7 (1962). No. 1. P. 47–60.
3. Вообще влияние Великой французской революции на развитие английского республиканизма, критиковавшего идею смешанного монархического правления в Британии, было существенным, см.: *Whatmore R.* 'A gigantic manliness': Paine's republicanism in the 1790s // *Economy, Polity and Society* / Ed. by S. Collini, R. Whatmore and B. Young. Cambridge, 2000. P. 135–157.
4. Подробнее см.: *The Chartist Experience. Studies in Working-Class Radicalism and Culture, 1830–1860* / Ed. by J. Epstein and D. Thompson. London, 1982.

1810 г. привело к созданию большого числа независимых государств с республиканской формой правления, ставшему итогом целой серии войн между сторонниками новой и старой (испанской, монархической) власти. По мнению исследователей, южноамериканский республиканизм обладал качествами, позволяющими говорить о нем как о хорошо развитой политической практике: в местных языках важное место занимала разработанная республиканская идиома, постепенно формировались институты публичной сферы, широкое распространение имел культ античных гражданских добродетелей и патриотизм как любовь к республике¹. Мы сталкиваемся здесь с совершенно другим уровнем институционализации республиканизма, чем в Российской империи. Движение декабристов, вероятно, продуктивнее сопоставлять с южноевропейским опытом конспирации и вооруженного сопротивления монархической власти (Испания, итальянские государства, Греция)². Борьба носила здесь зачастую ожесточенный характер, но в итоге заговорщики потерпели поражение, а их действия не привели к появлению автономной политико-философской и политико-языковой традиции, по крайней мере в первой половине XIX в. (после 1848 г. ситуация меняется).

Итоги сравнения

Сопоставление французской и немецкой республиканской традиции с российской позволяет лучше уяснить специфику отечественного республиканизма. Начнем со сходств.

1. См., например: *Энтин Г.* Концепция республики в испаноязычном мире: от католической монархии до революции в Рио де ла Плата // Современная республиканская теория свободы: коллект. моногр. / Науч. ред. Е. Рошин. Пер. с англ. К. Федоровой. СПб., 2015. С. 251–292. Как отмечает Энтин, уязвимым местом южноамериканского республиканизма этого периода было отсутствие внятной политико-философской повестки и конституционной доктрины (Там же. С. 283).
2. Опыт компаративного исследования истории тайных обществ в России в контексте юноевропейского республиканского движения см., например: *Stites R.* The Four Horsemen. Riding to Liberty in Post-Napoleonic Europe. Oxford, 2014. См. также: *Rabow-Edling S.* The Decembrists Movement and the Spanish Constitution of 1812 // *Historia Constitucional.* № 13 (2012). P. 143–161.

И в России, и в Европе семантический репертуар «республики» в рассматриваемый период был чрезвычайно широким: термин принимал самые разные значения и служил элементом многих политических доктрин. Русские образованные дворяне читали те же книги, что и представители европейской политической элиты. И в России, и во Франции, и в Германии центральное место в дискуссиях о республике отводилось представительному правлению.

Различия более многочисленны. *Во-первых*, можно констатировать, что в России так и не сложилось своей оригинальной республиканской традиции в форме набора влиятельных политических текстов, имевших широкое хождение. Этот вывод станет еще более очевидным, если мы сравним количество республиканских политических трактатов с сочинениями, созданными внутри славянофильской и западнической традиций, и тем более — с всемирно известными примерами отечественной интерпретации социализма и анархизма.

Во-вторых, сопоставление с европейским контекстом укрепило сомнения в разработанности российской публичной сферы. В столицах и тем более в провинции отсутствовали пространства социального общения, имевшие подчеркнуто республиканский характер. Исключения составляли тайные общества: здесь можно говорить о полноценном заимствовании в России европейских методов конспирации.

В-третьих, в России отсутствовал какой бы то ни было собственный опыт институционального республиканизма. В Пруссии также не существовало парламентского представительства, однако в начале века легко идентифицируется немецкая традиция политического обсуждения соответствующих проблем, имевшая референт в политической реальности (в виде революционных республик конца XVIII в.) и ориентированная на смену или пересмотр политического режима. В России обсуждение европейского представительства в официальной прессе не затрагивало основ самодержавной власти и лишь искало новых способов ее легитимации в либеральном духе (речь идет только о правлении Александра I).

В-четвертых, с рубежа 1820-х и 1830-х гг. в европейских странах началось стремительное развитие социалистических учений, интегрировавших в себя многие элементы республиканской доктрины. В Российской империи эти процессы интенсифицировались уже во второй половине XIX в.

В-пятых, примечательно хронологическое расхождение: во Франции и в Германии после 1815 г. началась дискуссия о природе представительства, в которой постепенно начал появляться и отчетливо «республиканский» голос. Во второй четверти века возникло республиканское движение, которое часто радикализировалось, но при этом сохраняло и свой особенный язык, и институты общественного мнения (печатные издания и кружки). В России республиканизм не имел такой публичной поддержки, а группы республиканцев не являлись самостоятельными игроками в политическом поле.

Таким образом, мы можем говорить об относительной «слабости» русской республиканской традиции в европейском контексте. Безусловно, восстание декабристов явилось значимым событием и свидетельствовало о готовности части военной элиты оспорить базовые принципы самодержавной власти. Впрочем, своей неудачей декабристы во многом были обязаны малой степени институционализации в масштабах империи, плохой структурированности публичного пространства, а также силе политического языка и идеологии «провиденциального монархизма», в том числе и в русской армии и гвардии, которые восставшим по большому счету так и не удалось мобилизовать. Более того, после 1825 г. в России республиканизм и вовсе оказался табуирован.

Здесь мы сталкиваемся уже с тектоническим разломом. После восстания декабристов язык «монархического провиденциализма», усиленный риторикой официального национализма, одержал убедительную победу над своими конкурентами и стал, по сути, едва ли не единственной формой публичного говорения о политике — во всяком случае до 1855 г. Этим обстоятельством обусловлена

разная судьба республиканской речи в России и европейских странах. Во Франции, Британии и Германии язык республиканизма интегрировался в разные политические идиомы — либеральную и социалистическую. В России главным контрагентом республиканизма оставалась патерналистская концепция русской национальной идентичности, нашедшая свое выражение в уваровской триаде «православие, самодержавие, народность». Иначе говоря, благодаря Николаю I и С.С. Уварову республиканский язык и система ценностей не имели шансов стать частью никакой иной идеологии, кроме самого официального национализма (что отчасти и произошло, если мы вспомним о столь принципиальном элементе доктрины, как «любовь к отечеству»). Во второй четверти XIX в. западники и славянофилы разработали альтернативный взгляд на русское прошлое и настоящее, однако, во-первых, их сочинения почти не циркулировали в публичном (печатном, а не салонном) пространстве, а во-вторых, зачастую они оспаривали николаевскую идеологию на близком ей языке русской религиозной историософии. Ситуация изменится после 1855 г., однако к этому времени республиканский язык уже станет в русской традиции «чужой» речью. Нам осталось рассмотреть два вопроса: а) как республиканский язык взаимодействовал с языком официального национализма и б) как власть в николаевскую эпоху смотрела на республиканизм.

Республиканский язык в николаевское царствование

*Чаадаев, республиканская риторика
и язык официального национализма*

Ниже мы представим нашу версию того, как можно изучать русский республиканизм — не как автономную политическую идиому, доктрину или тип поведения, а как язык, вступающий в интенсивное взаимодействие с другими типами политической речи в разных политических обстоятельствах. Для этого мы обратимся к весьма далекому,

на первый взгляд, от нашего сюжета эпизоду из истории отечественной общественной мысли — оправданиям П.Я. Чаадаева после скандальной публикации русского перевода первого «Философического письма» в журнале «Телескоп».

По своим знакомствам и типу поведения (хотя, вероятно, и не вполне по своему образу мысли) Чаадаев неразрывно связан с декабристской средой — и как приятель многих будущих участников восстания, и как адресат вольнолюбивой пушкинской лирики, и как один из возможных прототипов Чацкого, и как критик системы крепостного рабства. Не случайно он становится одним из ключевых героев уже упоминавшейся выше парадигматической статьи Лотмана «Декабрист в повседневной жизни». Между тем решительные события в жизни самого Чаадаева приходится на другую — «николаевскую» — эпоху, когда свойственные александровскому времени республиканские увлечения русских дворян потеряли свою прежнюю актуальность. В целом Чаадаев был весьма далек от республиканских ценностей (за исключением, возможно, петербургского периода его биографии, о котором, впрочем, мы мало что знаем). Более того, его нельзя назвать и сторонником монархии — в том смысле, что такая формулировка предполагает факт сознательного выбора между разными моделями правления и предпочтение одной из них — монархической. Чаадаев же хотя и критиковал положение дел в отечестве, но, подобно многим своим современникам, не мыслил правление в России вне режима Романовых¹ и, в частности, весьма скептически отзывался о декабристском восстании².

1. В этом смысле нам не кажется перспективным выяснение вопроса, был ли Чаадаев «республиканцем» или сторонником самодержавия. Противоположный взгляд на проблему см.: *Вострикова В.В.* Монархия или республика? // *Общественная мысль России: с древнейших времен до середины XX века: В 4 т. Т. 3: Общественная мысль России второй четверти XIX — начала XX века.* М., 2020. С. 135–137.
2. См. известный фрагмент письма Чаадаева И.Д. Якушкину от 2 мая 1836 г.: «Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были подвижны какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми

Впрочем, некоторые тексты Чаадаева позволяют прояснить важный вопрос: как республиканская риторика и соответствующий тип гражданского поведения функционировали в ситуации, далекой от надежд и ожиданий начала XIX в.? Республиканский язык не потерял своего значения после 1825 г., он трансформировался под воздействием политических обстоятельств. В этой перспективе чаадаевский случай может стать частью большого исследовательского сюжета: о том, как в России второй четверти XIX в. взаимодействовали республиканский патриотизм и риторика национализма; о том, как происходила апроприация республиканских моделей политического поведения в монархическом дискурсе; о том, в какой мере оказывались совместимы монархический образ мысли и республиканская добродетель, восходящая к образцам классического республиканизма и античной гражданственности.

Осенью 1836 г. разразился один из крупнейших в XIX в. скандалов, связанных с публикацией крамольного политического текста. В журнале «Телескоп» с позволения императорской цензуры был опубликован русский перевод первого «Философического письма» Чаадаева. Автор «письма» последовательно развенчивал основные пункты уваровской теории официального национализма, чем вызвал гнев Николая I. Суровому наказанию подверглись издатель «Телескопа» Н.И. Надеждин и цензор, ректор Московского университета А.В. Болдырев. Чаадаев же, как хорошо известно, был объявлен «умалишенным», ему запретили писать и публиковаться, в течение года его посещал лекарь.

Первая реакция Чаадаева на скандал хорошо известна — она вовсе не была героической. Автор «Философических писем», обеспокоенный возможными последствиями скандала, откровенно попытался переложить ответственность за публикацию на других обвиняемых по делу.

между трубкой и стаканом вина» (*Чаадаев П.Я. Избранные труды / Под ред. М.Б. Велижева. М., 2010. С. 424; оригинал по-французски*). В первом «Философическом письме» Чаадаев утверждал, что восстание декабристов — это «катастрофа, откинувшая нас назад на полвека» (Там же. С. 173; оригинал по-французски).

Однако в начале 1837 г., осознав, что его наказание носит пусть неприятный, но скорее символический характер, Чаадаев интерпретировал произошедшее с ним в целой серии текстов, главным из которых является франкоязычный трактат «Apologie d'un fou» («Апология безумного»), первая версия которого была закончена к апрелю 1837 г.¹ Ниже мы проанализируем оправдательную стратегию Чаадаева, изложенную им в трактате. Одной из центральных тем произведения стал вопрос о патриотизме, о том, в чем состоит обязанность «честного гражданина». «Апология» — это один из немногих текстов Чаадаева, в котором он обращался к республиканскому словарю.

Реакция современников на публикацию первого «Философического письма» оказалась двойственной: мало кто соглашался с аргументами Чаадаева, но многие, в особенности москвичи, сочувствовали его положению и считали наказание нелепым. Любовь и уважение к автору «Философических писем» часто соседствовали с раздражением: Чаадаева упрекали в ненависти ко всему русскому. В «Апологии безумного» он ответил на обвинения и дал истолкование своему патриотизму. Перед тем как обратиться к анализу текста, повторим, что тема патриотизма и любви к отечеству для Чаадаева крайне нехарактерна. Как христианский утопист, он решительно отказывался мыслить в категориях «национального» и считал национализм предрассудком, мешающим здраво смотреть на вещи. Чаадаева интересовала история человечества и пути всеобщего спасения. В этом смысле разговор о патриотизме в «Апологии» — это скорее исключение, единичный случай; тем он и интереснее.

В «Апологии» Чаадаев неоднократно обращался к теме патриотизма. Прежде всего он противопоставил любви к отечеству любовь к истине:

«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов,

1. Подробнее см.: *Велижев М.Б.* Комментарии // Чаадаев П.Я. Избранные труды. С. 722–726.

благодетелей человечества. Любовь к родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Божеству. Не чрез родину, а чрез истину ведет путь на небо»¹.

Именно с истиной, порой и нелицеприятной, связана его собственная концепция патриотизма:

«Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили мое спокойное существование... Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы»².

Перед Чаадаевым стояла сложная и нетривиальная задача. С одной стороны, ему было необходимо дистанцироваться от официальных интерпретаторов уваровской триады, отличить собственный патриотизм от представлений о любви к отечеству публицистов «Северной пчелы» и «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». С другой — его воззрения следовало преподнести таким образом, чтобы они вписывались в монархический дискурс, а сомнений в его лояльности не возникало бы. С третьей стороны, согласие с действиями правительства в его адрес надлежало чуть оттенить, дабы не выглядеть откровенно смешным.

1. Чаадаев П.Я. Избранные труды. С. 294 (оригинал по-французски).

2. Там же. С. 303–304 (оригинал по-французски).

Чаадаев придумал два хода. Во-первых, генеалогию собственного критического патриотизма он возвел к Петру Великому, своеобразной инкарнации болингбровского «короля-патриота» и одновременно ключевой фигуре императорского сценария власти. Во-вторых, он отказался от языка монархического патриотизма, свойственного официальным публицистам, в той его части, которая касалась не провиденциального происхождения власти, а ее патерналистского обоснования, при котором император назывался отцом, подданные — детьми, а на сферу политического переносились представления о семейных связях и обязанностях. Вместо этого Чаадаев использовал отдельные элементы республиканского языка гражданских добродетелей. Так, по его мнению, дело «честного гражданина» («un bon citoyen») состоит в нелицеприятном высказывании истины вопреки национальным предрасудкам. Более того, в чаадаевской интерпретации реформы Петра выглядели своеобразной революцией, поскольку Петр буквально «освободил» Россию от «пережитков прошлого» («Il nous délivra donc de tous ces antécédents»¹) и водворил ее на «правильный», западный путь. Отсюда следовал вывод: «любовь к отечеству», гражданское служение, созвучное с заветами Петра, состоит в ясном взгляде на состояние России, в попытке эксплицировать негативные стороны ее бытия, не отказываясь, впрочем, от поиска позитивного сценария исторического развития страны.

Впрочем, дабы утверждать, что перед нами именно элементы республиканской речи, нужны более сильные аргументы. Источники чаадаевских формул без труда обнаруживаются за пределами классических текстов республиканской традиции. Так, знаменитая фраза «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами» («je n'ai point appris à aimer ma patrie les yeux fermés...») является перифразой *mot* Вольтера из его письма к маркизу Шипионе Маффеи, служащего предисловием к знаменитой трагедии

1. Чаадаев П.Я. Избранные труды. С. 282.

«Меропа»: «mon amour pour ma patrie ne m'a jamais fermé les yeux sur le mérite des étrangers»¹ («моя любовь к моему отечеству никогда не заставляла меня закрывать глаза на достоинства иностранцев»). «Патриотическое» рассуждение об отсутствии прошлого в России и о пути в будущее, в сторону сближения с европейской цивилизацией, почти дословно повторяло соответствующие утверждения в третьей книге трактата Ж. де Местра «О папе»².

Дополнительные аргументы в пользу республиканской интерпретации «Апологии» дал сам Чаадаев. До этого мы цитировали первую редакцию текста. Существуют еще две, более поздние и пространные редакции. Им Чаадаев предпослал новый эпиграф — цитату из стихотворения С. Кольриджа «Fears in Solitude» («Страхи в одиночестве», 1798 г.): «O my brethern! I have told Most bitter truth, but without bitterness» («О мои братья! Я высказал много горьких истин, но без горечи»)³. Комментаторы чаадаевских сочинений (в частности, В.Ю. Проскурина) высказали предположение, что ситуация, в которой находился Кольридж в последние годы XVIII столетия, очевидным образом напоминает чаадаевскую⁴. Однако подробнее параллелизм контекстов прежде не анализировался. Между тем он чрезвычайно важен в свете нашего сюжета.

В историю русской политической мысли Кольридж вошел прежде всего как консерватор и поклонник Эд. Берка —

1. Théâtre complet de M. de Voltaire. T. 3. Caen, 1788. P. 248.
2. Подробнее см.: *Велижев М.Б.* Комментарии // Чаадаев П.Я. Избранные труды. С. 734–735. Кроме того, процитированное выше рассуждение о любви к истине и любви к отечеству, возможно, построенное на буквальном пересказе толкования 86-го псалма («Небесный Иерусалим») Аврелием Августином.
3. *Чаадаев П.Я.* Избранные труды. С. 279. Близкие по смыслу слова см. в финале первого «Философического письма»: «Может быть, вам покажется, что я слишком нападаю на нас; нет, я говорил истину и еще не высказал ее вполне. Впрочем, дух христианства не терпит никакого ослепления, а тем более народных предубеждений, потому что они разъединяют людей более всего» (версия «Телескопа», цит. по: Там же. С. 53; оригинал по-французски).
4. *Проскурина В.Ю.* Комментарии // Чаадаев П.Я. Сочинения. М., 1989. С. 592.

именно так его воспринимал, например, Пушкин (как показывает А.А. Долинин¹). Между тем консерватором Кольридж стал не сразу: в 1790-е гг. он стоял на республиканских позициях². Небольшая поэма «Страхи в одиночестве», написанная в апреле 1798 г. и в том же году опубликованная, относится как раз к раннему периоду политической и публицистической активности Кольриджа³. Он выступал с осуждением надвигавшейся войны Британии с революционной Францией и критиковал охвативший его соотечественников порыв патриотизма. Основной сюжет поэмы — это описание мирных сельских досугов, которым угрожает война.

Война опрокидывает гармоничный порядок жизни, установленный Богом, несет жестокость, смерть и рабство — в этой перспективе она описывается Кольриджем как действие, противоречащее божественным установлениям и попирающее человеческую свободу. Поэт призывал своих соотечественников «быть людьми», а не патриотами и следовать воле Провидения, а не национальным предрассудкам. Кольридж разворачивал подробное описание пороков, в которые погрузились британцы, забывшие о христианской морали. Поэт не считал, что англичанам следует сдать себя французам, но высказывал убеждение, что саму войну спровоцировало не только буйство врага, но и грехи его собственных соплеменников.

Именно в контексте говорения горькой правды англичанам и появлялись строки, взятые Чаадаевым в качестве эпиграфа: «Я сказал / Вам злую правду, но не злобой движим / И не мятежным, неуместным рвением; / В том нет прямого мужества, кто, прячась / От совести, боится увидеть / Свои пороки» (пер. М.Л. Лозинского). Кольридж отмечал, что его сочли «врагом отечества» ровно потому,

1. *Долинин А.А.* Пушкин и Англия. Цикл статей. М., 2007. С. 47.
2. О специфике республиканизма Кольриджа в конце 1790-х гг. (и связанных с этим вопросом полемика в современной историографии) см.: *Edwards P.* The Statesman's Science. History, Nature, and Law in the Political Thought of Samuel Taylor Coleridge. New York, 2004.
3. Подробнее см.: *Hill J.S.* A Coleridge Companion. London, 1983. P. 47–52.

что он противился войне и говорил горькие истины. Поэт противопоставлял местному патриотизму космополитический идеал любви к отечеству и к свободе, ориентированный на христианскую мораль, а не на национальные предрассудки.

Едва ли стоит говорить, сколь эта концепция похожа на чаадаевскую, изложенную в «Апологии безумного». Любопытно, что параллелизм можно усмотреть и в самих словесных конструкциях: понятие «истины» (*truth*) перекликается с чаадаевской «любовью к истине» (*vérité*), а любовь к отечеству «с закрытыми глазами» — с «боязнью увидеть свои пороки» у Кольриджа. Несомненно, Чаадаев усматривал пересечения между обвинениями в свой адрес и шквалом критики, упреками в якобинстве и отсутствии патриотизма, которые обрушились на Кольриджа после публикации «Страхов».

Откуда Чаадаев мог знать о подробностях скандала 1798 г.? Конечно, нельзя исключать наличие франкоязычного текста-посредника, который мог бы принадлежать перу, например, Филарета Шаля, знакомого с Кольриджем и многожды о нем писавшего. Однако есть, видимо, и более очевидный источник: вся история оказалась описана самим Кольриджем в одном из обширных примечаний ко второму номеру его журнала «Друг» («*The Friend*») от 8 июня 1809 г.¹ Поэт не только рассказывал об услышанных им обвинениях в якобинстве и деизме, но и цитировал само стихотворение, включая и строки, которые Чаадаев использовал в эпитафии. Тексты, вошедшие в журнал, неоднократно переиздавались в 1810-е гг., и знакомство с ними Чаадаева вероятно.

Любопытна и генеалогия взглядов Кольриджа. Комментаторы его сочинений возводят «Страхи в одиночестве» к политическим идеям Р. Прайса, известного республиканского публициста и оппонента Берка². В частности, близкие идеи были изложены в известном «Рассуждении

1. *The Friend*. № 2. Thursday, June 3, 1809. P. 17–32.
2. *Magnuson P. The 'Conversation' Poems // The Cambridge Companion to Coleridge / Ed. by L. Newlyn. Cambridge, 2006. P. 41–42.*

о любви к нашему отечеству» 1789 г.¹ Кольриджа и Прайса объединял космополитичный христианский идеал человеческой свободы, реализацию которого Прайс находил во французских событиях лета 1789 г. Под «отечеством» Прайс понимал сообщество («community»), в котором живет человек и которое регулируется законом. Любовь к отечеству не подразумевала неуважения к другим государствам и типам правления. Прайс прямо говорил, что «мудрец» должен воспринимать вещи такими, какими они являются, должен не дать аффектам ослепить себя. Настоящая любовь к отечеству, по Прайсу, никак не связана с духом соперничества и желанием унижить другие нации. В этом смысле «своя» национальная свобода не может заключаться в порабощении «других». И здесь параллели между текстами Кольриджа и Прайса становятся разительными. Более того, Прайс противопоставляет патриотизм римлян патриотизму христианскому, который, с его точки зрения, более способствует свободе, поскольку не противоречит стремлению к завоеваниям.

Согласно Прайсу, любовь к отечеству базировалась на культивировании «истины», «добродетели» и «свободы». Патриот должен был просвещать свой народ, бороться с грехом, отстаивая христианские ценности, и противостоять тирании (а правильное монархическое устройство подразумевало общественный контроль за действиями суверена). Прайс был убежден, что короли так же обязаны подчиняться законам, как и все остальные граждане, поскольку их легитимация напрямую связана с сакральным статусом самого сообщества. Тиранию он считал наиболее губительной для любого «отечества». Отсюда проистекала уверенность Прайса, что внутренние враги всегда опаснее внешних, а единственная праведная форма войны — это война оборонительная. Английская (1688), американская

1. См.: *Price R. A Discourse on the Love of our Country // Price R. Political Writings / Ed. by D.O. Thomas. Cambridge, 1991. P. 176–196.* О Прайсе-республиканце см.: *Viroli M. Per l'amore della patria. P. 94–99; Петтит Ф. Республиканизм; Полевщикова Е.В. Ричард Прайс об Американской революции // Монархия и народовластие в культуре Просвещения. М., 1995. С. 141–150;* и др.

и французская революции как раз способствовали установлению правильной формы гражданской жизни, в которой оказались реализованы все упомянутые «патриотические» принципы¹.

Таким образом, ставя эпитафию из Кольриджа перед «Апологией безумного», Чаадаев мог апеллировать к английской традиции христианского республиканизма конца XVIII в., характерной чертой которого был своеобразный космополитичный патриотизм (хотя, отметим, совершенно не католического толка²). Согласно этой концепции, цель патриота-христианина — предпочитать истину предрассудкам, бороться за свободу и закон, защищать христианские добродетели и не бояться высказывать соотечественникам «горькие истины». Любимые Чаадаевым французские католические философы любовью к отечеству интересовались мало и не могли помочь автору «Философических писем» в специфической ситуации конца 1836 — начала 1837 г. Национализм немецкого образца также едва ли подходил Чаадаеву из-за своего слишком явного сходства с принципами, легшими в основу уваровской триады.

Эпитафия позволяет иначе интерпретировать «республиканский» лексический пласт «Апологии» как отсылку к вполне определенной традиции, рефлексивному «патриотизму старых наций», о которых с уважением писал Чаадаев. Республиканское звучание рассуждений Чаадаева о патриотизме благодаря эпитафии слышно вполне отчетливо, хотя они и не становятся доминирующей темой. Именно так Чаадаев, оставаясь в рамках промонархического дискурса (т.е. разделяя его провиденциальный пафос), тем не менее сумел от него дистанцироваться. Мы не хотим сказать, что Чаадаев с помощью эпитафии радикально изменил смысл своего текста. Речь идет о другом: в поздней

1. О специфическом монархизме Прайса в связи с его «Рассуждением о любви к нашему отечеству» см. подробнее: *Morris M. The British Monarchy and the French Revolution*. New Haven; London, 1998. P. 42–44.
2. Так, Прайс был известен своей критикой «папизма», подробнее см.: *Fatovic C. The Anti-Catholic Roots of Liberal and Republican Conceptions of Freedom in English Political Thought // Journal of the History of Ideas*. Vol. 66 (2005). No. 1. P. 37–58, особенно 51.

редакции автор «Апологии» дал ключ к одной из возможных интерпретаций своего сочинения. Его патриотизм выглядит совершенно верноподданническим, однако апелляция к Кольриджу высвечивала обратную сторону любви христианина к отечеству и монарху. Чаадаев защищал свое право на критическое свободное высказывание — через сознательное включение отдельных элементов республиканской политической речи в монархический дискурс. Если в Англии свобода гарантирована законами и республиканскими институтами, то в России ее должен обеспечить прежде всего сам монарх — потомок Петра Великого.

Наконец, о важности республиканской идиомы в николаевский период свидетельствует один красноречивый пример, заимствованный нами из работ Д. Ребеккини¹. Исследуя программу обучения великого князя Александра Николаевича в конце 1820-х и 1830-е гг., итальянский историк обратил внимание на примечательный эпизод. В декабре 1829 г. учитель наследника, известный литератор П.А. Плетнев, читал с ним исторический рассказ «Снитгер. Гамбургский анекдот», опубликованный в 1803 г. в карамзинском «Вестнике Европы». В тексте речь шла о действиях гамбургского гражданина Георга Снитгера в конце XVII в., защищавшего республиканские свободы от претензий монархов, чьи государства окружали в то время Гамбург. Александр Николаевич, по наблюдениям Плетнева, проникся к Снитгеру сочувствием, однако в дальнейшем разговоре он решительно отверг возможность республиканского правления в Российской империи (пользуясь расхожей в придворной среде мыслью об огромных размерах государства² и особенностях его истории): «мне сделано было замечание, что не все государства по своему объему и народному духу способны к одинаковому образу правления». Так республиканские идеи использовались при Николае I

1. *Ребеккини Д.* Как наследник престола Александр Николаевич читал Пушкина (1829–1837) (в печати).
2. См., например, реплику А.О. Смирновой-Россет: «...разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия?» (*Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подг. С.В. Житомирская. М., 1989. С. 511).

в обучении наследника престола, однако это вовсе не приводило к реанимации республиканских институтов — политический язык и политическая практика окончательно разошлись между собой. О том, почему это произошло, мы расскажем в заключительной части нашей главы.

Республиканизм и власть в эпоху Николая I

Нам осталось рассмотреть еще один сюжет многообразной истории русского республиканизма первой половины XIX в.: что происходило с республиканскими идеями в николаевское правление? Следственный комитет по делу декабристов в 1826 г. установил нерасторжимую связь между действиями заговорщиков и республиканизмом. С начала николаевского царствования республиканизм оказался в Российской империи под запретом, поскольку именно он был объявлен политической доктриной, побудившей «бунтовщиков» выйти на Сенатскую площадь. Впрочем, республиканизм трактовался комитетом специфическим образом: исключительно как теория, главный аргумент которой сводился к царубийству. Разумеется, перед нами результат дискурсивной манипуляции, впрочем восходившей к действительно имевшим место планам некоторых членов тайных обществ ликвидировать императора и царскую семью (об этом мы уже писали выше). В своей монографии «Следствие по делу декабристов» О.В. Эдельман подробно рассказывает, как именно комитет связал заговор и республиканскую теорию.

Эдельман отмечает, что вопросные пункты о целях и задачах, которые преследовали члены тайных обществ, в большинстве своем касались именно «намерения общества» ввести «в России республиканское правление»¹. При этом суть республиканских или конституционных воззрений следователей не слишком интересовала². Принципиальным

1. Эдельман О.В. Следствие по делу декабристов. С. 149.

2. На это, в частности, указывал в своей оправдательной записке, вошедшей в его книгу «Россия и русские» (1847), Н.И. Тургенев: «В Донесении собрано все, что, по мнению составителя, могло подкрепить

был факт самого «наличия республиканских планов». Исследователь пишет: «сама по себе приверженность республиканской идее не могла быть поставлена в вину, но это был подступ к вопросу о цареубийстве»¹. Республиканизм как теория оказывался «вспомогательным» поводом к тому, чтобы перейти к выяснению гораздо более важного вопроса. В итоге республиканские воззрения в рамках следствия стали прочно ассоциироваться, во-первых, с физическим устранением монарха и, во-вторых, с историческим прецедентом — событиями Великой французской революции, казнью короля и королевы.

Стратегия следствия не представляла из себя загадки для декабристов. Именно поэтому они зачастую отрицали какую бы то ни было связь своих политических воззрений с республиканизмом. Характерен в этом смысле пример Пестеля. Как известно, Пестель в начале процесса (до того момента, когда был найден текст «Русской Правды») утверждал, что источником его республиканских убеждений выступали труды А. Дестют де Траси, автора комментариев к трактату Монтескье «О духе законов», не только малоизвестного в России, но и не слишком популярного в самой Франции. Дестют де Траси, как показывает Парсамов², вовсе не был республиканцем. Сопоставив взгляды Пестеля и Дестют де Траси на целый ряд политических вопросов, Парсамов пришел к выводу о том, что влияние сочинений француза на декабриста минимально. Тогда по какой причине Пестель упоминал Дестюта во время допросов? Историк убежден, что здесь мы сталкиваемся

его излюбленное утверждение о существовании республиканских замыслов и планов цареубийства. Однако, когда составитель (Д.Н. Блудов. — *М.В.*) подходит к развязке, он едва упоминает о цареубийстве и вовсе не говорит о республиканских идеях. Будучи вынужденным излагать факты, он, как видим, с полной ясностью устанавливает, что заговорщики, предпринимая восстание, предполагали добиться для России конституционной, представительной формы правления с сохранением монархии...» (*Тургенев Н.И.* Россия и русские / Пер. с фр. и статья С.В. Житомирской, коммент. А.Р. Курилкина. М., 2001. С. 155; оригинал по-французски).

1. *Эдельман О.В.* Следствие по делу декабристов. С. 160.
2. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. С. 191–205.

с уловкой. Пестель стремился «представить декабризм как прежде всего теоретическое движение»¹, поскольку прямых доказательств его «исключающего республиканизма» в распоряжении следствия в то время еще не было. Сами по себе республиканские идеи, особенно с их не вполне ясными очертаниями, едва ли были предосудительны². Как отмечает Парсамов, к умеренно-республиканским взглядам «в той или иной степени тяготели многие люди в тогдашней России, и в том числе те, чья благонадежность не могла вызвать сомнений»³. Однако в тот момент, когда республика соединялась с якобинским террором, ситуация радикально менялась.

В свете вышесказанного не вызывает удивления, почему во время следствия вопросам о введении в Российской империи республиканского правления отводилось центральное место⁴. Николай Павлович на самом раннем этапе процесса указывал на связь между республиканизмом и цареубийством, о чем он, в частности, писал Константину Павловичу в ночь с 14 на 15 декабря. Республиканизм как бы автоматически, из-за тождества со стремлением ликвидировать монарха, становился тяжелейшим государственным преступлением. Вопрос о цареубийстве, как отмечает Эдельман, безусловно, преувеличивался на следствии. Мы уже писали, что в действительности хотя бы относительно реалистические планы устранения императорской

1. Там же. С. 203.

2. Так, Н.Д. Потапова в работе о республиканизме декабристов отмечает: «В первые дни следствия декабристы апеллировали к ценностям классического античного республиканизма, для большинства он значил необходимость активного политического действия по римской модели — требовать открыто на площади цезаря, соблюдения законов, требовать быть услышанными, выступить против тирании. В первые дни следствия тираноборчество ассоциировалось с гражданским действием, протестом, готовностью, жертвуя всем, выступить против попрания закона и „свобод народа“». В ходе следствия декабристы показали свою способность в зависимости от ситуации апеллировать к разным концепциям республиканизма. См.: *Потапова Н.Д.* Декабристы и республиканская традиция. С. 205–206.

3. *Парсамов В.С.* Декабристы и Франция. С. 205.

4. *Эдельман О.В.* Следствие по делу декабристов. С. 166, 174, 178, 206, 223, 284, 289.

фамилии редко появлялись во время обсуждений планов государственного переустройства России в тайных обществах. Впрочем, этот аргумент, сам по себе существенный, для нашего исследования имеет второстепенное значение. Важно, что по итогам следствия репутация республиканизма в русском политическом дискурсе заметно испортилась. Республиканские идеи свелись к революции, насилию и убийству монарха и по этой причине были на время обречены на забвение по крайней мере в публичном пространстве политических дискуссий.

События в Европе начала 1830-х гг. — революции во Франции и других странах, польское восстание — лишь способствовали упрочнению негативной репутации республиканизма в официальной политической речи. Впрочем, можно заметить, что основным термином, который использовался для описания сторонников революционных изменений в обществе, служил не столько «республиканизм», сколько «либерализм». Этот тезис находит свое подтверждение в материалах ежегодных отчетов, которые III Отделение подавало императору с начала его царствования. Характерный пример находим в отчете за 1830 г.¹ Его авторы описывали спектр реакций русской публики на «революции» в Париже и Варшаве. Понятие «либерализм» многократно упоминалось в отчете, и исключительно с негативными коннотациями.

Согласно составителям отчета, конец правления Карла X русские «либералы» и «конституционалисты» восприняли с откровенным «восторгом». Они стремились к дальнейшему распространению «революции» и протестовали против «угнетения» и нарушения законов. Всех рассуждавших уже о польском восстании авторы документа разделили на три «партии»: «патриотов», требовавших «уничтожения конституции» и нового раздела польских земель на «русские провинции»; «умеренных», стремящихся «избежать войны» с восставшими из общих соображений о настоящем политическом кризисе; и «либералов». Последнюю группу отчет

1. Картина общественного мнения в 1830 году // Россия под надзором. Отчеты III отделения 1827–1869. М., 2006. С. 66–77.

характеризовал как «людей, пропитанных политическими принципами на французский манер», что в данном случае означало «любовь к конституции», готовность к «революции», убежденность в возможности конституционного правления в России, приверженность идее «закона» и «личной неприкосновенности», т.е. индивидуальной свободы. Главная задача «либеральных» «партий» состояла в том, чтобы воспрепятствовать «распространению монархических идей» и утвердить в обществе собственную идеологию¹. В отчете III Отделения за 1830 г. мы видим определенную, чисто языковую новацию. «Либералы» оказывались в одно и то же время «революционерами» и «конституционалистами». Подобное смешение, вероятно, было продиктовано сиюминутными политическими обстоятельствами, так как воцарение Орлеанской ветви Бурбонов проходило под лозунгами борьбы за свободу и соблюдение Хартии. Однако существенно, что конституционная монархия, закон и личная свобода настойчиво соединялись в анализируемом нами документе с революционным насилием.

В открытых источниках при описании событий конца 1830 г. в Варшаве либерализм вообще не упоминался, однако тема «бессмысленного» польского бунта настойчиво педалировалась. Так, в публикациях официальной политической газеты «Северная пчела» польское восстание объяснялось почти не мотивированным рационально стремлением местных жителей к проявлению насилия. Автор «Известия о Варшавском мятеже и о предварительных причинах оногo» (приложение к № 152 «Северной пчелы», Санкт-Петербург, 22 декабря 1830 г.) отмечал: «...безрассудные юноши, соединенные духом буйства и своеволия, зараженные зловерными правилами переворотов, стали рассеивать свое пагубное учение...»². Далее, «переворот во Франции, в Июле месяце 1830 года, оживил преступные надежды заговорщиков, придал их действиям более смелости,

1. Там же. С. 67–72.

2. Цит. по: *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. Изд. 2. СПб., 1909. С. 582.

и присоединил к ним толпу беспокойных, дерзких людей и несколько легкомысленных мечтателей»¹. Сама картина восстания была нарисована следующим образом: «Разъяренная чернь и развращенные солдаты, предавшись пьянству и грабежу, бесчеловечно умерщвляли безвинных... Кровь лилась рекою на Варшавских улицах...»².

Однако иногда в материалах «Северной пчелы» за «реками крови» ясно просвечивал радикально реинтерпретированный идеал республиканской гражданской доблести. Так, в статье Булгарина (согласно атрибуции М.К. Лемке) «Перечень письма из Варшавы от жителя того города к родственникам в Петербург» («Северная пчела», № 145 и 147 за 1831 г.), помимо ярких описаний польских несчастий и «революционного» «безумства», критиковалась сама система представительства. Автор письма так оценивал работу Сейма: «Наш Сейм, или наши Палаты, похожи на мальчиков, убежавших из школы, которые, взбунтовавшись противу учителя, собрались толковать за углом, воображают себе, что они Греки или Римляне, и перефразируют речи Цицерона или Демосфена, ободряя друг друга в упорстве и неповиновении»³. Конституционализм неизменно приводил к насилию в самых страшных традициях французской революции. Автор письма писал: «Страх велит нам молчать и терпеть до времени этот Робеспьеровский деспотизм»⁴. Исторические параллели на этом не заканчивались: «Даже от Жидов требуют Английского патриотизма и Спартанского мужества»⁵. В публикациях «Северной пчелы» восставшие поляки приравнивались одновременно к якобинцам, англичанам и жителям античных полисов и республик — разница между конституционным принципом и террором окончательно стиралась.

1. Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. С. 583.
2. Там же. С. 585.
3. Там же. С. 277.
4. Там же. С. 278.
5. Там же.

В своеобразном «русском либерализме», сконструированном в III Отделении, совместились черты, решительно несоединимые во французском контексте: мирный конституционализм 1789 г. и якобинская революционность слились воедино. Между тем приверженность двум разным фазам революции и отличала либералов от республиканцев во французской традиции. В русской официальной идеологии 1830-х гг. насилие стало непременным атрибутом «свободы» и представительного правления, что ставило «либералов» в непримиримую оппозицию к монархическому принципу. Здесь мы сталкиваемся со своеобразным «исключающим монархизмом».

Вообще обвинения в политической неблагонадежности с «республиканским» и / или «либеральным» оттенком часты для доносов, подававшихся в III Отделение во время николаевского царствования. В частности, их зафиксировал Лемке, один из первых исследователей, работавших с архивом императорской канцелярии. Вот самые известные случаи. В 1827 г. в «карбонаризм» обвинялся М.П. Погонин¹, в 1832 г. издатель «Европейца» И.В. Киреевский, по выражению Пушкина из его письма к И.И. Дмитриеву, «представлен правительству сорванцом и якобинцем»² за его известную статью «Девятнадцатый век». По мнению Бенкендорфа, Киреевский «...рассуждая будто бы о литературе, понимает совсем иное; что под словом *просвещение* он понимает *свободу*, что *деятельность разума* означает у него *революцию*, а *искусно отысканная середина* не что иное, как *конституция*»³. В сентябре 1833 г. министр народного просвещения Уваров передал императору записку, в которой предлагал закрыть журнал братьев Полевых «Московский телеграф». В тексте он сопрягал понятия «революция», «вольнодумство» и «свобода», сторонником которых будто бы являлся Н. Полевой⁴. Тогда издание прекращено не было. Впрочем, уже спустя несколько месяцев Уварову

1. Там же. С. 41.

2. Там же. С. 67.

3. Там же. С. 73.

4. Там же. С. 89–90.

все-таки удалось закрыть «Телеграф» за неосторожную рецензию Н.А. Полевого на патриотическую драму Н.В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла». Во время короткого следствия Уваров прямо обвинил Полевого в поддержке французской революции 1830 г. Кс.А. Полевой так передавал слова министра в своих «Записках»: «...вы выхваляете Лафайета, называя его самым честным человеком, благороднейшим из граждан, а этот человек был одним из главных двигателей французской революции; это отъявленный противник королевской власти, самый опасный бунтовщик»¹.

В чаадаевском деле 1836 г. республиканизм как базовый аргумент обвинения почти не встречается, с одним важным исключением, о котором мы скажем ниже. Причина умолчания в целом очевидна. Основной интерпретацией скандала оказалась версия начальника III Отделения А.Х. Бенкендорфа, подсказанная царю 22 октября 1836 г.: Чаадаева следовало объявить умалишенным и тем самым изолировать его — не только в физическом, но и в символическом смысле². История с публикацией первого «Философического письма» произошла в самый разгар торжеств, посвященных десятилетней годовщине коронации Николая I. Празднования сопровождались целой серией речей и публикаций, в которых подводились промежуточные итоги царствования. Коротко говоря, официальная позиция ораторов и публицистов сводилась к тезису о том, что Россия в правление Николая достигла полного благоденствия в самых разных сферах государственной политики.

При обсуждении мер, которые необходимо было принять для наказания по чаадаевскому делу, министр народного просвещения Уваров предложил связать появление

1. *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. С. 93.
2. Подробнее см.: *Велижнев М.Б.* «Особый путь» развития России в 1830-е гг.: Sonderweg, государство и образованное общество // *Особый путь: от идеологии к методу.* С. 106–140.

крамольного письма в «Телескопе» с декабристским восстанием. Инициатива Уварова не вызвала у монарха большого энтузиазма, главным образом потому, что напоминание о мрачном начале царствования едва ли сочеталось с общей атмосферой праздников второй половины 1836 г. Стремясь нейтрализовать уваровский ход, Бенкендорф и выдвинул гипотезу, согласно которой Чаадаев — сумасшедший, а московские жители не разделяют его воззрений и вообще испытывают сочувствие к его бедственному положению. Таким образом, вместо масштабного заговора в старой столице обнаружился безумный Чаадаев, одинокий в своей критике базовых принципов «православия, самодержавия, народности». Соответственно, «республиканские» коннотации его историософской концепции связывали бы его с декабристским восстанием и решительно противоречили бы общей линии интерпретации «телескопического» скандала.

Впрочем, однажды в процессе следствия речь о республиканизме все-таки зашла. 18 января 1837 г. московский обер-полицмейстер Л.М. Цынский доносил московскому военному генерал-губернатору Д.В. Голицыну о разговоре, который состоялся у него с Чаадаевым. В ходе беседы Чаадаев предпринял очередную попытку оправдаться и решительно размежевался с адресатом своих писем Е.Д. Пановой. Панова в этот момент сама проходила освидетельствование в сумасшествии и, как предполагал Чаадаев, могла обнаружить известный политический радикализм. Он опасался, что следствие может предположить, будто именно Чаадаев и внушил неблагонадежные мысли своей корреспондентке. Цынский передал в своем пересказе суть чаадаевского оправдания: «...по прибытии ко мне объявил и письменно и словесно вкратце, что Коллежская Секретарша Панова во время свидетельствования ее Губернским Правлением в умственных способностях рассказывала в присутствии, что она республиканка, что во время войны в 1831 году она молилась за поляков и тому подобные вздоры говорила; почему Г. Чаадаев и опасается, дабы по прежним его с нею связям, правительство

не заключило, что он причиною внушения ей подобного образа мыслей, так как Философические письма припечатанные в телескопе, были писаны к ней»¹. 23 января 1837 г. Голицын передал эти сведения Бенкендорфу. Характерно, что революционный республиканизм Чаадаев связывал именно с поляками.

В деле петрашевцев обвинения в республиканизме фигурировали нечасто. По всей вероятности, произошло это потому, что к 1849 г. опасность республиканизма поблекла в сравнении с пагубным влиянием более радикальных политических доктрин — прежде всего социализма. Так, в предъявленных М.В. Буташевичу-Петрашевскому 9 и 10 июня 1848 г. вопросов пунктах революционные течения именовались следующим образом: «пропаганда фурьеристская, коммунистская и либеральная»². Однако, как и в деле Чаадаева, республиканский подтекст порой в процессе следствия возникал. Именно таким был случай Ф.М. Достоевского. В своих объяснениях по делу петрашевцев писатель подробно анализировал суть и наименования политических теорий, в которых обвинялись члены кружка.

В комментариях, данных около 6 мая 1849 г., Достоевский прибег к суждениям, имевшим отчетливо республиканский характер: «Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своем и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему»³. Впрочем, сам писатель указывал, что подобного рода «вольнодумство» служит синонимом «либерализма», а не республиканизма. С одной стороны, речь шла, вероятно, о реакции на обвинения в либерализме, сформулированные следствием. С другой — очевидно, что

1. Вопросы литературы. 1995. № 2. С. 95–97.

2. Дело петрашевцев. Т. 1. М.; Л., 1937. С. 109–110.

3. *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. XVIII. Л., 1978. С. 120.

республиканский язык к середине XIX в. стал органичной частью либерального языка.

Более того, если Достоевский (хотя и в рамках понятной риторической стратегии, предполагавшей перетолкование обвинений в благонадежном духе) принимал на себя роль «либерала» и «вольнодумца», то от республиканизма он решительно отрекся. Так, он рассуждал в связи с французской революцией 1848 г.: «Но если я говорил о французском перевороте, если я позволял себе судить о современных событиях, следует ли из этого, что я вольнодумец, что я республиканских идей, что я противник самодержавия, что я его подкапываю? Невозможно! Для меня никогда не было ничего нелепее идеи республиканского правления в России»¹. Несовпадение собственных представлений о Западе и России Достоевский объяснял известным историософским аргументом о различном историческом пути европейских государств и Российской империи. Если на Западе революция стала «исторической необходимостью», то в России республиканские традиции отсутствовали. Характерно суждение Достоевского о Новгороде: «безобразие республики Новгородской, — республики, испробованной в продолжение нескольких веков на славянской почве»².

Согласно объяснению Достоевского, Россия исторически спасалась самодержавием, и поэтому неограниченная монархия выступает в глазах его современников самой естественной формой отечественной (и отеческой) власти. Писатель спрашивал: «Да и кто у нас думает о республике? Если и предстоят реформы, то даже для тех, кто желает их, будет ясно как день, что должны эти реформы истечь именно из авторитета, даже еще более усиленного на то время; а иначе дело должно произойти революционным образом. Не думаю, чтоб нашелся в России любитель русского бунта»³. По мнению Достоевского, поскольку носителем власти и суверенитета в России является не народ,

1. Там же. С. 123.

2. Там же.

3. Там же.

а царь, то, во-первых, все реформы могут происходить исключительно «сверху» и, во-вторых, если какая-либо чрезвычайная диктатура и возможна, то ее агентом может стать только император.

В показаниях Достоевского мы обнаруживаем, что республиканская риторика в России окончательно отделилась от самого республиканизма, став частью других политических идиом — либеральной и социалистической. Сам республиканизм приравнивался писателем к русскому бунту, описанному Пушкиным в «Капитанской дочке». Усилия Следственного комитета 1826 г. и Николая I, интерпретировавшего республиканизм как склонность к революции и цареубийству, увенчались успехом. Реанимация республиканского дискурса требовала особых усилий и новой интеллектуальной среды. Она возникла в России во второй половине XIX в. в атмосфере массового увлечения в стране марксистским учением. Однако этот сюжет уже выходит за хронологические рамки нашей работы.

* * *

По итогам исследования мы можем прийти к выводу, что республиканский язык, несомненно, присутствовал в политическом дискурсе Российской империи. Однако говорить о республиканизме как автономной и влиятельной доктрине едва ли возможно. Будущие декабристы обратились к политическому языку республиканизма в тот момент, когда в Западной Европе он уже стал элементом других идеологий — либерализма и национализма (впоследствии и социализма). В этой перспективе попытки рассмотреть специфический республиканский субстрат политической речи членов тайных обществ представляются нам весьма проблематичными.

Гораздо продуктивнее, по нашему мнению, рассматривать процесс соединения политических языков внутри отдельных сочинений или совокупности текстов, созданных в определенных политических обстоятельствах, — в сочетании с социологическим подходом, рассматривающим

республиканизм в том числе как определенную манеру публичного поведения. В первой половине XIX в. республиканизм не стал политической практикой, не образовал политическую группу, которая ассоциировала бы себя с республиканскими ценностями. Впрочем, это обстоятельство не должно мешать нам изучать разнообразные модусы существования республиканского языка, циркулировавшего в том числе и внутри либерального, националистического или социалистического дискурса.

А. И. Миллер

Глава VII

Империя и нация

Понятие *нация* было заимствовано в России в начале XVIII в. Оно играло важную роль в политическом языке уже в XVIII в., до Французской революции, которая провозгласила нацию единственным источником политической легитимности. Парадоксальным образом, после Французской революции и до эпохи Великих реформ роль понятия *нация* в России все более ограничивается. Понятие возвращается в царствование Александра II, но его функции существенно меняются, как меняются и политические идеи, артикулируемые с его помощью.

Понятия *народ* и *народность* рассматриваются в этой главе в той мере, в которой они были непосредственно связаны с понятием *нация*, т.е. использовались для его перевода, замены, объяснения, порой — вытеснения. Использование понятий *народ* и *народность* именно для перевода, замены и объяснения понятия *нация* действительно прослеживается, и в главе это будет показано. Изучение этой связи и позволяет выделить из весьма широкого поля значений понятий *народ* и *народность* ту специфическую область, где они приобретают политическое содержание, резонирующее с содержанием понятия *нация*. Такой подход позволяет также четче проследить механизмы заимствования, усвоения и цензурирования понятия *нация*, т.е. взглянуть на него не только с точки зрения истории понятий, но также в контексте истории культурных трансферов¹. Наконец,

1. См.: Миллер А.И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное: трансфер понятия «нация» в Россию (начало XVIII—середина XIX в.) // Imperium inter pares: Роль трансферов в истории

поскольку до сих пор внимание исследователей было сосредоточено главным образом на понятии *народность*, это неизбежно приводило к некоторой недооценке значения и распространенности понятия *нация*¹.

В выборе источников мы, сознавая все недостатки такого подхода, ограничиваемся почти исключительно авторами «первого ряда», т.е. известными политическими и творческими персонажами. Причина проста: даже этот пласт источников исследован на сегодняшний день совершенно недостаточно. Впрочем, отчасти ограниченность круга источников компенсируется прочтением их не с точки зрения истории идей, но именно в рамках истории понятий. Из прессы систематическому анализу были подвергнуты лишь катковские издания первой половины 1860-х гг. Также использованы традиционные для таких исследований источники — словари и энциклопедии, в основном XIX и начала XX в.

Российской империи (1700–1917). М., 2010. С. 42–66. Мои другие публикации на тему истории понятий *нация*, *народ* и *народность*: Miller A. I. *Natsiia, Narod, Narodnost' in Russia in the 19th Century: Some Introductory Remarks to the History of Concepts* // *Jahrbücher für Geschichte Ost-Europas* Vol. 56 (2008). № 3. P. 379–390; Миллер А. И. *Народность и нация в русском языке XIX века: подготовительные наброски к истории понятий* // *Российская история*. 2009. № 1; *Он же*. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010. Гл. 3, 6.

1. См.: Бадалян Д. А. Понятие «народность» в русской культуре XIX века // *Исторические понятия и политические идеи в России XVI–XIX веков: Сб. науч. работ*. СПб., 2006. С. 108–122. См. также весьма краткий и, рискну сказать, во многом поверхностный текст о *народности* как политической концепции: Perrie M. *Narodnost': Notions of National Identity // Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881–1940* / Ed. by C. Kelly, D. Sheperd. Oxford, 1998. P. 28–37. Понятие *народность* рассматривается также в: Knight N. *Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost' and Modernity in Imperial Russia* // *Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices* / Ed. by D. L. Hoffman, Y. Kotsonis. New York, 2000. P. 41–65. Наиболее подробный обзор использования понятия *народность* для обозначения набора качеств, свойств в научном дискурсе 1830–1880-х гг. дан в монографии: Лескинен М. В. Поляки и финны в российской науке второй половины XIX в.: «другой» сквозь призму идентичности. М., 2010. С. 52–97.

Датировка заимствования, источники и механизмы

Процесс заимствования понятий *нация* и *народ* исследован слабо. Можно, однако, уверенно утверждать, во-первых, что источников и каналов заимствования было несколько и, во-вторых, что понятие *народ* заимствуется ранее понятия *нация*.

Сергей Плохий считает, что понятие *народ* усваивается в Московском государстве в середине XVII в., когда после восстания Богдана Хмельницкого и перехода левобережной Гетманщины под власть царя резко интенсифицировались контакты между Московским царством и киевским кругом православных духовных деятелей¹. В этом контексте понятие *народ* имело, разумеется, сильные религиозные коннотации. Важную роль в процессе утверждения понятия *народ* в значении общности не только религиозной, но и этнополитической, связанной также с династической лояльностью, сыграл *Синописис*, или собрание кратких выдержек из летописей о «начале славено-российского народа». Составленный Иннокентием Гизелем, настоятелем Киево-Печерского монастыря, *Синописис* был впервые издан в Киеве в 1674 г. и оставался на протяжении всего XVIII в. главной исторической книгой в России². Трансфер понятия *народ* из родственного языкового, религиозного и культурного контекста, во многом вместе с трансфером в Россию самих его носителей из среды киевских книжников, способствовал его быстрой ассимиляции.

Николай Александрович Смирнов, изучивший в начале XX в. три более или менее кратких списка (словаря) недавно заимствованных слов, составленных в первой трети XVIII в., указывает, что, хотя главным источником

1. Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations // *Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus*. Cambridge, 2006. P. 250–299. См. также: Kohut Z.E. A Dynastic or Ethno-Dynastic Tsardom? Two Early Modern Concepts of Russia // *Extending the Borders of Russian History: Essays in Honor of Alfred J. Rieber* / Ed. by M. Siefert. Budapest; New York, 2003. P. 17–30.
2. См.: Самарин А.Ю. Распространение и читатель первых печатных книг по истории России (конец XVII–XVIII в.). М., 1998.

заимствований была в то время Германия, многие слова, в том числе и *нация*, заимствовались через Польшу, на что указывает окончание *-ия*¹. В недатированном, но сохранившем собственноручную правку Петра I *Лексиконе вокабулам новым по алфавиту* слово *нация* объясняется как «народ русский, немецкий, польский и прочая»². В *Регламенте шкиперам* (СПб., 1724. С. 4) слово *нация* употребляется в смысле государственной принадлежности: «Когда чужестранный (шкипер) найдет что в воде потерянное, людьми наша нация, то оное объявлять»³. Наконец, краткий список иностранных слов *Различная речения иностранная противо славено-российских*, датированный 1730 г., сохранился в архиве графа Алексея Сергеевича Уварова. В нем содержатся такие записи: «нация — народ», «димократия — народодержавство»⁴. Понятие *нация* использовал в своих проповедях послепоплавского периода Феофан Прокопович при обсуждении международных отношений и применительно к иностранным державам, предпочитая понятие *народ* или *наше отечество* применительно к России⁵. Таким образом, к первой четверти XVIII в. понятие *народ* уже было прочно усвоено, утратило новизну и использовалось для пояснения понятия *нация* в качестве эквивалента. Это сохранилось и впредь. Например, в словаре Владимира Ивановича Даля одна из трактовок понятия *народ* оказывается близкой понятию *нация*: «Обыватели государства, страны, состоящей под

1. *Смирнов Н.А.* Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. СПб., 1910. (Отд. оттиск из: Сборник Отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. Т. 88. № 2). С. 5. См. также: *Словарь русского языка XVIII века*. Вып. 14. СПб., 2004. С. 97.
2. Первое издание см. в приложениях к: *Смирнов Н.А.* Западное влияние. С. 362–382.
3. Цит. по: Там же. С. 203.
4. Под названием *Сборник* этот документ опубликован: Там же. С. 383–384.
5. См.: *Plokhly S.* The Two Russias of Teofan Prokopovych // *Mazepa and His Time. History, Culture, Society* / Ed. by G. Sedina. Alessandria, 2004. P. 361; *Феофан Прокопович.* Сочинения. М., 1961. С. 133. С. Плохий считает, что Прокопович в то время был сторонником «национализации» Московского государства и «неустанным строителем национального образа России», беря пример с протестантских проповедников, делавших то же самое в стане противника России по Северной войне — Швеции (*Plokhly S.* The Two Russias. P. 363–364).

одним управлением»¹. Слово же *нация* сохраняет отчетливый оттенок чужеродности, «иностранности» вплоть до второй половины XIX в.

Можно высказать предположение, что понятие *нация* заимствовалось в петровскую эпоху как из общения с поляками, так и в ходе контактов, в том числе дипломатических, с другими государствами Европы. Очевидно, что из польского контекста и в прямой связи с польскими реалиями приходит понимание *нации* как дворянской корпорации, которое оставалось актуально в России вплоть до начала XIX в.²

Скорее из дипломатических контактов и для дипломатических целей усваивается понимание *нации* как суверенного государства. Это видно из цитированного *Регламента шкিপерам*. В первом русском неофициальном сочинении по вопросам международного права, опубликованном вице-канцлером Петром Павловичем Шафировым в 1717 г., понятие *нация* не использовалось. Однако понятие *политические народы*, которым пользуется Шафиров, в английском переводе его книги, появившемся в 1722 г., передано как *civilized nations*³.

Другой пример из дипломатической практики, уже второй половины XVIII в. — Кючук-Кайнарджийский мирный договор России с Османской империей от 1774 г. В русской версии слово *нация* встречаем трижды. Артикул 3 говорит о признании и Россией, и Портой независимости «татарской нации», которая должна объединить «все татарские народы». Далее дается перечень земель, которые Россия «уступает татарам в полное, самодержавное и независимое их владение и правление». Артикул 9 говорит о безопасности переводчиков, «какой бы нации они ни принадлежали». Наконец, артикул 11 говорит о французской, английской и других *нациях*,

1. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. СПб., 1881. С. 461.

2. Ср.: *naród szlachecki* (польск.), *natio hungarica* (лат.).

3. *Шафиров П.П.* Разсуждение, какие законные причины его царское Величество Петр Первый Царь и повелитель всероссийский, к началу войны против Карла XII, короля шведского, в 1700 году имел. СПб., 1717; *Shafirov P.P.* A Discourse Concerning the Just Causes of the War between Sweden and Russia: 1700–1721 (Translation from 1722) / Ed. by W.E. Butler. Dobbs Ferry; New York, 1973.

используя это слово как синоним в ряду с такими словами, как *империя* и *держава*¹. В целом в XVIII в. между понятиями *нация* и *империя* в России нет напряжения и противоречия.

Понятие *нация* часто использовалось в донесениях русских дипломатов, в том числе с Балкан². Слово *нация* в значении «держава», «империя» продолжало использоваться и в ходе войн с Наполеоном в тайных меморандумах, адресованных Александру I и писанных по-французски. Так, о «*toutes les nations de l'Europe*» рассуждает в своей записке от ноября 1809 г. Федор Петрович Пален³, о «*toute l'énergie de la nation russe*» говорит в своем меморандуме от 22 января 1812 г. Барклай-де-Толли⁴.

Нация как дворянская корпорация и тема прав второго сословия

В начале 1780-х гг. Денис Иванович Фонвизин работал над *Рассуждением о непременных государственных законах*, которое должно было стать введением к соответствующему проекту законов Петра Ивановича и Никиты Ивановича Паниных⁵. Братья Панины составляли этот проект для наследника Павла Петровича⁶. Проект продолжал ту линию на ограни-

1. См.: Под стягом России. Сб. архивных документов. М., 1992. С. 80, 81, 83, 84. Договор составлялся на трех языках. Во французской версии слово *nation* есть, турецкая версия слова *нация* не содержит и говорит о татарских группах (*Tevai-fi Tatar*) и о татарских странах (*Memalik-i Tartarieye*). Интересно, что понятие *нация* в русской и французской версиях используются несимметрично. Французская говорит о *toutes les nations Tartar* там, где русская говорит о *татарских народах*, и о *état politique et civil* там, где в русском варианте стоит *нация* (см.: Ausgewählte Aktenstücke zur orientalischen Frage / Hrsg. von K. Strupp. Gotha, 1916).
2. Костяков Ю. В. Сербия в Австрийской монархии в XVIII в. Калининград, 1997.
3. Внешняя политика России XIX и начала XX века. Т. 5. М., 1967. С. 294.
4. Там же. Т. 6. М., 1962. С. 267.
5. Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 254–266.
6. Письмо Павлу Петровичу с приложением проекта было подготовлено осенью 1784 г., вскоре после смерти воспитателя наследника Никиты Панина, но было доставлено адресату лишь после его восшествия на престол, когда никого из авторов уже не было в живых.

чение самодержавия, которая была заявлена в проекте Никиты Панина о создании имперского совета и расширении полномочий Сената, поданном Екатерине вскоре после ее восшествия на престол. Слово *нация* встречается в тексте более десяти раз и используется Фонвизинным как ключевое понятие, которым автор обозначает корпорацию российского дворянства. *Рассуждение* словно стоит на границе эпох — влияние идей западноевропейского Просвещения очевидно, но не менее очевидно влияние шляхетской традиции Речи Посполитой. Приведем несколько цитат:

«[Государь] должен знать, что нация, жертвуя частью естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению»¹.

«Государь есть первый служитель государства <...> преимуществва его распространены нациею только для того, чтоб он в состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой <...> силою публичной власти, ему вверенной, может он жаловать почести и преимущества частным людям, но <...> самую нацию ничем пожаловать не может, ибо она дала ему все то, что он сам имеет»².

«Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находятся в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот прямая *политическая вольность* нации. Тогда всякий волей будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать делать того, чего хотеть не должно³; а дабы нация имела сию вольность, надлежит правлению быть так устроено, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти»⁴.

Очевидно, что Фонвизин стремится обосновать понимание дворянской *нации* как источника легитимной власти монарха. Он даже рассуждает о праве *нации* восстать против нечестивого монарха: «В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом,

1. Фонвизин Д.И. Собр. соч. Т. 2. С. 261.

2. Там же. С. 262.

3. Эта фраза представляет собой цитату из екатерининского *Наказа*.

4. Фонвизин Д.И. Собр. соч. Т. 2. С. 263.

каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы»¹.

Эти рассуждения были частью сугубо тайного документа, и трудно представить их заявленными публично. Однако в ином контексте, не применительно к России, эти темы, в том числе выраженные с помощью понятия *нация*, могли появиться и в печати. В брошюре, написанной против Барской конфедерации под видом перевода с французского, Яков Иванович Булгаков многократно употребляет понятие *Нация*, рассуждая о правах польского шляхетства, а по сути используя ссылки на эти права для оспаривания легитимности преобразований, подрывавших влияние России в Речи Посполитой².

В этом сочинении понятие *нация* оказывается уже тесно связано с темой конституции и с вопросом соотношения прав *нации* и представительских учреждений, что, впрочем, имплицитно присутствовало уже в уваровском списке

1. Там же. С. 259.
2. Записки о нынешнем возмущении Польши / Перевел с французского языка капитан Н... Я... [Булгаков Яков Иванович]. СПб., 1792. Вот несколько цитат: «Мятежники нарушили тем самым святейшие условия первойшего Пакта, составляющего Польскую Нацию <...> то есть Пакта о равенстве прав всех членов военного Польского дворянства» (Там же. С. 45); «Если бы можно было позволить каждому законодательному собранию, под видом тем, будто оно уполномочено во всем от Нации, лишать все Магистраты вверенной им власти, тогда б Нация беспрерывно была подвержена ужаснейшему и пагубнейшему всех деспотизмов игу большинства собраний; коих возмущение Франции и Польши представляют нам теперь яснейший пример» (Там же. С. 22); «Знаменитое преимущество свободного избирания Польских Королей, принадлежащее Нации» (Там же. С. 37); «Нельзя тому противоречить, что Нация, установляя себе Конституцию, не лишается права оную усовершенствовать и делать в ней разные перемены, какие только ваящая ее польза потребует, но сие право ни мало не может принадлежать законодательным собраниям, если оно не вверено им единодушно от всей Нации» (Там же. С. 41).

В этом же духе, и тоже с использованием понятия *нация* для обозначения польского дворянства, говорила о делах в Польше Екатерина II в инструкции своему представителю при Тарговицкой конфедерации: «Главный интерес России — восстановление в Польше прежнего свободного правления — счастливо сходится с желанием, по крайней мере, трех четвертей населения самой этой нации» (см.: *Стегний П. В.* Разделы Польши и дипломатия Екатерины II. 1772. 1793. 1795. М., 2002. С. 588).

1730 г. Но сама трактовка прав *Нации* Булгаковым преследует цель лишить легитимности реформаторские усилия сейма. Впрочем, утилитарный, пропагандистский характер этого сочинения не отменяет важности обсуждаемого вопроса об опасности узурпации власти представительными учреждениями. Таким образом, в конце XVIII в. понятие *нация*, обозначавшее наделенное неотъемлемыми правами дворянское сословие, используется для обсуждения темы ограничения власти монарха, темы конституции и темы представительных учреждений.

Нация, конституция и представительные учреждения

Проблема *нации* как источника легитимности была поставлена со всей остротой Французской революцией. В *Декларации прав человека и гражданина* (1789) говорилось: «Источником суверенной власти является нация. Никакие учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно от нации»¹.

При этом в революционной Франции *нация* заведомо понималась как надсословная общность, наделенная суверенитетом и правом политического представительства. Утверждение понятия в его новой роли не обошлось и без иронических комментариев. В *Письмах русского путешественника*, в парижской записи от апреля 1790 г., Николай Михайлович Карамзин описывает следующий эпизод:

«В одной деревеньке близ Парижа крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними: „Vive la nation!“ — „Да здравствует нация!“ Молодой человек исполнил их волю, махал шляпою и кричал: „Vive la nation!“ „Хорошо! Хорошо! — сказали они. — Мы довольны. Ты добрый француз; ступай куда хочешь. Нет, постой: изъясни нам прежде, что такое... нация?“»

Карамзин указывает на слишком очевидное в русском контексте обстоятельство: понятие *нация* не вполне ясно

1. Французская республика. Конституция и законодательные акты / Под ред. В.А. Туманова. М., 1989. С. 26–27.

вообще и заведомо непонятно для простонародья. Тут же Карамзин не преминул отметить и весьма серьезную проблему: «Не думайте, однако ж, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре!»¹ Вопрос о том, кто же составляет *нацию*, кто действует от имени *нации*, если она не ограничивается дворянской корпорацией, становится одним из ключевых. Можно сказать, что в конце XVIII и начале XIX в. понятие *нация* заимствуется в Россию заново, уже из контекста революционной Франции.

Новое содержание понятия утверждалось довольно быстро даже на самом верху российской социальной пирамиды. 27 сентября 1797 г. наследник престола, будущий царь Александр I, отправил из Гатчины с близким другом Николаем Николаевичем Новосильцевым письмо своему почитаемому бывшему воспитателю Фредерику-Сезару Лагарпу. В письме сообщалось, что Новосильцев едет спросить «советов и указаний в деле чрезвычайной важности — об обеспечении блага России при условии введения в ней свободной конституции». Суть своего плана, призванного даровать свободу «сверху», дабы избежать революции «снизу», Александр излагал так:

«...я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться игрушкой в руках каких-либо безумцев <...> мне кажется, что это было бы лучшим родом революции, так как она была бы произведена законною властью, которая перестала бы существовать, как только конституция была бы закончена, и нация избрала бы своих представителей. Вот в чем заключается моя мысль»².

Разумеется, Александр излагал Лагарпу свою мысль на французском языке, но наследник престола Российской империи говорил именно о России и именно применительно

1. Карамзин Н.М. Избр. соч.: В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1964. С. 381–382.

2. Цит. по: Шильдер Н. Александр I // Русский биографический словарь. Т. 1. СПб., 1896. С. 141–384 (цит. с. 159–160).

к России употреблял понятие *нация* в неразрывной связи с понятиями свободы, конституции и представительства. Александр провозглашает своей целью избежать французского революционного сценария, а также подчеркивает, что заимствование идей и их распространение в обществе должны происходить «само собою разумеется, постепенно». Нетрудно разобрать эхо наставлений Фонвизина, адресованных батюшке Александра. Этот вопрос о сохранении стабильности и управляемости в ходе преобразований и заимствований станет ключевым для русской мысли XIX в., и она будет давать на него самые разнообразные ответы¹.

В реформаторских проектах Михаила Михайловича Сперанского, относящихся к первому десятилетию XIX в., слова *нация* мы не находим. Но используемое им понятие *народ* по смыслу часто оказывается идентично понятию *нация*. Конечно, французское влияние на Сперанского очевидно, и в 1812 г. обвинения в «привязанности к французской системе» стали одной из причин его ссылки. В *Отрывке о Комиссии Уложения*, написанном в 1802 г., говорится: «Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч. я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые являются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов»². Вслед за этими знаменитыми рассуждениями Сперанский делает замечание, которое затем вычеркивает, очевидно, из осторожности: «Прежде надобно создать сей народ, чтоб дать ему потом образ правления»³. Он вполне отдает себе отчет в том, что *нация* формируется через политическую практику. Во *Введении к Уложению государственных законов* (1809) Сперанский рассуждает о том, кому в России могли бы принадлежать «права политические», т.е. «право избрания и право представления», при этом прямо отсылая к опыту

1. См. подробнее: *Миллер А.* Приобретение необходимое, но не вполне удобное.

2. *Сперанский М.М.* Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 43.

3. Там же. С. 44.

«европейских государств», в которых «основалась система выборов или народного представления»¹. В течение всего XIX в. понятия *народного представительства*, *национального собрания* будут тесно связаны с понятием *нация*. Даже в самый лютей с точки зрения цензурных ограничений период 1840-х гг. редактировавшийся Михаилом Васильевичем Петрашевским словарь иностранных слов мог напечатать подробную и внятную статью *Национальное собрание*, со ссылками на опыт стран, стоящих «на высшей ступени развития», в то время как статья *Нация* могла лишь сообщить читателю, что «это слово часто употребляется вместо слова народ в тех случаях, когда имеют в виду обратить внимание читателя <...> на племенную родственность членов какого либо народа»².

Период, когда понятие *нация* использовалось для описания конституционных реформ, оставаясь почти исключительно принадлежностью франкоязычной части дискурса российских элит, продлился до середины 1820-х гг. Победа в войне с Наполеоном не сняла с повестки дня проблему политических преобразований, прежде всего конституции и *национального* представительства. Именно эти принципы были реализованы Александром I во вновь созданном Царстве Польском, получившем и конституцию, и сейм, и конституционного монарха — по совместительству российского самодержца. Именно в Варшаве по поручению царя Новосильцев начал в 1818 г. готовить *Государственную уставную грамоту*, а точнее *La charte constitutionnelle de l'Empire de Russie*. Текст писали на французском и с привлечением французских юристов³.

1. *Сперанский М.М.* План государственного преобразования графа М.М. Сперанского. М., 2004. С. 36.
2. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кириловым. Вып. 1. СПб., 1845. С. 220, 223.
3. Ближайшим сотрудником Новосильцева в этом деле был П.И. Пешар-Дешан (Deschamps), который, как отмечал близко его знавший П.А. Вяземский, «набил себе руку во Франции на приговлении и редакции» таких проектов (см.: *Мифоненко С.В.* Самодержавие и реформы: Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 149, 171–172, 181).

Если в 1797 г. Александр, тогда наследник престола, предполагал, что, после того как он дарует конституцию, «нация изберет своих представителей» и к ним перейдет власть, то в подготовленной по его распоряжению *Государственной уставной грамоте* 1819 г. единственным источником легитимности является уже сам монарх¹. Но идея *национального представительства* в проекте все же осталась: статья 91 заявляет: «La nation russe aura à perpétuité une représentation nationale»². В русском переводе XIX в. это звучало так: «Да будет российский народ отныне навсегда иметь народное представительство».

Именно в контексте своих трудов в Варшаве, в канцелярии Н.Н. Новосильцева, Петр Андреевич Вяземский задумывается над русским переводом ряда политических понятий, о которых прежде рассуждали исключительно на французском. «Многие слова политического значения, выражения чисто конституционные были нововведениями в русском изложении» — так говорил сам Вяземский о проблемах, с которыми тогда столкнулся. Вяземский консультировался по поводу перевода таких понятий с Карамзиным, и, вероятно, не только с ним. Некоторые результаты своих размышлений он излагал в письме из Варшавы 22 ноября 1819 г. Александру Ивановичу Тургеневу:

«Зачем не перевести *nationalité* — народность? Поляки сказали же: *narodowość*. Поляки не так брезгливы как мы, и слова, которые не добровольно перескакивают к ним, перетаскивают они за волосы, и дело с концом. <...> Слово,

1. Ст. 12: «Государь есть единственный источник всех в империи властей гражданских, политических, законодательных и военных». Ст. 31: «Общие законы постановляются государем при содействии общего государственного сейма».
2. Цит. по: *Schiemann Th. Kaiser Alexander I und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit*. Berlin, 1904. S. 365. (Полный французский текст см.: *La charte constitutionnelle de l'Empire de Russie / Préface de M. Th. Schiemann*. Berlin, 1903.) Интересна также ст. 94, которая говорит о *национализированных иностранцах (étrangers nationalisés)*, которые могут занимать должности в России после пятилетнего беспорочного пребывания и при условии овладения русским языком. Иными словами, критерием допуска является принятие подданства (гражданское понимание *нации*) и успешная аккультурация.

если нужно оно, укоренится. Неужели дичимся мы теперь от слов татарских, поселившихся у нас? А гораздо лучше, чем брать чужие, делать — своим, хотя и родиться должны от не всегда законного соития. Окончание *ость* — славный сводник; например: *libéralité* непременно должно быть: свобода, а *liberal* — свободностный»¹.

Будучи в Варшаве, Вяземский заимствует механизм «перевода» слова из польского языка, но думает, конечно, о либералах и свободах Западной Европы².

Важный аспект двойного значения слова *народность* становится вполне ясен из того, как в 1824 г. П.А. Вяземский, уже в печати, поучал своего оппонента, Михаила Александровича Дмитриева: «Всякий грамотный знает, что слово *национальный* не существует в нашем языке; что у нас слово *народный* отвечает двум французским словам: *populaire* и *national*; что мы говорим песни *народные* и дух *народный* там, где французы сказали бы *chansons populaire* и *esprit national*»³. Эта линия напряжения между *народностью* как *populaire* и *народностью* как *national* будет активно эксплуа-

1. Остафьевский архив князей Вяземских. Переписка князя П.А. Вяземского с А.И. Тургеневым, 1812–1819. СПб., 1899. С. 357–358. Сам Тургенев в своем письме Вяземскому еще в 1812 году писал о *национальной войне* (Там же. С. 5). Вообще изучение эпистолярного наследия той эпохи может дать представление о распространенности понятия *нация* в образованной среде. Так, В.А. Жуковский уже в 1810 г. демонстрирует вполне зрелое понимание *нации* в письме к А.И. Тургеневу: «В истории особенно буду следовать за образованием русского характера, буду искать в ней объяснения настоящего морального образования русских. Это мне кажется прекрасною точкою зрения, а со временем может выйти из моих замечаний что-нибудь весьма полезное (пишу это про тебя). Политические происшествия можно назвать воспитанием того отвлеченного существа, которое называют *нацией*» — см.: В.А. Жуковский — А.И. Тургеневу, 12 сентября 1810 г., [Муратово] (*Жуковский В.А. Собр. соч.*: В 4 т. Т. 4. М.; Л., 1960. С. 468–469).
2. Подробнее см.: *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. С. 81–112; *Он же.* *Народность и нация*.
3. *Вяземский П.А.* Разбор второго разговора // *Дамский журнал*. 1824. № 8. С. 76–77 (цит. по: *Бадалян Д.А.* Понятие «народность». С. 113). В немецком языке этот вариант двойственности тоже присутствует. Слово *narodowość*, использованное Вяземским как образец, современный польско-немецкий словарь переводит как *Nationalität* или как *Volkzugehörigkeit* (*Polnisch-Deutsch Vörterbuch*. Langenscheidts. Berlin, 1980. S. A290).

тироваться позднее в политическом дискурсе славянофилами и особенно народниками.

Разумеется, П.А. Вяземский искал именно *адекватный* перевод слов *нация*, *национальность*, *национальный*. Однако понятие *народность* в 1820-е гг. не пользовалось большой популярностью. Слово *народность* решительно не нравилось, например, Пушкину, в том числе и неопределенностью своего значения: «С некоторых пор вошло у нас в обыкновение говорить о народности, требовать народности, жаловаться на отсутствие *народности* в произведениях литературы — но никто не думал определить, что он разумеет под словом народность»¹.

В самом начале 1820-х гг. Александр I по ряду причин отказывается от планов конституционных преобразований в России как несвоевременных². Идеологически национальное представительство и конституция не отвергнуты окончательно, но из публичного дискурса эти темы изымаются. Однако в кругу тайных обществ они продолжают обсуждаться весьма интенсивно. *Русская Правда* Павла Ивановича Пестеля, которая сочетала элементы конституции и политической программы, была написана в основном в 1822–1825 гг. и в главных пунктах была одобрена членами Южного общества декабристов³. Пестель пишет *Русскую Правду* по-русски, но думает при этом по-французски и на французском оставляет пометки на полях о том, что следует писать далее. Свой русский текст Пестель просил редактировать тех соратников, которые, как он считал, знали русский лучше, чем он. Он, очевидно, был озабочен поиском русской формы и русских слов для представления своих идей — поэтому он пишет не *конституцию*, а *Русскую Правду*. Поэтому, зная и используя понятие *нация*, применительно к России он пользуется понятием «Русский Народ» как синонимом

1. Пушкин А.С. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1949. С. 40 (*О народности в литературе*).

2. Подробнее см.: Миллер А.И. Приобретение необходимое, но не вполне удобное. С. 51.

3. Подробнее о редакционной работе над *Русской Правдой* см.: Нечкина М.В. «Русская Правда» и движение декабристов // Восстание декабристов. Документы. Т. 7. М., 1958. С. 9–75.

нации. Пестель готовит этот документ с мыслью о его обновлении после победы восстания. Полное название документа говорит в этом смысле само за себя: «Заповедная Государственная Грамота Великаго Народа Российскаго служащая Заветом для Усовершенствования Государственного Устройства России и Содержащая Верный Наказ как для Народа так и для Временнаго Верховнаго Правления». Поиск подчеркнуто русских выражений вместо иностранных понятий *конституция* и *нация* связан именно с проблемой восприятия широкой публикой, для которой слово *нация* оставалось к тому времени отчетливо иностранным.

В *Русской Правде* изложен наиболее радикальный и последовательный, выдержанный совершенно во «французском духе» проект строительства нации в Российской империи. Он сочетает радикальные политические преобразования, включая уничтожение, в том числе буквальное, династии, и самую радикальную ассимиляторскую программу.

Пестель дважды использует слово *нация* в *Русской Правде*, оба раза говоря об «иностранцах, принадлежащих к разным другим нациям». Сама оговорка о *других* нациях свидетельствует, что он имплицитно имеет в виду и *нацию* Российского государства. (Вообще эта формула, в которой понятие *нация* применяется к России «по аналогии», будет весьма характерна для русского дискурса всего XIX в. Понятие *нация* вполне осознанно использовалось в XVIII в. именно как инструмент внешнеполитической репрезентации. В XIX в. эта формула часто используется уже неосознанно: если Россия среди других, то *нация*, а если речь идет только о России, вне сравнительного контекста, то естественнее употребить понятие *народ*.)

Критерием принадлежности к «другим нациям» Пестель считает, во-первых, подданство, а во-вторых, политическую лояльность и культурную идентификацию. Именно по второму критерию он выделяет среди подданных России «иностранцев», которые присягали на верность «прежним Властелинам над Россиею (т.е. династии Романовых. — А.М.), но не Россию за свое отечество признали» и считают себя не русскими, но иностранцами. Такие люди, по Пестелю,

должны либо из «иностранцев» превратиться в русских, не только подтвердив выбор российского подданства, но и сделав выбор в пользу русского языка и русской идентичности, либо лишиться российского подданства, превратившись в «нормальных» иностранцев. Из дальнейших рассуждений Пестеля ясно, что он воспринимает *нацию* (*народ*) как этнически открытую общность, связанную политически ми узами гражданства и культурно-языковым единством.

П.И. Пестель делит *народы* на большие и малые, причем он не рассматривает *народ* или *племя* как имманентную сущность и видит в малых *народах* объект ассимиляции и социальной инженерии. Он противопоставляет и подчиняет важное для эпохи романтизма «Право Народности» «Праву Благоудобства» (вторая глава, параграф 1), полагая, что «право Народности существует истинно для тех только Народов, которые, пользуясь оным, имеют возможность оное сохранить», т.е. способны отстоять его военной силой. Малые *народы*, по Пестелю, лишены такой возможности, а «посему лутче и полезнее будет для них самих, когда они соединятся духом и обществом с большим Государством и совершенно сольют свою Народность с народностью Господствующаго Народа, составляя с ним только один Народ, и переставая бесполезно мечтать о Деле Невозможном и Несбыточном»¹.

В альтернативном декабристском программном документе, заметно более краткой *Конституции* Никиты Михайловича Муравьева, говорилось об освоении русского языка, без знания которого через 20 лет после введения этой *Конституции* в жизнь нельзя будет пользоваться гражданскими правами².

В обязанности «Русского Народа», как и других больших наций, входит, по П.И. Пестелю, «охотно принимать в свою Народность племена присоединенныя, дабы они составляли в Государстве не только худо прилепленныя

1. Восстание декабристов. Документы. Т. 7. С. 121–122.

2. Гл. 2, ст. 8: «Через 20 лет по приведении в исполнение сего устава Российской империи никто не обучившийся русской грамоте не может быть признан гражданином» (текст *Конституции* см.: *Дружинин Н.М.* Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 321–326, 328–336).

к нему части, но сливались бы совершенно в общий Состав, забывали бы свою прежнюю бессильную Народность и вступали бы с удовольствием в новую Величайшую Народность». *Русская Правда*, очевидно, вдохновлялась французской моделью нациестроительства, основанной на лидирующей роли централизованного светского государства и культурно-языковой гомогенизации. Во второй главе *Русской Правды*, в параграфе 16, который имеет весьма красноречивое название «Все племяна должны слиты быть в один Народ», говорится:

«Один Народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого пространства Российскаго Государства все были Русские <...> Средства общия состоят главнейше в том, чтобы, во первых, на целом пространстве Российскаго Государства господствовал один только язык российский: Все сношения тем самым чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мыслей сделаются однородные; Люди объясняющиеся на одном и том же языке теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ <...> все сии различныя имена (племен. — *А.М.*) были уничтожены и везде в общее Название Русских во едино слиты. В третьих, чтобы одни и те же Законы, один и тот же образ Управления по всем частям России существовали и тем самым в Политическом и Гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид Единородства, Единообразия и Единомыслия. Опыты всех веков и всех Государств доказали что Народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и Законы под коими они живут»¹.

Проект Пестеля — это, кажется, единственная попытка рассматривать *всю* империю как материал для строительства *нации*. «Большое Государство» из *Русской Правды*, по сути, стремится перестать быть империей, преодолев культурную, языковую и со временем, кажется, даже

1. Восстание декабристов. Документы. Т. 7. С. 149. О французских параллелях *Русской Правды* см.: *Парсамов В.С.* Декабристы и французский либерализм. М., 2001. Гл. 3.

конфессиональную неоднородность, слив все группы подвластного населения в один «Господствующий Народ»¹.

Русская Правда — это пример реакции на качественно новую ситуацию, возникшую в результате аннексий конца XVIII и начала XIX в., когда этническая гетерогенность империи резко возросла. Тема этнической разнородности империи и способов ее преодоления, ассимиляции и аккультурации становится все более важной и описывается с помощью всего доступного набора понятий — *народ, нация, народность*.

Анализ реформистских проектов первых десятилетий XIX в. показывает, что перед их авторами с новой остротой встала проблема перевода слова *нация*, сохранявшего отчетливый привкус иностранного заимствования, на русский язык. В это время происходила эмансипация русского языка как языка публичной сферы. Частью этой эмансипации было стремление находить слова русского корня для перевода заимствуемых понятий. В ключевых политических документах, таких как различные *Уложения*, *Заповедные Грамоты* и *Русские Правды*, стремление к замене слова *нация* русскими эквивалентами (*народ, народность*) было связано с предполагавшимся в будущем публичным характером этих документов. Отсюда стремление, во-первых, использовать слова, более понятные широкой публике, и, во-вторых, избежать иностранных слов, дабы не подчеркивать лишней раз заимствованного характера предлагаемых политических идей и норм.

От перевода к редактированию, вытеснению и цензуре

Весь реформаторский и революционный дискурс как властвующим элитам, так и заговорщикам-декабристам оставался,

1. *Русская Правда* делает исключение для Польши, которая трактуется как «историческая» *нация*, способная к самостоятельному существованию. При этом перспектива предоставления Польше независимости оговаривается целым рядом условий, среди которых право России определить будущую линию границы и обязанность Польши эту границу признать, а также обязанность Польши предоставлять всю свою армию в случае необходимости в состав русской армии.

за редкими исключениями, непубличным. После восстания декабристов и польского восстания 1830–1831 гг. прежний дискурс о *нации* и *национальном представительстве* как желанной, хотя и труднодостижимой цели сменился в позиции официальных кругов отрицанием конституции и национального представительства как неуместных для России в принципе. Это потребовало и отказа от понятия *нация* как слишком тесно связанного с идеями конституционализма.

В отношении понятия *нация* Сергей Семенович Уваров произвел операцию, во многом похожую на то, что было сделано в отношении понятия *цивилизация*.

Знаменитая формула «православие, самодержавие, народность», предложенная Уваровым, знаменует этот новый этап¹. Уже в 1820-е гг. имперские элиты на основании как зарубежного, так и домашнего, декабристского опыта осознали весь масштаб опасности, таившейся для старого режима в понятии *нация*. К этому моменту становится очевидным «неудобство» понятия *нация* не только как атрибута определенного политического устройства, несовместимого с самодержавием. Оказалось также, что понятие *нация* может быть с успехом использовано элитами окраин империи для того, чтобы бросить вызов имперскому центру. 25 января 1831 г., после демонстрации в честь казненных декабристов, сейм от имени польской *нации* детронизировал Николая I.

С.С. Уваров четко сформулировал свое отношение к политическому содержанию понятия *нация*: «Приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимо-конституционной формы правления, колосс не протянет и двух недель, более того, он рухнет прежде, чем эти ложные преобразования будут завершены»². Главные элементы традиционной

1. Подробнее см.: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. С. 193–216.
2. Цит. по: Зорин А. Кормя двуглавого орла: Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII—первой трети XIX века. М., 2001. С. 361.

идеологической конструкции воспроизведены — империя в ее современном состоянии и могуча (колосс), и хрупка одновременно. Но если прежде конституция и национальное представительство рассматривались как благо, недоступное для России в ее нынешнем состоянии, то теперь это «ложные преобразования».

Остается, между прочим, неясным, какую роль в выборе именно термина *народность* сыграли сотрудники Уварова, переводившие его французские тексты на русский язык. Сам Уваров писал: *nationalité*¹, — и в ряде его русских текстов мы встречаем также слово *национальность* в контекстах, похожих на те, в которых используется слово *народность*².

Вытеснение из официального дискурса понятия *нация* было прежде всего вызвано его неразрывной связью с конституцией, национальным представительством и надсоловностью. Именно расплывчатость понятия *народность* и возможность использовать его не столько для перевода, сколько для редактирования понятия *нация* оказались востребованы. Механизм этого явления понимал Виссарион Григорьевич Белинский, который писал: «Слово же *народность* именно есть одно из тех слов, которые потому только и кажутся слишком понятными, что лишены определенного и точного значения»³. Цензура

1. См.: Зорин А. Идеология «православия — самодержавия — народности»: опыт реконструкции. (Неизвестный автограф меморандума С.С. Уварова Николаю I) // Новое литературное обозрение. № 24. 1997. С. 71–104.
2. В своей записке царю в 1843 г. С.С. Уваров говорит о необходимости подавить в среде польской молодежи мечтания о «частной народности и пустое стремление к восстановлению утраченной самобытности», понимая под *народностью* и *самобытностью* государственный суверенитет и ностальгию по Речи Посполитой. Говоря в этой же записке о немецком дворянстве прибалтийских губерний, он употребляет слово *национальность*: «мысль, что их мнимая национальность есть национальность *Германская*, сильно укоренилась между ними». См.: Десятилетие Министерства народного просвещения, 1833–1843. (Записка представленная ГИ Николаю Павловичу Министром НП графом Уваровым в 1843 году и возвращенная с собственноручною надписью ЕВ: «Читал с удовольствием»). СПб., 1864. С. 124, 50–51.
3. Белинский В.Г. Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия. (1841 г.) // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1954. С. 654.

преследовала понятие *нация*, что можно хорошо видеть на примере печальной судьбы статей Белинского, где он пытался коснуться этих вопросов даже в весьма завуалированной форме¹. Белинский в 1841 г. посчитал нужным объяснить читателю различие между словами *народность* и *национальность*:

«В русском языке находятся в обороте два слова, выражающие одинаковое значение: одно коренное русское — народность², другое латинское, взятое нами из французского — национальность <...> В их значении должен быть оттенок, если не разница большая. Так и слова народность и национальность только сходственны по своему значению, но отнюдь не тождественны <...> Народность относится к национальности как видовое, низшее понятие — к родовому, высшему, более общему понятию. Под народом более разумеется низший слой государства — нация выражает собой понятие о совокупности всех сословий государства (здесь вмешалась цензура. — А.М.³). В народе еще нет нации, но в нации есть и народ»⁴.

Народность, по мнению Белинского

«...предполагает что-то неподвижное, раз навсегда установившееся, не идущее вперед <...> Национальность, напротив, заключает в себе не только то, что было и есть, но что будет и может быть <...> Народность есть первый момент национальности, первое ее проявление. Общество есть всегда *нация*, еще и будучи только *народом*, но нация

1. Там же. С. 681; *Белинский В.Г.* Статьи о народной поэзии // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 122. Подробнее см.: *Миллер А.И.* Империя Романовых и национализм. С. 99–101.
2. Вряд ли Белинский (ошибочно) имеет здесь в виду, что *народность* слово старое, скорее — что оно образовано от русского корня.
3. Это место о включенности в *нацию* всех сословий было удалено цензурой. См.: *Белинский В.Г.* Общий взгляд. С. 681. Тема прямой связи образованных слоев и низших сословий последовательно преследовалась цензурой, которая исключила и следующее рассуждение: «Последняя (*национальность*. — А.М.) свободно разумеет первую (*народность*. — А.М.), ибо, как высшее, заключает ее в себе, но, чтоб говорить понятным языком с первой, должна наклоняться до нее» (*Белинский В.Г.* Статьи о народной поэзии. С. 122).
4. Там же. С. 121.

в возможности, а не в действительности, как младенец есть взрослый человек в возможности»¹.

В этих рассуждениях Белинского выражены и тема обращения образованных слоев к *народу* напрямую, минуя власти, и полемика с уваровским мотивом «взрослости» русской *народности*. *Нация* обсуждается Белинским в связи с такими понятиями, как *государство* и *общество*. По необходимости Белинский делал это в завуалированной форме и не мог вполне развить свои идеи — цензура внимательно следила за этими сюжетами. Весьма возможно, что именно опасением цензурных репрессий можно объяснить, почему в статье *Общий взгляд на народную поэзию и ее значение. Русская народная поэзия*, написанной в 1842 г., Белинский лишь однажды использовал слово *нация*, но многократно — слово *народ*². (Впрочем, статья все равно не прошла цензуру и была опубликована только в 1862 г.) Темы, которые Белинский пытался обсуждать в печати, занимали умы в умножавшихся как раз в то время интеллектуальных кружках, где свобода высказывания не зависела от цензуры³.

1. *Белинский В.Г.* Статьи о народной поэзии. С. 123–124. Отметим вслед за О.Ю. Малиновой (см.: *Малинова О.Ю.* Традиционалистская и прогрессистская модели национальной идентичности в общественно-политических дискуссиях 1830–1840-х гг. в России // Консерватизм в России и мире. Ч. 1 / Отв. ред. А.Ю. Минаков. Воронеж, 2004. С. 27–49) обратную иерархию *народности* и *национальности* в представлениях К.С. Аксакова: «В статье, написанной в конце 1838 — начале 1839 г., т.е. еще до разрыва с кружком Станкевича, К.С. Аксаков представлял эволюцию сообщества как диалектику общего, особенного и единичного. Роль общего в его изложении отводилась человеку, его „отречением“ в особенное оказывалась „нация“ — стадия, на протяжении которой „всякий индивидуум известного народа имеет значение во столько, во сколько он *национален*“, — а синтез общего и особенного в единичном трактовался как „возвышение“ до „народности“, когда „индивидуум освобожден, имеет качественное значение и таким образом вместе с жизнью индивидуума проявляется и жизнь общая“» (*Аксаков К.С.* Чудная страна // Вопросы философии. 1990. № 2. С. 169–170).
2. *Белинский В.Г.* Общий взгляд. С. 654.
3. Молодой П.А. Валуев, член «кружка шестнадцати», в который входили Гагарин, Лермонтов и другие яркие молодые аристократы, 6 декабря 1839 г. в своей записной книжке оставил на французском запись, адресованную Гагарину, с которым, по всей видимости, он обсуждал эти темы: «*Мысли о национальности (nationalité)*. Гагарин друг, но больший друг истина <...> Я не могу точно установить,

Более поздние работы свидетельствуют об устойчивости рассмотренных мотивов в мысли В.Г. Белинского. Например, он возвращается к ним в статье *Взгляд на русскую литературу 1846 г. О «взрослости»: «В чем состоит эта русская национальность, этого пока еще нельзя определить»*¹. О политическом содержании понятия: «Человек силен и обеспечен только в обществе; но, чтобы и общество, в свою очередь, было сильно и обеспечено, ему необходима внутренняя, непосредственная, органическая связь — национальность»².

Усилия властей давали результат, и, как писал Модест Андреевич Корф в своем дневнике 1848 г., шеф жандармов Алексей Федорович Орлов не без удовлетворения отмечал, что угроза революции в России по образцу европейских потрясений мала, поскольку

к какому времени относится изобретение этого слова. Как бы то ни было, изобретение неплохое. В наше время газетчики подразумевают под этим словом почти исключительно большую или меньшую независимость нации (*nation*), образующую среди других наций обособленное политическое целое. В этом смысле вызывают постоянно призрак польской национальности. — Но мы в нашем споре совсем не так поняли слово национальность. Применяя это слово к внешним политическим формам, ограничивая национальность рубежами, установленными правительствами, сводя ее, так сказать, только к костюму, маске, под которой народ появляется в политическом мире, забывают, мне кажется, основные элементы национальности, занимаются тем, что восстанавливают на зыбучем песке дипломатические переговоры, т.е. здание, фундамент которого должен покоиться на внутренней жизни, нравах и истории нации. Я думаю, что мы употребляли слово национальность в том смысле, которым обозначают национальный дух, национальные обычаи, национальные песни. Чтобы быть возможно более сжатым, спешу представить вашему одобрению предварительное определение слова национальность. Национальность есть целое, состоящее из языка, нравов, верований и характера нации, она является комплексом всего того, что ее существенно отделяет от других — комплексом связывающим» (см.: *Герштейн Э.Г.* Лермонтов и «кружок шестнадцати» // Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова: Исследования и материалы: Сб. 1. М., 1941. С. 77–124, цит. с. 100). Тогда же регулярно собираются кружки у И.В. Киреевского, П.Я. Чаадаева; эти кружки тоже заведомо не были чужды этой проблематики.

1. *Белинский В.Г.* Взгляд на русскую литературу 1846 г. // Белинский В.Г. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 21.
2. Там же. С. 29.

«...главный оплот наш <...> против народной <...> общей революции, в том, что у нас нет ни элементов для нее, ни орудий <...> Элементов нет, потому что свобода книгопечатания, народная репрезентация, народное вооружение и прочие, наполняющие теперь Запад идеи, для девяти десятых русского народонаселения — совершенная ахинея»¹.

В то же время, стремясь вытеснить понятие *нация* на обочину дискурса, власти открывали публичное пространство и, что особенно важно, пространство периодической печати для дебатов о *народности*. В политике имперских властей элементы националистической тактики становятся очевидны с 1830-х гг. Особенно ясно это видно в деятельности С.С. Уварова, создавшего кафедры отечественной истории, внедрившего в образование национальный исторический нарратив в его устряловской версии, стандартизовавшего университетские программы².

Изначально понятие *народность* использовалось для обозначения общности (и в этом значении могло быть более или менее сходно по значению с понятиями *народ* и *нация*) или для обозначения свойств литературных сочинений и других произведений искусства. Оба значения оставались актуальны вплоть до 1880-х гг. Вместе с тем в конце 1840-х гг. новая трактовка понятия *народность* как набора специфических характеристик, присущих тому или иному *народу*, была предложена Николаем Ивановичем Надеждиным в его докладе *Об этнографическом изучении народности русской*³. Надеждин и его взгляды на *народность*

1. ГА РФ. Ф. 728. Д. 1817. Ч. XI. Л. 144 об. — 145. Цит. по: Шевченко М.М. Конец одного Величия. Власть, образование и печатное слово в императорской России на пороге Освободительных реформ. М., 2003. С. 123.
2. Подробнее см.: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Гл. 6.
3. Впервые опубликован: Записки Русского географического общества. Кн. 2. 1847. Современная публикация: Этнографическое обозрение. 1994. № 1–2. С надеждинской интерпретацией *народности* сходна трактовка понятия *национальность* как «одинаковости обычаев и нравов» среди «лиц, принадлежащих к какому-либо одному народу», которую дает в 1845 г. словарь Н. Кирилова (Карманный словарь иностранных слов. Вып. 1. С. 221).

оказывали существенное влияние на программу деятельности Императорского Русского географического общества и дискурс этнографической науки вплоть до 1880-х гг. Мария Войттовна Лескинен, подробно рассмотревшая надеждинскую трактовку *народности*, считает, что «соотношение народа и народности у Надеждина близко к современному различению этноса и этничности»¹. Если воспользоваться словами самого Надеждина, «народы составляют предмет, которым ближайше занимается, а описание „народностей“² есть содержание, из которого складывается этнография»². Именно в этом значении употребляет в 1883 г. и позднее понятие *народность* Владимир Сергеевич Соловьев, когда пишет, что «англичане грабят народы, немцы уничтожают в них саму народность»³.

Постсевастопольская Россия. «Перезагрузка» понятия *народность*, возвращение нации

В.С. Соловьев пользовался выражением «предсевастопольский период», которое, пожалуй, более точно определяет рубеж двух эпох, чем привычное понятие «эпоха Великих реформ»⁴. Смена дискурса начинается практически одновременно с началом нового царствования, во второй половине 1850-х гг., задолго до отмены крепостного права. Атмосферу 1856–1857 гг. хорошо передает заметка Александра Ивановича Герцена, открывающая третью книгу *Полярной звезды*. «В последние два года литература наша возмужала на десять лет», — пишет Герцен и объясняет, что в томе нет обозрения русской литературы уже не потому, что недостаточно материала, но потому, что он не уверен, что «отзывы Полярной Звезды не опасны для книг и лиц в России»⁵.

1. *Лескинен М.В.* Поляки и финны в российской науке. С. 64–91 (цит. с. 67).
2. Этнографическое обозрение. 1994. № 1. С. 110.
3. *Соловьев В.С.* Национальный вопрос в России // Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 266.
4. Там же. С. 449.
5. Полярная Звезда. Кн. 3. Лондон, 1857. С. III (репринтное переизд.: М., 1966).

Понятие *нация* и производные от него не сразу возвращаются на страницы печати — это происходит скорее в самом начале 1860-х гг. Однако уже в конце 1850-х в дискурсе имперской бюрократии используется понятие *национальный*, причем прежде всего в связи с национализмом на окраинах империи. В предписании цензурным комитетам от 1858 г. в случае переиздания *Грамматки* Пантелеймона Александровича Кулиша, впервые напечатанной в Петербурге в 1857 г., указано исключить из нее статьи, «проникнутые национальным украинским духом»¹. В 1860-е устойчиво присутствует в языке бюрократии понятие *национальный вопрос*. Собираясь в инспекционную поездку в Киевское генерал-губернаторство летом 1864 г., Петр Александрович Валуев так формулировал свои задачи в докладной записке царю: «В отношении к национальному вопросу надлежит обратить внимание на стремления малороссийского сепаратизма и наблюдать за тем, чтобы под видом патриотического противодействия полонизму так называемые украинофилы не организовали в народных массах противодействия правительственному великорусскому началу единства России»². Понятие *нация* и производные от него активно используются в начале 1860-х и в дискурсах окраинных националистов³.

В начале 1860-х гг. впервые заявленная в печати, в первую очередь в журнале *Основа*, идеология украинского национализма поставила под вопрос концепцию общерусской *народности*, объединяющей великороссов, малороссов и белорусов. Этот вызов приобретал особое значение в условиях освобождения крестьян, когда актуальными становились вопросы массового начального образования и языка преподавания в начальных школах, а также проблема включения крестьян в *нацию* (или *народность*) в качестве

1. РГИА. Ф. 772. Оп. 1, ч. 2. Ед. хр. 4503.

2. Там же. Ф. 908. Оп. 1. Ед. хр. 231. Л. 4 об.

3. Н.И. Костомаров, например, в известной статье *Две русские народности* дважды говорит о том, что «в Великороссии великий князь заменил общественную волю всей нации» (*Основа*. СПб., 1861. № 3. С. 74–75. Подробнее анализ публицистики журнала *Основа* см.: *Миллер А.И.* Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении. СПб., 2000).

субъекта. Новую остроту этим сюжетам придали события 1863–1864 гг., связанные с польским восстанием. Эти две темы — национального сепаратизма на окраинах и консолидации русской *нации* — существуют уже нераздельно в дискурсе 1860-х гг.

Наиболее активны в обсуждении этих вопросов катковские издания. Сам Михаил Никифорович Катков уделяет им пристальное внимание. До 1863 г. в его публицистике чаще используется понятие *народность*, содержание которого, впрочем, становится очень близко понятию *нация*. В ответ на статью Николая Ивановича Костомарова *Две русские народности*, где речь шла о великорусах и малорусах / южнорусах как об отдельных *народностях*, Катков писал: «Возмутительный и нелепый софизм <...> будто возможны две русские народности и два русских языка, как будто возможны две французские народности и два французских языка!»¹ Здесь «русская народность», очевидно, используется в значении «нация»². Тогда же, по аналогии с европейскими державами и в связи с вызовом со стороны украинского национализма, в русской мысли начинает активно разрабатываться тема разграничения между русской *нацией* и русской *национальной территорией*, с одной стороны, и *империей*, с другой³.

В 1863 и 1864 гг. Катков уже много пишет именно о *нации*, прежде всего в связи с вопросом о «принципе национальности», т.е. о праве *наций* на самостоятельное политическое существование и о целостности *империи*, которую он трактует как государство русского *народа*:

«Прилагать принцип национальности там, где он ведет к разъединению, было бы противно закону исторического

1. Катков М.Н. 1863 год. Собрание статей по польскому вопросу, помещавшихся в Московских Ведомостях, Русском Вестнике и Современной Летописи. Вып. 1. М., 1887. С. 276.
2. Параллельное использование понятий *народность*, *нация*, *национальность* как сходных по смыслу было типично для 1860-х гг. Н.Я. Данилевский в *России и Европе* (1869) использует *народность* и *национальность* как синонимы, причем *национальность* чаще и более охотно.
3. Подробно см.: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм. Гл. 7.

прогресса, но его должно прилагать везде, где он может скреплять политическое единство. Нация не все равно, что племя и даже не все равно, что народ. Нация есть понятие политическое. Только история, только продолжительная политическая жизнь способна вырабатывать нации, и чем политическая жизнь богаче, тем крепче бывает национальное единство. Но с другой стороны никакой политической успех невозможен, если внутренняя политика государства не имеет национального характера. Космополитических государств на свете быть не может. <...> Скрепление государственного единства, соединение племен в политическую нацию, гордящуюся своими учреждениями и их национальным характером, вот где настоящее место для благотворного приложения принципа национальности. В этой, принадлежащей ему политической сфере принцип национальности будет не разъединять людей, не отчуждать их друг от друга, а сближать их и связывать, превышая их политический дух и политическое самосознание. Вот это применение, которое принцип национальности должен получить в нашей политике»¹.

Очень часто в текстах М.Н. Каткова появляется в это время пропагандистское словосочетание «национальное чувство»: «нет в мире народа, в котором национальное чувство было бы так сильно и крепко как в русском народе»². Это составляет очевидный контраст с его настроениями 1861 г., когда он еще не принял на себя роли главного пропагандиста русского национализма: «Русская народность еще сама сомневается в себе, ищет себя и не обретает. Где на народность большой спрос, где о ней слишком много толкуют, там значит ее мало или там ее нет в наличности»³.

1. Катков М.Н. Передовая статья. Московские ведомости. 1863. 26 июня // Собрание передовых статей Московских Ведомостей. 1864 год. Вып. 3. М., 1887. С. 528 (я признателен С. Абесгауз за указание на эту цитату). К похожему рассуждению Катков возвращается неоднократно. См., например: Там же. С. 879.
2. Московские ведомости. 1865. 21 мая. № 110. См. также: Там же. 11 февр. № 34.
3. Катков М.Н. Наш язык и что такое свистуны // Русский вестник. Т. 32. М., 1861. С. 13. Мотив недостаточной национальной сплоченности,

Эта смена дискурса в условиях польского восстания была характерна для большей части общества. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин не замедлил уже в сентябре 1863 г. откликнуться на это со свойственным ему сарказмом, комментируя патриотическое воззвание группы студентов:

„Никогда и ни в каком случае не станем мы рознить с Русским народом. Его дело — наше дело, его знамя — наше знамя. Мы Русские“. Прекрасно. Периода нет, но отрывистость речи оправдывается отрывистостью чувств, и в некоторых случаях наукою о словосочинении не токмо не возбраняется, но даже поощряется. Относительно орфографии замечание то же. Сверх сего, я должен заметить, что молодым людям на всякий случай следовало объяснить более обстоятельно, в чем, по их мнению, заключается „дело и знамя русского народа“. Ибо насчет этого в узаконениях прямых указаний не имеется, а ученые специалисты находятся по этому случаю в постоянном друг другу противоречии и даже во взаимной вражде. Одно знамя вручает русскому народу г. Чичерин, другое — г. Аксаков, третье — г. Катков. Наконец, г. Краевский полагает, что можно и совсем без знамени, а делай, что приказано, — ведь и это тоже своего рода знамя. Среди этих многочисленных „предложений услуг“ русский народ теряется и не знает, за какое знамя ухватиться, но кажется, что до сих пор он всего умильнее поглядывает на знамя г. Краевского»¹.

Салтыков-Щедрин прежде всего хочет продемонстрировать читателю, как конструируется фантом «народного знамени и дела». Другая тема, затронутая в этом отрывке, постоянно возвращается в публицистике Салтыкова-Щедрина — это тема иррациональности и примитивности определенных идеологических конструкций как условия их популярности:

«На этот вопрос нам яснее всего ответит первый попавшийся пример: славянофилы, ультрамонтаны, спириты,

недостаточной национальной энергичности почти неизменно возникает в русских рассуждениях о *нации* и *народности*, когда речь заходит о сравнении с образцами — Британией, Францией, Германией.

1. Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 6. М., 1965. С. 19.

националисты, то есть те направления, которые наиболее близки к понятиям масс. Все они в неведении и бессознательности видят необходимое условие цельности жизни, все они ставят человека в безусловную зависимость от таинственных сил и таким образом как бы узаконяют его вечное несовершеннолетие. Несмотря на внутреннее согласие этой теории с практикою масс, мы должны, однако ж, сознаться, что упомянутые воззрения все-таки составляют шаг вперед противу грубых требований толпы. Уже одно то, что они вынуждены формулировать свои положения, оправдать их и до известной степени примирить с требованиями разума, представляет громадную разницу с воззрениями толпы, которая ничего не объясняет, ни на что не отвечает, а только упорствует и живет. Необходимость оправдываться и выслушивать возражения значительно очищает учения, преисполненные даже самых вопиющих предрассудков, и полагает первое звено для общения»¹.

Похоже, что М.Е. Салтыков-Щедрин в 1860-х был одним из первых, кто начал говорить не столько о *нации*, сколько о *националистах* и *национализме*.

Впрочем, М.Н. Катков подвергался критике и с противоположного идеологического фланга. Хулитель Запада и борец с католицизмом Александр Викторович Рачинский в связи со статьями Каткова саркастически писал в 1871 г.:

«Разве не двинулось со страниц „Московских ведомостей“, и в отпор систематическому воссоединению с Государством западного края, блуждание по темному и тернистому пути обрусения римского католицизма в России?.. Разве не закипела от тех же „Ведомостей“ работа объевропеинья России посредством языческого классицизма и перерождения русской народности в одну из европейских *национальностей*?»

И далее:

«[Примите поздравления] с торжеством на русской православно́й почве языческого латинского классицизма. Теперь

1. *Салтыков-Щедрин М.Е.* Свобода речи, терпимость и наши законы о печати (1869 г.) // Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 9. М., 1970. С. 109.

беспрепятственное вступление русской *patii* (именно так, латиницей Рачинский написал это слово. — А.М.) в семью европейскую — несомненно. Прочь, варварская народность, прочь, слепая вера, прочь, христианское просвещение: да здравствует, да процветает *нация, религия, цивилизация!!!*»¹

Рачинский совершенно осознанно фиксирует трактовку понятия *народность* как опирающейся на религиозную общность, причем с сугубо византийскими корнями, и принципиально отличной от западной политической традиции *нации*, как он ее понимает. Он протестует против стремления Каткова размыть эту оппозицию и использовать *народность* и *нацию* как синонимы, в духе европейской либеральной традиции².

Эти несколько невнятные саркастические замечания Рачинского, кстати близкого друга Константина Петровича Победоносцева³, отражали то консервативное направление

1. Письма А.В. Рачинского попечителю Виленского учебного округа И.П. Корнилову: ОР РНБ. Ф. 377. Ед. хр. 1034. Л. 34 (письмо от 11 июля 1871 г.); Л. 36 (письмо от 17 июля 1871 г.). Я признателен М.Д. Долбилову за эту цитату. Подробно об А.В. Рачинском см.: *Долбилов М.Д. Русский край, чужая вера: власть и этнорелигиозная идентичность в северо-западных губерниях при Александре II*. М., 2010.
2. М.Н. Катков отлично осознавал возможность таких возражений и уже в 1866 г. писал: «Ни христианство, ни православие не совпадают с какою-либо одною народностью <...> Как православными могут быть и действительно есть и не-русские люди, так точно и между русскими есть неправославные <...> Было бы в высшей степени несообразно ни со вселенским характером православия, ни с политическими и национальными интересами России отменять от русского народа всех русских подданных католического или евангелического исповедания, а также еврейского закона, и делать из них, вопреки здравому смыслу, поляков или немцев. Народы различаются между собой не по религиозным верованиям, а прежде всего по языку, и как только русские католики и евангелики, а равно и евреи усвоили бы себе русский язык не только для общественного житейского своего обихода, но и для духовной своей жизни, они перестали бы быть элементом в национальном отношении чуждым, неприязненным и опасным русскому обществу» (см.: *Московские ведомости*. 1866. 10 марта. № 53; цит. по: *Катков М.Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей», 1866. М., 1897. С. 154*). В этой цитате очень хорошо видно, как Катков сознательно перемежает понятия *народность*, *народ*, *национальные интересы*.
3. См.: *Полунов А.Ю. Константин Петрович Победоносцев. Вехи политической биографии*. М., 2010. С. 24.

размышлений о *нации* и национализме, наиболее ярким представителем которого был, наверное, Константин Николаевич Леонтьев. Правда, в отличие от Рачинского, Леонтьев использовал в своих работах понятие *нация*, а в начале 1870-х даже не придавал ему негативного смысла. Так, в статье *Панславизм и греки* Леонтьев писал:

«Немцы — нация. Славяне — племя, разделенное на отдельные нации языком, бытом, прошедшей историей и надеждами будущего. Немцы могли соединиться в одно союзное государство. Славяне могут составить лишь союз отдельных государств. Этнографически немецкое государство и немецкую нацию можно уподобить большой планете, около которой есть лишь два одноплеменных спутника германского племени — Голландия и Скандинавия. Россия — планета со многими спутниками, похожими этнографически не на Баварию или Ганновер (Баварию или Ганновер можно было бы уподобить лишь отдельному Новгородскому или Малороссийскому царству), а на Голландию и Швецию»¹.

Очевидно, что здесь понятие *нация* у Леонтьева тесно связано с государственностью и с особой степенью культурной близости, в то время как *племя* — понятие, обозначающее общность более широкую и аморфную.

В работе 1875 г. *Византизм и славянство* К.Н. Леонтьев уже начинает развивать представление о современном ему национализме (это слово он и использует) как о силе, неразрывно связанной с либерализмом и конституционным устройством. В этом качестве национализм оказывается орудием либерального «упрощения», борьбы с аристократическим принципом внутри отдельных обществ и нивелирования человеческих обществ в мировом масштабе². Наиболее четко эти идеи были представлены Леонтьевым в брошюре *Национальная политика как орудие всемирной революции*³. Главный тезис

1. См.: *Леонтьев К.Н. Панславизм и греки* // Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 5: Восток, Россия и славянство. М., 1912. С. 12 (первая публикация в *Русском вестнике* в 1873 г.).

2. См.: *Он же. Византизм и славянство* // Леонтьев К.Н. Собр. соч. Т. 5. С. 10–261.

3. *Он же. Национальная политика как орудие всемирной революции*. М., 1889.

дан чеканной формулой: «Движение современного политического национализма есть не что иное, как видоизмененное только в приемах распространение космополитической демократизации»¹. Национализм у Леонтьева оказывается борьбой со всяческой традиционной оригинальностью за установление светского либерально-конституционного уравнительного порядка, «космополитизмом идей и чувств»²:

«Все эти нации, все эти государства, все эти общества сделали за эти 30 лет огромные шаги на пути эгалитарного либерализма, демократизации, равноправности, на пути внутреннего смещения классов, властей, провинций, обычаев, законов и т.д. <...> Все общества Запада за эти 30 лет больше стали похожи друг на друга, чем было прежде. Местами более против прежнего крупная, а местами более против прежнего чистая группировка государственности по племенам и нациям есть поэтому не что иное, как поразительная по силе и ясности своей подготовка к переходу в государство космополитическое, сперва европейское, а потом, быть может и всемирное!»³

«Наияснейший первообраз новой Европы» К.Н. Леонтьев видит в «эгалитарно-либеральной» Франции⁴. Россия, по Леонтьеву, вступила на путь революционно-эгалитарного национализма с отменой крепостного права: «Политика племенная, обыкновенно называемая национальной, есть не что иное, как слепое орудие все той же всесветной революции, которой и мы, русские, к несчастью, стали служить с 1861 года»⁵.

Особенный интерес представляет заключение этой брошюры, где К.Н. Леонтьев, отвергнув и осудив современный национализм, не желает отказываться от самого понятия и говорит об «истинно-национальном» призвании России, которое должно быть «культурное, а не чисто-политическое»⁶.

1. Там же. С. 6.
2. Там же. С. 10.
3. Там же. С. 13.
4. Там же. С. 19.
5. Там же. С. 44.
6. Там же.

Иными словами, Леонтьев хочет отделить «истинно-национальное призвание» от тех либерально-демократических принципов, которые так прочно с ним ассоциируются. Именно эта тактика антилиберальных сил вскоре позволит им в значительной мере присвоить понятие *нация* и изменить его содержание. Сам Леонтьев надежды на осуществление «истинно-национальной миссии» прямо связывал с «современной реакцией» в России¹.

Конечно, аристократическое реакционерство Леонтьева, сожалевшего о том, что рабство, религиозность и утонченный разврат уходят в прошлое, было слишком экзотическим цветком, но в упрощенном (и извращенном) виде его аргумент о необходимости отделить национализм от идей конституционализма, светскости и демократизма был усвоен широко. Так в 1880-е гг. традиционная конструкция, в которой *нация* и *национализм* являются источником угрозы и одновременно необходимым ресурсом, получает новое содержание.

Принципиальная «незападность» русского общественного устройства важна, разумеется, и для таких оппонентов М.Н. Каткова, как славянофилы. Один из аспектов этой темы — взаимоотношения русской *нации* с империей и династией. Славянофилы считали, что русский народ отказался от политического бремени в пользу самодержавной монархии, демократы и те либералы, которые не были настроены националистически, говорили о свержении самодержавия на пути к общей свободе и гармонизации отношений между различными этническими группами империи. Националисты же, в том числе из среды поздних славянофилов, ставили вопрос о том, что империя должна служить прежде всего интересам русской *нации*, а не династии². Отчасти реакцией на эту позицию становится

1. *Леонтьев К.Н.* Национальная политика как орудие всемирной революции. С. 48.
2. См., например, относящиеся к 1864 г. рассуждения М.П. Погодина: «Русский государь родился, вырос из Русской земли, он приобрел все области с русскими людьми, русским трудом и русской кровью! Курляндия, Имеретия, Алеутия и Курилия суть воскрылия его ризы, полы его одежды, а его душегрейка есть Святая Русь <...> видеть

постепенная национализация династии Романовых при Александре III и Николае II.

Другой аспект темы — определение тех территорий и групп населения, которые должны были стать частью русской *национальной территории* и русской *нации*, и, как следствие, тех окраин империи и групп населения, которые не рассматривались как объекты ассимиляции в обозримом будущем¹. В 1880-е гг. киевский противник украинского движения Михаил Владимирович Юзефович сформулировал лозунг «единой и неделимой России», который для него означал не единство империи во всей ее полноте, но именно единство *русской нации* как объединяющей всех восточных славян². В это же время формула «исконно русские земли» становится неотъемлемой частью официального языка.

В 1880-е гг. не только реакционеры и традиционалисты, но и либералы смещают внимание с *нации* на *национализм*. Ярче всего это видно в работах В.С. Соловьева, для которого в этот период данная тема была центральной³. *Нация* и *народ* у Соловьева зачастую выступают как синонимы⁴. *Нация* порой трактуется как вневременное явление: Соловьев, например, говорит о *нациях* в древнем мире⁵, о «важной культурной нации Финикии»⁶. *Народность* и *национальность*

в государе не Русского, а сборного человека из всех живущих в России национальностей, это есть такая нелепость, которой ни один настоящий русский человек слышать не может без всякого негодования» (*Погодин М.П.* Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний, 1831–1867. М., 1867. С. 189). В начале XX в. эти идеи выражались уже более лапидарно: «Русский национализм, как я его понимаю, есть признание права русского народа получить возмещение расходов, понесенных им в постройке империи» (*Сигма [Сыромятников С.Н.]* Дома. XLII // Новое время. 1903. 9 (22) февр. № 9675).

1. В связи с этим начинает расширяться понятие *инородец*.
2. Именно от «единой и неделимой России» был поставлен в Киеве в 1888 г. памятник Богдану Хмельницкому.
3. Его сборник *Национальный вопрос в России* выдержал 3 издания (1884, 1888, 1891). Последнее издание, состоящее уже из двух выпусков, включает статьи за 1883–1891 гг. Цит. по изданию 1989 г.: *Соловьев В.С.* Национальный вопрос. С. 257–637.
4. Там же. С. 261.
5. Там же. С. 355.
6. Там же. С. 365.

понимаются им в надеждинской традиции, как набор специфических характеристик¹.

«Мания национализма, — считает Соловьев, — есть господствующее убеждение наших дней»². Понятия *народность*, *национальность* и *национальная идея* Соловьев использует как положительные, обозначающие освободительные устремления, *национализму* же он придает исключительно отрицательное значение:

«Различие между национальностью и национализмом — то же самое, что между личностью и эгоизмом <...> Народность есть положительная сила, и всякий народ имеет право на независимое (свободное от других народов) существование <...> Национальная идея, понимаемая в смысле политической справедливости, во имя которой защищаются и освобождаются народности слабые и угнетенные <...> заслуживает всякого уважения и симпатии. <...> Национализм или национальный эгоизм, то есть стремление отдельного народа к утверждению себя на счет других народностей, к господству над ними, есть полное извращение национальной идеи»³.

Такую трактовку *национальной идеи* становилось крайне затруднительно совмещать с повесткой дня русского национализма, который выступал за целостность империи. Тема политического представительства не связывается уже у Соловьева с темой *нации*.

В.С. Соловьев отмечает популярность новой, органицистской трактовки *нации*, говоря о «зооморфическом идоле, которому служат нынешние националисты»⁴. «Родоначальниками нашего национализма» Соловьев объявляет славянофилов⁵, отрицая либеральные корни национализма

1. См. уже цитированное: «Англичане грабят народы, немцы уничтожают в них саму народность» (Соловьев В.С. Национальный вопрос. С. 266, 269).

2. Там же. С. 516.

3. Там же. С. 518.

4. Там же. С. 631. Среди тех, кто активно использовал понятие *национальный организм* был, например, Ф.М. Достоевский. См.: *Достоевский Ф.М.* Собр. соч.: В 15 т. Т. 14. СПб., 1995. С. 117, 291.

5. Соловьев В.С. Национальный вопрос. С. 501.

и превращая таким образом национализм в консервативную идеологию. В отличие от К.Н. Леонтьева, осуждавшего либеральный национализм и предлагавшего собственную версию «правильного» национализма, Соловьев вовсе не пытается предъявить права на национализм, отстоять его либеральную генеалогию, но однозначно его осуждает, «отдает» на откуп идейным и политическим оппонентам. В статье *Национализм* для словаря Брокгауза — Ефрона, написанной Соловьевым, *национализм* характеризуется как «знамя дурных народных страстей», «переразвитие национального чувства», а популярность *национализма* объясняется «ошибочным его смешением с патриотизмом»¹.

Обозначившаяся уже в 1860-е гг., к 1880-м гг. вполне набирает силу тенденция использовать понятие *нация* прежде всего для обсуждения темы этнической или расовой консолидации, а также темы *нации* как организма и как мистической духовной связи². Неразрывно связанная с понятием *нация* в первой половине XIX в., тема политического представительства и конституции теперь чаще всего артикулируется либералами без использования этого понятия. В социалистической части политического спектра *нация* все чаще подчиняется *классу* или вытесняется им.

Понятие *народность* в 1880-е гг. почти выходит из употребления. В языке конца XIX — начала XX в. *народность* чаще всего обозначает этническую группу, причем издававшаяся тогда *Большая Энциклопедия* полагала, что человеческие коллективы «постепенно развиваются из народности

1. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 20а. СПб., 1897. С. 710, 713.
2. В 1886 г. вышел русский перевод эссе Эрнеста Ренана *Что такое нация?*, где расовая трактовка *нации* и тема духовной связи занимают центральное место. Впрочем, расовые мотивы связываются с *нацией* уже в 1870-е гг. Так, А.Н. Пыпин в 1875 г. писал: «...„национальность“, „раса“ имеют важное значение в истории развития народа» (*Пыпин А.Н. Древний период русской литературы и образованности. Сравнительно-исторические очерки // Вестник Европы. 1875. № 11. С. 104*). В начале XX в. связь *нации* и *расы* была настолько прочной, что словарь Гранат вместо статьи о *нации* помещал отсылку к статье *Раса и Ассимиляция*, давая обширную статью *Национальный вопрос* (*Энциклопедический словарь Гранат. 7-е изд. Т. 30. Пг., 1916. С. 69*).

в национальность и из национальности в нацию»¹. Ни эта энциклопедия, ни широко распространенные в то время энциклопедические словари Брокгауза — Ефрона и Гранат не содержат отдельных статей о *народности*. То определение *народности*, которое дал в 1873 г. Александр Дмитриевич Градовский, позднее стало основой для определения *нации* во многих толковых словарях и энциклопедиях².

Начало XX в.

В 1915 г. публицист и библиограф Николай Александрович Рубакин посвятил один из выпусков своего труда *Среди книг* обзору литературы по *национальному вопросу*. Приведенный им список, охватывающий почти исключительно публикации предыдущего десятилетия, насчитывает около 700 позиций. Кроме того, в самом обзоре Рубакин неоднократно отсылает читателя к публикациям, включенным в предыдущие разделы его библиографии, так что

1. Большая Энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания / Под ред. С.Н. Южакова. Т. 13. СПб., [1903]. С. 715. Примеры такой иерархии понятий можно встретить и в конце XIX в. Так, известный миссионер Н.И. Ильминский 21 апреля 1891 г. писал К.П. Победоносцеву о народах Поволжья: «Я полагаю, что такие мелкие разрозненные народности не могут прочно существовать и, в конце концов, они сольются с русским народом самим историческим ходом жизни» (Письма Н.И. Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву. Казань, 1895. С. 399).
2. А.Д. Градовский писал о *народности* как о «совокупности лиц, связанных единством происхождения, языка, цивилизации и исторического прошлого», которая «имеет право образовать особую политическую единицу» (*Градовский А.Д. Национальный вопрос в истории и литературе*. М., 1873. С. 10). Ср.: «Нация — совокупность лиц, связанная сознанием своего единства, главными факторами которого являются: общность происхождения, общность языка, религии, быта, нрава, обычаев и исторического прошлого» (Карманная энциклопедия и словотолкователь по новейшим источникам / Сост. Д.Н. Сеславин. СПб.; Киев; Харьков, 1902. С. 246). Ср. также: «...совокупность индивидов, связанная сознанием своего единства, общности происхождения, языка, верований, быта, нравов, обычаев, исторического прошлого и солидарностью социальных и политических интересов настоящего» (Нация // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 2-е изд. В 2 т. 4 вып. Т. 2, вып. 3. СПб., 1909. Стб. 693–694).

можно уверенно утверждать, что он оперирует примерно одной тысячей наименований¹. Далеко не полный обзор Рубакина служит убедительной иллюстрацией тезиса, выказанного в начале статьи, — объем материала для начала XX в. настолько велик, что требует специально исследования, далеко выходящего своим масштабом за формат статьи. Здесь есть место лишь для самых общих наблюдений о самом исследовании Рубакина, автор которого не скрывает своих либеральных убеждений, что, конечно, делает его обзор довольно тенденциозным.

Вполне в духе времени Рубакин уделяет заметно больше внимания трактовкам *национального вопроса* и *национализма*, чем *нации*, что отражает смещение внимания к понятиям, непосредственно связанным с политической активностью, получившей, наконец, после 1905 г. легальное пространство. Своего отрицательного отношения к национализму автор вовсе не скрывает:

«Литература по национальному вопросу подавляет теми человеконенавистническими тенденциями, которыми в большей или меньшей степени проникнуто огромное большинство произведений, разработке национального вопроса посвященных <...> Национальный вопрос это вопрос о борьбе, о грызне национальностей между собой, потому что не о единении человечества обыкновенно говорят люди, выдвигая на первый план национальные различия и так называемые „национальные идеи“, а о разьединении его, о поддержании, хотя бы даже искусственном и насильственном, тех различий, какие в разных племенах и расах наблюдаются»².

Рассуждая о том, что такое *нация* и *национальность*, Рубакин сразу отмечает многообразие мнений по этому вопросу. Он выделяет четыре основных подхода: «метафизическую точку зрения», понимающую *нацию* как мистический

1. См.: Рубакин Н.А. Национальный вопрос // Рубакин Н.А. Среди книг. Т. 3, полутом 1. Пг., 1915. С. 100–198.
2. Там же. С. 105. Итак, для Рубакина *нация* связана с племенными и расовыми различиями. В очерке также очевидно противопоставление больших *наций* малым *народностям* и *национальностям*.

организм, рационально неопределимый¹; «психологическое (волюнтаристское) направление»²; «эмпирическое направление, ограничивающееся перечислением элементов, присущих нации»³; наконец, «экономический материализм»⁴. У Рубакина *нация* практически исчезает как «сущность» и со всей очевидностью приобретает черты ключевого понятия, оспариваемого различными идеологами и политическими силами⁵. Он также пытается выстроить классификацию и одновременно генеалогию типов русского национализма:

«1) народность официальная; 2) славянофильство раннее; 3) славянофильство позднейшее; 4) славянофильство современное; 5) реакционный национализм Каткова и наших дней, представителями которого являются крайне правые; 6) национализм октябристского оттенка; 7) национализм либеральный, представителями которого могут считаться писатели, группирующиеся около „Русской Мысли“ и сборника „Вехи“»⁶.

Себя Рубакин позиционирует вне этого поля, вероятно, близко к Павлу Николаевичу Милюкову и основной группе кадетов, которые видели себя в оппозиции к национализму.

В качестве типичного примера взгляда на эти темы из правой части спектра, где-то на границе тех групп, которые Н.А. Рубакин описывает под пунктами 5 и 6, можно

1. Примером такого подхода Рубакин вслед за Н.А. Бердяевым считает славянофильство (*Рубакин Н.А. Национальный вопрос*. С. 103).
2. Здесь в качестве образца приведен Э. Ренан (Там же).
3. В качестве представителя этого направления упомянут П.Л. Лавров (Там же. С. 104).
4. Здесь упоминаются К. Каутский, О. Бауер, из российских авторов — Х. Житловский.
5. См., например: «„Нет человечества, существуют лишь нации“; — говорит националист. „Нет наций: существуют лишь народности“; — говорит сепаратист. „Народности, это — осужденные на исчезновение, случайные, несущественные видоизменения нации“, — возражает „сепаратисту“ паннационалист. „Нации и народности — это не больше, как осужденные на исчезновение, случайные, неестественные модификации человечества“, — покрывает эти голоса своим голосом космополит» (Там же. С. 112). Подробнее о нации как ключевом символе, оспариваемом разными политическими силами, см.: *Verdery K. Whither «Nation» and «Nationalism»? // Daedalus. 1993. Summer. P. 37.*
6. *Рубакин Н.А. Национальный вопрос*. С. 116.

привести выдержавшую как минимум три издания книгу члена Киевского клуба русских националистов Павла Ивановича Ковалевского *Национализм и национальное воспитание в России*¹. Это сочинение, представляющее собой набор весьма противоречивых, нередко интегрально-националистических, расистских и даже протофашистских тезисов, представляет интерес в контексте нашего исследования, поскольку значительная его часть посвящена определению ключевых, с точки зрения Ковалевского, понятий националистической мысли. Определяет и развивает эти понятия Ковалевский с помощью многочисленных отсылок к тем авторам, из трудов которых он извлекает близкие его взглядам цитаты².

Нация, по Ковалевскому, это

«...группа людей, занимающая определенную *территорию* на Земном шаре, объединенная одним разговорным языком, исповедующая одну и ту же *веру*, пережившая одни и те же *исторические судьбы*, отличающаяся одними и теми же *физическими и душевными качествами* и создавшая известную *культуру*. *Национальный* — свойственный, присущий данной нации. *Национальность* — собрание свойств и качеств, присущих той или иной другой нации»³.

Ковалевский проводит различие между *нацией* и *народом*:

«В русском языке есть слова „народ“, „народность“, „народный“. Но это не то же, что нация, национальность, национализм. Это или больше, или меньше. Словом „русский народ“ обозначают или состав жителей всего Российского государства, и тогда в это государственное понятие входит 150 наций, составляющих Российскую империю, или словами „русский народ“ обозначают сословие, класс людей, простой класс народонаселения»⁴.

1. *Ковалевский П.И.* Национализм и национальное воспитание в России. СПб., 1912.

2. Круг цитируемых Ковалевским современников достаточно широк — от М.О. Меньшикова до П.Б. Струве, а из текстов прошлого ему особенно нравится цитировать *Русскую Правду* П.И. Пестеля (Там же. С. 68–69, 253, 359).

3. Там же. С. 65–66.

4. Там же. С. 68.

Это рассуждение замечательно по двум причинам. Во-первых, *нация* у Ковалевского выступает как этническая группа, отсюда 150 *наций* в Российской империи, что парадоксальным образом близко позднему советскому дискурсу. Во-вторых, для общности, охватывающей всех подданных / граждан империи, Ковалевский предпочитает понятие *народ*.

Целый набор понятий, производных от *нации*, становится предметом его обсуждения и наукообразного толкования — *национальное чувство, национальное сознание* и т.д.¹ Среди ключевых для Ковалевского — понятия *национализация, национализировать*. «*Национализировать* значит внедрять в ту или другую группу людей свойства, присущие той или другой нации». Ковалевский утверждает, что «в настоящее время русская нация очень слабо национализирована»². Хотя Ковалевский говорит о становлении сознательного русского национализма после того, как «Верховная власть 17 октября 1905 г. признала самосознание русского народа настолько установившимся, что призвала граждан к принятию участия в устройстве и управлении государством»³, он связывает недостаточную *национализацию* не столько с недостаточной включенностью людей в политическую и гражданскую активность, сколько с недостатком *национального сознания*, т.е. этнической мобилизации и индоктринации⁴.

П.И. Ковалевский использует понятие *нация* в типичном для XX в. ключе — как инструмент исключения из национальной общности своих политических противников: «В настоящее время большинство русской интеллигенции не только анационально, но прямо антинационально»⁵. В связи с этим у Ковалевского возникает и расовый мотив,

1. Ковалевский П.И. Национализм. С. 83–84.

2. Там же. С. 66.

3. Там же. С. 55.

4. Формулируя свой политический идеал, Ковалевский переписывает триаду Уварова, в которой считает нужным заменить лишь *народность*: «В основе исповедания русской национальной партии лежат следующие три положения: самодержавие, православие и русское единоедержавие» (Там же. С. 209).

5. Там же. С. 58.

когда он доказывает, что интеллигенция должна быть проникнута «живым чувством кровной своей связи с данной национальной группой»¹.

Другой способ *национализации* — это «внедрение национальных свойств одной нации другой нации»², «сознательное и умышленное насаждение национальных свойств и качеств державной нации в нациях культурно слабых и соподчиненных»³.

В контексте западных окраин П.И. Ковалевский весьма схож по своей интерпретации *нации* и *национализма* со своим современником, идеологом интегрального украинского национализма Дмитрием Ивановичем Донцовым. Есть все основания полагать, что эта связь не случайная. Поэтому изучение роли обстоятельств, характерных для оспариваемых окраин империи, в развитии русского национализма вообще и в эволюции понятия *нация* в русском националистическом дискурсе (а точнее, в его многочисленных разновидностях) выступает как важная исследовательская задача.

Даже поверхностный взгляд на цитированные сочинения Н.А. Рубакина и П.И. Ковалевского, каждый из которых был далеко не ведущей фигурой в своем лагере, показывает новое качество периода. В условиях, когда манифест 17 октября 1905 г. принципиально изменил содержание и границы общественной и политической сферы, понятие *нация* становится частью консолидированных, развитых и взаимоисключающих идейных систем, используется для планирования пропагандистских стратегий, тактических шагов и формулирования публичных политических программ.

* * *

Понятие *нация* появилось в русском языке в петровский период, но сохраняло статус нового и заимствованного вплоть до последних десятилетий XIX в. С самого начала

1. Там же. С. 59.

2. Там же. С. 67.

3. Там же. С. 68.

понятие было многозначным, обозначая государство, совокупность его подданных, дворянскую корпорацию. Также с самого начала в его понимании присутствовал и этнический мотив. Поэтому один из ключевых вопросов — пропорциональное соотношение всех этих мотивов в тот или иной период.

Понятие *народность* вошло в оборот в 1820-е гг., будучи изначально, наряду с *народом*, одним из вариантов перевода понятия *нация* на русский язык из франкоязычного дискурса образованных элит. *Народность* имела широкое хождение в период 1830–1860-х гг., во многом благодаря включению этого понятия в уваровскую триаду, где *народность* служила уже инструментом редактирования, а не перевода понятия *нация*.

В николаевской России использование и обсуждение понятия *нация*, особенно в политическом контексте, часто блокировались, в том числе цензурными средствами, главным образом из-за связи *нации* с темами конституции, политического представительства и надсословности¹. Понятия *народность* и (реже) *национальность* использовались в 1820–1880-е гг. и для обозначения совокупности индивидов, и для обозначения набора специфических черт, отличающих одну группу от другой. К концу XIX в. сложилась иерархия, согласно которой *народность* развивается в *национальность* и затем в *нацию*. В других интерпретациях та же иерархия отражала размеры групп — от малых *народностей* и более многочисленных *национальностей* к *нации*.

1. Роль цензуры в регулировании использования понятия *нация* нуждается в специальном исследовании. Помимо уже приведенных примеров вмешательства цензуры в творчество В.Г. Белинского, можно упомянуть негласный запрет, наложенный властями на М.Н. Каткова, в результате которого ведущий националистический журналист того времени не мог публиковать статей по национальной проблематике с 1871 по 1882 г. (см.: *Чернуха В.Г.* Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 181). Возможно, что это стало результатом специального заседания совета министров 20 ноября 1871 г., на котором по инициативе министра внутренних дел А.Е. Тимашева обсуждалась слишком независимая позиция *Московских ведомостей* (см.: *Валуев П.А.* Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел. Т. 2. М., 1961. С. 275, 503; *Никитенко А.В.* Дневник. Т. 3. Л., 1955. С. 161).

Впрочем, оба варианта этих иерархий не были вполне общепринятыми¹.

В первое десятилетие царствования Александра II понятие *нация* постепенно сместилось в центр публичного дискурса. Начиная с 1870-х гг. все чаще использовалось понятие *национализм*, которое стало центральным понятием дискурса в 1880-е гг. К 1880-м гг. *народность* была окончательно вытеснена понятиями *нация*, *национальность* и *национализм*, которые, как прежде *народность*, стали предметом оживленных, даже ожесточенных полемик. Если в период 1840–1870-х гг. понятие *нация* использовалось в основном авторами западнической, либеральной ориентации (В.Г. Белинский, М.Н. Катков в его либеральный период), то с утверждением этого понятия как общепринятого в 1880-е гг. оно вошло и в арсенал правых, которые боролись с либералами за утверждение собственной, часто авторитарной и расовой, трактовки *нации*. В либеральной прессе это вскоре привело к появлению сентенций с осуждением национализма как гипертрофированного и искаженного патриотизма, как формы ксенофобии. Уже в 1880-е гг. либералы во многом отдали понятие *нация* на откуп своим противникам справа, часть которых вскоре стала определять себя как националистов.

Понятия *народность* и *нация* использовались для обсуждения и концептуализации как минимум четырех ключевых общественно-политических тем. Во-первых, для обсуждения политической системы, в том числе темы конституционного устройства и политического представительства. В этом контексте *народность* выполняла скорее блокирующую функцию в отношении понятия *нация*, которое в первой и второй трети XIX в. неразрывно ассоциировалось с западноевропейским опытом политического представительства вообще и с Французской революцией в частности. В этот период понятие *нация* имеет далекий горизонт политического ожидания.

1. Некоторые авторы, как И.С. Аксаков, «переворачивали» иерархию, некоторые использовали понятие *нация* для обозначения всех без исключения этнических групп (П.И. Ковалевский).

Во-вторых, понятия *народ* (как эквивалент *нации*, у М.М. Сперанского) и собственно *нация* (у В.Г. Белинского и позднее) использовались для артикуляции темы преодоления (или изменения смысла) сословных и других социальных барьеров. В 1860-е гг. возник ряд идейных течений, которые стали рассматривать отношения в треугольнике *власть — интеллигенция — народ* (в смысле *простой народ*) как структуру с одним лишним элементом. Для левых этим лишним, *антинародным* элементом были правящие элиты, для правых — *антинациональная* интеллигенция.

В-третьих, понятие *нация* использовалось для описания и структурирования империи, для выделения в ней консолидированного (или подлежащего консолидации) ядра, которое иногда описывалось как «русская нация внутри империи». Здесь можно говорить скорее о преемственности понятий *народность* и *нация*. Устряловская схема русской истории, которая заложила основы русского национального исторического нарратива, оставшегося в этой части непрерываемым даже для таких разных историков рубежа веков, как Василий Осипович Ключевский и Дмитрий Иванович Иловайский, была сформулирована в рамках дискурса *народности*. В имперском контексте понятия *народ* и *нация* использовались и для обсуждения темы ассимиляции. В конце XIX и начале XX в. термин *народность*, изменив свое содержание, употреблялся для обозначения этнических групп, эволюция которых в политически самостоятельные единицы (*нации*) с точки зрения русского национализма считалась нежелательной. В этот период тема «русские в империи» постепенно приобрела типичный для модерного национализма имперских наций мотив требования привилегированного положения «государствообразующей нации» в империи.

Наконец, понятие *нация* (а позднее — *народность*, *национальность*) использовалось для описания отношений России с окружающим миром. В XVIII и первой половине XIX в. *нация* помогала артикулировать тему России как державы, равной своим европейским партнерам, а также тему отставания в развитии и необходимости

реформ. Для артикуляции проблемы эмансипации России от доминирующего западного влияния в первой половине XIX в. использовалось понятие *народность*. Эта эмансипация могла мыслиться и как «проевропейская», и как «антиевропейская». Уваров, запустивший *народность* в политический обиход, тесно связывал с этим понятием темы «взрослости России», утверждения престижа русской культуры и права быть избирательным в заимствованиях с Запада. Но с самого начала он считал необходимым настойчиво подчеркивать европейскую ориентацию и формулу «эмансипации в Европе», опасаясь интерпретации этих тем в воинственном антиевропейском духе. Так проявилась в 1830-е гг. одна из ключевых тем русской политической жизни, не раз возвращавшаяся впоследствии: стремление власти жестко определять меру европейских заимствований. В этом стремлении власть часто смешивала мотивы расчета и осторожности с эгоистическим авторитаризмом и оказывалась в той или иной степени в конфронтации как с западнической, так и с изоляционистской частью политического спектра. Предпочтение, вплоть до 1870-х гг. отдававшееся властями понятию *народность* перед понятием *нация*, стояло на перекрестье взаимосвязанных тем определения отношений России с Европой и определения предпочтительной модели политического устройства. Но уже с конца 1860-х гг. понятия *нация*, *национальность* успешно служили для выражения как западнической, так и последовательно антизападной позиции, причем в цивилизационном (Николай Яковлевич Данилевский), а не ситуационно-политическом смысле.

В XIX в., при первых двух Александрах, *нация* использовалась для артикуляции реформаторских планов, которые были призваны сблизить Россию с (воображаемой) Европой и с точки зрения политического устройства, и с точки зрения степени национальной консолидации. При Николае I *нация* была вытеснена на периферию дискурса, поскольку ее политическое содержание признали вредным и неуместным для России. Начиная с Александра III *нация*

активно использовалась сторонниками «особого пути» для артикуляции их идей.

Приключения понятия *нация* в России продолжились в XX и продолжаются в XXI в. *Нация* становилась объектом жесткой цензуры в советское время, неуверенного и порой наивного освоения на рубеже советского и постсоветского периодов, ожесточенной борьбы в постсоветский период¹, развитие которой во многом повторяет сценарии и интеллектуальные ходы, рассмотренные в этой главе.

1. См.: *Миллер А.* Дебаты о нации в современной России // Политическая наука. 2008. № 1. С. 7–30.

К.А. Соловьев

Глава VIII

Res publica в общественной мысли России (вторая половина XIX — начало XX в.)

Республиканизм без республиканцев

Республиканская тема относится к числу «модных» в историографии. Тому много объяснений. Но главное из них случай: научное открытие удачно совпало с общественной потребностью обновления идеологического гардероба эпохи. К. Скиннер обнаружил *res publica* в интерпретации мыслителей раннего Нового времени¹. За этим понятием скрывалась традиция, рефлексия и целый категориальный ряд. Иными словами, «археология понятий» выявила важный структурный элемент политической мысли, представлявшийся практически *terra incognita* для современного автора. Он, в свою очередь, остро нуждался в такой точке отсчета.

На нынешнем этапе развития общественных наук традиционная дифференциация форм правления лишь очень приблизительно соотносится с практикой. Речь идет не просто об идеальных конструкциях, но идеальных конструкциях XVIII в. Практика говорит о существовании принципиально иных демаркационных линий, которые лишь отчасти получили отражение в современной политической и правовой теории.

Действительно, к феномену политической власти можно подходить с разных сторон.

1. Скиннер К. Свобода до либерализма / Пер. с англ. А.В. Магуна; науч. ред. О.В. Хархордин. СПб., 2020.

Прежде всего, политика — это сфера воображаемого. Это в первую очередь образы настоящего и проекции будущего. То, что видят все, специально уготовано к тому, чтобы все это видели: это мифология власти¹. Здесь можно выделить два мифа (хотя, разумеется, их существенно больше): вечная империя и предвечная республика. Империя — это глобальный порядок, который, правда, может быть реализован на ограниченном пространстве. Республика подразумевает принципиально иную мифологию власти. Если империя строится вокруг понятия «порядок», то для республики ключевой термин — «народ»². Данное понятие весьма туманное, лишенное конкретных очертаний — и все же подразумевающее тотальное участие всех в общем деле.

Возможна и иная классификация: согласно принципам организации управления. С большой долей условности можно выделить две модели: бюрократическую и самоуправляющуюся. Естественно, в «чистом виде» ни одна, ни другая не существуют и существовать в принципе не могут. Важна доминантная точка в управленческой системе. Кто определяет правила: эксперт, владеющий управленческой техникой, или общественный деятель, представляющий местные, зачастую собственные интересы? Всякий раз на этот вопрос ответ дается особый. В зависимости от этого можно выстроить свое понимание государства, в любом случае альтернативное тому, что несомненно для почитателей юридического позитивизма.

Наконец, к феномену власти, по крайней мере в Европе, можно подходить иначе, отмечая генетические черты того или иного режима, а именно его укорененность в «старом», «феодалном» порядке³. Не вдаваясь в детали

1. См.: *Хешнелл Н.* Миф абсолютизма. Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени / Пер. с англ. А.А. Паламарчук, Л.Л. Царук, Ю.А. Малахова; отв. ред. С.Е. Федоров. М., 2003. С. 239–240.
2. *Покок Дж. Г. А.* Момент Макиавелли. Политическая мысль Флоренции и атлантическая республиканская традиция / Пер. с англ. Т. Пирусской. М., 2020. С. 538–539.
3. *Элиас Н.* Придворное общество. Исследования по социологии короля и придворной аристократии, с Введением: Социология и история /

и в историографию вопроса, в бесконечные и несомненно оправданные терминологические споры¹, можно утверждать, что феодализм — это тотальное доминирование частноправовых отношений, а значит, это распыленность «приватизированной» власти².

Как бы ни подходить к этому вопросу, власть — трудный предмет для изучения: вообще и в России тем более. Проблема в том, что Российская империя XIX столетия не была цельным, монолитным образованием. Разнообразие правовых регистров, имевших место в стране, — хорошо известный факт. Формы общественной жизни драматически отличались в пределах различных сословий, социальных групп, в деревне и в городах, в мегаполисах и уездных центрах. В связи с этим неверной кажется сама постановка вопроса о характеристике российского общества. Его не было, или, точнее, было множество социумов. Было ли в России гражданское общество? Было, но в определенных жестких социальных рамках. Было ли в России общество современное или традиционное? И то и другое.

Все это объясняло и асимметричность развития, и сложность организации властных отношений. Российское правительство поворачивалось к своим подданным разными сторонами. Более того, в ряде случаев его длань чувствовалась настолько слабо, что можно даже сказать, что ее не было. По этой причине понятие «империя» куда лучше

Пер. с нем. А.П. Кухтенкова, К.А. Левинсона, А.М. Перлова, Е.А. Прудниковой. М., 2002. С. 193–195. По словам английского историка Р. Маккенни, в Западной Европе XVI в. шло «становление государственности как абстрактной идеи, а не образования, отождествляемого с конкретным правителем». Результатом этого интеллектуального процесса, занявшего по меньшей мере целое столетие, стали идеи, сформулированные в работах Ж. Бодена (*Маккенни Р.* XVI век. Европа. Экспансия и конфликт / Пер. с англ. С.Б. Володиной. М., 2004. С. III). См. также: *Скиннер К.* Истоки современной политической мысли: В 2 т. Т. 2. Эпоха Реформации. М., 2018. С. 521–524, 534.

1. *Дубровский И.В., Уваров П.Ю.* Феодализм в представлении современных медиевистов // *Всемирная история: В 6 т. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока.* М., 2012. С. 16–32.
2. *История частной жизни / Под общ. ред. Ф. Арьеса и Ж. Дюби. Т. 2. Европа от феодализма до Ренессанса / Под ред. Ж. Дюби.* М., 2015. С. 20–25.

подходит к России начала XX столетия, нежели термин «государство». У администрации не было ресурсов — ни материальных, ни людских — для установления монополии на насилие. Стабильность порядка строилась не вокруг концепции суверена, осуществлявшего безграничную репрессивную власть, а вокруг ряда негласных конвенций, важнейшая из которых — всеобщее безразличие к идее верховной власти. Это не означало постоянного и тотального спокойствия. Напротив, под существовавшим порядком неизменно дрожала почва. Социальное недовольство, не имевшее шанс стать политическим, — в традиционном обществе явление столь же естественное, как снег или дождь.

Российский пример лишний раз оттеняет тот факт, что власть нельзя свести к правительственным учреждениям и их руководителям. «Власть же — это нечто гораздо более сложное, гораздо более плотное и рассеянное, чем какая-либо совокупность законов или какой-то государственный аппарат»¹. Иными словами, власть — это невидимые нити, связывающие общество воедино, а не надменные правительственные чиновники. Власть — это бытующие в обществе практики господства и подчинения, которые реализуются в повседневной жизни и на которые даже не обращают внимание, так как они кажутся настолько естественными. М. Перро это назвал системой «микровластей», с которыми любой человек сталкивается чаще, чем с правительственными агентами². Это было «сущее», которое не соответствовало «должному».

Любое европейское правительство Нового времени так или иначе стремилось к тотальности. Оно пыталось обрести абсолютную монархию в абсолютное государство³.

1. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. М., 2002. С. 238.

2. Там же. С. 245.

3. Шмитт К. Понятие политического / Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца, А.Ф. Филиппова, А.П. Шурбелева. СПб., 2016. С. 176. В частности, К. Шмитт писал: «Абсолютистское государство, принимающее свои формы начиная с XVI в., возникло именно из краха средневекового, плюралистического, феодально-сословного правового государства и его юрисдикции и опиралось на военных и чиновничество».

М. Фуко видел во Французской революции конца XVIII в. важный поворот в истории власти как таковой. «Ибо та власть, что станет осуществляться на уровне повседневной жизни, больше не будет властью близкого и одновременного далекого монарха, всемогущего и взбалмошного, источника всяческого правосудия и объекта любого соращения, политического принципа и чудодейственной силы; она будет составлена из тонкой, сплошной, дифференцированной сети, в которой будут непрерывно сменять и поддерживать друг друга разнообразные установления правосудия, полиции, медицины, психиатрии. И дискурс, что будет складываться в ту пору, больше не будет обладать прежней театральностью, искусственной и неумелой: он разовьется в некий язык, который начнет притязать на то, чтобы быть языком наблюдения и беспристрастности»¹. Иными словами, на рубеже XVIII и XIX вв. власть в странах Западной Европы сменила язык собственного описания. Театральность была замещена наукообразием.

В России XIX столетия этот процесс завершен не был: оба языка наложились друг на друга, путаясь и взаимно дополняясь. Соответственно, складывавшаяся в стране политическая теория искала необычные пути описания государственных институтов, существовавших и желаемых. Не всегда стоит доверять ее категориальному ряду. Она только нащупывала свое понимание политической общности.

Поэтому в существенной мере это государство исполнительной власти и правительства» (*Он же*. Государство: Право и политика / Пер. с нем. и вступ. ст. О.В. Кильдюшова. М., 2013. С. 118). Шмитт предлагал разводить патримониальную монархию, когда король является вождем лично преданной ему свиты, и чиновную, характерную для государства Нового времени, когда правитель стоит во главе корпорации бюрократов (*Он же*. Государство и политическая форма / Пер. с нем. О.В. Кильдюшова; сост. В.В. Анашвили, О.В. Кильдюшов. М., 2010. С. 158–159). Причем в условиях все более рационализировавшейся публичной сферы монархия утрачивала свое безусловное значение, обращаясь лишь в символ власти, от которого рано или поздно можно избавиться (Там же. С. 161).

1. Фуко М. Интеллектуалы и власть. Ч. 1. С. 270.

Самодержавие и Герцен

Опытный чиновник, главноуправляющий путями сообщения К.В. Чевкин, по оценке П.А. Валуева, был искренний и отчаянный «абсолютист», но и он смутился, когда в октябре 1861 г. новый министр внутренних дел (как раз Валуев) заметил, что при нынешнем положении управлять по-прежнему уже невозможно. Из десяти чиновников любого министерства можно положиться лишь на одного¹. Приходилось признавать шаткость оснований действующей власти, мнимость автократии и повседневные практики «централизованной анархии»². Политические формы Российской империи — это в известной мере *terra incognita*. Историки в большинстве случаев доверяют «официальному» мифу о власти — и это при том, что ему не доверяли современники, включая и высших государственных служащих. Все разговоры можно свести к абсолютной власти царя, которая на деле не казалась абсолютной и самому царю³.

Проблема в том, что правительство делало вид, что верит в безупречность бумажной империи, которая создавалась неустанным трудом многочисленных канцеляристов. В эмиграции, много лет спустя после крушения старой России П.М. Бицилли писал М.В. Вишняку в конце 1920-х гг., что традиционно самодержавию не хватало воображения⁴. Оно искренне верило в делопроизводственный формуляр. В том числе и по этой причине политическая система Российской империи фактически оставалась без должного теоретического описания.

Современное государство — это, в сущности, средневековые институты, понятия в рамках современного научного мировосприятия. Это обстоятельство создает неминуемый

1. [Валуев П.А.] Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел, в 2 т. Т. 1. М., 1961. С. 120–121.
2. Соловьев К.А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М., 2018. С. 205–232.
3. Там же. С. 42–45.
4. «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубды. Т. 2. М., 2012. С. 509.

зазор между технологией и мифологией власти, между механикой управления и его социальным содержанием.

Дисбаланс между образом и его институциональным оформлением остро чувствовался современником. Характеризуя политический режим Российской империи, А.И. Герцен писал: «Россия в полном смысле слова управляется адъютантами, указами, писарями и эстафетами. Сенат, Государственный совет (учреждение более позднее), министерства — не что иное, как канцелярии, в которых не спорят, а исполняют, не обсуждают, а переписывают. Вся администрация представляет собой крылья телеграфа, с помощью которого человек из Зимнего дворца изъявляет свою волю». Возникает закономерный вопрос: а есть ли вообще этот человек из Зимнего дворца? Или, точнее, значит ли что-либо его воля? «У нас, если император убит, остается дисциплина, остается бюрократический порядок; лишь бы телеграф действовал, ему будут повиноваться...»¹

Герцен вплотную подходит к проблеме дисциплинарных практик. Власть, в сущности, деперсонализирована. Есть, конечно, царь. Он прежде всего носитель образа власти. Куда важнее ее практики, которые постепенно оттачиваются, совершенствуются, механизмируются. Они определяют параметры решения, коридор возможностей для всех участников политического процесса. Речь идет об обезличивании суверенитета, о государстве, которое обретает плоть, не будучи представленным конкретными людьми.

Альтернатива ему — республика. По словам Герцена, «над общиной должно было бы стоять только национальное единство, *res publica* (земское дело) или руководящая власть»². Т.е. в сочинениях А.И. Герцена республиканское начало прочно ассоциировалось с земским принципом. В понимании Герцена республиканское начало противостояло правительственному, террористической диктатуре, цезаризму³. По мнению Герцена, «петербургское императорство»

1. *Герцен А.И.* Старый мир и Россия // Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 12. М., 1957. С. 191.

2. *Он же.* Русское крепостничество // Там же. С. 53.

3. Там же. С. 54.

с момента своего возникновения — это «предваряющий бонапартизм». «Это институт временный, это диктатура, осадное положение»¹. Иными словами, российская власть функционировала как чрезвычайная. Тем самым Герцен подчеркивал деструктивный характер существовавшего в России государства. Оно не устанавливало правопорядок, а скорее нарушало его.

По оценке Герцена, если США были своего рода материализацией идей Просвещения XVIII в., то Россия — материализацией концепции абсолютизма, доведенной до своей крайности². Здесь Левиафан обрел плоть и кровь, и это при том, что идея государственности была традиционно чужда славянским народам³. Так было в XVIII столетии. Ситуация мало изменилась в годы царствования Николая I. Император сделал попытку обратить петербургскую империю в новую Византию. Но этого у него не получилось. Новое национальное содержание прежнего государства существовало только лишь в виде риторических фигур⁴.

В понимании Герцена любая монархия — своего рода теократия, так как она подразумевает в правительстве «доброе пастыря», который не может слиться со своим народом. Он всегда только рядом и даже зачастую выше его. «Монархия всегда любила приравнять себя к небесному порядку; республика, более смиренная и совсем земная, должна уподобиться природе. Природа — это гармония и анархия, это особенное каждого отдельного существа и в то же время величайшее и наиболее совершенное всеобщее»⁵.

Соответственно, монархия — это провидение, это постоянное и неуклонное целеполагание. Это политическая жизнь, наполненная символами. Республика — это естественное состояние вещей, это не аллегория, а природа⁶.

1. *Герцен А.И.* Годовщина польского восстания в Лондоне // Там же. С. 129.

2. *Он же.* Старый мир и Россия // Там же. С. 172.

3. Там же. С. 185.

4. Там же. С. 196.

5. *Он же.* Дуализм — это монархия // Там же. С. 226.

6. Там же. С. 227.

Однако, по мнению Герцена, подлинных республик в истории человечества пока не было. Исследователь скорее сталкивается как раз с многочисленными риторическими фигурами, а не политическими институтами¹.

Вместе с тем отличие идеальной республики и монархии носит фундаментальный характер. Монархия лишает человека воли: она все делает за него, по мере сил контролирует каждый его шаг². В сущности, Герцен ставит вопрос не о монархии, а о государстве, которое формирует ложную мораль, подчиняя себе безраздельно волю каждого человека. Эта фальшивая норма передается из поколения в поколение. Кому-то она может показаться бессмысленной риторической фигурой, но в действительности это не совсем так. Она становится частью неподписанного договора, которому так или иначе следуют все. Изменить ситуацию сможет лишь революция³.

Народничество отталкивалось от герценовского наследия, во многом переосмысливая его. В сочинениях П.Л. Лаврова республиканское начало заменялось федеративным. Оно должно было стать сменщиком государственного уклада, подавлявшего личность. В данном случае федерация — это не форма государственного устройства, это отказ от самого государства. Политическая общность должна стать принципиально иной⁴. Это мог быть союз коммун, а не навязанная извне воля сюзерена. Такого рода федерация «растет» снизу⁵. Она подразумевает политическое творчество народных масс. В какие формы оно выльется — сказать с точностью нельзя. Это в известной мере обесмысливало разговор о будущей организации власти. В большинстве случаев он и не интересовал народников.

1. Там же.

2. Там же. С. 228.

3. Там же. С. 232.

4. *Лавров П.Л.* Избранные сочинения на социально-политические темы: В 8 т. Т. 4. М., 1934. С. 249, 266–267.

5. *Цимбаев Н.И.* Идеи федерализма и федеративного устройства России в общественной мысли // *Очерки русской культуры XIX в.* Т. 4. *Общественная мысль.* М., 2003. С. 684–694.

Позиция народников отчасти смыкалась с точкой зрения их непримиримых критиков. Так, в понимании одного из крупнейших мыслителей консервативного направления К.Н. Леонтьева, республика — это прежде всего тотальное равенство, отсутствие сословных перегородок. Следовательно, это хаос, это анархическая стихия, размывающая все устои и правила. Речь идет не о форме государственности, а о ее отсутствии. Следует до последнего держаться прежних берегов. На современном этапе противостояние республиканизму — это прежде всего упрочение сословных начал¹. В понимании Леонтьева, демократия — это предсмертные судороги государства. Само по себе утверждение этого принципа должно вести к распадению государственной ткани. Характерно, что Леонтьев полагал государство институтом, обеспечившим исторический этап развития человечества². Соответственно, крушение государства — это конец человеческой истории как таковой.

Авторы консервативного направления предлагали и другую оппозицию: республиканизм по определению атеистичен, в то время как монархия основывается на вере³. Республика — это мир без Бога, мир перевернутых ценностей, утраченной морали; это мир последних времен⁴.

Народники говорили о республике, но, в сущности, были безразличны к ней. Славянофилы же отрицали и республику, но вместе с тем искали иные формы государственности.

1. *Леонтьев К.Н.* «Московские ведомости» о двоевластии // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем: В 12 т. Т. 8. Кн. 2. СПб., 2009. С. 52.
2. Там же. С. 8.
3. Там же. С. 52.
4. Само понятие «республика» несло скорее негативные коннотации. Так, в ходу было словосочетание «судебная республика». Оно возмущало публицистов справа. Речь шла о корпорации чиновников, отстаивавших собственные интересы вопреки всем монаршим решениям. Они создавали «государство в государстве», никак не смущаясь формально подчиненной ролью (см.: Внутреннее обозрение // Вестник Европы. Т. 116 (1885). С. 860).

Контргосударство славянофилов

По словам П. Бурдые, «государство — это в значительной части плод трудов теоретиков. Когда некоторые философы берутся за работы [Г.] Нодэ [1600–1653] по государственному перевороту, [А.] Луазо [1536–1616]¹ по государству или же работы всех этих юристов XVI или XVII в., предложивших теории государства, они относятся к ним как к своим коллегам, теории которых они обсуждают, забывая о том, что эти коллеги создали предмет, над которым они размышляют. Луазо или Нодэ, все эти юристы создали французское государство, и вместе с тем они произвели мышление того, кто о них думает»². Особенность славянофильской теории заключается в том, что она произвела на свет мечту, оставшуюся мечтой, политическую общность, не ставшую политической реальностью. Это поставило приверженцев «московской школы» в заведомо ущербное положение. Тем важнее разобраться в «лаборатории», в которой ставились интеллектуальные «опыты».

Усадьба Соллогубов располагалась в Замоскворечье, против Николы, что в Толмачах. Там был представлен молодой философ Владимир Соловьев, недавно защитивший свою магистерскую диссертацию. Она вызвала живой интерес в славянофильской среде. Соловьев резко выступил против позитивизма, чем порадовал его стареющих оппонентов. Среди тех, кто хотел посмотреть на него, была Анна Федоровна Аксакова, дочь Ф.И. Тютчева. «Это была дама 45 лет, невысокого роста, полная и плотная, с очень некрасивым, но оригинальным лицом, и очевидно давно оставившая всякое притязание... быть женщиной в специфическом светском смысле этого слова»³.

Она обратилась к Соловьеву по-русски с очень сильным иностранным акцентом, потом перешла на безукоризненный

1. Очевидно, имеется в виду А. Луазель.
2. *Бурдые П.* О государстве. Курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992) / Пер. с фр. Д. Кралечкина, И. Кушнарева. М., 2016. С. 61.
3. *Соловьев В.С.* Из воспоминаний // Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 3. СПб., 1911. С. 275.

французский. Это не удивительно, учитывая, что мать А.Ф. Аксаковой (Тютчевой) была немкой, сама же она воспитывалась в Германии и большую часть жизни провела при дворе императрицы Марии Александровны, где чаще говорили по-французски. Впрочем, русский она «основательно знала, очень хорошо на нем писала и могла говорить грамматически правильно, но только с резким немецким акцентом; она прекрасно знала также церковно-славянский язык и была начитана в наших богослужебных книгах». А.Ф. Аксакова говорила о философии Гартмана и Шопенгауэра со знанием дела, спорила с их взглядами, не соглашалась с В.С. Соловьевым. Такой разговор хотелось продолжить, что и было сделано несколько дней спустя в доме на Спиридоновке, где тогда жили Аксаковы. С тех пор Соловьев регулярно посещал аксаковские пятницы, конечно тогда, когда бывал в Москве¹.

Дочь и жена славянофилов, А.Ф. Аксакова с нескрываемой брезгливостью относилась к западным и южным славянам, представители которых неизменно кланялись деньгами у ее супруга — Ивана Сергеевича. Не вызывало у нее больших симпатий и русское простонародье: его она знала как прислугу и обвиняла в мошенничестве и лживости. По этому поводу в доме Аксаковых неизменно шутили: «Наш такой-то, как неиспорченное дитя того „святого“ народа, которому поклоняется Иван Сергеевич, конечно, должен был произвести такое-то мошенничество»². А.Ф. Аксакова возмущалась и другим: «Ну, что собственно дало твое славянофильство русскому обществу? Чем было полезно? Какие его результаты? Я вижу только один: что в обществе перестают читать и говорить на иностранных языках. Но ведь это оглупление и одичание! Это бросается в глаза! Сравни только общество, которое мы знали двадцать лет назад, с теперешним!» Естественно, вся эта тирада была произнесена на французском языке. И.С. Аксаков ей отвечал тоже по-французски. Он пытался возражать, что уже нет таких людей, как Ф.И. Тютчев или

1. Соловьев В.С. Из воспоминаний. С. 276–277.

2. Там же. С. 278.

А.С. Хомяков. А.Ф. Аксакова ему почти кричала: «Мой отец и Хомяков были прежде всего люди европейски образованные, и если это было нужно для них, то тем более нужно для теперешних, которые без помощи культуры совсем пропадут, сделаются такими же животными, как твои возлюбленные мужики». Супруг ей кротко возражал, что сила Тютчева и Хомякова была не в их образованности, а в русских убеждениях. «Неправда, неправда!.. Никаких русских убеждений нет, а есть только русская дикость. Ты сам, если имеешь какое-нибудь достоинство, то не потому, что русский, а лишь потому, что ты только наполнил русским. Все, что в тебе есть хорошего, происходит от твоей татарской крови и от твоего немецкого образования! А теперь вот нашим болванам вместо того, чтобы их сколько-нибудь очеловечить, внушают, что они и так хороши, что им нужно оставаться только русскими, что Европа нам совсем ни к чему, что у нас с нею нет ничего общего!» И.С. Аксаков не отвечал, а только улыбался и издавал нечленораздельные звуки¹.

После его кончины А.Ф. Аксакова решила стать настоящей славянофилкой. Но это оказалось не так просто. Она не понимала, как можно обожать русский народ, а тем более прочих славян. И главное: ей был чужд «государственный принцип славянофильства, который мне никак не удается согласовать со здравым смыслом»².

Все в славянофильской среде не укладывалось в догму. Это был европейский дом в Москве — с русскими симпатиями и немецкими книгами. Видимо, это и давало удивительную «химическую реакцию» славянофильства. Необычную трактовку этого течения мысли предложил Ф.М. Достоевского. Дискуссия западников и славянофилов казалась вечной и вроде бы не должна была прекратиться. Однако случилась отмена крепостного права, что и стало подлинным концом петровских реформ. Тогда и о прежних спорах западников и славянофилов подзабыли. И те и другие поверили в народ и ждали от него политических

1. Там же. С. 279.

2. Там же. С. 281.

чудес¹. Иными словами, этот спор разворачивался вокруг преобразований Петра I, которые не утратили своей актуальности и к середине XIX в. Это был вопрос о цене полицейского государства, которое было подвергнуто существенной ревизии в 1860-е гг. Славянофильство — это альтернативная версия прогресса. По словам Ф.М. Достоевского, славянофилы «верят в начала русские и уверены, что они заменят и конституцию, и социализм сами из себя, нося в себе зародыши своей правды...»²

А. Валицкий видел суть славянофильства в реализации консервативной утопии³. Едва ли можно с этим вполне согласиться. Славянофильская концепция не вписывается в прокрустово ложе больших идеологий. Она оказывается поверх привычных рамок. Отстаиваемая славянофилами в начале 1860-х гг. земская идея подразумевала коренное преобразование всего политико-правового уклада страны. В сущности, речь шла о ее переосновании. 20 марта 1862 г. А.И. Кошелев писал барону В.А. Черкасскому: «Теперь мысль о необходимости созвания земской думы в Москве овладела мною совершенно... Пока будут одни местные собрания, пока мы не посягнем на их министерские портфели, до тех пор они будут смотреть на нас с презрением... Нет!.. с бюрократией теперь мириться нельзя. От нее ожидать нечего; ее подарки хуже троянского коня... Нам не суждено устроить с фундамента, а мы должны начинать с крыши»⁴.

Не имея возможности заняться крышей, приходилось задуматься о фундаменте, о механизмах функционирования органов самоуправления. Славянофильский взгляд на эту проблему также отличался оригинальностью. Так, И.С. Аксаков отрицал необходимость имущественного ценза при

1. *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя, 1876 // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 22. Л., 1981. С. 40.

2. *Он же.* Записная тетрадь. 1864–1865 гг. // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 181.

3. См.: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского консерватизма / Пер. с польск. К. Душенко. М., 2019.

4. Цит. по: *Веселовский Б.Б.* История земства. Т. 3. СПб., 1911. С. 30.

формировании земских учреждений. По его мысли, ценз зародился в Западной Европе, к российским реалиям не имел отношения и, главное, в нравственном отношении не был оправдан. С Аксаковым не соглашался А.И. Кошелев. Согласно его представлениям, цензовая система была бы безнравственной, если бы служила ограничению прав отдельных сословий. В России же наоборот — она защищала сословные права землевладельцев¹. При всей остроте дискуссии, развернувшейся на страницах газеты «День», славянофилы сходились в главном: самоуправление — дело всей «земли». Всякий должен иметь возможность участвовать в этой работе.

Солидарность и свобода — об этом писали славянофилы, разумеется привнося свое, особое понимание. Одно из основных положений политической концепции славянофильства — утверждение свободы общества от каждодневной утомительной политической жизни, а следовательно, и всех проблем, связанных с распределением власти и ее обязанностей. Эта свобода человека гарантируется самодержцем, взявшим на себя тяжкое бремя принятия решений. Но, убегая от политики, общество рискует оказаться в ее «жарких объятиях»: в любом случае оно нуждается в гарантиях от произвола властей. Это был своего рода интеллектуальный вызов славянофильству: предложить механизм ограничений неограниченной власти, задать рамки политического пространства усилиями аполитичного общества. И, в отличие от поэтического склада отцов-основателей славянофильства, стиль мышления неославянофилов рубежа XIX–XX вв. вполне подходил для решения этой задачи². Будучи предельно «технологичной», их мысль была нацелена на детальную разработку будущей организации власти.

1. Там же. С. 25.

2. В литературе термин «неославянофильство» (позднее славянофильство) интерпретируется по-разному. В одних случаях неославянофилами называют К.Н. Леонтьева и Н.Я. Данилевского (*Чуйко В.* Старое и новое славянофильство // Наблюдатель. 1890. № 3. С. 107), в других к этому направлению мысли приписывают религиозных философов Серебряного века (*Розанов В.В.* Литературные

изгнанники. Н.Н. Страхов. К.Н. Леонтьев. М., 2001. С. 126). Отсутствие определенности по этому вопросу объясняется тем, что проблема неославянофильства в историографии является практически неосвещенной. Так, ведущий отечественный исследователь славянофильства Н.И. Цимбаев в принципе отказывает этому явлению в существовании: по его мнению, о славянофильстве нельзя говорить уже с 1870-х гг., когда оно начинает постепенно сливаться с земским либерализмом (*Цимбаев Н.И.* Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. С. 231). Консерваторы же начала XX в., именовавшие себя славянофилами, лишь прикрывали свои крайне правые взгляды этим именем (Там же. С. 51). Схожие идеи высказывал М. Чадов еще в 1905 г. С его точки зрения, славянофильство как политическая концепция к началу XX в. исчерпало себя и обратилось в реакционное учение (*Чадов М.* Возможно ли возрождение славянофильства // *Образование.* 1905. № 5. С. 86). Возрождение же славянофильства, по мнению исследователя, возможно лишь при его превращении в исключительно этическую философию (Там же. С. 87).

Е.А. Дудзинская работу, посвященную славянофильству в пореформенной России, заканчивает 1882 г.: по мнению автора, примерно в это время прекращает свое существование классическое славянофильство (*Дудзинская Е.А.* Славянофилы в пореформенной России. М., 1994. С. 271). Неославянофильство оказалось вне поле зрения исследователя. Казалось бы, идеи поздних славянофилов должны были стать объектом исследования М.И. Пановой, посвятившей свою диссертацию месту славянофильства в общественно-политической мысли в 1850–1917 гг. В действительности столь пространные хронологические рамки работы не позволили уделить особое внимание специфике идей неославянофильства, и М.И. Панова ограничилась лишь анализом концепций классиков-славянофилов, очевидно подразумевая, что и представители позднего славянофильства оставались верными идеям А.С. Хомякова и братьев Аксаковых. Соответственно, динамичное развитие славянофильства как идеологического направления осталось на периферии исследовательского интереса. Говоря о поздних славянофилах, автор, во-первых, описывает, насколько они соответствовали новым политическим условиям, и, во-вторых, анализирует место славянофильских идей в построениях мыслителей Серебряного века (*Панова М.И.* Идеи славянофильства в русской общественно-политической мысли в 1850–1917 гг.: Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. М., 1998. С. 20–23).

В рамках данного исследования представляется наиболее оправданным исходить из определения неославянофильства, вытекающего из характеристики состояния славянофильской мысли в конце XIX в., данной одним из идеологов этого направления А.А. Киреевым: «Мы живем бессознательно, без точной формулировки наших принципов, наши „три кита“, на которых стоит Русь — православие, самодержавие и народность — были, безусловно, тверды, пока на них смотрели с детской райской простотой, но с тех пор, как мы начали относиться критически к этим формулам, мы сообразили, что пора отдать себе ясный отчет в значении их. Отцы славянофильства, конечно, вкладывали в них очень определенный смысл, но со временем, хотя самые принципы остаются неизменными, способ их

Модель С. Ф. Шарапова. «Самодержавие в своей свободной, нравственной и просвещенной форме, найдя надлежащие и здоровые органы для своего осуществления, может явиться самой могущественной, самой живой и свободолюбивой формой государственной власти, которая когда-либо доставалась в удел великому народу», — писал видный публицист славянофильского направления С. Ф. Шарапов князю М. М. Андронникову 15 августа 1904 г.¹ Однако самодержавие может реализовать свой исторический потенциал, лишь приняв «народное», а не бюрократическое обличье. Согласно проекту Шарапова, ключевая составляющая будущей государственной реформы — замена бюрократического аппарата «государственно-земским». Только дела общегосударственного значения должны решаться непосредственно самодержцем и центральными правительственными органами. Причем активное участие в разработке тех или иных законопроектов должны принимать Земские соборы². Роль всенародного представительства с законосовещательными функциями мог бы выполнять реформированный Государственный совет, в который следовало приглашать выборных представителей от земских областей³. «Все же

применения к жизни видоизменяется вследствие изменения видоизменившихся обстоятельств... Можно считать половину XIX столетия эпохой прочного установления славянофильства как теории. С тех пор много воды утекло! Три „кита“ поплыли и проплыли далеко. Явились новые факторы, новые вопросы и во внешней, и во внутренней политике России, которые требуют, чтобы русское общество стало к ним в известное отношение; иначе оно будет сбито со своего пути!» (ОР РГБ. Ф. 126. К. 13. Л. 184). Иными словами, позднее славянофильство есть приспособление идей «отцов-основателей» к современным условиям. В связи с этим А. А. Киреев не считал ни В. С. Соловьева, ни К. Н. Леонтьева славянофилами (*Киреев А. А.* Спор с западниками настоящей минуты // Русское обозрение. 1895. № 5. С. 207–208). Для него славянофильство на настоящем этапе — не переосмысление интеллектуального опыта А. С. Хомякова или И. С. Аксакова, а его необходимая конкретизация в соответствии с новыми запросами времени.

1. ОПИ ГИМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 3.
2. Там же. Л. 8 об.; *Шарапов С. Ф.* Самодержавие и самоуправление. М., 1903. С. 24, 55.
3. ОПИ ГИМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 28; *Шарапов С. Ф.* Самодержавие и самоуправление. С. 37–38.

внутреннее управление должно идти в областях посредством излюбленных земских людей на точном основании самодержавно царем даваемых законов при действительной и серьезной ответственности местных выборных людей перед верховной властью и государством»¹.

Рассуждения С.Ф. Шарапова о необходимости предоставить особую роль органам местного самоуправления были общим местом в интеллектуальных построениях славянофилов. «Самодержавие нам необходимо, но основанное на местном самоуправлении. Поэтому для меня земство есть основа самодержавия. Если же угнетать земство, вообще местных людей, то мы неизбежно придем к конституции в России», — отмечал граф П.С. Шереметев в беседе с министром внутренних дел В.К. Плеве 2 мая 1903 г.²

Модель А.А. Киреева. В ответ на работу Б.Н. Чичерина «Россия накануне двадцатого столетия» А.А. Киреев опубликовал собственную брошюру с очень похожим названием: «Россия в начале двадцатого столетия». Киреев соглашался с диагнозом, поставленным Чичериным современному государственному строю, но отрицал рецепт, выписанный «больному». Если Чичерин видел спасение от беззакония и произвола бюрократии в конституции, то, согласно Кирееву, бюрократ — главный враг исторических устоев и самого самодержавия. Как раз во имя самодержавия необходимо провести реформы, которые способствовали бы обузданию произвола чиновников.

По мнению Киреева, следовало установить различные формы контроля над бюрократией. Для этого, во-первых, нужно было упразднить личный доклад министров императору, с помощью которого сановники навязывали государю свою волю, избегая при этом какого-либо обсуждения важных вопросов в Государственном совете. Киреев считал, что во время доклада любого министра должны присутствовать эксперты, способные дать квалифицированную

1. ОПИ ГИМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 26. Л. 8 об.

2. РГИА. Ф. 1088. Оп. 2. Д. 465. Л. 3.

оценку сказанному¹. Во-вторых, Киреев предлагал смягчить контроль цензуры над печатью². В-третьих, по его мнению, невозможно осуществить полномасштабную государственную реформу без хотя бы частичной административной децентрализации и, соответственно, упрочения позиций земства³. Киреев также предлагал активнее привлекать «сведущих людей» к разработке государственно важных решений⁴. Наконец, ключевой пункт его программы — учреждение Земского собора, законосовещательного органа⁵. В своей дневниковой записи от октября 1903 г. он так определил требования к создаваемому В.К. Плеве Совету по делам местного хозяйства⁶, который воспринимался Киреевым уже как некая форма представительства: делегаты «земли» должны быть выбраны из среды земства и дворянства, а не назначены правительством. Причем властям следовало гарантировать свободу выражения мнения при обсуждении государственных вопросов в Земском соборе и право печати публиковать протоколы заседаний, «но не иначе как целиком и безо всяких изъятий»⁷.

Модель Ф.Д. Самарина. С резкой критикой проекта А.А. Киреева выступил Ф.Д. Самарин. Он был славянофилом не в одном поколении — сын видного публициста Д.Ф. Самарина, племянник классика славянофильской мысли Ю.Ф. Самарина и, наконец, сам известный и авторитетный мыслитель и общественный деятель. По сути дела, Ф.Д. Самарин предлагал свой, альтернативный вариант реформирования государственного строя в согласии

1. *Киреев А.А.* Россия в начале XX столетия. СПб., 1903. С. 30; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 65.
2. *Киреев А.А.* Россия в начале XX столетия. С. 33; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 29 об.
3. *Киреев А.А.* Россия в начале XX столетия. С. 37–40; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 34.
4. *Киреев А.А.* Россия в начале XX столетия. С. 34; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 31.
5. *Киреев А.А.* Россия в начале XX столетия. С. 35; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 35.
6. См.: Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л., 1984. С. 149–150.
7. ОР РГБ. Ф. 126. К. 13. Л. 272 об. — 273.

с идеями «классиков». Контраргументы Самарина фактически можно свести к двум пунктам.

Во-первых, он не верил, что политический кризис можно преодолеть путем институциональных реформ. Политическая практика в Европе, согласно Самарину, свидетельствовала, что тот или иной механизм обеспечения подконтрольности министров и других представителей высшей бюрократии не работает. Ответственность министров — в действительности лишь мираж, мало чем влияющий на работу административной машины. Более того, современная ситуация в странах Западной Европы говорила о неосуществимости и самого принципа разделения властей, подразумевающего как раз взаимный контроль одной ветви власти над другой¹. Политическая история европейских стран давала примеры парламентского абсолютизма, попирающего свободы граждан и нарушающего сложившиеся правовые нормы². При самодержавии же вообще не может иметь место тотальный контроль над министром со стороны верховной власти, так как «вмешательство самодержца в текущие дела, — я (Ф.Д. Самарин. — *К.С.*) говорю о вмешательстве по личному почину и ради проведения личных взглядов или ради прикрытия авторитетом самой верховной власти распоряжений министерских, должно бы быть явлением чрезвычайным,

1. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения // Мирный труд. 4 апр. 1905. Харьков. С. 17; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 10.
2. Так, Федор Самарин 22 января 1900 г. писал брату Петру: «То, что там (во Франции. — *К.С.*) происходит теперь, должно, кажется, убедить самых горячих защитников парламентаризма, что свобода почти так же не обеспечена при парламентском строе, созданном искусственно, как и при самодержавной монархии. В нынешней Франции парламентаризм приводит буквально к деспотическому образу правления. Учреждения и законы изменяются и ниспровергаются ради удовлетворения минутных вожелений так же легко и просто, как в государствах с неограниченным монархическим образом правления. Не нравится состав суда, разбирающего известное дело (дело Дрейфуса. — *К.С.*), и самодержавному парламенту ничего не стоит передать рассмотрение этого дела другому составу судей. Это ли не произвол, считающийся признаком деспотического образа правления» (ОР РГБ. Ф. 265. К. 154. Д. 9. Л. 15 об. — 16. См. также: Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 17).

исключительным, в интересах самой власти». Таким образом, самодержец должен несколько дистанцироваться от бюрократии: «Сущностью самодержавия вовсе не требуется отождествление самодержца с правительством, напротив, нет ничего вреднее и опаснее для идеи самодержавия, как подобное отождествление»¹. При таком подходе говорить об ответственности министра перед самодержцем как об ответственности подчиненного перед главой администрации было бы неправомерным.

Во-вторых, Самарин не верил в русское общество. Он был согласен с определением, данным ему И.Л. Горемыкиным: «людская пыль». По мнению Самарина, общества как «бытового, свободного и органического союза» в России не было. Его отсутствие в значительной мере и предопределяло столь вредное направление, которое приняла деятельность бюрократии. Поэтому возлагать на русское общество определенные надежды было бы ошибочным². Оно не могло в полной мере справиться и со своими настоящими обязанностями: Самарин крайне критически оценивал ход земского дела³. Подобная «людская пыль» не могла, очевидно, объединиться вокруг некоторых идей, общих положительных начал, ибо ее как раз и отличала разногласица. Зато она могла сплотиться вокруг отрицательного отношения к исторически сложившемуся социальному и государственному строю⁴. Общество не могло быть созидательной, конструктивной силой. Помимо этого, Самарин не видел большой разницы между его представителями и бюрократией, так как они принадлежали к одному кругу и все недостатки чиновничества были недостатками и его критиков⁵.

1. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 17; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 11.

2. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 20; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 13.

3. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 18–19; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 12.

4. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 16.

5. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 17; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 10.

Скептически Самарин относился и к идее созыва Земского собора. Современное общество, столь враждебное верховной власти, забыло «земский характер» самодержавия, а соответственно, в Земском соборе, где тон будут задавать представители интеллигенции, должны господствовать совершенно иные настроения, нежели это представлялось А.А. Кирееву. Именно они и определяли бы характер взаимодействия самодержца и Земского собора¹. Самарин видел прямую опасность в созыве хотя бы законосовещательного органа, вокруг которого объединились бы далеко не только славянофилы, но и конституционалисты, увидевшие в нем «первый шаг по пути к парламентаризму»².

Впрочем, Самарин не ограничился только критикой: он предложил и свой проект выхода из настоящего кризиса. По его мнению, коренная причина современных проблем — серьезное недовольство общества властью: «Действительно, как бы ни была сильна и тверда верховная власть, она может оказаться неспособной управлять страной и пасть жертвой внутреннего бессилия, если тот общественный класс, который служит ей орудием, без которого она не может обойтись, ибо через него она правит, если этот класс относится к ней враждебно или хотя бы отрицательно и все лучшие свои надежды связывает с переменой режима»³.

Чтобы нормализовать отношения между обществом и властью, Самарин считал важным провести следующие реформы. Во-первых, все действия правительства следовало свободно обсуждать на страницах печати⁴. Во-вторых, в целях установления большего контроля над деятельностью высшей бюрократии требовалось, чтобы министры как ежегодно составляли программу своих будущих

1. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 22; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 16.
2. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 41–42; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 17.
3. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 23.
4. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 29; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 28.

действий¹, так и ежегодно отчитывались за проделанную работу². В-третьих, печать должна контролироваться не администрацией, а особыми административными судами³. Им во главе с первым департаментом Сената должна быть подотчетна и вся администрация⁴. В-четвертых, необходимо упорядочить работу приглашавшихся экспертов, «сведущих людей» при выработке того или иного решения. Следовало использовать английский опыт «производства местного опроса и исследования особыми комиссиями смешанного состава или особыми лицами, специально на то уполномоченными от верховной власти, с тем, чтобы эти комиссии или лица имели право опрашивать, кого они найдут нужным, собирать те сведения, которые они признают полезными, и чтобы они были обязаны на основании всего виденного и слышанного выработать предположения о желательных законодательных мерах»⁵. В-пятых, дабы ходатайства земств более не игнорировались администрацией, необходимо поручить их рассмотрение какому-нибудь конкретному ведомству — например, Государственному совету. При этом представители ходатайствующей стороны должны приглашаться к участию в обсуждении их прошения⁶. В 1905 г., рассуждая о необходимости преобразования настоящего государственного строя, он так определил свою программу реформ: «Нам говорят: что же, по-вашему, преобразовать и как? Мы отвечаем: нет такого преобразования, которое одно обещало бы полное излечение. Требуется целый ряд мер. Нужно преобразование Государственного совета, Сената, министерств, местного управления. Нужно освободить государя от массы мелких

1. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 28; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 29.
2. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 28 об.
3. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 29; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 29 об. — 31
4. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 34 об. — 35.
5. Может ли земский собор вывести нас из настоящего положения. С. 29–30; ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 31–33.
6. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 10. Л. 36.

дел, которые теперь до него не доходят. Нужно дать возможность частным лицам привлекать к ответственности должностных лиц и т.д.»¹

Так, Самарин, казалось бы противник институциональных преобразований, в своей программе выхода из кризиса значительное внимание уделил именно формированию и укреплению институтов, способных контролировать бюрократию: это было бы целью введения административных судов, упрочения позиции печати, предоставления новых полномочий Государственному совету и усиления позиций такого института, как земства. В этом смысле проект Самарина, как и проект Киреева или же Шарапова, является собой пример программы именно институциональных реформ, альтернативных конституционной. Согласно всем трем проектам, общественное мнение и правовая ответственность должны были сдерживать административный произвол. Примечательно, что многие правоведы видели природу как раз конституционализма в силе организованного общественного мнения². Кроме того, в юридической науке общим местом было утверждение, что один из ключевых признаков правового государства — наличие независимой от администрации судебной системы³. Так что по многим параметрам проектируемая славянофилами модель управления и конституционный режим сходились. Единственное, что оставалось для славянофилов абсолютно неприемлемым, — учреждение законодательного органа власти в стране.

Однако и это расхождение можно считать условным. Логика последователей Аксакова, не признававших самодержавие формой абсолютной монархии, неизбежно приводила их к мысли о необходимости существования того

1. ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 31–33. Л. 3 об.
2. *Кокошкин Ф.Ф.* Лекции по общему государственному праву. М., 1912. С. 79.
3. *Котляревский С.А.* Власть и право. СПб., 2001. С. 100, 106, 268. По мнению же известного правоведа Р. Гнейста, наличие административной юстиции, которую Ф.Д. Самарин считал столь необходимой, — важнейший, а может быть, просто коренной признак правового государства (Там же. С. 69).

или иного ограничителя власти императора. Отталкиваясь от представлений о господстве определенных этических норм, которое не должно было допустить проявлений деспотизма со стороны царя, они, часто сами того не осознавая, высказывались в пользу юридических ограничений полномочий государя.

Модель Д.Н. Шипова. Пожалуй, наиболее показательна в этом отношении позиция Д.Н. Шипова. Он в качестве примера реализации по существу славянофильских концепций приводил английскую политическую систему: именно там власть государя ограничивается не конституцией, а лишь сознанием необходимости единения короля и народа перед лицом насущных проблем. По мнению Шипова, солидарность народа и монарха в Англии есть основа государственного строя. «...И я считал вероятным и возможным, что если идея русского самодержавия сохранится непоколебимой в своей основе, то при постепенном развитии нашей государственной жизни эта идея могла бы получить в более или менее близком будущем выражение и осуществление в формах и порядке, аналогичных государственному строю в Англии», — писал Д.Н. Шипов¹.

Славянофильский идеал Шипова имел фактическое конституционное выражение. Или, по крайней мере, мнение славянофила Шипова о «лучшем из современных европейских государств» полностью совпадало с точкой зрения убежденных конституционалистов, восхищавшихся Англией². В действительности сама логика рассуждений Шипова вела его подчас к выводам, противоположным тому, что утверждали отцы-основатели славянофильства. Например, в письме своему близкому другу М.В. Челнокову от 9 июля 1903 г. Шипов, настаивая на необходимости солидарности земских сил, утверждал, что только такое единение «приведет, несомненно, абсолютизм и бюрократизм к капитуляции,

1. *Шипов Д.Н.* Воспоминания и думы о пережитом / Предисл. и коммент. С.В. Шелохаева. М., 2007. С. 288.
2. См.: *Виноградов П.Г.* Местное самоуправление в Англии // Мелкая земская единица: В 2 вып. Вып. 1. С. 92; *Котляревский С.А.* Власть и право. С. 100, 102–103.

и только таким путем возможно установление государственного порядка, прочного, надежного и обеспечивающего возможность дальнейшего прогресса и осуществления общественной правды». Иными словами, Шипов не только требовал упразднения бюрократической формы правления, искажившей суть самодержавия, но и был недоволен неограниченным характером власти царя. Он считал необходимым поставить предел произволу императора¹. Весьма оригинальные мысли о российском абсолютизме были высказаны Шиповым в письме к Ф.Д. Самарину от 18 января 1900 г. По его мнению, коренная ошибка правления Александра III заключалась в том, что были забыты различия между самодержавием и самовластием. «Будучи человеком сильного характера и крепкой воли, он (Александр III. — К.С.) рассчитывал сам всем управлять и во всех членах государственного управления сверху донизу видел только исполнителей своей воли»². Автором утверждалась мысль о необходимости для самодержавной власти сотрудничать с обществом. Если же монарх этого не делает, он перестает быть истинным самодержцем, а последствия этого могут быть самые печальные. Соответственно, подобное сотрудничество — не просто акт доброй воли царя, но его долг перед страной и народом. Если же при этом иметь в виду предложенные Шиповым формы «общения» царя и «земли», то выходит, что с мнением новообразованного Земского собора император будет обязан считаться. В этом как раз проявляются особенности логики председателя московской земской управы: не считая возможным юридически ограничивать полномочия императора, он верит в нравственные барьеры, которые мало чем отличаются от правовых: они безусловны, унифицированы для всех и, главное, предполагают единственный правильный выбор в любой ситуации³. Игнорирование же нравственных

1. ГА РФ. Ф. 810. Оп. 1. Д. 493. Л. 17 об.

2. ОР РГБ. Ф. 265. К. 208. Д. 29. Л. 38 об. — 39.

3. В этом отношении очень любопытна фраза Д.Н. Шипова, сказанная им на заседании кружка «Беседа» 22 августа в ходе обсуждения записки Н.Н. Львова: «...Надо только, чтобы общество могло

ограничителей чревато крахом политической системы. Воодушевленный английским опытом Шипов верит в неписаную конституцию, которая на самом деле действует так же, как и писаная.

Анализируя же роль Земских соборов в истории России, он доказывал: «Сила и авторитет Земских соборов определялась не законом, а народным сознанием, что призвание самодержавных государей состоит в том, чтобы творить не свою волю, а быть лишь выразителями соборной совести народа»¹. В данном высказывании, очевидно, «спряталась» несколько видоизмененная теория народного суверенитета. Источник власти в средневековой Руси — соборная совесть народа, имевшая свое институциональное выражение — Земский собор. Решения же самодержца не должны входить в противоречие с народной совестью, из чего вытекает, что сама политика государя не может идти вразрез с мнением Земского собора, представляющего народные нужды и чаяния. Соответственно, настоящий самодержец — вовсе не абсолютный монарх, более того, самодержец — не источник власти. Им оказывается все та же народная совесть.

Теоретические построения Шипова не представляли собой исключительное явление для славянофильской мысли: по существу, схожие вещи писал А.А. Киреев. В своем дневнике он приводил любопытное рассуждение о возможной роли общественного мнения в политической жизни страны. Оно настолько влиятельно, насколько значимы идеи, которые оно отстаивало. «Если общество будет иметь в виду служение этим идеалам, оно будет так сильно, голос его будет столь авторитетен, что никакое правительство не подумает сметь делать что-либо безнравственное»². У общественного мнения могла быть очень серьезная роль, но только в том случае, если бы

высказать свои нужды, а верховная власть выслушала, в силу нравственного чувства самодержец, конечно, исполнит желание народа» (ОПИ ГИМ. Ф. 31. Оп. 1. Д. 142. Л. 33).

1. Шипов Д.Н. Воспоминания и думы о пережитом. С. 148.
2. ОР РГБ. Ф. 126. К. 11. Л. 88 об.

оно было «правильным», т.е. отражало взгляды самого Киреева. «Земле» предоставляются большие возможности, но в действительности ее лишают свободы. Только в этом случае могущество общественного мнения Киреева не смущает. Он предполагает ввести регулирующий механизм гражданского общества, который, однако, должен функционировать принципиально иначе, чем в странах Западной Европы. Общественное мнение, инструмент диалога общества с властью, согласно Кирееву, должно обратиться в хор, подпевающий солисту. И все же при всех оговорках Киреев признавал за общественным мнением право контролировать правительство. Все предложенные им способы трансляции общественного мнения (в том числе и Земский собор) должны рассматриваться именно в этом контексте: их цель — обеспечить «земщине» возможность влиять на политический процесс.

Противоречия Киреева типичны для любой славянофильской концепции, когда так или иначе ставился вопрос об ограничениях императорской власти и вместе с тем они не описывались как элементы политической системы. Славянофилы не уточняли, каковы механизмы взаимодействия между верховной властью и тем, что по идее должно ее сдерживать, вероятно рассчитывая, что истинное самодержавие будет находиться в постоянной гармонии с общественным мнением или же народным мировоззрением. «Царь есть отрицание „абсолютизма“ именно потому, что он связан пределами народного понимания и мировоззрения, которое служит той рамой, в пределах коей власть может и должна почитать себя свободной», — писал Д.А. Хомяков¹. Иначе говоря, народное мировоззрение есть важный политический фактор, но оно не в силах способствовать изменению формы правления. Или же, если быть более точным, Хомяков даже не может предположить, что самодержавие когда-либо будет противоречить мировоззрению русского народа². Он настолько убежден в гармоничном

1. Хомяков Д.А. Православие, самодержавие, народность. М., 2005. С. 14.

2. «Пока у народа преобладают интересы духовно-бытовые, он смотрит на власть, как на нечто, так сказать, служебное, имеющее

соотношении воли самодержца и народного мировоззрения, что даже готов признать последнее своего рода ограничением власти императора. Это внутреннее противоречие славянофильства — следствие коренной проблемы, стоявшей перед этим направлением мысли: как совместить сохранение самодержавия с развитием начала общественной самодеятельности? Или же как поставить общество стражем правил политической игры, при этом не вызывая его из политического небытия? Каждая неославянофильская концепция — попытка решения этой задачи; его неочевидность стала причиной удивительного разнообразия подобных построений.

Христианское государство Владимира Соловьева

Как провести грань между законом и моралью? Этот вопрос не вполне разрешен в юриспруденции. Ответ на него относится к числу аксиоматических утверждений. Он скорее принадлежит к области верований, отчасти обусловленных жизненным опытом. Ф.М. Достоевский был против снисходительности к преступникам. Он верил в спасительную силу каторги, способной перевоспитать виновного; если же он будет оправдан, то посмеется над судом, всей правовой системой и получит шанс не на исправление, а на новое преступление. Это воспитывает в людях цинизм и представление о вседозволенности. Таким образом, избыточная гуманизация размывает общественные представления о нравственности¹.

Закон — предсказуемый порядок, оберегающий человека от случайностей произвола. В.С. Соловьев вполне определенно писал о естественных правах, которые нуждались

сравнительно узкую сферу — поддержания того порядка и той безопасности, при которых можно жить безмятежно этими высшими интересами», — писал Д.А. Хомяков (Там же. С. 126). Принадлежность же русских к этим «высшим» народам, не желающим участвовать в борьбе за власть, — аксиома неославянофильства, определяющая одну из характерных черт уникальной русской цивилизации.

1. *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя, 1873 // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 21. Л., 1980. С. 19.

в защите со стороны государственной власти¹. Рассуждая так, Соловьев вольно или невольно вторил Т. Гоббсу. По мысли Соловьева, только в государстве право может найти свое воплощение. Более того, само государство есть воплощенное право².

Будучи вполне последовательным, Соловьев выделяет два важнейших свойства закона: его безличность и публичность. Закон должен быть известен всем: он формирует общепризнанные правила игры. При этом характер применения не может зависеть от фамилии того, на кого распространяется его сила³.

Наконец, за законом должна стоять власть, способная его осуществить. Собственно, по мысли Соловьева, в этом и заключается природа власти — силы, обеспечивающей правопорядок⁴. Государство — это необходимое условие установления добра в мире⁵. Однако условие обеспечения добра еще не есть добро.

Владимир Соловьев признавал, что государство в разные эпохи имело различные формы воплощения. Например, в Элладе государство — это гражданская община⁶. Практичный Рим ставил на первое место идею «общего дела», т.е. *res publica*⁷. Однако римский «государственный абсолютизм» обрел смысл только тогда, когда его формы были наполнены христианским содержанием — когда *res publica* стала *Pax Christiana*⁸. В.С. Соловьев отмечал разнообразие государственных форм. Их значение было относительным. Однако в любом случае они гарантировали баланс интересов — общего и частного⁹. В этом и заключалось западноевропейское понимание феномена государства. Соловьев

1. Соловьев В.С. Значение государства // Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 3. СПб., 1911. С. 262–263.

2. Там же. С. 264.

3. Там же. С. 263.

4. Там же.

5. Там же. С. 268.

6. Там же. С. 265.

7. Там же. С. 267.

8. Там же. С. 268–269.

9. Там же. С. 269.

полагал, что была и византийская государственная идея. Она строилась на признании особого «сверхправового начала», «которое, не будучи производением данных правовых отношений, может и призвано самостоятельно изменять их согласно требованиям высшей природы». Эта концепция признавалась и в Западной Европе в Средние века. Там под сверхправовым началом имелся в виду институт королевской власти. Однако в XIX в. о подлинном монархическом абсолютизме оставались лишь воспоминания¹.

Византийское сверхправовое начало — совсем иного рода. Это идея христианской империи, а следовательно, самодержавия совести. Оно не служит изменчивому общественному мнению или же народной воле, которая может оказаться безнравственной. Самодержец «поставлен выше всего этого, — он есть подчиненный, служитель и представитель только того, что по существу не может быть дурным, — воли Божьей, и величие такого положения равно только величию его ответственности»².

В данном случае В.С. Соловьев предлагает удивительный разворот проблемы, пунктирно намечая тему антропологического измерения власти. В его интерпретации нравственный самодержец — любой человек, который обязан поступать по совести. Вопрос лишь в пределах компетенции. Иными словами, верховная власть в своем государственном служении должна следовать нравственному императиву, общепризнанному для любого христианина³. Совесть, лежащая в основании государственной власти, может снять многие противоречия: например как воспользоваться плодами человеческой свободы, не рискуя обратиться в произвол и тиранию⁴. Однако византийская идея так и не получила практического воплощения. Константинопольские императоры продолжали служить языческому государству, а не христианскому идеалу⁵.

1. Там же. С. 270.

2. Там же. С. 272.

3. Там же.

4. Там же. С. 272–273.

5. Там же. С. 274.

В.С. Соловьев предложил новый путь к пониманию власти: надо постараться вникнуть в политическое поведение ее представителя, которое не должно уместяться в привычные правовые формы законодательства. Это своего рода «макиавеллизм» наоборот: деконструкция поведения властных элит, которая основывается не на их априорном цинизме, а на готовности следовать идеалу. Так или иначе она присуща всему обществу. Здесь намечался путь, по которому впоследствии пошли представители школы возрожденного естественного права.

В данном случае речь идет о сравнительно позднем тексте Владимира Соловьева, написанном в 1895 г. Как раз в это время правовая мысль в России драматически преобразалась. Новое поколение отказывалось от фетишизации государства. Более того, не будучи анархистским, оно тем не менее не принимало государства как ключевой категории правовой мысли¹. Право первично вне зависимости от того, как его объяснять и понимать. Этот тезис имел своим следствием новые приемы политической борьбы. Однако что будет с государством и его институтами? Как новые подходы к праву отразятся на их функционировании? Как уже отмечалось, образцом представлялась Англия. Как бы ее ни характеризовали, следуя традиции, заложенной Р. Гнейстом, всякий раз отмечали принцип самоуправления, который лежал в основании всей политической системы. Парламента пока в России не было, легальных партий — тоже. Местное же самоуправление, при всех возможных его недостатках, было. Оно казалось тем рычагом, с помощью которого можно было перевернуть мир — или по крайней мере Российскую империю.

1. См.: *Туманова А.С., Киселев Р.В.* Права человека в правовой мысли и законодательстве Российской империи второй половины XIX — начала XX века. М., 2011. С. 74–106; *Туманова А.С.* Общественные организации в России: правовое положение. 1860–1930-е гг. М., 2019. С. 156–170; *Tumanova A.S.* The liberal doctrine of civil rights in Late Imperial Russia: a history of the struggle for the rule of law // *Cahiers du Monde Russe*. Vol. 57 (2016). No. 4. P. 791–818.

В поисках нового государства

В конце XIX столетия публицисты нередко задавались вопросом: как получилось, что в бюрократической империи сохранились «островки» местного самоуправления? Почему самодержавная бюрократия мирилась с существованием земств, дворянских собраний, самоуправляющихся крестьянских общин? На современном этапе кажется более точным поставить вопрос иначе: как соотносить океан недоуправляемой и самоуправляющейся России с немногими бюрократическими центрами, претендовавшими на тотальность контроля?

Может быть, чиновничество было просто не в силах контролировать политическую жизнь и по необходимости многое перепоручало обществу? «Ведь практически все-таки есть демаркационная линия (отделяющая полномочия бюрократии от полномочий органов местного самоуправления. — *К. С.*) Да, она создается и меняется, но проходит она совсем не там, где ее хотят видеть — не между местными и общими интересами — она проходит, где кончается фактическое могущество бюрократии, ибо и оно не бесконечно и лучшим доказательством этого и служит самый факт столь долгого существования в России земских учреждений», — писал один из лидеров «Союза освобождения», видный земский деятель князь Д. И. Шаховской¹. «Демаркационная линия» возникает лишь вследствие слабости бюрократии. Стоит ей немного усилиться, как тут же «линия» отодвигается. Дальнейшее усиление чиновничества должно неизбежно повлечь за собой обращение земцев в обычных агентов правительственной власти. Подобная ситуация объяснялась тем, что источник власти бюрократы и земца принципиально разнился. Органы местного самоуправления основывали свою силу на общественном мнении и представительстве интересов. Бюрократия обладала властью в силу своей принадлежности к системе

1. *Шаховской Д. И.* Демаркационная линия // Освобождение. № 19. 19 марта 1903. С. 330.

управления. Расклад сил в обществе, общественное мнение ничего не значат для чиновника и тем более не могут повлиять на распределение полномочий между агентами верховной власти и земством. Единственное, что может обеспокоить бюрократа, это сохранение в неприкосновенности настоящей системы управления. Обладая немалыми полномочиями, он будет делать все, дабы удержать *status quo*¹. Эта спорная точка зрения не подтвердилась в годы Первой русской революции. Многие чиновники отнюдь не отождествляли себя с правящим режимом — напротив, за обеденным столом среди друзей они могли оказаться настоящими оппозиционерами. Тем не менее ход мысли Шаховского логичен и не кажется беспочвенным.

По его оценке, русское государство основывалось на «субъекто-объектных» отношениях: правительство рассматривало общество как объект управления и мало интересовалось его реакцией на принятые решения. Причина этого крылась в отсутствии ответственности представителей власти, предпочитавших единолично принимать все решения. Такая дихотомия не вполне очевидна. Сложно провести грань, строго отделявшую правительство и общество². Очень часто речь шла об одних и тех же лицах, выступавших, правда, в разных ролях³. Однако риторика рубежа веков действительно строилась на антагонизме: «мы» и «они», общественность и власть.

Был и другой взгляд на ту же проблему. В 1899 г. министр внутренних дел И. Л. Горемыкин подготовил записку, посвященную возможному введению земства в Западном крае. Это был его ответ на критику С. Ю. Витте, разоблачавшего земство как инородное тело в государственном механизме России. В отличие от коллеги по правительству,

1. Шаховской Д. И. Демаркационная линия. С. 329–330.
2. Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. М., 2000. С. 35. См. также: Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX в. М., 2008. С. 23–26.
3. Веселовский Б. Б. История земства: В 4 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 588–589. См. также: Савельев В. В. Начало земской карьеры Б. В. Штюмерера // Исторические записки. 2006. № 9 (127). С. 74–92.

Горемыкин (а точнее: авторы записки) не считал конституцию неизбежным следствием развития местного самоуправления. Государственность России всегда зиждилась на нем. Еще в XVI столетии появился первый его орган — губные учреждения¹. В конце XIX в. лишь полиция не была проникнута началом общественной самостоятельности². Ссылки Витте на европейский опыт не могли быть приняты во внимание, так как по сравнению с народами Запада русские, по выражению К.С. Аксакова, «есть народ не государственный, т.е. не стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия». Так И.Л. Горемыкин, приводя множество цитат из работ братьев Аксаковых, Ю.Ф. Самарина, А.С. Хомякова, несомненно следуя славянофильским догмам, утверждал необходимость введения земств в Западном крае³.

«Русское государство в его настоящем есть, по преимуществу, страна местного самоуправления», — делал вывод министр внутренних дел⁴. Совместное участие государственной бюрократии и общественности в деле управления страной не противоречит идее самодержавия, а, напротив, составляет характерную черту отечественной политической системы. Особенность России заключается как раз в том, что в ней не решается вопрос о власти, а все по мере своих возможностей участвуют в общем деле управления государством, помогая таким образом самодержавному государю. Иными словами, русскому народу чужда политическая жизнь, но он активно вовлечен в жизнь государственную.

Эти мысли нашли свое развитие в рассуждениях князя А.Д. Оболенского, бывшего в 1899 г. ближайшим сотрудником Горемыкина (судя по всему, Оболенский и был одним из инициаторов его записки). В августе 1899 г. Оболенский

1. Кризис самодержавия в России, 1895–1917. Л., 1984. С. 108.
2. Библиотека РГИА. Коллекция печатных записок. Печатная записка № 3072. С. 2.
3. Кризис самодержавия в России, 1895–1917. С. 108–110.
4. Библиотека РГИА. Коллекция печатных записок. Печатная записка № 3072. С. 1.

адресовал письмо С.Ю. Витте, обосновывая собственное понимание самодержавия. Это не просто форма правления, это русская национальная идея: «По этому взгляду самодержавие не есть лишь вершина бюрократической пирамиды, он (самодержец. — *К.С.*) есть глава всего народа, солидарный с этим народом (*sic!* — *К.С.*), в котором бюрократия лишь один из элементов...». Царь должен иметь возможность личного общения с народом, не будучи заслоненным своекорыстным чиновничеством. В силу этой причины необходимо укреплять земство, так как лишь оно могло служить некоторым противовесом бюрократии¹. В марте 1901 г. Оболенский послал Витте новое письмо, посвященное тому же сюжету. Он доказывал, что говорить о несовместимости местного самоуправления и самодержавия — значит не верить в последнее. Развитие принципа самоуправления должно стать залогом стабильного и поступательного развития страны². «Местное самоуправление, правильно поставленное, начатое снизу и доведенное до губернского центра, есть основной рычаг общественной организации, главный фактор группировки общественных элементов. Без местного самоуправления группировка общественных элементов всегда случайна, общество не организовано, это толпа». Ведь в толпе торжествуют крайности: консервативное большинство не может их сдержать. Организованное же общество может противостоять существующему внутри него брожению, тем самым обеспечивая государству необходимую устойчивость³.

Итак, один и тот же факт воспринимался по-разному лицами, по-своему смотревшими на русскую государственность. Одни объясняли земства относительной слабостью бюрократии — а следовательно, самого режима, который был вынужден терпеть органы местного самоуправления: сам он не мог полностью контролировать ситуацию в стране. Другие полагали, что местное самоуправление не только не противоречило принципам самодержавия, но и было

1. ОР РГБ. Ф. 440. К. 2. Д. 7. Л. 2.

2. Там же. Л. 3 об.

3. Там же. Л. 4.

неотъемлемой чертой русской государственности. Разные версии подразумевали разные точки отсчета, свою «оптику». Одни видели бюрократические приемы управления, приобретающие со временем все большее ускорение. Трудно было не заметить амбицию многих правительственных учреждений все учесть и все контролировать. Земство — лишь случайный компенсатор временной слабости правительственного аппарата. Оно противоречило «архитектонике» правящего режима. Был и другой взгляд: вторивший славянофилам Горемыкин исходил из уникальности русской цивилизации. Сравнение российских реалий с европейскими изначально ошибочно. Нельзя теории, разработанные в Западной Европе, без всяких поправок применять в России. Она нуждается в собственном учении. Отталкиваясь от того, что писали «отцы-основатели» славянофильства, Горемыкин и его сослуживцы доказывали, что сосуществование централизованного правительственного аппарата с земством — не нонсенс, противоречащий примерам из европейской истории, а знаменательный факт. На его основании следовало выработать собственный взгляд на местное самоуправление как необходимый элемент самодержавного государства.

При всех существенных отличиях общественная мысль, пытавшаяся предложить конструктивный проект преобразования государственного строя, искала баланс между исторической властью и набиравшими мощь общественными институциями. Монархизм был ее константой. Это не значит, что принималась официальная версия самодержавия. Напротив, публицисты разного толка предлагали собственную формулу государственности, выстраивали свое понимание генеалогии российской власти.

Парламентский антиреспубликанизм

К 1906 г. русский либерализм определился в своем монархизме — в силу разных обстоятельств. Октябристы не отбрасывали славянофильскую риторику, делая «реверансы» в адрес «исторической власти». Кадеты полагали наивным

агитировать в пользу республики среди подавляющего большинства монархистов. Они пытались следовать за настроениями избирателей. При этом кадетский монархизм был, разумеется, ситуативным. И все же республиканцев среди либералов практически не было.

Тому способствовал образец, на который можно было равняться, находя разные привлекательные стороны. Речь идет об английской монархии. Для русского общества она была привлекательной еще полвека тому назад. Русское дворянство с завистью смотрело на английских джентри, обладавших не только поземельной собственностью, но и политической властью. Стать представителями своего рода аналога английской поземельной аристократии — цель многих дворянских кружков¹. Первый из них — Санкт-Петербургский губернский комитет, подготовивший ответственную записку (проект всеподданнейшего адреса) императору в 1859 г. «Дворянство просит дозволить избрать по два выборных с каждой губернии, но с полным уполномочием от своего сословия, и составить из них Собрание Дворянства для рассмотрения положений, какие Редакционной комиссией и Главным комитетом заготовлены»².

В конце XIX — начале XX в. и консерваторы, и либералы³ нередко ссылались на английский политический опыт. Зачастую он оценивался как эталонный. При этом интерпретации могли быть самые разные. Как уже отмечалось выше, видный общественный деятель, в прошлом один из основателей «Союза 17 октября» Д.Н. Шипов рассматривал английскую политическую систему как практически образцовую славянофильскую. Именно там, в Великобритании,

1. *Иорданский Н.И.* Конституционное движение 60-х годов. М., 1906. С. 62.
2. *Хрущов Д.П.* Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II: [Сборник]: [В 3 т.]. Т. 2. Берлин, 1861. С. 97.
3. *Виноградов П.Г.* Накануне нового столетия. М., 1902. С. 16–17; *Кокоскин Ф.Ф.* Об основаниях желательной организации народного представительства в России. М., 1906. С. 36–37; *Острогорский М.Я.* Конституционная эволюция Англии (в течение последнего полувека). Падение палаты лордов // Вестник Европы. 1913. № 10. С. 204; *Гессен В.М.* Теория конституционного государства. СПб, 1914. С. 4.

власть государя ограничивается не конституцией, а лишь сознанием необходимости единения короля и народа¹. Далеко не самый радикальный политический мыслитель рассматривал на переформатирование всей российской государственности по западноевропейским лекалам, апеллируя к идее национальной солидарности. Она противопоставлялась полицейскому произволу, бюрократическому диктату, императорскому всевластию. Получалось, что самодержавие подразумевало правопорядок, который строился на негласном договоре. Его не знала царская Россия. Зато он был осуществлен англичанами. Проектируя принципиально иное государство, Шипов обращался к хорошо известным ему образцам. Едва ли удивительно, что ему не хватило политического воображения придумать что-то отличное от английского. М.М. Ковалевский, наоборот, не видел значимых отличий между английской конституционной монархией и Французской республикой². По его оценке, королевская власть на Британских островах смотрелась красивой бутафорией, которая не могла смутить даже самого наивного наблюдателя: английская конструкция власти, в сущности, в короне не нуждалась, а сохраняла ее по инерции.

Российские парламентарии периодически возвращались к британскому опыту и часто перенимали английскую терминологию: например, сравнивали палату общин и Государственную думу³ или же Манифест 17 октября 1905 г. и Великую хартию вольностей⁴. В 1906 г. вспоминали английскую революцию XVII в.⁵, дело Дж. Гемпдена⁶. Разумеется, народные

1. *Шипов Д.Н.* Воспоминания и думы о пережитом. С. 288.
2. *Ковалевский М.М.* Прогресс // Вестник Европы. 1912. № 2. С. 237.
3. П.А. Столыпин: Биохроника. М., 2006. С. 212; *Шидловский С.И.* Воспоминания: В 2 т. Т. 1. Берлин, 1923. С. 124; [*Челноков М.В.*] Письмо М.В. Челнокова А.И. Шингареву. 27.07.1909 // Bakhmeteff archive (BAR). Miliukov coll. Вох. 1.
4. [*Ковалевский М.М.*] Русская конституция: очерк проф. М.М. Ковалевского. СПб., 1906. С. 3–4.
5. *Ковалевский М.М.* Моя жизнь: Воспоминания. М., 2005. С. 362–363.
6. *Петрункевич И.И.* Политическая роль первой Государственной думы // Первая Государственная дума: В 3 вып. Вып. 1. СПб., 1907. С. 94; См. также: *Быков А.* Борьба за законность в старой Англии // Народное дело. 12 апр. 1906. № 35. С. 2–3.

избранники рассчитывали использовать этот опыт — пассивного или самого активного сопротивления. Некоторое время спустя, уже в период Первой мировой войны, депутаты, действовавшие и бывшие, в большинстве своем неизменно превозносили Великобританию, отмечая ее многочисленные достоинства в сравнении с Германской империей¹. По мысли Ф.Ф. Кокошкина, Англия и Германия — два полюса современного человечества. «Германия шла от равенства к гегемонии, от германского союза и индивидуализма 1848 г. к военной олигархии. Британская империя, напротив, идет от гегемонии к равенству»². Соответственно, германский тип организации Европы вел к милитаризму и войнам, британский — к международному миру.

Было и другое: не только превознесение образца, но и научная гипотеза того, как он был в итоге достигнут к началу XX в. Обычно историки права отмечали «органический» путь Англии к своей неписаной конституции. Она возникла не на пустом месте. Она не стала плодом усилий далеких от жизни интеллектуалов. Напротив, она складывалась медленно, постепенно и, главное, незаметно для обывателя. Это происходило само собой в силу естественного развития социальных отношений. Тем прочнее была корневая основа конституции³. В данном случае государственная власть — это не просто совокупность учреждений или законов, а в первую очередь писаные и неписаные правила игры, признанные и усвоенные всем обществом и даже, возможно, не вполне отрефлексированные им⁴.

Однако эта обоснованная исследовательская позиция плохо сочеталась с публицистическими клише, характерными для многих периодических изданий того времени. Английский порядок возник не в один день, тем не менее

1. *Туманова А.С.* Общественные организации в годы Первой мировой войны (1914 — февраль 1917 г.). М., 2014. С. 60–71.
2. *Кокошкин Ф.Ф.* Англия, Германия и судьбы Европы. М., 1918. С. 31.
3. *Кистяковский Б.А.* Государственное право (общее и русское). СПб., 1999. С. 421.
4. *Котляревский С.А.* Власть и право: проблема правового государства. М., 1915. С. 108.

он мог быть перенят Россией в кратчайший срок. На это рассчитывали в Конституционно-демократической партии¹. Сложившийся к 1905–1906 гг. политический режим оценивался как временный и неудачно скроенный — и в России, и во всех прочих странах с дуалистической монархией (например, в Германской или Австро-Венгерской империи)². Конечно, «парламентарная система управления устанавливается повсюду не законом, а обычаем, и едва ли она может быть установлена иным путем и в России», — рассуждал Ф.Ф. Кокоскин³. Однако этот обычай не может не сложиться в ближайшее время. Так казалось весной 1906 г., когда безусловной смотрелась легитимность новообразованной Государственной думы. Бюрократическое правительство должно было уступить популярным депутатам. По мысли В.М. Гессена, «господство законодательной власти в конституционном государстве обусловлено, прежде всего, представительным характером ее организации. Парламент в конституционном государстве всегда и необходимо рассматривать с большим или меньшим основанием в зависимости от природы действующего избирательного права — как непосредственный выразитель народной воли»⁴.

Как это часто случается, практика шла вразрез со словами. Депутатам приходилось выстраивать свою линию поведения, исходя из реального расклада сил, особенностей государственных учреждений, политических институтов. Прежде всего речь идет о включенности Думы в бюрократическую законотворческую машину, которая с учреждением представительных органов власти далеко не во всем изменилась по сравнению с дореволюционной.

Таких особенностей было немало:

1. Съезды и конференции конституционно-демократической партии: В 3 т. Т. I. М., 1997. С. 74–76.
2. Гессен В.М. Теория правового государства // Вестник права. 1905. Кн. 4. С. 252.
3. Съезды и конференции конституционно-демократической партии: В 3 т. Т. I. М., 1997. С. 76.
4. Гессен В.М. Теория правового государства // Политический строй современных государств. Т. I. СПб., 1905. С. 135.

1) Например, Государственный совет по духу, по стилю работы оставался учреждением бюрократического типа. Это определяло отношение его членов к депутатскому корпусу, а также характер работы с законопроектами¹. С Советом так или иначе приходилось считаться. Показательно, что в согласительных комиссиях именно он (а не Дума) играл «первую скрипку»².

2) В России продолжал функционировать целый ряд законосовещательных учреждений, составленных из чиновников, которые активно участвовали в процессе подготовки политических решений³.

3) В конце концов, Совет министров фактически обладал законодательной властью, доставшейся ему в «наследство» от Комитета министров⁴. В его ведении были дела

1. *Демин В.А.* Верхняя палата Российской империи, 1906–1917. М., 2006. С. 83–85.

2. *Он же.* Согласительная процедура // Государственная дума Российской империи, 1906–1917. Т. 1. М.; Челябинск, 2013. С. 654–656.

3. Труды Юридического общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. Т. 2. 1909. СПб., 1911. С. 218.

4. *Косошкин Ф.Ф.* Совет министров // Русские ведомости. 1 янв. 1910. № 1; *Магасинер Я.М.* Чрезвычайно-указное право в России (87 ст. Основных законов). СПб., 1911. С. 50–51. Схожим образом определил полномочия Совета министров и М.М. Ковалевский в связи с утверждением законопроекта о введении земства в Западном крае. 24 марта 1911 г. на заседании Государственного совета он утверждал: «Если бы признать закономерным действием поведение Совета министров в данном случае, то пришлось бы последовательно прийти к заключению, что статья 87 рассчитана на то, чтобы парализовать действие статьи 86, по которой требуется, чтобы новый закон не мог последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы. Каждый раз, когда Совет министров признает нежелательным для себя решение одной из двух палат по внесенному им законопроект, ему открыта была бы в таком случае возможность не только в промежутках между сессиями, но и во время перерыва сессии прибегать к статье 87 для того, чтобы обратиться в закон законопроект, только что отвергнутый одною из палат. Но это было бы равносильно признанию, что законодательными палатами у нас являются не Государственная дума и Государственный совет, а Государственная дума, Государственный совет и Совет министров, причем последний при разномыслии Государственной думы и Государственного совета имел бы решающий голос. Нелепость такого предположения слишком очевидна; но что оно логически вытекало бы из обращения недавней практики в частую или постоянную, это необходимо бросается в глаза каждому» (Государственный совет. Стенографические отчеты. Сессия шестая. 1910–1911. СПб., 1911. Стб. 1416).

«общественного порядка, спокойствия и безопасности», народного продовольствия, чрезвычайные происшествия. На его заседаниях принимались решения об установлении усиленной и чрезвычайной охраны в той или иной местности. В то время, когда Дума не заседала, Совет министров имел право обсуждать вопросы, привычно принимавшиеся в обычном законодательном порядке (собственно, речь идет о широко известной 87-й статье Основных государственных законов). Согласно формуле члена Государственного совета С. Ф. Платонова, «до конституции министры правили страной через царя. А после введения конституции царь правит страной через министров»¹. Уместной была и другая шутка. М. М. Ковалевский отличал «летний» и «зимний» политический строй империи. Зимой он был конституционный: тогда законодательствовали Дума и Государственный совет, за ними неустанно следили газетчики. Летом страна погружалась в сон. Депутаты и журналисты разъезжались по домам, в провинцию, или же отдыхали на дачах. Законодательство переходило в руки правительства. Россия же обращалась в обычное «полицейское государство»².

4) Как хорошо известно, право законодательной инициативы депутатов было ограничено³. Не стоит в этом видеть российскую специфику. Любая политическая система предоставляет правительству ключевую роль в подготовке решений, что следствие не злой воли, а исключительно профессионализма чиновников⁴. Вместе с тем в России эта проблема множилась на отсутствие законодательного опыта у большинства представителей депутатского корпуса.

1. *Клячко Л. М.* Повести прошлого. Л., 1929. С. 10.
2. *Ковалевский М. М.* Писаная и действующая конституция // Русские ведомости. 1 янв. 1910. № 1. С. 3.
3. Следует иметь в виду, что конституционный строй отнюдь не гарантировал представительным учреждениям право законодательной инициативы. Так, согласно французской конституции (хартии) 1814 г., палата депутатов им не обладала. Аналогичная ситуация имела место во Франции в 1852–1869 гг. (*Алексеев А. А.* Бюджетное право французского парламента // Журнал Министерства юстиции. Окт. 1915. № 8. С. 41–42).
4. *Лазаревский Н. И.* Русское государственное право. Т. 1. СПб., 1913. С. 604.

Зачастую они оказывались политически беспомощными игроками в сравнении со своими контрагентами со стороны исполнительной власти¹.

5) Некоторые законодательные процедуры сложились еще в дореволюционные времена и не самым радикальным образом менялись впоследствии. В частности, это касается бюджетных правил, предельно неудобных для Государственной думы².

Этот список можно было бы продолжить. Однако и того, что здесь перечислено, достаточно, чтобы утверждать: депутат Думы встраивался в чужой для себя мир. Народному избраннику приходилось приноравливаться к нему. Вместе с тем одним своим присутствием он менял политический ландшафт:

1) Отчасти этому способствовал сам депутат, за которым стояли различные группы интересов. С их ходатайствами он шел в министерские канцелярии — и чаще всего не напрасно. Пребывая там часами, он завязывал контакты с чиновниками разного уровня, договаривался с ними, выстраивал целую систему отношений³. Собственно, она складывалась сама собой, устраивая практически всех участников политического процесса: не только депутатов и министров, но в первую очередь чиновников среднего звена, которые непосредственно взаимодействовали с народными избранниками⁴.

2) Наличие Думы и реформированного Государственного совета обеспечивало публичность политическому процессу в России, разумеется, не во всем и не в полной мере. Однако журналист в хорах Таврического дворца сам по себе становился значимым фактором принятия решения. И правительство, и депутатский корпус оглядывались на читателя газет и хотели ему понравиться⁵.

1. Вебер М. Политические работы, 1895–1919. М., 2003. С. 172.

2. Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: Механизмы взаимодействия (1906–1914). М., 2011. С. 280–289.

3. Там же. С. 464–480.

4. Ключев И.С. Дневник // РГИА. Ф. 669. Оп. 1. Д. 6. Л. 6.

5. Соловьев К.А. Законодательная и исполнительная власть в России: Механизмы взаимодействия (1906–1914). С. 456–464.

3) Наконец, драматически новая процедура принятия решений подразумевала ревизию всех привычных алгоритмов законотворчества. Прежние навыки кодификации, редактирования правовых норм, экспертизы проектов становились ненужными. Законодательный процесс заметно рационализировался.

Этот список тоже можно продолжить, при этом не ставя под сомнение то, что было сказано раньше: народный избранник по необходимости обживался в чиновничьей канцелярии, принаравливая ее к своим нуждам. Политическая система Российской империи того времени конструировалась в ходе думских работ. Она достраивалась в поисках баланса между правительственной бюрократией и цензовой частью общественности. В итоге складывалась думская практика, очень далекая от английских реалий.

Это рефлексировали и представители правительственной администрации. В августе 1906 г. П.А. Столыпин давал разъяснения английскому журналисту: «В Англии судят с английской, то есть с парламентской точки зрения. Между тем, нужно отличать *парламентаризм* от *конституционализма*. У нас есть только *конституционализм*, как и в Германии или даже в Американской республике»¹. Осенью того же года Столыпин давал схожие комментарии и другому английскому корреспонденту: «Законодательная власть должна быть строго отграничена от исполнительной. Не забудьте, что нынешний строй строго конституционный, а не „парламентарный“»². Столыпин с известной регулярностью ссылался на британский опыт. По оценкам английского посла А. Николсона, премьер был поклонником английской политической системы, при этом не видя в ней ближайшего ориентира для России³.

1. В данном случае примечательно то, что П.А. Столыпин четко и недвусмысленно говорил о наличии конституционного порядка в России (П.А. Столыпин: Грани таланта политика. М., 2006. С. 469).

2. Там же. С. 479.

3. *Портнягина Н.А.* П.А. Столыпин и А. Николсон: беседы о русском парламенте (1906–1907 гг.) // Таврические чтения 2018. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность / Под ред. А.Б. Николаева. Ч. 1. СПб., 2019. С. 226–227.

Согласно письму графа Д.А. Олсуфьева Л.А. Тихомирову от 9 августа 1907 г., «П.А. Столыпин высказал мнение, что законосовещательная или решающая [роль зависит] от реальной силы учреждения. Английский парламент по конституции не имеет никакого права, однако он все, а, наоборот, с парламентом решающим монархическая власть, если она сильна, может совсем не считаться. Значит не в этом термине дело»¹. Дело в той социальной, культурной, интеллектуальной среде, в которую вписано представительное учреждение

Анализируя английские политические реалии, Столыпин был во многом последовательнее и точнее своих оппонентов в Думе. Видимо, в первую очередь по той причине, что он не был обязан следовать партийной догме. В его понимании британская неписаная конституция выросла из многовековой практики, а не доктрины (чему, собственно, и учили в университетах). Примерно так должно было случиться и в России. Парламентаризм всякий раз ситуативен в своих основаниях. Он зиждется не на абстрактных идеалах, формально прописанном проекте, а на конкретном соотношении сил тех, кто умеет отстаивать свои интересы. Непродолжительный думский опыт вывел на авансцену обновленный политический класс, включивший в свои ряды и значительную часть цензовой ответственности, которая прежде имела весьма ограниченный доступ в министерские канцелярии.

Республиканская идея в 1917 г.

А в марте 1917 г. уже мало кто помышлял о возрождении монархии. Все было решено. Россия осваивала республиканские формы, часто не задумываясь, что это такое. Это редко становится предметом обсуждения и в современной литературе. Казалось бы, все и так очевидно: бывают монархии, бывают республики — причем последних существенно больше, и само их существование — явление весьма

1. П.А. Столыпин: Биохроника. М., 2006. С. 212.

прозаичное, не заслуживающее особых вопросов. Проблема в том, что не всегда было так. В начале XX столетия Европа оставалась монархической. В этом не виделось ничего противоестественного. Напротив, чахлая республиканская традиция шла наперекор привычке и тенденциям. Большая европейская республика была одна — Франция, которая при этом большую часть XIX столетия жила при королях и императорах. Да и после утверждения Третьей республики оставались сильны монархические настроения самого причем разного свойства, представленные легитимистами, орлеанистами, бонапартистами.

Во Франции республиканская традиция восходила ко временам революции конца XVIII в.¹ В США — к трудам и деяниям отцов-основателей. И в том, и в другом случае республиканцы вспоминали об античных образцах и протягивали свою генеалогию ко временам древнегреческого полиса или древнеримской добродетели. Так же и в России республиканский проект нуждался в обосновании, в собственном мифе. Проблема была в том, что к 1917 г. он фактически не сложился.

Республиканская проблематика все более популярна в современной историографии — и в зарубежной, и в отечественной. Как уже отмечалось выше, за этой модой кроется реальная проблема интеллектуальной истории: необходимость расширения категориального аппарата, а значит, и исследовательского «вопросника». Утомительно спорить о либерализме, консерватизме, социализме, всякий раз поясняя, что в каждом конкретном случае границы понятий предельно условны. Большого мыслителя трудно уместить в четко заданные идеологические рамки: в конце концов, он не обязан сохранять верность идеалам юности — он меняется вместе с временем, с обществом. Меняются и представления о либерализме, консерватизме, социализме. В этом бесконечном движении слов и явлений трудно ухватиться за одно верное определение, которое будет подходящим во всех случаях жизни.

1. *Зелдин Т.* Франция, 1848–1945. Честолюбие, любовь и политика. Екатеринбург, 2004. С. 420.

Республиканизм — особая политическая традиция, которая складывалась тогда, когда не было представлений о суверене и суверенитете, о естественных правах, более того — о государстве. *Res publica* — та форма общежития, которая не знала категориального аппарата XIX–XX вв. Вместе с тем она подразумевала сложные формы общественной самоорганизации, свой правопорядок, наконец, опыт самоосмысления (например, многочисленные политические теории Античности). Иными словами, мыслить политическое можно и без государства. Оно отнюдь не обязательно при анализе системы власти и подчинения. Это то особое измерение общественной мысли, которое чаще всего выпадает из поля зрения исследователей¹.

При всей заманчивости этой задачи искать республиканские «ноты» в русской общественной мысли XIX — начала XX в. не просто. Интеллектуал так или иначе отвечает на вызовы современности. У него свой категориальный аппарат, приноровленный к текущим потребностям. В своих текстах он с неизбежностью откликается на конъюнктуру. Соответственно, вплоть до событий февраля 1917 г. разговор о политической сфере, о государстве, о власти чаще всего обходил стороной республиканскую проблематику. Не было смысла спорить о том, что напрочь отсутствовало в актуальной повестке дня.

Республиканская идея, довольно громко заявлявшая о себе в русской мысли начала XIX в., притихла к середине столетия. В значительной мере это обуславливалось интеллектуальной мутацией второй четверти века. Из-под ног будущих республиканцев была выбита почва в виде привычных для них категорий: нация, закон... Они были переименованы. Нация сменилась народностью. Законность была «освоена» правительством. Общественная дискуссия разворачивалась в ином поле. Спор шел не о будущем, а о прошлом. Интеллектуалы искали особую формулу российской государственности, при этом опускали республиканские сюжеты. Зачастую они предлагали свой

1. См.: *Скиннер К.* Свобода до либерализма. СПб., 2020.

вариант республики и республиканизма — но с монархией. Таков был результат многих, в том числе славянофильских, экспериментов.

В России взращивались самобытные политические теории, подразумевавшие новое осмысление государства и власти. При этом они были монархическими или квази-республиканскими: социалисты лишь в редких случаях детально разбирали формы правления. В итоге российский политический класс оказался не готов к тому, что республиканская тема окажется востребованной. А именно так случилось в 1917 г.

О республике заговорили уже в первые дни после отречения императора. Республиканская идея вполне соответствовала популярным представлениям о характере только что случившейся революции. В основании идеи республики лежит идея порядка, не навязанного извне, а имманентно присущего данной общности. Собственно, этот порядок и делает из нее — *populus*, народ. В основании же правящего режима императорской России лежал авторитет царской власти, а также огромная административная, репрессивная, военная мощь, стоявшая за ней. Неожиданно на авансцену российской политики ворвался новый игрок...

«Это революция единственная или почти единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные, бывали и пролетарские. Но революции национальной, в таком широком значении слова, как нынешняя русская, доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции, все ее делали — и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже дворянство, не исключая дворянства объединенного, — все вообще живые общественные силы страны. А потому никто не имеет на нее исключительного права», — провозглашала газета «Речь» в начале марта 1917 г.¹

Иными словами, случилась национальная революция — об этом часто говорили современники. Это приводило в действие новые механизмы власти, которые невозможно было предвидеть и месяц назад. В интервью газете «Речь»

1. Народно-русская революция // Речь. 5 марта 1917. № 55. С. 1.

князь Г.Е. Львов, в частности, говорил: «Жизнь находится еще в расплавленном состоянии, и твердые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в самых общих очертаниях, где многое остается еще неизвестным и определится лишь со временем свободным народным творчеством. Мы переживаем эпоху таких событий, которые, с прежней точки зрения, кажутся чудесами». По мысли Львова, народ «сумел на другой день после великого переворота организовать, создать новую власть в центре и на местах и сохранить порядок»¹.

Иными словами, республика складывалась сама собой, стихийно. По мысли М.А. Рейснера, в этом и заключается суть республиканской формы правления. При самодержавии государство объяснялось традициями и ритуалами. При конституционном порядке на авансцену выходило «общество», т.е. буржуазия, претендовавшая на политическую власть. Республиканизм подразумевал заметно более радикальный разворот. «Государство» и «народ» должны стать практически тождественными понятиями². «Только в демократии нет больше призрачного кошмара власти, стоящей над народом, нет больше противоположности между государством — этой светской церковью казенной благодати — и обществом как средоточием власти капитала и образования. Все это меняет свой образ и подобно тому, как тающий лед расплывается и тонет в воде, так и здесь государство расплывается и тонет в понятии народа»³.

Более того, Рейснер полагал, что только при республиканском правлении может восторжествовать правовой принцип. «В монархии, особенно монархии абсолютной, совершенно нет необходимости в праве; государь управляет при помощи милости или гнева. Он требует любви и благонадежности, в лучшем случае он оправдывается необходимостью или общим благом». При таких обстоятельствах принцип справедливости совершенно не нужен.

1. Беседа с князем Г.Е. Львовым // Речь. 19 марта 1917. № 67. С. 3.
2. *Рейснер М.А.* Демократическая республика как форма правления. Пг., 1917. С. 3-4.
3. Там же. С. 5.

Рейснер развивает свою мысль обращаясь к метафоре: «Монархия стремится органически к замене права особо состряпанной моралью чувств и настроений, семейных связей, религиозных чудес, художественных впечатлений. С этой стороны монархический дух растяжим как улитка, скользок как уж, переменчив как хамелеон — настоящая неопределенная определенность, которая лишь в крайности показывает спрятанные в жирной массе когти и скрытый, как в студне осьминога, хищный рот»¹. Едва ли стоит оспаривать точку зрения Рейснера. Вполне очевидно, что свое понимание права, законности характерно для любого политического режима. Своя интерпретация этих явлений была и до Первой русской революции, и после. Важнее в данном случае другое: Рейснер полагал, что правопорядок — естественное следствие самоорганизации населения.

В условиях революции это приобретает выпуклые формы. Однако правотворчество масс должно осуществляться постоянно: например, в ходе судебных решений².

Это как будто бы снимало ответственность с интеллектуалов. Им ничего не стоило предлагать, а только ждать и довериться народному инстинкту. Впрочем, складывавшийся правопорядок мог не во всем их устраивать. Ведь «народное творчество» — это не только метафора. Это обращение к политической практике 1917 г. В частности (и прежде всего), речь шла о стихийном формировании местных органов власти в различных частях страны³. К этим формам самодеятельности населения в партии кадетов преимущественно относились отрицательно. В конце концов, где пролегла грань, отделявшая народное творчество от хаоса?

Князю Е.Н. Трубецкому вспоминалась сцена десятилетней давности, 1905 г. В Москве разворачивалось восстание. Вдали были слышны пушечные выстрелы и ружейная перестрелка. Перед колокольной стояла старушка и крестилась, приговаривая: «Господи, когда же это, наконец,

1. Там же. С. 13–14.

2. *Он же*. Право и революция. Пг., 1917. С. 15.

3. *Понтович Э.Э.* Непосредственное народное творчество в области организации местного управления // *Право*. 16 мая 1917. № 15. Стб. 847–857.

свободу запретят?» «Страх перед хаосом — таков основной мотив контрреволюционного движения», — объяснял Трубецкой своим читателям. Грань, отделяющая революцию и контрреволюцию, условна. Оружие революции — захват. Оружие контрреволюции — тоже захват. Когда революция обратится в контрреволюцию, заметить трудно¹. «Захват после революции может быть только началом общественно-го разложения и дезорганизации. Есть яркое олицетворение того хаоса, который отсюда должен родиться: это — наши железнодорожные поезда, захваченные беспорядочною толпою, мчащиеся без расписания. Посмотрите на эти битком набитые вагоны с разбитыми стеклами: в каждом вагоне по митингу, на крышах солдаты рассуждают об устройстве новой жизни в России и падают под колеса, а иным сносит головы на мостах. Этот катастрофический бег захваченного поезда — до жути похожий образ современной России, — точнее говоря, того, чем не должна быть Россия, да послужит же он нам предостережением!»²

Складывавшийся порядок очень походил на отсутствие такового. Летом 1917 г. публицисты разных направлений играли образами, предлагали собственные метафоры происходящего: «Представим себе концертный зал, в котором скрипач и публика. Если публика имеет право только слушать и ничем не выражать своего одобрения или неодобрения, то это есть нечто вроде *самодержавия*. Если же публика имеет право аплодировать музыканту или свистеть и тем самым или понуждать его играть дальше, или же уходить с эстрады, то это... *правильный демократически строй*. Но если публика не ограничивается аплодисментами или свистом, а сама лезет на сцену, если толпа учит музыканта, если сопилочные меломаны вырывают скрипку и пытаются водить смычком по струнам, извлекая из благородного инструмента кошачьи завывания, то это... *тот строй, который у нас теперь*. Каков бы ни был скрипач, даровит, или бездарен, все же он неизмеримо выше

1. Трубецкой Е. Н. Анархия и контрреволюция // Революция глазами современников: В 3 т. Т. 1. Январь—май. М., 2017. С. 144–145.
2. Там же. С. 145–146.

в отношении музыки тех людей, которые никогда скрипку в руках не держали. Но при самодержавии людям этим разрешалось только слушать, и нельзя было выражать своего протеста даже тогда, когда играли плохо и не то, что нравилось. Удивительно ли, что когда им дали свободу выражать свое мнение, они этим не ограничились и захотели играть более активную роль. Беда именно в том, что разволновавшихся людей сейчас нельзя убедить в том, чтобы они сели на свои места и слушали. Но через некоторое время, разумеется, им надоест и опротивит раздражающий концерт невежд, они рассядутся и потребуют музыкантов»¹.

Это длинная цитата из статьи В.В. Шульгина, отнюдь не симпатизировавшего либерализму, прежде весьма скептически оценивавшего перспективы «демократического строя» в России. Неожиданно он оказался среди оптимистов, которые верили, что правопорядок в итоге сложится прежде всего благодаря силе самоорганизации населения. Пока же об оркестре речи не было. Звучала какофония, которая мало кого устраивала. Вокруг чего должен был строиться новый порядок?

Когда В.Д. Набоков обосновал неизбежность республиканского строя, он его определял как «не-монархию». В этом и заключались преимущества данной формы правления. Набоков писал не о сильных сторонах республики, а только о невозможности возрождения монархии при сложившихся обстоятельствах². Наконец, в сентябре 1917 г. Россия была провозглашена республикой. Что изменилось? В сущности, ничего, констатировал все тот же Набоков. Тем не менее произошедшее было достойно внимания. По мнению автора, это было свидетельство поразительной силы слов, которые зачастую подменяли собой смыслы. Набоков писал о магии лозунгов, за которыми порой не замечались масштабные явления³. Слово «республика» — очередной

1. *Шульгин В.В.* «Пусти, я сам!» // Революция глазами современников: В 3 т. Т. 2. Июнь—сентябрь. М., 2017. С. 24.
2. *Набоков В.Д.* Об Учредительном собрании // Там же. С. 60–62.
3. *Он же.* Провозглашение республики // Там же. С. 319–321.

лозунг, мало значивший для обывателя. Осенью 1917 г. Набоков оптимистических прогнозов не делал.

Приблизительно в те же дни вышла статья Н.А. Бердяева о значении иерархии в демократическом обществе и государстве. По мысли автора, современная ему революция — это красноречивое изобличение лжи эгалитаризма — равенства. Порядок как таковой везде — в природе, в космосе, в обществе — подразумевает строгую иерархию. Без нее начинается хаос¹. Иерархия тем более необходима при республиканской демократической форме правления.

Для кадетов это не было откровением. О порядке они рассуждали и в марте 1917 г.: на VII съезде кадетов Ф.Ф. Кокошкин выступил с докладом о пересмотре программы. Конечно, на первое место выходили вопросы государственного строя страны, казалось бы решительно порывавшей с прошлым. Первый тезис Кокошкина не вызывал возражений и тогда, и потом: Россия должна была стать демократической республикой. «Никогда монархия конституционная или парламентарная не была для нас, как для настоящих монархистов, тем верховным принципом, которому бы мы подчиняли всю нашу политическую программу. Монархия была для нас тогда [в 1905 г.] не вопросом принципа, а вопросом политической целесообразности»².

Тогда, в преддверии созыва Первой думы, казалось, что парламентарная монархия должна была стать ступенью к более демократическим формам правления, так как одномоментный переход от автократии к народоправству часто чреват «срывами». По мнению Кокошкина, в 1917 г. русский народ уже не нуждался в живом символе власти — монархе. Это и вынуждало кадетов отказаться от прежних политических лозунгов. «Монархия подверглась испытанию. Перед нею было два пути. Если бы она пошла по пути признания народных прав и исполнения данных обещаний, то, может быть, тогда судьба была бы такова, какой она является во многих государствах Западной Европы; может

1. *Бердяев Н.А.* Демократия и иерархия // Там же. С. 321–326.

2. Съезды и конференции Конституционно-демократической партии, 1915–1917. Т. 3. Кн. 1. М., 2000. С. 368.

быть, компромисс оказался бы у нас столь же живучим, как и там, — но монархия избрала иной путь. В течение 11 лет она, постоянно попирая права народа, разрушала в сознании народа ту связь, которая существует между представлением о монархии и представлением о государстве, она подрывала свои собственные устои и своими собственными руками и готовила свою гибель»¹.

По оценке Кокошкина, положение стало трагическим в условиях военного времени. Дезорганизуя роль верховной власти сделала невозможной одновременную защиту и отечества, и монархии, что обусловило падение последней. Будущий государственный строй должен быть определен Учредительным собранием. Однако возвращение к монархической форме правления было уже немыслимым. При этом лозунг установления республики должен был объединить большинство политических партий, а также широкие массы, что было чрезвычайно важным в условиях военного времени.

С этим соглашались практически все бывшие монархисты. Кокошкин не останавливался на этом. Он предлагал и свою позитивную программу. Кокошкин предостерегал: введение республиканской формы правления автоматически не обеспечивало наличия институтов правового государства. Республика в построениях Ф.Ф. Кокошкина не идеал. Это лишь форма, которая может получить различное содержание. Республиканская форма правления была у великого множества латиноамериканских стран. Но в большинстве из них имела место «хроническая диктатура». Дабы избежать этого бедствия, необходимо гарантировать господство права. Иными словами, республика должна быть правовой. Надо избежать республиканского абсолютизма, который имел место во Франции в конце XVIII в., в период господства Конвента. Тогда его именем осуществлялась жесточайшая диктатура, попиравшая все возможные права личности².

Дабы Россия не повторила опыта латиноамериканских стран, в основе республиканской формы правления должно

1. Там же. С. 371.

2. Там же. С. 374.

было лежать строгое следование конституционным началам, которые ограничивали бы возможный произвол как вождей, так и масс. По этой причине следовало предусмотреть правовые гарантии, которые оградили бы граждан от деспотизма законодательной или исполнительной власти. Для этого надо было ориентироваться на французский (а не американский) образец государственного строя, который подразумевал и президента во главе страны, и правительство, ответственное перед парламентом¹.

Бывшая империя должна была стать подлинно демократической республикой, в которой сама конституционная конструкция обеспечивала бы верховенство права. При этом должна была быть отринута идея самодержавия — цементирующая для пестрого пространства России. Речь шла отнюдь не только об институте монархии. На новом этапе государственные институты — сверху донизу — должны были быть демократизированы. Государство — это не столько столица, сколько провинция. Кокоскин выступал безусловным сторонником децентрализации России. Это было необходимо хотя бы в силу величины страны, а также разнообразия народов, ее населявших. При этом он ставил под сомнение возможность сделать этнографический принцип краеугольным камнем будущего государства. Вопрос был особенно актуальным в связи с обсуждением перспектив федеративного устройства державы.

Это особый сюжет, который заслуживает специального рассмотрения². В данном случае важнее другое: в выступлении Кокоскина заключался неизбежный для того времени компромисс, который не позволял оратору выстроить внутренне непротиворечивую конструкцию.

1. Съезды и конференции Конституционно-демократической партии, 1915–1917. Т. 3. Кн. 1. С. 376. При этом президент должен был избираться парламентом. Общенациональные выборы возносили бы его чересчур высоко, придавали бы большую степень легитимности, что само по себе способствовало бы нестабильности политического режима (Там же. С. 376–377).
2. См.: *Соловьев К.А.* Империя после империи: проект Ф.Ф. Кокоскина // Имперская и монархическая составляющая либеральной идеологии: Сборник материалов Всероссийской научной конференции. Орел, 2014. С. 115–122.

Кокошкин не принимал концепцию народного суверенитета. В его понимании республика должна соответствовать идеалам конституционного государства. Это значит, что власть в ней должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечить верховенство права, а не воли — пускай даже большинства населения. Иными словами, демократия должна быть строго подчинена процедуре. Вместе с тем Кокошкин повторял привычные слова о «непредрешенчестве», о почти мистическом значении Учредительного собрания, о торжествующем народовластии.

Кадеты давно уже научились риторически обходить эти «подводные камни». В заключении Юридического совещания от 12 апреля 1917 г. есть любопытный пассаж, посвященный упразднению Главного управления по делам печати и формированию Совета Российской печати: «Временное правительство действует в единении с общественным мнением, а потому вряд ли возможно серьезное расхождение по взглядам на обсуждаемые в Совете вопросы между Правительством и представителями печати»¹.

Таким образом, Юридическое совещание констатировало:

- 1) цензура в настоящих обстоятельствах была невозможна, так как Временное правительство и печать, в сущности, представляли общественное мнение;
- 2) общественное мнение стало источником легитимности новой власти.

Кадеты об этом говорили практически десять лет. К общественному мнению апеллировали по разным случаям. Оно, заявлявшее о себе в периодической печати, давало право надеяться, что кадеты действительно представляли большинство или хотя бы значительную часть населения. Общественное мнение — это суррогат всеобщего голосования, пока такое невозможно. Проблема в том, что в новых обстоятельствах 1917 г. оно стало реальным и должно было вскоре осуществиться. Упоминание общественного мнения

1. Архив новейшей истории России. Т. XIII: Запись хода заседаний Юридического совещания при Временном правительстве. Март—октябрь 1917 года: В 2 т. / Отв. ред. Б.Ф. Додонов. Т. 1. Март—июнь 1917 г. М., 2018. С. 142.

и прежде служило скорее риторической фигурой. Теперь оно было не слишком убедительным.

Убедительнее звучали слова о народовластии, о крушении старого порядка, о недопустимости воспроизведения всего того, что с ним ассоциировалось. Этим оправдывалась ревизия всей системы местного управления и репрессивного аппарата. Но возникали неожиданные вопросы. Так, само устройство армии скорее соответствовало временам абсолютизма, что вполне закономерно. Регулярная армия — детище абсолютной монархии. Можно посмотреть на проблему и с другой стороны: само образование абсолютной монархии было обусловлено необходимостью выстроить и содержать регулярную армию. Полицейское государство так или иначе сошло с политической сцены. Абсолютные монархии отжили свой век. Устройство же армии оставалось прежним — это при том, что армии стали по-настоящему массовыми¹. Армия — лишь частный, но красноречивый случай. Могло показаться, что политические изменения до сих пор были поверхностными, что государство по сути оставалось абсолютистским. А значит, подлинные преобразования только впереди.

Что они будут собой представлять, пока оставалось загадкой. Подразумевалось, что жизнь сама найдет должную политическую форму. Очертания будущей республики терялись в тумане. Еще в марте 1917 г. князь Е. Н. Трубецкой отмечал: провинциальная Россия полна «монархических сомнений». Она не представляла, на чем будет строиться будущий порядок. И будет ли он вообще? Прежний в значительной мере держался на силе инерции, на привычке. «Жила и держалась [Русь], так сказать, милостью Николы Угодника; отчасти держалась глубокими снегами, отчасти держалась тем, что у нас распутица и что люди еще не догадались о том, как можно, какие выгоды можно на этой почве получить»².

1. *Губер П.* Армия и демократия // Революция глазами современников: В 3 т. Т. 1. Январь—май. М., 2017. С. 106.
2. Съезды и конференции Конституционно-демократической партии, 1915–1917. Т. 3. Кн. 1. С. 380.

* * *

В России XIX столетия не было республики. По крайней мере до 1917 г. республиканская идея имела мало сторонников. Преимущественно они были из числа политических фантазеров, склонных к отвлеченным суждениям. Непременной нормой казалась монархия. Конечно, и она могла быть разной, что давало возможность для политической дифференциации и правового поиска. Более того, даже самодержавие можно было понимать по-своему. Публицисты XIX в. заметно расходились в понимании российской государственности, ее прошлого и настоящего, а главное — перспектив развития.

Декларируемый монархизм не мешал выстраивать собственную версию желательной политической системы, нередко альтернативной традиционной интерпретации государства. Славянофилы писали о земской природе России, связывающей воедино, в народ великое множество подданных русского царя. В этом случае сходилась на нет набившая оскомину дихотомия «власть — общество».

Народники меняли акценты, отвергли монархию, но во многом следовали славянофильскому пути, отказывая современному Левиафану в праве на существование. Не государственная власть должна мобилизовать массы. Они, массы, должны сложиться в великую силу — народ, когда каждый чувствует солидарность с каждым. Поразительно, как А.И. Герцен, заметно опережая время, объяснял суть республиканизма не формой правления, а мифологией власти.

Впрочем, он был одним из немногих, кто регулярно писал о республике. При этом его продолжателями были также и те, кто о ней даже не думал. Свое понимание государства и власти предложили В.С. Соловьев, подхватившие его идеи правоведы рубежа веков, высокопоставленные сановники, земские либералы. Все они так или иначе ставили вопрос о демонатаже бюрократического государства. В его основу должен был быть положен принципиально иное основание — общности интересов и совместной работы. Самодетальное общество должно было заменить самодержавную бюрократию.

Разумеется, это была сугубо интеллектуальная конструкция. Практика требовала иного. Даже тогда, когда правительство провозгласило создание законодательного представительства, когда Дума и реформированный Государственный совет начали работать, перед депутатами стояла задача приноравливаться к интерьеру чиновничьих канцелярий. Правда, и в этих обстоятельствах Россия менялась. Однако за трансформациями не было плана. Политическая система собиралась заново, отталкиваясь от уже имевшихся реалий. И только когда хранина рассыпалась, встал вопрос о принципиально новых основаниях российской государственности — вспомнили о республике. Теперь это слово звучало громче прежнего. Но к моменту ее декларации не было ясно, что подразумевается под республикой, на чем будет строиться власть в новых условиях. Выкликнув заветное слово, ждали политического чуда. Но оно не произошло.

С. С. Новосельский

Глава IX

Республиканские мотивы в российской политической мысли. Случай 1905 г.

На первый взгляд может показаться, что в официальном российском политическом дискурсе периода Первой русской революции республиканским идеям отводилась второстепенная и даже маргинальная роль. Звучавшие на митингах требования «демократической республики» вызывали во властных кругах вполне обоснованные опасения или же попросту игнорировались¹. Многие общественные деятели либерального толка надеялись, что правительство сумеет ограничить или вовсе не допустить избрания в Государственную думу представителей крайней оппозиции. Наконец, в Российской империи так и не появилось ни одной политической партии, в названии которой нашлось бы место слову «республика». В то же время политическая мысль России в условиях революционного кризиса была проникнута духом республиканизма. Многие идеи, вызывавшие нескрываемое одобрение в среде высшей столичной бюрократии и всецело разделявшиеся политически активной частью общества, были весьма созвучны современной теории республиканизма, изучению которой посвящены работы Ф. Петтита².

1. См.: Милоков П. Н. Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905–1906. СПб., 1907. С. 77.
2. См.: Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления / Пер. с англ. А. Яковлева; предисл. А. Павлова. М., 2016.

Политическая свобода в рамках республиканской теории определяется через понятие *не-доминирования*. Оно не предполагает возможности произвольного вмешательства в политическую жизнь, которая служит средством воплощения интересов общества. Именно идея политического не-доминирования, необходимости возникновения альтернативных монарху центров принятия решений или по крайней мере выражения мнений легла в основу многочисленных концепций народного представительства, с созывом которого многие современники связывали выход России из революционного кризиса. Рассуждения о возможных формах организации общества и его вовлечения в политическую жизнь занимали в начале XX в. умы не только видных российских общественных деятелей, но и представителей власти.

Земский собор в России в 1905 г. и республиканская идея

В российской политической мысли начала XX в. был сформулирован идеальный (конституционалистский) тип народного представительства. В рамках данной модели оно понималось как «представительство всего народа, а не отдельных его частей». Следовательно, волеизъявление народных избранников должно было осуществляться, исходя из интересов всего общества, а не отдельных сословий, предоставивших депутатам мандат посредством выборов. Другими словами, этот мандат должен был быть свободным, а не императивным¹.

Заложенная в основу данной модели идея *гражданской свободы* наполняла русский конституционализм начала XX в. духом республиканизма. У этой идеи было немало сторонников, причем не только из числа либерально настроенных общественных деятелей, но и среди высшей имперской бюрократии. Однако именно сановники, которые

1. См.: Медушевский А.Н. Народное представительство // Российский либерализм середины XVIII — начала XX века: энциклопедия / Отв. ред. В.В. Шелохаев. М., 2010. С. 615–616.

со второй половины XIX в. являлись основной движущей силой реформ в России¹, отчетливее других осознавали, что практическая реализация конституционалистского проекта была утопией. Уговорить императора на столь радикальную трансформацию государственного строя не представлялось возможным. Поэтому даже на фоне обострения внутривластного кризиса в 1905 г., когда созыв народного представительства стал гораздо более вероятным, чем прежде, близкие к правительственным кругам общественные деятели были заняты поиском его реалистичной формы. В то же время подавляющее их большинство было настроено весьма идеалистически и полагало, что с созывом представительства политическая жизнь в России автоматически войдет в правильное, справедливое русло. Характерная для республиканской теории ставка на *идеальный характер политического бытия* воплотилась, в частности, в проектах созыва Земского собора.

Принято считать, что первый Земский собор был созван в 1549 г. по инициативе Ивана IV, хотя совещания государя со своими светскими приближенными и представителями высшего духовенства периодически проводились еще в XV в.² Но и участвовавшие в 1549 г. в «соборе примирения» бояре, окольные и воеводы не догадывались, что они были делегатами Земского собора.

Впервые термин «Земский собор» был употреблен одним из идеологов славянофильства К.С. Аксаковым лишь во второй половине 1840-х гг. Именно в работе подобного представительного учреждения, которое бы периодически созывалось правительством, К.С. Аксаков усматривал воплощение ключевого политического принципа славянофилов: «народу — мнение, царю — решение»³. Причем право народа высказывать «мнение» уходило корнями в призвание

1. См.: *Он же*. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России XVIII — начало XX в. / Отв. ред. С. Бертолисси, А.Н. Сахаров. М., 2000. С. 126.
2. См.: *Кром М.М.* Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М., 2018. С. 148.
3. См.: *Цимбаев Н.И.* Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 2013. С. 214.

восточнославянскими племенами варягов. Делегируя властные полномочия Рюрику, наши далекие предки оставляли за собой право оценивать его правление¹.

В то же время созыв Земского собора не был для К.С. Аксакова ключевой задачей момента. По его убеждению, главная проблема государства заключалась в том, что оно взаимодействовало с «публикой», а не с «народом», который безмолвствовал, по-прежнему оставаясь «великим немым»². А для того, чтобы Земский собор стал истинно *народным* представительством, а не собранием «публики» — делегатов от различных сословий, которых ничто не связывало, у которых отсутствовали общие интересы, — нужно было безотлагательно даровать обществу свободу слова. Только в этом случае Земский собор стал бы воплощением голоса всей Русской земли³.

Политической актуализации идеи Земского собора способствовали как внешние, так и внутренние факторы. В разгар Крымской войны 1853–1856 гг. А.И. Кошелев утверждал, что только созыв Земского собора «может превратить государственную войну в народную»⁴. Наступившая вскоре эпоха Великих реформ вселяла надежду на способность самодержавия к глубокой внутривластной трансформации даже самым непримиримым его критикам. В начале 1860-х гг. проявить инициативу в созыве Земского собора призывали императора А.И. Герцен и М.А. Бакунин⁵.

1. См.: *Дудзинская Е.А.* Славянофилы и революция // Экономическая и общественная жизнь России Нового времени. Первые Дружининские чтения. Сборник докладов и сообщений. Ч. II. М., 1992. С. 159.
2. См.: *Тесля А.А.* Философия права славянофилов // Аксаковский сборник. Вып. VI. Уфа, 2013. С. 116–117.
3. «Свобода слова необходима. Земский собор нужен и полезен», — заключал один из идеологов славянофильства в дополнении к своей записке «О внутреннем состоянии России», которую он представил Александру II в 1855 г. (*Аксаков К.С.* Дополнение к «Записке» // Теория государства у славянофилов: (сборник статей) / Сост. и предисл. С.Ф. Шарапова. М., 2016. С. 49).
4. Цит. по: *Цимбаев Н.И.* Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX века. С. 340.
5. См.: *Розенталь И.С.* Революция // Общественная мысль России XVIII — начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В.В. Журавлев, отв. секр. А.В. Репников. М., 2005. С. 448.

Для славянофилов же идея Земского собора продолжала носить не прикладной (политический), а теоретический (историософский) характер. Главным для них был не сам Земский собор, а возможность его созыва, что создало бы в России особое пространство «оформления общественного мнения»¹. Именно поэтому вопросы государственного устройства и управления представлялись большинству славянофилов «техническими», второстепенными. Важнее было сделать так, чтобы политические решения принимались не исходя из бюрократического формализма, а основывались бы на принципе *справедливости*, олицетворением которого был Земский собор. Подобной логики последователи И.С. Аксакова придерживались в своих рассуждениях вплоть до начала XX в. Так, выступая в 1900 г. за созыв Земского собора, Д.Н. Шипов видел в нем в первую очередь не правовое, а моральное ограничение власти монарха². По мнению неославянофилов, такое ограничение освободило бы общество от бремени политики³.

Все изменил революционный кризис, с которым Россия столкнулась накануне 1905 г. 9 октября 1904 г. министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский уже прямо говорил Николаю II о том, что Земский собор удачно сочетался бы с самодержавием⁴. А по мере нарастания кризиса некоторые сановники предлагали обратиться к идеям предшественников. 2 февраля 1905 г. А.Н. Куломзин писал Э.Ю. Нольде, что правительству «нужно вырвать движение из рук улицы», направив колеблющиеся общественные

1. Тесля А.А. Последний из отцов. Биография И.С. Аксакова. СПб., 2014. С. 257.
2. См.: Соловьев К.А. Кружок «Беседа». В поисках новой политической реальности. 1899–1905. М., 2009. С. 80–81.
3. См. подробнее: *Он же*. Поздние славянофилы и res publica: В поисках новой политики // Будущее нашего прошлого — 5: История как коммуникативный проект: Материалы международной научной конференции. 14 ноября 2019 г. М., 2019. С. 299–314.
4. См.: *Он же*. В ожидании Реформы: власть и общество накануне января 1905 г. // Народ и власть: взаимодействие в истории и современности: сб. научн. тр. / Отв. ред. И.В. Михеева, Ф.А. Селезнев. Вып. 2. Нижний Новгород, 2015. С. 356.

силы на сотрудничество с властью¹. Для этого при разработке представительного учреждения он предлагал взять за основу проект Земского собора, составленный министром внутренних дел Н.П. Игнатьевым в 1882 г., но отклоненный Александром III².

Но если отдельные сановники видели в созыве Земского собора шаг к изменению государственного строя, то многие его сторонники смотрели на реализацию проекта иначе. Они не столько ждали от Земского собора каких-то заявлений, которые подтолкнули бы власть к проведению реформ, сколько считали его созыв идеологической акцией, способной сплотить расколовшееся на почве споров о представительстве общество. «Брожение — наше домашнее дело, с ним справиться ничего нет легче. Откройте клапан, и пар выйдет. <...> Капля чернил для этого потребуется и лист бумаги, не более», — уверял читателей «Нового времени» М.О. Меньшиков в январе 1905 г.³ Публицист утверждал, что созыв Земского собора пробудит «народный гений» — «живой дух», которому нужно лишь дать возможность проявить себя в противовес «мертвому духу» — бюрократизму, «сомнамбулирующему бумажному духу, останавливающему, как азот, всякое дыхание»⁴. Но не стоило забывать и о политической благонадежности потенциальных носителей этого «живого духа». В частности, Л.А. Тихомиров допускал созыв Собора лишь в том случае, «если только правители наши поймут, что Земский собор ничуть не есть сумма современных земств»⁵.

Несмотря на то что идея необходимости созыва народного представительства в форме Земского собора постепенно набирала популярность даже среди некоторых членов

1. РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 17–17 об.

2. Там же. Л. 18. О проекте Н.П. Игнатьева подробнее см.: *Игнатьев Н.П. Земский Собор / Публ., вступ. ст. И.В. Лукоянов; коммент. И.В. Лукоянов, С.Н. Патутина. СПб.; Кишинев, 2000. С. 47–60.*

3. *Меньшиков М.О. Из писем к ближним. М., 1991. С. 69–70.*

4. Там же. С. 71.

5. [*Тихомиров Л.А.*] *Дневник Л.А. Тихомирова. 1905–1907 гг. / Сост. А.В. Репников, В.С. Котов. М., 2015. С. 52.*

царской семьи¹, у самого Николая II она сочувствия не вызывала. Единства мнений не было и среди сановников. Признавая, что без созыва представительства власти было не обойтись, С.Ю. Витте категорически отвергал мысль о Земском соборе, как о непостоянном органе, созыв которого мог быть допустим лишь для обсуждения отдельных «принципиальных вопросов»².

Казалось бы, объявленное 18 февраля 1905 г. с высоты престола решение о созыве Государственной думы должно было если не снять с повестки дня вопрос о Земском соборе, то сильно поколебать позиции его сторонников. На деле случилось обратное: проект Земского собора обрел в умеренно консервативных кругах вторую жизнь. 8 мая последовательно отстаивавший необходимость его созыва генерал А.А. Киреев записал в дневнике, что только Земский собор «может нас выручить из беды, может дать нам точку опоры для борьбы с конституцией и революцией»³. А 19 мая А.С. Суворин, ранее допускавший созыв Земского собора лишь в крайнем случае⁴, во всеуслышание заявлял, что он «нужен немедленно» и «необходим и для государя, и для России, как смертному необходим воздух»⁵.

В то же время часть общества полагала, что Земский собор должен стать не действенным властным институтом, а скорее его имитацией. Его возможный созыв преследовал одну-единственную цель — успокоить либерально настроенное общественное мнение, пустив ему пыль в глаза. Подобная логика прослеживалась в некоторых записках,

1. См.: Из дневника Константина Романова // Красный архив. 1930. Т. 6 (43). С. III.
2. Заседания Совета министров 3 и 11 февраля 1905 г. в записях Э.Ю. Нольде (подг. Р.Ш. Ганелин) // Археографический ежегодник за 1989 год. М., 1990. С. 298.
3. [Киреев А.А.] А.А. Киреев. Дневник. 1905–1910 / Сост. К.А. Соловьев. М., 2010. С. 52.
4. «Я останусь на своем месте в этом движении и дальше Земского собора не пойду», — писал А.С. Суворин В.В. Розанову 27 января 1905 г. ([Суворин А.С.] Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб., 1913. С. 157).
5. *Он же*. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма (1904–1908). М., 2005. С. 308.

направленных в Петербург во исполнение Указа Правительствующему Сенату от 18 февраля 1905 г. Так, если созыв народных представителей был неизбежен, то он, по выражению орловского дворянина В.И. Трубникова, должен был состояться исключительно в форме Земского собора, который бы заседал нерегулярно, причем «не в Петербурге и не в Москве, а в какой-либо Костроме, Вологде или другом каком в стороне лежащем городе»¹, не оказывая существенного влияния на политику центральной власти.

25 мая 1905 г. император посетовал А.Г. Булыгину на то, что «назойливые писания о Земском Соборе и учредительном собрании, никем не опровергаемые, совершенно искажают смысл возвешенных мною в манифесте и рескрипте от 18 февраля предначертаний»². Министр отреагировал незамедлительно. В своих «Соображениях о порядке осуществления высочайших его императорского величества преуказаний, возвешенных в рескрипте от 18 февраля 1905 года» он подверг обстоятельной критике идею созыва Земского собора. По утверждению А.Г. Булыгина, Собор не только не соответствовал стремительно менявшимся политическим и общественным реалиям России начала XX в. (подобная трансформация в XVI–XVII вв., когда власть прибегала к содействию Земских соборов, по утверждению министра, была не столь динамична), но и обладал рядом других существенных недостатков. Главный из них заключался в непостоянном характере его работы. Делегаты Собора не имели бы должного управленческого опыта, а само представительство всякий раз оказывалось бы разнородным. Дефицит навыков законотворчества усугублялся бы нехваткой у делегатов времени даже на то, чтобы ознакомиться с политическими взглядами друг друга³. При подобной конфигурации собрания выборных задача создания политически единого, монолитного народного представительства виделась А.Г. Булыгину неразрешимой.

1. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 20. Л. 8.

2. Письма Императора Николая II Министру внутренних дел А.Г. Булыгину. 1905 г. // Российский архив. Вып. 1. М., 1991. С. 188.

3. РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 5 об.

Таким образом, отношение правительственной власти к Земскому собору было недвусмысленно обозначено. В ходе Петергофских совещаний 19–26 июля 1905 г. сановникам удалось выдержать напор сторонников идеи ограничиться созывом Земского собора, не прибегая к созданию постоянно действующего органа народного представительства¹. Сословный принцип, который полностью соответствовал во многом идеалистическим представлениям славянофилов о Земском соборе, в условиях радикализации общественных настроений многих уже не устраивал. Результаты подбора народных представителей, исходя из их социального статуса, могли оказаться непредсказуемыми².

После опубликования Манифеста 6 августа 1905 г. разговоры о Земском соборе начали постепенно умолкать. Проект «булыгинской думы» не слишком противоречил чаяниям его сторонников. Другое дело — Манифест 17 октября. Создание законодательной Государственной думы их интересам вовсе не отвечало. Многие правые предлагали, не дожидаясь начала работы Государственной думы, созвать Земский собор для того, чтобы внести успокоение в стремительно набиравшее обороты общественное движение³. Сторонники Земского собора надеялись, что, собравшись, его делегаты сами поднимут вопрос об отмене Манифеста 17 октября.

Такая перспектива многих отпугивала. 16 ноября 1905 г. Ф.Д. Самарин писал С.Ф. Шарарову, что возбуждение Земским собором вопроса об отмене Манифеста (на что

1. Подробнее см.: Петергофские совещания о проекте Государственной думы. Какую Думу хотели дать народу Николай II и его министры. Пг., 1917. С. 28, 79, 83, 88, 143.
2. А.Н. Куломзин, как и многие современники, не усматривал принципиальных различий между Земским собором и Генеральными штатами в 1789 г. «Зачем неизменно нам повторять те же ошибки? А там именно сословность выборов и сыграла главную путаницу», — задавался он вопросом в письме к Э.Ю. Нольде 25 июля 1905 г. (РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 4 об.).
3. Требование созвать Земский собор в Москве звучало во всеподданнейшем адресе «Союза русских людей», поданном Николаю II 1 декабря 1905 г. (см.: Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. Т. 1. 1905–1910 гг. / Сост., предисл., введ. и коммент. Ю.И. Кирьянова. М., 1998. С. 82).

возлагал надежды С.Ф. Шарапов) нанесет значительный урон престижу самодержавия. Во-первых, в глазах общественного мнения подобная инициатива будет исходить не от Собора, а от императора, по приглашению которого он был бы созван. Отказ же высшей власти от того, что было ей самой даровано народу лишь месяц назад, общество несомненно восприняло бы в штыки. Во-вторых, созыв Земского собора в конце 1905 г. был, с точки зрения Ф.Д. Самарина, политически не обоснован. Само обсуждение Собором вопроса о государственном строе поставит его как минимум на одну доску с императором (а то и выше его), придаст Собору характер органа истинного народо-властия — Учредительного собрания, нанеся тем самым «новый удар царской власти»¹. Превращать Земский собор в европейский парламент, идеологическим антиподом которого он задумывался более полувека назад, в планы правых отнюдь не входило.

Революционный кризис, с которым Россия столкнулась в 1905 г., сперва вдохнул новую жизнь в идею созыва Земского собора, а потом окончательно ее похоронил. Нежизнеспособность этой идеи объясняется комплексом причин. В первую очередь Россия в 1905 г. уже не нуждалась в особом пространстве для выражения общественного мнения, каким славянофилы видели в середине XIX в. Земский собор. Голос российской общественности и без того звучал громко и довольно радикально, и предоставлять ему новую трибуну в лице Земского собора в правительственных кругах считали нецелесообразным.

С другой стороны, созыв Земского собора мог бы оказаться полезным для консолидации общественного мнения вокруг царя-реформатора после издания Манифеста 17 октября. Исторически ответственность за принятие важнейших и трудных решений разделялась государем со своими подданными. Проблема заключалась в том, что санкционировать «конституцию» Земский собор не мог идеологически, а открыто выступить против решения монарха

1. ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 1. Л. 2 об. — 4.

значило бы для Собора поступиться своей главной функцией — поддержанием легитимности власти.

Наконец, попытки некоторых общественных деятелей использовать Земский собор в качестве сдерживающего фактора против созыва подлинного народного представительства в немалой степени дискредитировали его идею. Собрание, целью которого была реализация принципа *свободы мнений*, по определению не могло этой свободе препятствовать. Проекты созыва Земского собора в 1905 г. вступали в противоречие с духом республиканизма и стремительно становились историей.

Разрушить средостение: идея реформы Государственного совета в 1905 г.

Одной из ключевых идей в концепции народного представительства была мысль о необходимости ограничения всевластия бюрократии, которая прочно ассоциировалась в общественном сознании с самодержавием. Примечательно, что инициатива в данном случае исходила от самих чиновников. Уходящая корнями в проект трансформации системы государственного управления Российской империи М.М. Сперанского идея преобразования Государственного совета получила развитие во второй половине XIX в. в записках П.А. Валуева и М.Т. Лорис-Меликова. Их проекты были направлены на то, чтобы предоставить обществу возможность проявить *солидарность* — но не в противовес государству, а в сотрудничестве с ним. Авторы проектов реформы Государственного совета видели свою задачу в разработке позитивной повестки дня, способной мобилизовать и консолидировать вокруг правительства ту часть общества, которая сочувствовала идее реформ.

Представители российской общественности в начале XX в., высказываясь в пользу одной модели народного представительства, могли усматривать (и зачастую усматривали) очевидные преимущества в другой. Противоречия для современников тут не было. Так, Д.Н. Шипов, выступая в 1900 г. за созыв Земского собора, уже в начале

следующего года составил записку с предложением привлечь выборных представителей общественности к предварительному обсуждению законопроектов в комиссиях Государственного совета¹. Записку Д.Н. Шипова раскритиковали за «либерализм» многие его сподвижники. Так, Д.Ф. Самарин полагал, что даже такие реформы в итоге неизбежно привели бы страну к конституционному строю. Любопытно, что в 1905 г. его сын Ф.Д. Самарин предлагал власти реализовать похожий план, но на этот раз — во избежание торжества парламентаризма. Однако в 1901 г. атмосфера в обществе была принципиально иной, чем тридцать четыре года спустя, и от идеи подачи записки императору Д.Н. Шипову пришлось отказаться².

Мысль о необходимости привлечения выборных в состав Государственного совета высказывалась на рубеже XIX–XX вв. все чаще. В 1899 г. за границей была издана записка С.Ф. Шарапова «Самодержавие и самоуправление», в которой идея привлечь земский элемент к работе Государственного совета являлась венцом предлагавшейся публицистом полномасштабной реформы административно-территориального деления Российской империи³. Первая попытка предупреждения революции путем политических преобразований в отечественной историографии прочно связана именно со стремлением реформировать Государственный совет⁴.

4 ноября 1904 г. министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский поставил перед С.Е. Крыжановским задачу «в двухнедельный срок подготовить доклад о преобразованиях, имеющих целью „пойти навстречу пожеланиям

1. См.: *Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шаццлло К.Ф., Эймонтова Р.Г.* Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 376.

2. Там же. С. 377.

3. См.: *Шарапов С.Ф.* Самодержавие и самоуправление // Теория государства у славянофилов. С. 88–94.

4. См., например: *Шаццлло К.Ф.* Альтернативы социально-политического развития России в начале XX века // 1905 год — начало революционных потрясений в России XX века. Материалы международной конференции / Отв. ред. П.В. Волобуев. М., 1996. С. 46–52.

умеренной части оппозиции и сделать уступки, которые совместимы с сохранением существующего государственного строя и способны были бы оторвать либеральные элементы общества от революционных¹. В результате был подготовлен всеподданнейший доклад, в котором, наряду с рядом других мер «обеспечения внутреннего мира в стране», предлагалось введение выборных представителей от губернских земских собраний и городских дум крупных городов в Государственный совет². В докладе указывалось, что созыв народных представителей на совещательных началах составляет чаяние «огромного большинства общества», в котором крайние партии, по мнению составителя доклада, не имели глубоких корней³. Привлечение земских и городских деятелей к законосовещательной работе, восходящее еще к традиции созыва Земских соборов в XVI–XVII вв., по словам С.Е. Крыжановского, «дало бы возможность правительству опереться в делах управления на сочувствие и поддержку широких кругов населения»⁴, предотвратив тем самым эскалацию революционного кризиса.

Эта точка зрения вполне отвечала представлениям либеральной общественности. Накануне обсуждения проекта реформы Государственного совета на высшем уровне С.Н. Трубецкой убеждал министра внутренних дел, что дарование обществу гражданских прав и свобод, а также доведение до конца Великих реформ Александра II невозможно без «почвы для согласия» между властью и обществом, которой и должно было стать народное представительство⁵.

1. Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. // Река времен. Книга истории и культуры. Книга пятая. Государь. Государство. Государственная служба. М., 1996. С. 218.
2. См.: [Крыжановский С.Е.] Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи / Подгот. текста, вступ. ст., коммент.: А.В. Лихоманов. СПб., 2009. С. 55–56.
3. См.: Всеподданнейший доклад министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского 24 ноября 1904 г. С. 226.
4. Там же. С. 229.
5. См.: Революция 1905 года. Материалы и официальные документы / Под общ. ред. и с предисл. В.И. Невского. Харьков, 1925. С. 20–22.

С требованием не медлить с его созывом в конце ноября 1904 г. к царю обратились также 11 губернских предводителей дворянства. Правда, под запиской, в которой утверждалось, что самодержавие в том виде, в котором оно существовало в России, «есть произвол, возведенный в закон»¹, нашли возможным поставить свои подписи отнюдь не все губернские предводители дворянства².

Сторонники включения выборного элемента в состав Государственного совета были и среди правых. В ноябре 1904 г. С.Ф. Шарапов в письме князю М.М. Андронникову предрекал скорое завершение провозглашенной П.Д. Святополк-Мирским эры «доверия к обществу», опасаясь замены «свободолюбивого и популярного» министра «генерал-майором Отчаянным», которая на долгое время ознаменовала бы поворот к реакции³. Не допустить этого, по мнению С.Ф. Шарапова, можно было лишь в том случае, если бы верховная власть добровольно пошла на осуществление реформ, суть которых выражалась публицистом в формуле «самодержавие царя в государстве, самоуправление народа в областях». Подобно либералам, С.Ф. Шарапов обвинял в нарастающем в стране политическом кризисе бюрократию. Причем в своих суждениях он заходил едва ли не дальше самого радикального критика власти. Один из будущих учредителей «Союза русских людей» считал

1. Цит. по: *Трубецкая О.Н.* Князь С.Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. Нью-Йорк, 1953. С. 91.
2. В составленном 19 ноября 1904 г. предводителем дворянства Тульской губернии А.А. Арсеньевым Особом мнении относительно записки, под которым подписались также князья В.М. Урусов и А.П. Кугушев, подчеркивалось, что губернским предводителям следовало бы ограничиться поднесением царю верноподданнического адреса. В его тексте стоило бы избежать требований созыва народного представительства, поскольку «необходимость общения сил правительственных и общественных уже указана в манифесте 26-го февраля 1903 г.», а «если бы самодержавной властью было признано за благо создание какого-либо нового учреждения для большего еще приближения народа к правительству, <...> то дворянство по занимаемому им среди остальных сословий положению не будет устранено от участия в таковом учреждении» (Российское дворянство в революции 1905 года: «Беседы» губернских предводителей / Сост. И.В. Лукоянов. СПб., 2017. С. 43).
3. РГИА. Ф. 922. Оп. 1. Д. 307. Л. 14.

необходимым последовательное исключение бюрократии из системы государственного управления (посредством отмены Табели о рангах и привлечения выборных земских деятелей в Государственный совет), а также вовлечение видных общественных деятелей в процесс принятия политических решений на высшем уровне, вплоть до представления лицам столь различных политических взглядов, как братья Долгоруковы и Самарины, министерских портфельей¹. Свои предложения, пусть и в более умеренном виде, С.Ф. Шарапов высказывал и министру внутренних дел².

Многие сановники, разумеется, были не в восторге от подобных предложений и активно им противодействовали. Мысль о несовместимости самодержавия и народного представительства была впервые озвучена С.Ю. Витте и В.Н. Коковцовым 2 декабря 1904 г. на заседании Совета министров³. Определенную роль в исчезновении пункта о выборных из Указа 12 декабря 1904 г. также могло сыграть противодействие К.П. Победоносцева⁴ и великого князя Сергея Александровича⁵.

Сторонники диалога с обществом не оставляли попыток убедить в своей правоте тех, кто имел возможность оказать влияние на принятие императором судьбоносного решения. Обращаясь к С.Ю. Витте, А.Д. Оболенский настаивал на том, что правительству необходимо было более

1. Там же. Л. 19–22.

2. По словам С.Ф. Шарапова, император должен был в кратчайшие сроки подписать Манифест, в котором подчеркивалось бы, «что устройство России есть трудная и сложная работа над перестройкой 200-летнего огромного здания, требующая сосредоточения лучших умственных сил страны, и не может быть даже начата без трудной и ответственной предварительной работы по выяснению объема и плана задачи; что Государь желает к этой работе призвать отмеченных общественным доверием представителей дворянства и других сословий» (ГА РФ. Ф. 1729. Оп. 1. Д. 85. Л. 1 об. — 2).

3. См.: Дневник кн. Екатерины Алексеевны Святополк-Мирской за 1904–1905 гг. // Исторические записки / Отв. ред. А.Л. Сидоров. Т. 77. М., 1965. С. 260.

4. См.: *Ганелин Р.Ш.* Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991. С. 33.

5. См.: *Лопухин А.А.* Отрывки из воспоминаний (По поводу «Воспоминаний» гр. С.Ю. Витте). М.; Пг., 1923. С. 51.

решительно и определенно проводить политические преобразования. «Надо ясно сказать, что самодержавие опирается не на одну службу по назначению, а на службу выборную», — писал он председателю Комитета министров 8 декабря 1904 г.¹ В первую очередь, по словам А.Д. Оболенского, стоило отказаться от системы всеподданнейших докладов, которая на тот момент являлась основным инструментом государственного управления². Вместо нее во главу угла следовало поставить принцип, согласно которому каждый законопроект должен был в обязательном порядке проходить обсуждение в Государственном совете, «который надо обновить не сведущими людьми, а выбранными»³.

Как ни странно, провал проекта П.Д. Святополк-Мирского был встречен некоторыми представителями либеральной общественности едва ли не с облегчением. «Слава Богу, что в указе ничего не было о представительстве, а то хотели было припустить несколько выборных от городов, от земства и дворянства в Государственный совет. Во всяком случае, это не может остановить движения, а только поддаст воды на мельницу», — писал С.Н. Трубецкой своему брату Евгению 15 декабря 1904 г.⁴

В январе 1905 г. Московским дворянским собранием был составлен всеподданнейший адрес, в основу которого легли идеи, выраженные во внесенной на обсуждение собрания ранее записке «Кружка москвичей». В ней проводилась мысль о том, что представительный орган власти никогда не приобрел бы в глазах народа авторитета, сопоставимого с монаршим. Члены «Кружка москвичей» не верили в способность общества, которое само испытывало глубокий кризис, оказать действенную помощь Николаю II в преодолении кризиса общегосударственного. Для этого, по их словам, требовалось политическое

1. РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 1.

2. См.: *Ганелин Р.Ш.* Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. С. 5.

3. РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 454. Л. 1.

4. Цит. по: *Трубецкая О.Н.* Князь С.Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. С. 259.

воспитание общества, которое заняло бы десятки лет. А значит, сам по себе созыв народного представительства в одночасье не решит проблемы выхода страны из «смуты». Напротив, она только усугубится, поскольку даже законосовещательное представительство, созыв которого, по утверждению московских неославянофилов, не противоречил принципу самодержавия, станет требовать расширения своих прав и будет стремиться стать законодательным, тем самым обостряя ситуацию в стране¹. Поэтому рецепт выхода из кризиса виделся составителям записки не в созыве народного представительства, а, напротив, во всемерном противодействии политической агитации, которая, усиливая оппозицию власти и общества, затрудняла перспективу установления между ними конструктивного диалога².

Несогласные с подобной точкой зрения выступили с альтернативным адресом, подпись под которым едва не стояла П.Н. Трубецкому должности предводителя дворянства³. 19 января 1905 г. один из составителей «адреса меньшинства» П.А. Гейден подчеркивал в письме, адресованном супруге: «Мы сказали только, что нужны коренные реформы, чтобы заменить бюрократический строй другим, в котором все было бы основано на нравственном сознании народа»⁴.

Все чаще звучащая в правительственных и общественных кругах мысль о том, что Россия нуждается в полноценном представительном учреждении, в корне изменила значение проектов преобразования Государственного совета. Теперь их авторами были не сторонники, а противники народного представительства. Такая метаморфоза объяснялась просто: в привлечении выборных к работе Государственного совета они видели наиболее мягкий, щадящий вариант реформы, которую они не одобряли, но все же предчувствовали ее неизбежность.

1. ОР РГБ. Ф. 265. К. 134. Д. 5. Л. 9–10.

2. Там же. Л. 12.

3. См.: *Трубецкая О.Н.* Князь С.Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. С. 107–108.

4. ГА РФ. Ф. 887. Оп. 1. Д. 102. Л. 95–96.

Участники «Кружка москвичей», горячо поддержавшие отказ императора включить выборных в состав Государственного совета в конце 1904 г., под страхом учреждения в России Государственной думы до некоторой степени пересмотрели свои взгляды. 31 мая 1905 г. ими была напечатана записка «О способе осуществления предначертаний Высочайшего рескрипта 18 февраля сего года». Роль народных представителей в ней остроумно приравнивалась к роли присяжных заседателей в ходе судебного разбирательства, привлекаемых к исполнению *«государственной повинности»* (курсив мой. — С.Н.) в помощь профессиональным судьям¹, зачастую склонным подходить к разрешению дела слишком формально². Поскольку рескрипт А.Г. Булыгину предполагал участие выборных «лишь в предварительных работах», возможность их включения в состав Государственного совета в качестве его постоянных членов или вовсе замены этого органа собранием народных представителей «москвичи» категорически отвергли³. По их мнению, в постоянном учреждении не было необходимости еще и потому, что наиболее деятельные выборные не захотели бы, полностью оторвавшись от своей профессиональной и личной жизни, посвятить все свое время законотворчеству⁴.

В качестве альтернативы Думе участники «Кружка москвичей» предлагали весьма оригинальную конструкцию. Они рекомендовали возобновить практику работы дворянских губернских комитетов эпохи Великих реформ, на рассмотрение которых направлялись бы теперь не только законопроекты, имевшие отношение к аграрному вопросу, но и прочие законодательные инициативы. Из состава губернских комитетов, в свою очередь, должны были избираться выборные для участия в работе Подготовительных комиссий Государственного совета для рассмотрения

1. Которых, по мысли авторов записки, вполне можно было в данном случае уподобить высшей бюрократии.
2. ОР РГБ. К. 134. Д. II. Л. 28 об.
3. Там же. Л. 16 об.
4. Там же.

каждого законопроекта в отдельности. Срок заседания каждой комиссии (не более 4–6 недель) определялся текущей очередностью их работы, а заключения комиссий со всеми отдельными мнениями должны были предоставляться на рассмотрение императору наряду с мнением Государственного совета¹. «Срок службы» выборных, согласно проекту, составлял три года. Уклониться от повторного избрания можно было лишь в том случае, если в течение этого срока депутат действительно вызывался в Петербург для исполнения своих обязанностей. При этом служба выборных государством не оплачивалась — «москвичи» оставляли на усмотрение дворянских собраний возможность компенсации проезда депутатов в столицу и проживания в ней во время работы комиссий².

Чрезмерная бюрократизация проекта преобразования Государственного совета дискредитировала саму идею реформы. В этом смысле ее судьба отчетливо напоминала судьбу так и не созданного Земского собора. Вскоре подобного рода инициативы перестали встречать в правительственных кругах всякое сочувствие. А.Г. Булыгин приводил целый ряд аргументов против расширения состава Государственного совета за счет выборных. С одной стороны, был велик риск того, что немногочисленные сановники просто-напросто «растворятся» в огромной массе выборных. С другой стороны, распределив народных избранников по различным департаментам Совета, деятельность которых была никак не связана между собой, правительство уничтожило бы саму идею народного представительства³. Наконец, привлечение выборных в Государственный совет означало бы, что народного представительства в чистом виде в России так и не возникнет (при этом Государственный совет как «мозговой центр» высшей бюрократии также перестанет существовать). Подобный исход, по утверждению министра внутренних дел, свел бы на нет главную идею

1. Там же. Л. 17 об. — 18 об.

2. Там же. Л. 15 об.

3. См.: *Таганцев Н.С.* Пережитое. Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. Вып. 1. Пг., 1919. С. 25.

реформы: «поставить верховную власть в непосредственные отношения к народу»¹.

На фоне эскалации революционного кризиса в России в 1905 г. идея о необходимости преобразования Государственного совета путем включения выборных в его состав претерпела колоссальные изменения. Из единственной формы представительства, на которую представлялось возможным уговорить императора, реформированный Государственный совет стал для идейных противников народного представительства последней возможностью не допустить его локализации в особом органе власти. Тем самым консерваторы «наносили удар» по одному из ключевых положений республиканской теории — *устранению единства политического суверенитета*, к практической реализации которого стремились сторонники представительства. Те, в свою очередь, встретили в этом отношении неожиданное сочувствие в правительственных кругах. Власть в 1905 г. уже не могла пойти на создание мнимого представительного учреждения. В итоге обновленный Государственный совет, в полном соответствии с духом вышеуказанного республиканского принципа, стал в 1906 г. верхней палатой российского парламента.

Государственная дума как центр консолидации общества

В 1905 г. многие в России были убеждены: народное представительство должно стать новым элементом политической системы, а не дополнением к одному из уже существовавших. Авторами различных его проектов двигателя идея действительного обновления политической системы, а не ее мнимого реформирования путем возрождения властных институтов прошлого. Только создание самостоятельного, вновь образованного представительного учреждения способствовало бы тому, что высшие государственные решения перестали бы приниматься за закрытыми дверями петербургских кабинетов, а представители общественности

1. РГИА. Ф. 1544. Оп. 1. Д. 1. Л. 11.

получили бы наконец пространство для диалога друг с другом и с властью. В дискуссии о народном представительстве включались и те общественные деятели, которые ранее вовсе не интересовались политикой.

2 января 1905 г. основатель Крестовоздвиженского православного трудового братства Н.Н. Неплюев подал императору всеподданнейшую записку. Он призывал монарха приступить к масштабным преобразованиям. Главным пунктом программы реформ было создание законосовещательного органа народного представительства¹. Причем этот орган должен был не только стать постоянно действующим, но и обладать прочными связями с земскими собраниями и городскими думами, а главное — правом контроля деятельности министров².

Весьма любопытную альтернативу как Земскому собору, так и парламенту, облеченному законодательными полномочиями, предлагал входивший в начале XX в. в круг доверенных лиц императора инженер Н.А. Демчинский. 6 февраля 1905 г. он подал Николаю II докладную записку, на страницах которой остроумно описывал состояние российского общества: «В наши дни приподнятая жизнь уже создала себе идолов: Перун, которого непременно нужно столкнуть в Днепр — это „бюрократия“ и новый бог, долженствующий занять его место и исцелить всех нас — это „Земский Собор“»³. Однако поклонение этому «богу», по утверждению Н.А. Демчинского, «в ближайшем будущем повело бы нас к кровавому террору»⁴. Земскому собору он предпочитал созыв на постоянной основе «Государевой Земской Думы». Часть депутатов должна была избираться от земств, дворянских собраний, городских дум, биржевых комитетов и университетов (автор проекта особенно настаивал на отдельном представительстве депутатов от юридических

1. ГА РФ. Ф. 543. Оп. 1. Д. 551. Л. 10 об.

2. Там же. Л. 11 об.

3. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 54. Л. 3.

4. Политические проекты Н.А. Демчинского (1903–1905) // «Российский Архив» (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.). Вып. XIV. М., 2005. С. 637.

факультетов). В число депутатов по назначению должны были войти председатель Комитета министров, министры или их товарищи, пять членов Государственного совета, Святейшего Синода и десять представителей Сената. Проектируемый орган, безусловно, должен был обладать исключительно законосовещательными полномочиями, а император — правом его роспуска. Н.А. Демчинский всячески подчеркивал неполитический характер представительства, которое не должно было в своей работе каким-либо образом затрагивать или выносить на обсуждение «вопросы о правах и прерогативах верховной власти»¹.

В том, что общественное мнение должно быть широко представлено в Петербурге, были твердо убеждены и многие сановники. Согласно составленному в конце января 1905 г. проекту именного высочайшего указа Правительствующему Сенату, выборы должны были пройти в местностях, где имелись дворянские или земские учреждения (по 3 выборов от губернии: от дворянства, сельских обществ и от прочих городских и уездных владельцев), и полностью завершиться не позднее 6 августа 1905 г.²

В мае 1905 г. А.Н. Куломзин разработал проект созыва «Государственного Представительного Собрания» — органа власти, в компетенции которого, помимо утверждения законов, направляемых на рассмотрение Собрания императором, находилось бы также право законодательной инициативы и подачи запросов министрам³. Избирательным правом наделялись те, кто мог принимать участие в земских выборах. Поэтому первоочередные задачи правительства, наряду с подготовкой и проведением парламентских выборов, должны были состоять в распространении действия Земского положения 1864 г.⁴ на все

1. Политические проекты Н.А. Демчинского (1903–1905). С. 638–640.

2. РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 41. Л. 42–42 об.

3. Там же. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 132. Л. 5 об. — 6.

4. Хотя в Российской империи в 1905 г. действовало Земское положение 1890 г., автор проекта указывал на необходимость возврата к Земскому положению эпохи Великих реформ, в котором демократический и всесословный компоненты деятельности земств были более выражены, чем в Положении 1890 г.

губернии Российской империи, а также в существенном расширении прав земств в вопросах местного значения, предоставлении им права «действительного, а не бумажного надзора»¹. Данная мера, по мнению А.Н. Куломзина, возымела бы мощный терапевтический эффект: склонные к политическому оппонированию режиму земские деятели переключились бы с обсуждения общегосударственных вопросов на решение местных проблем и задач², что, в свою очередь, способствовало бы снижению популярности социалистических идей в обществе. Именно отвлечение земских деятелей от пустых разговоров о политике путем интеграции их представителей в систему государственного управления, по утверждению автора проекта, могло сделать парламент работоспособным и в то же время обеспечить совершенно ничтожное представительство в нем революционно настроенных депутатов. К тому же подобная стратегия не вынуждала бы правительство прибегать к политическим репрессиям и преследованиям, «всегда и везде приносящим более вреда, чем пользы»³.

Российская общественность также активно стремилась отстаивать свое право на политическое представительство. 12 мая 1905 г. видный публицист, а впоследствии — член рязанского отдела «Союза 17 октября» А.В. Еропкин подготовил записку, в которой последовательно отстаивал необходимость устройства пропорциональных и многоступенчатых выборов⁴. Опираясь на данные всероссийской переписи населения 1897 г., автор записки предполагал (пусть и несколько умозрительно), что при прямых выборах, если все избиратели будут голосовать исходя из интересов своей социальной группы, то из 600–700 депутатов будущей Государственной думы на долю «интеллигентных классов» (дворянства, духовенства, купечества, учителей и ученых, бюрократии,

1. РГИА. Ф. 1642. Оп. 1. Д. 132. Л. 10 об.

2. Там же. Л. 11.

3. Там же. Л. 9 об.

4. См.: *Еропкин А.В.* Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. М., 1905. С. 13.

врачей и юристов) будет приходиться лишь 27 депутатских мандатов¹.

Перспектива абсолютного преобладания крестьянства в Думе А.В. Еропкина совершенно не устраивала. Поэтому ради соблюдения интересов политически активного меньшинства населения он предлагал проект организации народного представительства на основе земских учреждений и городских дум. Это было вполне логично. Сама инициатива в возбуждении вопроса о народном представительстве исходила в первую очередь от земств, которые по роду своей деятельности были хорошо знакомы с особенностями народной жизни². В то же время при вожденной многими земцами «четырёххвостке» было недостижимо особое представительство в Думе не только от фабрично-заводских рабочих, но и от научных учреждений и профессиональных корпораций (Академии наук, университетов, адвокатов, врачей и лиц творческих профессий). Если с допуском в Думу депутатов от рабочего класса А.В. Еропкин мирился вынужденно³, то только гарантия должного представительства интеллигенции в ней⁴, по его мнению, могла обеспечить легитимность народного представительства в глазах общественности⁵. Таким образом, логика формирования одной из ведущих либеральных партий дореволюционной России — «Союза 17 октября» — как партии *земской* отчетливо прослеживалась еще за полгода до ее создания.

Однако привлечь представителей общественности не только к работе еще не созданной Думы, но и к ее проектированию оказалось непросто. Возглавивший Особое

1. *Еропкин А.В.* Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. С. 16.
2. Там же. С. 17, 20.
3. Допуская, однако, существенную оговорку, что «число представителей рабочего класса может быть вычислено из соотношения численности этого класса сравнительно с численностью населения империи».
4. В частности, путем избрания хотя бы одного депутата от каждого российского университета.
5. *Еропкин А.В.* Земство и народ. К вопросу о народном представительстве. С. 18–19.

совещание по разработке положения о Государственной думе при Министерстве внутренних дел А.Г. Бульгин столкнулся с неожиданным противодействием ряда общественных деятелей, к которым он обратился за помощью. Предложение войти в состав Совещания получил, в частности, Ф.Д. Самарин. Один из лидеров «Кружка москвичей» поначалу деликатно отказывался от предложения министра. Свой отказ он мотивировал тем, что сам факт присутствия в составе Совещания человека, открыто высказывавшегося против созыва народного представительства, вызовет у его сторонников предубеждение против проекта Думы, в то время как для А.Г. Бульгина было особенно важно заручиться поддержкой общественности, которая настойчиво требовала скорейшего учреждения представительства¹. В итоге Ф.Д. Самарин все же был включен в состав Совещания и на первом же заседании открыто высказался против создания особого представительного органа. Предсказуемо не встретив у коллег сочувствия своим взглядам, в дальнейшем лидер «Кружка москвичей» участия в работе бульгинского Совещания не принимал².

В рассуждениях Ф.Д. Самарина была своя логика. Он искренне полагал, что консолидация российского общества способствовала бы скорейшему преодолению революционного кризиса. Но эта консолидация должна была быть *неполитической*, т.е. осуществляться в альтернативных народному представительству формах. 13 июня 1905 г., когда работа Особого совещания уже подошла к концу, Ф.Д. Самарин подробно изложил свою точку зрения в письме Ю.Н. Милютину. По мнению Ф.Д. Самарина, не созыв представительного учреждения, а отказ либералов от непременного удовлетворения своих политических требований способствовал бы подлинному единению российского общества. «При настоящих обстоятельствах, говорят нам, „партийная борьба должна умолкнуть под страхом общей

1. ОР РГБ. Ф. 265. К. 156. Д. 3. Л. 3–4.

2. См.: [Крыжановский С.Е.] Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. С. 62–63.

гибели“¹. Вполне разделяю эту мысль, но именно потому думаю, что не время теперь приступать к делу, которое неминуемо должно вызвать наружу все существующие в нашем обществе разногласия и привести к столкновению между собой все многообразные интересы отдельных слоев населения и общественных групп. Ведь представительные учреждения — это организация политической борьбы, а Вы в них-то и видите единственный путь к спасению. Как же согласовать с этим Ваш призыв к прекращению партийной борьбы?» — задавался вопросом один из лидеров «Кружка москвичей»¹.

Сподвижники Ф.Д. Самарина скептически смотрели на саму идею широкого общественного обсуждения проекта народного представительства. Они призывали ни в коем случае не включать в состав Особого совещания при МВД представителей каких бы то ни было общественных или сословных организаций. В противном случае Совещание само по себе явилось бы неким подобием народного представительства². Но это отнюдь не значило, что Совещание должно было состоять лишь из одних чиновников. Представители общественности могли привлекаться к разработке проекта Государственной думы по инициативе правительства. При этом власти надлежало руководствоваться не их политическими взглядами или статусом организаций, которые они представляли, а исключительно компетентностью самих представителей. К подобной практике правительство прибегало и ранее (например, при учреждении в 1859 г. редакционных комиссий по крестьянскому вопросу и в ходе работы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности), и она, по мнению «москвичей», вполне доказала свою эффективность³.

Некоторые сановники и вовсе желали видеть среди участников Особого совещания лидеров земской оппозиции. 25 февраля 1905 г. А.Д. Оболенский уверял С.Н. Трубецкого, что если не воспользоваться моментом, то «поле активной

1. ОР РГБ. Ф. 265. К. 116. Д. 40. Л. 9.

2. Там же. К. 134. Д. 9. Л. 1 об.

3. Там же. Л. 2, 6–6 об.

деятельности останется за Грингмутом, с одной стороны, и бомбами, с другой, причем, без сомнения, победят последние. <...> По-моему, — писал А.Д. Оболенский, — надо выбирать депутации, посылать их сюда, приставать к Булыгину, убеждать, укреплять и проч. всеми зависящими мерами»¹. Ходатайствами, всеподданнейшими адресами и разного рода записками, по мнению А.Д. Оболенского, ограничиться было уже нельзя, поскольку «Булыгина раскачать непомерно трудно», в то время как влияние непримиримых консерваторов вроде С.Д. Шереметева, «с пеной у рта» доказывавших, «что вся смута выдуманна», было угрожающе велико².

Земцы, разумеется, ничего не имели против содействия правительству в разработке проекта народного представительства, хотя и не были в итоге к этой работе допущены. В своей последней статье «Перед решением» С.Н. Трубецкой выражал уверенность в том, что один лишь призыв земских и городских деятелей к законотворчеству о Думе внес бы успокоение в общество, так как послужил бы «гарантией, что представительные учреждения и избирательный закон будут действительно соответствовать нуждам страны»³. На широком общественном обсуждении проекта народного представительства С.Н. Трубецкой настаивал в своей речи, произнесенной им на приеме императором делегации земского съезда 6 июня 1905 г.⁴ Месяц спустя А.Н. Куломзин в переписке с Э.Ю. Нольде не исключал такого развития событий, при котором «„Союз союзов“ м[ожет] устроить массовые обширные волнения» на фоне не слишком заметных для публики подвижек в деле созыва Государственной думы⁵. Известная неповоротливость бюрократической машины вновь бросалась в глаза самим чиновникам.

1. Цит. по: *Трубецкая О.Н.* Князь С.Н. Трубецкой. Воспоминания сестры. С. 119.

2. Там же. С. 120.

3. Там же. С. 151.

4. Там же. С. 139–141.

5. «Не стоит, конечно же, бояться, но не следует забывать, что после 18 февраля идет уже 5-й месяц», — напоминал А.Н. Куломзин своему корреспонденту 27 июля 1905 г. (РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 193. Л. 10 об.).

Однако в итоге основной объем работы Совещания приняли на себя именно представители бюрократии и главным образом С.Е. Крыжановский¹. Их труды не предавались огласке, хотя некоторые чиновники уверяли царя в том, что слабая информированность общественности о деятельности правительства в вопросе реализации рескрипта А.Г. Булыгину способствовала поддержанию высокого града революционных настроений². Важно подчеркнуть, что свою задачу министр внутренних дел видел исключительно в точном исполнении указаний императора, т.е. в разработке проекта народного представительства. Вероятно, именно подобная установка послужила причиной отклонения тех пунктов записки С.Е. Крыжановского, которые предполагали формирование представительства на основе системы земских и городских органов местного самоуправления³. Трансформацию всего механизма государственного управления А.Г. Булыгин считал «делом будущих поколений»⁴.

Тем не менее многие сановники вполне осознавали, что в условиях обострения революционного кризиса традиционно неспешный бюрократический порядок разработки и принятия государственных решений был крайне неэффективен. После окончания работы Особого совещания проект «булыгинской думы» был подвергнут обсуждению

1. См.: *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника / Подгот. текста и коммент. Н.П. Соколова. М., 2000. С. 680; *Редигер А.Ф.* История моей жизни. Воспоминания военного министра. Т. 1. М., 1999. С. 443; *Богданович А.В.* Три самодержца. Дневники генералши Богданович. М., 2008. С. 269.
2. См.: Революция 1905–1907 гг. в России: документы и материалы. Начало первой русской революции. Январь—март 1905 года / Под ред. Н.С. Трусовой, А.А. Новосельского и Л.Н. Пушкарева. М., 1955. С. 752.
3. См.: Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства / Ред. П.Е. Щеголева. Т. V. М.; Л., 1926. С. 380.
4. *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. С. 684. Подобная позиция министра внутренних дел натолкнула В.И. Гурко на мысль о том, что А.Г. Булыгин не до конца осознавал значение и «глубину» предстоящих преобразований и даже не сочувствовал им (Там же. С. 681–683).

в Совете министров, который внес в него незначительные поправки. Еще до завершения дискуссий в Совете министров Д.М. Сольский настаивал на ускоренной, без положенного по закону обсуждения в Государственном совете, процедуре утверждения проекта. Неминуемая в данном случае задержка с изданием закона способствовала бы дальнейшему росту антиправительственных настроений в обществе, чьи ожидания созыва народного представительства и без того не соответствовали темпам разработки думского проекта¹.

4 июля 1905 г. Д.М. Сольский представил по итогам рассмотрения проекта «булыгинской думы» в Совете министров доклад императору, в котором еще раз подчеркнул необходимость безотлагательного созыва Государственной думы, обусловленную потребностью не только в «успокоении и умиротворении страны», но и в создании в России нового государственного строя, отвечающего вызовам времени². Сановнику предстояло развеять главное опасение Николая II. Император был по-прежнему убежден, что созыв Государственной думы означал бы ограничение самодержавия и фактический переход России к конституции. Главный аргумент Д.М. Сольского сводился к тому, что Российская империя не нуждалась в заключении между монархом и народом специального договора, который отстаивал бы интересы подданных, и без того тождественные интересам государя. По словам докладчика, «самодержавная форма правления настолько эластична, что все высшие блага, к которым ныне стремятся подданные, могут быть им дарованы свободным изволением монарха и без введения представительного образа правления»³. Созыв Думы был актом доброй воли императора, направленным на удовлетворение желаний большинства народа, и лишь укрепил бы взаимосвязь между ним и престолом.

1. См.: *Осипов С.В.* Петергофское совещание 1905 г. // Россия и мир: историко-культурный аспект: сборник научных трудов. Ульяновск, 2006. С. 38–39.
2. РГИА. Ф. 694. Оп. 2. Д. 112. Л. 1–3.
3. Там же. Л. 3.

Д.М. Сольский также обращал внимание Николая II на эффект, который произведет на оппонентов самодержавия созыв Думы. Он вмиг развеял бы один из главных доводов либеральной оппозиции о том, что все решения в стране принимались абсолютно не осведомленными о нуждах народа представителями высшей бюрократии. Отныне царь будет иметь возможность узнавать о потребностях народа напрямую, причем из уст наиболее достойных его представителей. Это, однако, накладывало на императора дополнительную ответственность, ведь «его несогласие с мнением Думы не будет уже иметь оправдания в недостаточной осведомленности законосовещательных учреждений об истинных потребностях населения»¹.

Приобретавшая все более реальные очертания перспектива созыва Государственной думы обнадеживала даже недавних сторонников Земского собора. А.А. Киреев был убежден, что посредством Думы удастся заменить во власти «неудачных бюрократов деятелями удачными», примкнувшими к оппозиции преимущественно потому, что ранее они не имели никакого шанса легально выразить свое мнение. С учреждением в России Государственной думы такая возможность им предоставлялась².

Либеральная печать тоже встретила известие об учреждении «булыгинской думы» со сдержанным оптимизмом. Постоянный колумнист «Вестника Европы» Л.З. Слонимский подчеркивал, что народное представительство даровалось России в исключительных условиях хаоса, «ужасов хронического междоусобия» и спорадических репрессий в качестве единственно приемлемой для власти реакции на «смуту», а значит, оно не просто не вытекало из логики внутривластного курса, но противоречило ему. Это, в свою очередь, порождало в обществе недоверие к Думе. Устранить это противоречие было возможно, лишь установив в России «правовой порядок», обратившись к западноевропейской политической культуре, ключевой элемент которой — *верховенство закона* — был в большей степени

1. РГИА. Ф. 694. Оп. 2. Д. 112. Л. 5.

2. См.: [Киреев А.А.] А.А. Киреев. Дневник. 1905–1910. С. 77.

присущ России в годы царствования Николая I, нежели в начале XX в. Приводя в пример жесткие резолюции Николая I на делах Комитета министров об отстранении от должности того или иного чиновника, поставившего интересы администрации выше интересов государства, выше закона, Л.З. Слонимский заключал, что «эти крутые карательные распоряжения вызваны такими поступками, которые в наше время считались бы доказательствами похвального патриотического усердия и не только не повлекли бы за собой никакой ответственности, но, вероятно, удостоились бы награды и поощрения»¹. Парадокс состоял в том, что «правовой порядок» был немислим без учреждения народного представительства, которое стало бы первым шагом к ликвидации всевластия бюрократии. Теперь этот круг замкнулся.

И все-таки законосовещательная Государственная дума в России так и не появилась. Этого не случилось в первую очередь потому, что, несмотря на все организационные нововведения, проект «булыгинской думы» был порождением прошлого. Его идейным истоком служил Земский собор. Мысль о легитимации самодержавия посредством общественного мнения, привлекавшая славянофилов в XIX в., категорически не устраивала общество в 1905 г. Оно требовало реальной возможности легитимировать *само себя* в политическом и правовом пространстве, не желая служить «декорацией» в существующей политической системе.

Эти стремления становились все более артикулированными. Именно в них следует искать истоки и причины возникновения Манифеста 17 октября. С наступлением осени «мечтания» о реформах казались все менее «бессмысленными» не только земцам, но и лицам из ближайшего окружения царя. 15 октября 1905 г. А.А. Клопов открыто лоббировал идею «а) уменьшить до минимума избирательный ценз для деревни и городов, б) включить в члены Думы выборных от рабочих, предоставить права избирателей представителям свободных профессий и вообще всякого

1. *Слонимский Л.З.* Народное представительство и правовой порядок // Вестник Европы. 1905. Т. V. Кн. 10. С. 741–742.

интеллектуального труда»¹, а днем позже прямо призывал царя немедленно обнаружить конституцию с ответственным министерством².

Когда революционный кризис 1905 г. достиг апогея, идея *равенства*, принимавшая на митингах в городах и при аграрных волнениях в деревне самые радикальные формы, начала проникать и в правительственные круги. Это едва не привело к установлению в России всеобщего избирательного права. Развернувшаяся на этот счет в среде высшей бюрократии острая дискуссия стала возможной из-за того, что в тексте Манифеста 17 октября не обозначался предел, до которого предполагалось расширить избирательное право. А идея всеобщего избирательного права разделялась не только обществом³, но и некоторыми членами обновленного Совета министров. Так, Д.А. Философов, высказываясь в первой половине ноября на заседании Совета за всеобщие выборы, приводил в защиту своих убеждений весьма специфические доводы. По его словам, «идея всеобщего равенства <...> настолько глубоко вкоренилась в сознании русского народа, что она сказывается решительно во всех его поступках»⁴. Особенно ярко это проявлялось в ходе крестьянских волнений, когда крестьяне делят поровну награбленное имущество помещиков, а «те предметы, которые поровну распределить нельзя, она (крестьянская масса, толпа. — *С.Н.*) либо совершенно уничтожает, либо дробит их на части, хотя бы части эти сами по себе уже не представляли никакой ценности»⁵. По окончании

1. Тайный советник императора / Авт.-сост. В.М. Крылов, Н.А. Малеванов, В.И. Травин. СПб., 2002. С. 371.

2. Там же. С. 374.

3. В мемуарах С.Е. Крыжановского читаем: «Теперь странно и вспоминать, но тогда не было в обществе и печати никого почти, кто не являлся бы ее сторонником. К тому же и пропаганда этой идеи велась очень деятельно» (*Крыжановский С.Е.* Воспоминания: из бумаг С.Е. Крыжановского, последнего государственного секретаря Российской империи. С. 81).

4. *Гурко В.И.* Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. С. 783.

5. Там же. С. 784.

заседания В.И. Гурко в недоумении заметил Д.А. Философову: «Таким путем <...> вы не боретесь с революцией, а обеспечиваете ей неминуемое торжество»¹.

Обозначенный подход в Совете министров открыто именовался «земским». Разделявшие его сановники не являлись идейными сторонниками всеобщих выборов, но были убеждены, «что в данное время при данных обстоятельствах» подобная избирательная система является единственной, «которая может внести успокоение в общество»². Главный недостаток правительственных мероприятий последнего времени, по их мнению, сводился к тому, что они не шли в уровень с ростом общественного сознания. Вместо того чтобы твердо взять в свои руки общественное движение, правительство «шло позади общества, делая время от времени вынужденные полууступки, которые, никого вполне не удовлетворяя, раздражали многих, как вообще всякая полумера»³.

Их оппоненты соглашались с тем, что идея всеобщего избирательного права была весьма популярна «в среде большинства городского населения, многих земских деятелей и почти повсеместно в рабочем населении». Причина этой популярности виделась сановникам не только в агитационной работе революционеров, но и в демократическом по существу общественном строе Российской империи. Ввиду особенностей исторического развития в России не сложилось ни «сколько-нибудь заметной и имеющей значение аристократии», ни прочного класса, подобного западноевропейской буржуазии, а потому принцип равенства играл ключевую роль в российском общественно-политическом сознании⁴. Однако руководствоваться при созыве на постоянной основе представительного учреждения лишь целью борьбы с революционным настроением в обществе, «которое есть состояние переходящее, и сама степень которого, так же, как и глубина затронутых им общественных слоев,

1. Там же. С. 785.

2. РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 483. Л. 56.

3. Там же.

4. Там же. Л. 55 об. — 56.

не представляются достаточно ясными»¹, большинство сановников полагало нецелесообразным.

Главная опасность всеобщих выборов состояла во вполне вероятной, с точки зрения чиновников, перспективе установления в России «деспотизма масс», которые, не имея устойчивых политических взглядов, станут в Думе проводником идеологии единственной на данный момент сплоченной и организованной партии — «революционной». Ни либералы, ни тем более правительство конкурировать с социалистами на равных не могли². Поэтому Совет министров рекомендовал Николаю II не вводить всеобщее избирательное право. Советуя не исключать рассмотрение данного вопроса в будущем и предоставляя императору инициативу в его возбуждении³, чиновники фактически ставили на этой идее крест. Большинство участников прошедших в декабре 1905 г. Царскосельских совещаний опасалось, что в случае всеобщих выборов успех будет сопутствовать либо революционерам, либо, напротив, крайним реакционерам⁴. Оба этих варианта к концу 1905 г. представлялись одинаково неблагоприятными для власти.

К Государственной думе, рожденной в 1905 г., российское общество относилось по-разному. Для сторонников российского парламента на первом месте стояла идея *свободы*, которую он олицетворял. Его созыв стал бы огромным шагом вперед, вывел бы страну на новый этап политической модернизации и способствовал бы преодолению кризиса. Противники предоставления обществу широких политических прав в то же время отнюдь не отказывали ему ни в праве солидаризироваться, ни в возможности роста гражданского самосознания. И те и другие осознавали назревшую потребность общества быть услышанным на самом верху. Но его консолидация за пределами политического

1. РГИА. Ф. 727. Оп. 2. Д. 483. Л. 56 об.

2. Там же. Л. 57.

3. Там же. Л. 57 об.

4. См.: Русский конституционализм: от самодержавия к конституционно-парламентской монархии: Сб. документов / Авт.-сост.: А.В. Гоголевский (вступ. ст., коммент.), Б.Н. Ковалев (коммент., библиогр.). М., 2001. С. 54–55.

поля была уже невозможна. И если у бюрократии и общественности и получилось подтолкнуть Николая II к учреждению законодательного представительства (или, напротив, не получилось отговорить императора от такого решения), то до конца убедить царя в том, что оно было правильным, не удалось никому. Это во многом определило не только отношение власти к еще не образованному народному представительству, но и историю думской монархии.

Республиканские идеи и российская общественность в 1905 г.

Подписанный Николаем II 18 февраля 1905 г. Указ Правительствующему Сенату был значительным шагом навстречу обществу. Согласно указу рассмотрение и обсуждение записок, писем и предложений «по вопросам, касающимся усовершенствования государственного благоустройства и улучшения народного благосостояния», направляемых на высочайшее имя, возлагались на Совет министров. Этот документ по-настоящему всколыхнул общественную мысль в России.

Современники отмечали, что записки, содержавшие различные политические требования и предложения реформ, «посыпались как из рога изобилия»¹. К началу апреля в Совет министров было подано 36 записок², а с 1 мая до середины июля — 216³. Важно подчеркнуть, что данная статистика учитывает исключительно записки, содержавшие более-менее развернутые предложения. Многочисленные телеграммы и короткие послания без каких-либо конкретных инициатив в расчет не брались. Но даже если принимать во внимание и их, то можно смело говорить о том, что до начала Петергофских совещаний в Совет министров поступило максимум несколько сотен записок⁴.

1. Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции: В 22 т. Т. 22. М., 1993. С. 196.
2. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 6. Л. 14.
3. См.: Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. Вып. 2. Пг., 1919. С. 82.
4. Эти записки отложились в фонде Совета министров Российского государственного исторического архива (РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7–26).

В историографии уже отмечалось, что «предоставленное право петиций вошло в противоречие с действующим законодательством»¹. Налицо было явное несоответствие: земские и дворянские собрания, городские думы и крестьянские волостные сходы, биржевые комитеты и сельскохозяйственные общества активно выступали с политическими требованиями. Согласно закону, это являлось нарушением, поскольку обсуждение политических вопросов не входило в их компетенцию. Но и запрет на подобные высказывания мог бы справедливо трактоваться как «ограничение монаршей милости». А поскольку на страницах направляемых в Совет министров записок, выражаясь словами Н.С. Таганцева, «высказывался наиболее экспансивный элемент массы, так сказать, сангвиники общественных ячеек»², то их содержание зачастую было крайне радикальным и нередко ставило чиновников в тупик.

Ни одна записка так и не легла в основу какого-либо законопроекта. Это ни в коей мере не умаляет значения проведенного властями эксперимента. При подготовке к отмене крепостного права внешней экспертизе подвергалась лишь одна проектируемая реформа, а в качестве своеобразной «фокус-группы» выступили только дворяне. Теперь же на максимально широкое общественное обсуждение выносилось положение дел в стране в целом.

Разумеется, поступавшие на рассмотрение Совета министров записки разнились как по содержанию, так и по степени авторитетности их составителей. И все же стремление к реализации идеи *не-доминирования*, которая являлась центральной для политически активной части российского общества в 1905 г., воплощалось в подавляющем большинстве документов. Их авторы требовали созыва народных представителей. Настойчивостью здесь отличались земства³ и особенно городские думы. В мае–июне

1. См.: *Кириянов И.К.* Российские парламентарии начала XX века: новые политики в новом политическом пространстве. Пермь, 2006. С. 56.
2. *Таганцев Н.С.* Пережитое. Учреждение Государственной думы в 1905–1906 гг. Вып. 2. С. 82.
3. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 7. Л. 57–58; Д. 20. Л. 42 об., 69–69 об., 146 об.

1905 г. Совет министров буквально накрыла волна многочисленных ходатайств о созыве парламента от представительных органов как крупных (Вильно, Екатеринодар, Иркутск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону), так и небольших городов¹. Иногда земские и городские собрания выступали с совместными прошениями².

В ряде записок звучали требования привлечь выборных от земств, городских дум, университетов, собраний присяжных поверенных и других общественных организаций к работе бульгинского Совецания³. Полномочия будущих народных избранников понимались земскими и городскими деятелями весьма широко. В частности, острейший вопрос о заключении мира с Японией, по мнению некоторых из них, должен был относиться к компетенции представительного органа власти⁴.

В глазах сторонников народного представительства его созыв никак не противоречил самодержавию, напротив — способствовал бы укреплению государственного строя. В записке, направленной 22 марта 1905 г. делегатами Череповецкого уездного земского собрания А.Г. Бульгину, подчеркивалось, что «участие всего народа (в управлении страной. — *С.Н.*) через своих представителей <...> придаст монаршей власти ту силу, твердость и непреклонность, которых тщетно было бы искать вне правильно осуществленного единства с народом, вне того знания текущей жизни народной, которое нужно для управления прежде всего»⁵.

Некоторые правые, напротив, выступали категорически против создания в России представительных учреждений, так как видели в них угрозу искажения общественного мнения в глазах императора. «Если в большинстве окажется, как надо полагать, консервативное направление, голос выборных невольно скроет реальные опасности несомненно

1. Там же. Д. 20. Л. 15–15 об., 18 об., 60 об., 62–63 об., 66, 68 об., 70 об., 74, 130 об. — 131, 138 об., 156, 159 об. — 160, 181 об. — 182, 183, 190, 208–208 об.

2. Там же. Л. 14 об.

3. Там же. Д. 7. Л. 79, 83 об. — 84.

4. Там же. Д. 20. Л. 15.

5. Там же. Д. 7. Л. 57 об. — 58.

сильного и острого революционного движения. Если в большинстве окажутся революционеры, от Вашего Величества будет скрыт неуступчивый голос надежного консервативного оплота», — писал Николаю II Б.В. Никольский, подвергая критике проект «булыгинской думы»¹. В любом случае император окажется дезориентирован и станет принимать решения с учетом мнения лишь политически активной части общества, что, по утверждению Б.В. Никольского, приведет к установлению в России подлинного народного властия (иными словами — республики).

По подсчетам Н.С. Таганцева, подавляющее большинство направленных на рассмотрение Совета министров записок содержало требование созыва не просто народного представительства, а Учредительного собрания, причем такие петиции приходили не только из земско-городской среды, но и от крестьянских сходов². Со сторонниками Земского собора их роднила все та же характерная для республиканской теории ставка на *идеальный характер политического бытия*.

Уже в мае—июне 1905 г. немедленного созыва Учредительного собрания настоятельно требовали члены различных органов местного самоуправления и общественных организаций: от Вологодской городской думы³ до Общества содействия народному образованию в Области Войска Донского⁴ и Киржачского Владимирской губернии общества трезвости⁵. Их резолюции и телеграммы были проникнуты одной мыслью: только Учредительному собранию было по силам решить те глубинные противоречия, которые привели Россию к «смуте». Поэтому сам факт его созыва положит конец дестабилизации политической обстановки в стране. Выступая с политическими требованиями и выходя тем самым за рамки своих полномочий,

1. ГА РФ. Ф. 588. Оп. 1. Д. 1277. Л. 2.

2. См.: Таганцев Н.С. Пережитое. Учреждение Государственной думы в 1905—1906 гг. Вып. 2. С. 99.

3. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.

4. Там же. Л. 25.

5. Там же. Д. 17. Л. 21.

они стремились вписать свои отдельные голоса в общую дискуссию, тем самым воплощая, хотя и не вполне осознанно, один из принципов республиканизма.

Источником политического зла в республиканской теории провозглашается «человеческий фактор» — «произвол», порождающий зависимость одного человека от другого. Исключение «человеческого фактора» из политики — важнейшая задача республиканцев. Достичь ее можно, лишь строго следуя принципам юридического позитивизма и верховенства права. В этом случае в государстве будет установлена подлинная республика, где властвует закон, а не люди.

Вера в спасительную силу закона была крайне характерна для российской политической мысли в 1905 г. Но эффективность законодательного акта определялась не только степенью его справедливости и популярности в обществе — для начала его положения должны были быть попросту понятны народу. В случае с Манифестом 17 октября этого не наблюдалось. Даже некоторые губернаторы полагали, что напечатанный в газетах Манифест являлся не подлинным документом, а провокацией революционеров¹. На необходимости выступить с официальным разъяснением его ключевых положений настаивали и правые², и кадеты³, и простые обыватели⁴.

«Единственное спасение — твердо держаться основ последнего манифеста. Везде начинается успокоение», — гласила телеграмма некоего жителя Казани В. Карякина, направленная им 30 октября 1905 г. С.Ю. Витте⁵. Поначалу в успокоительный эффект Манифеста верила и власть. 16 ноября 1905 г. председатель Совета министров, докладывая императору о приеме депутации Тульского земства, подчеркивал, что «манифест 17 октября может вызвать

1. См.: *Любимов Д.Н.* Русское смутное время. 1902–1906. По воспоминаниям, личным заметкам и документам / Авт. вступ. ст. и коммент. К.А. Соловьев. М., 2018. С. 288–289.
2. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 15. Л. 45.
3. Там же. Д. 57. Л. 116.
4. Там же. Л. 190–191.
5. Там же. Д. 58. Л. 278.

к жизни здоровое консервативное направление в русском земстве, между тем как до сих пор молчание и бездеятельность умеренных элементов общества как бы поощряли агитацию людей крайних мнений и партий»¹.

Но события развивались стремительно. В ноябре 1905 г. аграрные волнения охватили многие губернии Российской империи. Представители местных элит связывали прекращение беспорядков не с реализацией силового сценария, в сторону которого начали склоняться в Петербурге, а со скорейшим претворением в жизнь недавно изданных законов. Тамбовский губернский предводитель дворянства князь Н.Н. Чолокаев 23 ноября направил С.Ю. Витте телеграмму, в которой от имени возглавляемого им собрания настаивал на «скорейшем созыве Государственной думы на точных основаниях манифеста 17 октября»². На «несоответствие существующих законов духу манифеста 17 октября и медленность осуществления обещанных реформ» председателю Совета министров указывал на следующий день владимирский городской голова Н.Н. Сомов³. А еще через день казанский городской голова А.П. Попрядухин настойчиво просил С.Ю. Витте о скорейшей разработке и опубликовании закона о выборах в Думу⁴. «Неуклонное поддержание и развитие начал», изложенных в Манифесте 17 октября, виделись псковскому губернскому предводителю дворянства В.В. Философову «единственным выходом из настоящего смутного положения»⁵. А председатель Самарского уездного земского собрания граф А.Н. Толстой настаивал на отмене законов, «стоящих в противоречии со свободами, объявленными манифестом 17 октября 1905 года», причем такая отмена должна была быть проведена «непреренно высочайшим манифестом»⁶. Некоторые представители общественности и вовсе называли противостоявших

1. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 об.

2. Там же. Д. 3. Л. 8.

3. Там же. Л. 9.

4. Там же. Л. 1.

5. Там же. Л. 11.

6. Там же. Л. 18.

подписанию Николаем II Манифеста 17 октября сановников главными виновниками обострения революционного кризиса¹. В разгар последнего вера в силу закона была в российском обществе настолько сильна, что псковский земский деятель и журналист А.Н. Брянчанинов всерьез полагал, что после опубликования Положения о выборах в Государственную думу одна лишь угроза отстранить от участия в них население охваченных волнениями областей способствовала бы скорейшему наведению порядка². Подобно многим представителям российской общественности, А.Н. Брянчанинов считал, что именно дарование России Основного закона являлось главным условием недопущения революции в будущем³.

Одним из ключевых положений республиканизма является принцип *доверия к государству*. Основой этого доверия служит убеждение общества в том, что политические институты являются лишь инструментами для реализации гражданами собственных целей. Показательно, что в 1905 г. отдельные общественные группы, руководствуясь этим принципом, отстаивали не только свои интересы. 6 марта 1905 г. лохвицкий уездный предводитель дворянства А. Русинов предлагал предоставить крестьянам возможность, наравне с земскими собраниями, городскими думами и общественными организациями, направлять свои проекты и пожелания на рассмотрение Совета министров. Для этого А. Русинов призывал создать в уездах империи особые совещания под председательством предводителей дворянства. Состав совещаний должен был формироваться из всех сельских сословий, каждому из которых была бы предоставлена свобода выражения мнений и суждений⁴. Скорейшего решения аграрного вопроса уже в 1905 г. ожидали от еще не избранной Государственной думы не только крестьяне, но и помещики. И если крестьяне и землевладельцы Рославского уезда Смоленской

1. Там же. Д. 58. Л. 138–138 об.

2. Там же. Д. 12. Л. 151–151 об.

3. Там же.

4. Там же. Д. 7. Л. 23.

губернии 4 декабря 1905 г. надеялись, что народные избранники «в первую очередь» рассмотрят на заседаниях Думы «вопросы о предоставлении малоземельным и безземельным крестьянам земли и пересмотре налоговой системы»¹, то елецкому предводителю дворянства В.Г. Ветчинину, который выступил с подобным обращением 5 декабря², даже не пришлось прибегать для его составления к помощи крестьян.

Республиканская теория предполагает не просто дарование гражданам формальных прав и свобод, но наполнение их конкретным содержанием, предоставление возможности отстаивать свои права и свободы. Наличие эффективного и законодательно урегулированного ответа на любую несправедливость делает отношения в обществе более уважительными и предсказуемыми, а значит, препятствует насилию.

Дарование подданным Российской империи гражданских свобод в 1905 г. было лишь декларировано. Но и до объявления Манифеста 17 октября российская общественность активно требовала предоставления ей гражданских прав. Причем уже весной и в начале лета 1905 г. речь шла о необходимости правительству приступить к конкретным и решительным шагам, в первую очередь направленным на отмену мер репрессивного характера. Требуя гражданских свобод, российская общественность вместе с тем призывала власти провести политическую амнистию, восстановить в правах всех пострадавших за политические убеждения и отменить исключительные законоположения. Так, не имея веских оснований рассчитывать на защиту еще не дарованных прав и свобод, представители Велужского уездного земского собрания, Могилевского общества сельского хозяйства, Самарского биржевого комитета, Общества изучения Амурского края и многих других организаций настаивали хотя бы на том, чтобы их права систематически не ущемлялись государством³.

1. РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 3. Л. 10.

2. Там же. Л. 14–15.

3. Там же. Д. 16. Л. 2–10; Д. 17. Л. 4–4 об., 9 об.; Д. 26. Л. 368 а.

Еще одной характерной чертой республиканизма является стремление к *устранению единства политического суверенитета*. Вытекающий из него принцип федерализма не пользовался в российском обществе в 1905 г. особой популярностью. Если в возможность органичной трансформации самодержавия в конституционную монархию верили многие, то сценарий федерализации империи вполне обоснованно представлялся в начале XX в. абсолютно несбыточным. Тем не менее отдельные голоса в пользу расширения прав местных властей на фоне обострения в 1905 г. революционного кризиса все же звучали. 15 ноября 1905 г. дворянин М.И. Львович-Кострица направил С.Ю. Витте записку, в которой предлагал создать в каждой губернии законодательные «сеймы», по три представителя от которых вошли бы в состав Государственной думы. «Если дать каждому такому сейму автономию, т.е. предоставить право местного законодательства, то смело можно сказать, что Россия никогда не распадется, и ни о каких других автономиях по национальностям и речи быть не может», — утверждал автор записки¹. Похожая логика усматривается в адресованном премьеру 10 декабря 1905 г. письме издателя столичной газеты «Свет» В.В. Комарова. Он предлагал провести масштабную реформу административно-территориального деления Российской империи по образцу одной из ее частей — Великого княжества Финляндского. «В каждой губернии свой сенат и сенаторы, свой сейм, свое чиновничество, свои местные особенности. Центральная императорская власть, войска, почты, финансы, общее законодательство скрестят местные организмы в один общегосударственный. При такой свободе областей исчезнут сами собой все сепаратизмы»².

Анализ записок, направленных как в Совет министров, так и на имя ставшего в октябре его председателем С.Ю. Витте, показывает, что многие идеалы, которые разделялись в 1905 г. политически активной частью российского общества, были близки современной республиканской

1. Там же. Д. 57. Л. 244–244 об.

2. Там же. Д. 167. Л. 36.

теории. Правительство и общественность стремились к одной цели — скорейшему преодолению революционного кризиса и искали в этом вопросе точки соприкосновения. Ни власть, ни земские деятели, ни далекая от революционного движения часть интеллигенции не желали установления в России республики. Но без осуществления политической модернизации, руководствуясь среди прочего ключевыми принципами республиканизма — политической свободой, доверием общества к государству, верховенством права, — они не видели для России будущего. В условиях Первой русской революции провозглашенные идеалы вынужденно адаптировались к стремительно меняющейся политической действительности. Некоторые из них при этом значительно искажались. И все же после 1905 г. власть уже не могла не слышать голоса общества и неизбежно вступала с ним в диалог.

Грандиозная по своему масштабу трансформация системы государственного управления Российской империи стала возможна благодаря консолидации российской общественности и ее активному участию в дискуссиях о будущем страны. Общественные деятели не просто предлагали различные варианты модификации политической системы. Они рассуждали в принципиально иных категориях, нежели чиновники. Понятиям службы, суверенитета, бюрократического, административного управления они противопоставляли новые принципы: *диалога, солидарности, общественного контроля*. Лишь в единичных случаях проекты и предложения общественности находили прямое воплощение в законодательном поле. Однако ее голос все-таки был услышан. Под влиянием настроений общества правительственная политика трансформировалась, видоизменялась, становилась более гибкой. Общественное мнение подталкивало власть к реформам, предлагая новую повестку дня, которую в Петербурге уже не могли игнорировать.

А. Н. Медушевский

Глава X

Советский и постсоветский республиканизм

Республиканизм (от лат. *Res publica*) — общее понятие, имеющее очень широкий спектр определений, различающихся в зависимости от того, какие критерии положены в основу его интерпретации — юридические (приоритет республиканской формы правления перед монархической), идеологические (система ценностей и концепций устройства гражданского общества), исторические (модели воплощения данного идеала в древности, Новое и Новейшее время), функциональные (прагматические задачи, решаемые обществом на основе принятия конкретной формы республиканского политического устройства).

В обосновании идеального республиканского строя Нового времени (начиная с Французской и Американской революций) основные разделительные линии определяются идеологической (и конституционно-правовой) трактовкой таких понятий, как демократия (либеральный и социалистический проекты), нация (гражданская, этническая и культурно-историческая формы национальной идентичности), народный суверенитет (непосредственная или представительная формы правления в разных вариантах), государственное устройство (соотношение конфедеративных, федеративных и унитарных начал), правовое государство (защита прав личности, отдельных групп или общества в целом), перспективный общественный идеал (консервативное воспроизводство традиционных ценностей или создание новых). Русская большевистская революция предложила оригинальную концепцию республиканизма, давшую

собственные ответы на эти вопросы, — модель Республики Советов, отличную как от классической западной, так и от различных незападных моделей и ставшую, при всей ее нетипичности, ориентиром едва ли не для половины человечества на большей части XX в.

Основные современные теории и модели республиканского устройства сформировались в странах Запада Нового и Новейшего времени, где они получили обоснование в эпоху Просвещения и последующей интенсивной политической практики, но в ходе процессов модернизации и глобализации охватили другие регионы мира, где вынуждены были считаться с существованием иной (более традиционной) системы общественных отношений, историческими традициями общества и власти, институтами власти и собственности. В этом отношении Россия сыграла ключевую роль, поскольку начиная с реформ Петра Великого одной из первых встала на путь европеизации и модернизации, стремясь модифицировать традиционные институты по различным западным образцам. Процесс заимствования, усвоения и критического переосмысления западных республиканских идей стал поэтому неотъемлемой частью программатики русского либерализма и вообще оппозиционных самодержавию политических сил и движений — от умеренных до леворадикальных. Стремительное и во многом неожиданное для современников крушение самодержавия в ходе Февральской революции 1917 г. перенесло вопрос о реализации республиканского идеала в практическую плоскость, вызвав интенсивные дебаты о формах и типе возможного российского республиканского устройства. Эти дебаты, открытые в ходе подготовки Временным правительством Учредительного собрания, фактически так и не завершились до настоящего времени.

Советский республиканизм, несомненно, представляет оригинальную историческую модель республиканизма, поскольку совмещает воедино идеологию коммунистического социального преобразования общества, систему нетипичных республиканских институтов (которыми декларативно признавались советы), а также набор практик социальной

мобилизации, унификации, контроля и подавления, направленных на решение задач модернизации традиционного аграрного общества в рамках однопартийной диктатуры. Если в основу построения республиканского строя в феврале 1917 г. были положены европейские принципы социального либерализма и правового государства, то его советская модель, принятая после Октябрьского переворота 1917 г., опиралась на приоритет идеологии над правом — четыре коммунистические партийные программы (1903, 1919, 1961 и ее новая редакция 1986 гг.), целиком определявшие содержание и интерпретацию смысла советских конституций (1918, 1924, 1936, 1977 гг.), делавшие их роль в обществе номинальной и инструментальной, а на практике оказывающие очень незначительное влияние на реализацию республиканских принципов. Наконец, с крушением коммунизма в основу республиканского строя, закрепленного Конституцией РФ 1993 г., были положены международные акты по правам человека и опыт классических моделей либерального конституционализма, применение которого, однако, вынуждено было считаться с не преодоленной до конца советской легитимностью и эволюционировать с учетом специфики переходного периода.

Схематично ход и результаты развития российского республиканизма XX в. укладываются в схему смены трех республик. *Первая республика*, существовавшая лишь девять месяцев (с февраля по октябрь 1917 г.), выдвинула формулу республиканского устройства (в виде парламентской или смешанной президентско-парламентской республики), близкую идеалам социал-либерализма ряда стран Европы того же периода (основными ориентирами разработчиков проектов Учредительного собрания стали Третья республика во Франции и проекты будущей Веймарской республики в Германии). *Вторая республика*, определившая себя как Республику Советов (1917–1991), положила в основу своего конструирования коммунистический или радикально-социалистический проект, длительное время обсуждавшийся в левом европейском социал-демократическом движении: провозгласила торжество новой

формы советской демократии, но закончила установлением одного из самых жестких деспотических режимов в истории и прекратила свое существование в условиях хаоса, вызванного распадом СССР. *Третья республика* (начало которой положено Декларацией о государственном суверенитете России 1990 г. и принятием Конституции 1993 г.) полностью отвергла советский эксперимент, восстановив тем самым преемственность с традициями первой республики — выдвинула либеральную идеологическую основу республиканского строя, опираясь в его конструировании на идеи международного права и принципы неолиберализма, закрепив дуалистическую форму правления (образцом которой выступила Пятая Французская республика), но со сверхпредставленными прерогативами главы государства. Данная модель республиканского устройства, однако, не создала прочную основу постсоветского социального консенсуса и продолжает оспариваться как левыми, так и правыми оппонентами политического режима, выступающими за ее пересмотр с позиций социального республиканизма, парламентаризма или более либеральной трактовки баланса сдержек и противовесов исполнительной власти. В перспективе это не исключает движения к созданию *четвертой республики*.

Смена трех моделей республиканского устройства происходила не эволюционным, но революционным путем, исключая идеологическую или юридическую преемственность соответствующих режимов и их легитимирующей формулы. Однако общей основой этих поисков адекватной российской республиканской модели является попытка согласовать три ключевых принципа — верховенства права (что было лейтмотивом Первой республики), социального федеративного государства (что объявлялось главной целью Второй республики) и либеральной демократии (что определило легитимность перехода к Третьей республике).

С этих позиций в разделах данной части книги рассмотрен феномен советского и постсоветского республиканизма — формирование его теоретических основ и первых попыток реализации в форме Республики Советов;

разработанный в его рамках интеграционный проект СССР; трансформация параметров данного проекта в условиях сталинской диктатуры, причины его эрозии и крушения на завершающей стадии; формирование основ современной Российской республики и постсоветской политической системы.

Республика Советов: концепция и воплощение (1917–1922)

Провозгласив утопический идеал Государства-Коммуны как альтернативу традиционному типу государственности, большевистская революция видела его воплощение во всемирной «Трудовой республике», а последняя свелась к «Республике Советов». Отсутствие у большевиков полноценной концепции конституционного переустройства определило формирование новой системы управления в режиме импровизации. Форма республиканской государственности переходного периода к коммунизму не стала результатом теоретического или юридического анализа, но была прагматически найдена в самопровозглашенных советах, которые просто подвернулись под руку как удобный инструмент массовой манипуляции и мобилизации. Общая логика эволюции российского республиканизма советского периода определяется поиском согласования данного учредительного мифа и институтов реальной социальной мобилизации, способных поддерживать контроль, подавление оппозиции и обеспечить модернизацию традиционного аграрного общества¹.

Поиск теоретических основ республиканского строя

Теоретические основы конструирования советского государства и их эволюция, как явствует из дискуссии к 100-летию революции, до настоящего времени остаются предметом

1. Медушевский А.Н. Политическая история русской революции: нормы, институты, формы социальной мобилизации в XX веке. М.; СПб., 2017.

споров и извлечения очень разных «уроков»¹. Это диктует необходимость обращения к истокам большевистских взглядов на республиканский строй и советскую государственность. Осуществив Октябрьский государственный переворот и распустив Учредительное собрание во имя коммунизма и особой «пролетарской» демократии, большевики столкнулись с отсутствием сколько-нибудь разработанной программы построения нового общества и государства, правовой легитимации собственных претензий на власть.

Общими принципами, которые могли быть положены в основу конструирования нового общества, стали чрезвычайно неопределенные положения К. Маркса о Коммуне как «предвестнике нового общества» и «новой политической форме»², политико-правовым выражением которых признавались Манифест Коммунистической партии 1848 г., программа Первого Интернационала, не вступившая в действие якобинская конституция 1793 г. и особенно потерпевшая крушение модель Парижской коммуны 1871 г.³ Коммуна рассматривалась в либеральной историографии как анархический срыв общества в экстремальных условиях войны, не имеющий никакого отношения к Интернационалу или «диктатуре пролетариата», ее опыт в этом контексте — явная неудача, а действия ее вождей — хаотические, противоречивые и просто нелепые⁴. Однако рассеять марксистские легенды в отношении Коммуны оказалось очень трудно.

Миф Государства-Коммуны был положен в основу разработки первой советской Конституции РСФСР 1918 г., принятой в качестве альтернативы распущенному Учредительному

1. Уроки Октября и практики советской системы 1920–1950-е годы. М., 2018; 1917 год: Государство. Власть. Территория. М., 2017; Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь? СПб., 2017.
2. Маркс К. Гражданская война во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 17. М., 1960. С. 317–370.
3. Парижская коммуна: акты и документы; эпизоды кровавой недели. Пг., 1920; Протоколы заседаний Парижской коммуны 1871 года. Т. 1–2. М., 1959–1960; Первый интернационал и Парижская коммуна: документы и материалы. М., 1972.
4. Кареев Н.И. Чем была Парижская Коммуна 1871 г.? Пг., 1917. С. 16.

собранию¹. Все проекты Конституции отталкивались от этого мифа или, во всяком случае, подразумевали его². Предстояло выяснить, как утопическая идея коммунизма и всеобщего равенства может быть переведена на язык позитивного права; каков должен быть переходный тип институтов — могут ли советы (как специфические спонтанно возникшие органы народовластия) стать органами государственной власти, как должны с этих позиций решаться вопросы государственного устройства и управления и каковы вообще должны быть правовые основы нового политического образования. Выяснить связь мифа и конституционного конструирования — значит понять логику формирования, основы легитимности и структурные параметры советского режима, определявшие его развитие до крушения в 1991 г.³

Логика конструирования советской республиканской государственности отражена в ходе разработки Конституции РСФСР 1918 г., выявившей ключевые противоречия принятой модели республиканизма и факторы, способствовавшие ее принятию. Однако при ее обосновании были представлены три принципиально различные концепции — территориально-производственная, корпоративистская и национально-территориальная.

Первая, территориально-производственная концепция Республики представлена идеей Государства-Коммуны как выражения воли профсоюзных объединений. «Трудовая республика в понимании эсеров-максималистов есть политически

1. Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании 10 июля 1918 г.) // Известия ВЦИК Советов. 1918. № 151 (19 июля). СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. См. также: Первая Советская Конституция (Конституция РСФСР 1918 г.) / Под ред. А.Я. Вышинского. М., 1936.
2. Основные проекты опубликованы в кн.: *Гурвич Г.С.* История советской конституции. М., 1923.
3. *Медушевский А.Н.* Миф русской революции: структура, эволюция, вклад в социальную трансформацию XX–XXI века // Россия 1917–2017: Европейская модернизация или особый путь? СПб., 2017. С. 156–176; *Он же.* Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с позиций когнитивной истории // *Общественные науки и современность.* 2013. № 5. С. 114–126.

федеративное государство с широкой автономией отдельных областей и народов, ее составляющих»¹. Согласно проекту приват-доцента Н. Ренгартена, федеративное государство — это союз пяти профессиональных федераций: земледельцев, промышленных рабочих, служащих торговых предприятий; служащих у государства (чиновники); служащих у частных лиц (прислуга)². «Во внутреннем своем устройстве федерации вполне самостоятельны и наделены возможно широкими полномочиями», вырабатывают свои собственные конституции «в пределах, установленных общей союзной властью». Вместо традиционного типа республиканского государства, построенного на принципе народного суверенитета, конструируется «сложное государство» — союз профессиональных организаций. Общая союзная власть, носящая надпрофессиональный характер, состоит из центральных и местных органов. Центральными организациями являются Верховный Союзный Конгресс, Союзный Совет, Союзный Трибунал и Союзный Суд (последние два органа, в зависимости от организации суда, могут быть объединены)³. Данный подход не исключал использования опыта других государств (США, Австралийский союз, Австрия и Венгрия) при конструировании органов центральной власти⁴, но предполагал синдикалистский порядок их формирования. Территориально-производственный принцип, однако, был отвергнут разработчиками на том основании, что в стране «еще не закрепилось твердое преобладание крупных областных центров», нет четких критериев их выделения, а каждый из них может

1. Проект основ Конституции трудовой республики, выработанный Исполнительным бюро союза социалистов-революционеров-максималистов // ГА РФ. Ф. 130 (СНК). Оп. 2. Д. 85. Л. 2 (далее сноски на архивные документы даются по фондам ГА РФ).

2. Проект, составленный приват-доцентом Н. Ренгартеном // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 10–16. См. также: Статьи проекта конституции (Составлены приват-доцентом Ренгартеном) // Ф. 1235. Оп. 94. Д. 19. Л. 241–247.

3. Проект, составленный приват-доцентом Н. Ренгартеном // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 13–15.

4. Записка «Функции центрального правительства в Федеративных государствах» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 68–74 об.

сам рассматриваться как своеобразная федерация меньших коммунальных образований¹.

Вторая, корпоративистская (или «коммунальная») трактовка Республики, представленная М. Рейснером, видела основу суверенитета в объединении союзов различного типа коммун². Рейснер выдвинул свою собственную концепцию федерализма, которая определена как коммунистическая. Отвергнув традиционные формы федерализма по национальному и территориальному принципам, он выдвинул идею организации Республики на основании союзов «составленных на местах федеративных общин» с региональными и центральными съездами советов — от съезда коммунальных Советов в провинции к областям и съезду советов РСФСР. Завершением становилось создание «великой федерации будущего: от федерации коммун к федерации вселенной». Опираясь на теоретиков корпоративизма Л. Дюги и Г. Еллинека, Рейснер считал, что основным принципом конструирования институтов должно быть «не представительство лиц, а представительство интересов» — социально-классовых (рабочие, крестьяне, батраки), профессиональных (фабзавкомы, профсоюзы, союзы служащих), экономических (кооперативы, земельные комитеты) и политических (партии коммунистической и левоэсеровской направленности). В рамках данной конструкции институтов власти, считал он, возможна нейтрализация и примирение отдельных эгоистических интересов, открывающая «путь к необходимой гармонии, на почве подчинения интересам целого, воплощенного в Совете»³.

Представления о сущности республиканской власти в рамках этой конструкции выглядят следующим образом: РСФСР есть «свободное, социалистическое сообщество всех

1. Ф. 130. Оп. 2. Д. 66. Л. 25.
2. Доклад члена Комиссии М.А. Рейснера об основных началах Конституции РСФСР // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 12. Л. 97а — 113.
3. Доклад члена Комиссии М.А. Рейснера «Об основных началах Конституции Р.Ф.С.С. Республики» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 86. Л. 20–35; Ф. 130. Оп. 2. Д. 66.

трудящихся», объединенных «в классовые, трудовые, профессиональные, хозяйственные и политические союзы», которые «составляют на местах федеративные общины для ведения социалистического хозяйства, для организации государственной жизни и культурной деятельности» и «именуются коммунами». Во главе каждой из них стоит Совет рабочих, крестьянских, казачьих, батрацких и вообще трудовых депутатов, формируемый из выборных представителей соответствующих «хозяйственно-общинных союзов и соединений». В случае победы мировой революции и образования Федеративного Союза соединенных социалистических федеративных республик Российская республика входит в него на тех же основаниях «в целях всеобщего торжества социализма, преуспевания, мира и братства народов». В целом построение политической системы должно вестись не сверху, а снизу — путем концентрации полномочий в региональных структурах власти и институтах с последующим их делегированием в центр¹. Основанием для таких построений приводилось устройство наиболее развитой Кронштадтской коммуны², Советов Западной области³, Тверского совета, Можайского, Гжатского и Курского советов, уставы уездных советов (например, Касимовского)⁴. Но ими вполне могли стать и более крупные политические образования, возникшие в процессе децентрализации власти, о чем свидетельствует, например, «Проект организации федеративной советской власти в Сибири»⁵. Данные проекты, стремившиеся перевести на правовой язык идею Государства-Коммуны, страдали идеализмом, тенденцией к децентрализации и плохо соотносились со стремлением большевиков легитимировать собственную власть.

1. Ф. 6980. Оп. 1. Д. 5. Л. 12.

2. Постановления и резолюции Кронштадтского совета рабочих и солдатских депутатов // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 27–32.

3. Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 37.

4. Устав для членов Исполнительного комитета касимовского уездного Совета Советов // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 54–58.

5. Проект организации федеративной Советской власти в Сибири // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 13. Л. 20–21.

Третий, национально-территориальный принцип построения Республики формально был выдвинут И. Сталиным в противоположность коммунитарной концепции Рейснера, которую он определял как анархо-синдикалистскую. Сталин, по его признанию, вовсе «не принадлежал к тем людям, которые при упоминании слова „анархизм“ презрительно отворачиваются», но видел его коренной недостаток в противопоставлении личности массе и отрицании классовой диктатуры¹. В представленных Сталиным тезисах «О типе Федерации Российской советской республики» она определялась как переходный политический режим в форме «диктатуры пролетариата и деревенской бедноты», а государственное устройство — как федерация автономий. «Исходными пунктами Конституции, — считал Сталин, — должны быть: с одной стороны, решение III съезда Советов о Российской Советской Республике „как федерации Советских республик“, „народов России“, и с другой стороны — наличность „областей, отличающихся особым бытом и национальным составом“, т. е. областей, населенных отдельными народами, требующими широкой автономии на основе федерации». Интересы этих национальных субъектов федерации должны быть представлены автономными органами ВСНХ² или «соответствующими органами СНК»³.

В рамках этой концепции Федеративная Социалистическая республика есть «свободный союз», вся власть в котором осуществляется «трудовым населением через Центральные и Местные Советы и Съезды Советов рабочих, солдатских, крестьянских, батрацких и иных трудовых депутатов». Включение конфедеративного принципа (права на выход из союза) было связано с мессианскими тенденциями большевизма, декларировавшего всем народам право вступления в федерацию «на началах полного равенства

1. *Сталин И.В.* Анархизм или социализм? М., 1949. С. 4.
2. О типе федерации Российской советской республики (Сталин) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 79.
3. О типе федерации Российской Советской власти. Тезисы Сталина // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 2. Л. 81.

и свободы по решению соответственных Рабочих и Крестьянских Советов или им подобных классовых установлений трудящегося населения», а «при образовании Федеративной Социалистической Республики народов Европы или всего мира, Российская Республика входит в состав мирового или европейского союза» на тех же классовых основаниях¹.

Концепциям децентрализованной профсоюзной или коммунальной Республики большевиками была противопоставлена централистская модель власти в ней. Она получила четкое выражение в проекте Сталина «Общие положения Конституции Рос. Соц. Сов. Федерат. Республики», сохранившемся в разных редакциях². В основу трактовки суверенитета положен уже не национальный, а классовый принцип — формирование институтов советской власти подчинено задачам переходного периода диктатуры³. В расширенном виде эта концепция представлена в другой редакции документа — «Общие положения Конституции Российской Советской Федеративной Республики (Проект Сталина)». Российская Республика определяется как «свободное социалистическое общество всех трудящихся России, объединенных в городские и сельские совдепы рабочих и крестьян». Для управления национальными областями они объединяются в автономные областные республики, во главе которых стоят областные съезды совдепов и их исполнительные органы. Все областные советские республики объединяются на началах федерации в Российскую Социалистическую Республику, во главе которой стоят Всероссийский Съезд Совдепов, ВЦИК и их исполнительный орган, СНК. Подобная организация «мощной всероссийской политической власти» вполне соответствовала задачам формирующейся диктатуры и предполагала

1. О федеральных учреждениях Российской Республики // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 77.
2. См. две редакции проекта Сталина: «Общие положения Конституции Р.Сов.Фед. Республики» и «Общие положения Конституции Рос. Соц. Фед. Сов. респ.» // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 12. Л. 80–82.
3. «Общие положения Конституции Рос. Соц. Сов. Федерат. Республики» (Проект Сталина) // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.

направленное конструирование переходного «аппарата власти» сверху вниз¹.

Централистская модель построения Республики была представлена в «Схеме Конституции», разработанной Ю.М. Стекловым и положенной в основу работы Комиссии. Представленный им «План Советской Конституции» четко соответствовал концепции Коммуны как «Республики Советов» и подразумевал ее централистско-иерархическую интерпретацию. Вводная часть включала декларацию прав трудящихся: «социализм как цель; самодеятельность трудовых масс как средство; интернационализм; права и обязанности трудящихся перед социалистическим отечеством и перед Интернационалом». Структурную основу Республики составляет принцип «федерации наций» и подразделение власти на федеративную и центральную. В рамках этой системы была выстроена иерархия советов (волостные, городские, уездные, губернские, областные, федеративные), компетенции их органов во главе с Всероссийским Съездом Советов, ВЦИК и СНК, причем предполагалось конституционно разрешить вопросы соотношения федеративных и региональных советских структур, их формирования, бюджетного права и распределения ответственности².

Неопределенность конструкции Республики выражалась в отсутствии единого названия будущего государства: оно определялось с позиций коммунистического конфедерализма как «Трудовая республика» и «Федеративная социалистическая республика», с позиций классового унитаризма как «Российская социалистическая республика» или «Российская социалистическая советская республика» или с позиций национально-территориального автономизма как «Российская социалистическая федеративная советская республика» и т.д., что

1. «Общие положения Конституции Российской Советской Федеративной Республики (Проект Сталина)» // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 12.
2. «План Советской Конституции» Стеклова // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 1. Л. 7 об.; Д. 12. Л. 147; см. также: План Советской Конституции (Стеклова) // Ф. 1235. Оп. 94. Л. 19, 226–227.

отражало нестабильность представлений о месте федеративного принципа в государственном устройстве создаваемой РСФСР.

Республика Советов: альтернативные трактовки

Попытка осуществления руссоистской идеи «Государства-Коммуны» в форме «Республики Советов» в ходе большевистской революции определила отношение революционной власти к советам как полноценной альтернативе парламентаризму. Однако возобладавшая первоначально анархистская идея «слома старой государственной машины», обоснованная Лениным в период захвата власти, ведущая к принятию спонтанных механизмов саморегуляции, не содержала элементов позитивного государственного устройства. Принятие концепции «Республики Советов» как основы нового конституционного строя оказалось, в сущности, вынужденной мерой, связанной с вакуумом объясняющих идей и отсутствием у большевиков полноценной теории нового государства. Разработчики Конституции РСФСР не представляли, что такое «советская демократия», и искали ее определения путем противоречивого комбинирования элементов рабочей демократии, квазипредставительных институтов и выстраивания централизованного аппарата исполнительной власти¹.

Советский принцип получил в Конституционной комиссии 1918 г. три различные схематические трактовки административного устройства: 1) советы как выражение структуры и взаимодействия общественно-профессиональных организаций и политических партий² или профсоюзов

1. *Медушевский А.Н.* Миф Коммуны и становление Советского государства // *Общественные науки и современность.* 2015. № 4. С. 121–140; *Он же.* Происхождение коммунистического режима: от «советской демократии» к однопартийной диктатуре // *Сравнительное конституционное обозрение.* 2015. № 6 (109). С. 125–139; 2016. № 1 (110). С. 92–105.
2. Проект основ Конституции трудовой республики, выработанный Исполнительным бюро союза социалистов-революционеров-максималистов // *Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 2–9.*

(в «Статьях проекта Конституции» Ренгартена)¹; 2) система государственных институтов представительной демократии трудящихся, имеющая определенное сходство с дореволюционными земскими учреждениями (проект члена коллегии Наркомюста А. Шрейдера и его подкомиссии — «Учреждения Советов»²) и 3) предельно иерархизированная пирамида органов, делегирующих свои полномочия снизу вверх, главной функцией которых становится проведение решений центральных политических институтов власти на местах («Схема Конституции» Щепанского³ и проект Лациса — Бердникова «О российских советах»⁴). Компромиссная позиция отражена в альтернативном проекте Конституции РСФСР, разработанном в коллегии Наркомюста под редакцией М.А. Рейснера и А.Г. Гойхбарга, авторы которого стремились совместить единую централизованную систему советских институтов с установлением жестких конституционных рамок их деятельности и расширением прерогатив местных советов⁵. Отказ Комиссии от коммунитарного принципа построения советов не привел к принятию их трактовки как представительных учреждений (отвергнутой как «мелкобуржуазная») и фактически означал установку на выстраивание советской власти, облегчающей манипулирование ею из центра. Федеративный компонент системы, при его формальном признании, оказался последовательно

1. *Ренгартен Н.* Статьи проекта Конституции // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 10–16.
2. Проект, предложенный тов. Шрейдером. «Оглавление учреждения советов» // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 3. Л. 37–43.
3. Схема Конституции, составленной членом компартии тов. Щепанским (Прислано в Комиссию по выработке советской Конституции из отдела местного управления НКВД 25 мая 1918 г. Документ датирован 14. 05. 18) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 86. Л. 5–17.
4. Стенограмма заседания Комиссии от 19 июня 1918 г. с приложением проекта «О российских советах» (проект подкомиссии Лациса и Бердникова) // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–13.
5. Проект Конституции под ред. Рейснера и Гойхбарга опубликован: Известия, 1918 (1 июля). См.: Конституция РСФСР (Проект, разработанный коллегией Нар. Ком. Юстиции с участием редакторов М.А. Рейснера и А.Г. Гойхбарга) // Гурвич Г.С. История советской конституции. Приложение XXVII. С. 200–216.

элиминирован в структурной или финансовой автономии советов.

Общие принципы советской избирательной системы опирались на классовую теорию демократии, исключавшую либеральный идеал всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании (действовавший на выборах во Всероссийское Учредительное собрание)¹. Интерес представляет сам процесс выработки ограничительных принципов. Доминирующим трендом стало определение критериев регулирования института выборов по классовому принципу. Таким критерием (в проекте Рейснера) являлось неопределенное общее отнесение избирателей к «союзу всех трудящихся», а активным и пассивным избирательным правом наделялись «все добывающие средства к жизни производительным или общественно полезным трудом и состоящие членами профессиональных союзов»². В проекте Шрейдера понятие «трудящихся» было конкретизировано путем исключения ряда категорий, на которые налагаются ограничения: предпринимателей, торговцев, землевладельцев и домовладельцев, а также безумных, сумасшедших и глухонемых, лиц, приговоренных к лишению прав по суду за совершение корыстных преступлений и преступления против избирательного права³. Наконец, была представлена идея селекции самих «трудящихся» по линии лояльности к новой власти: избирательные права получали «все добывающие средства к жизни производительным или общественно полезным трудом и состоящие членами профессиональных союзов», которые, однако, подразделялись на курии (с различной нормой представительства для рабочего и крестьянского населения), причем местный орган советской власти наделялся правом в случае необходимости переводить избирателей из одной

1. Институт выборов в Советском государстве 1918–1937 гг. в документах, материалах и восприятии современников. М., 2010.
2. Ф. 130. Оп. 2. Д. 89. Л. 1–3.
3. Правила о производстве выборов в волостные, городские, уездные и губернские советы депутатов трудового народа (Шрейдер) // Ф. 130. Оп. 2. Д. 85. Л. 30–43.

курии в другую. Разработчики открыто признавали: «вводится куриальная система»¹.

В рамках этих идей шла последовательная селекция различных групп избирателей с расширением и дифференциацией допущенных к выборам и отстраненных от выборов категорий. Из числа допущенных категорий последовательно выпали ремесленники, торговцы, члены профсоюзов, а также интеллигенция — лица, входящие «в трудовые, профессиональные, классовые объединения и союзы», в частности «профессионалы науки, искусства, литературы и техники без различия отраслей и специализаций», а также «все, хотя и не трудящиеся, но получающие средства к жизни от органов Сов. Власти»². Все эти группы были объединены неопределенным понятием «служащие всех видов и категорий». Единственным исключением из этого правила стало наделение избирательными правами членов семей рабочих и крестьян — их жен и дочерей (т.е. фактически половины населения страны), которые ранее были исключены как лица, трудовая деятельность которых (занятие домашним хозяйством) не рассматривалась как «общественно полезная»³. Принципиальное значение имело исключение первоначально предполагавшегося принципа представительства во ВЦИК от общественно-политических организаций: «избирают следующие объединения, если они принимают Советскую конституцию: 1) политические, 2) профсоюзные, 3) кооперативные, причем число представителей должно соотноситься между собою как 3:3:1»⁴.

Вообще глава об избирательном праве, которую первоначально планировалось сделать первой, переместилась

1. Положения об организации Центральной власти и о местных Советах (предварительные проекты с поправками и дополнениями) (июнь 1918 г.) // Ф. 6980. Оп. 1. Д. 15. Л. 10.
2. Проекты Главы 1 Конституции РСФСР «Об избирательном праве» // Ф. 130. Оп. 2. Д. 89.
3. Варианты главы Конституции «Об избирательном праве» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 8–9.
4. См.: «Поправки к проекту положения о российских совдепах» // Ф. 130. Оп. 8. Д. 159. Л. 10.

в принятой Конституции РСФСР в четвертый ее раздел (Гл. 13. Ст. 64), а зафиксированные в ней принципы (о допущении к выборам лиц, «добывающих средства к жизни производительным и общественно полезным трудом») отличались не только крайней неопределенностью, но и возможностями тотального манипулирования выборами в интересах однопартийной диктатуры. Конституция РСФСР 1918 г. предусматривала поэтому преимущества рабочих по сравнению с крестьянами на выборах в Советы. Городские рабочие и служащие избирали на съезды одного представителя от 25 тыс. избирателей, а крестьяне — от 125 тыс. В этом усматривалась «руководящая роль рабочего класса в его союзе с крестьянством». Разработчикам Конституции необходимо было выбрать форму государства, согласовав три ее параметра — советский, профсоюзный и партийный. Решение было найдено в конституционном закреплении номинального советского принципа при решающей роли партийного контроля.

Институциональным выражением тенденций по укреплению социальной базы нового режима стала эволюция советской системы: к марту 1918 г. все основные Советы страны стали на платформу большевизма, превращаясь в номинальные органы государственной власти «диктатуры пролетариата»; к июлю 1918 г. сеть советских организаций покрыла всю страну; к середине 1918 г. по всей России насчитывалось 12 тыс. Советов¹. Вводилась громоздкая непрямая и многоступенчатая структура выборов в советы разных уровней (областных, губернских, городских, уездных и волостных), позволявшая многократно и целенаправленно просеивать их состав с точки зрения лояльности программным установкам партии². При общей пассивности масс и недееспособности советов как органов принятия решений последние превращались в идеальный инструмент направленного конструирования общества и проведения

1. *Гимпельсон Е.Г.* Советы в годы интервенции и гражданской войны. М., 1968. С. 37.

2. См.: Съезды Советов в документах, 1917–1936. М., 1959. Т. I. С. 74, 79, 82.

социальной мобилизации¹. Основными тенденциями советской системы становятся ее унификация (за счет вытеснения оппозиционных партий), централизация и растущая иерархизация (сопровожавшаяся последовательным изгнанием оппозиционных фракций)² — бюрократизация, институционально выражающаяся в укреплении позиций исполнительных комитетов, проводивших на съездах волю большевистской элиты³. В результате к началу 1920-х гг. советы полностью перестали соответствовать своему декларируемому назначению институтов государственной власти, став декоративным атрибутом и одним из «приводных ремней» диктатуры.

Осуществление идеи Республики как «советской демократии» теоретически могло происходить принципиально различным образом — путем конституционной фиксации спонтанно возникших в ходе революции социальных отношений либо их направленного конструирования в интересах правящей группы. Избрание второго способа имело следствием принятие жесткой унифицированной и иерархизированной модели советских институтов, исключавших их трансформацию с использованием демократических

1. Изменения социальной структуры советского общества. Октябрь 1917–1920. М., 1976. С. 88.
2. Материалы Всероссийских съездов Советов: Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Сб. док. М.; Л., 1930; Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Сб. док. М.; Л., 1928; Третий Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Стенографический отчет. Пг., 1918; Стенографический отчет Четвертого Чрезвычайного съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. М., 1920; Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов: Стеногр. отчет. М., 1918; Шестой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов: Стеногр. отчет. М., 1919; Седьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых казачьих депутатов: Стеногр. отчет. М., 1920; Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов: Стеногр. отчет. М., 1921; Съезды Советов в документах. 1917–1936. Т. I М., 1959; Декреты Советской власти. Т. I–VII. М., 1957–1974.
3. *Владимирский М. Ф.* Советы, исполкомы и съезды Советов (Материалы к изучению строения и деятельности органов местного управления). Вып. I. М., 1920, 1921.

механизмов избирательного права. «Республика советов» изначально предстает как корпоративистское авторитарное государство, становление и развитие институтов которого лишь в минимальной степени связаны с принятыми конституционными декларациями. А усиливающаяся динамика отклонения его развития от коммунистического идеала — главная причина растущей фрустрации и агрессивности революционной элиты.

Из трех основных моделей Советской Республики, представленных в учредительных дебатах 1918 г., — коммунистического самоуправления, представительной демократии и вертикали власти — не реализовалась в аутентичном виде ни одна. В основу была положена последняя (вертикали власти) как отвечающая задачам массовой мобилизации, унификации и централизации политической системы, а главное — установлению однопартийного господства. Формальное юридическое закрепление этой модели в Конституции РСФСР без упоминания неформальных институтов власти партии было предпринято по политическим и тактическим соображениям (в условиях борьбы с оппозиционными партиями), создавая иллюзию ее демократичности. Уже в начале формирования этой системы выяснилась полная непригодность советов как институтов народного представительства, государственного управления и местного самоуправления.

Дисфункция советов не была следствием исторического контекста (внешних трудностей революционного периода), но выражением имманентной логики их возникновения и развития в качестве спонтанно возникших традиционалистских институтов уравнительной демократии. Как все институты подобного типа, советы проделали эволюцию, описанную «железным законом олигархии» Р. Михельса. Преодоление паралича власти было достигнуто не коммунистическими паллиативами «рабочей демократии» или «демократического централизма», но радикальным изменением первоначально заявленных коммунистических правил игры — превращением советов в бутафорию, легитимировавшую однопартийный режим и его элиту.

Советская Республика могла сохраниться и существовать столь длительное время именно потому, что стала номинальным каркасом диктатуры, камуфлировавшим реальный механизм власти. Современные попытки реанимации «советской демократии» должны быть признаны скорее формой идеологического манипулирования, нежели научного политического анализа.

*Эксперимент Республики «рабочей демократии»
и причины его крушения*

Механизм установления коммунистического строя в форме Советской Республики схематично усматривался большевиками в осуществлении следующих мер антиэлитарной направленности: разрушение административного аппарата старого бюрократического государства и подавление правящих классов; проведение национализации средств производства; введение профсоюзной демократии, т.е. наделение профессиональных объединений рабочих функциями институтов государственной власти и управления; введение рабочего контроля над производством (рассматривавшееся первоначально не как форма управления промышленностью, но как инструмент перехода к «рабочему самоуправлению»); создание новой системы представительных институтов. Наиболее последовательными сторонниками этих идей построения Республики выступали анархо-синдикалисты, эсеры-максималисты, левые коммунисты, позднее представители «рабочей оппозиции», децисты — своего рода «бешеные» русской революции. Обращает на себя внимание эволюция взглядов Ленина и его ближайшего окружения: от полного принятия идеи Государства-Коммуны накануне и во время Октябрьского переворота к ее пересмотру (осень 1918 г.) и позднему последовательному отказу от нее как утопической (в 1920-е гг.) — в пользу реализованной советской модели однопартийной диктатуры.

Замыслив реализовать на практике идеал Коммуны, разработчики Конституции РСФСР 1918 г. столкнулись

с проблемой определения форм «рабочей демократии». Но она, как отмечалось ранее, по-разному интерпретировалась сторонниками коммунитаризма (создания государства на основе представительства от региональных коммун), анархо-синдикализма (анархистами и эсерами-максималистами, выдвигавшими принцип создания государства по профсоюзному принципу), рабочего самоуправления, позднее «рабочей оппозиции» (требовавшими передачи управления народным хозяйством «всероссийскому съезду производителей», объединенных в профсоюзы, которые должны избирать центральный орган, управляющий всем народным хозяйством страны), троцкистами (уже в 1918–1919 гг. выступавшими, как, например, А. Гольцман, за тотальное огосударствление профсоюзов и подчинение их задачам военно-хозяйственной мобилизации) и большевиками ленинского типа (видевшими в профсоюзах скорее инструмент направленной социальной манипуляции). Большевики (в отличие от меньшевиков и эсеров) никогда не разделяли тезиса о нейтральности профсоюзов, рассматривая их скорее как мобилизационный институт, обозначаемый известной фразой Маркса о «школе коммунизма».

Идеал Республики «рабочей демократии» есть порождение революционного мифа, фикция революционной эпохи. Данный феномен никогда не действовал в аутентичной форме, во всяком случае соответствующей ее теоретической (марксистской или анархо-синдикалистской) конструкции — т.е. как автономная (саморегулирующаяся) политическая система. В реальности абстрактная рабочая демократия свелась к определенным формам профсоюзной демократии: попытке наделить профессиональные союзы известными хозяйственно-административными полномочиями в условиях крушения государственности, экономики, возникновения вакуума власти и хаотичных попыток заполнить его спонтанными самопровозглашенными институтами самоуправления — в виде советов, профсоюзов и комитетов различной природы и функций. Все эти институты вступили в дарвинистическую борьбу за

существование — т.е. право контроля над собственностью, ресурсами, полномочиями¹.

Энергетика распада стабильного экономического уклада в условиях возврата к натуральным формам ведения хозяйства («военный коммунизм») выдвинула на первый план профсоюзы как органы, с одной стороны, опиравшиеся на традиционную демократическую легитимность, с другой — способные на короткий период осуществлять медиацию между рабочей массой и революционными политическими лидерами, оказавшимися у власти неожиданно для себя и, по существу, не имевшими четкого представления о том, что с этой властью делать. Однако выполнение этой функции оказалось несовершенным: во-первых, из-за конкуренции различных центров власти; во-вторых, из-за аморфности и раскола в самом профсоюзном движении (между старыми и новыми союзами, организациями, построенными по различным критериям и проч.); в-третьих, из-за генетической неспособности профсоюзов выполнять функции управления производством. В результате начинается процесс деградации профсоюзов как органов защиты прав рабочих и одновременно процесс их иерархизации и бюрократизации, связанный с наделением их мобилизационными и контрольно-репрессивными функциями, завершившийся позднее их слиянием с государством. Основными вехами на этом пути стали: использование профсоюзов для захвата предприятий, создание особых фабрично-заводских комитетов, выстраивание вертикали управления под руководством профбюрократии (слоя «инструкторов», «освобожденных профработников» и «профактива»), начавшей направленно формироваться непосредственно в ходе акций огосударствления экономики.

На деле имел место двусторонний процесс иерархизации (как снизу, так и сверху), но определялся он вполне естественной логикой трансформации организационных

1. Подробнее см.: *Медушевский А. Н.* Государство-Коммуна: эксперимент рабочей демократии в России 1918 г. и причины его крушения // *Мир России*. Т. 28 (2019). № 2. С. 63–83.

форм. Объективная тенденция к смене форм непосредственной демократии иерархией получила чрезвычайное ускорение в революционной России в силу ряда исторических факторов: а) общий международный контекст социального конструирования и преследуемых целей (ориентация на мировую коммунистическую революцию); б) исторический контекст соотношения целей и средств их достижения (ориентация на эффективность в противоположность справедливости в чрезвычайных условиях Гражданской войны); в) аморфность профсоюзного движения при всей его активности (с учетом особенностей отдельных союзов — Всероссийских центров, организаций Москвы и Петербурга, региональных центров); г) социально-психологический фактор и его влияние на политику союзов (патерналистски-авторитарная психология масс и лидеров).

Тенденция к олигархизации «рабочей демократии» в форме революционных профсоюзов — не деформация, а имманентная характеристика общей логики их развития как формальной организации. Эта логика менее четко выражена в дореволюционный период, когда профсоюзы впервые возникли на исторической арене (после Первой русской революции) или выступали мощным фактором разнонаправленного партийно-политического самоопределения рабочих (в период Февральской революции). Но она стала определяющей после Октябрьского переворота и огосударствления экономики уже в 1918 г. Большевики лишь осознали и возглавили этот тренд (коренящийся во многом в сохранении общинных стереотипов в традиционалистском сознании), ранее всех поняв огромный манипуляционный потенциал профдвижения. Они действительно использовали «революционное творчество масс», структурировав, оформив и канализировав спонтанные проявления профсоюзной демократии в интересах поддержания собственного господства. Эксперимент Республики «рабочей демократии» был изначально обречен на провал — сам ее эмбрион был нежизнеспособен и, вероятно, оказался мертворожденным.

Общие тенденции развития советской республиканской системы

В целом конфликт трех конституирующих принципов Советской Республики не получил содержательного правового разрешения. Логика государственного конструирования определялась когнитивным редукционизмом: во-первых, последовательным переходом от идеи коммунистической федерации к национально детерминированной (с сохранением конфедеративного принципа сецессии); во-вторых, переходом от декларируемого федеративного принципа к автономизации; в-третьих, сведением последней к ограниченному классовому представительству, выражением которого становилась иерархизированная вертикаль советских институтов. При очевидном противоречии коммунистического принципа национальному (допущенному исключительно из тактических соображений) советский принцип (особенно при очевидной неопределенности его трактовки) оказывался наиболее приемлемым институциональным решением для формирующейся однопартийной диктатуры.

Следствием разрушения механизма обратных связей между обществом и революционной элитой стала неспособность большевистского режима сформировать полноценные республиканские демократические институты власти. Для данного режима стали характерны: во-первых, отсутствие четкой правовой основы и контроля за юридическими параметрами функционирования (в отличие от большинства других авторитарных режимов межвоенной эпохи, включая «дуальное» государство нацистов)¹ — несоблюдение собственной конституции и законов как общий принцип, неясность юридических границ государственной, региональной и частной собственности, допустимых и недопустимых действий в административных вопросах; во-вторых, размывание четких рамок институциональных структур в результате постоянных изменений как формальных, так и неформальных правил игры; в-третьих, общий репрессивно-карательный ответ на все инициативы

1. Тоталитаризм в Европе XX века: Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. М., 1996.

общества, не санкционированные политической властью (даже те, которые осуществлялись в принятых идеологических рамках); в-четвертых, преобладание внеправовых и внесудебных методов решения споров в обществе (инсценировки судебных процессов, основанных на «революционном правосознании»); в-пятых, террор как признак слабости институтов — постоянная необходимость поддержания единства командно-управленческой вертикали с помощью устрашения («образ врага»), внешнего принуждения и мобилизации; в-шестых, общая непредсказуемость реакции власти на новые социальные вызовы в рамках внутренне противоречивой теории «революционной законности»¹.

Функции террора как инструмента социального конструирования состояли: во-первых, в подавлении воли общества к сопротивлению; во-вторых, в создании особых табуированных зон идеологического контроля, связанных со стремлением очертить символическое пространство вокруг новой власти почти в буквальном смысле полинезийского слова «табу», означающего священный, неприкосновенный характер сакральных объектов и обычаев, предназначенных для религиозных церемоний и запрещенных для профанированного повседневного использования; в-третьих, в фиксации определенных идеологических стереотипов путем доведения их до жестких автоматически применяемых категорий; в-четвертых, в стимулировании мобилизационного импульса «образа врага» (в виде контрреволюционных элементов); в-пятых, в консолидации самой большевистской элиты, спаянной кровавой коллективной поручкой.

В этой перспективе смена понятий — «Государства-Коммуны», «Трудовой Республики», «Республики Советов», «Рабочей демократии» — выражает поиск социальной базы, смену идеологических приоритетов, логики их семантической интерпретации в меняющихся условиях. Если в первые годы диктатуры, когда доминировала коммунистическая, а во многом анархо-синдикалистская риторика,

1. *Timashev N.S. Grundzüge der Sovietverfassung. Heidelberg, 1925.*

существенная роль отводилась институтам так называемого «рабочего самоуправления» и контроля над структурами исполнительной власти¹, то позднее консолидация режима в рамках «демократического централизма» и планового хозяйства совершенно вытеснила эту парадигму, заменив ее концепцией государственного контроля, отводившего профсоюзам роль вспомогательного придатка системы с дисциплинарно-корректирующими функциями на производстве². Поскольку эта система сверхцентрализованного управления не содержала полноценных стимулов производительности труда, она оказывалась хозяйственно неэффективной, вынужденной балансировать между распадом и максимизацией партийно-бюрократического контроля³. Привести ее в действие становилось возможным путем использования инструментов идеологической мобилизации («энтузиазма»); рационализации труда (система Тейлора и пересмотр тарифов оплаты) и принудительно-карательных мер, становившихся доминирующими по мере выветривания революционных ожиданий. Вопреки заявлениям идеологов режима о поступательном движении экономики и государства вперед⁴, общая оценка сводилась к провалу большевистского проекта с точки зрения заявленных им идеологических приоритетов⁵.

Механизм трансформации политической системы Советской Республики состоял в организации массовых

1. *Осинский Н. [Оболенский В.В.]* Строительство социализма. Общие задачи. Организация производства. М., 1918; *Ломов А. [Опников Г.И.]* Разложение капитализма и организация коммунизма. М., 1918; *Он же.* Творчество буржуазного гения и посрамление коммунистов. М., 1918.
2. *Ларин Ю., Крицман Л.* Очерк хозяйственной жизни и организация народного хозяйства Советской России. М., 1920; *Ларин Ю.* Очерки хозяйственного развития советской России. М., 1920; *Косиоф.* Наши разногласия. М., 1920; *Милотин В.П.* История экономического развития СССР (1917–1927). М.; Л., 1928.
3. *Буревои К.* Распад 1918–1922. М., 1923.
4. Народное хозяйство Советской России. М., 1920; За 5 лет. 1917–22. Сб. ЦК РКП. М., 1922; *Крыленко Н.* За 5 лет. М., 1923.
5. *Goldschmitt F.* Sowiet-Russland. Die Geschichte der Revolution von 1917 bis 1922. Köln, 1931; *Chamberlin W.* Russian Revolution, 1917–1921. Vol. 1. London, 1938.

мобилизационных кампаний против основных оппонентов режима — Церкви (кампания по изъятию церковных ценностей); оппозиционных социалистических партий (процесс эсеров 1922 г.)¹ и независимых профсоюзов (так называемая «дискуссия» о профсоюзах, завершившаяся превращением их в административный придаток режима)², т. е. тех институтов предшествующей системы, в которых теоретически могли быть институционализированы альтернативные стратегии развития республиканской политической системы. Принятие данной модели Республики означало пересмотр всей системы демократического участия и переход к мобилизационной стратегии, при которой институты активной коллективной демократии, с которыми экспериментировали в 1917 г. (советы, заводские комитеты, рабочая милиция, учреждения рабочей инспекции и контроля), превращались из органов принятия решений в учреждения по их реализации и были подчинены иерархической, часто милитаризованной власти. В результате «рабочий класс был политически экспроприрован; власть последовательно концентрировалась в партии и особенно в партийной элите»³.

Большевицкая модель республиканизма: итоги становления

Таким образом, логика реализации большевистского проекта Республики вела к созданию сверхцентрализованной модели бюрократического государства, стремившегося разрешить противоречия переходного периода с помощью максимизации контроля. Эта модель включала соединение власти и собственности, отобранной у имущих классов; установление контроля над распределением и перераспределением земли у крестьян; изъятие предприятий у буржуазии и декларированного права управления ими — у рабочих

1. Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь–август 1922 г.). Подготовка. Проведение. Итоги: Сб. док. М., 2002.
2. *Гафви П.А.* Профсоюзы в России (1917–1921). Нью-Йорк, 1958.
3. *Pirani S.* The Russian Revolution in Retreat, 1920–24. Soviet Workers and the New Communist Elite. London, 2008. P. 4, 142–143.

комитетов, центров производства научной мысли и передачи знаний — у интеллигенции, внутрипартийной демократии — у рядовых партийцев. Создавалась новая (нерыночная) мотивация к труду, основанная на монополизме, учете и контроле, мерах принуждения, подавления и массовой пропаганды.

Аутентичная трактовка понятия республиканизма, связанная с демократическими принципами правового государства, не имела шансов на реализацию. Образование гибридной формы партии-государства определило «пластичность» госаппарата управления, которая, при постоянной подвижности социальной опоры большевизма, выражалась в принципиальном отрицании доктрины и практики разделения властей по вертикали (федерализм) и горизонтали (разделение властей подменяли партийные, советские и прочие государственные институты); быстрой смене учреждений; постоянном споре о компетенциях и их разделении, арбитром в котором выступают не правовые институты и нормы, а групповые интересы; отсутствии полноценных коммуникаций между центром и регионами — эти коммуникации формируются на уровне идеологии, но не на уровне рутинных бюрократических процедур; существовании параллельных и конкурирующих учреждений (советы — фабзавкомы — комбеды — ревкомы — ЧК); наделении одних и тех же учреждений разными функциями; неразделенности функций; имитационном характере социального контроля над администрацией, монополия которого принадлежала целиком партийным структурам и формирующемуся слою номенклатуры¹.

Вопреки номинальному советскому праву, неэффективность государственных институтов компенсировалась фактическим их слиянием с институтами партийной диктатуры через пронизывающую все общество систему партийных ячеек; пересмотром соотношения декларативных и реальных функций учреждений и общественных организаций,

1. *Керр* *J. H.* The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization. London, 1977; *Сервис* *R.* The Bolshevik Revolution in Russia, 1917–1922. New York, 1979.

оказавшихся под контролем номенклатуры; последовательным воспроизводством чрезвычайных методов управления, позволявших осуществлять постоянную корректировку декларируемых правовых норм с позиций «революционной целесообразности»¹.

В целом концепция Советской Республики — исторический вариант революционной диктатуры. Чрезвычайное положение, идеально соответствовавшее этому стилю «штурма», оставалось нормой и реальной институциональной основой большевистского режима на всем протяжении его существования, как и нерешенность вопроса о политической преемственности и легитимных процедурах передачи власти и лидерства. Государство-Коммуна на деле оказалось диктатурой как с формально-юридической, так и с фактической точки зрения.

Создание СССР: формы и содержание республиканского интеграционного проекта (1922–1936)

Интеграционная идея транснационального (наднационального) республиканского устройства была широко представлена после Первой мировой войны в Европе как способ предотвращения будущих конфликтов (проекты Соединенных Штатов Европы) и получила осуществление на исходе XX в. в форме Европейского союза. Данная идея отвергалась большевиками как инструмент консервации империалистических тенденций, но возможность ее реализации допускалась в будущем в контексте ожидания мировой коммунистической революции. Концепция подобной интеграции на новых коммунистических основаниях ставила проблему соотношения принципов конфедерации, федерализма и унитаризма при обсуждении формулы Советской Республики².

1. Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б): повестки дня заседаний. Т. 1: 1919–1929. Каталог. М., 2000.
2. Международное и конституционное право: проблемы взаимодействия. СПб., 2016.

С этим связано противоречивое отношение создателей СССР к федеративному государственному устройству: следуя классовой логике марксистского учения, они в целом негативно относились к федерализму, но оказались вынуждены принять его как тактическую уступку националистическим и сепаратистским устремлениям в регионах распавшейся империи, а также в перспективе продвижения «мировой революции» в колониальных странах. Следствием его осуществления становилась федерация централизованного типа, которая, однако, содержала конфедеративный принцип самоопределения народов (субъектов федерации)¹, сделав российский федерализм «незавершенным проектом»².

В ходе острой полемики сторонников и противников принципа самоопределения он был сохранен как тактический инструмент, применение которого всецело увязывалось с обстоятельствами момента. «Вопрос о праве наций на свободное отделение, — считали большевики, — непозволительно смешивать с вопросом о целесообразности отделения той или другой нации в тот или иной момент. Этот последний вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за социализм»³. Та легкость, с которой большевики согласились программно и конституционно закрепить право наций на самоопределение, определялась не только мощным революционным потенциалом данного лозунга, но и глубоким убеждением в том, что в социалистическом государстве проблема исчезнет автоматически⁴.

Федеративное устройство было принято уже в первой советской Конституции РСФСР 1918 г., зафиксировавшей, что

1. *Seton-Watson H.* Nationalism and Imperialism // *The Impact of the Russian Revolution. 1917–1967. The Influence of Bolshevism on the World outside Russia.* London, 1967. P. 134–205.
2. 1917 год: Государство. Власть. Территория. М., 2017.
3. Шестой съезд РСДРП (большевиков). Август 1917 года. Протоколы. М., 1958. С. 252.
4. *Kappeler A.* Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München, 1993. S. 301.

она «учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик»¹. Однако с переходом к образованию СССР данная дилемма возникла снова: следует ли положить в его основу международно-правовой союз (конфедерацию) или федеративный принцип и каким образом, в случае принятия последнего, решить вопрос об интеграции в Союз РСФСР, формально уже являвшейся федеративным государством — должны ли все субъекты федерации иметь равный правовой статус или между ними проводится дифференциация и они выстраиваются по иерархическому принципу?

В этом контексте информативен анализ интеграционных проектов республиканского устройства в ходе образования СССР — принятия Союзного договора 1922 г. и Конституции 1924 г., определивших форму интеграции СССР, а во многом и причины его последующей дезинтеграции². Этот опыт выражается в решении проблем суверенитета, выбора концепции кодификации и проведения интеграционных принципов в отраслевом праве.

Конструирование советского интеграционного проекта: конфедерализм, федерализм, унитаризм

Конфедеративный принцип предполагал создание европейского или мирового союза коммунистических государств, последовательно расширяющегося за счет вступления новых стран в единую Всемирную Советскую Республику. Правовой формой объединения объявлялся федерализм, однако с существенным отступлением: гарантиями полного суверенитета его субъектов и их права на возможность свободного выхода из союза, что гипотетически облегчало решение о вступлении для национальных элит ранее независимых государств. Следует подчеркнуть, что

1. Конституция РСФСР (Основной Закон). Принята V Всероссийским съездом Советов. М., 1920.
2. Медушевский А. Н. Конституция 1924 года: как и где были заложены причины крушения СССР? // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 1 (104). С. 117–129; № 2 (105). С. 118–131.

разработка Конституции СССР совпала по времени с ростом ожиданий Коминтерном «мирового Октября» — немедленной победы революции в Европе, прежде всего в Германии¹. Они отражены в общей концепции Мирового ССР, в состав которого «имеют право войти, на основе договоров самоопределения и объединения равноправных народов, все Социалистические Советские Республики, как существующие, так и имеющие возникнуть в будущем», за каждой из которых «сохраняется право свободного выхода из союза»².

Ключевое значение для создания Федеративной Республики нового исторического типа (СССР) имело установление баланса принципов конфедерализма, федерализма и унитаризма в ходе дискуссии по вопросу о соотношении таких основополагающих документов, как декларация, договор и конституция, прошедшей в рамках Конференции полномочных делегаций Советских Социалистических Республик — РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР (Грузия, Азербайджан, Армения). В результате была осуществлена идея принятия Основного закона в целом, исходя из презумпции объединения в нем всех трех документов — декларации, договора и конституции. Первое заседание конференции полномочных делегаций РСФСР, Украины, Белоруссии и Федерации Закавказских Советских республик 29 декабря 1922 г. решило принять Договор и декларацию за основу конституции сразу и целиком, без постатейного обсуждения³. Ключевой спорный вопрос о природе советского интеграционного проекта заключался в том, какой принцип должен быть положен в его основу — национальный, государственный (советский) или классовый. Не было определено, как соотносятся

1. *Зиновьев Г.* Новая волна мировой революции // Коммунистическая революция. 1923. № 21–22 (60–61). С. 5; Доклад Зиновьева о революции в Германии // Ф. 3316. Оп. 16-а. Д. 40. Л. 8–73. См. также: Ф. 3316. Оп. 16-а. Д. 41–42.
2. Ф. 3316 (ЦИК Союза ССР. Секретариат Президиума). Оп. 1. Д. 11. Л. 2–5.
3. Первое заседание Конференции полномочных делегаций // Ф. 3316. Оп. 1. Д. 11. Л. 31.

суверенные права СССР и входящих в него республик, какова роль последних в возможном будущем пересмотре договора, каковы конституционные основания такого пересмотра¹.

Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 г. (в силу своей краткости и неопределенности) открывал возможности для различных трактовок этих вопросов — в направлении как централизма, так федерации и даже конфедерации². Трактовка суверенитета единого союзного образования выражалась эвфемизмом «воля народов советских республик», на съездах своих советов «единодушно принявших решение об образовании СССР» как шага «по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику»³. Эти общие идеи получили, однако, диаметрально противоположную трактовку в проектах республик (Белоруссии и Украины, отчасти предложениях ЗСФСР), отстаивавших конфедеративную составляющую договора, с одной стороны, и проектах Комиссии ЦИК, отстаивавших централизованную концепцию Федерации, с другой⁴. Осталась непряясненной юридическая природа самого договора: заключается он навсегда или его условия могут быть пересмотрены участниками в изменившихся обстоятельствах. Обсуждение этого вопроса (поставленного украинской и белорусской делегациями) стало стержнем конституционных споров.

Принятие новой Конституции СССР 1924 г., как и предшествующей Конституции РСФСР (1918 г.), осуществлялось по решению партии и легитимировалось решением I Съезда советов, утвердившим программные документы: «Декларацию» и «Договор об образовании СССР» 30 декабря 1922 г. Вопрос об основных принципах

1. Протокол от 9 июня 1923 г. // Ф. 331б. Оп. 16-а. Д. 44. Л. 72–73.
2. *Игнатьев В.И.* Конституция Союза ССР в ее возникновении, развитии и изучении. М.; Л., 1926.
3. Проект, принятый Комиссией Президиума ЦИК Союза ССР // Ф. 331б. Оп. 16-а. Д. 45. Л. 1–3.
4. Проекты конституции от Белоруссии и Украины см.: Ф. 331б. Оп. 1. Д. II. Л. 99–129.

пах Конституции был предрешен XII съездом партии (7–25 апреля 1923 г.), принявшим по докладу Сталина резолюцию по этому вопросу¹. В целом это означало радикальный пересмотр условий первоначального «Договора об образовании СССР» в редакции 1922 г., что было затем проведено в решениях Конституционной комиссии². Фактическая подмена одного текста Договора другим была легитимирована решением о его инкорпорации в Конституцию³, которая «во исполнение постановления I Съезда Советов СССР» была вынесена 2-й Сессией ЦИК СССР «на окончательное утверждение II Съезда Советов СССР»⁴. Постановление 2-й Сессии ЦИК СССР по докладу о Конституции СССР зафиксировало решение: «Основной Закон (Конституция) СССР утвердить и немедленно ввести его в действие»⁵.

В конечном счете решение проблемы Федеративной Республики разработчиками Конституции 1924 г. было найдено в сохранении конфедеративных положений Декларации о суверенитете республик при блокировании возможностей их осуществления правовым путем на конституционном уровне. «Суверенитет республик» оставался, однако интерпретировался не как договорная, но как конституционная категория (ограничивался предметами, относящимися к компетенции Союза); сохранение суверенных прав выступало как обязательство союзного центра в отношении всего объединения республик, но не каждой

1. Двенадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет. М., 1968.
2. Список вопросов по выработке Конституции, перенесенных на решение Комиссии ЦК; Сводка поправок, внесенных на Сессии в проект Конституции // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 11. Л. 206–207.
3. Протокол заседания подкомиссии по выработке Конституции Союза ССР // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 9. Л. 11–12.
4. Основной закон (Конституция) СССР. Проект, принятый Комиссией ЦИК СССР на заседаниях 8–16 июня 1923 г. Записка т. Сапронова «Всем членам и кандидатам Президиума ЦИК СССР и ЦК РКП» от 2.02.23 // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 10. Л. 13.
5. Вторая сессия ЦИК СССР 6 июля 1923 г. М., 1923; Постановления II сессии ЦИК СССР. 6 июля 1923 г. М., 1923. Стенограмма заседания 2-й сессии ЦИК Союза ССР 1-го созыва (6 июля 1923 г.) // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 12. Л. 22–36.

в отдельности¹; принцип самостоятельного осуществления республиками своей государственной власти жестко ограничивался общесоюзными конституционными рамками².

Ключевой для всякой федеративной республики принцип равноправия республик³ подрывался ее асимметричной конструкцией — правом сецессии республик, но не национальных автономий (которые наделялись аналогичным статусом субъектов федерации без права сецессии). Сохранение конфедеративного принципа свободного выхода республик из Союза, заявленного изначально как его основа⁴, блокировалось необходимостью получения согласия всех других республик и союзной власти на его осуществление одной из них: право сецессии республика теоретически могла реализовать только по решению Съезда Советов СССР. Наконец, формальная возможность участия республик в процедуре пересмотра Основного закона блокировалась всей структурой советской законодательной власти, делавшей их роль чисто символической. Национальный компонент Союза, претендовавшего на мировое господство, сознательно элиминировался на уровне интернациональной символики — серп и молот, но прежде всего — красная звезда⁵. Сочетание противоположных правовых принципов достигалось идеологическим постулатом о классовой монолитности Союза, который, по словам Сталина, предстал «великой трудовой державой, вызывающей среди врагов уже не насмешки, а скрежет зубовный»⁶. Официальная

1. Основной закон (Конституция) Союза ССР. Проект, принятый Комиссией ЦИК СССР на заседаниях 8–16 июня 1923 г (за подписью т. Енукидзе) // Ф. 3316. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–12, 25.
2. Тексты Основного закона СССР, Декларации и Договора с пометками к докладу на Съезде Советов // Ф. 3316. Оп. 16-а. Д. 44. Л. 2–3.
3. *Wheare K. Federal Government. London, 1947.*
4. Речь П. Смидовича на Заседании 30 декабря 1922 г. // I Съезд Советов СССР (Стенографический отчет с приложениями). 1-я Сессия Центрального Исполнительного комитета СССР. М., 1923. С. 3.
5. Вторая сессия ЦИК СССР 1-го созыва. Протоколы 1–7-го заседаний расширенной Комиссии по выработке конституции СССР от 8, 9, 13, 14, 15, 16 июня 1923 г. // Ф. 3316. Оп. 1. Д. 7. Л. 41.
6. Речь Сталина // I Съезд Советов СССР (Стенографический отчет с приложениями). 1-я Сессия ЦИК СССР. М., 1923. С. 5.

позиция заключалась в том, что прообразом СССР как государства переходного типа (к безгосударственному коммунистическому строю) послужило «федеративное объединение республик и областей в РСФСР»¹.

Вопреки декларируемой договорной природе советского федерализма, он изначально не предполагал равенства субъектов федерации, делал фиктивными гарантии их самоопределения и исключал полноценное участие в решении вопросов государственного устройства и конституционных преобразований. Принятая модель советского бикамерализма не содержала конституционных механизмов разрешения конфликтов по линии федерализма, целиком делегируя это право высшим органам союзной власти (ЦИК и его Президиуму), а по существу вынося его на внеконституционный уровень (ЦК и Политбюро). Общая организация исполнительной власти, судебной системы и надзора вполне соответствовала этой централистской логике, делая невозможным судебный контроль конституционности принимаемых законов, а изъятия политических дел из формальных процедур судопроизводства в пользу чрезвычайных органов закрепляли приоритет карательных учреждений в структуре управления.

В рамках советского номинального конституционализма была сконструирована модель федерализма, не имеющая аналогов в сравнительной перспективе. Во-первых, в ее основу был положен фактически конфедеративный принцип (в интересах мировой коммунистической экспансии), выражением которого стало сохранение права сепарации (без фиксации механизма ее юридического осуществления); во-вторых, вопреки общепринятой трактовке федерализма (закрепленной в «Декларации» и «Договоре об образовании СССР»), субъекты федерации не получили равного правового статуса: они подразделялись на союзные республики, некоторые из которых (РСФСР, ЗСФСР) включали свои собственные субъекты; в-третьих, вопреки декларируемой цели, принцип национально-территориального

1. *Смидович П.* Конституция Союза С.С.Р // Коммунистическая революция. 1923. № 15–16 (54–55). С. 12.

самоопределения не был последовательно проведен как единый критерий выделения субъектов (они конструировались на основе выделения титульной нации, в ряде случаев составлявшей меньшинство соответствующего субъекта), а попытка скорректировать эту схему введением национальных автономий была проведена непоследовательно (в одних случаях они создавались, в других нет). Концепция республиканского государственного суверенитета вступала в силу в ограниченной трактовке: в основе всей конструкции лежит не гражданская нация или народ, а воля ее передового класса (однопартийная диктатура).

Суверенитет: конфликт международного, национального и классового подходов

Определение суверенитета СССР сталкивалось с тем, какой принцип должен быть положен в его основу: международный (движение к всемирной коммунистической федерации через ряд промежуточных конфедеративных форм), национально-государственный (советский) или политический (классовый).

Первый, международно-правовой подход (продвигавшийся национальными делегациями) был положен в основу проектов по существу конфедеративного объединения, способного к неограниченной интеграции новых членов по мере продвижения к всемирной федерации (отсюда сохранение во всех советских конституциях конфедеративного принципа в виде права на сепарацию всех союзных республик). Исходя из того, что СССР является прообразом политической системы будущего, к которой в ходе мировой революции могут присоединиться другие государства, разработчики видели задачу в том, чтобы дать наиболее широкое определение этой «динамической формы». Данная концепция союзного устройства опиралась на договорную природу нового государства и предполагала установить «конвенциональные» (по существу международно-правовые или конфедеративные) отношения между республиками и союзным центром. Суверенные права, согласно

этой концепции, имелись у союзных республик (но не автономий) в полной мере вплоть до образования Союза. «Лишь с образованием Союза часть суверенных прав союзных республик переданы Союзу с образованием нового государственного целого»¹. Республики поэтому должны сохранить противовес унитаризму — защитить свой суверенитет от посягательств Союза (в котором усматривали доминирующую роль России), с одной стороны, и ограничить права автономий, с другой. Отсюда жесткое прокламирование особого «конституционного пути» республик, право на который они считали «своим суверенным правом и отрицали право за кем бы то ни было за нас этот вопрос решать»². Категорически отрицались попытки Законодательной комиссии «ущемить» и «принизить» республики³.

Второй, федеративный подход (как компромисс национальных и централизаторских тенденций) увязывал суверенитет с решением так называемого национального вопроса в рамках советской системы государственного устройства. Советский федерализм рассматривался прежде всего как инструмент окончательного разрешения «национального вопроса», формой его реализации выступала советская система государственного устройства, а содержание усматривалось в осуществлении классовой воли — диктатуры пролетариата. В связи с этим предстояло согласовать эти три принципа и определить их внутреннюю иерархию. Воля всех наций (независимо от их самоопределения в форме республик и автономий) воплощается в решениях советских органов, иерархия которых обеспечивает согласование национальных и социальных интересов — таких «гарантий и прав отдельным нациям», которые определяются «природой нашей советской власти»⁴. Республики (белорусский

1. Материалы заседаний Комиссии ЦИК СССР по выработке законодательных положений (16, 17, 18, 19 апреля 1924 г.) // Ф. 3316. Оп. 2. Д. 36. Л. 304.
2. Там же. Л. 6–7.
3. Там же. Л. 233.
4. Стенограмма заседания 2-й сессии ЦИК Союза ССР 1-го созыва (6 июля 1923 г.) // Ф. 3316. Оп. 1. Д. 12. Л. 12–19.

и украинский проекты) исходили из того, что разрешение конфликтов осуществляются Съездом Советов, состоящим «из представителей Союзных республик», причем созыв Чрезвычайного съезда допускается «по требованию одной республики», правда «с ведома и согласия союзной власти»¹. На деле республики с принятием Конституции 1924 г. фактически лишались права на пересмотр Основного закона, поскольку вопросы утверждения, изменения и дополнения Союзной конституции или замещающего таковую Союзного договора относились «к исключительному ведению Съезда Советов ССР»².

Третий, политический подход (выражавший волю центра) к определению суверенитета с позиций классового государства получил выражение в споре о том, кто должен быть подлинным гарантом конституции и разрешать в конечном счете конституционные противоречия. Поэтому разработчики обсуждали соотношение таких понятий, как «рабоче-крестьянская власть», «диктатура пролетариата» и «советская система»³. Но принятая конструкция единой советской системы не решала вопроса о том, кто является основной инстанцией при разрешении конфликтов между республиками, а также между республиканскими и союзными институтами. По умолчанию принимался принцип партийного доминирования. Конфликты в этой системе, признавали они, в конечном счете «регулируются в союзном порядке определенным чутьем»; «механизм Союза у нас такой, что советский аппарат восполняется партийным»; «если согласия не дано, а издать декрет нужно, то Союз идет в партию, и партия решает»⁴.

Таким образом, общая формула выглядела, согласно Д.И. Курскому (нарком юстиции РСФСР), как комбинация

1. Ф. 331б. Оп. 1. Д. 11. Л. 99–100, 109.
2. Вторая сессия ЦИК Союза ССР 1-го созыва. Протоколы 1–4-го заседаний подкомиссии по выработке Конституции СССР. Протокол от 12 декабря 1922 г. // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–3.
3. Материалы заседаний Комиссии ЦИК СССР по выработке законодательных положений (16, 17, 18, 19 апреля 1924 г.) // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 36. Л. 93.
4. Там же. Л. 281.

трех правовых принципов. Первый из них — в том, что «за каждой союзной республикой оставляется право свободного выхода из Союза», которое «является самым характерным для суверенной республики, сохраняющей верховное право». Второе право — «это сохранение границ союзных республик: территория их не может быть изменяема без их согласия, причем для изменения, ограничения или отмены этого права требуется согласие всех республик, входящих в Союз», чем «закрепляются основы суверенного права союзных республик». Третье право — «при организации верховных органов Союза законодатель стремился обеспечить национальное развитие отдельных народов, входящих в состав договаривающихся республик» (имеется в виду двухпалатный ЦИК вместо однопалатного по «Договору»)¹. СССР определялся, исходя из этого, как «свободное социалистическое общество всех трудящихся, живущих на территории Союза», верховная власть в котором принадлежит Съезду советов (а в перерывах между съездами — ЦИК), к исключительному ведению которого относится «утверждение, применение и дополнение союзного договора»².

В результате произведенной разработчиками Конституции 1924 г. идеологической и семантической деформации понятия федерализма оно расщепляется на ряд составляющих, а само федеративное устройство предстает в виде трехуровневой иерархии различных образований: союзная республика, автономная республика и автономная область. В рамках договорной теории Федерации гипотетически предполагалось, что суверенитетом обладает как союзное государство, так и союзные республики. Автономные республики — государственные образования, которые не могут претендовать на суверенитет, а автономные области фактически выступают как синоним губерний. Идея

1. Доклад т. Курского на II-м Всероссийском Съезде советов о Конституции СССР, принятой 2-й сессией ЦИК СССР, и об изменении Конституции РСФСР 1918 г. (29 января 1924) // Ф. 1235. Оп. 10. Д. 4. Л. 138–145.
2. Ф. 3316. Оп. 1. Д. 11. Л. 6–16.

«автономии» вообще означала самоуправление и право на законодательную деятельность местного характера¹. Проблема соотношения Федерации и ее субъектов обсуждалась не с позиций научной теории или доктрины, но исходя из политических приоритетов. В юридических дебатах и материалах Конституционной комиссии представлены различные позиции, но в целом вопрос разрешился наделением всех трех образований статусом субъектов Федерации. Так были заложены основы той неэффективной ассиметричной Федерации, где субъекты при формальном их равенстве имеют различный статус, причем одни входят в состав других. Удержать всю эту конструкцию от распада было возможно только с помощью сильного внешнего арбитра — партийной диктатуры, наследовавшей самодержавию в выполнении этой функции.

По умолчанию признавалось, что гарантом Конституции и высшим арбитром в решении всех спорных вопросов является неконституционный институт — Коммунистическая партия, которая реально стоит за всеми конституционными органами законодательной и исполнительной власти и всецело определяет их деятельность. Примирить противоречия Конституции и политической практики становилось возможным лишь в рамках особого мифа — создания культа партии и ее вождя. Эти принципы конституционной инженерии, вытекавшие из общей социальной природы большевизма как экстремистской идеологии, были сформулированы и институционализированы в деятельности Конституционной комиссии, оставшись неизменными для всего советского номинального конституционализма.

Гражданство и подданство: правовой статус, приобретение и утрата

Три конструкции гражданства стали ответом на различные модели советского федеративного республиканизма: первая исходила из того, что советское гражданство вообще

1. *Магазинер Я.М.* Общее учение о государстве. М., 1922.

самостоятельно по отношению к республиканскому и поглощает его; вторая утверждала, что советское гражданство есть производная от гражданства республик; третья — что должен быть установлен баланс республиканского и союзного гражданства. Разработка «Положения о союзном гражданстве»¹ выразила конфликт двух подходов — проекта, внесенного Наркоминделом в Совнарком, и проектов республик в Конституционной комиссии.

Первая конструкция допускала только союзное гражданство и отвергала республиканское, считала, что вопрос о гражданстве «не может быть разрешен законодательством союзных республик» и его «не следует отделять от прав Союзного государства» (Г.В. Чичерин)², «гражданин союзной республики тем самым является гражданином союза», «союзное гражданство включает республиканское гражданство, но не наоборот»³. В Совнарком, как отмечалось, существование гражданства союзных республик удалось провести «только под давлением Каменева». Протест республик приобрел острый характер: «Вы хотите, — говорили их представители, — чтобы существовало особое гражданство Союза, помимо гражданства союзных республик. Вы хотите выключить понятие гражданства союзных республик. Позвольте, как же так? Суверенность союзных республик не уничтожена, она осталась в силе»⁴.

Вторая конструкция гражданства отдавала приоритет его республиканской составляющей. Союзное государство, доказывал Скрыпник, возникло исторически из гражданства союзных республик, а потому гражданские права должны

1. «Положение о союзном гражданстве»: Протокол 8–9-го заседаний Конституционной комиссии Союзного Совета 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 26–27 октября 1924 // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 124.
2. Стенограммы 4-го заседания Конституционной комиссии Совета Национальностей 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 25 октября 1924 г. (утро) // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 90. Л. 3, 28.
3. Стенограмма II-го пленарного заседания 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва от 29 октября 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 66. Л. 74.
4. Стенограммы 4-го заседания Конституционной комиссии Совета Национальностей 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 25 октября 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 90. Л. 24–25.

регулироваться законодательством союзных республик: «гражданство, т.е. принадлежность политических прав, определяется конституцией союзных республик каждой в отдельности»; «никто не смеет подумать о том, что здесь конституция союзных республик пересматривалась бы Союзом»¹. Двойное гражданство отвергалось в принципе как нарушение Договора и Конституции — вопрос, лежащий за пределами компетенции Конституционной комиссии. Данная позиция, однако, была отвергнута как «конституционная игра» (по определению В.А. Антонова-Саратовского, председателя Комиссии законодательных предположений при СНК СССР), в основе которой лежит противопоставление отдельных республиканских проектов позиции Комиссии в целом².

Третья конструкция — поиск компромисса, найденного в формуле единого союзного гражданства, при котором «гражданин каждой из союзных республик, входящих в состав СССР, является тем самым гражданином Союза ССР»³. Эта формула представлена в постановлении Комиссии Совета Национальностей по конституционным вопросам, где она мотивируется положением о единстве прав: «гражданин каждой из союзных республик имеет все права и несет все обязанности, установленные для граждан как Конституцией и законодательством Союза ССР, так и Конституцией и законодательством союзной республики, на территории которой он проживает»⁴. В Конституционной комиссии Союзного совета был решительно отклонен как тезис об исключительно союзном гражданстве, так и противоположный — о рассмотрении союзного гражданства

1. Стенограмма заседания Конституционной комиссии 8 июня 1924 г. // Ф. 3316. Оп. 16. Д. 225. Л. 22–28.
2. Материалы заседаний Комиссии ЦИК СССР по выработке законодательных положений (16, 17, 18, 19 апреля 1924 г.) // Ф. 3316. Оп. 2. Д. 36. Л. 28, 46–47.
3. Протоколы Конституционной комиссии Совета Национальностей II-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го Созыва: Протокол № 4 // Ф. 3316. Оп. 2. Д. 84. Л. 1–2.
4. Протоколы Конституционной комиссии Совета Национальностей II-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го Созыва Протокол № 5 (25 октября 24 г.) // Ф. 3316. Оп. 2. Д. 84. Л. 3–8.

как продолжении республиканского. В результате первоначальная формула «гражданин Союза ССР» была заменена формулой «гражданин Союзной Республики и тем самым гражданин Союза ССР»¹. Это означало не только унификацию прав граждан, но и распространение на них обязанностей, вытекающих из союзной конституции, а следовательно, нивелирование республиканских особенностей их юридического статуса. С этих позиций решался вопрос о приобретении и утрате гражданства. В ходе обсуждения декрета о союзном государстве в качестве исходной установки была принята формула «гражданами Союза ССР признаются лица, состоящие гражданами Союзных республик, входящих в состав Союза ССР», а «гражданство Союза ССР приобретается путем принятия гражданства одной из Союзных республик»². Приобретение союзного гражданства вступает в силу «со дня приобретения гражданства Союзной Республики»³.

Важной стороной проблемы стало регулирование прав подданства российских граждан — их правового статуса за границей: считать ли, что они выступают гражданами Союза или сохраняют также республиканское гражданство? Сторонники централизма выступали за то, что во внешних отношениях союзное гражданство полностью абсорбирует республиканское. Сталин, ссылаясь на пример США, подчеркивал единство советской государственности, многозначительно отметив ее специфику: «наша государственность совершенно особая, она границ не имеет, визирования паSPORTов нет, за гражданами нашими не гоняемся»⁴. Противники такого решения (Раковский) считали неправомерной

1. Обсуждение «Положения о союзном гражданстве» 26–27 октября 1924 г.: Протокол 8–9-го заседаний Конституционной комиссии Союзного Совета 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 124. Л. 3–5.
2. Протоколы заседаний Конституционной комиссии ЦИК СССР с 16.04.24 по 8.06.24. Протокол № 16 от 8 июня 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 16. Д. 209. Л. 126.
3. «Проект Постановления ЦИК Союза ССР о Союзном гражданстве» // Ф. 331б. Оп. 16. Д. 209. Л. 131–136.
4. Стенограммы заседаний Редакционной Комиссии по выработке Конституции СССР (8–16 июня 1923) // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 25. Л. 102–105.

аналогию с Америкой, где «нет государства с определенными этнографическими территориальными делениями», а ориентир усматривали в Германии, где «есть германское государство, для внешних сношений имеется германский паспорт и это должно быть у нас, и об этом шел спор». Пока сохраняется национальная специфика, необходимо принятие формулы, где «украинец остается украинцем, грузин грузином». Скрышник в той же логике борьбы с русификацией «считал бы целесообразным, если бы столица РСФСР была в Москве, а столица СССР в Петрограде»¹. Возобладала позиция централистов, сформулированная Курским: признание двойного (союзного и республиканского) гражданства не противоречит их единству в международных отношениях: это «единство гражданства выявляется всякий раз, когда гражданин Союза выезжает с территории Союза», тому, чтобы «он за границей являлся гражданином Союза»².

Вопрос о переходе из российского и советского гражданства в иностранное был решен по формуле СНК — это «функция, которая должна быть сосредоточена в руках Союза»³. Обсуждение проблемы выхода из советского гражданства выявило противоположные позиции: представители республик формально допускали такой выход, видя в нем некий противовес единому союзному гражданству, ссылаясь на положения иностранных конституций и напоминая, что «за каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза»⁴. Представители союзных органов, напротив, были категорически против самой постановки вопроса, с одной стороны, доказывая исключительность престижа советского гражданства, с другой — намекая, что данное право может быть использовано «злонамеренными элементами» с целью «улизнуть и обмануть

1. Стенограммы заседаний Редакционной Комиссии по выработке Конституции СССР (8–16 июня 1923) // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 25. Л. 91, 106.

2. Стенограмма заседания Конституционной комиссии 8 июня 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 1б. Д. 225. Л. 25–28.

3. Стенограммы 4-го заседания Конституционной комиссии Совета Национальностей 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 25 октября 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 90. Л. 22–24.

4. Ф. 331б. Оп. 1. Д. 11. Л. 110.

бдительность ГПУ или ЧК»¹. Принятие иностранных граждан в советское гражданство в свою очередь становилось прерогативой Союза, причем с классовых позиций: предполагалось введение различных статусов для контрреволюционеров и революционеров с введением особого режима приобретения гражданства для деятелей Коминтерна². Предоставляя иностранцам, проживающим на территории Союза, всю совокупность личных и имущественных прав при условии их классовой приемлемости³, соответствующий законопроект содержал знаменательную оговорку о том, что права эти реализуются постольку, «поскольку противное не установлено действующими на территории СССР законами и договорами СССР с этими государствами»⁴.

В условиях номинального федерализма вопрос разграничения союзного и республиканского гражданства представлял ложную дилемму. При всем различии подходов она разрешалась вполне определенно: союзное гражданство полностью абсорбировало республиканское.

Концепция бюджетного федерализма в конституционных проектах периода образования СССР

Концепция бюджетного федерализма — неотъемлемая часть всякой функционирующей федеративной республики. Она включает следующие параметры: соотношение союзного и республиканских бюджетов, критерии распределения налоговых поступлений на центральном и региональном уровне, порядок разрешения спорных вопросов, а также установление институтов и процедур разрешения конфликтов

1. Стенограммы 5-го заседания Конституционной комиссии Совета Национальностей 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 25 октября 1924 (вечер) // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 91. Л. 29.
2. Там же. Л. 1, 10–12.
3. «Положение о союзном гражданстве» 26–27 октября 1924: Протокол 8–9-го заседаний Конституционной комиссии Союзного Совета 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва // Ф. 331б. Оп. 2. Д. 124. Л. 3–5.
4. Проект постановления ЦИК СССР «О правовом положении иностранцев на территории СССР»: Протокол № 17 от 8 июня 1924 г. // Ф. 331б. Оп. 16. Д. 209. Л. 139–140.

в данной сфере. Приняв формально федеративную модель государственного устройства, разработчики Конституции СССР 1924 г. столкнулись с проблемой выделения в структуре бюджета двух основных уровней — общесоюзного и субъектов федерации (республик). Основные точки зрения в дискуссии представлены тремя позициями: максимальной децентрализации бюджетных полномочий; обеспечения их баланса (с сохранением республиканской бюджетной автономии) и установления полного контроля союзного законодательства. Им схематично соответствуют три группы проектов — Украины, Белоруссии и Союзного центра, составленные Конституционными комиссиями их ЦИК в процессе подготовки Декларации, Союзного договора и Конституции СССР 1924 г. с сопутствующими материалами¹.

Первая позиция, представленная проектами Украины, допускает существование союзного бюджета, но дает ему ограничительную трактовку: во-первых, оставляет в его ведении лишь проблемы финансового обеспечения общесоюзных функций, во-вторых, полностью исключает из него республиканские бюджеты и, в-третьих, предполагает перераспределение общих налоговых поступлений в республиканские бюджеты: «от общесоюзных налогов известный процент отчисляется в бюджеты отдельных республик, в размере, установленном Союзным ЦИК»². В то же время за отдельными республиками признается право устанавливать свои республиканские налоги, доходы и сборы, не противоречащие основам и системе, принятым Союзным ЦИК. Дилемма формулировалась следующим образом: либо предоставить республикам «возможность существовать и делать что-нибудь» в хозяйственной сфере, выходя за рамки предписаний центра, либо «мы все это централизуем». Оппоненты усматривали в этой позиции защиту интересов «местной националистической петлюровщины»³.

1. Ф. 331б. Оп. 1. Д. 11–28.

2. Ф. 331б. Оп. 1. Д. 11. № 18. Л. 121–129 и др.

3. Стенограммы заседаний Редакционной Комиссии по выработке Конституции СССР // Ф. 331б. Оп. 1. Д. 25 (8–16 июня 1923). Л. 149–153.

Вторая позиция выражена проектами Белоруссии (5 проектов, выработанных Конституционной комиссией ЦИК Белоруссии). Приоритет отдавался двухуровневой структуре бюджета: наряду с общесоюзным вводится понятие республиканских бюджетов, причем значительное внимание уделено правовому обоснованию их соотношения. В рамках этой концепции «объединенная роспись доходов и расходов Союза ССР составляется в виде сводов: а) общесоюзных доходов и расходов (общесоюзный бюджет) и б) доходов и расходов каждой союзной республики, входящей в состав Союза (бюджеты союзных республик)». Постановка ключевой проблемы — должны ли республиканские бюджеты утверждаться ЦИК Союза или ЦИК республики — предполагала возможность решения в пользу второго варианта, при котором «бюджеты союзных республик в их доходных и расходных частях устанавливаются ЦИКами Союзных республик». Был предложен особый институциональный механизм разрешения противоречий в этой сфере — Бюджетная комиссия при Президиуме ЦИК СССР, проектируемая для предварительного рассмотрения проекта общегосударственной (союзной) росписи доходов и расходов, в состав которой «обязательно вводятся представители Союзных республик по предложению Президиумов ЦИК Союзных республик»¹.

Третья позиция — сторонников максимальной концентрации бюджетных полномочий в Союзном центре — отстаивалась преимущественно союзными органами власти с самого начала конституционной дискуссии и неизменно противостояла республиканским проектам. При общей тенденции к централизации, отраженной в промежуточных редакциях Конституции 1924 г., более ранние документы демонстрируют поиск компромисса сторон в направлении экономических «уступок союзным республикам», трактуя бюджетное законодательство «в сторону установления надбавок и отчислений на образование бюджетов союзных республик и разрешения дополнительных налогов на образование бюджетов союзных республик»².

1. Ф. 3316. Оп. 1. Д. 11. № 17. Л. 99–120 и др.

2. Ф. 3316. Оп. 16-а. Д. 44. Л. 1–18 об.

Однако формула, возобладавшая на финальной стадии дискуссии, жестко противостояла республиканским проектам: «бюджет СССР является единым для всего Союза и утверждается Съездом Советов Союза или ЦИК Союза». В него «входят все как общесоюзные, так и республиканские ожидаемые государственные доходы и предстоящие государственные расходы Союза»¹. В качестве своеобразной утешительной премии регионам выдвигалась идея субвенционального фонда для «поддержки местным бюджетам со стороны Союза».

Причины преобладания централистского вектора определяются тремя типами угроз коммунистическому режиму — идеологических (федерализм связывался с анархистскими тенденциями крестьянства), политических (опасность сецессии в форме «растаскивания Союза на части») и экономических (необходимость жесткой финансовой и налоговой вертикали в плановом хозяйстве)².

Конституционные проекты периода формирования СССР в их совокупности раскрывают логику становления особой модели унитарного федерализма. Принятие концепции унифицированного союзного бюджета не оставляло шансов бюджетному федерализму даже в минималистской его трактовке, закладывая основы сверхцентрализованного политического режима.

Смысл конструкции советского и российского федерализма

Общий смысл конструкции советского федерализма, принципов, положенных в основу выстраивания иерархии субъектов СССР и России, эволюции их правового статуса и изменений регулирования, раскрывается в материалах Комиссий, разрабатывавших Конституции СССР (1924, 1936, 1964 и 1977 гг.) и России в XX в. (1918, 1925, 1937, 1978

1. Протоколы 1–7-го заседаний расширенной Комиссии ЦИК СССР по выработке конституции СССР 8–16 июня 1923 г. // Ф. 3316. Оп. 1. Д. 7. Л. 12–27.

2. Стенограмма заседания Союзного Совета 2-й сессии ЦИК Союза ССР 2-го созыва 21 октября 1924 г. // Ф. 3316. Оп. 2. Д. 114. Л. 182–183.

и 1993 гг.), позволяя раскрыть меняющийся баланс централизма и децентрализации, определить происхождение дисфункций российского федерализма и причины их устойчивого воспроизводства.

Научные конструкции государственного устройства, предложенные либеральным академическим сообществом в начале XX в., исходили из принципа единой и неделимой России: перспектива усматривалась в административной и областной децентрализации регионов, масштаб которой не мог быть единым с учетом разнообразия культурной, хозяйственной и этнонациональной специфики регионов. Эта децентрализация в перспективе могла принять высшую форму автономизации (наподобие современной Испании) или деволюции (наподобие введения Великобританией «гомруля» для Ирландии) и даже федерализма, конструируемого по образцу Германии, Швейцарии или США (проекты Учредительного собрания).

Данная конструкция федерализма принципиально отличалась от советской: во-первых, федерализм не связывался с решением так называемого «национального вопроса» — субъекты федерации не привязывались к нациям (в частности, ввиду неопределенности и семантической многозначности этого понятия); во-вторых, исключалось право сепарации (юридически неуместное для федеративного государства); в-третьих, приоритет отдавался защите гражданских индивидуальных прав, а не прав наций или национальных меньшинств; в-четвертых, принципы децентрализации предполагалось вводить постепенно с учетом специфики регионов (принцип автономии обсуждался применительно к трем регионам — Польше, Финляндии и, с оговорками, — к Украине); в-пятых, предполагалось создание специального судебного института для разрешения конфликтов по линии федерализма между центральным и региональными парламентами — Конституционного суда (по образцу Веймарской республики, Австрии или Чехословакии) или Верховного суда (по образцу США). Эти идеи не имели шансов реализоваться в условиях торжества революционных популистских призывов о праве народов на самоопределение.

В отличие от классических моделей федерализма в демократиях западного типа, российский федерализм не был вызван естественным эволюционным развитием культурных потребностей регионов. Федерализм советского образца (а Россия исторически не знала другого) выступал искусственным (навязанным) явлением, выражая психологию завоевателя в покоренной стране: он имел номинальный характер; не соответствовал классическим образцам даже с формально-юридических позиций (включая конфедеративный принцип сецессии республик), а на практике выражал стремление однопартийной диктатуры к установлению контроля в регионах с различной культурой, национальным составом населения, уровнем экономического и социального развития. В условиях спонтанного крушения имперской государственности конструирование федерализма определялось идеологическими причинами и административной целесообразностью в большей мере, нежели декларированной идеей национального самоопределения (принятой большевиками в ходе полемики с Бундом). Последовательная редукция принципа народного суверенитета к «власти трудящихся», советскому государству и от него к партии исключала реализацию федеративного принципа. Поэтому государственное устройство СССР и России изначально тяготело к унитаризму. Этим объясняется фундаментальное противоречие возникшей модели: формально-юридически являясь конфедерацией, она объявляла себя федерацией, но на деле представляла собой унитарное государство имперского типа. Характерны ее определения в современной литературе: «советский», «имперский» и «унитарный» федерализм.

Для преодоления революционного хаоса, т.е. распада страны на совершенно разнородные регионы, была принята (в Конституции РСФСР 1918 г.) противоречивая концепция национально-территориального конструирования федеративной системы. Однако невозможность ее последовательной юридической, а главное, практической реализации заставляла обратиться к систематизации регионов,

выстраиванию их иерархии и диверсификации правового статуса в интересах централизованного административно-хозяйственного управления (Конституция РСФСР 1925 г.). Данная ситуация определила изначальную асимметрию советского и российского федерализма, включавшего субъекты, сконструированные по национальному, территориальному и национально-территориальному типу. Пересмотр этой системы в рамках политики «районирования» 1920 — начала 1930-х гг. привел не к отказу, но закреплению ее качественных особенностей в рамках унификации, укрупнения и дифференциации правового статуса субъектов различного уровня (с параллельным фиксированием титульных наций и этносов).

Структура и динамика федеративных отношений в СССР

В структуре номинального федерализма, закрепленной Конституцией СССР 1924 г., ключевое значение имело разрешение противоречий и выстраивание отношений между субъектами трех уровней — союзными республиками, автономными республиками и всеми прочими автономными образованиями (автономные области, области, края, губернии, города). Если статус субъектов первого уровня (союзных республик) в принципе не подлежал пересмотру (в силу декларированной договорной природы образования СССР), а изменение статуса субъектов третьего уровня, напротив, было простой и скорее «технической» проблемой, то ключевое значение в регулировании всей системы принадлежало субъектам второго (или промежуточного) уровня — национальным автономным республикам. Введение этого института (отсутствовавшего в Конституции РСФСР 1918 г.) в ходе разработки Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г. стало уникальным изобретением советского федерализма, прямых аналогов которого нет в других федеративных государствах. Система автономных республик (в составе союзных), число которых возрастало с течением времени, позволяла выстроить фактически параллельную федеративную систему,

воплощая парадокс «федерации внутри федерации». Россия с принятием Конституции СССР 1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. выступала наиболее впечатляющим примером такого квазифедерализма: будучи формально субъектом советской федерации (наряду с другими союзными республиками), она одновременно представляла собой федеративную республику.

Возможность «поворачивать» систему в разные стороны требовала особого приводного рычага — им становились автономные республики, которые (при наличии внешней направляющей воли партийных инстанций) были способны противостоять союзным и одновременно выражать локальную национальную идентичность. Специфика автономных республик очень важна в контексте уникальности советского номинального федерализма. С одной стороны, они формально выступали как субъекты федерации и имели те же права, что и союзные республики. С другой — они не были равны им: не имели аналогичного права сепарации; входили в состав соответствующей союзной республики (демонстрируя парадокс «федерации внутри федерации»). С третьей — они не были равны другим автономиям: стояли выше их по рангу (имели свои конституции и свое представительство в центральных союзных органах власти). В целом же автономные республики выступали как оригинальное изобретение советского федерализма — наиболее динамичный его элемент, выполняющий функции своего рода «троянского коня» центральной власти для поддержания лояльности союзных республик центру. Этот тезис подтверждается тем, что наибольшее число поправок к советским конституциям вносилось именно по линии регулирования автономий различного рода и изменения их статуса.

Эта система, камуфлировавшаяся мифом о единстве советской государственности, определена нами как «модель для сборки»: ее суть состояла в том, что она могла быть трансформирована в разных направлениях — внешне демонстрируемой децентрализации или, напротив, централизации и соподчинения регионов, их перегруппировки,

усиления их зависимости от центра¹. Сформировавшаяся модель (жестко закрепленная в Конституции СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г.) оставалась фактически неизменной до конца существования СССР: она была юридически неработоспособна и могла сохраняться столь длительное время исключительно благодаря номинальному характеру советского права. В рамках советского номинального федерализма автономные республики были призваны выполнять ряд принципиальных функций инструмента центральной (союзной) власти по поддержанию ее господства над союзными республиками, сдерживанию их сепаратистских устремлений, позволяли центральной власти манипулировать принципом федерализма в направлении большей или меньшей централизации. В РСФСР эти функции изначально выражались в противодействии росту российского национального самосознания в ущерб советскому (по Конституции 1925 г. РСФСР не получала права сепарации, в отличие от всех других союзных республик)².

Этим объясняются значимые особенности политико-территориального и административного развития страны: спонтанный характер становления «федерализма», ставшего синонимом децентрализации в результате распада государства в начале и конце XX в.; общий номинальный характер данного института (отсутствие реальной возможности для субъектов реализовать декларированное право сепарации или оказать влияние на изменение конституционного строя); отсутствие единых критериев политико-территориального и административного деления, их вариативность, призванная учесть специфику различных групп субъектов и степень поддержки центральной власти в них; отсутствие механизма разрешения конфликтов между республиками и федеральным центром по линии разделения властей (которое отвергалось), бикамерализма (принцип бесконфликтности

1. *Медушевский А.Н.* Модель для сборки: российский федерализм XX — начала XXI века в поисках идентичности // Сравнительное конституционное обозрение. 2017. № 2–3.
2. *Бирюкова О.Н.* История разработки и принятия Конституции РСФСР 1925 г. М., 2007.

отношений союзной и национальной палат никогда не ставился под сомнение) или судебного контроля конституционности (который подменялся политическим); нестабильность всей конструкции, связанная с неоднократным пересмотром отношений центра и регионов; сверхцентрализованный (унитарный) механизм управления с формальным признанием дуализма институтов субъектов федерации, выполняющих функцию передачи команд из центра в регионы.

Данный механизм регулирования определял общую динамику федеративных отношений советского и постсоветского периода, укладывающуюся в ряд стадий: создание квазифедеративной системы для упорядочения множества автономных образований с неопределенным статусом (в Конституции РСФСР 1918 г.); ее диверсификация — создание особого типа национальных автономных республик (в Конституции РСФСР 1925 г.); унификация статуса различных национальных и ненациональных автономий в соответствии с закрепляемой шкалой прав и обязанностей (закрепление титульных наций и этносов в рамках политики районирования 1920–1930-х гг.); создание внутренне выхолощенной формально-административной пирамиды автономий с определением их отношений с соответствующими республиканскими и союзным центром (Конституция РСФСР 1937 г.); деградация этой конструкции в позднесоветский период, связанная с ослаблением советской идентичности — развитием национализма союзных республик и ответных тенденций к сепаратизму в автономных республиках (как показывает логика обсуждения проекта несостоявшейся Конституции 1964 г., принятия Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.). В условиях ослабления федерального центра и укрепления союзных республик (начиная с конца 50-х — начала 60-х гг. XX в.) автономные республики утрачивают роль инструмента сдерживания центробежных тенденций.

Конфликт принципов советизации, федерализма и национализма так и не получил разрешения в XX в. Распад СССР в 1991 г. воспроизводит всю логику создания этого государства в обратном порядке: пересмотр роли КПСС как

гаранта Конституции поставил вопрос о движении к реальному конституционализму (федерализму), но отсутствие адекватных механизмов разрешения конфликтов между республиками по линии бикамерализма и конституционного правосудия делало естественным прямое обращение к аутентичному смыслу конституционных (договорных) гарантий федерализма. Отказ от унитаристского начала вел к децентрализации власти по линии номинального федерализма, а последняя завершилась распадом страны на основе конфедеративного принципа самоопределения национальных государств и раскола единой политической элиты. Описав полный круг, советский эксперимент в 1991 г. вернул страну к начальной точке — ситуации распада Российской империи в 1917 г.

Светская теократия: республиканская форма сталинской диктатуры (1936–1950-е гг.)

Тоталитарные режимы, формально приверженные принципам республиканского строя, являлись «инсценирующими диктатурами», стремившимися создать телеологическую картину мира как движения из темного прошлого к прекрасному настоящему и светлому будущему. Республика Советов как форма организации государства не отбрасывалась, но корректировалась с позиций мобилизационных целей однопартийного политического режима. Социальное конструирование — вполне позитивный процесс в условиях модернизации — оказывается своей противоположностью в том случае, если опирается не на реальное знание, а на его эрзац в виде утопической идеологии и создания своеобразной республиканской формы «светской теократии». Масштабы сталинского конструирования определялись стремлением установить тотальный контроль над индивидом, цель состояла в его полной ресоциализации, а методы определялись стремлением получить послушное орудие диктатуры в интересах социальной мобилизации.

Общая идея пересмотра советской модели республиканизма в сталинский период — скорректировать несостоятельный

коммунистический миф таким образом, чтобы, во-первых, сохранить его как легитимирующую основу режима; во-вторых, ограничить его деструктивный потенциал в условиях социального кризиса; в-третьих, обеспечить задачи социальной мобилизации и управления; в-четвертых, продемонстрировать единство общества и власти («всемирная поддержка» режима); в-пятых, использовать данную акцию для борьбы с реальными и предполагаемыми оппонентами режима.

Эта цель в период сталинизма достигалась корректировкой смысла основополагающего революционного мифа: разделением понятий «коммунизм» и «социализм» (как особой промежуточной стадии); согласованием идеологии и реальности (введением приемлемых стереотипов интерпретации последней); определением перспектив и этапов формирования нового общества в пространстве («социализм в одной стране» вместо мировой коммунистической революции) и во времени (что позволяло пролонгировать диктатуру); провозглашением тождества демократии и «социалистической демократии»; введением психологических ориентиров смысла существования (концепция «нового человека», его прав и обязанностей); закреплением когнитивного доминирования в виде института культа личности как высшего арбитра в решении всех вопросов. Эти приоритеты нашли наиболее четкое выражение в Конституции СССР 1936 г.¹ и представленной в ней версии советской модели республиканского строя, в своих ключевых параметрах сохранившей значение до конца существования СССР.

*Конструирование мифа о «социалистическом обществе»
и «советском государстве»*

В процессе «обсуждения» Конституции СССР 1936 г. была реализована цель обретения обществом новой идеологической идентичности. Ключевой инновационный постулат

1. Медушевский А.Н. Основной закон тоталитаризма: Конституция СССР 1936 г. как инструмент социального конструирования // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 3 (106). С. 109–126; № 4 (107). С. 84–100.

авторов Конституции — «действительное осуществление равенства», т.е. идеи, которая была провозглашена, но не реализована Французской революцией, стала центральной в новейшую эпоху социальной революции и нашла выражение в «Советской республике — высшем по демократизму типе государства»¹. Конституция представляла завершением переходного этапа 1924–1936 гг.², воплощая торжество «полновластия трудящихся». В предполагавшейся «Декларации прав и обязанностей» (которая не была принята) тезис о «переходе к бесклассовому социалистическому обществу и дальнейшем росте коммунизма» жестко увязывается с выполнением гражданами условий — «охраны, укрепления и развития социалистической собственности, обязанности трудиться, защиты родины, братства народов» и т.д.³

Когнитивный поворот в интерпретации республиканизма заключался в примирении противоположных (и несовместимых) идей — коммунизма и сохранения государства. Задача решалась введением формулы «социалистического государства», которая, создавая иллюзию движения к коммунизму, позволяла сохранить представление о планомерности этого перехода и аутентичную форму диктатуры как инструмента достижения утопической цели. С этим связаны схоластические дебаты о форме данного государства и поправки к ст. 1 Проекта Конституции. Одни предлагали предельно общую формулу: «Социалистическое государство советского народа»; другие настаивали на ее классовой конкретизации: «государство трудящихся»; третьи предлагали регистрацию всех социальных групп общества, определяя СССР как «социалистическое государство рабочих, крестьян, колхозников, интеллигенции, всех трудящихся, трудового народа, трудящихся всех наций, братства и содружества народов, коммунистических

1. Рабочие материалы к Конституции СССР 1936 г. Замечания по Конституции РСФСР 1918 и 1925 гг. // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 13. Л. 9, 16.
2. «Общая схема этапа 1924–1936 гг.» // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 13. Л. 275–288.
3. «Политические и гражданские права и обязанности работников социалистического общества» Текст от 20. II. 36. // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 24. Л. 22–31.

республик»¹. Но в конечном счете закрепление получила сталинская формула: «социалистическое государство рабочих и крестьян». Она позволяла соединить идею равноправия (как основы республиканского строя в общепринятом публично-правовом понимании) с сохранением классовой дифференциации при исключении интеллигенции, которая «никогда не была и не может быть классом, — она была и останется прослойкой, рекрутирующей своих членов среди всех классов общества»².

Суть политической трансформации советской формулы республиканизма — поворот от целей революции к целям консолидации однопартийной диктатуры. Предлагалось разграничить партийную программу (образ будущего) и конституцию как юридический акт, права и их реализацию, традиционную («буржуазную») и новую («советскую») демократию (диктатуру). Общественные отношения интерпретировались с метафизических позиций, а используемые конструкции выступали когнитивными маркерами в конструировании социальной реальности. Тенденция отождествления идеологической программы и юридических норм (господствовавшая в предшествующий период) таила опасность утраты гибкости политического контроля и поэтому была отвергнута Сталиным: «программа касается главным образом будущего, конституция — настоящего», является «регистрацией и законодательным закреплением того, что уже добыто и завоевано на деле»³. Разделение идеологии и права было, разумеется, фикцией, но позволяло манипулировать юридическими нормами, наполняя их различным политическим смыслом.

В рамках пересмотра революционной парадигмы проведено конституционное закрепление новых отношений собственности. Вводилась совершенно неопределенная концепция так называемой «социалистической собственности», которая объявлялась «священной и неприкосно-

1. Разные предложения граждан к проекту новой Конституции СССР 25 ноября — 9 декабря 1936 // Ф. 3316. Оп. 41. Д. 205. Л. 3–34. Л. 6.

2. *Сталин И.В.* О проекте Конституции Союза ССР. М., 1936. С. 86.

3. Там же. С. 40–42.

венной» (П. Юдин)¹. Она представляла в двух основных формах: государственная или всенародная (высшая форма) и кооперативно-колхозная. Наряду с этими двумя основными формами вводилась неопределенная «личная собственность на предметы личного обслуживания, отдыха, удобства, личного потребления»², интерпретация которой в качестве «пережитка буржуазного права частной капиталистической собственности» инкриминировалась впоследствии школе Пашуканиса — одного из разработчиков Проекта Конституции³. Соотношение государственной (общественной) и личной собственности в данной трактовке, разъяснял один из ключевых редакторов проекта Конституции А.И. Стецкий (член ЦК ВКП(б), заведующий отделом партийной пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), член подкомиссии по общим вопросам Конституции), не имеет противоречивого характера, поскольку основано на отрицании частной собственности, опирается на единую «социалистическую систему хозяйства», гарантом которой служит диктатура пролетариата⁴. Соединение собственности и власти в данной конструкции псевдоплановой экономики⁵ тяготело к абсолютному, юридически закрепляя тотальный бюрократический контроль над индивидом.

Доктрина «социалистической демократии» как основы сталинской реконструкции республиканского проекта выдвигала перед разработчиками формальные требования равенства политических прав граждан. «Советская Конституция, — по словам разработчиков, — во-первых, полностью отменяет всякие ограничения всеобщего избирательного права; во-вторых, заменяет косвенные выборы в высшие

1. Юдин П. О государстве при социализме // Большевик. 1936. № 8. С. 59.
2. Берман Як. О формах собственности в СССР // Большевик. 1936. № 10. С. 76–87.
3. Хмельницкая Е. Право личной собственности граждан СССР // Большевик. 1937. № 4. С. 56–57.
4. Стецкий А. О роли диктатуры пролетариата в экономике переходного периода // Большевик. 1937. № 7. С. 74.
5. Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008.

советские органы республик Советского Союза выборами прямыми; в-третьих, заменяет открытые выборы закрытыми, тайными; в-четвертых, обеспечивает укрепление социалистической собственности, как основы советского общественного строя; в-пятых, сосредотачивает функции издания законов в советском парламенте — в Союзном совете»¹. С другой стороны, декларируемые основы политической демократии ограничивались ее функциональным назначением — увязывались с целями диктатуры. Данная конструкция позволяла совместить две противоположные идеи: отмену ограничений избирательного права (неприемлемых с позиций демократического республианизма) и сохранение диктатуры как формы классового господства и управления. Осуществление всех прав, как социальных (право на труд, образование, равенство полов), так и политических (свобода слова, демонстраций и проч.), изначально увязывалось с выполнением обязанностей: фиксировались идеологические, юридические и функциональные ограничения прав, делавшие невозможной их практическую реализацию. Полное осуществление конституционных прав фактически отодвигалось на будущее и связывалось с переходом к коммунизму.

Это ставило проблему наполнения юридическим содержанием эвфемизма о советском государстве, которое должно оставаться диктатурой. Она решалась манипуляциями с термином «советский строй». Советы выступали «государственной формой диктатуры пролетариата», однако вместо термина «советы депутатов трудящихся» предлагался новый — «советы народных депутатов»². В этом контексте обращают на себя внимание попытки конституционно закрепить однопартийный характер государства, связав возникновение «государства трудящихся» с «руководством коммунистической партии большевиков и ее гениальных

1. Рабочие материалы к Конституции СССР // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 13. Л. 9–10.
2. Систематическое изложение всех поступивших поправок к Конституции см.: Поправки и дополнения к Конституции 1936 г. // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 11. Л. 2.

и любимых вождей Ленина и Сталина»¹. Отказ от принятия подобных формул в окончательном тексте Конституции связан с опасением демистифицировать квазитеократический характер партийного господства, определить его в категориях права и тем самым избежать неудобного гипотетического вопроса о правовых ограничениях такого господства и статуса вождей.

Самостоятельной проблемой стала легитимация данного строя, возникшего в результате революционного переворота. Одни подчеркивали исторический аспект его легитимности («государство, созданное рабочими и крестьянами в интересах всех трудящихся» с прямой отсылкой к Октябрьской революции 1917 г.), другие — национальный аспект («коммунистическое братство народов мира» или государство «всех рас и национальностей, населяющих территорию СССР»), третьи — телеологический аспект (государство, «ставящее конечной целью организацию коммунистического общества») или идеологический («всех этих успехов трудящиеся СССР достигли под руководством коммунистической партии на основе учения Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина»)².

По инерции некоторые авторы поправок предлагали отразить в Конституции переход от социализма к коммунизму и закрепить его основной принцип — «от каждого по способностям, каждому по потребностям»³. Конституция, согласно коммунистическим представлениям, должна отразить идею всемирной коммунистической революции, выразить «мечты угнетенного человечества», продемонстрировать «волю освобожденных трудящихся СССР к миру всего мира»⁴, дать «охват прошлого, настоящего

1. О предложениях и поправках, вносимых к новой Конституции СССР с 11 по 22 сентября 1936 г. Информационные сводки № 3/9, 3/10, 3/11, 3/12 // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 16. Л. 2.
2. Поправки и дополнения к Конституции 1936 г. // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 11. Л. 1.
3. Чрезвычайный 8-й съезд советов «О ходе всенародного обсуждения проекта новой Конституции. Июль—декабрь, 1936 г.» // Ф. 331б. Оп. 8. Д. 222.
4. Письмо Л. Шарифа Якову Аркадьевичу (Яковлеву) // Ф. 331б. Оп. 40. Л. 75.

и будущего СССР» и даже определить направления деятельности местных секций Коминтерна¹. В этой риторике идеалы коммунизма выступали продолжением идей Просвещения и Французской революции, а имена классиков марксизма ставились в ряд таких социальных мыслителей, как Вольтер, Руссо, Кант и Толстой. Подобная интерпретация коммунизма, соответствующая романтическим революционным традициям, уже выступала как идеологическая ересь и содержала мощный деструктивный потенциал для режима. Ее нейтрализация проводилась в рамках апелляции к общим принципам «социалистической демократии» и большевизма как их исторического выражения. Коммунистическая риторика приобретала скорее церемониальный и символический характер, а реализация ее идей отодвигалась на неопределенное будущее.

Атмосфера дисциплинированного энтузиазма выражалась в неопределенно-восторженных ожиданиях от конституционных преобразований. Сталинская модель республиканского строя определялась участниками «всемирного обсуждения» как «величайший и нерушимый пьедестал для возведения на нем в ближайшие годы Всемирного Союза Социалистических республик», но одновременно как «то, что невозможно выразить словами»².

Модернизация политической системы СССР

Конституция 1936 г. ввела структуру государственной власти, внешне напоминающую институты парламентских республик и отличную от существовавшей в первых советских конституциях, что вполне отвечало задачам консолидации однопартийного режима с неограниченной властью вождя. Основные параметры изменений представлены концепцией так называемого «советского парламентаризма» — эвфемизмом, выражающим стремление разработчиков выйти из рамок утопической ленинской

1. Разные предложения граждан к проекту новой Конституции СССР 25 ноября — 9 декабря 1936 г. // Ф. 331б. Оп. 41. Д. 205. Л. 3–34.
2. Ф. 331б. Оп. 41. Д. 205. Л. 86–88.

теории «непосредственной демократии». Пересмотр утопической ленинской концепции «непосредственной демократии» требовал отказа от важнейшего института — съездов Советов, как регулярных, так и чрезвычайных. В первых советских конституциях им формально принадлежала вся полнота власти: на обсуждение съездов Советов и сессий ВЦИК и ЦИК регулярно выносились не только вопросы изменения конституции и законодательства (решение вопросов его принятия и конституционности), но и вопросы экономики, национального развития, обороны, советского строительства. Система центральных органов власти включала триаду: съезды Советов — ЦИК — Президиум ЦИК. Последний состоял из двух палат — Совета Союза и Совета Национальностей. В период между сессиями в стране действовал постоянный орган верховной власти — ЦИК СССР (ст. 8 Конституции СССР 1924 г.), который принимал все важнейшие законы и решал другие вопросы жизни государства. Наряду с этим в перерывах между сессиями ЦИК фигурировал его Президиум, который являлся законодательным, исполнительным и распорядительным органом власти СССР (ст. 29 Конституции СССР 1924 г.). В основе данной системы лежал принцип слияния законодательной власти, управления и судопроизводства.

Принятие концепции «советского парламентаризма» стало основной особенностью Конституции СССР 1936 г., что потребовало пересмотра структуры и взаимоотношений высших органов государственной власти. Подлинным архитектором этой квазипарламентской институциональной структуры был Сталин, сформулировавший ряд общих установок Комиссии по этому вопросу. В бумагах И.А. Акулова (секретарь ЦИК СССР, руководитель подкомиссии по центральным и местным органам власти) имеется недатированная запись высказываний Сталина по вопросам работы подкомиссии: «Съездов не будет... Президиум — толкователь законов. Законодатель — сессия (парламент)... Исполком не годится, съездов уже нет. Совет депутатов трудящихся. 2 палаты. Верховное законодательное собрание... В Конституции дать общие основы.

То, что есть, — есть...»¹. Это решение рассматривалось последующими советскими аналитиками (А.И. Лукьянов) как поворотный пункт дискуссии о структуре высших органов власти в направлении «парламентаризма»².

Принятие «парламентской» системы нашло выражение в формальном разграничении законодательных, президентских и исполнительных функций. В этой конструкции Верховный Совет — это главным образом законодательная власть (ст. 32 Конституции СССР), его Президиум — это «президентская» власть (ст. 49 Конституции СССР) и Совет Министров — это исполнительно-распорядительная власть (ст. 64 Конституции СССР). В окончательном виде общая схема институтов представлена Сталиным следующим образом: введение всеобщего избирательного права; «законодательная власть в СССР должна осуществляться только одним органом, Верховным Советом СССР»; он имеет двухпалатную структуру (Совет Союза и Совет Национальностей), необходимую в силу многонационального характера государства. Президиум Верховного Совета, включая его Председателя, — «коллегиальный президент», ибо «не должно быть единоличного президента, избираемого всем населением, наравне с Верховным Советом, и могущего противопоставлять себя Верховному Совету»³. Таким образом, все «ветви власти» блокируют друг друга, а выход из тупика возможен лишь путем делегирования власти на вышестоящий — метаконституционный уровень. Конституция, несмотря на институциональные изменения, не тронула главного — «оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса, равно как сохраняет без изменения нынешнее руководящее положение Коммунистической партии СССР»⁴.

1. Ф. 3316. Оп. 40. Д. 32. Л. 55–56.

2. Копия справки (А. Лукьянов) «К вопросу о разработке и проведении в жизнь некоторых положений Конституции СССР 1936 года (по материалам Государственного архива и некоторым материалам и документам Президиума ВС СССР)» (29. 04. 1964) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 3 (1962–64). Л. 10.

3. *Сталин И.В.* О проекте Конституции Союза ССР. М., 1936. С. 100–104, 109.

4. *Он же.* Вопросы ленинизма. Изд. 11. М.; Л., 1945. С. 523.

Общий баланс в решении проблемы федерализма определялся, как и в случае со структурой высших органов власти, стремлением сохранить идеологические стереотипы при одновременной жесткой фиксации неподвижной и бюрократизированной структуры управления. Именно поэтому Сталин выступил за сохранение в Конституции номинальной нормы о праве выхода республик из союза (как идеологической декларации его добровольности), но одновременно настаивал (для сохранения незыблемости всей конструкции) на конституционном закреплении существующего административно-территориального деления, включая перечисление всех краев и областей, причем не допускал возможности изменения их статуса в будущем (например, перевода автономных республик в разряд союзных)¹.

Это, разумеется, нисколько не помешало последующему развитию централизаторских тенденций. Номинальная природа советского федерализма не могла препятствовать тенденциям к унитаризму, а последние предполагали унификацию административно-территориального деления. Схема советских федеративных принципов противоречиво сочетала сформировавшуюся ранее концепцию непосредственной демократии с жестко централизованной вертикалью исполнительной власти, способной манипулировать декоративными советскими институтами в целях массовой мобилизации и легитимации предельно централизованного режима.

Доктринальный поворот выражался в новой концепции соотношения права и целесообразности, выдвинутой с принятием Конституции 1936 г. Если в эпоху формирования советского режима право вообще отвергалось в пользу так называемого «революционного правосознания», то в дальнейшем, с упрощением советской государственности, возобладала концепция «революционной законности», предложившая особую «классовую» теорию права. Ее основное противоречие заключалось в сохранении имманентной конфликтности права и политической целесообразности. Решение проблемы было найдено в выдвинутой Вышинским

1. *Он же*. О проекте Конституции Союза ССР. С. 92–94, 99.

концепции «социалистической законности», отождествившей право и целесообразность. Противопоставление «социалистического правосознания» закону, а закона — целесообразности объявлялось неверным, а адепты этой теории — врагами народа. Суть концепции «социалистического правопорядка» состояла в формальном восстановлении законности, но одновременно полном выхолащивании содержания этого понятия, открывавшем путь террору.

На деле речь шла об использовании квазипарламентских форм для консолидации режима однопартийной диктатуры. Эта задача решалась по линии унификации, централизации и бюрократизации управления. Выведение реальной власти и ее коммуникаций из-под социального контроля в рамках тайного аппарата принятия решений¹ облегчало задачу неформального наблюдения за всеми формальными органами власти, давая полную свободу действий вождю. Центральная роль вождя (вопреки предложениям о ее конституционализации и объявлении Сталина Президентом, высказанным в ходе «всенародного обсуждения») определялась внеправовым потенциалом контроля и манипулирования всеми институтами власти, включая «коллективного президента», институты госбезопасности и высшие партийные структуры.

Демократия и однопартийная диктатура

Наиболее острой проблемой правового регулирования становился вопрос о том, как совместить демократию и диктатуру. С одной стороны, официально декларировалось (В. Молотовым), что Конституция полностью воплощает революционные чаяния и закрепляет «всестороннее развитие демократизма трудящихся»², закрепляет, по словам юриста П. Юдина, торжество социализма — «политическое

1. *Rosenfeldt N.E.* The «Special» World: Stalin's Power Apparatus and the Soviet System's Secret Structures of Communication. Vol. 1–2. Copenhagen, 2009.
2. *Молотов В.М.* К двадцатилетию Октябрьской революции. Доклад на торжественном заседании в Большом театре 6 ноября 1937 г. // *Большевик*. 1937. № 22. С. 5–7.

и моральное единство народа», выраженное в «коммунистическом сознании трудящихся», поскольку ни у рабочих, ни у крестьян, ни у интеллигенции «нет обособленных и противоположных политических интересов»¹. С другой стороны, тезис о бесклассовом обществе представлялся советским идеологам опасным, ибо порождал сомнения в необходимости продолжения диктатуры. На эту опасность постоянно указывал один из ведущих идеологов и разработчиков Конституции А. Стецкий, предпочитавший концепции бесклассового общества тезис о «социалистическом государстве»²: «Некоторые, — констатировал он, — задумываются: что же такое теперь наша компартия, что такое наше государство, нужно ли это государство вообще и можем ли мы говорить, что нам это государство, наше советское государство, необходимо?»³ «Значит ли, что когда социалистическое общество в СССР построено, диктатура рабочего класса отходит в прошлое, сходит с исторической сцены? Нет и нет!»⁴ Конституция, настаивал он, «плод диктатуры рабочего класса», но временно — «ее дальнейшее развитие»⁵, ее проект — «отгиск, слепок социальной организации общества» — формы диктатуры «уже не переходного периода, а социалистического общества»⁶. Поэтому разъяснялось, что новая Конституция остается «орудием дальнейшего укрепления социалистического государства, инструментом окончательного подавления всяких вредительских актов со стороны последышей классово вредных элементов»⁷.

1. *Юдин П.* Социализм и государство // *Большевик.* 1936. № 21. С. 27; *Он же.* Об уничтожении эксплуататорских классов в СССР // *Большевик.* 1937. № 22. С. 54.
2. *Стецкий А.* Конституция социалистического государства. М., 1936.
3. *Он же.* О ликвидации классов в СССР // *Большевик.* 1936. № 11. С. 9.
4. *Он же.* Диктатура рабочего класса и построение социализма в СССР // *Большевик.* 1937. № 21. С. 26.
5. *Он же.* Сталинская конституция — воплощение идей Ленина // *Большевик.* 1937. № 3. С. 15.
6. *Он же.* Конституция социалистического государства // *Большевик.* 1936. № 13. С. 15–34. Цитата — с. 20.
7. «Конституция социалистического государства рабочих и крестьян». Передовая // *Большевик.* 1936. № 11. С. 5.

Модель сконструированной Сталиным республиканской политической системы можно определить как однопартийную деспотию, отношения общества и государства в которой основаны на делегировании полномочий снизу вверх и распределении ответственности сверху вниз. Структура центральных институтов власти, определявшаяся как «советский парламентаризм» во главе с «коллективным президентом» (Президиумом ВС СССР), является его противоположностью, исключая социальный контроль и политическую конкуренцию. Соотношение централизаторских и децентрализаторских тенденций в рамках советского «федерализма» определялось текущими потребностями управления, а судебная власть полностью контролировалась прокуратурой и тайной полицией. Мозговой центр этой системы — вождь и партийная элита — сознательно выведены из сферы конституционно-правового контроля, что дает им ряд важных преимуществ: абсолютность власти (никак не ограниченной юридически), полноту информированности (исключенную для большинства населения), свободу действий как в правовом пространстве, так и во внеправовом, включая неограниченное применение насилия против реальных и подразумеваемых оппонентов режима.

Ключевое значение приобретал правовой статус так называемых «общественных организаций» и прежде всего — коммунистической партии. Итоговая формула о партии как «руководящем ядре всех организаций трудящихся» возникла не сразу¹. В черновом наброске, написанном рукой Яковлева, говорится о компартии, «являющейся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за победу коммунизма и основной руководящей силой всех организаций (общественных добровольных организаций и советов) трудящихся в СССР». В окончательной редакции, принятой Сталиным, эта часть статьи о праве граждан на объединение в проекте Конституции СССР 1936 г. выглядела следующим образом: «Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся

1. Черновые наброски проекта Конституции СССР // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 5. Л. 232–233.

объединяются в Коммунистическую партию СССР, являющуюся передовым отрядом в их борьбе за построение коммунизма и представляющую собой *руководящее ядро всех организаций трудящихся как общественных, так и государственных*.

Данная формула, напоминающая корпоративистские теории Л. Дюги и его комментаторов в авторитарных режимах Европы, зафиксированная в одной из последних глав Конституции в статье 126 о праве граждан на объединение, выражала слияние общества и государства, при котором партия из общественной организации превращалась в государственную структуру. Официальная идеологическая доктрина видела в партии гаранта существующего строя¹, основной инструмент его демократизации — трансформации «народного государства» в «коммунистическое общество»², но выводила ее «авангардную роль» из диктатуры³, подчеркивая приоритет аппарата, который, по словам Л. Кагановича, есть «великое и хорошее дело», «проводит в жизнь то, что нужно партии, контролирует выполнение партийных решений»⁴, причем прием индивида в партию (или исключение из нее) объявлялись когнитивным переломом — главным событием его жизни, означающим «переход грани между партийностью и беспартийностью»⁵. По признанию последующих советских аналитиков (1960-х гг.), окончательная формула о партии выражала приоритет государства над обществом⁶.

Для западных критиков Конституции принятие формулы однопартийного государства означало отказ от полноценной демократии, превращение Конституции

1. «Торжество ленинизма». Передовая // Большевик. 1936. № 2. С. 7.
2. Юдин П. Социализм и демократия // Большевик. 1935. № 17. С. 35–44.
3. Кнорин В. Об авангардной роли ВКП(б) в эпоху социализма // Большевик. 1936. № 24. С. 39.
4. Каганович Л.М. О внутрипартийной работе и отделах руководящих работников // Большевик. 1934. № 21. С. 16.
5. «О возобновлении приема в партию». Передовая // Большевик. 1936. № 20. С. 3.
6. Докладная записка тов. Брежневу Л.И. «Некоторые данные о подготовке Конституции СССР 1936 года и рассмотрении этих материалов у Сталина» // Ф. 7523 (Верховный Совет СССР). Оп. 131. Д. 1 (1962 г.). Л. 30.

в «пустое обещание» и «потемкинскую деревню». Сталин выдвинул ряд софизмов, ставших позднее основой официальной позиции по данному вопросу: поскольку в СССР нет антагонистических классов, здесь нет почвы для нескольких партий, а только для одной — коммунистической¹; на всеобщих выборах возможно выдвижение избирательных списков как от партийных, так и от беспартийных общественных организаций, а следовательно, «оживленная» избирательная борьба между кандидатами. «Всеобщие, равные, прямые и тайные выборы в СССР, — заявлял он, — будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти»². Этот хлыст, однако, так и не получил применения до начала перестройки в СССР.

Правовое конструирование и символическое оформление новой версии советского республиканизма включали конвертацию коммунистической идеологии в конституционную терминологию, фиксацию социальной структуры «полного социалистического типа общества», отношений общества и государства, прав и обязанностей общественных организаций и роли партии. Создание системы деспотического мобилизационного государства приобретало законченный вид, связав три компонента: идеологию (ленинизм), политическую систему (диктатура) и роль партии, статус вождя которой (в отличие от некоторых других авторитарных конституций) предусмотрительно не получал юридического закрепления, а следовательно, не мог быть ограничен правовыми средствами.

Консолидация режима единоличной власти

Республиканский строй периода сталинизма на высшей стадии его развития может быть определен как цезаристская диктатура, социологическая формула которой состоит

1. Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР. С. 59–61, 75–76.
2. Беседа тов. Сталина с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» г-ном Рой Говардом 1-го марта 1936 г. М., 1936. С. 20, 23.

в расширении социальной базы режима при устранении прежних элитных групп для обеспечения прямой легитимации единоличной монополии диктатора на власть и насилие.

Равенство гражданских прав распространялось теперь на все население страны («советский народ» или «трудящиеся»), демонстрируя переход к «подлинной социалистической демократии» — отказу от классовых ограничений избирательного права при сохранении однопартийной диктатуры. Конституция, согласно разъяснениям Молотова, устанавливала впечатляющие демократические гарантии: всеобщие, прямые, равные и тайные выборы во все советы трудящихся вплоть до высших органов советской власти; заменяла многоступенчатые выборы средних и высших органов советской власти прямыми выборами; отменяла имевшиеся преимущества пролетариев перед крестьянами при выборах в советы, снимала вопрос о лишенцах, поскольку все граждане получали формальное право выбирать и быть избранными в советы; вместо открытых выборов вводила тайные выборы в советы. Прокламировался институт всенародного опроса (референдума) «для тех случаев, когда это будет признано необходимым Верховным Советом СССР или одной из союзных республик». На стадии обсуждения проекта Конституции был сделан даже намек на возможность включения в списки не одного, а нескольких кандидатов в советы, которых «наряду с организациями большевистской партии, могут выставлять также многочисленные у нас беспартийные организации»¹.

Речь шла о предоставлении права выдвижения кандидатов «общественным организациям» и «обществам трудящихся» — коммунистическим партийным органам, профессиональным союзам, кооперативам, органам молодежи, культурным объединениям и другим организациям, зарегистрированным в установленном порядке (ст. 141 Конституции). Этот принцип был зафиксирован в «Положении

1. *Молотов В.М.* Конституция социализма // *Большевик*. 1936. № 23. С. 24.

о выборах в Верховный Совет СССР»¹ и даже стал основой лицемерных заявлений прокурора Вышинского о «предотвращении нарушений избирательных прав граждан» в союзных республиках². Все это означало, говоря словами Токвиля, формальное равенство в деспотии в отличие от равенства в свободе³.

Но подлинной целью Конституции явилась легитимация однопартийной диктатуры, что предполагало резкое формальное ограничение действия правовых гарантий. Этот тезис неоднократно подчеркивал Сталин: «где нет нескольких классов, не может быть нескольких партий, ибо партия есть часть класса»⁴; «в СССР имеется почва только для одной партии, коммунистической партии», «может существовать лишь одна партия — партия коммунистов»⁵. «За бортом, — говорил Молотов, — остается только (!) право на легальность для политических партий, кроме партии коммунизма», «другие политические партии, как показал весь наш опыт, являются только агентурой реставраторов капитализма, не может быть места для их легализации»⁶.

Реализация мобилизационной функции выражалась в принятии формулы избирательного законодательства, исключавшей неконтролируемый характер народного волеизъявления. Населению разъяснялось, что введение всеобщего избирательного права вовсе не означает «отступление от принципов диктатуры пролетариата и поворот в сторону

1. Положение о выборах в Верховный Совет СССР. Проект, одобренный Президиумом ЦИК СССР для внесения на рассмотрение 6-й сессии ЦИК СССР (Приложение к п. 1 протокола № 101 от 1 июля 1937 г.) // Ф. 3316. Оп. 13. Д. 28. Л. 105–109.
2. Ф. 3316. Оп. 13. Д. 28. Л. 38 об.
3. *Токвиль А. де.* Демократия в Америке. М., 1992.
4. Беседа тов. Сталина с председателем Американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» г-ном Рой Говардом // Большевик. 1936. № 6. С. 7.
5. *Сталин И.В.* О проекте Конституции Союза ССР. Доклад на чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г. // Большевик. 1936. № 23. С. 13.
6. *Молотов В.М.* Конституция социализма // Большевик. 1936. № 23. С. 24.

буржуазно-демократического строя»¹, демократические выборы неверно понимать как «борьбу между политическими партиями»², напротив, демократизация избирательной системы означает расширение социальной базы диктатуры³, а избирательная кампания в Верховный Совет имеет целью исключительно ее укрепление⁴. Важной функцией выборов становилась легитимация террора против оппонентов режима (как действительных, так и потенциально возможных). «Конституция, — подчеркивал Яковлев на закрытом партийном собрании 10 июня 1936 г., — строит все выборные органы на основе всеобщего равенства и прямого избирательного права при тайном голосовании». Однако буквальное проведение этого принципа, говорил он, цитируя Ежова, может быть неправильно истолковано «пассивными коммунистами» и использовано оппонентами режима, ибо «враг не дремлет!»⁵ В ходе выборов по новой Конституции, считало партийное руководство (А. Жданов), «придется иметь дело с враждебной агитацией и кандидатурами», о чем говорит «оживление антисоветских элементов», стремящихся использовать «легальные возможности, предоставляемые новой Конституцией»⁶, а сами выборы, по словам Вышинского, продемонстрировали будто бы «вражескую работу», состоящую в «покушениях на наш новый избирательный закон»⁷.

Нельзя согласиться с тезисом о том, что избирательные ограничения были связаны с опасением прохождения

1. *Челяпов Н.* Всеобщее, прямое, равное избирательное право при тайном голосовании // *Большевик.* 1936. № 11. С. 71–83.
2. «Социализм, уничтожение классов и расцвет советской демократии». Передовая // *Большевик.* 1936. № 8. С. 5.
3. *Ангаров А.* Социалистическое государство и Советы трудящихся // *Большевик.* 1936. № 18. С. 39–48.
4. *Москатов П.* Избирательная кампания на решающем этапе // *Большевик.* 1937. № 22. С. 25.
5. Доклад тов. Яковлева об итогах Пленума 1936 года на закрытом партийном собрании от 10 июня 1936 г. // Ф. 331б. Оп. 40. Д. 22. Л. 4, 6, 18.
6. *Жданов А.* Доклад на Пленуме ЦК ВКП (б). 26 февраля 1937 года // *Большевик.* 1937. № 5–6. С. 8.
7. *Вышинский А.* Накануне выборов в Верховный Совет СССР // *Большевик.* 1937. № 21.

неугодных кандидатов — это исключалось организацией «избирательной кампании», порядком выдвижения кандидатов, не допускавшим импровизацию, и возможностью в любой момент скорректировать неправильный «выбор народа». Выборы изначально задумывались как фарс, поскольку вместо обещанной «конкуренции» различных кандидатов от «общественных организаций» дело свелось к выдвижению заранее утвержденных партийных кандидатур. Верховный Совет оказался вполне фиктивным институтом, а «депутатская неприкосновенность» не защищала «народных представителей» от арестов между его сессиями — без объяснений причин отсутствия депутатов или последующего заполнения «вакантных мест» путем дополнительных выборов. «Советский парламентаризм» стал пародией на демократическое народное представительство.

Функция культа личности в этой системе принципиальна, поскольку фиксирует роль вождя как верховного жреца идеологического культа, контролера, медиатора и цензора¹. Особенность советского вождизма выявляется при сравнении с немецким вариантом. В Германии культ личности фюрера возник вследствие глубокого кризиса парламентской системы и широко распространенной ностальгии по харизматическому лидеру, статус которого получал юридическое закрепление (в принципе фюрерства). В России возникновение культа личности объяснялось кризисом легитимности однопартийного режима, оказавшегося неспособным выполнить свои коммунистические обещания, совершив мировую революцию².

Главная причина трансформации однопартийной диктатуры в режим личной власти состоит в том, что в условиях отсутствия политической конкуренции вождь выступает как единственный выразитель, защитник и истолкователь программных партийных устремлений, персонифицирует их в глазах адептов, а публичная политика из конституционно-правовых форм переходит в область аппаратных

1. Осмыслить культ Сталина. М., 1989; История и сталинизм. М., 1991.

2. Люкс Л. История России и Советского Союза от Ленина до Сталина. М., 2008. С. 285.

махинаций и персонального искусства лидера. Несмотря на безмерность сталинского культа, Л. Фейхтвангер не нашел поэтому «признаков, указывающих на искусственность этого чувства». Он определил Сталина как «демократического диктатора» и резюмировал: «Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его „умножателем“ во всех отношениях»¹. На деле данный режим был новым воспроизведением классической тирании в новых республиканских формах. Соединение идеологического предвидения, полной информированности и неограниченной свободы применения насилия для политического конструирования оказывалось возможно только при абсолютной власти, создании автономной тайной системы коммуникаций и владении искусством ее использования — «византийского стиля» Сталина как мастера политической интриги.

*Террор как инструмент фиксации
новой политической реальности*

Как всякая новая формула масштабных социальных преобразований, сталинская модель тоталитарной республики требовала символического выражения, правового закрепления и когнитивной фиксации вопреки оппозиционным или альтернативным воззрениям. Связь принятия Конституции с террором очевидна, но должна получить новую интерпретацию. Конституция и ее «всенародное обсуждение», безусловно, ставили задачами демонстрацию демократичности системы и обман Запада, но этим не исчерпывается ее значение.

Конституция была не столько прикрытием террора (как думали некоторые русские и иностранные современники), сколько правовой основой его проведения, задавая масштаб, смысл и порядок осуществления. Во-первых, прослеживается связь инициирования конституционных поправок с началом террора, который Сталин, по свидетельству успешного

1. *Фейхтвангер Л.* Москва 1937. Отчет о поездке для моих друзей. М., 1937. С. 46, 67.

бежать на Запад А. Бармина, задумал, руководствуясь успешным опытом Гитлера, физически уничтожившего в 1934 г. своих противников при полном равнодушии всего «цивилизованного мира»¹. Во-вторых, понятен переход от идеи отдельных конституционных поправок (1935 г.) к принятию нового «Основного закона» именно в 1936 г., когда стала необходима масштабная мобилизационная акция, способная объединить «политически неискушенные слои населения» для легитимации фактического переворота — начавшегося уничтожения всей старой элиты. В-третьих, понятны сроки и форсированный режим разработки и принятия новой Конституции (5 декабря 1936 г.) — между двумя Московскими процессами: Зиновьева—Каменева (август 1936 г.) и Радека—Пятакова (январь 1937 г.), в ходе которых обвинения в терроризме сменились более радикальными обвинениями в подготовке внешней интервенции, а также включение в Конституционную комиссию ряда оппозиционеров (в том числе Бухарина и Радека), призванное продемонстрировать фикцию единства и преемственности партийно-государственного руководства. Наконец, принятие Конституции открыло шлюзы Большому террору 1937–1938 гг. — целенаправленной акции в масштабах всего государства², осуществлявшейся под руководством «Большевистского Марата» — Н. Ежова и направленной на партийных, государственных и военных деятелей, в ходе которой было арестовано до 1,5 млн. человек, около половины из которых были расстреляны³. Формальное окончание террора было зафиксировано постановлением ЦК и СНК «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», утвержденным на Политбюро 17 ноября 1938 г. и официально представленным как возврат к «нормальному» конституционному порядку, исключавшему спонтанные перегибы

1. *Бармин А.Г.* Соколы Троцкого. М., 1997.
2. *Павлова И.В.* Сталинизм. Становление механизма власти. Новосибирск, 1993; *Хлевнюк О.* Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996; *Он же.* Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
3. *Петров Н., Янсен М.* «Сталинский питомец» — Николай Ежов. М., 2008.

и нарушения в проведении репрессий. Террор начинает интерпретироваться скорее как чрезвычайная акция, хотя на деле его методы применяются и в дальнейшем¹.

Имманентная связь Конституции и террора выражает особенности утверждения данной системы и когнитивного закрепления ее принципов, прежде всего «двоемыслия»: необходимости для индивида следовать одновременно формальным и неформальным предписаниям системы, быстро реагируя на изменение их соотношения. Конституция — необходимая формальная рамка террора, но последний фактически определяет приоритеты и порядок разработки Конституции, селекцию ее принципов и норм, их идеологическое толкование и применение. Террор оказывается необходимым инструментом преодоления когнитивного диссонанса, выражающего несоответствие формальных конституционных норм и реальности, но одновременно служит для когнитивного закрепления соответствующих стереотипов — неписаных наград и кар за санкционированное и отклоняющееся поведение.

Образ советского государства как высшей формы народновластия: сталинские технологии политического пиара

Создание образа Советской Республики как государства «победившего социализма» и «высшей исторической формы народной демократии» — важный самостоятельный компонент идеологии и практики сталинизма во внешней и внутренней политике. Юридическая фиктивность Конституции 1936 г. не означала ее вполне реального социального эффекта. Значение документа состояло вовсе не в декларированных принципах, но в создании квазиправовой реальности, обеспечивавшей возможность осуществления государством социальной мобилизации в невиданных ранее исторических масштабах.

Достижению этой цели служила кампания по «обсуждению» конституции, которая тотально дезориентировала

1. *Верм Н.* Террор и беспорядок. Сталинизм как система. М., 2010.

общество, реконструировала его сознание и структуру в новых категориях, навязала ему ту трактовку основных юридических понятий, которые соответствовали целям репрессивной однопартийной диктатуры. Организация всенародного обсуждения выступает как идеально спланированная пропагандистская кампания в форме внешней и внутренней акции политического пиара со всеми атрибутами ее осуществления. Эта акция уникальна в мировой истории по масштабам, формам и интенсивности проведения. При ее проведении был найден оптимальный баланс внешнего и внутреннего образа власти¹.

Во внешней среде информационная кампания, построенная по последнему слову американских пиар-технологий, была всецело направлена на устойчивые стереотипы и ожидания западного сознания. Она была ориентирована на те страхи, которые существовали в американском и европейском обществе рассматриваемого периода, связанные с экономическим кризисом, международной нестабильностью и установлением фашизма в Европе. Кампания предлагала четкие ответы на основные социальные запросы эпохи Нового курса, связанные со стремлением преодолеть разрыв между консервативными правовыми формами и представлениями о социальной справедливости, драматический разрыв которых стал выражением кризиса Великой депрессии.

Была предложена такая повестка дискуссии, которая вполне удовлетворяла правящие круги США: представление о последовательном переходе от коммунистической революции к конституционной стабильности, предполагавшем реставрационную или даже «термидорианскую» логику развития советского режима. Демонстрировалось внешнее сходство нового строя с парламентскими и представительными институтами либеральной демократии,

1. *Медушевский А. Н.* Право и социальная мобилизация в тоталитарном обществе: «Всенародное обсуждение» Конституции СССР 1936 года // *Общественные науки и современность.* 2016. № 4. С. 89–108; *Он же.* Как Сталину удалось обмануть Запад: принятие Конституции 1936 г. с позиций политического пиара // *Общественные науки и современность.* 2016. № 3. С. 122–138.

что стало особенно значимым фактором на фоне консолидации фашистских диктатур. Это допускало предположение о «доброй воле» сталинского руководства, сверху насаждающего демократию в виде перехода к всеобщему избирательному праву. Серьезным аргументом в поддержку данной трактовки становился международный аспект дискуссии — позиционирование СССР как союзника Запада в борьбе с новой и чрезвычайно опасной формой экстремизма — фашистской угрозой.

Во внутренней среде в центре внимания оказывалась повестка конституционной реформы, подкрепленная развернутой в СССР кампанией по «всенародному обсуждению конституции». «Всенародное обсуждение» сталинской Конституции есть акция, которую следует поместить между пропагандой и пиаром в их современном понимании. С одной стороны, это была, несомненно, пропагандистская кампания, направленная на внедрение ложного мифа о «стране победившего социализма», «подлинной демократии» и «государстве трудящихся». С другой стороны, это была продуманная пиар-акция, решавшая задачи укрепления нового политического режима. Ее субъектом являлась политическая власть, объектом — вся «советская общественность». Проблема состояла в преодолении когнитивного диссонанса — кризиса ожиданий, связанных с утратой веры в «мировую коммунистическую революцию», путем выхода из революционных потрясений — реализации нового социального контракта власти и общества: стабильность в обмен на активную лояльность. Поэтому методом не могла стать простая индоктринация (пропаганда в узком понимании термина). Требовалось именно превращение информации в коммуникацию, причем это была «двусторонняя» коммуникация, формально предполагавшая диалог сторон и теоретически допускавшая даже корректировку первоначального замысла. О том, что подобная коммуникация действительно имела место, говорит, во-первых, появление «неконвенциональных» («враждебных», по терминологии источников) предложений со стороны части общества; во-вторых, необходимость официального

разъяснения их «ошибочного» характера; в-третьих, табуизация ряда тем с целью их механического исключения из обсуждения.

С этих позиций проясняются декларативные и реальные цели и задачи кампании: создание новой картины мира — пространства, времени и смысла существования, соотношения идеологии и права в общественном восприятии; конструирование новой социальной реальности — фреймов социальной структуры и иерархии; закрепление новой институциональной структуры; определение когнитивного доминирования правящей группы и культа вождя. Кампания была нацелена на переформатирование идеологической формулы (подмена коммунизма «победой социализма»), перелицовку фасада («всеобщие выборы» вместо классовых ограничений); реформу политической системы («советский парламентаризм» вместо прямой диктатуры), соотношения прав и обязанностей (в пользу последних), структуры номинальных институтов власти и ее символов (закрепление в сознании культа личности).

В ходе «всенародного обсуждения» решалась важная задача — дрессировка общества (в бихевиористском смысле) путем подмены декларированных правовых норм их трактовкой с искаженным смыслом (знаменитое «двоемыслие»); фиксация социально приемлемого и неприемлемого поведения; конструирование образа врага (внешнего и внутреннего) и его стигматизация. В целом выясняется связь принятия Конституции с Большим террором, являвшимся важнейшим инструментом закрепления когнитивного доминирования сталинской элиты. О продуманности социальной техники проведения кампании говорит четкость организации и отчетности, сегментирование информационных потоков для различных целевых групп (народных масс, национальных меньшинств, иностранцев, интеллигенции, эмиграции).

С позиций политического пиара данная акция должна быть оценена как несомненный успех ее инициаторов, поскольку она решила поставленную проблему — выход из кризиса коммунистической утопии при сохранении

и укреплении легитимирующей основы режима. Кумулятивное воздействие акций внешнего и внутреннего пиара способствовало созданию мифа сталинской конституции как «самой демократической в мире».

Тенденции развития советской модели республиканизма

Значение сталинской модели республиканизма (и заложенной в ней конструкции власти) определяется вовсе не юридическими положениями — они имели столь же фантастический и фиктивный характер, как и вся советская традиция номинального конституционализма. Оно состоит в создании легальной (республиканско-демократической) основы цезаристского режима без его формально-юридического закрепления. Конституция 1936 г., во-первых, закрепляла новые принципы и формы когнитивного доминирования партии в обществе; во-вторых, вводила систему институтов, способных манипулировать сознанием общества в интересах мобилизационных целей режима; в-третьих, фиксировала рамки формальной институциональной иерархии органов управления, контроля и принуждения в виде квазипредставительных советских, судебных и карательных институтов государства.

Ключевая проблема номинального конституционализма — пропасть между декларированными нормами и реальностью — снимается за счет внеконституционных (политических) институтов контроля и толкования Конституции. Устойчивость и долговременное существование данной политико-правовой конструкции возможны только при воспроизводстве когнитивного доминирования партии в обществе — его утрата ведет к эрозии всей системы информационных связей, закрепляющих их формальных и неформальных норм. Гибкость этой системы определяется соотношением правовых и идеологических источников права — возможностью трансформации правовых принципов и норм путем толкования их смысла в зависимости от меняющейся политической конъюнктуры. Гарантом Конституции выступает здесь партия (Политбюро), точнее ее

вождь, являющийся высшей инстанцией в определении соответствия писанных норм квазирелигиозным (идеологическим) постулатам. Это делает необходимым институт культа личности — соединения всех видов власти на идеологическом (метаconstитуционном) уровне в медиативной функции вождя, выступавшего как совершенный и непререкаемый арбитр в отношениях общества и государства, права и власти, вообще интерпретации смысла существования.

Главным результатом кампании следует признать создание мифа о Советской Республике как воплощении социальной справедливости — «стране победившего социализма», «высшей исторической форме демократии», а ее конституции как «самой демократической» во всемирной истории — стереотипов, определивших развитие советской правовой традиции вплоть до ее крушения. Конституция 1936 г. и пиар-акция, сопровождавшая ее принятие, создали прочные когнитивные рамки всего советского конституционализма, пересмотр которых (именно в силу его номинальности) оказывался невозможен без разрушения системы.

Данный миф оказался настолько устойчив, что эффективно парализовал все последующие попытки его корректировки в рамках советского номинального конституционализма, а его отголоски дошли до наших дней, составляя ресурс современных авторитарно-реставрационных тенденций политической системы.

Эволюция легитимирующей формулы советского республиканизма во второй половине XX в. (1960–1991)

Поддержание стабильности позднего советского республиканского строя настоятельно требовало модернизации идеологии — поиска адекватных когнитивных установок, рационализации институтов, правовой легитимации режима и обеспечения преемственности власти. Исчерпание мобилизационного потенциала коммунистического мифа и революционной харизмы советского режима на завершающей

стадии его существования стало следствием процессов глобализации, информационного обмена и распространения идеологии прав человека, мощно заявивших о себе с окончанием Второй мировой войны и особенно в последней трети XX в. Противостоять этим вызовам призвана была новая трактовка советского республиканизма как «общенародного государства», последовательно эволюционирующего в особую разновидность «социалистического правового государства». Однако данный вектор понимания республиканизма сталкивался с базовыми принципами легитимирующей формулы советского государства, требуя наполнения их новым идеологическим содержанием.

Попытка реанимации коммунизма в виде принятия его как правовой фикции, предпринятая в период оттепели, быстро выявила непригодность идеологических постулатов как основы конституционного конструирования. Неопределенность правовых «правил игры» в советской политике, ставшая очевидной в ходе критики культа личности и свержения Хрущева (внутрипартийный переворот 14 октября 1964 г.), дезориентировала элиту и таила опасность новой тирании. Это определило направления разработки теоретических основ советского конституционализма 1970 — начала 1980-х гг.: введение эвфемизмов «общенародного государства», «расширения социалистической демократии» и «социалистической законности» как возврат к «ленинским нормам». Поиск новой легитимирующей формулы власти проходил в деятельности Конституционной комиссии, которая началась в период оттепели 1960-х гг. (Конституционный проект 1964 г.), но завершилась только через 15 лет с принятием Конституции СССР «развитого социализма» 1977 г.

Нежелание партийно-бюрократической элиты поступиться идеологическими принципами, с одной стороны, и растущее опасение утраты власти, с другой, вели к общей непродуктивности реформационных инициатив, в течение десятилетий имитировавших полноценную конституционную и законодательную работу компульсивной административной деятельностью. Общим итогом деградации

политической системы стал кризис советской модели республиканского устройства — отказ от ее идеологии, правовых и политических институтов в период перестройки (1985–1990) и, как результат, — распад СССР в 1991 г.

Идеология и программа политических реформ периода оттепели (1961–1964)

Интуитивное ощущение необходимости «переучреждения» советских республиканских институтов формируется в эпоху десталинизации конца 1950-х — начала 1960-х гг.¹ Главная особенность несостоявшейся Конституции 1964 г. заключается в стремлении юридически оформить и кодифицировать идеологические изменения периода оттепели. Эти изменения, связанные с ограниченной демократизацией однопартийного режима без отказа от его фундаментальных основ, нуждались в легитимации и правовом выражении. Выход был найден в идее возврата к истокам коммунистической идеологии, так называемым «ленинским нормам», представленным якобы в первых советских конституциях, но искаженным и утраченным будто бы в период сталинизма².

Попытка конституционализации коммунизма связана в целом с поиском альтернативы модели сверхцентрализованной машины государственного управления, сбой которой стали ощущаться уже в послевоенный период, когда (в 1946–1948 гг.) началось закрытое обсуждение новой редакции партийной программы и конституционной реформы, направленной на осторожную деbüroкратизацию системы. Идея зафиксировать коммунизм в конституционном праве была публично выдвинута Н.С. Хрущевым по итогам победы над сталинистами на XXI съезде КПСС (1959 г.). Работа над проектом новой Конституции,

1. Культура и власть в СССР: 1920–1950-е годы. М., 2017.

2. Медушевский А.Н. Коммунизм как социальная утопия и юридическая фикция: проект конституции периода «Оттепели» (1961–1964) // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 3 (94). С. 144–154; № 4 (95). С. 132–144.

начавшаяся с 1961 г., завершилась подготовкой ее проекта в 1964 г.¹, но была приостановлена более чем на десятилетие после свержения Хрущева Октябрьским пленумом ЦК КПСС 1964 г. Хрущев был отстранен от власти, и вопрос о Конституции оказался отложен более чем на десятилетие. Данная уникальная попытка юридически зафиксировать коммунистическую утопию определила основное противоречие Конституции Хрущева, но одновременно — интерес обращения к представленной модели переустройства советской системы — модели, ставшей затем импульсом идеологии перестройки М.С. Горбачева.

Отправной точкой реформ Советской республики должны были служить положения новой, третьей Программы КПСС, обещавшей введение коммунизма и переход от диктатуры к «общенародному государству», которые предполагалось оформить и зафиксировать в виде правовых норм². Изначально доминировали следующие идеи: новая Конституция «развернутого строительства коммунизма» должна была, во-первых, быть не чисто идеологическим документом, но составлять «базу для дальнейшего развития советского законодательства»; во-вторых, отразить существование «социалистического лагеря» и «принцип мирного сосуществования стран с различными социальными системами»; в-третьих, подтвердить «принцип партийного руководства советским обществом и государством» при возрастающей роли партии; в-четвертых, быть Конституцией не только государства, но и общества, отражая переход от диктатуры к общенародному государству. При обосновании этого положения использовался эвфемизм «широкого развития демократизма», означавший «все более широкое привлечение трудящихся к управлению общественными делами, к руководству хозяйственным культурным строительством — как главное направление в развитии социалистической государственности, создающее условия

1. Проект: Конституция СССР. Основной закон (август—сентябрь 1964 г.) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 28. Л. 109–219.
2. Справочный материал по подготовке проекта новой конституции СССР // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 6. Л. 1–203.

для ее перерастания в коммунистическое общественное самоуправление»¹.

Прежде всего, сама попытка конституционализировать утопию выявила фундаментальное противоречие идеологии и права. В отличие от религиозного мифа теократических государств, коммунистический миф имел существенную специфику: он постулировал себя как рациональную светскую идеологию — научный вывод, подтвержденный анализом социальных закономерностей и раскрывающий не только прошлое, но и будущее человечества. Данный миф не только предполагал веру, но и претендовал на знание общественных законов, а следовательно, возможность направленного социального конструирования через соответствующую политику права. Этим объясняется парадоксальное сочетание неопределенных идеологических постулатов и строгих юридических норм, призванных обеспечить их функционирование в переходный период.

Конституция 1964 г. доводит до логического конца противоречия всех конституций советского типа: приоритет идеологии над правом; стремление к точному определению стадии развития общества; использование экономических и социологических понятий в качестве правовых; соединение прав и обязанностей (условный характер прав); своеобразие их гарантий (материальными, а не формальными факторами); избирательный характер защиты прав (в рамках «классовой теории»); отрицание разделения властей в рамках доморощенной «советской демократии»; особенности контроля конституционности законов, который в основе имеет идеологический, а не судебный характер. Поскольку гарантом Конституции выступает партия (точнее — Политбюро), этим закладывается общая трактовка права и его цели в номинальном советском конституционализме.

Принятие коммунизма как юридической фикции обусловило противоречивую постановку содержательных вопросов Конституционной комиссии и иерархию их рассмотрения: что такое коммунизм как политико-правовая система; что

1. Краткая справка «К вопросу об обновлении текста Конституции СССР» (Ф. Калинычев) (27.03.61) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 4. Л. 1–6.

такое общенародное государство и каков должен быть юридический переход к нему; что представляет собой так называемая «советская демократия» и до какой степени вообще советская система может рассматриваться как институциональная основа трансформации общества. Доведя принцип идеократии до высшей точки, Конституция 1964 г. исходила, однако, из необходимости позитивации идеологических постулатов в нормах, регулирующих отношения общества и государства, советов и партии, структуры высших органов государственной власти и управления. Парадоксальным образом данная Конституция (и ее проекты) формально пошла даже дальше, чем номинальная сталинская, в отказе от принципов федерализма, разделения властей и определения их взаимного контроля, настаивая на единстве законодательной, исполнительной и судебной власти в рамках ленинского фетиша «работающего правительства»¹.

Этим объясняются центральные противоречия программы конституционных преобразований: между концепцией советской наднациональной общности и движением в направлении конфедерализма и децентрализации по национальному признаку; между представлением о значении законодательной власти Верховного Совета и стремлением свести ее на нет путем расширения полномочий Президиума ВС, а также отказа от элементарных механизмов ответственности правительства; наконец, между представлением о полноценном характере советской системы и тезисом об усилении власти партии при переходе к коммунизму. Центральная проблема, которую так и не смогли разрешить разработчики, — рациональное юридическое определение КПСС, а также ее места в политико-правовой системе. В результате остался нерешенным вопрос о том, до какой степени партийный абсолютизм может быть ограничен конституционными нормами, до какой степени партийные институты власти подлежат социальному, правовому

1. См. сходные наблюдения современных исследователей: *Байбаков С. А.* Критическое переосмысление сталинской Конституции СССР 1936 г. на исходе хрущевской «Оттепели»: взгляд из XXI в. // Уроки Октября и практики советской системы 1920–1950-е гг. М., 2018. С. 255–264.

и судебному контролю. Осознание невозможности добиться содержательного разрешения этих противоречий вело к когнитивному тупику и стремлению вообще отказаться от изменения сталинской Конституции, рассматривавшейся бюрократией как адекватное решение проблемы с позиций политического «реализма».

Причины провала конституционной реформы 1964 г. делятся на общие и частные. Первые могут быть сведены к трем: невозможность конституционализировать утопию (стремление фиксировать то, что должно быть, а не то, что есть — программу, а не реальность); несоответствие идеологических постулатов и советских норм позитивного права; невозможность согласования правовых норм номинального конституционализма и реальности неправового государства. Вторые определяются сопротивлением десталинизации — внутренним аппаратным конфликтом, приведшим к дворцовому перевороту как механизму внутренней корректировки системы. Эта эволюция умонастроений консервативной бюрократии, ускоренная хаотичными реформами Хрущева в экономике и государственном управлении, закладывала, как это хорошо видно на материалах подкомиссии Брежнева, основу торможения институциональных реформ и последующей «конституционной контрреформы» 1977 г.

Эпизод хрущевской конституции имел три важных исторических следствия: во-первых, она создала привлекательный ретроспективный миф о том, что в период десталинизации была предпринята попытка отказаться от однопартийной диктатуры — факт, не подтверждающийся имеющимися источниками; во-вторых, она создала некоторые иллюзорные стереотипы, связанные с представлением о возможности реформирования советского федерализма и политической системы путем «возвращения» власти от партии к советам, которые во многом определили стратегию и срывы горбачевской перестройки; в-третьих, она выдвинула группу юристов-чиновников, веривших, по-видимому, в возможность правовой трансформации сталинизма и «конституционализации» КПСС.

В целом разработка Конституции 1964 г. — это чрезвычайно оригинальная попытка юридического определения идеологического мифа, предпринятая, однако, с негодными средствами. Она прекрасно показала, что коммунизм как квазирелигиозный предрассудок не поддается правовому определению и не способен стать основой движения к демократической республике и правовому государству.

*Конституция «развитого социализма» 1977 г. как символ
правления номенклатуры*

Понятие «развитого социализма» как основа конструирования советской республиканской модели означает отказ от коммунистического идеализма периода оттепели. Конституция СССР 1977 г. справедливо интерпретируется как выражение кризиса советской политической системы на завершающей стадии ее существования. В ней четко представлены основные особенности всего номинального советского конституционализма: декларативный и условный характер прав; увязывание федерализма с национальным самоопределением; камуфлирование реальности однопартийной диктатуры советскими институтами и фикцией выборов; отсутствие полноценных правовых гарантий контроля конституционности законов. По всем этим параметрам Основной закон «развитого социализма» содержал мало нового по сравнению с предшествующими советскими Конституциями, а в известной мере представлял собой реакцию на конституционные эксперименты периода оттепели. Именно в период застоя конституционное проектирование достигает наибольшего разрыва с мировым интеллектуальным мейнстримом (включая его левую интерпретацию), что создавало очевидную угрозу сохранения когнитивного доминирования партийной элиты в обществе. Революционная утопия требовала корректировки, а последняя предполагала переосмысление идеологических постулатов системы. Эрозия легитимности советского режима привела к запуску нового конституционного цикла, завершившегося отказом от

однопартийной диктатуры и формированием основ постсоветского правового строя¹.

Завершающая фаза разработки Конституции (1976–1977 гг.) может быть определена как *когнитивный редукционизм* — сведение проблемы создания новой политической системы к регистрации фактических изменений в законодательстве. Завершающая группа теоретических «схем» второй половины 1970-х гг. стремится согласовать идеологические догмы партийной программы с минимальными конституционными изменениями в рамках концепции «реального социализма». В Конституционной комиссии «не обошлось, конечно, без споров, без сопоставления различных точек зрения», но в результате возобладала установка о том, что «функции государства диктатуры пролетариата далеко не исчерпаны», а механизм, закрепленный в Конституции 1936 г., «с успехом выполняет задачи, стоящие перед общенародным государством, и будет совершенствоваться вместе с этим государством, перед которым лежит еще большой и длительный путь развития к общественному коммунистическому самоуправлению». Поскольку принципы и положения сталинской Конституции «выдержали историческую проверку временем, оправдали себя, доказали свою жизненность и действенность», задача разработчиков сводится к учету положений, вытекающих из «фактических изменений в жизни общества» — в экономической и общественно-политической основе государства, укреплении «социалистической законности», а главное — усилении руководящей роли партии во всех областях².

Редукция коммунизма к социализму, а последнего к его новой изобретенной фазе «развитого социализма» выражает эти установки. Принятая Конституция СССР 1977 г. уже не содержала прямых положений о коммунизме, ограничившись более скромным «развитым социализмом». Предшествующие советские Конституции предусмотрительно

1. Медушевский А. Н. Основной закон СССР 1977 г.: государство и личность в эпоху «развитого социализма» // Полития. 2014. № 3. С. 149–168.
2. Проект доклада на сессии ВС СССР «О внесении дополнений и изменений в Конституцию СССР» // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 32. Л. 120–121.

отказывались от определения таких метафизических понятий, как «коммунизм» и «социализм», поскольку, по мнению Сталина, конституция «призвана регистрировать только то, что уже имеется в действительности»¹. В новой Конституции, как считали первоначально советские идеологи во главе с М.А. Сусловым (в 1964 г.), целесообразно, напротив, включить программные положения, что, по их мнению, соответствовало «ленинской практике». Однако отказ от идеи пролетарской диктатуры в пользу общенародного государства ставил вопрос о поддержании легитимности партии. В интернациональной дискуссии о социальной структуре советского общества было показано, что, во-первых, она претерпела радикальные изменения в направлениях, сходных с обществами западных индустриальных стран; во-вторых, место рабочего класса в этой структуре уже не определялось категориями доминирующего класса в традиционном марксистском смысле; в-третьих, политическая активность его общественных организаций (профсоюзов) была далека от утопических представлений коммунистических идеологов, демонстрируя их безвластие и подчиненную роль в однопартийном режиме². В этих условиях выдвижение постулата «общенародного государства» оказывалось в противоречии с программным положением о ведущей роли рабочего класса в условиях перехода к коммунизму, а отказ от последнего ставил под вопрос легитимность коммунистической партии как единственного выразителя воли народа.

В результате Основной закон «зрелого социализма» оказался внутренне противоречив, стремясь соединить старые

1. Материалы к проекту Конституции СССР по вопросам воспитания, образования, науки, культуры и здравоохранения (Председатель подкомиссии Суслов М.А. 12 июня 1964 г.) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 27. Л. 235–241.
2. *Economic Trends in the Soviet Union*. Cambridge (Mass.), 1963; *Hoffmann W.* Die Arbeitsverfassung der Sowjetunion. Berlin, 1956; *Trade Union Situation in USSR*. Geneva, 1960; *Madison B.* Social Welfare in Soviet Union. Stanford, 1968; *McAuley M.* Labour Disputes in Soviet Russia. 1957–1965. Oxford, 1969; *Deutscher I.* Die sowjetischen Gewerkschaften. Ihr Platz in der sowjetischen Arbeitspolitik. Frankfurt/M., 1969; *Lorenz H.* Sozialgeschichte der Sowjetunion. Frankfurt/M., 1976.

и новые принципы, декларативные и инструментальные нормы. Это нашло отражение в его политико-правовой структуре, разделенной на 9 основных разделов: основы общественного строя и политики СССР; государство и личность; национально-государственное устройство СССР; советы народных депутатов и порядок их избрания; высшие органы государственной власти и управления СССР; основы построения органов государственной власти и управления в союзных республиках; правосудие, арбитраж и прокурорский надзор; герб, флаг и столица СССР; действие Конституции СССР и порядок ее изменения¹.

Нужна была интегрирующая формула, способная объединить и заставить действовать противоречивый конгломерат идеологических принципов и норм с учетом новых вызовов системе. Эта формула была найдена в «руководящей роли партии», ставшей единственной реально работающей нормой советского номинального конституционализма. Принципиальная новизна Конституции 1977 г. состояла именно во включении ст. 6 о руководящей и направляющей роли партии. Первые советские конституции (1918 г. и 1924 г.) вообще не упоминали о партии, сталинская Конституция 1936 г. говорила о ней косвенно, как об одной из общественных организаций (в ст. 126). Данное нововведение 1977 г. — конституционализация КПСС — было, несомненно, радикальным шагом для всей традиции номинального советского конституционализма, выражая ситуацию «общества и государства, поработанных партией»².

Юридическое определение идеократии: возникновение и историческое значение ст. 6

Вопрос, как совместить внешне демократические республиканские формы с реальностью однопартийной диктатуры, — самая трудная проблема легитимации советского государства.

1. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1977.
2. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. М., 2010. С. 738.

Поиск определения партии прошел несколько этапов, связанных с преодолением этих идеологических трудностей¹. Отправной точкой служило положение Конституции 1936 г., определявшей КПСС как «передовой отряд трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества» и одновременно «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных» (ст. 126). Проект 1964 г., исходящий из идеи перерастания диктатуры в «коммунистическое общественное самоуправление», подчеркивал «рационально-правовой» характер доминирования партии: «вооруженная марксистско-ленинской теорией, знанием законов развития общества», она «придает организованно-планомерный, научно обоснованный характер борьбе народа за построение коммунизма, составляет руководящее ядро всех государственных и общественных организаций и в рамках Конституции СССР направляет их деятельность»². Проект 1969 г. отражает раставрационную тенденцию — «в основном воспроизводит норму ст. 126 действующей Конституции и учитывает соответствующие положения Устава КПСС». В нем представлена трактовка партии как мобилизационного института — общественной силы, интегрирующей основные социальные группы для достижения установочных целей: модернизация сталинской формулы состояла в указании на «добровольные начала» этого объединения и расширении понятия «наиболее активных и сознательных граждан» включением в них (наряду с рабочими и крестьянами) интеллигенции. Однако в этой формулировке партия оказывалась конкурентом государства, которое определялось как «главное орудие построения коммунизма»; «выразитель суверенитета советского народа». Согласовать эти противоречия была призвана ретроспективная (историческая) легитимация КПСС, руководящая роль которой принималась как «проверенная

1. *Медушевский А.Н.* Конституция «развитого социализма»: откуда взялся принцип руководящей роли партии? // *Общественные науки и современность.* 2014. № 3. С. 84–97.
2. Проект Конституции // *Ф.* 7523. Оп. 131. Д. 36. Л. 33.

и подтвержденная историческим опытом страны и развитием социалистического общества»¹.

В проектах 1970-х гг. намечается синтез предшествующих формулировок: фиксируется расширение социальной базы партии, которая предстает «авангардом всего советского народа»; включена новая трактовка советов как «основы политической системы» (а не просто государства) и партии как «руководящего ядра всех государственных и общественных организаций»²; дано обоснование абсолютности руководства партии, которая не только «вырабатывает научно обоснованный курс внутренней и внешней политики СССР», но и направляет деятельность народа, придавая «организационный и планомерный характер его борьбе за построение коммунизма»³.

Окончательная формула, закрепленная в ст. 6 Конституции 1977 г., отразив результаты этих дискуссий, давала компромиссное решение проблемы. Она, во-первых, ставила КПСС в центр политической системы, перемещая место соответствующей статьи с периферийного на основополагающее — включением ее в первый раздел об основах общественного строя и политики СССР. Во-вторых, включала квазиправовое определение партии: давала его не в четких юридических, но скорее метафизических и политических понятиях — как «руководящую и направляющую силу советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций». В-третьих, подчеркивала монополию партии на политическую власть и неоспоримость ее господства: она выступает в качестве выразителя воли всего народа, а не отдельных групп — «ядра», но не «авангарда», как это предполагалось закрепить ранее. Все государственные институты, следовательно, выступают как эманация этой неограниченной

1. Структура проекта новой Конституции СССР, направленная работникам аппарата (13 апреля) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 36. Л. 10–25.
2. Предложения по предварительному варианту проекта Конституции (29.04.1977) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 40. Л. 8–9, 24.
3. Предварительные варианты проекта Конституции (1977) // Ф. 7523. Оп. 131. Д. 39. Л. 87–88.

политической воли. В-четвертых, давала обоснование этих претензий на власть, легитимация которых заставляет вспомнить теологические (идеократические) формулы прошлого, поскольку носит скорее сакральный, нежели рациональный (марксистско-ленинское учение), но не исторический характер (в силу нелегитимного прихода к власти). Легитимирующая формула включала функциональные аргументы, фактически отождествляющие задачи государства и партии, которая «определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа», и целеполагающие аргументы, в соответствии с которыми партия «придает планомерный, научно-организованный характер его борьбе за победу коммунизма». В-пятых, эта формула избегает постановки вопроса о конституционности действий партии: признавая в общей форме, что партия «существует для народа и служит народу», она не допускает постановку вопроса о конституционной ответственности для партии в целом, но только для отдельных партийных организаций, которые «действуют в рамках Конституции СССР»¹.

Перестройка: механизм развития кризиса советской системы

Общая причина крушения СССР состоит (помимо объективных предпосылок, связанных с запоздалым началом реформ) в неадекватности принятой элитой концепции преобразований господствующим когнитивно-информационным установкам общества, с одной стороны, и порожденным реформой завышенным социальным ожиданиям, с другой². Отказ от ценностей старого советского республиканского порядка, безусловно, определялся новой ситуацией в мире, позднее названной «глобализацией»,

1. Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. С. 8.
2. Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история. 2011. № 6. С. 3–30.

связанной с доминирующей ролью транснационального информационного феномена, невозможностью продолжающегося сохранения закрытости системы от внешнего мира. Следствием стали крушение старой картины мира — коммунистической идеологии в ее советской версии — и осознание невозможности модернизации системы в прежних формах закрытого (автаркического) государства с широким применением манипулирования социальной психологией и принудительных мобилизационных технологий.

Мощный рывок к свободе, сделанный М. С. Горбачевым, был одновременно необходимым, разумным и гуманным шагом, позволявшим выйти из тупика однопартийной диктатуры мирным путем¹. Однако необходимое и единственное открытие страны мировым информационным процессам (в рамках «нового мышления») оказалось деструктивным фактором в силу неподготовленности общественного сознания, руководствовавшегося архаичными установками советского общества, усиленными стереотипами коммунистической идеологии. Поэтому одним из результатов информационной открытости, на который не рассчитывали реформаторы, стал культурный шок, напомнивший тот, который приводил к крушению традиционных деспотий после их открытия европейцами, и когнитивный диссонанс — жесткий раскол общества в отношении принятия новых (западных) ценностей, легитимности режима (в связи с разоблачением его преступлений) и выбора стратегии преобразований.

Таким образом, логика развития кризиса СССР определяется информационно-когнитивными процессами и включает некоторые (хотя и не все) элементы «теоремы Токвиля»: отказ от ценностей Старого порядка; культурный шок и когнитивный диссонанс по отношению к прошлому и будущему политическому устройству; феномен завышенных ожиданий; их кризис в условиях роста относительной депривации; подъем фрустрации и агрессии как его следствие; консолидация полярных центров влияния — радикалов

1. См.: *Горбачев М. С.* Понять перестройку. Почему это важно сейчас. М., 2006; *Он же.* В меняющемся мире. М., 2018.

и консерваторов, выступающих за реставрацию; а главное — вакуум центральной власти и кумулятивное соединение всех трудностей в результате утраты рычагов контроля над ситуацией со стороны Центра (потеря времени).

В ситуации неустойчивого равновесия важным проявлением когнитивного сбоя в системе стало отсутствие у реформаторов полноценной концепции реформ, включающей не только их общую идею (которая в известной мере присутствовала), но и понимание масштаба и границ необходимых преобразований (они расширялись по мере выдвижения новых целей). Отсутствовал план проведения реформ, определяющий цели, этапы, сроки их проведения, калькуляцию социальных издержек и ожидаемых результатов, а также продуманных технологий реализации, в том числе с учетом трудностей и соответствующей оппозиции. Приоритет идеологического конструирования над прагматическим; ретроактивная направленность преобразований — их обращенность не в будущее, а в прошлое (наивная вера в возможность реанимировать идеологию путем обращения к ее истокам и ориентация на прошлый опыт вместо современного) породили и компромиссный характер основных установок, стремившихся противоречиво сочетать старые когнитивные стереотипы и новые идеи, а главное — преобладание импровизации над планомерным осуществлением реформ. Это обусловило потерю времени (критически важного в условиях радикальных изменений, ибо длительность переходного периода выступает самостоятельным фактором успешной демократической консолидации), экономическую дезинтеграцию (переход к рынку в условиях отсутствия адекватной инфраструктуры и утраты государственного контроля вел к хозяйственной разобщенности регионов, а не к формированию конкурентной экономики и новой мотивации труда), институциональную дисфункцию (прежние институты утратили контроль, а новые не начали полноценно функционировать и давали сбои по всем значимым направлениям) и утрату первоначального когнитивного доминирования реформаторов в обществе.

Результатом стал запуск спонтанного механизма саморегуляции системы в условиях разворачивающегося кризиса — конфликта позитивного права и справедливости, порождающего циклическую динамику реформ. Первый их этап в ходе перестройки (1985–1988 гг.) характеризуется выраженным феноменом «завышенных ожиданий» — представлением о возможности быстрого и радикального преобразования общества с минимальными социальными издержками. Этому этапу были свойственны относительная гомогенность элиты и стабильность установленных правил игры. Основой второго этапа преобразований (1989 г.) стало осознание «относительной депривации» — возникновение ситуации психологического ощущения дискомфорта (социального разочарования) в условиях относительного (а не абсолютного) ухудшения социально-экономического положения населения по сравнению с предшествующим периодом развития государства и другими странами. В этих условиях происходит не отказ от реформ, а требование изменения формата их проведения (принятия «новой концепции» перестройки) в направлении большей радикализации. Третий этап преобразований (1990–1991 гг.), обычно связанный с победой одного из крайних направлений и отстранением других групп от власти, в условиях перестройки был деформирован децентрализацией и трансформировался в распад страны (с сохранением у власти действующих правящих кланов). Запуск этого механизма означает потерю контроля над ситуацией элитой, инициировавшей преобразования, ведет к радикальному социальному перевороту и воспроизводству новой стабильности ценой значительных социальных издержек.

Экспансия социальных ожиданий очень быстро привела к неудовлетворенности общественности достигнутыми уступками власти и расширению ее требований: от корректировок идеологии — к отказу от нее; от идеи многоукладной экономики — к единовременному переходу к рыночной; от совершенствования федеративной модели — к ее отрицанию во имя национального суверенитета; от умеренных конституционных реформ в рамках

советской легитимности — к требованиям «парламентской республики» (чрезвычайно спорной в условиях несформировавшегося федерализма и реальной многопартийности). Наконец, со стороны оппозиции усилилась критика самих институтов власти с точки зрения как их формирования, так и направлений деятельности. Этот период характеризовался выраженным расколом элиты на реформаторов, консерваторов и умеренных, ожесточением их столкновений по вопросу о перспективах преобразований. Отказ от коммунистической идеологии и утрата легитимности центральными институтами власти вели к росту популизма в форме национализма и требований национального самоопределения союзных республик, прежде всего России.

Федерализм и национальное самоопределение как факторы дезинтеграции СССР

В СССР тема федерализма оказалась связана с поиском идентичности в форме национализма и сепаратизма. Конструирование нового политического пространства требовало перехода от номинального советского федерализма к реальному, но закончилось не договором, а разрывом. Причины этого коренятся в исторических особенностях советской конструкции федерализма. Во-первых, номинальный советский федерализм по-существу им не являлся: СССР с юридической точки зрения был не федерацией, а конфедерацией (так как допускал право сепарации национальных республик), с фактической — представлял собой унитарное государство, определявшееся иногда как «империя». Во-вторых, решение принципиальной проблемы суверенитета как Союза, так и республик шло по той же линии советской легитимности, четко отразив ее основное внутреннее противоречие — между суверенитетом единого союзного государства и квазисуверенитетом его частей — национальных республик. В-третьих, детонатором дезинтеграции стало «право наций на самоопределение вплоть до отделения» — идея, несовместимая с федерализмом, но положенная в основу конструирования СССР

в рамках идеологии ленинизма и вызывавшая критику уже в момент ее провозглашения (в том числе со стороны леворадикальных оппонентов).

Вопрос о судьбе союзного государства, ставший центральным на Четвертом съезде народных депутатов (17–27 декабря 1990 г.), обсуждался в связи с сохранением самого названия СССР, целесообразностью проведения референдума о его сохранении и возможностью конструирования «обновленной федерации равноправных суверенных республик». Но еще ранее выявилась диаметрально противоположность трактовки основных понятий. Для одних суверенитет республик интерпретировался скорее как ограниченный, атрибуты которого исключают «автаркию» и «не противоречат принципам их объединения в единое федеративное государство», для других данное решение означало стремление правительства сохранить унитарное государство, «бесправие» республик¹. Правительству приходилось разъяснять существо реального выбора: речь идет либо о Союзе как федеративном государстве, либо «об экономическом союзе государств или (как некоторые уже говорят) стран по принципу Европейского сообщества»². Приняв декларации о суверенитете (РСФСР сделала это 12 июня 1990 г.), союзные республики «решили, что они могут тем самым не выполнять принятых на себя обязательств»³. Возникал вопрос: что первично — эти декларации или Союзный договор, насколько первые предрешают содержание второго, насколько правомерны предложения «об изменении роли и функций высших органов государственной власти с учетом принятых республиками деклараций о суверенитете», как обеспечить «реальный суверенитет республик» и прекратить «бесконечную бумажную войну с ним указов Президента»?⁴ Наконец, насколько правомерен тезис о том, что «за союзными республиками должно быть признано

1. Первая сессия Верховного Совета СССР. Ч. I. М., 1990. С. 10; Ч. II. М., 1990. С. 10.

2. Четвертая сессия ВС СССР. Ч. I. М., 1990. С. 89.

3. Там же. Ч. II. С. 245.

4. Там же. Ч. I. С. 32, 52, 56.

право приостанавливать исполнение актов органов государственного управления СССР на их территории в случае их несоответствия конституции и законам республики»¹? Если Горбачев предлагал чисто психологическое решение: «формировать общесоюзное сознание, общее согласие, доказывать и доказывать, что разъединение чревато очень серьезными вещами»², то его оппоненты — юридическое: «нам нужен полнокровный суверенитет»³.

Анализ соотношения интеграционных и дезинтеграционных процессов раскрывает логику цепной реакции распада государства. Интеграционные тенденции выражались в так называемом Ново-Огаревском процессе — переговорах республиканских лидеров под председательством Президента СССР по проекту нового Союзного договора и определения порядка его заключения (май—июль 1991 г.). Они начались с Заявления «9+1» в рамках Подготовительного комитета, созданного в соответствии с решением Четвертого съезда народных депутатов СССР, и были призваны, по словам Горбачева, «ввести политический процесс в рамки законности функционирования созданных в результате перестройки легальных институтов демократии»⁴. В качестве легитимирующей основы этих переговоров выступал референдум 17 марта 1991 г., в ходе которого большинство граждан СССР высказались за сохранение и обновление союзного государства. На встрече руководителей делегаций республик в Ново-Огареве 23 июля констатировалось завершение работы над проектом Союзного договора, который был опубликован 15 августа 1991 г.⁵ Его противники, однако, исходили из того, что данный Договор противоречит Конституции, означает юридическое признание конфедерации,

1. Первый съезд народных депутатов СССР. Т. V. М., 1989. С. 488.
2. *Горбачев М.С.* Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М.С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 1995. С. 77.
3. Четвертая сессия ВС СССР. Ч. VIII. М., 1990. С. 61–62.
4. *Горбачев М.С.* Августовский путч. Причины и следствия. М., 1991. С. 86.
5. *Горбачев М.С.* Союз можно было сохранить. С. 159–167, 186–199.

фактическую дезинтеграцию страны и образование вакуума центральной власти. Августовский путч 19–21 августа 1991 г. стал выражением данной позиции. Если сторонники ГКЧП интерпретировали путч как защиту Конституции и единства страны¹, то их оппоненты определяли его как государственный переворот², логически завершившийся утратой легитимности власти союзным центром, развенчанием коммунистической идеологии и ликвидацией КПСС указами президента Б. Ельцина и решениями Конституционного суда.

Пятый (и последний) съезд народных депутатов, собравшийся уже после путча в сентябре 1991 г., никак не повлиял на ситуацию и фактически объявил о самороспуске. Дезинтеграционные процессы, ускоренные борьбой честолюбий Горбачева и Ельцина³, завершились, как известно, распадом СССР и подписанием Беловежских соглашений, практическая неизбежность которых вытекала из логики развития событий, но юридическая правомерность неоднократно ставилась под сомнение⁴. Теоретические альтернативы распаду в виде либо интеграции союзных структур под руководством российского президента, либо восстановления союзного центра силовым путем расценивались как «призрачные»⁵, а основным условием достигнутого компромисса стал отказ союзных республик от ядерного арсенала в пользу России⁶. 8 декабря 1991 г. руководители России, Украины, Белоруссии как государств-учредителей

1. Лукьянов А.И. Август 91-го. А был ли заговор? М., 1991; *Он же*. Переворот мнимый и настоящий. Ответы на вопросы из «Матроской тишины». М., 1993.
2. Горбачев М.С. Союз можно было сохранить. С. 328, 331.
3. Мэтлок Д. Смерть империи. Взгляд американского посла на распад Советского Союза. М., 2003.
4. Лазарев Б.Н. Можно ли было сохранить СССР (правовое исследование). М., 2002.
5. Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М., 1997. С. 81, 150.
6. Этот факт Е. Гайдар подчеркивал как основополагающий в беседе с автором. Он подтверждается другими свидетельствами. См.: О причинах крушения СССР и становлении новой России. Диалог А. Медушевского и Г. Бурбулиса // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 4 (107). С. 101–116.

СССР (подписавших Союзный договор 1922 г.) констатировали, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», а «высокие договаривающиеся стороны образуют Содружество Независимых Государств»¹.

Демагогические декларации советских конституций, предоставлявшие «права народам» (причем даже тем, которые в них не нуждались и исторически не были подготовлены к самоопределению в форме субъектов федерации), блокировали принятие рациональной концепции «обновленной федерации». Она теоретически могла бы включать введение новых принципов федерализма — пересмотр искусственных границ регионов в соответствии с их экономическим вкладом; наделение их различным статусом и выстраивание их иерархии по степени объема предоставляемых прав; понижение статуса соответствующих регионов до уровня культурных или языковых автономий; наконец, правовое решение проблемы выхода автономий из соответствующих республик. Проблематичность практического решения дилеммы определяется психологическим фактором: трудно (если вообще возможно) отобрать назад раз данные национальным регионам права. Повернуть ситуацию дезинтеграции вспять можно было, следовательно, лишь приняв совершенно иную концепцию гражданской (а не национально ориентированной) федерации и выстроив всю политику по общегражданским приоритетам, что не удалось сделать в масштабах СССР, но отчасти получилось в масштабах России. Ключевым фактором этого тренда стал распад союзной элиты по национальному признаку и ослабление политической роли институтов центральной государственной власти.

Соперничество доктрины договорной федерации (представленной в проектах Союзного договора, а затем в Федеративном договоре РФ 1992 г.) и конституционной федерации завершилось с принятием Конституции России 1993 г., «носителем суверенитета и единственным источником

1. Текст Соглашения о создании Содружества Независимых Государств // Горбачев М.С. Союз можно было сохранить. С. 302–306.

власти» в которой были признаны уже не республики, а «ее многонациональный народ», что исключало советский конфедеративный принцип о «праве наций на самоопределение вплоть до отделения».

Форма правления: переход от советской к президентской республике

Конструирование новой республиканской политической системы требовало ответа на вопросы о форме правления и структуре институтов власти: номинальный или реальный конституционализм; советский парламентаризм или «нормальный»; парламентская или президентская республика; статус главы государства и его прерогативы — вопросы, не получившие правового решения в предшествующей истории страны.

Постановка этой проблемы (в 1989 г.) делала необходимым пересмотр содержания республиканского устройства — отказа от однопартийной диктатуры в виде «республики советов» и принятия идеи разделения властей в виде парламентской, президентской или смешанной форм правления. После упразднения «ядра политической системы», каковым являлась партийная монополия на власть, эта цель достигалась лучше всего введением президентской республики. Данный вывод был сделан не сразу. Горбачев описывает свои колебания по проблеме, так как первоначально он верил в то, что «основой нашей политической системы остается система Советов, с которой президентский пост плохо сочетается, был бы для нее чужероден». Он опасался возможного развития конфликтов между тремя ветвями власти, а также того, что новый пост не будет адекватно воспринят народом. Решающим аргументом в пользу введения поста президента стали «причины чисто психологического свойства» — сходство данного института с властью монарха или «безраздельной властью» Генерального секретаря, к которой «народ привык» в СССР¹.

1. Горбачев М.С. Жизнь и реформы. Кн. 1. С. 483–485.

Укреплению авторитета высшей власти служило создание Совета Федерации и Президентского совета — этого своеобразного эквивалента Политбюро в новой политической системе.

В дискуссии о форме правления были представлены три основные позиции, мотивированные в основном политическими (а не юридическими) аргументами: за принятие президентской системы, отказ от нее (в пользу парламентской) и компромиссный вариант — введение поста Президента при соблюдении ряда условий (прообраз смешанной системы). Согласно первой позиции, смысл введения института президентской власти заключался в том, что он представляет «диалектическую антитезу коллективным органам власти», «органические пороки которых» стали очевидны в советский период, «отвечает духу времени — стране нужен порядок, основанный на Конституции», переход от номинальной советской власти к усилению «правовой стороны государства», преодоление вакуума власти, ее «рыхлости и аморфности» в условиях, когда «партия перестает играть роль аппарата непосредственного государственно-хозяйственного управления»¹. Отстаивавшие вторую позицию противники президентской власти усматривали ее основной недостаток в возрождении авторитаризма, а выход видели в парламентской форме правления. Наиболее решительные сторонники такой позиции происходили из стана партийных консерваторов, надеявшихся сохранить советскую модель «коллективного руководства» в измененной форме и справедливо полагавших, что введение института сильного Президента положит конец этим планам, но также из стана их радикальных оппонентов из Межрегиональной депутатской группы (МДГ), усматривавших в этом институте попытку «узаконивания чрезвычайной власти одного человека». Горбачев сравнил их подход с позицией «бешеных» Французской революции во главе с Эбером-Ру»². Третья позиция — смешанной формы

1. Третья сессия ВС СССР. Ч. II. М., 1990. С. 167–168, 177, 180–182.

2. *Горбачев М.С.* Жизнь и реформы. Кн. 1. С. 485–486.

правления — допускала введение президентской власти в рамках функционирующей системы сдержек и противовесов в виде сильного парламента и независимой судебной власти, исключающих опасность «концентрации и сверхконцентрации властных полномочий». К числу предварительных условий принятия президентской модели относились: создание союзного парламента (наподобие Европарламента); предварительное согласие Верховных Советов республик; решение ими вопроса об объеме полномочий, которые они готовы делегировать Президенту СССР; осуществление выборов президента всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием «из нескольких кандидатур и на многопартийной основе»¹. Оговаривалась необходимость законодательного ограничения прерогатив главы государства в области государственной безопасности и введения чрезвычайного положения или возможность растянуть политическую реформу во времени — перейти к президентской системе «по мере того, как будет у нас развиваться процесс становления всех демократических институтов политической и государственной власти»².

Ключевой вопрос переходного периода — прерогативы старых и новых институтов власти — был связан с определением соотношения постов Генерального секретаря, председателя Верховного Совета и первого Президента. Предложения Горбачеву по этому вопросу сводились к следующим: сложить с себя полномочия Генерального секретаря, поскольку «совмещение постов, т.е. концентрация двойной власти в одних руках, в лице одного человека противоречит принципам правового государства и демократии»³, и наоборот — что он должен оставаться на этом посту для сохранения контроля над партаппаратом, даже прямому требованию к нему остаться на двух должностях⁴. Третья позиция в этом споре — совмещение постов как временная мера — до проведения демократических выборов в советы

1. Третья сессия ВС СССР. Ч. I. М., 1990. С. 44–45; Ч. II. М., 1990. С. 137–138.

2. Там же. Ч. I. С. 38; Ч. II. С. 151, 180.

3. Первый съезд народных депутатов СССР. Т. I. М., 1989. С. 69–76.

4. Там же. С. 70, 74.

или завершения «перехода власти» от партии к советам, поскольку в переходный период «нельзя отделить Горбачева от партии, а партию от народа»¹. Данная позиция получила поддержку некоторых либеральных экспертов, усматривавших в сохранении Горбачевым власти гарантию от возврата назад. В этих позициях выражены различные стратегии решения «вопроса о власти», состоящего в соотношении постов главы государства и лидера правящей партии². В данном споре «партийные фундаменталисты» и «межрегиональщики» выступили единым фронтом за конституционную поправку о запрещении президенту возглавлять политические партии, но она не собрала квалифицированного большинства и была отвергнута. «В какой-то момент, — констатировал Горбачев, — стало очевидно, что подавляющее большинство депутатов поддерживает учреждение президентского поста и избрание первого Президента на съезде»³. Итогом дискуссии стало соответствующее постановление ВС СССР⁴ и последующее принятие закона «Об учреждении поста Президента СССР и внесении соответствующих изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) СССР» (14 марта 1990 г.). Данное решение предполагало определение соотношения между союзной властью и республиками, необходимость обеспечения «противовесов законодательной, исполнительной, президентской и правительственной власти и других институтов», переход к всенародным выборам Президента и внесение изменений в Конституцию⁵.

Проведение политической реформы в обстановке острой борьбы за власть имело три негативных последствия, способствовавших дезинтеграционным процессам. Первым из них стало распространение модели президентской власти

1. Там же. С. 82–83, 85.

2. Там же. С. 418.

3. *Горбачев М.С.* Жизнь и реформы. Кн. 1. С. 488.

4. Третья сессия ВС СССР. Ч. XIX. М., 1990. С. 18.

5. Там же. Ч. II. С. 143–144. Итоги всех изменений: Конституция (Основной закон) СССР с изменениями и дополнениями, внесенными законами СССР от 1 декабря 1988 г.; 20 декабря, 23 декабря 1989 г., 14 марта и 26 декабря 1990 г. М., 1991.

на союзные республики (что в значительной степени обесценивало достижения центральной власти); вторым — сужение объема легитимности союзного Президента, избранного на Съезде, а не на всенародных выборах (в отличие от избрания президентов республик, прежде всего России); третьим — эрозия власти союзного Президента, поскольку для одних политических сил он пошел на слишком большие уступки в сторону децентрализации, для других добился сверхконцентрации полномочий, восстановив авторитарный вектор развития.

Разрыв и преемственность легитимирующей формулы российской власти в XX в.

Итак, результаты трансформации республиканского строя по результатам перестройки советской политической системы демонстрируют как разрыв (связанный со сменой идеологических приоритетов), так и определенное воспроизводство преемственности между имперской, советской и постсоветской формулами легитимации верховной власти. В имперский период она представлена формулой самодержавной власти, зафиксированной в Своде законов Российской империи на завершающем этапе ее существования¹; в советский период — формулой о партийном абсолютизме — руководящей и направляющей роли партии, зафиксированной в Конституции 1977 г. на завершающем этапе однопартийной диктатуры.

Трансформация однопартийной диктатуры, связанная с отменой 6-й статьи Конституции 1977 г. внеочередным Третьим съездом народных депутатов (1990 г.), привела к созданию поста Президента СССР, которым был избран М. Горбачев, сохранивший по решению Съезда на переходный период также пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Прерогативы Президента СССР по определению основных направлений внутренней и внешней политики, его

1. Свод Основных государственных законов в новой редакции от 23 апреля 1906 г. // Свод законов Российской империи. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1906.

полномочия в области законодательной и исполнительной власти, использования указного права, а также введения военного и чрезвычайного положения оказались близки к монархическим.

В современной российской Конституции 1993 г. сходные атрибуты власти представлены институтом Президента РФ, выступающего не только главой государства, но и «гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина» (ст. 80)¹. Его властные прерогативы, охватывающие определение основных направлений внутренней и внешней политики, простирающиеся далеко за жесткие рамки разделения властей, оказались настолько обширны, что дали критикам возможность определить данную систему как «латентную монархию» и «режим личной власти». Это позволяет реконструировать историческую преемственность таких форм правления, как дуалистическая монархия, однопартийная диктатура и президентская республика, общим элементом которых является тенденция к мнимому конституционализму.

Создание основ современной Российской республики: Конституция 1993 г. и эволюция постсоветской политической системы

Создание основ республиканского строя Российской Федерации проходило в условиях чрезвычайно острого кризиса, связанного с крушением СССР, преодолением коммунистической идеологии, необходимостью в исторически ограниченный период одновременно решать задачи радикального пересмотра экономической, социальной, правовой и политической системы, решение которых в других странах было растянуто во времени.

Выход из кризиса был найден в конституционной революции и принятии Россией Конституции 1993 г. — несомненного завоевания демократии периода крушения коммунизма конца XX в.² Конституция стала выражением идей

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.

2. Там же.

гражданского общества и правового государства, провозглашенных либеральным конституционным движением в России конца XIX — начала XX в., которые пыталась, но не смогла осуществить Февральская революция 1917 г. Конституция 1993 г. последовательно приняла формулу Учредительного собрания: определила Россию как «демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», способствуя восстановлению исторической преемственности российской государственности, разорванной в советский период. Президент Б.Н. Ельцин сделал то, что не удалось сделать Временному правительству, в 1917 г. — остановил левый экстремизм, ликвидировал советы и осуществил переход от однопартийной диктатуры к демократическому государству¹.

Развитие конституционной революции 1993 г. объясняет ряд принципиальных особенностей российской республиканской модели: во-первых, радикальный разрыв со всей предшествующей традицией номинального советского конституционализма с его классовой теорией права; во-вторых, последовательное проведение фундаментальных демократических ценностей гражданского общества и правового государства; в-третьих, введение сверхцентрализованной конструкции политической власти, наделявшей президента огромными конституционными полномочиями — гаранта конституции, главы государства, определяющего приоритеты внутренней и внешней политики, наделенного практически неограниченным правом по изданию указов с силой закона. Формально выступая как смешанная или дуалистическая (президентско-парламентская) республика, на практике она действует как президентская или даже сверхпрезидентская модель².

В результате конституционная конструкция новой Республики оказалась внутренне противоречивой, сочетая, с одной стороны, широкие гарантии либеральных прав и свобод, с другой — чрезвычайно авторитарную трактовку

1. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2011.

2. *Медушевский А.Н.* Политические сочинения: право и власть в условиях социальных трансформаций. М.; СПб., 2015.

президентской власти, которая рассматривалась в переходный период как главная и едва ли не единственная гарантия от реставрации советских порядков. Это открывало пути диаметрально противоположным векторам интерпретации республиканских ценностей — в направлении расширения демократии и правового государства или, напротив, в направлении их ограничения и усиления авторитарных тенденций. Конфликт этих тенденций определяет логику эволюции постсоветских институтов до сегодняшнего дня.

*Конституционные принципы республиканского строя
постсоветской России*

Целью конституционных преобразований стало построение в России демократического правового государства в соответствии с международными стандартами, каковыми признавались прежде всего стандарты ЕС¹. В Конституции Россия определяется как «демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (ч. 1, ст. 1), социальное (ст. 7) и светское (ст. 14) государство, права и свободы человека в котором являются «высшей ценностью», их защита — «обязанностью государства» (ст. 2).

Результатом конфликтных дебатов в двух основных центрах конституирующей власти — Конституционной комиссии² и Конституционном совещании³ — и силового разрешения конституционного кризиса в октябре 1993 г. стало закрепление в российской конституции новых системообразующих принципов республиканизма — плюрализма, справедливости и равенства, светского государства, правового государства и демократии, социального государства и рыночной экономики, федерализма и местного самоуправления, разделения властей, независимости судебной власти

1. Европейский союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. М., 2011.
2. Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990–1993 гг.): В 6 т. М., 2007–2008.
3. Конституционное совещание: Стенограммы. Материалы. Документы: В 20 т. М., 1995–1996.

и гарантий политических прав личности, выражающих отказ от советской модели номинального конституционализма — конструкции, при которой основные демократические права человека провозглашаются, но имеют исключительно идеологический смысл и не могут быть защищены в суде.

В Конституции 1993 г. *принцип плюрализма* закреплялся в качестве альтернативы советской концепции приоритета одной идеологии в государстве. В России соблюдение этого принципа гарантируется в рамках признания идеологического многообразия (ч. 1, ст. 13), запрета установления какой-либо одной идеологии в качестве государственной или обязательной, причем это запрещение относится к государственным органам, правящим политическим партиям и высшим должностным лицам. Развитием принципа идеологического многообразия является культурное многообразие — свобода научной и культурной деятельности, массовой информации и запрет цензуры (ч. 5, ст. 29) и политическое многообразие — многопартийность, свобода создания и деятельности общественных объединений (ч. 1, ст. 30), равенства всех партий и общественных объединений перед законом, запрет на вмешательство государственных органов во внутреннюю жизнь политических партий и общественных объединений.

Важным элементом системы идеологического и культурного многообразия является *принцип светского государства* (ст. 14), предполагающий отказ от установления какой-либо религии в качестве государственной или обязательной, а также защиту свободы совести и вероисповедания. Из этих положений вытекает идея защиты государством на равных основаниях как религиозных, так и светских убеждений, нейтралитет государства и невмешательство в дела всех конфессий при условии соблюдения ими конституционных норм, а также определенные позитивные обязательства государства в отношении обеспечения свободы выражения религиозных чувств.

Принцип правового государства выражал представление о неотчуждаемости естественных прав (ч. 2, ст. 17), приоритете прав личности по отношению к правам государства

в таких сферах, как верховенство права, приоритет защиты прав и свобод человека и гражданина, уважение личности, право на судебную защиту, судебная система как гарант справедливости и правосудия, юридическая возможность обжалования в суде решений и действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц и др. Конституционно закреплены принципы презумпции невиновности, состязательности судопроизводства и введение судов присяжных (ч. 1, ст. 49; ч. 4, ст. 123), т.е. восстановлены основные идеи Судебных уставов 1864 г. Судьи независимы и подчиняются только Конституции и федеральному закону (ч. 1, ст. 120). В трактовке принципа демократии акцент делался на таких его составляющих элементах, как народный суверенитет (народовластие), многопартийность и политическая конкуренция.

Другой стороной проблемы переходного общества стала новая трактовка *принципа справедливости* — отказ от ее уравнительной и коллективистской интерпретации, поиск адекватной формулы конкурентной рыночной экономики и частной собственности. На этом пути осуществлялся сложный поиск компромисса между двумя конкурирующими *принципами* — *социального государства* (ст. 7) и *рыночной экономики*. Спор охватывал такие общие вопросы, как справедливость, социальное государство, социальные права, но одновременно — конкуренция, частная собственность, индивидуальные права и ответственность. Удалось добиться лишь компромиссного решения: сохранения определения России как социального государства в обмен на принятие его минималистской трактовки. Фактически была возрождена известная формула о социальных функциях собственности как компромисс двух противоположных направлений правового регулирования, что не исключало противоречивого характера их последующих интерпретаций.

Проблема национальной идентичности и соответствующих форм политического устройства делала актуальной новую трактовку *принципа федерализма*, в советское время утратившего какое-либо реальное содержание. Суть принципа федерализма определялась в конфликтном взаимодействии двух стратегий его формирования — конституционной (гл. 3 Конституции — «Федеративное устройство») и договорной, опиравшейся на важнейшие законодательные акты переходного периода — Декларацию о государственном суверенитете РСФСР (от 12 июня 1990 г.) и Федеративный договор (от 31 марта 1992 г.), которые не утратили своего действия с принятием Конституции 1993 г. Если Договор определял республики в составе РФ как «суверенные государства», ссылаясь в преамбуле на «декларации о государственном суверенитете республик в составе РФ», то Конституция понимала их исключительно как субъекты единого федеративного государства, носителем суверенитета и единственным источником власти в котором «является ее многонациональный народ» (ст. 3). Принцип федерализма поэтому включал разные интерпретации: договорный федерализм эпохи «парада суверенитетов» и регионального «правового сепаратизма» 1990-х гг. сменился курсом на централизацию власти, взятым с начала 2000-х гг. Это предполагало эволюцию российского бикамерализма, представленную в неоднократных изменениях принципов формирования Совета Федерации.

Сходные проблемы формулируются в отношении *принципа местного самоуправления*, конституционная ценность которого определяется полноценным и эффективным осуществлением децентрализации по таким параметрам, как разделение публичной власти и собственности; дифференциация правовой системы и рационализация административного управления; демократизация публичного обслуживания граждан и повышение их самоорганизации; эффективность развития территорий. Принцип местного самоуправления не только получал различные теоретические трактовки в законодательстве (в плане большего

или меньшего соотношения с административными структурами), но и подвергался модификациям в периоды преобладания централизаторских и децентрализаторских тенденций.

Впервые в российской истории в Конституции четко фиксировался *принцип разделения властей* (ст. 10): право законодательной инициативы предоставлялось высшей законодательной и исполнительной власти, а Конституционный Суд наделялся прерогативой толкования конституционных норм. Конституция создавала (в противоположность предшествующей советской практике) профессиональный парламент: депутаты Государственной думы работают на постоянной профессиональной основе и не могут находиться на государственной службе (ч. 3, ст. 97). Создание двухпалатного парламента, нижняя палата которого получила название Думы, а верхняя имела определенное сходство с Государственным советом, восстанавливало преемственность исторической традиции по отношению к дореволюционным институтам представительной власти — Думе и Государственному совету Российской империи¹.

Принятие Конституции 1993 г., включавшей принципы, преодолевавшие советские правовые стереотипы, создавало предпосылки формирования демократической республиканской системы, основанной на возрождении традиций дореволюционного российского парламентаризма, но представляло своеобразную «шоковую терапию» в политике, результаты которой, как и в экономике, оказались непрочны, открывая возможность альтернативных интерпретаций². Компромиссы и противоречия, отраженные в трактовке ценностей и принципов Конституции, стали результатом раскола общества в переходный период, но одновременно их направленного использования властью в целях расширения контроля над обществом.

1. Государственная дума России. Т. 1–2. М., 2006.

2. Основы конституционного строя России: двадцать лет развития. М., 2013.

Конфликт традиции и модернизации: завершение постсоветского конституционного цикла

Конструирование Республики постсоветского периода вызывает конфликт традиции и модернизации. Традиция — только один из факторов, она может получать различные интерпретации: по степени прочности («замороженная» и «живая» традиции), по характеру формирования («историческая» и «изобретенная»), по ее социальным функциям в переходном обществе (как тормоз развития или адаптация к быстрым социальным изменениям). Поэтому абсолютизация фактора советской традиции (действительно демонстрирующей устойчивость и жизнеспособность) неправомерна, а параметры ее воздействия требуют конкретизации. В действительности имеет место конфликт консервативных и реформационных устремлений элит, типичный для всех модернизирующихся обществ. Проблема в том, почему на одних этапах востребована модернизация, на других — ретрадиционализация.

Логика этого процесса описывается нами в теории больших конституционных циклов — меняющегося соотношения между позитивным правом и правосознанием общества, т.е. когнитивных установок, требующих корректировки менее подвижных правовых конструкций. В основе текущей российской ситуации лежат итоги большого постсоветского цикла¹. Его развитие включает три основные фазы: деконституционализации (отказ от советской модели номинального конституционализма, представленной Конституцией СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г.), конституционализации (принятие Конституции РФ 1993 г.) и реконституционализации (последующая трансформация новых конституционных принципов под воздействием меняющихся социальных отношений в направлении их стабилизации и пересмотра).

Первая фаза (1985/1989–1991) — попытка частичного реформирования Конституции СССР 1977 г. и политической системы с целью их демократизации. Основными результатами стали: провозглашение ценностей правового

1. *Медушевский А.Н.* Размышления о современном российском конституционализме. М., 2007.

государства (новое мышление), перестройка политической системы в направлении разделения властей (отмена однопартийной диктатуры — 6-й статьи действовавшей Конституции — и введение поста Президента СССР; поправки, отраженные в новой редакции Основного закона СССР, изданной в 1991 г.). Эта фаза, однако, была прервана распадом СССР в 1991 г. *Вторая фаза* (1991–1993) — собственно конституционная революция в России, которая включала поиск национального самоопределения в ситуации распада СССР (Декларация о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 г.), конфликтную разработку новых принципов правового и политического устройства, их продвижение в ходе политического переворота. Результатом стало принятие на всенародном голосовании 1993 г. действующей Конституции РФ, зафиксировавшей новые правовые ценности и принципы, но доверившей функции гаранта конституции главе государства — Президенту РФ. Последующая легитимация конституции осуществлялась путем выборов в Государственную думу. *Третья фаза* (реконституционализация) имела содержанием процесс постреволюционной стабилизации конституционного строя, но ее результатом (особенно с 2000-х гг. до современности) стал авторитарный вектор прочтения конституции и соответствующая трансформация (как юридически фиксируемая, так и подразумеваемая) ее основных принципов и норм.

Результаты реализации основных конституционных принципов по прошествии четверти века со времени их провозглашения оказались противоречивыми: *принцип плюрализма* ограничен монополизацией информации и ситуацией недобросовестной политической конкуренции, доминирующим положением правящей партии в центральном и региональных парламентах, отсутствием регулирования правового статуса и институционализации политической оппозиции; *принцип светского государства* не остановил растущей клерикализации общества и не обеспечил нейтральности государства по отношению к доминирующей конфессии; *принцип правового государства* сталкивается с ограниченностью возможностей судебной защиты прав личности от

произвола государства; *баланс принципов социального государства и рыночной экономики* оказался неустойчив, не преодолел коллективистско-урavnительных тенденций в законодательстве и не устранив ограничений существования рыночной экономической деятельности; реализация *принципа федерализма*, включавшая неоднократный пересмотр начал конфедерализма, федерализма и унитаризма, не преодолела доминирующего тренда к унификации и унитаризму, продемонстрировав неготовность установить пределы растущих полномочий федерального законодателя в регулировании субъектов федерации; *принцип местного самоуправления* не смог остановить его огосударствления, иерархизации и бюрократизации; *принцип независимости судебной власти* столкнулся с реальностью «судебной контрреформы» — совокупностью мер, направленных на пересмотр статуса судей, их назначения на должность и дисциплинарной ответственности; *принцип гарантий политических прав и свобод* оказался ограничен введением более жестких правил регулирования НПО, законодательством о собраниях, митингах и шествиях, правоприменительной практикой; *принцип разделения властей* оказался трансформирован последовательным расширением полномочий президента в таких ключевых сферах, как финансовый контроль, силовые структуры, судебная система, региональное управление, трактовка указного права, подразумеваемых и метаconstитуционных полномочий¹.

В целом ситуация определяется как неустойчивый баланс конституционных и антиконституционных практик с растущим влиянием последних. Динамика конституционных отклонений выглядит следующим образом: констатируется, во-первых, их рост с течением времени (с усилением в последнее десятилетие); во-вторых, нарастание по мере перехода от более общих конституционных положений к конкретным элементам (субпринципам) каждого из рассмотренных принципов (в результате общая формулировка принципа остается неизменной, но его структура и смысл претерпевают значительные модификации); в-третьих,

1. Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад. М., 2014.

нарастание по мере перехода от более формализованных видов практики (законодательной и судебной) к менее формализованным — институциональным и неформальным; в-четвертых, резкое увеличение объема конституционных девиаций с переходом от общефедерального уровня законодательства к правовому регулированию и особенно правоприменительной практике на региональном и локальном уровне. Преобладающим направлением дисфункций на всех уровнях власти становятся неформальные конституционные практики. Неустойчивость правовых правил игры остается характерной чертой регулирования, экономического и политического процесса модернизации¹.

Последняя фаза большого постсоветского конституционного цикла иногда определяется как своеобразная Реставрация, для чего существуют определенные основания: имеет место возврат к ситуации, во многом сходной с той, которая существовала в его начале: мнимого конституционализма (не тождественного, однако, номинальному советскому) и сверхцентрализованной модели власти. Но реставрация — не механический возврат назад, а скорее комбинация старых и новых форм развития. Известный выбор сохраняется, следовательно, в рамках самой реставрационной парадигмы и вариативности ее интерпретаций в текущем политическом процессе. Целесообразно поэтому определить российскую политическую систему в динамике как режим «ограниченного плюрализма», имея в виду, что эта характеристика (как фактический синоним авторитаризма) способна выражать как более слабый, так и более сильный уровень контроля государства над обществом, а следовательно, уловить тенденции политического режима в длительной перспективе.

Постсоветский общественный договор: от либеральной модели к реставрационной

Понятие общественного договора в современной (социологической) интерпретации, конечно, не тождественно его

1. Ясин Е. Г. Приживется ли демократия в России. М., 2012.

философским трактовкам в прошлом, но представляет собой своеобразный идеальный тип, используемый исследователями для реконструкции меняющихся отношений общества и государства. В этом понимании данный договор схематично включает три элемента: Основной закон (Конституция как текст), общественные ожидания от закрепленных норм (более или менее формализованные), правила, определяющие реальную мотивацию поведения. Содержательная сторона изменений фиксируется в динамике интерпретации социального контракта. При стабильности первого элемента (Конституция 1993 г. сохраняет значение формальной рамки) основная динамика изменений приходится на два других, т.е. связана прежде всего с трактовкой принципов, норм и правил функционирования общества и государства.

В постсоветский период базовые условия общественного (конституционного) контракта 1993 г.¹ при формальном его сохранении (действующая Конституция) менялись три раза:

1) В начале 2000-х гг. (2001–2005): переход от принятой в 1993 г. модели общественного либерального консенсуса к ее государственно-консервативной трактовке (вполне естественной как системная реакция на угрозу дестабилизации страны, распадавшейся дважды за предшествующее столетие — в 1917 и 1991 гг.). Эта трансформация осуществлялась в рамках позитивистской доктрины «диктатуры закона», позволившей отделить формальную сторону права от его содержательной демократической интерпретации. Ее следствием стало движение в направлении унификации, централизации и бюрократизации государства: сворачивание плюрализма, федерализма, бикамерализма, многопартийности и выстраивание единой «вертикали власти» (введение жестко централизованной модели управления в центре и регионах).

2) В 2008 г., когда обществу была предложена (и принята им) заявка на пересмотр места государства в глобальной политике и общей системе поддержания «безопасности».

1. Понимая «девяностые». М., 2013.

Эта трансформация осуществлялась в рамках неофициальной доктрины «суверенной демократии» (постулирование государственного суверенитета как высшей ценности, его защита от вмешательства извне) и означала делегирование обществом государству защиты своих прав и интересов в условиях роста мировой нестабильности. Внешним выражением данного тренда стала конституционная реформа 2008 г., главным итогом которой явилось продление президентского мандата с 4 до 6 лет.

3) Начиная с 2014 г. (кризис на Украине, конфликт с объединенным Западом) и вплоть до настоящего времени — последовательный переход к плебисцитарному авторитаризму в рамках доктрины «подавляющего большинства»: делегирование власти главе государства (действующий лидер как выразитель суверенитета — воли нации). В условиях роста внешних и внутренних вызовов превалирующим становится мотив поддержания стабильности и «государственной безопасности» — фактически введение модели «превентивного государства» как главного инструмента борьбы с внешними и внутренними угрозами (терроризм, сепаратизм, коррупция, цветные революции). Внешним выражением данного тренда стали конституционные реформы 2014 г., связанные с выстраиванием судебной вертикали и укреплением силовых структур. Позиционирование этой конструкции выступает как принятие новой модели отношений общества и государства (лидера), противостоящей издержкам «безбрежной» информатизации, глобализации и евроинтеграции (популизм и защита национальных ценностей от воздействия мощных транснациональных сил, представленных в основном США и ЕС).

Теоретические схемы пересмотра социального контракта — «диктатура закона», «суверенная демократия», доктрина плебисцитарного авторитаризма в форме «подавляющего большинства» — выражают логику трансформации отношений общества и государства. В первом случае доминирует концепция лояльности в обмен на стабильность, во втором — четкая формулировка доктрины суверенитета в глобальных международных отношениях (заявка

на пересмотр места государства в глобальной политике), в третьем — переход к плебисцитарному авторитаризму (делегирование широких метаконституционных полномочий лидеру). Если начальная стадия трансформации связана с отрицанием советской системы номинального конституционализма в пользу принятия либеральной модели, то завершающая — с созданием сверхцентрализованной модели государственного управления, выражением которой становится мнимый конституционализм и устойчивый тренд к плебисцитарному авторитаризму.

В целом данная логика развития (вопреки ряду оппонентов) отнюдь не является подтверждением исключительности российского опыта. Это вполне предсказуемая постреволюционная трансформация Республики, связанная с выходом общества из коммунизма, она завершает революционную стадию изменений реставрационной, в краткосрочной перспективе имеет определенные исторические преимущества, но в длительной перспективе ведет к стагнации и не способствует модернизации.

Общество и государство: каналы обратных связей и их блокирование

Отношения общества и государства в постсоветской России заложены формальными правовыми рамками республиканской системы, но с течением времени они перестают действовать или блокируются. Задача в том, чтобы понять, по каким ключевым направлениям происходит блокировка; возникает она как запрос самого общества или исключительно действий власти (на деле — их взаимоотношение); на какие уступки согласно пойти общество для поддержания стабильности и как власть формулирует общественный запрос в свою пользу.

Первая сторона проблемы — готовность гражданского общества к использованию механизмов «обратной связи». Когда мы говорим о гражданском обществе, необходимо разделить три основных параметра: степень его социальной сформированности, уровень осознания его

представителями своей политической идентичности и возможности коммуникации с государственными институтами и элитами. По первому параметру можно констатировать определенный позитивный сдвиг, особенно если учитывать полное подавление гражданского общества в советский период. Современные исследователи говорят о становлении гражданского общества, однако преимущественно в социальной сфере. По второму параметру ситуация выглядит значительно хуже: самосознание представителей гражданского общества отражает его политическую слабость и неэффективность: оно далеко от обобщений стратегического характера. Наконец, третий параметр вообще трудно поддается эмпирическому изучению в силу спорности применения классического западного понятийного инструментария к описанию российской ситуации и связанных с этим трудностей количественных обобщений (количество реально действующих НКО не поддается эмпирической верификации).

Каналы коммуникаций между гражданским обществом и политической властью хорошо известны: это всеобщие выборы на многопартийной основе, эффективный парламентаризм, развитая структура активных НПО, независимые и профессиональные судьи, пользующиеся доверием общества, активные СМИ, доводящие до общества реальную информацию о политическом процессе и дающие его критический анализ (в современном обществе именно пресса обеспечивает необходимые каналы коммуникации и систему обратных связей). Если эти институты по тем или иным причинам перестают работать, возникает потребность в их имитационном воспроизведении. В эту конструкцию вполне вписываются слабый парламентаризм и такие, в сущности, суррогатные институты, как Общественная палата (ставшая механизмом селекции общественных инициатив), общественные приемные (как выражение традиционной патерналистской легитимности), а также напоминающая монархические традиции практика встреч главы государства с представителями «цензовой» общественности (обсуждается лишь вопрос о том, насколько

регулярными стали эти встречи, но не сам формат диалога), «прямые линии» общения президента с населением (раскрывающие неэффективность местных институтов власти и реальность управления системой в «ручном режиме»).

Исследование Левада-Центра «Перспективы гражданского общества в России» (2011 г.) констатировало, что гражданское общество «пребывает в неопределенности», а его лидеры — в пессимизме и растерянности. С одной стороны, население не демонстрирует активной вовлеченности в деятельность НКО, с другой — власть стремится сдерживать эту деятельность, используя финансовые ограничения и административное давление. В деятельности каких-либо объединений и некоммерческих организаций, согласно данным опроса, принимает участие не более 4-5% населения, причем для традиционно более активной молодежи (16–34 лет) эта цифра составляет менее 10%. В крупных городах и преимущественно среди молодежи отмечается определенный рост гражданской активности, масштабы которой, впрочем, не следует преувеличивать (в основном новые формы самоорганизации в социальной и хозяйственной сфере). В политике власти доминирует установка на недопущение политизации гражданского общества, его организаций и активистов¹. Однако сдерживание общественной инициативы ведет к консервации существующих проблем, которые невозможно решить из центра. Не находя выражения в публичной сфере, это накопленное раздражение способно дать негативный кумулятивный эффект в росте протестных настроений (как это имело место в 2012 и отчасти в 2017–2019 гг.).

В российском контексте реализация системы «обратных связей» в узком смысле дает сбой по ключевым направлениям: принцип субсидиарности (дополнительности) не реализуется в силу неготовности общества принять, а государства — уступить административные полномочия регионам, институтам самоуправления или общественным организациям; институт частно-государственного партнерства

1. Перспективы гражданского общества в России. Доклад Левада-Центра. М., 2011.

оказывается блокирован общей патерналистской моделью отношений власти и бизнеса (стремление государства к контролю над бизнес-структурами и неготовность административных структур расстаться даже с частью своих полномочий, что делает нереализуемой концепцию социальной ответственности бизнеса); делегирование полномочий и ответственности неправительственным структурам (аутсорсинг) затруднено не только отсутствием адекватного законодательного регулирования, но и сохранением административных барьеров и общим недоверием к саморегулирующимся организациям. Наконец, даже в тех тесных пределах, где эти нововведения имели место, они редко выходили за рамки неформального партнерства администрации и бизнес-структур, не распространяясь на общественные организации или независимые НПО (значительная доля которых создается и финансируется под эгидой власти и в интересах ее легитимации, а следовательно, они не могут быть признаны автономными). Изменение этой ситуации (в частности, путем освоения новых западных управленческих технологий, перехода от линейной модели к функциональной, отказа административных структур от избыточных функций) далеко от завершения.

Это делает актуальным обсуждение реформ в контексте общих процессов: конституционной цикличности, особенностей российской политической системы переходного периода; состояния гражданского общества и партийной системы, федерализма (разделения уровней федерации и ее субъектов); реформирования отношений собственности, формы правления и механизма политического режима. В контексте общей динамики политического развития последних десятилетий в направлении имперской модели президентской власти (утверждению которой способствовали конституционные поправки 2008 и 2014 гг., а также законодательное расширение прерогатив президента) преодоление блокирующих механизмов в ближайшей перспективе выглядит проблематично¹.

1. Конституционный мониторинг: Концепция, методика и итоги экспертного опроса в марте 2013 г. М., 2014.

Стратегия «конституционного параллелизма», «отложенной демократии» или «управляемой демократии», возможно давшая определенный мобилизационный эффект в краткосрочной перспективе, в длительной перспективе ведет к сужению каналов обратной связи и в конечном счете к стагнации. Как показывает опыт, стагнирующие режимы при внешней крепости оказываются чрезвычайно непрочны в ситуации кризиса и, напротив, режимы, сохраняющие систему обратных связей — конкурентную политическую среду и богатство гражданских инициатив, — при внешней непрочности оказываются более стабильными и гибкими по отношению к внешним вызовам.

*Механизмы эрозии социального контракта:
растущий разрыв общества и элиты*

Корень проблемы эрозии демократических институтов Республики — логика изменений традиционного общества, проходивших в ходе революций начала и конца XX в., но не завершившихся до настоящего времени. Если экономическая и социальная модернизация в значительной степени состоялась в советский период, то политическая не завершена до сих пор. Параметры этой ситуации — незавершенность гражданской нации (сохранение стереотипов национальной и этнической разобщенности); устойчивость и непреодоленный характер коммунистических (вообще коллективистских) стереотипов во всех значимых сферах жизни; неукорененность института частной собственности (даже эрозия его легитимности); сохранение угрозы распада государства под влиянием сочетания внутренних и внешних факторов; общий популистский запрос на сильную власть неоимперского типа как основной инструмент разрешения противоречий. Две стороны проблемы эрозии социального контракта — апатия общества и незаинтересованность элиты в содержательной модернизации. Апатия общества имеет объективную основу в стремлении к стабильности (понятном после крушений государственности в XX в. и трудностей постсоветского

периода), незаинтересованность элиты — в стремлении сохранить сформировавшуюся в 1990-е гг. экономическую модель, контроль над перераспределением ресурсов и власти.

В принципе и общество, и элиты, как показывают социологические исследования, позитивно относятся к модернизации, но не готовы активно участвовать в этом процессе. С одной стороны, общество пребывает в социальной апатии — это длительный тренд, охватывающий все последнее десятилетие, когда массового запроса на модернизацию не прослеживается. Ряд тенденций способствует социальной пассивности: невключенность большинства людей в какие-либо структуры (по данным Левада-Центра, в общественных организациях и добровольных ассоциациях представлено не более 4% населения, а некоторые опросы снижают эту цифру до 2-3% населения); распространено системное недоверие к формальным институтам (за исключением альтернативных — РПЦ, армии и лично президента); доминирует установка на адаптацию к существующим условиям без сколько-нибудь выраженного стремления изменить их («приспособление» вместо «изменения»); растет атомизация общества, связанная с отсутствием устойчивых социальных связей (слабость каналов социальной коммуникации и инфраструктуры); несформированность представительных институтов, партий и массовых организаций; отсутствие реальной конкуренции в экономике, социальной сфере и политике — факторов, в совокупности дающих преобладание негативной консолидации (защитного типа) над позитивной (связанной с изменениями). Эти тенденции сохраняются в новейшее время: рост протестных настроений (в 2017 г.) сопровождается «отказом от действий, направленных на изменения социально-политической системы»¹.

С другой стороны, констатируется незаинтересованность постсоветской элиты в содержательной модернизации, связанная с тем, что ее устраивает *status quo*. Будучи во многом продолжением советской номенклатуры,

1. Мониторинг перемен: основные тенденции // Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2017. № 1-2 (124). С. 6.

она, в сущности, не обладает качествами полноценной исторически сформировавшейся национальной элиты (гражданственность, ответственность, профессионализм и государственное мышление) и стремится решать лишь краткосрочные проблемы. В социальном плане это смесь номенклатуры и спецслужб — замкнутый слой, изменение которого контролируется самой группой, предполагая не профессионализм (меритократию), но лояльность как основной критерий принадлежности (что ведет к утрате профессионализма)¹. Сходные наблюдения сделаны в отношении региональных правящих групп: в ходе выстраивания вертикали власти региональные элиты утратили качество политического субъекта, фактически были вытеснены из федерального политического процесса на его периферию, особенно с учетом того, что распределение ресурсов, замкнутое в центре, имеет выраженный политический характер. Нет, следовательно, социальных предпосылок для институционализированной оппозиции — контрэлиты, создание которой необходимо для конкуренции и преодоления стагнации, т.е. возможности выражения интересов среднего класса (а не узкой группы собственников, ориентированной на экспорт сырья). Неоднократно отмечалось, что без деприватизации государства невозможна не только полноценная социальная модернизация (создание рыночной экономики и демократической системы), но даже авторитарная модернизация. Представляя правящий слой, современная российская элита (если придавать этому понятию ценностно-окрашенный смысл) часто определяется поэтому как «псевдоэлита», связывающая свое положение с перераспределением ресурсов и максимизацией контроля, но не развития, причем сами ее представители оказываются не защищенными от неправовых преследований (как показывает дело ЮКОСа в 2003 г.).

Однако данный стабилизационный консенсус (противостоящий модернизации) близок к завершению. Показа-

1. Властные структуры и группы доминирования. СПб., 2012.

тельные данные доклада Института социологии РАН о состоянии российского общества 2018 г. (после президентских выборов): число тех, кто полагает, что необходимы существенные политические и экономические перемены, за последние шесть лет возросло — с 28% (в 2012 г.) до 56% (в 2018 г.). В основе лежит негативное отношение к деградации социальной сферы (падение уровня реальных доходов, качества медицинского обслуживания, образования, дорог и т.д.) и ухудшению материального положения. Парадоксален общий вывод: хотя в сравнении с данными 2014 г. общие оценки экономических перспектив улучшились (70% уверены в возможности обеспечить экономический потенциал для вступления России в пятерку ведущих экономик мира), оценки уровня жизни ухудшились (от 30 до 40% респондентов сомневаются в возможности увеличения реальных доходов и инфраструктурных преобразований). Это означает, что гражданское общество еще далеко от понимания общей ситуации и осознания собственных интересов, но позволяет сделать вывод о появлении в нем «запроса на перемены»¹.

Таким образом, доминирующий постсоветский запрос на стабильность — системная реакция общества на крушение государственности в XX в. Но содержание этого запроса неодинаково для разных социальных слоев: для одних он выражает неприятие раздражающих изменений вообще (консервативный тип реакции), для других — стремление противостоять внешним вызовам государству, для третьих — сохранить правила игры, установленные в 1990-е гг., исходя из предположения, что с их пересмотром можно потерять больше, чем приобрести. Сама «стабильность», следовательно, допускает дифференциацию трактовок и в перспективе означает их расхождение. Текущие изменения делают востребованным запрос на перемены, но одновременно ставят проблему того, насколько гражданское общество и элиты способны артикулировать их в сознании, институтах и практической повестке реформ.

1. Независимая газета. 2018. 23 мая. С. 4.

Внутренние и внешние факторы в трансформации идеологии республиканизма

Идеология российского республиканизма трансформируется под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Кризис, связанный с глобализацией (конфликт национальных и наднациональных структур), рост международной нестабильности и подъем популизма как мировой феномен — источники усиления консервативного поворота в России. Политический режим легитимирует себя как бастион против внешних негативных тенденций, а свои действия — как защиту национального суверенитета. Этот тренд, провозглашенный в 2008 г., усилился в 2014 г. (кризис на Украине и противостояние с Западом), получив систематическое идеологическое и политико-правовое выражение¹.

Причины, способствующие соединению внешних и внутренних факторов недемократической мобилизации в общественном сознании: 1) консервативный поворот как мировой тренд, 2) русская политическая традиция (непреодоленность советских стереотипов), 3) недоверие к формальным институтам и перенесение общественных ожиданий на неформальные институты, 4) социальная незащищенность и 5) мистическая вера в силу лидера. К этому следует добавить ошибки Запада в отношении переходных процессов в постсоветской России: ограниченный объем поддержки реформ в 1990-е гг., рост антироссийских настроений в период их последующего сворачивания, отказ от диалога и переход к политике сдерживания России, использование неадекватных инструментов реагирования (санкции, вопреки их замыслу, способствовали не дестабилизации, но консолидации российского общества вокруг власти). Результат — появление в России особого типа антиевропейской и антилиберальной политической романтики, эклектически сочетающей принципы разных идеологий — «консервативный консенсус»². Это — общее выражение правого

1. Популизм как общий вызов. М., 2017.

2. Мельвил А. Ю. Консервативный консенсус в России? Основные компоненты, факторы устойчивости, потенциал эрозии // Полития. 2017. № 1. С. 29–45.

популизма, который имеет специфические особенности в российском контексте.

Данный консервативно-реставрационный тренд в российском республиканизме базируется на изоляционистском и антизападническом тренде в общественном сознании: опираясь на устойчивые стереотипы прошлого и современные вызовы (санкции), он способствует консолидации общества вокруг власти, формированию устойчивого образа врага, мобилизационному типу развития и легитимации власти. Если в 1990-е гг. в русском общественном сознании превалирующим было мнение о том, что Россия — часть Европы, то в дальнейшем (с начала 2000-х гг.) ситуация выглядит по-другому. По данным социологических опросов (Института социологии РАН), уже в 2011 г. 2/3 опрошенных считали, что «Россия — особая цивилизация, в ней никогда не привьется западный образ жизни». В текущей перспективе отчуждение от Запада сменилось конфронтацией с ним. По данным фонда Кербера (2016 г.), более половины россиян главным негативным событием новейшей истории видит распад СССР (53%) и перестали считать себя европейцами (51%). По данным Левада-Центра (за 2017 г.), доля респондентов, негативно относящихся к США, выросла до 60%, а к ЕС — до 54%. Итогом этого сдвига в общественном сознании стала официально провозглашенная смена внешнеполитических приоритетов: с западного направления на восточное, что, по мнению критиков, соответствует стагнационному сценарию¹. Произошел, следовательно, коренной поворот в понимании республиканизма как продукта западной политической культуры. Он сопровождается официально декларированным поиском «пределов уступчивости» в отношении принятия международных (европейских) трактовок прав человека во внутреннем российском праве.

В этих понятийных рамках выявляется вектор новейших изменений. Происходит последовательное сужение информационного пространства, выстраивается система

1. Россия 2017: пути развития России в условиях международной напряженности. Барнаул, 2018.

ограниченного плюрализма (имитационная многопартийность при ослаблении реальной политической конкуренции), идет сворачивание основных конституционных принципов (демократии, федерализма, разделения властей, независимости судебной власти, гарантий политических прав личности), расширяется объем делегированных полномочий исполнительной власти и силовых структур (например, введение разрешительного порядка проведения оппозиционных акций вместо заявительного), меняется соотношение формальных и неформальных практик в сторону усиления последних. Особенность российской ситуации выражается в том, что усиление государственного контроля и подавления (в смысле расширения репрессивных практик) шло без прямого изменения конституции (поправки 2008 и 2014 гг. не являлись радикальным ее пересмотром), но путем ее преобразования — трансформации законодательства и соответствующих правоприменительных практик. Конституционные диспропорции соединились с политическими: ограниченная трактовка плюрализма и политической конкуренции — сворачивание многопартийности путем установления монопольного положения партии власти в центральном и региональных парламентах (квалифицированное большинство после думских выборов 2016 г.); слабость парламентаризма (парламентского контроля за расходованием финансов, парламентской ответственности правительства и полная зависимость его от президента); общее тяготение системы к режиму личной власти. Эрозия правового государства порождает рост недоверия к институтам власти, но последнее не конвертируется в инициативы по созданию нового конституционно-правового порядка¹.

Ограничением духа республиканских норм следует признать систему конституционных отклонений: существование особых зарезервированных зон, исключений, селективного правосудия, избыточно широкой трактовки административного усмотрения и делегированных полномочий, осуществление которых на практике оказывается вне общественного

1. Правовое государство в России: миссия невыполнима? М., 2018.

контроля. Иначе говоря — появление тех встроенных «амортизаторов», которые блокируют прямое действие конституционных принципов и норм или деформируют их применение на практике, способствуя превращению правового государства в административное государство «прямого действия». Практики государственного контроля направлены на ключевые сферы, где продуцируется смысл, — СМИ (независимую журналистику), политическую оппозицию и поддерживающие ее бизнес-структуры, НКО, религиозные и националистические группы, региональные элиты, смену губернаторского корпуса, формирование нового кадрового резерва по принципу лояльности, расширение мер текущего контроля (создание новых вертикальных структур, прокурорский надзор, доверие президента). Текущие инициативы в сфере безопасности — централизация, расширение полномочий и резкое усиление силового блока, беспрецедентное в постсоветской России. Следствием становится сужение публичного пространства, подавление реальной политической конкуренции, ограничение многообразия гражданских инициатив. Завершением данного процесса становится установление системы, характеризующейся сверхцентрализованной структурой власти и управления, воплощенной в институте практически неограниченной президентской власти с персоналистским стилем правления¹.

Поиск новой республиканской «идентичности» идет по линии отказа от доминирующих ценностей эпохи Ельцина и либеральных преобразований 90-х гг. XX в. — идеологического, культурного и политического плюрализма (в рамках поиска новой «национальной идеологии»), секуляризации (усиление религиозного влияния, вплоть до идей закрепления приоритетной роли РПЦ в конституции), доктрины прав личности (в пользу соборности и коллективистских ценностей), либеральной демократии (поскольку безопасность в этой трактовке выше прав и свобод); движения от разделения властей — к их соединению (апология особой миссии российской государственной власти в российской

1. Конституционные принципы и пути их реализации: российский контекст. Аналитический доклад. М., 2014.

и мировой перспективе). Все эти теоретические конструкции консервативной политической романтики, известные как доктрина «особого пути», транслируемые СМИ, выступают основой многочисленных предложений по пересмотру действующей Конституции 1993 г. — «ельцинской конституции», которая выступает как уступка ценностям, навязанным Западом, разрыв с «историческими традициями» российской (советской) государственности, источник трудностей современного политического режима. Результатом становится коренной пересмотр смысла и основных ценностей республиканизма — вплоть до отказа от его современных парламентских форм в пользу монархической формы правления или «квазимонархических» субстратов, апеллирующих к восстановлению сильной единоличной власти.

Однако эффективность данной политической технологии при обеспечении текущей легитимации власти не должна скрывать ее опасности для решения стратегических задач формирования государственности. Конструируемое «единодушие» способно обеспечить скорее негативную консолидацию общества (по отношению к внешним угрозам), но плохо поддается управлению при решении внутренних задач, создавая угрозу утраты системой гибкости и динамики в условиях глобальных вызовов. Идеологический инструментарий реставрационных технологий берется из прошлого, не предлагает новых содержательных решений, наконец, способен действовать лишь ограниченное время (концентрируясь в идее очередного мобилизационного рывка). Данный консервативный консенсус непрочен: имеет место конфликт исторической и рациональной легитимации республиканского строя, которые неизбежно будут расходиться с течением времени.

Плебисцитарный авторитаризм как способ разрешения конфликта общества и власти

Плебисцитарная демократия — сравнительно новый феномен для России, начавший формироваться в постсоветский период. В новейшее время стали очевидны тенденции

к закреплению этой системы в форме «демократического цезаризма» или плебисцитарного авторитаризма. Некоторые говорят даже о «плебисцитарном патримониализме», но это — «противоречие в определении». В отличие от тоталитарных или обычных авторитарных режимов (направляемой демократии), плебисцитарный авторитаризм имеет специфическую комбинированную легитимность — соединение в одной формуле народной и персоналистской легитимности (народ доверяет свою судьбу одному лидеру). До настоящего времени в российском контексте о данном тренде можно было говорить скорее как о потенциально возможном феномене, поскольку ранее он никогда не получал столь определенного выражения.

Историческими разновидностями подобного правления стали принципат как форма перехода от республики к империи в Риме, а в Новое время — традиции бонапартизма, голлизма, некоторых режимов направляемой демократии (перонизм) или их современные медийные эрзацы. Их суть определяется категориями утраты доверия общества к демократическим институтам (прежде всего парламентаризму и политическим партиям), поиска «социальной справедливости» в расколотом обществе, стремления к «национальному возрождению» в форме режима «ограниченного плюрализма» с соответствующей конституционной идеологией, созданием независимого и автономного от общества центра власти, способного воздействовать на общество извне и осуществлять политическое лавирование, легитимировать свое существование на плебисцитах или выборах, выполняющих сходные функции выражения поддержки лидеру.

Современный российский режим действительно приобрел ряд ключевых признаков плебисцитарной демократии. Он лавирует между силами старого порядка и силами, выступающими за модернизацию. Его характерными проявлениями являются двойная легитимность (демократическая, через выборы, и авторитарно-патерналистская), антипарламентаризм, недоверие к политическим партиям, непартийное техническое правительство, централизм,

бюрократизация государственного аппарата и формирующийся культ сильной личности. По результатам выборов в Думу 2016 г. число партий резко сократилось: из их общего числа (около 80) реально функционирующими оказались не более трети (называют цифру в 25 партий), из последних к выборам оказались допущены (по результатам анализа партийных списков) только 14, в Думу прошли лишь 4, причем конституционное (квалифицированное) большинство оказалось только у одной — «Единой России». При внешней эффектности победы партии власти уровень ее отчуждения значительно возрастает. Ясно, что эта конструкция, подобно сужающемуся бутылочному горлышку, минимизирует число альтернативных политических проектов, ведя к отстранению партий от реального участия в политическом процессе, перенесению всей полноты политической ответственности на партию власти, а в конечном счете — делегированию ее формально надпартийному лидеру — президенту. Для утверждения плебисцитарного режима не хватало только одного фактора — демонстрируемой массовой поддержки. Теперь он появился, что не вызывает сомнений в контексте итогов президентских выборов 2018 г. По данным ВЦИОМ, в новейший период времени (2014–2018 гг.) рейтинг доверия главе государства составлял от 82 до 88%, а его текущие колебания отражают, подобно кардиограмме, успехи и провалы во внешней и внутренней политике государства.

Конституционное выражение этого тренда — сохранение всех формальных элементов конституционности при тщательной прагматической корректировке их содержания (или, точнее, селективном применении конституционных процедур, удобных власти, и «замораживании» неудобных) и, более того, использование формальных конституционных норм (их комбинаций, умолчаний и противоречий) в интересах режима. Развитие авторитарных тенденций постсоветского периода шло очень плавно и растянулось на десятилетия; оно опиралось на корректировку правовой системы и дозированные репрессии с постоянным тестированием восприятия данных мер разными группами

общества. Более приемлемым является поэтому понятие «гибридного режима»: оно означает комбинирование демократических и авторитарных признаков и допускает их разное соотношение. Это и имело место в постсоветской России, где, начиная с 1993 г., за тридцать лет по существу сменилось до пяти различных режимов (или существенных модификаций одного режима), которые при общей преемственности демонстрируют разное сочетание элементов плюрализма и контроля, балансируя на грани «мнимого конституционализма» или переходя эту грань. Политико-правовым выражением тенденции становится делегирование власти лидеру, успех которого является единственным определяющим критерием легитимности (электоральный популизм).

В концентрированной форме эти длительно развивавшиеся тенденции зафиксированы конституционной реформой 2020 г. Поправки создают гиперцентрализованную систему, где публичный интерес власти преобладает над любым частным интересом: все уровни управленческой иерархии и институты власти подчинены поддержанию функционального единства, воплощенного и выраженного в институте главы государства. Режим сохраняет формально перевозданную демократическую формулу легитимности (народный суверенитет), однако направленно интерпретирует ее в авторитарном ключе. Поправки юридически оформляют основы системы плебисцитарного авторитаризма с персоналистским типом правления, обновленная легитимирующая формула которой делегирует власть суверена (народа) его представителю, формально наделяя главу государства неограниченной властью на неопределенный период времени, когда любое участие населения в выборах или референдуме начинает восприниматься как плебисцит о доверии действующему лидеру. Данный тип политической системы актуализирует ряд стойких исторических стереотипов общественного восприятия — пассивность общества, слабость парламентаризма, преобладание государства и патерналистских ожиданий, зависимость судебной системы и устойчивую приверженность к сильной личности,

стоящей над правом и институтами. Но при этом система такого типа не является простым воспроизводством известных исторических форм российской власти — монархии, однопартийной диктатуры или сверхпрезидентской республики. Качественная трансформация российского политического режима новейшего времени в сравнительной перспективе определяется нами понятием конституционного авторитаризма или «конституционной диктатуры»¹.

В целом появление данного режима означает рост неустойчивости системы, которая, с одной стороны, исчерпала предшествующий ресурс легитимности, с другой — столкнулась с новыми мощными вызовами, с третьей — ищет ответы в максимизации контроля и подавления. В осуществлении преобразований присутствуют ловушки мобилизационной модели: стремление разрешить внутренние проблемы перенесением их вовне, перенесение издержек модернизации на население (что ведет к эрозии легитимности и требует идеологической и эмоциональной сверхкомпенсации) и использование мер контроля и подавления неконформистских инициатив гражданского общества. Все эти варианты (или их комбинации) имеют свои преимущества и недостатки, анализ которых требует отдельного обсуждения.

Перспективы российской модели республиканского строя

В целом Россия в XX — начале XXI в. смогла реализовать переход от монархического абсолютизма и однопартийной диктатуры к республиканскому строю современного типа. Однако модель республиканского устройства, заложенная с принятием Конституции 1993 г., выявила конфликт демократической формы (смешанной президентско-парламентской республики) и недемократических практик, завершившихся консолидацией режима плебисцитарного авторитаризма. Если верно утверждение, что всякая

1. Медушевский А.Н. Переход России к конституционной диктатуре: размышления о значении реформы 2020 года // Сравнительное конституционное обозрение. 2020. № 3 (136). С. 33–50.

Республика рано или поздно находит своего Цезаря, то современная Россия не является исключением.

Формула российской власти проделала в XX в. эволюцию, включавшую пять этапов: 1) переход от абсолютизма (самодержавия) к дуалистической монархии с выраженным феноменом мнимого конституционализма (Манифест 17 октября 1905 г. и Основные законы империи 1906 г.); 2) от этой последней формы к парламентской (или смешанной) республике (которая была провозглашена Временным правительством и Учредительным собранием, но так и не стала реальностью); 3) установление советской системы при режиме однопартийной диктатуры, стадии развития которой выразились эвфемизмами «трудовая республика», «республика советов», «советский парламентаризм», «общенародное социалистическое государство»; 4) переходный режим периода перестройки, определявшийся как «социалистический парламентаризм» и «советская система с президентской властью»; 5) принятие современной Россией дуалистической системы (смешанной формы правления французского образца), в реальности означающей установление суперпрезидентской власти с выраженной тенденцией к плебисцитарному авторитаризму. При всех разрывах идеологического и формально-правового обоснования государственности прослеживается преемственность имперской, революционной и республиканской формул, отражающая сходство объема власти и полномочий главы государства в монархической системе, однопартийном режиме и современном президентском режиме.

Ключевая проблема современного республиканизма — преодоление растущего отчуждения гражданского общества и власти. Сохраняющаяся пассивность гражданского общества и консерватизм элиты в краткосрочной перспективе делают маловероятным прямой переход к республиканской демократии западного типа, но предполагают скорее движение к новым формам «демократии элит». На этом пути возможна трансформация существующей формы ограниченного плюрализма — от более жесткого авторитаризма к менее жесткой его конструкции в виде «ограниченной

демократии». Этот переход (не требующий радикального пересмотра Конституции) включает принятие новых «правил игры» (с возможной фиксацией в особом договоре или пакте элит): постепенное расширение внутриэлитной конкуренции, движение от имитационной к реальной (пусть даже контролируемой) многопартийности с постепенным подключением к этому процессу институтов гражданского общества, восстановление баланса властей, свойственного аутентичной смешанной форме правления (с параллельной отменой избыточных законодательных, судебных и административных ограничений новейшего времени); пересмотр сверхцентрализованного механизма принятия решений (расширение парламентаризма и ограничение абсолютного преобладания президентской власти над всеми остальными), введение прозрачных процедур смены лидера. Важна постановка вопроса о многоуровневой модели политической системы и возможностях ее трансформации на уровне субъектов федерации, регионов, муниципалитетов и вообще местного самоуправления¹.

Контуры возможных преобразований республиканского режима — выстраивание сотрудничества структур гражданского общества с той частью мыслящей бюрократии, которая способна на перспективное видение ситуации в интересах обеспечения долговременных государственных приоритетов, прагматизма и собственного самосохранения. Подобное взаимодействие гражданского общества и государства необходимо для поддержания стабильности курса модернизации: четкой фиксации общественно значимых целей реформ в доминирующем проекте, заключения соглашения (договора) о неизменности соблюдения его базовых принципов в длительной перспективе, введения в действие процедур общественного контроля и медиации в разрешении конфликтов, создания автономных от государственной власти институтов мониторинга реализации. Формой консолидации этих усилий могло бы

1. Медушевский А. Н. Конституция и социальный запрос на изменения в современном российском обществе // Сравнительное конституционное обозрение. 2019. № 1 (128). С. 21–41.

стать создание «контрэлиты» — своего рода альтернативного кабинета «общественного доверия», пользующегося поддержкой либеральной части гражданского общества и способного трансформировать его ожидания в виде конкурентоспособных политических альтернатив.

Общей предпосылкой демократической Республики, безусловно, является обеспечение преемственности элиты реформ, ясных критериев ее формирования, профессионализма и мобильности состава в направлении меритократии, предсказуемости кадровых изменений. Самостоятельным фактором перспектив реформ является замена административной импровизации научным объяснением их логики, понятностью для общества их плана и стратегии (в истории неожиданно открывшаяся возможность реформ часто не реализовалась из-за неготовности общества и элиты к ним, как это было в 1917, 1985 и отчасти в 1993 гг.). Для гражданского общества это означает шанс и ответственность. При реформировании Российской республики важно не допустить неконтролируемого развития деструктивных популистских настроений, не дать подменить подлинную модернизацию ее имитационными формами, способствовать устойчивому демократическому развитию и либерализации режима. В этой перспективе демократическая Республика — не только общественный идеал, но и наиболее значимая форма проявления гражданского самосознания.

Сокращения

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки

РГАДА — Российский государственный архив древних актов

РГИА — Российский государственный исторический архив

Сведения об авторах

Бугров Константин Дмитриевич — доктор исторических наук, профессор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Велижев Михаил Брониславович — PhD, кандидат филологических наук, профессор Школы филологических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ерусалимский Константин Юрьевич — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета.

Киселев Михаил Александрович — кандидат исторических наук, доцент Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Лукин Павел Владимирович — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН.

Марей Александр Владимирович — кандидат юридических наук, доцент Школы философии и культурологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Медушевский Андрей Николаевич — доктор философских наук, профессор факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Миллер Алексей Ильич — доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Новосельский Сергей Сергеевич — кандидат исторических наук, старший преподаватель Российского государственного гуманитарного университета.

Ростиславлева Наталья Васильевна — доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета.

Соловьев Кирилл Андреевич — доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института российской истории.

Указатель имен

- Аввакум, протопоп 157, 216
Август, Гай Юлий Цезарь
Октавиан 27, 327, 384, 453,
454, 735
Августин, Аврелий 32, 39–44, 47,
51, 53, 56, 68, 70, 74, 162, 487
Авраамий (А.И. Палицын)
195, 216, 240
Агапит 227
Адашев А.Ф. 186, 261
Адашевы 261
Адриан, Публий Элий Траян
34, 36
Аксакова (Тютчева) А.Ф. 565–567
Аксаков И.С. 551, 566–571, 578,
589, 619
Аксаков К.С. 528, 570, 589, 617, 618
Аксаковы 566
Акулов И.А. 723
Александр I 201, 403, 422, 439, 450,
459, 479, 511, 515–518, 520, 553
Александр II 201, 492, 506, 553,
618, 627
Александр III 541, 553, 580, 620
Александр Македонский 163, 392
Александр Север 34
Александр Ярославич Невский
102, 106, 178
Алексеев А.А. 316
Алексей Алексеевич, царевич 201
Алексей Михайлович, царь
172, 174, 192, 195, 201, 212–216,
219, 222, 223, 228, 229, 313
Амброзьяк Т. 238
Амосов А.А. 252
Анаксимандр 354
Андреев И.Л. 214, 215
Андрей Васильевич,
князь Углицкий 120
Андрей Юрьевич Боголюбский
86, 92, 94, 96, 98, 121, 123,
124, 143
Андронников М.М., князь 571, 628
Анна Иоанновна 331, 332, 336,
340, 354, 434
Антоний, архиепископ
Новгородский 89
Антоний, Марк 327
Антонин Пий 34
Антонов-Саратовский В.П. 702
Араго Ф.Ж.Д. 467, 470
Аракчеев А.А., граф 439, 454
Аракчеев В.А. 170, 173
Арендт Х. 458
Аристид 453
Аристотель 14, 25, 46, 53, 54, 60,
65, 161, 162, 168, 181, 190, 201,
266, 277, 278, 290, 293, 295, 314,
315, 317, 321, 369, 396
Арднт Э.М. 422
Арон Р. 277, 278
Арсеньев А.А. 628
Атей Капитон, Гай 35
Атнашев Т.М. 399
Афанасий, св. 341
Бабеф Г. 302, 464
Базар С.-А. 305
Бакунин М.А. 395, 618
Бакус О.П. 249
Бардт К.Ф. 284

- Барклай Дж. 343, 354, 355
 Барклай-де-Толли М.Б. 511
 Бармин А.Г. 736
 Батый 394
 Бауер О. 546
 Баязитова Г. 60
 Бедкер Х.У. 475
 Безбородко А.А., светлейший князь 372
 Бейкер К.М. 465
 Белинский В.Г. 526–529, 550–552
 Бельский Б.Я. 212
 Бельский Д.И. 254
 Бельский И.Д., князь 233, 242
 Бельский, Маргин 238
 Бельский С.Ф., князь 204, 233, 257
 Бенкендорф А.Х., граф 499–502
 Бердников А.И. 673
 Бердяев Н.А. 546, 608
 Берелович А. 241
 Берк Э. 487, 489
 Берлин И. 413
 Берсень Беклемишев И.Н. 200
 Бестужев А.Ф. 366, 370, 371, 388
 Бестужев Н.А. 442
 Бийо-Варенн Ж.-Н. 462
 Бисмарк О. фон 299
 Бицилли П.М. 560
 Бланки О. 303, 308, 468, 469
 Блан Л. 304, 305, 307, 470
 Блау Я.В. 313
 Блекстоун У. 293
 Блок М. 406
 Блудов Д.Н., граф 494
 Блюм Р. 294
 Бовгиря А.М. 253
 Богатырев А.В. 217
 Богатырев С.Н. 194
 Боден Ж. 38, 57, 59–67, 73, 557
 Боккалини Т. 342
 Болдырев А.В. 483
 Боливар С. 389
 Болингброк Г.С.-Дж. 486
 Болтин И.Н. 380, 381
 Борецкая, Марфа 393, 394
 Борис-Гинвил 149
 Борис Негочевич, новгородский тысяцкий 90
 Брагинская Н.В. 20
 Брагова А.М. 30
 Бредлаф Ч. 477
 Брежнев Л.И. 748
 Брехуненко В. 175
 Бриген (Бригген) А.Ф. фон дер 448
 Брут, Марк Юний 392, 454
 Брут, Марк Юний, претор 35
 Брюховецкий И.М. 225
 Брянчанинов А.Н. 655
 Бугров К.Д. 229, 428–432, 436, 440, 457, 458
 Бужинский Г.Ф. 315–317, 321, 330
 Буланин Д.М. 181
 Булгаков Я.И. 513, 514
 Булгарин Ф.В. 498
 Булыга, киевский мещанин 244
 Булыгин А.Г. 622, 632, 633, 639, 641, 642, 651
 Бунаков И.И. 254
 Бунаковы 254
 Буонаротти Ф. 468
 Бурбоны, династия 304, 403, 497
 Бурдые П. 565
 Бурцев (Бурцевич, Бурцевский), Иван 261, 262
 Буташевич-Петрашевский М.В. 502, 517
 Бутурлин Д.П. 173
 Бутурлины 254
 Бухарин Н.И. 736
 Бэкон Ф. 271
 Бюшез Ф. 468
 Бюшинг А.Ф. 362

- Вадим Новгородский (Храбрый) 177, 178, 382, 392, 396
- Вайтлинг В. 475
- Валицкий А. 568
- Валуев Г.Л. 207, 208
- Валуев П.А., граф 528, 532, 560, 625
- Вальденберг В.Е. 154
- Ванда, польская княгиня 177
- Василий I Македонянин 226
- Василий I Дмитриевич 119
- Василий II Васильевич Темный 120, 121, 136, 240
- Василий III Иванович 181, 186, 192, 200, 211, 242, 249
- Василий Александрович 102
- Василий Иванович Шемячич 242
- Василий Ярославич Костромской 118
- Васильев А. 342
- Вассиан Косой (В.И. Патрикеев) 192
- Вассиан (Муромцев) 190
- Вдовин, новгородец 82
- Вебер М. 158, 161, 299–302
- Ведекинд Г.К.Г. фон 471
- Велькер К.Т. 289, 290, 292
- Веселовский С.Б. 252, 254
- Ветчинин В.Г. 656
- Вилкул Т.Л. 169
- Вильгельм II Гогенцоллерн 300, 301
- Виниус А.А. 190
- Вироли М. 424–427
- Висковатый И.М. 235
- Витовт Кейстутович 236, 237, 259
- Витория Ф. де 57–60
- Витте С.Ю., граф 588–590, 621, 629, 653, 654, 657
- Вишняк М.В. 560
- Владимир I Святославич 154, 215, 339, 394
- Владимир Андреевич Ростовский 132
- Владимир Андреевич Старицкий 243
- Владимир Всеволод(ов)ич Мономах 97–99, 114
- Владимир Всеволод(ов)ич, сын Всеволода Большое Гнездо 113
- Владислав IV Ваза 207, 208, 210, 214, 225, 260
- Влодковиц, Павел 187, 188
- Вовин А.А. 126, 128–130, 170, 171
- Водов В. 124
- Волгин В.П. 279, 280
- Волков А.С. 381
- Вольнский А.П. 334, 374
- Вольтер 275–277, 376, 486, 722
- Вольф Х. 284
- Воронин Н.Н. 147
- Воротынские, князья 233
- Воротынский И.М., князь 189
- Воротынский М.И., князь 243, 244
- Всеволод Ольгович 141
- Всеволод Юрьевич Большое Гнездо 88, 94, 98, 99, 108, 112–116, 143–145
- Всеволод Юрьевич, сын Юрия Всеволодовича 89
- Всеволод Ярославич 97–99, 100, 140
- Всеслав Брючиславич 140
- Выговский И.Е. 222
- Вышинский А.Я. 725, 732, 733
- Вяземский А.А., князь 372
- Вяземский П.А., князь 454, 517–520
- Вячеслав, новгородский тысяцкий 90
- Габсбурги, династия 472, 476
- Гавриил, архиепископ Новгородский 87
- Гагарин И.С., князь 528

- Гагемейстер И. фон 333
 Гайдар Е.Т. 762
 Гай, юрист 33, 36, 37
 Галлер А. фон 376, 377, 379, 380
 Гамбетта Л. 307–309
 Гамель Л.-Э. 308
 Ганземан Д. 297, 298
 Гардинер С. 274
 Гартман Э. фон 566
 Гваньини А. 239
 Гвиччардини Ф. 342
 Гегель Г.В.Ф. 306
 Гейден П.А., граф 631
 Гемпдэн Дж. 593
 Генифе П. 283
 Генрих III Валуа 206, 207, 231
 Герберштейн, Сигизмунд 126, 157
 Гердер И.Г. 284, 422, 423, 425
 Герман Полев, митрополит
 Московский 186
 Гермоген, патриарх 210
 Герцен А.И. 531, 560–563, 613, 618
 Гершенкрон А. 169
 Гессен В.М. 595
 Гесс М. 305, 306
 Гизель, Иннокентий 508
 Гизо Ф. 287, 466
 Гиппиус А.А. 83, 84, 86, 87, 89, 91
 Гиреи, династия 257
 Гитлер А. 736
 Глебович, Ян Янович 246
 Глеб Юрьевич 96
 Глинка С.Н. 434
 Глинка Ф.Н. 448, 449, 454
 Глинский М.Л., князь 182, 254
 Гнейст Р. 578, 586
 Гоббс Т. 67–74, 215, 269, 271, 376, 584
 Годунов, Борис Федорович 192,
 202, 208–212, 214
 Гойхбарг А.Г. 673
 Голицын В.В. 228
 Голицын Д.В., князь 501, 502
 Голицыны 332
 Головин М.И. 254
 Голохвастовы 254
 Гольцман А.З. 680
 Гораций Флакк, Квинт 453
 Горбачев М.С. 745, 756, 761, 762,
 764–768
 Горемыкин И.Л. 575, 588, 589, 591
 Горенский Ю.И., князь 254
 Горенштейн В.О. 25, 26, 30, 31
 Городилин С.В. 137
 Горский А.А. 110, 135
 Гостомысл 124, 383
 Готье Ю.В. 208
 Граббе П.Х. 454
 Грабмюллер Х.-Ю. 127, 128, 130
 Градовский А.Д. 544
 Гракхи, братья 327
 Граля И. 253
 Гранат, братья 543, 544
 Гранберг Ю. 128, 133, 170
 Грингмут В.А. 641
 Гриффитс Д. 402
 Грубер И. 199
 Грюн К.Т.Ф. 305, 306
 Губка Шуйский И.Д., князь 253
 Гудзяк Б. 251
 Гуковский Г.А. 394
 Гулыга А.В. 296
 Гумбольдт В. фон 295, 296
 Гуревич А.Я. 26
 Гурко В.И. 642, 647
 Гусейнов Г.Ч. 20
 Гуюк, хан 142
 Д'Аламбер Ж.Л. 360, 361
 Далмат, архиепископ
 Новгородский 91, 105, 112, 118
 Даль В.И. 509

- Дальман Ф.К. 292–294
 Даниил, митрополит
 Московский 181, 240
 Данилевский Н.Я. 553, 569
 Дантон Ж.Ж. 303, 308
 д'Аржансон Р.Л. 448
 Дашкович, Остафий 263
 Дворниченко А.Ю. 165
 Девлет-Гирей, хан 243
 Дезами Т. 303
 Демосфен 498
 Демулен К. 303
 Демчинский Н.А. 635, 636
 Десницкий С.Е. 386, 387
 Дестют де Траси А. 303, 494
 Дзялынский, Лукаш 232
 Дзярнович О.И. 253
 Дильтей Ф.Г. 362
 Диоклетиан 38, 39
 Длугош, Ян 238, 239
 Дмитриев И.И. 499
 Дмитриев М.А. 519
 Дмитриев М.В. 253
 Дмитриев-Мамонов М.А., граф
 442, 443
 Дмитрий Солунский, св. 179
 Довмонт 127, 133–135
 Дождев Д.В. 33
 Долбилов М.Д. 537
 Долгоруков И.А., князь 333
 Долгоруковы 332, 629
 Долинин А.А. 488
 Донцов Д.И. 549
 Достоевский Ф.М. 502–504, 542,
 567, 568, 583
 Дохтуров Г.С. 184
 Дрейфус А. 574
 Дуброва Л. 247
 Дудзинская Е.А. 570
 Дьяконов М.А. 154, 157
 Дюби Ж. 190
 Дюги Л. 667, 729
 Дюмезиль Ж. 190
 Евгений, митрополит
 (Е.А. Болховитинов) 435
 Евлашевский Ф.М. 232
 Евфимий II, архиепископ
 Новгородский 122
 Ежов Н.И. 733, 736
 Екатерина II Великая 201, 369,
 372, 383, 384, 387, 402–404, 434,
 456, 512, 513
 Елизавета I Тюдор 172, 247
 Елизавета Петровна 434
 Еллинек Г. 308, 309, 667
 Ельцин Б.Н. 762, 770, 793
 Еропкин А.В. 637, 638
 Жданов А.А. 733
 Жеглов, Иван 172
 Живов В.М. 241
 Жирочко, новгородец 82
 Житловский Х.О. 546
 Жозеф Бонапарт 477
 Жокур Л. де 361, 362
 Жолкевский, Станислав 207, 210
 Жорес Ж. 309
 Жуковский В.А. 201, 519
 Заболоцкий В.С. 232, 254, 258, 260
 Захарьины 253
 Зверевы 254
 Звяга Ростовский С.В., князь 254
 Зимин А.А. 200
 Зиновьев Г.Е. 736
 Золотницкий В.Т. 322, 356
 Зольдат К. 158
 Зонара, Иоанн 180
 Зорин А.Л. 423, 433
 Зюзин Н.И. 228

- Иван III Васильевич 101, 132, 136, 168, 171, 195, 200, 240, 249, 347, 433
- Иван IV Грозный 169, 172, 173, 176, 179, 182, 186–188, 192, 193, 200, 204–207, 211–213, 218, 219, 232, 236, 240–248, 250, 251, 254–256, 258–260, 352, 433, 617
- Иван V Алексеевич 176
- Иванко Дмитрович, новгородский посадник 89
- Иванова-Веэн Л.И. 160, 166
- Иванов С.А. 20
- Иван Ростиславич Берладник III
- Игнатъев Н.П., граф 620
- Игорь Ольгович 141
- Игорь Рюрикович 110
- Иероним, св. 71
- Измайловы 254
- Изяслав Мстиславич 123
- Изяслав Ярославич 140
- Икосов П.П. 382, 393
- Илия, архиепископ Новгородский 86
- Илларион, митрополит Рязанский 201
- Иловайский Д.И. 552
- Ильминский Н.И. 544
- Иоанн, архиепископ Новгородский 113, 119
- Иоанн Солсберийский 47, 51, 56, 187
- Иов, патриарх 211
- Иона, архиепископ Новгородский 120
- Иосиф Волоцкий 204
- Исаева Т.С. 85
- Исайя, монах 313
- Исидор, митрополит Новгородский 173
- Исидор Севильский 44, 45
- Кабе Э. 303, 467–469
- Кавеньяк Г. 468, 469
- Каганович Л.М. 729
- Казакова Н.А. 168, 191
- Казимир IV Ягеллончик 125, 127
- Калделлис Э. 197
- Каливас А. 413–415, 417, 418
- Каменев Л.Б. 701, 736
- Кампгаузен Л. 297
- Кант И. 284–286, 298, 442, 472, 473, 722
- Каплун В.Л. 451–453, 457, 458
- Капогросси Колоньези Л. 26
- Каракалла 38, 39
- Карамзин Н.М. 383, 384, 387, 393, 394, 409, 431, 435, 446, 492, 514, 515
- Карамышев, Иван 224
- Кареев Н.И. 282, 302, 306, 309
- Карл I Стюарт 201, 202, 228, 272, 336, 396
- Карл II Стюарт 201
- Карл X Бурбон 496
- Карл XII, шведский король 324
- Карно И.Л. 470
- Каролинги, династия 197
- Карпов Ф.И. 181, 196, 211, 265
- Каррель А. 468
- Карякин В., житель Казани 653
- Катерина Ягеллонка 247
- Катилина, Луций Сергей 109, 327
- Катков М.Н. 507, 533–537, 540, 546, 550, 551
- Катон, Марк Порций (Старший) 35, 376–380
- Катон, Марк Порций (Младший) 394, 396, 453
- Каутский К. 546
- Кафенгауз Б.Б. 128, 133
- Каховский П.Г. 450
- Кацнельсон И. 413–415, 417, 418, 421
- Кашкаровы 254
- Каштанов С.М. 126, 127
- Кемпа Т. 251

- Кивельсон В. 158, 199, 225, 227
Кинан Э. 156
Киреев А.А. 570–573, 576, 578, 581, 582, 621, 644
Киреевский И.В. 499, 529
Киселев М.А. 161, 184, 189, 191, 218, 229, 429
Кишки, шляхетский род 263
Клеймола Э. 159
Клемансо Ж. 307, 309
Клешнин А.П. 212
Клопов А.А. 645
Ключевский В.О. 196, 200, 552
Княжнин Я.Б. 382, 394–396, 430
Ковалевский М.М. 593, 596, 597
Ковалевский П.И. 547–549, 551
Козеллек Р. 266
Козельский Я.П. 363
Козляков В.Н. 208, 213
Козьма Индикоплов 162
Коковцов В.Н. 629
Кокошкин Ф.Ф. 594, 595, 608–611
Коллингвуд Р.Дж. 286
Коллинз С. 228
Коллманн Н.-Ш. 155, 199
Кологривов Ю.И. 332
Кольчевы 254
Кольридж С.Т. 487–491
Комаров В.В. 657
Конгар И. 54
Кондорсе Ж.А. 282
Конрад, князь Мазовецкий 182
Констан Б. 286, 308, 414, 416, 418–421, 445, 446, 464, 466
Константин Всеволод(ов)ич 113, 115–117
Константин Павлович, великий князь 201, 495
Константин I Великий 38, 39
Контарини Г. 65
Конт О. 308
Кориолан, Гней Марций 382
Корнилий, игумен 186
Корнилов И.П. 537
Корсаков Д.А. 334
Корф М.А., барон 529
Коснячко, воевода 140
Костомаров Н.И. 532, 533
Котошихин Г.К. 157, 200, 203, 212, 213, 215
Кофанов Л.Л. 26
Кошелев А.И. 568, 569, 618
Кошеленко Г.А. 26
Краевский А.А. 535
Кранц А. 107
Крижанич, Юрий 190, 203
Кромвель О. 219, 269
Кроммер М. 238
Кром М.М. 160, 179, 194
Кротоский, Ян 246
Крыжановский С.Е. 626, 627, 642, 646
Ксеркс 391, 392
Кугушев А.П., князь 628
Кузицин В.И. 26
Кукольник Н.В. 500
Кулиш П.А. 532
Куломзин А.Н. 619, 623, 636, 637, 641
Куницын А.П. 444
Курбский А.М., князь 164, 165, 167, 178, 185–192, 196, 197, 200, 204, 211, 216, 233, 235, 243, 244, 248, 253–255, 257, 259–262, 265
Курилкин А.Р. 399
Курский Д.И. 698, 704
Курукин И.В. 336
Кюхельбекер В.К. 454
Кяупене Ю. 253
Лабутина И.К. 131
Лавренченко М.Л. 95
Лавров П.Л. 546, 563

- Лагарп Ф.-С. 201, 403, 515
Ланнуа, Жильбер де 125
Лафайет Ж. де 303, 304, 448, 468, 500
Лацис М.И. 673
Лебуин, св. 178
Ледке М. 251
Ледрю-Роллен А.-О. 470
Лейбниц Г.В. 215, 284
Леклерк Н.-Г. 380
Лемке М.К. 498, 499
Ленель О. 34
Ленин В.И. 679, 721, 735
Леонтьев К.Н. 538–540, 543, 564, 569, 571
Лермонтов М.Ю. 528
Лескинен М.В. 531
Лессинг Г.Э. 284
Лех, легендарный прародитель поляков 176, 239
Лжедмитрий I 192, 208, 211
Лжедмитрий II 173, 174, 200, 207, 211, 212, 214
Ликург 386
Лильберн Дж. 268–271
Лимонов Ю.А. 146
Лихачев Д.С. 156
Лозинский М.Л. 488
Локк Дж. 215, 271, 415
Лопухин И.В. 381
Лорис-Меликов М.Т., граф 625
Лотман Ю.М. 395, 452, 456, 482
Луазель А. 565
Луазо А. 565
Луи-Филипп Орлеанский 304, 469
Лукин П.В. 168, 170, 171
Лукьянов А.И. 724
Лунин М.С. 448, 450
Лурье Я.С. 115
Луций Вер 34
Львов Г.Е., князь 604
Львович-Кострица М.И. 657
Львов Н.Н. 580
Любавский М.К. 249
Людовик I Благочестивый 197
Людовик XI Валуа 11
Людовик XVI 303, 462
Людовик XVIII 403
Люкс А. 471
Ляпин Д.А. 214, 215
Ляцкий И.В. 233, 253, 257
Ляцкий И.И. 233, 253
Мабли Г. де 281, 282, 367, 368, 370, 391, 448
Магнус, эрцгерцог 244, 245
Магун А.В. 74
Мазур К. 238
Майер И. 221
Майорова О.Е. 436
Макарий, митрополит Московский 235
Макиавелли Н. 65, 341, 342, 355, 374, 376, 389
Маккенни Р. 557
Максим Грек 186, 188, 199, 234
Максимилиан II Габсбург 205
Максим Ларионович, псковский посадник 132
Мал, древлянский князь 139
Малинова О.Ю. 528
Маний Манилий 35
Манкиев А.И. 390
Марат Ж.П. 736
Марей Е.С. 44
Марешаль С. 302, 303
Маржерет Ж. 165
Марий, Гай 327, 398
Мария Александровна, императрица 566
Мария (Магдалина), «ляховица» 233

- Марк Аврелий 34
 Марк К. 411, 664, 680, 721
 Марра А. 467, 468
 Марсилий Падуанский 187
 Мартирий, архиепископ
 Новгородский 87
 Марфа Жилина, черная
 старица 192
 Маскевич, Самуил 192, 193
 Матюшкин М.А. 332
 Маффеи Ш. 486
 Маяк И.Л. 26
 Медушевский А.Н. 437, 439
 Меншиков А.Д., светлейший
 князь 333
 Меньшиков М.О. 547, 620
 Местр Ж. де 487
 Меффиссен Г. 297
 Микула, стрелецкий голова 232
 Милль Дж.С. 287, 411
 Мильтон Дж. 271–275
 Милюков П.Н. 310, 546
 Милютин Ю.Н. 639
 Минье Ф.О. 307
 Мироненко С.В. 437
 Митрофан, архиепископ
 Новгородский 89
 Михаил Всеволод(ов)ич
 Черниговский 92, 103, 104
 Михаил (Михалко) Юрьевич
 144, 145, 148
 Михаил Федорович, царь 184,
 191, 192, 210, 212–214, 223, 228
 Михаил Ярославич Тверской 179
 Михеев С.М. 139
 Михельс Р. 678
 Мишле Ж. 307, 427
 Мнишеки 366
 Мнишек, Юрий (Ежи) 189
 Моатги Кл. 19, 23–25
 Мозер Ф.К. фон 284
 Моисей, игумен 97
 Молотов В.М. 726, 731, 732
 Мономашичи 96, 98, 114
 Монтестье Ш.-Л. 277, 278, 293,
 356, 358–363, 366–368, 370, 373–
 375, 385, 395–397, 494
 Монье Р. 460–463
 Морозов Б.И. 195
 Морозов В.В. 252
 Мор Т. 65, 295
 Моуритсен Х. 79
 Мстислав Владимирович
 Великий 96, 97, 99, 353
 Мстислав Изяславич 96
 Мстислав Мстиславич Удатный
 (Удалой) 88, 103, 116
 Мстислав Ростиславич Безокий
 86, 144
 Мстислав Ростиславич
 Храбрый 96, 97, 112
 Мстиславичи 96
 Мстиславский Ф.И., князь
 189, 228
 Мументалер Р. 171
 Муравьев М.Н. 201, 403
 Муравьев Н.М. 442, 443, 445–449,
 451, 453, 454, 522
 Мусин-Пушкин Е.И., граф 332
 Мэдисон Дж. 414–416
 Набоков В.Д. 607, 608
 Нагая, Мария Федоровна
 (Марфа) 211
 Надеждин Н.И. 483, 530, 531
 Наполеон I Бонапарт 283, 289,
 310, 414, 422, 433, 461, 464, 466,
 511, 517
 Наполеон III Бонапарт 307
 Насонов А.Н. 127, 143
 Нельсон Э. 21, 407
 Немрод, легендарный царь 325
 Неплюев Н.Н. 635

- Николай I 16, 423, 433, 481, 492,
 493, 495, 499, 500, 504, 525, 553,
 645
 Николай II 541, 619, 621–623, 630,
 635, 642–644, 648, 649, 652, 655
 Николе Кл. 26
 Николсон А. 599
 Никольский Б.В. 652
 Никон, патриарх 201, 228
 Нин, легендарный царь
 Ассирии 325
 Новиков М.Н. 442
 Новиков Н.И. 369, 381
 Новосильцев Н.Н., граф 439, 515,
 517, 518
 Ноготков Оболенский М.А.,
 князь 254
 Нодэ Г. 565
 Ноздрька, жительница
 Новгорода 82
 Нойманн И. 203
 Нольде Э.Ю. 619, 623, 641

 Оболенские, князья 260
 Оболенский А.Д., князь 589, 590,
 629, 630, 640, 641
 Одоевский А.И. 454
 Ожел Й. 238
 Окенфусс Дж. 241
 Олсуфьев Д.А., граф 600
 Ольга, княгиня 139
 Ольгерд Гедиминович 236
 Ольговичи 141
 Онанья, новгородский
 посадник 106
 Ордин-Нащокин А.Л. 175, 228
 Ордин-Нащокин В.А. 258
 Орлов А.Ф. 529
 Орлов Г.Н. 214
 Орлов М.Ф. 442, 443
 Остафьевы 254
 Остик, Григорий 247

 Острожские, князья 263
 Острожский К.И., князь 250
 Острожский К.К., князь 244
 Отман Ф. 60
 Оуэн Т. 169

 Павел I 511
 Павел, апостол 46, 164
 Павел, митрополит
 Крутицкий 201
 Пайпс Р. 158
 Палемон (Публий Либон),
 легендарный основатель
 литовской государственности
 238
 Пален Ф.П., граф 511
 Панин Н.И., граф 365, 372, 395,
 511, 512
 Панин П.И., граф 511
 Панова Е.Д. 501
 Панова М.И. 570
 Папиниан, Эмилий 34
 Папроцкий, Бартош 246
 Парсамов В.С. 440–442, 445–447,
 450, 494, 495
 Пахомий Логофет 122, 123, 124
 Пашуканис Е.Б. 719
 Пейн Т. 414, 415, 416
 Пеленский Я. 237
 Пересветов И.С. 240, 248
 Перро М. 558
 Пестель П.И. 442–451, 494, 495,
 520–523, 547
 Петр Петрович, сын Петра I
 329, 389
 Петр I Великий 176, 228, 251, 315,
 317, 324, 325, 433, 485, 486, 492,
 567, 568, 660
 Петр II 331
 Петров А.В. 91
 Петтит Ф. 409, 615
 Пешар-Дешан П.П. 517

- Пилбим П.М. 467, 469
 Пимен, архиепископ
 Новгородский 248
 Питт мл. У. 416
 Плавт, Тит Макций 25
 ПIANO Карпини, Дж. Дель 142, 143
 Платон 25, 46, 60, 65, 201, 295
 Платонов С.Ф. 156, 196, 213, 597
 Плевe В.К. фон 572, 573
 Плетнев П.А. 492
 Плещеев Ф.К. 214
 Плещеев Ф.М. 174
 Плотников А.Б. 336
 Плохий С. 508, 509
 Плутарх 47, 454, 457
 Пнин И.П. 371
 Победоносцев К.П. 537, 544, 629
 Погодин М.П. 435, 499, 540
 Покок Дж.Г.А. 405, 432
 Полевой К.А. 499, 500
 Полевой Н.А. 435, 499, 500
 Полибий 65, 315, 317
 Поликарпов-Орлов Ф.П. 311, 312
 Полонский П. 377
 Полубенский А.И., князь 255, 257
 Полубенский И.А., князь 255
 Польской С.В. 333
 По М. 225
 Помпей Великий, Гней 327
 Помпоний, Секст 35
 Пономарева М.А. 55
 Попрядухин А.П. 654
 Попугаев В.В. 391, 392
 Поссевино А. 206
 Потапова Н.Д. 409, 438, 451, 495
 Потоцкие 366
 Прайс Р. 489–491
 Прево-Парадоль Л.А. 308
 Приселков М.Д. 94
 Пройс Г. 301
 Прончищев И.А. 222
 Проскурина В.Ю. 487
 Проскурин О.А. 443
 Прудон П.-Ж. 305, 306, 308
 Птоломеи, династия 325
 Пугачев В.В. 447–449
 Пуфендорф С. фон 315, 318, 319,
 323, 330, 344
 Пушкин А.С. 442, 443, 454, 482,
 499, 504, 520
 Пыпин А.Н. 543
 Пясты, династия 233
 Пятаков Г.Л. 736

 Радек К.Б. 736
 Радзивиллы 365
 Радищев А.Н. 390, 391, 395, 430
 Раевский В.Ф. 454
 Разин, Степан 157, 227
 Раковский Х.Г. 703
 Распай Ф.-В. 468
 Рассадин С.В. 45
 Ратибор Клуковсвич,
 новгородский тысяцкий 106
 Рачинский А.В. 536–538
 Ребеккини Д. 433, 492
 Рей Ж. 467
 Рейснер М.А. 604, 605, 667, 669,
 673, 674
 Ренан Э. 310, 427, 543, 546
 Ренгартен Н. 666, 673
 Репнин Н.В., князь 372
 Рихенталь У. 125
 Рихтер Я. 333
 Робеспьер М. 283, 303, 308, 445,
 465, 498
 Робинсон А.Н. 156
 Розен А.Е., барон 439
 Роман Мстиславич 86, 122
 Романовы, династия 228, 260,
 401, 433, 482, 521, 541

- Ростислав Иванович III
 Ростислав Михайлович 103
 Ростислав Мстиславич 98
 Ростиславичи 96, 97, 112, 144, 145, 146
 Роттек К. фон 289–293, 298
 Роулэнд Д. 156
 Руайе-Коллар П.П. 466
 Рубакин Н.А. 544–546, 549
 Руге А. 475
 Ру Ж. 303, 765
 Русинов, Александр Федорович 655
 Рус, легендарный прародитель восточных славян 176
 Руссо Ж.-Ж. 13, 64, 70, 74, 272, 279, 280, 286, 296, 375–377, 397, 422, 722
 Рылеев К.Ф. 448, 450, 454
 Рюрик 176–178, 383, 393, 394, 396, 618
 Рюрик Ростиславич 96, 97
 Рюриковичи, династия 96, 101, 112, 118, 253

 Сабин, Массурий 35, 36
 Савонарола Дж. 186
 Саймон Дж. 389
 Салтыков М.Г. 182, 183
 Салтыков-Щедрин М.Е. 535, 536
 Салтыковы 258
 Самарин Д.Ф. 573, 626
 Самарин П.Д. 574
 Самарин Ф.Д. 573–576, 578, 580, 623, 624, 626, 639, 640
 Самарин Ю.Ф. 573, 589
 Сапега, Лев Иванович 183, 193, 232
 Сарьхозины 254, 255
 Сатановский, Арсений 313
 Сафонов (Сафонович), Григорий 262
 Сахиб-Гирей, хан 204
 Светоний Транквилл, Гай 24

 Святослав Всеволод(ов)ич 98, 108, 113, 115
 Святослав Игоревич 110
 Святополк Изяславич 99
 Святополк-Мирский П.Д., князь 619, 626, 628, 630
 Святослав Ольгович 141
 Святослав Ростиславич 95, 96
 Святослав Ярославич 140
 Семенов С.М. 448
 Сен-Жюст Л.-А. 308, 465
 Сен-Пьер Ш., аббат 442
 Сен-Симон А. 303, 305
 Септимий Север 180
 Сервет М. 188
 Сергеевич В.И. 154
 Сергей Александрович, великий князь 629
 Сергей Радонежский 240
 Сигизмунд I Старый 149, 253, 254, 257
 Сигизмунд II Август 164, 182, 193, 206, 207, 243, 245, 247, 250, 251, 253, 254
 Сигизмунд III Ваза 179, 182, 183, 207, 258, 259
 Сийес (Сиейес) Э.Ж. 472
 Сильвестр, протопоп 186, 248, 261
 Сильвестр (С.А. Медведев) 265, 314, 315, 323
 Симеон Бекбулатович 245
 Симеон Полоцкий 157, 201, 202, 313–315
 Симон Ж. 308
 Синеус, брат Рюрика 176
 Сицкие, князья 254
 Скиннер К. 269, 555
 Скрышник Н.А. 701, 704
 Славинецкий, Епифаний 190, 201, 312, 313, 321
 Слонимский Л.З. 644, 645
 Слуцкие, князья 250

- Смирин В.М. 20
 Смирнова-Россет А.О. 492
 Смирнов Н.А. 508
 Смит Э. 197
 Смышляев А.Л. 26
 Снитгер Г. 492
 Сократ 57, 370
 Соллогубы 565
 Соловьев В.С. 531, 541–543, 565, 566, 571, 583–586, 613
 Соловьев С.М. 435
 Солон 386
 Сольский Д.М., граф 643, 644
 Сомов Н.Н. 654
 Софья Алексеевна, царевна 314
 Спафарий, Николай 190
 Сперанский М.М., граф 437, 439, 516, 552, 625
 Спиноза Б. 376
 Спиридон, архиепископ Новгородский 91, 105, 111, 118
 Срезневский И.Е. 381
 Сталин И.В. 669, 670, 693, 694, 703, 718, 721, 723–726, 728–730, 732, 735, 751
 Сталь Ж. де 414, 416–418, 445
 Станкевич Н.В. 528
 Старицкие, князья 245
 Старченко Н. 237
 Стеклов Ю.М. 671
 Стефан Баторий 179, 205, 206, 230, 247, 252, 254
 Стецкий А.И. 719, 727
 Стольпин П.А. 599, 600
 Страленберг Ф.Ю.Т. 213
 Стрешнева, Евдокия Лукьяновна 192
 Струве П.Б. 547
 Стрыйковский, Матей 239
 Стюарты, династия 71, 271
 Суворин А.С. 621
 Сулейман I Великолепный 257
 Сулла, Луций Корнелий 327, 398
 Сульпиций Руф, Сервий 35
 Сусанин, Иван 434
 Суслов М.А. 751
 Сцевола, Квинт Муций 35
 Сцевола, Публий Муций 35
 Таганцев Н.С. 650, 652
 Талвош, Миколай 246
 Тарановский Ф.В. 11
 Тагищев В.Н. 213, 343–354, 372, 380
 Тацит, Гай (Публий?) Корнелий 47, 454
 Твердислав, новгородский посадник 88
 Тейлор Ф.У. 685
 Телятевский В.И., князь 253, 254
 Теренций Афр, Публий 25
 Тернер Ф. 175, 176
 Тетерин Т.И. 192
 Тетерины 254, 255
 Тешко, новгородец 82
 Тиберий 327
 Тимашев А.Е. 550
 Тимофеев Д.В. 436, 438
 Тимофеев И.С. 195, 215
 Тимофей, нотариус 105, 106, 112, 118
 Тит Амхий Бальб 24
 Тит Ливий 20, 47, 79, 454
 Тихомиров Л.А. 600, 620
 Токвиль А. де 306, 411, 732, 756
 Толбузин С.И. 218
 Толочко П.П. 112
 Толстой, граф, председатель Самарского уездного земского собрания 654
 Толстой Л.Н. 722
 Траян, Марк Ульпий 47
 Третьяков В.К. 343, 354, 355

- Трубецкие, князя 242, 245, 258
Трубецкой Е.Н., князь 605, 606, 612, 630
Трубецкой П.Н., князь 631
Трубецкой С.Н., князь 627, 630, 640, 641
Трубников В.И. 622
Трувор, брат Рюрика 176
Тургенев А.И. 518, 519
Тургенев Н.И. 493
Турунтай Пронский И.И., князь 254
Тыгельский В. 230
Тьер Л.А. 307, 308
Тэн И. 309, 310
Тюрго А.Р.Ж. 277
Тютчев Ф.И. 565–567
- Уайкхарт Дж. 156, 213, 215
Уваров А.С., граф 185, 509
Уваров С.С., граф 423, 481, 485, 499–501, 525, 526, 530, 548, 550, 553
Уколова В.И. 45
Ульпиан, Домиций 34, 36, 37
Ульяновский В.И. 251, 253
Уо Д.К. 221
Урусов В.М., князь 628
Успенский Б.А. 156
Устрялов Н.Г. 435, 552
- Фабий Максим, Квинт 376–378, 380
Фабр В. 467
Фабр О. 467
Фавр Ж. 308
Федор Алексеевич, царь 202, 233, 234, 313
Федор Иванович, царь 208, 211, 212, 240, 252
Фейхтвангер Л. 735
Фенелон Ф. 322, 375
- Фенске Х. 288
Феодорит Кольский 186
Феодосий I Великий 39
Феофан Прокопович 325–331, 336–343, 354, 372, 389, 509
Ферри Ж. 307, 308
Фиески Ж. (Дж.) 469
Фик Г. фон 333
Филарет, патриарх (Федор Никитич Романов) 191, 233
Филипп В. 104
Филипп, митрополит Московский 186
Философов В.В. 654
Философов Д.А. 646, 647
Фирхаус Р. 474, 476
Фихте И.Г. 422, 426
Флетчер Дж. 165
Флобер Г. 310
Флоке Ш. 307
Флор, Луций Анней 327
Флоря Б.Н. 93, 149, 252
Фокион, оратор 367, 370
Фоккеродт И.Г. 213
Фома Аквинский 23, 45, 49–54, 56, 162
Фонвизин Д.И. 511, 512, 516
Фонвизин М.А. 439
Фребель Ю. 475
Фрейзер Н. 458
Фридрих II Гогенцоллерн 285, 473
Фроянов И.Я. 138, 165
Фуко М. 559
Фурье Ш. 303
- Хабермас Ю. 458, 459
Ханкинс Дж. 341
Харитонович, Андрей Иванович 246
Харни Дж. Дж. 477
Харрингтон Дж. 374, 389

- Хархордин О.В. 23–25, 28, 37, 41, 46, 61, 160, 166, 267, 279, 337, 341, 407, 409, 451
- Хворостинин И.А., князь 191, 192, 216, 265
- Хелли Р. 159
- Хемперек Д. 230
- Хеннингс Я. 241
- Хеншелл Н. 157
- Херасков М.М. 382–384, 393, 394
- Хитрово Б.М. 222
- Хмельницкий Б.М. 222, 225, 226, 508, 541
- Хованские, князья 258, 262, 263
- Хованский, Данила 263
- Хованский И.Н., князь 172
- Ходана Т. 251
- Ходкевич Г.А. 233, 244, 258
- Хомяков А.С. 567, 570, 571, 589
- Хомяков Д.А. 582, 583
- Хонохан И. 409–411, 453
- Хорошкевич А.Л. 241
- Хренницкий, Иван 262
- Христофор, св. 163
- Хрошчицкий Ю.А. 230
- Хрущев Н.С. 743–745, 748
- Хрущов А.Ф. 322, 323
- Цезарь, Гай Юлий 24, 60, 327, 396, 735, 799
- Цернак К. 105
- Цимбаев Н.И. 570
- Циммерман И.Г. 368
- Цир И. 260
- Цицерон, Марк Туллий 14, 24–31, 35, 37–47, 51, 53, 56, 58, 60–65, 70, 74, 109, 162, 197, 330, 454, 498
- Цынский Л.М. 501
- Чаадаев П.Я. 405, 482–489, 491, 492, 500–502, 529
- Чадов М. 570
- Чапличи, шляхетский род 262
- Чарторыйские 366
- Чеботарев Х.А. 357, 358
- Чевкин К.В. 560
- Челноков М.В. 579
- Чемоданов И.И. 219
- Черепнин Л.В. 91, 213
- Черкасов Т.И. 372, 373, 380, 390
- Черкасский В.А., барон 568
- Черново Оболенский Ф.Т. 214
- Чех, легендарный прародитель чехов 176
- Чичерин Б.Н. 157, 535, 572
- Чичерин Г.В. 701
- Чолокаев Н.Н. 654
- Шаден И.М. 385–387
- Шаль Ф. 489
- Шамин С.М. 221
- Шарапов С.Ф. 571, 572, 578, 623, 624, 626, 628, 629
- Шафиров П.П., граф 510
- Шахматов А.А. 93, 99, 139
- Шаховской Д.И., князь 587, 588
- Шеин М.Б. 194
- Шереметев П.С., граф 572
- Шереметев П.Н. 173
- Шереметев С.Д., граф 641
- Шереметев Ф.И. 193
- Шибанов, Василий 200
- Шильце, новгородец 82
- Шипов Д.Н. 579–581, 592, 593, 619, 625, 626
- Шишков А.С. 381
- Шлегель А.В. фон 422, 425
- Шлихтинг А. 246
- Шмидт С.О. 187, 194
- Шмитт К. 558, 559
- Шометт П.Г. 303
- Шопенгауэр А. 566

- Шредер Г. 286
 Шрейдер А.А. 673, 674
 Шгаерман Е.М. 26
 Штарк Р. 29
 Штейн Г.Ф.К. фон унд цум 474
 Штепа В.В. 395
 Штрубе де Пирмонт Ф.Г. 357, 368
 Шуйский, Василий Иванович
 (Василий IV) 173, 192, 200,
 207–212, 228, 336, 339, 347
 Шульгин В.В. 607
 Шустер Т. 475
- Щелкалов В.Я. 212
 Щенятев П.М., князь 233
 Щепанский, автор проекта
 Конституции РСФСР 673
 Щербатов М.М., князь
 363–365, 390
- Эбер Ж.-Р. 303, 765
 Эдельман О.В. 447, 493, 495
 Элиас Н. 456
 Элизахар 197
 Эмин Ф.А. 369
 Энгельс Ф. 721
 Энтин Г. 478
 Эразм Роттердамский 295
 Эскин Ю.М. 194, 213
- Юдин П.Ф. 719, 726
 Юзефович М.В. 541
 Юлиан, Луций Октавий
 Корнелий Публий Сальвий
 34, 36
 Юрий Васильевич, князь
 Дмитровский 120
 Юрий Васильевич, князь
 Углицкий 176
- Юрий Владимирович Долгорукий
 98, 99, 113, 114, 144
 Юрий Всеволод(ов)ич 89, 99,
 113, 116
 Юрьева И.С. 95
 Юсти И.Г.Г. 366, 368
 Юстиниан I Великий 34, 39, 43, 46
 Юхан, герцог Финляндский 247
 Юхан III Ваза 247, 259
- Яволен Приск, Луций 34, 37
 Ягайло Ольгердович
 (Владислав II Ягелло) 236–
 238, 259
 Ягеллоны, династия 177, 233
 Ядвига Анжуйская 236, 259
 Яков I Стюарт 71
 Яков Голут(в)ин(ов)ич 126, 170
 Яковенко Н.М. 237
 Яковлев Я.А. 728, 733
 Якубович А.И. 450
 Якубовский И.В. 149
 Якушкин И.Д. 403, 454, 482
 Ямский А.-Я. 230
 Ян II Казимир Ваза 216, 217
 Ян III Собеский 217
 Янин В.Л. 99, 160, 166
 Ярополк Мстиславич 86
 Ярополк Ростиславич 86, 144
 Ярослав Владимирович
 Мудрый 91, 97, 100, 353, 394
 Ярослав Всеволод(ов)ич 89, 90,
 92, 103, 104, 113, 114, 118, 143
 Ярослав Мстиславич Красный 86
 Ярослав Ярославич 102, 106, 118
 Ярослав, князь 90, 91
 Ярославичи 98, 141
 Ярославовичи 253

RES PUBLICA
Русский республиканизм
от Средневековья до конца XX в.

Редактор *Е. Стоянов*
Дизайнер серии *Д. Черногаев*
Корректоры ?
Верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: +7 495 229-91-03
e-mail: real@nlobooks.ru
сайт: www.nlobooks.ru

Формат 60×90¹/₁₆. Бумага офсетная №1.
Офсетная печать. Печ. л. 51,5. Тираж 1000.
Отпечатано в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14